



МУХТАР АУЭЗОВ





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1973

МУХТАР АУЭЗОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

Л. АУЭЗОВА, Т. АХТАНОВ,
М. БАЗАРБАЕВ, З. КЕДРИНА, Л. ЛЕБЕДЕВА,
Е. ЛИЗУНОВА, Г. ЛОМИДЗЕ, А. ШАРИПОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

МУХТАР АУЭЗОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ
1921—1947 годов

Перевод с казахского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

Ф(Каз)2
А.93

Составление и примечания
Л. АУЭЗОВОЙ

Вступительная статья
З. КЕДРИНОЙ

Художник
А. ЛЕПЯТСКИЙ

А $\frac{0733-204}{028(01)-73}$ подп. изд.



ТВОРЧЕСКИЙ ПОДВИГ МУХТАРА АУЭЗОВА

Одним из великих завоеваний Октябрьской революции было введение культуры Востока в живой процесс мирового развития. Буржуазная наука считала ее мертвой, существующей лишь в стародавних памятниках и руинах как экзотическое воспоминание о безвозвратно минувшем.

Развивающийся Запад и «дряхлающий» Восток предстают в творчестве многих идеологов и писателей капиталистического мира непримиримо противостоящими друг другу.

Но Запад есть Запад,
Восток есть Восток,
И с места они не сойдут, —

писал, например, Редьярд Киплинг.

Словно бы ответом Киплингу звучат призывные слова: «Литература бьет в набат свободы. И мы отдаем ей высокую миссию в борьбе против колониализма, потому что она сплывает народ своим многоязычным голосом и добивается того счастливого будущего, когда народы сольют свои объятия навстречу друг другу на всем пространстве, где будет жить свободный человек, в какой бы расе он не принадлежал».

Это слова выдающегося советского писателя и ученого, классика казахской литературы, лауреата Ленинской и Государственной премий Мухтара Омархановича Ауэзова (1897—1961). На протяжении всей жизни он настойчиво стремился соединить культурные традиции своего народа, народов Востока вообще, с традициями великой русской культуры и — через нее — с традициями культуры европейской.

Будучи смолоду гражданином страны победившего социализма, Ауэзов рано становится строителем ее нового искусства, непримирчиво и любовно отбирающим в восточной культуре те ее элементы, которые могли бы стать материалом для величественного общечеловеческого здания — культуры коммунизма.

Писатель много сделал для того, чтобы приобщить родную литературу к достижениям литературы русской и мировой. Освоенные им русской и мировой классики носят совершенно сознательный и отчетливо целеустремленный характер. Опыт всемирной литературы должен, по его мнению, помочь плодотворному и самобытному развитию литературы казахской.

Вместе с тем творчество Мухтара Ауэзова и вся его многообразная кипучая деятельность неразрывно связаны с родной землей, пропитаны ее соками. Начавший свой писательский путь в эпоху великих революционных преобразований, Ауэзов стоял у истоков советской казахской литературы, был одним из ее основоположников. В его художественных произведениях необычайно полно раскрылся казахский национальный характер, с энциклопедической широтой запечатлелось историческое прошлое и вся многообразная жизнь казахского народа, пробужденного Великим Октябрем к строительству новой жизни и новой культуры.

М. О. Ауэзов родился в Чингизской волости Семипалатинского уезда в семье кочевника, близкой великому казахскому просветителю Абаю Кунанбаеву: дед Мухтара — Ауэз — был личным другом Абая и почитателем его бессмертной поэзии. Маленький Мухтар обучался грамоте по толстой рукописной книге стихов Абая, ставшего потом героем основного и лучшего его произведения.

Одиннадцать лет Мухтара отдали в русскую школу. Находясь во власти патриархально-родовых и религиозных предрассудков, казахское население боялось русских школ, и детей туда брали по разверстке, иной раз даже при помощи денежного выкупа у бедных родителей. Следуя заветам Абая, дед Мухтара добровольно посылал в русские школы своих детей и внуков.

В 1915 году Ауэзов окончил учительскую семинарию, а уже после революции — филологический факультет Ленинградского университета и аспирантуру при Среднеазиатском университете в Ташкенте, став со временем профессором литературы и академиком Академии наук Казахской ССР.

«Кровный сын кочевой степи, Мухтар Ауэзов вырос в писателя и ученого всесоюзного и мирового звучания, — писал Корнелий Зелинский. — И в его судьбе отразилось мировое значение нашей пролетарской социалистической революции. Он сам стал зовущим знаком, живым символом для интеллигенции просыпающихся народов Ближнего Востока, Индии, Африки. Он сам стал голосом национального самосознания преображенного социализмом казахского народа»¹.

¹ «Литературная газета», 1965, 29 июня.

Ауэзову было двадцать лет, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Свою общественную и литературную деятельность он начал в дни свержения царизма. В это время пережитки феодально-родового строя были еще весьма сильны и служили почвой для реакционной деятельности баев и мулл. Победному наступлению социалистической революции оказывали бешеное сопротивление все силы буржуазно-феодальной реакции, а также местное русское кулачество, белые банды, действовавшие на территории Казахстана.

В дни революции происходит резкое классовое расслоение казахского народа. Вчерашние сородичи осознают себя непримиримыми классовыми врагами. Вчерашние забитые батраки выступают как творцы истории. Многие молодые образованные казахи, выходцы из феодально-байской среды, вчера еще клявшиеся в верности народу, в дни, когда народ стал хозяином своей судьбы, оказались в лагере контрреволюции.

Мухтар Ауэзов уже тогда искренне стремился быть полезным делу революции. Он совмещает активную общественную и административную деятельность с учебой и литературной работой.

Страстный поборник нового, Ауэзов выступает прежде всего против косных обычаев патриархальной старины, нравственных устоев феодально-родового строя.

Сюжетом своего первого произведения — трагедии «Енлик и Кебек» (1917) — он избирает народное предание, повествующее о горестной участи молодых людей из враждебных родов, осмелившихся соединить свои жизни против воли старших и казненных по приговору родового суда. Действие пьесы относится к далеким временам XVIII столетия. Она изображает бесчеловечные нравы степных феодалов, разрушительную силу родовой вражды.

В своей первой пьесе молодой писатель развенчивал «священные» установления феодально-родового строя, такие, как калым или суд биев. Он нарисовал правдивый образ бия Кенгирбая, (реальное историческое лицо), чье имя широко популяризировали казахские националисты и контрреволюционеры. Кенгирбай выведен в пьесе как правитель жестокий и несправедливый, ненасытный стяжатель. Получив взятку от враждебного рода, он приговаривает своего сородича Кебека к смерти.

М. Ауэзов преодолел иллюзии своих предшественников — казахских просветителей Чокана Валихапова и Абая, — которые верили в возможности родовой общины и сохраняли надежды на успешную реорганизацию суда биев. Он начисто отвергает суд биев, хотя и не ставит еще вопроса о революционном преобразовании жизни.

Вместе с тем образы центральных героев пьесы несут в себе стихию протеста и борьбы за свои естественные человеческие права, романтику глубоких и сильных чувств.

Немаловажную роль в пьесе играет мудрый старец Абыз, скорбящий о горестях своего народа. Это он подбирает брошенного на скале ребенка казненных родителей и в обличительном монологе формулирует основную идею пьесы. Подобный персонаж появляется впоследствии в ряде этапных произведений Ауэзова, приобретая по мере идейно-художественного роста автора все более реалистические черты. Из условной фигуры — символа справедливости — он превращается постепенно в конкретный образ борца за народное счастье.

Первая пьеса М. Ауэзова была одновременно и первой пьесой казахского народа, не знавшего до сей поры не только драматургии, но и театральных представлений вообще. В казахской культуре существовали лишь зачаточные формы театральности.

«В кочевой степи были профессиональные салы и серэ (по роду своей деятельности в какой-то мере схожие с русскими скомородами), которые разъезжали по степным аулам группами по пятнадцать — двадцать человек. Среди салов и серэ бывали музыканты, певцы, акыны, жонглеры, акробаты, наездники и борцы. Коня у них были подобраны одной масти, покрыты одного цвета попонами. Сами «актеры» одевались пестро, нарядно, ярко и давали свои представления под открытым небом, привязав коней так, чтобы они отгораживали пространство для «сцены», — писал казахский композитор и музыковед академик Ахмет Жубанов, считавший искусство салов и серэ профессиональным¹. Сам М. Ауэзов, уже зрелым художником, в своей эпопее об Абае изображает их как полупрофессионалов, как любителей, чье самодеятельное искусство может подняться и поднимается на уровень высокого, вдохновенного мастерства.

Тем большее значение имела трагедия Ауэзова. Поставленная впервые в юрте любимой жены Абая Айгерим, она сразу же вошла в репертуар кружков художественной самодеятельности. А в 1926 году сценами из «Еялик и Кебек» открыл свои выступления первый национальный казахский театр. С тех самых пор пьеса М. Ауэзова (в новом, улучшенном варианте) не сходит со сцены. Она стала подлинно народным произведением.

Борьбу с традициями феодально-родового строя Ауэзов продолжает в пьесах, написанных в 20-е годы. В драме «Карагоз» он рассказывает о трагической участи женщины, о ее тяжелом

¹ А х м е т Ж у б а н о в, Струны столетий. Алма-Ата, Казгизл, 1958, с. 25—26.

и неравноправном положении А в пьесе «Байбише и токал» («Жены-соперницы») изображен нравственный распад полигамной семьи.

Одновременно с драматургическими опытами Ауэзов пробует свои силы и в прозе. Реалистические начала, заметные уже в его первой пьесе (они сказывались в описании отношений между людьми, в изображении быта, в речи героев), получают дальнейшее развитие в рассказах и повестях 20-х годов. Реализм писателя обретает теперь новое качество: изображение действительности становится более глубоким, а позиция автора — более активной. Совершенствуется и мастерство писателя.

Показателен в этом отношении первый рассказ Ауэзова «Сиротская доля» (1921), появление которого тесно связано с практической общественной деятельностью автора (поездки по аулам в качестве уполномоченного Семипалатинского губисполкома).

Молодой писатель показывает деградацию патриархального уклада, окончательно выродившегося и прогнившего, но все еще уродующего жизнь людей. На нищую, затерянную в снегах зимовку трех незащищенных женщин, последних представительниц некогда могучего рода Кушикпая, приехал их знатный сородич бай-управитель Ахан. Лениво выслушав слезные жалобы женщин, которых богачи собираются «разобрать по домам» за долги покойного кормильца, бай сжирает последний кусок мяса, оставшийся в доме, и насилует тринадцатилетнюю Газизу. Не вынеся надругательства, девочка бежит из дому и замерзает в метельную ночь на могиле отца.

Общественный уклад, при котором возможны столь чудовищные злодеяния, подлежит уничтожению — таков прямой вывод из этого рассказа. Как бы в обоснование своей мысли автор в начале рассказа приводит легенду о смерти родоначальника и предка ныне обнищавшей семьи — бая Кушикпая, развенчивающую кодекс феодально-патриархальной чести. Большой черной оспой, Кушикпай узнает об оскорблении своей чести — угоне любимого коня феодалом-соперником. Кушикпай облачается в тяжелые доспехи, скачет вдогонку за обидчиками, отбивает свое добро и падает мертвым. Шуба, покрывающая плечи батыра, оказывается насквозь промокшей от гноя. Эта нарочито натуралистическая деталь как бы срывает романтический ореол с нелепого поступка феодала.

Великолепен в рассказе зимний пейзаж предгорья Аркалык, где никогда не загихает колючий ветер, несущий поземку, где скудная земля, обдуваемая холодными вихрями, не дает человеку и скоту ни пищи, ни убежища. Этот реалистический пейзаж, отражая своеобразие казахской устно-поэтической традиции, в которой природа всегда активна по отношению к человеку,

одновременно свидетельствует и о плодотворном влиянии Тургенева — одного из любимых писателей молодого Ауэзова.

В творчестве Ауэзова едва ли не с первых лет сказалось сильно развитое аналитическое начало. Вскоре оно проявилось и в литературоведческой деятельности художника. А пока находило выражение в той поистине исследовательской обстоятельности и достоверности, с какой Ауэзов, отнюдь не преследуя этнографических целей, художественно анализировал быт кочевого аула в своих рассказах и повестях 20-х годов.

Вот легенда о знатной вдове, посвятившей свою молодость трауру, предписанному шарпатам («Красавица в трауре»). Акыны воспевают ее верность покойному, а «красавица в трауре», не выдержав терзаний здоровой плоти, бросается на шею первому встречному. И то, что этот первый встречный, веселый и крепкий старик пастух, даже не помышляет о «милостях» красавицы-хозяйки, вносит здоровую, жизнерадостную ноту в историю падения богатой и гордой вдовы. В другом рассказе («Тени прошлого») юная девушка, отвергнув любовь своего сверстника, по велению того же шарпата, добровольно выходит замуж за старика, который уже загнал в могилу ее старшую сестру. Однако сразу же после брачной ночи молодая бежит на свидание к отвергнутому ею юноше. В этом рассказе дается подробный анализ постепенного растреления юной души, совершаемого во имя общепринятой патриархальной «добродетели».

В рассказах «Ученый гражданин», «Женитьба» молодой Ауэзов вступает в непосредственную схватку с буржуазными националистами, разоблачая интеллигентов-лжеактивистов, присосавшихся к новым порядкам.

Бытовые картины, рисуемые художником, наполняются все более концентрированным социальным содержанием. В лунную летнюю ночь бай-соперники посылают своих батраков на разбой — угон скота. В кровавой схватке из-за чужого добра погибают два батрака («Барымта»). Бедняк засеял клочок бросовой байской земли, но посев его был подвергнут жестокой потраве. В степи уже устанавливается советская власть, и бедняк призывает бая к порядку через милицию. Казалось бы, новое победило. Но Ауэзов не ищет облегченных решений, потому что знает: реальная победа бедноты неразрывно связана с ниспровержением самой основы степного феодализма и его идеологии. Бай, выйдя из-под ареста, созывает пресловутую, восхваляемую националистами родовую общину и добивается изгнания бедняка из рода. «Отступник» вынужден откочевать («Расправа»).

Новые темы, новое жизненное содержание требуют и новых изобразительных средств. Молодой художник смело идет навстре-

чу русскому реализму. Чехов, Горький, Пушкин, Толстой — творческие учителя Ауэзова. Глубоко воспринимает он и влияние западных писателей — Мопассана, Дж. Лондона. Но, жадно впитывая эти влияния, Ауэзов остается самим собой. Хорошо известный всесоюзному читателю рассказ «Серый Лютый», по свидетельству самого писателя, создан под впечатлением «Белого клыка» Дж. Лондона. Но трудно сказать, что больше повлияло на создание грозной фигуры серого убийцы: «Белый клык», казахские сказки о животных или абаевское стихотворение «Я вырастил пса из щенка». Думается, что все это в равной мере помогло художнику создать рассказ, исполненный трагической символики, пронизанный мыслью о том, что патриархальный аул сам растит свою беду; он не способен оборониться от произвола враждебных сил, возникающих в его недрах.

Повесть «Выстрел на перевале» (1927) как бы подытоживает успехи первого периода творчества Ауэзова. По его собственному признанию, она написана под непосредственным влиянием горьковского «Челкаша». И действительно, романтическая, при всей своей правдивости, фигура бунтаря-одиначки Бахтыгула, великолепный пейзаж, гармонирующий с внутренним миром героя, — во всем этом сказывается несомненное влияние Горького. Однако в повести Ауэзова выявлен казахский национальный характер и формирующие его типические обстоятельства. В ней изображается тяжелый путь одиначки-бунтаря в дореволюционной казахской степи. Герой повести бедняк Бахтыгул не в состоянии прокормить свою семью честным трудом, сколько он ни старается. По неволе — от голода и нищеты — он становится конокрадом. Будучи избит и ограблен слугами бая, Бахтыгул ищет покровительства и честной работы у другого, «доброго», феодала. Но и новый хозяин заставляет батрака стать барымтачом, угонять скот у своего соперника по предвыборной борьбе за место волостного управителя, а затем, замирившись с вчерашним врагом, выдает Бахтыгула властям как разбойника. Оскорбленный и преданный баем бедняк убивает своего обидчика. К бунту и беспощадной борьбе вынуждает Бахтыгула жестокий гнет феодального байства, искусно прикрывающегося маской патриархальной семейственности.

«Выстрел на перевале» дает уже развернутую и целостную картину феодально-родового строя кочевой степи в период первой русской революции, когда социальные противоречия кочевого аула, усугубленные вторжением капиталистических отношений, усилили и обострили процесс пауперизации степного населения. Превращаясь из феодала-патриарха в бая-эксплуататора, ловко использующего пережитки патриархальщины в целях прикрытия

своих хищнических дел, бай все более богатеет. Не утихающая родовая вражда, вызываемая непомерным ростом байских аппетитов, борьбой за выгодное место в царской администрации, ложится тяжким бременем на бедняков — слепых исполнителей хозяйской воли. Сегодня они садятся на коня, чтобы ехать в набег на стада баев-соперников, а завтра, преданные вчерашними подстрекателями, отсиживают за их провинности в тюрьме.

Образ Бахтыгула имеет принципиальное значение для творчества М. Ауэзова и для всей казахской литературы, так как в нем мы видим один из самых первых реалистически написанных образов нового для восточной традиции героя-борца и победителя. Да, Бахтыгул всю жизнь был угнетенным человеком, и его тернистый путь привел его в конце концов в тюрьму. Но он не просто жертва приспособляющейся к новым условиям патриархальщины, а герой, восставший на угнетателей, пусть еще стихийно, но бесповоротно, твердо и непримиримо. Тюрьма же стала для него и таких, как он, школой борьбы.

Достоинство повести заключается и в том, что автор правдиво показал — пусть еще в условных, беглых чертах — благотворное, революционизирующее значение города, в котором были не только чиновники-угнетатели, но и настоящие люди, ненавидящие «белого царя» и борющиеся против него. Символичен образ русского революционера, который в тюремной камере обучает грамоте малолетнего сына Бахтыгула.

Повесть Ауэзова явилась значительным шагом вперед в овладении казахской литературой большими прозаическими жанрами. Она свидетельствовала и о том, что в творчестве Ауэзова складывался метод социалистического реализма.

Заметной ступенью в идейно-художественном развитии писателя стала повесть «Лихая година» (1928). В ней феодально-байский патриархальный строй представлен как тормоз в социально-историческом развитии казахского народа.

«Лихая година» посвящена национально-освободительному восстанию 1916 года против царского указа о «реквизиции инородцев» на тыловые работы. В основе повести — события, происходившие в Семиреченской области, которая в ту пору охватывала не только казахские земли, но и значительную территорию Киргизии. Это уже историческая повесть в полном смысле слова. Герои ее: «лишенный всех привилегий», дважды сидевший в тюрьме за сопротивление властям батыр Узак Сауруков, старец Жаменке, Серикбай и другие руководители народно-освободительного движения — лица, реально существовавшие. В соответствии с исторической правдой Мухтар Ауэзов показывает неоднород-

ность восстания в целом. Мы видим обстановка, характерную для Семиречья, где особенно сильно сказывался стихийный характер движения; уже в самом начале оно лишилось своих руководителей, схваченных царской администрацией.

«Смирный род албан» стихийно поднимается против обмана и насилия царских чиновников (таких, как пристав, прозванный «Сивым Загривком», или помощник уездного начальника господин Клубничкий) и против своих же родовых заправил баефеодалов Тунгатара и Даулетбака, волостного управителя Рахимбая, толмача Оспана, которые поддерживают царскую администрацию, предавая народные интересы.

Рисуя всю глубину феодально-байского и чиновничьего произвола, бесправие простого люда, опутанного по рукам и ногам сетью родовых обычаев и предрассудков, диктующих безоговорочное доверие и подчинение баю, старшему в роде, писатель очень тонко и точно вскрывает подспудный процесс классового расслоения, нарастающее чувство протеста против угнетателей, которое разрывает, казалось бы, самые крепкие семейные узы. Так, по разные стороны баррикады оказываются бай Тунгатар и его до глубины сердца оскорбленный, кругом ограбленный брат, батыр Узак, который возглавляет восставших и гибнет в тюрьме. В повести Ауэзова изображена молодежь, в том числе бедняцкая, как одна из главных сил движения. Примечательно, что на стороне восставших оказывается и уважаемый всем родом старец Жаменке — фигура, искони олицетворяющая в казахском художественном слове мудрую народную справедливость. С болью показывает писатель, к чему приводит отсутствие опыта социальной организованности масс, беспредельная политическая наивность и доверчивость простых людей, не умеющих ни предвидеть коварства врага, ни защититься от его жестокости.

При всем трагизме исхода восстания в Семиречье «смирный род албан» выступает со страниц повести как великая новая сила, заставляющая содрогнуться перед ее лицом еще, казалось бы, всевластных, но уже ощутивших свою обреченность угнетателей. В повести мы воочию видим, как «в терновом венце революций грядет шестнадцатый год».

Известный казахский писатель старшего поколения Габит Мусрепов в своем слове, посвященном XXIV съезду КПСС, подчеркивая новаторское значение творчества Мухтара Ауэзова в развитии казахской литературы, писал, что Ауэзов «первым прокладывал путь в различные жанры и виды не только литературы, но и искусства»¹.

¹ «Простор», 1970, № 10, с. 2.

«Лихая година» имеет именно такое новаторское значение. Это одна из первых многогеройных реалистических повестей казахской советской литературы, в которой нашла отражению актуальная в 20-е годы проблема создания образа коллективного героя или героя-массы. И этот герой писателю удался, благодаря яркой индивидуализации множества лиц, убедительному изображению их внутренней общности.

Существенны и жанровые особенности повествования, сочетающего в себе реалистическое бытописание с острой горячей публицистичностью, мягкий лиризм и многоцветную яркость красок с графической точностью слова. Не имеющая в своей основе острой фабулы и следующая хронике исторических событий, «Лихая година» увлекает своим до предела напряженным внутренним сюжетом, стремительно развивающейся диалектикой борьбы, нарастанием народного волнения, в процессе которого складывается, развивается и крепнет характер коллективного героя повести — народа. В предисловии к первой публикации повести на русском языке Чингиз Айтматов писал: «Больше всего удалось Мухтару Ауэзову, на мой взгляд, изображение кристаллизации, вызревания стихийной народной волны, движимой извечным чувством борьбы за справедливость, за свободу и собственное человеческое достоинство. Тогдашний молодой Ауэзов сделал это по крупному художественному и историческому счету, с передовых, революционных, классовых позиций своего времени»¹.

Следует отметить, что ранний период творчества Ауэзова (до 1932 года) зачастую недооценивался. Отдельные недостатки его произведений (например, мотив идеализации далекого прошлого, «золотой степи», отразившийся в речах ведущего в пьесе «Карагоз») неправомерно преувеличивались. И хотя сам писатель признал свои ошибки, он никогда не был (даже «объективно») идеологом феодального байства. Об этом свидетельствует все его творчество 20-х годов.

Период с 1932 года, когда Ауэзов после двухлетнего вынужденного перерыва вернулся к творческой деятельности, и почти до самой войны стал для писателя временем напряженных раздумий. В его художественном творчестве не было в эту пору той непосредственности, с какой начинал он свой творческий путь. Именно в эти годы М. Ауэзов особенно много занимается критикой и литературоведением, теоретическими вопросами, в частности, проблемой взаимосвязей и взаимодействия литератур Запада и Востока.

¹ «Новый мир», 1972, № 6, с. 18.

В эти годы совершается поворот писателя к новым темам. От изображения обреченности старого мира он переходит к воссозданию новой жизни, новых общественных отношений, возникших после Октября.

В рассказах и повестях 1930—1940-х годов («Крутизна», «Охотник с орлом», «Двуликий Хасеп», «Следы», «Стойкое племя») показаны те изменения, которые с невиданной быстротой произошли в Казахстане за годы советской власти и в корне преобразили жизнь. Героями произведений Ауэзова становятся теперь свободные труженики, люди нового, социалистического общества — чабаны и охотники, пограничники, рабочие, студенты, — захваченные пафосом созидательного труда.

Однако новое не рождается сразу, оно побеждает в упорной борьбе со старым. Рассказ «Крутизна» рисует беспощадную схватку колхозников с басмачами, которые пытаются терроризировать верных новому строю людей, не останавливаясь перед гнуснейшим (с точки зрения степного скотовода) преступлением — массовым увечьем овец. Этот рассказ примечателен тем, что в центре его — новая женщина, не побоявшаяся нарушить законы шариата и пойти против своего мужа-басмача. Свою свободу она отстаивает с оружием в руках. В рассказе «Двуликий Хасеп» писатель разоблачает буржуазный национализм в его новом, «культурном» обличье. Он создает выразительный образ неоднократно перекрашивавшегося «интеллигентного» хамелеона, который в своей ненависти к новой жизни доходит до прямой уголовщины. Призыв к бдительности звучит в рассказе «Охотник с орлом». Герой его, старый охотник Бекпол, помогает пограничникам в поимке крупного басмача-бая, своего бывшего хозяина.

Особое место в творчестве М. Ауэзова этих лет занимает очерк, жанр относительно новый для казахской литературы, в котором работали также Б. Майлин, Г. Мусрепов и с которого начинали К. Абдукадыров и Г. Мустафин. М. Ауэзов (так же, как Майлин и Мусрепов) стремится сделать этот жанр художественным, почти неотличимым от рассказа (в то время как Мустафин и Абдукадыров в эту пору представляют очерк газетно-публицистического характера). Типичен для творчества М. Ауэзова этого периода очерк-рассказ «Имя свекра». Посвященный знатым женщинам-животноводам, он показывает те изменения, которые произошли в их жизни и быту, в их психологии, во взаимоотношениях с окружающими.

В 1932 году Ауэзов снова обращается к драматургии. Стремясь поверить свой опыт опытом русской советской литературы, он создает на основе фурмановского «Мятежа» пьесу

«За Октябрь», в которой воплощает волнующую его тему о месте казахской интеллигенции в революции. Соответственно Ауэзов ввел в свою пьесу действующих лиц — казахов. Сюжет фурмановского «Мятежа», дополненный и развитый благодаря новым персонажам, открыл перед зрителем существенные стороны борьбы за становление советской власти в Казахстане. В пьесе Ауэзова возникает тема формирования боевой пролетарской идеологии у казахских рабочих и интеллигенции. Это была одна из первых казахских пьес, расширившая сферу драматургических конфликтов. Из области социально-бытовой конфликт переносится в ней в сферу социально-политическую.

Следует заметить, что первой революционной советской пьесой были в казахской литературе «Красные соколы» С. Сейфуллина (1922). Однако характеры героев этого открыто агитационного произведения были преимущественно обобщенно-схематичными. В драме Ауэзова изображение революционной борьбы масс сочетается с реалистически индивидуализированным изображением героев. Таким образом, М. Ауэзов создал не только первую национальную казахскую пьесу («Еңлік и Кебек»), но и первую советскую реалистическую пьесу. От проблематики собственно национальной он переходит теперь к проблемам, характерным для всей советской драматургии 1930-х годов.

Реалистические принципы Ауэзова-драматурга получают свое высшее развитие в драме «Зарницы» (1934), посвященной, как и «Лихая година», восстанию 1916 года.

В пьесе раскрывается типическая картина жизни предреволюционного казахского общества. Писатель показывает истинное лицо эксплуататоров и предателей своего народа. Волостной управитель Майкан — это вполне реалистический характер, написанный правдиво и сильно. В своих самочинных действиях Майкан чувствует себя безнаказанным, ибо на его стороне царская администрация в лице уездного пачальника Казанцева, а также родовые старейшины (жестокий и властный бий Жыдыш). Поддерживает самоуправство феодала и буржуазно-националистическая интеллигенция — байский сынок Керим, получивший образование в Петербурге.

Возмущенные байским произволом, бедняки управляемой Майканом волости восстают под предводительством батрака Жантаса. Майкан вызывает карательный отряд. В степи начинается «малая война». Силы восставших иссякают в неравной борьбе. Жантас погибает, его отряд разбит, но в заключительном монологе драмы выражена надежда, что люди вспомнят эти первые зарницы революционной грозы, когда займется заря народного счастья.

Пьеса Ауэзова, вскрывающая реальную расстановку классовых сил в казахском предреволюционном ауле, интересна не только как свидетельство идейного роста писателя, но и как яркое художественное произведение, автор которого, творчески используя достижения передовой русской драматургии, одновременно сохраняет и развивает национальную поэтическую форму.

Творческая учеба Ауэзова у русской литературы сказалась здесь прежде всего в реалистическом методе обрисовки большинства характеров. Пьеса демонстрирует возросшее мастерство драматурга и является свидетельством успешного движения казахской литературы по пути социалистического реализма. Пожалуй, впервые на казахской сцене появляются активные положительные герои, не уступающие по силе реалистического изображения отрицательным. Вождь повстанцев батрак Жантас не схематичный положительный герой, наделенный чертами эпического батыра, каких еще немало было в ту пору в наших восточных литературах. Его характер социально обусловлен, его действия и переживания психологически мотивированы. Вместе с тем народно-эпическая основа этого образа наглядно раскрывается в целостности и устремленности характера Жантаса, в той полноте, с какой выражено в нем народно-героическое начало.

Показательна диалектика характеров этой драмы. Вот жена бая Майкана Жузтайлак, соединяющая безудержное своеволие страстей с холодной рассудочностью коварных замыслов. Простодушный и отважный Жантас сочетает детскую доверчивость к людям с железной верностью своему долгу. Его мать Дильда, живущая одним только сыном, но выросшая в рабской преданности баю, не останавливается перед проклятием Жантасу, когда он преступает неписанный закон верности главе рода.

Важную роль в пьесе играет образ сельского мугалима (учителя) Сафы, искренне желающего послужить народу, но поначалу нерешительного, колеблющегося под влиянием чуждых ему людей из байской среды. Здесь Ауэзов ставит одну из центральных проблем — проблему становления казахской демократической интеллигенции. Колебания мугалима между гуманизмом воинствующим, подлинно народным и «общечеловеческим», абстрактным приводят к кровавым последствиям. В конце концов он понимает предательскую сущность националистов, порывает с баями и переходит на сторону народа. Однако чрезмерно усложненное изображение позиции мугалима вносит в его образ известную неясность, что является одним из существенных недостатков драмы.

Особенности творческого метода, принципы сюжетосложения, реалистическая обрисовка характеров, психологизм — все это

сближает пьесу Ауэзова с современной ему русской драматургией. Вместе с тем в «Зарипцах» явственно ощутимо и бережное развитие национальной традиции. Показателем в этом смысле традиционный образ народного мудреца старика Танекс, выражающего идеалы и чаяния повстанцев. В многочисленных словесных состязаниях между социальными антагонистами интересно развита писателем и форма бийского судебного разбирательства, виртуозное искусство степного красноречия — «шешен».

В 30—40-е годы Ауэзовым написан ряд других пьес. Это прежде всего острокопфликтные современные драмы — такие, как «Схраткы», «Каменное оперение», «На границе», «В яблоневом саду». Стремление к реалистической обрисовке характеров сближает Ауэзова с активно работавшим в те же годы в драматургии Бенимбетом Майлинным. Однако в большинстве пьес, посвященных современности, Ауэзов подчиняется как бы заранее заданной схеме, и это снижает их художественные достоинства, приводит к известному обеднению характеров.

Другую группу составляют пьесы, написанные на фольклорном материале: музыкальная комедия «Айман и Шолпан» и героическая драма «Кобланды». В области народно-романтической драмы М. Ауэзов работает в одном направлении с Г. Мусреповым, создающим на основе народных преданий оперное либретто «Кыз-Жибек» и драму «Козы-Корпеш и Баян-Слуу».

Работа М. Ауэзова в казахской драматургии строилась на основе последовательного и настойчивого изучения образцов драматургии мировой. Если мы обратимся к переводам пьес на казахский язык, осуществленным М. Ауэзовым, то и здесь мы увидим, что отбор, сделанный им, далеко не случаен, а представляет собою своеобразный творческий «семинар». Он переводит «Отелло» и «Укрощение строптивой» В. Шекспира, то есть тщательно прорабатывает его трагедию и комедию. Гоголевским «Ревизором» представлена в этом «семинаре» русская классическая драматургия, воспринимаемая переводчиком как школа социальной сатиры. Наиболее заметное место в переводческой работе Ауэзова отведено советской драматургии, представленной также лучшими мастерами того периода: К. Треневым («Любовь Яровая»), Н. Погодиным («Аристократы»), А. Кронём («Офицер флота»).

Было бы неправильным искать в пьесах М. Ауэзова конкретные мотивы и черты, воспринятые им от авторов переведенных произведений. Но можно смело сказать, что шекспировская мощь характеров, гоголевская скульптурная четкость их лепки и общая тональность советской классической драмы, сочетающая в себе острую социальную конфликтность с глубоким вниманием

к внутреннему миру человека, характер которого складывается в атмосфере «разлома», составляют тот комплекс изобразительных средств, к овладению которыми стремится М. Ауэзов в своих пьесах.

В 30-х годах казахская драматургия и театр уже становятся профессиональными, приобщаясь к общему культурному развитию страны. И поиски отдельных писателей-драматургов также включаются в круг проблематики, общей для всей советской драматургии. Образ нового человека, как первоочередная проблема для всех родов и жанров литературы; новый социальный конфликт и пути его решения — все это занимает казахскую литературу как часть единой многонациональной литературы социалистического реализма. Но вместе с тем казахское искусство вносит в общую сокровищницу социалистической культуры свой оригинальный вклад, который несколько позже М. Ауэзов определит как народно-эпическую традицию, развитую на основе многообразных средств прогрессивного мирового искусства.

Дальнейшее развитие этой традиции было ознаменовано созданием монументальных образов выдающихся деятелей казахской национальной культуры: знаменитого акына XIX века Ахан-сере (трагедия Г. Мусрепова «Ахан-сере-Актокты»), выдающегося просветителя Чокана Валиханова (драма С. Муканова «Нить Ариадны», в позднейшем варианте «Чокан Валиханов»), Абая (драма М. Ауэзова и Л. Соболева «Абай»).

В драме «Абай» впервые осуществляется сотворчество Ауэзова с русским писателем, которое переросло в многолетнюю личную и творческую дружбу. М. Ауэзов до этого писал и впоследствии будет писать пьесы совместно с казахскими драматургами (А. Абишевым, Г. Мусреповым, А. Тажибаевым). Но там драматурги взаимно дополняли друг друга, если так можно выразиться, в принципе однородными элементами. В творческом же сотрудничестве М. Ауэзова с Л. Соболевым осуществлялось взаимодействие двух национальных культур, двух в равной степени зрелых художественных индивидуальностей, несущих две различные традиции, два образных принципа мышления, два языка. В драме естественно соединились эпический образ героя — учителя народа (чему способствовал творческий опыт Ауэзова) и тенденции углубленной психологической разработки характера, которые внес Соболев.

Существенно и другое: здесь была уже первоначально разработана идейно-эстетическая основа будущего романа об Абае и намечена его общая концепция.

Вообще все творчество М. Ауэзова 20—30-х и отчасти 40-х годов можно рассматривать как своего рода подготовку к главному

делу его жизни — созданию романа-эпопеи «Путь Абая». Она объединяет два романа — «Абай» и «Путь Абая», каждый из которых тоже состоит из двух книг. Первая книга эпопеи вышла в свет в 1942 году, четвертая в 1956 году. В 1949 году за роман «Абай» М. Ауэзов получил Государственную премию, а вся эпопея «Путь Абая» в 1959 году была удостоена Ленинской премии.

«Путь Абая» является монументальным обобщением всего сделанного писателем. Все, что Ауэзов когда-либо написал, все, что он задумывал и осуществлял, либо впадает в море, именуемое «Абай», либо берет в нем свое начало, либо служит истоком для него, либо питается из его неиссякаемого лона. В нем счастливо соединились могучий талант Ауэзова-художника, его исключительная научная эрудиция, его темперамент общественного деятеля. Произведение широкого исторического звучания, эпопея об Абае раскрывает в единстве исторической судьбы народа множество судеб множества людей.

Необычайно сложен и многообразен прежде всего социально-исторический фон романа. Кровавые феодальные распри, начало крушения вековых патриархальных устоев, подъем и обострение общественной борьбы, рост национального самосознания лучшей части интеллигенции и воздействие на нее русской культуры — такой предстает жизнь казахского народа во второй половине XIX века, после того как завершилось присоединение Казахстана к России.

Широчайшая панорама народной жизни встает перед читателем в этом романе, посвященном, казалось бы, одному человеку. Но этот один человек — реальное историческое лицо — избран и написан автором как типический национальный характер, фокусирующий в себе лучшие качества казахского народа и исторически обусловленные черты передового человека своей эпохи, которые, естественно, ставят его в центр событий времени. К тому же Абай — поэт, а устное поэтическое слово, в силу сложившихся исторических обстоятельств, необычайно значимо для казахов. На протяжении многих веков устная поэзия была для них не только искусством, но также политической трибуной, газетой, средоточием всей духовной жизни народа. Поэтому вокруг большого поэта, естественно, складывалась многоликая среда, скрещивались противоречия общественной борьбы, кипело народное море.

Четыре книги эпопеи «Путь Абая» показывают последовательно созревание и рост поэта-борца. Первая книга — юность будущего поэта, открывающая еще непонятные мальчику социальные противоречия и пробуждающая в нем поэтическое

дарование, стремление служить песней свободе и справедливости, без которой нет истинной красоты. Мы видим юношу, которого ужасает феодальный произвол и феодальные нравы (воплощением их является для него отец — ага-султан Куанбай) и который инстинктивно тянется к добру.

Вторая книга рисует рост общественного сознания Абая и развитие таланта Абая-поэта. Беспощадная эксплуатация массы подневольных труженников, кровавые межродовые раздоры становятся для него столь нестерпимыми, что он все дальше отходит от своей среды и все ближе сходит к аульной бедноте, представленной в романе поистине богатырскими характерами бунтарей (Даркембай, Базаралы).

Роман богат образами истинной любви, верности, доброты и чести. Это прежде всего образы женщин, угнетенных вне зависимости от их социальной принадлежности и лишенных полноты человеческих прав (мудрая бабушка Абая Зере, его добрая мать Улжан и первая любовь Тогжан). Поэмой верности можно назвать проходящую через весь роман дружбу Абая со скромным джигитом Ерболом.

Выступая как бий защитником личной свободы женщины, сторонником бедняков-хлебобобов, утесняемых феодальным байством, Абай постепенно становится певцом и вожаком угнетенных и предметом лютой ненависти своих знатных сородичей. И чем больше ширится фронт борьбы поэта с патриархальным байством и его институтами, тем более широкие слои степного населения вовлекаются в орбиту внимания художника и борца, тем многообразнее и многочисленнее становится окружение героя.

Уже со второй книги романа в симфонию казахской народной жизни вливается мотив межнациональных взаимоотношений с другими народами бывшей царской империи, прежде всего с русскими. Диалектически разворачивается эта тема в эпопее Ауэзова: с одной стороны, в ней показана жестокая власть царской администрации, смыкающейся со степной знатью; с другой (и это в романе главное), — великая роль русской культуры, оплодотворяющей самобытный гений Абая, и прогрессивное значение идей русской революционной демократии. Под их воздействием формируется характер Абая — человека, художника и общественного деятеля.

Третья книга, изображающая уже зрелого поэта-борца, широкое влияние которого на народ определяется не высоким положением или административной властью, а непрерываемым нравственным авторитетом, включает в повествование черты учительства, традиционные для восточной литературы вообще и для

казахской в частности. Абай выступает здесь как организатор и наставник молодежи: молодых поэтов, молодых деятелей обновляющейся степи. Жестокое обострение общественной борьбы, все более ясные черты непримиримого классового конфликта, проявляющегося во всем (от спора за землю до спора из-за жепищины), окончательно размежевало друзей и врагов Абая. Отец поэта, его братья, первая жена, многие друзья юности оказались в стане врагов. Но все новое, здоровое, растущее — с ним: с ним молодежь, с ним русские ссыльные революционеры, с ним степные протестанты и бунтари, с ним и люди искусства, которые выступают в романе носителями всего прекрасного, знаменем добра, справедливости, свободы.

И вот четвертая книга — особая по содержанию и стилю. Это Абай-философ и гражданин, уже переживший немало разочарований и потерь, но сохранивший свои просветительские идеалы, свою верность делу народного блага, непреклонность борца.

Теперь уже и степной город, нечастым гостем которого бывал он прежде, становится объектом и ареной поэтической и общественной деятельности Абая. В орбиту его влияния включаются уже и мелкие городские ремесленники, и рабочие боев, грузчики, лодочники, кустари. Жестокое битвы и потери, слышанные оскорбления со стороны зарвавшихся басв-феодалов и блистательные победы над ними и над алчным мусульманским духовенством, тянущим в сторону исламистской реакции, озаряют как бы багровым светом закат жизни великого поэта и просветителя-борца. И это сложное содержание книги находит свое выражение в ее стиле. На смену высокопоэтичным краскам цветущей весенней степи, ее душистым ветрам, радостным рассветам, ясной и чистой любви, вольным играм беспечной молодежи под высоким ночным небом все чаще приходит скучный пейзаж городских окраин, пыльные базары и канцелярии. Да и степь сбрасывается к читателю своим грозным ликом: морозными метелями года великого джута, волчьими стаями, уничтожающими обессиленный от бескормицы скот, опухшими от голода людьми, лишившимися всего своего достояния, бредущими в пространство и падающими на дорогах. Язык поэзии в этой книге нередко уступает место языку философа и трибуна, народного наставника, защитника и печальника.

Трагически заканчивается жизненный путь Абая, теряющего в год великого народного бедствия верных друзей и соратников, последнего из любимых сыновей — Магаша, которого мыслил продолжателем своего дела. Сраженный горем и тяжелым недугом, Абай умирает, с тоской размышляя об участи одинокого дерева,

сраженного бурей и гибнущего в певедении, дадут ли благодатные всходы его рассеянные по миру семена.

Этот образ дерева, сначала пробивающегося малым ростком, затем поднявшегося крепким молодым стапом из глубины породившего его ущелья, зашумевшего мощной зеленой кроной и наконец рухнувшего под ударами стихий, проходит через всю эпопею поэтическим символом трагической жизни могучего таланта, не увидевшего плодов своего труда, но оставшегося жить в веках своей бессмертной поэзией, ставшей основой для возникновения и развития новой казахской литературы.

В эпопее ярко запечатлены нравственная красота казахского народа, его надежды и чаяния, его своеобразный духовный склад, черты его национального характера. Это горячая и заботливая любовь к детям, уважение к женщине-матери, почтение к мудрой трудовой старости, сдержанность, скромность, трудолюбие, верность, любовь к широко распространенному в народе песенному дару.

Высокой поэзией овеяны в романе описание состязаний в силе и ловкости, охоты с ловчими птицами, игр и забав молодежи, многочисленных песенных состязаний. Светлой радостью проникнуты сцены летнего кочевья, зимних поездок по степи, соколиной охоты и скачек джигитов на статных конях навстречу вольному степному ветру.

С обстоятельностью и точностью ученого-этнографа Ауэзов воспроизводит особенности быта, обряды и обычаи своего народа, его одежду и утварь. Описывается свадебный обряд — и читатель узнает, как и в каком порядке движется поезд жениха, какова ритуальная одежда его и невесты, кто, как и где встречает поезжан. Описываются похороны — и перед вами группы родичей, скачущих верхом с воплями по усопшем, девушки в необычных головных уборах, ведущие в поводу коня, принадлежавшего умершему. Не опущена ни одна деталь — ни цвет флага, ни убранство траурной юрты, ни масть жертвенных коней, ни слова ритуального плача-причитания. Перед вами скачки — вы узнаете количество и состав призов, даже вес призовых слитков серебра.

Глубоко оправдана характеристика, которую дал эпопее Ауэзова академик К. И. Сатпаев, назвавший ее «подлинной энциклопедией всех многогранных сторон жизни и быта казахского народа во второй половине XIX столетия». Да, не одно поколение ученых, писателей и читателей будет черпать из этой энциклопедии сведения по истории, экономике, обычному праву, этнографии, литературе, искусству казахского народа.

Эпопея об Абае как явление искусства стала возможной лишь в результате широких интернационалистских взаимодействий, культурных связей и обмена опытом между многими народами. Подробный и тонкий анализ человеческой души, живая диалектика характеров, мощное изображение больших страстей, свободная, но стройная во всей своей емкости и многолинейности композиция — все это свидетельство не только глубокого усвоения традиций русской и мировой классики казахским писателем-реалистом, но и доказательство того, что, творчески усвоенные, традиции эти помогают росту и развитию самой казахской литературы, развитию казахского национального искусства социалистического реализма. «Путь Абая», в свою очередь, оказывает плодотворное влияние на развитие жанра историко-биографического романа в литературе других народов СССР, в их числе и русского романа.

Национальное начало, глубоко и ярко выраженное в эпопее, стало основой ее широкого интернационального звучания. Переведенная на множество западных и восточных языков, она вызвала восторженные отклики и получила самую высокую оценку читателей и критики. «Когда читаешь такую книгу, как произведение Ауэзова, — пишет французский писатель и режиссер Арман Гати, — тебя пронизывает мысль о том, что высокое искусство романиста может заставить читателя испытать на себе чувство перевоплощения: преодолеешь трудности чужого фольклора, освоившись с экзотической терминологией и, перескочив через сотню утекших годов, почувствуешь себя казахом-кочевником и поishiшься вместе с героями по бескрайним степям, то приходя в отчаяние, то стремясь отыскать в грядущем хоть проблеск надежды»¹.

Объединивший в себе лучшие традиции Запада и Востока, возвращенный на интернациональной почве социалистической литературы, «Путь Абая» сегодня является мировым глашатаем социализма и одновременно новаторского метода советского искусства.

Роман-эпопея М. Ауэзова должен был стать началом задуманной писателем большой серии из семи романов, посвященной историческому пути казахского народа — от феодального кочевья до строительства коммунизма.

Первые два романа («Абай» и «Путь Абая») изображали события последних десятилетий XIX и начала XX веков, третий должен был охватить период от революции 1905 года до Великого

¹ См.: Б. Невская. Салем от Абая. «Простор», 1962, № 8, с. 103.

Октябрь, четвертый — гражданскую войну, пятый — время первых пятилеток, шестой — Отечественную войну, седьмой — годы строительства коммунизма. Это была мечта большого писателя и гражданина, выражение его великой, действенной любви к своему народу.

После окончания эпопеи об Абае Ауэзов приступил к последней из задуманных книг серии. Увлеченный жизнью сегодняшнего Казахстана, он начал работу над романом о современности — «Племя младое». В статье «Современный роман и его герой», написанной в 1961 году, писатель уподобляет себя человеку, вышедшему из сумрачного музейного хранилища «увлекательных документов прошлого... на широкий, еще строящийся проспект, весь залитый весенним солнцем»¹.

Его новый роман был не просто творческим актом художника, — он был и непосредственным делом депутата, который, общаясь со своими избирателями, жил их жизнью, их делами, нуждами и волнениями. Его избиратели, жители Южно-Казахстанской области, были его «заказчиками», вдохновителями и героями. «Первая часть романа, которую я заканчиваю, — говорил писатель, — посвящена двум начальным годам семилетки, вторая часть — третьему его году, третья — четвертому и последняя часть — завершающим годам семилетки. Одним словом, мой роман должен вместе с областью шагать по годам семилетки»². М. Ауэзов ставит перед собой задачу не только отражать действительность, но и вторгаться в нее, воздействовать на нее книгами. Он считает, что такова миссия современного романа и его героев.

Одна из главных проблем романа — борьба с пережитками патриархальных отношений в быту, экономике и сознании людей, в данном случае — вчерашних кочевников. Оба плана романа, бытовой и общественно-трудовой, посвящены этой борьбе, охватывающей все стороны жизни нового, «младого племени», которое должно жить иначе, чем его деды, — лучше, чище, счастливее. А для этого нужно, чтобы более высоким стало его сознание, интеллект, чувство своей ответственности — все, что составляет основу человеческого достоинства.

Решающее значение автор придает выбору героев. Он не собирается выводить одни только сильные характеры, которые составят, однако, «костяк» его произведения. В центре романа судьба народа: чабана, пасущего овец и отары в открытой степи; девушки, которую жизнь сталкивает с пережитками патриар-

¹ М. Ауэзов. Мысли разных лет. Алма-Ата, «Жазушы», 1961, с. 58.

² Там же, с. 60.

хальщины; юноши, превращающего производственную практику в самоотверженный подвиг; партийного и советского работника, живущего единым дыханием и трудом с людьми своего района, своей области.

«Один из главных моих героев — первый секретарь обкома, русский коммунист-ленинец, — пишет М. Ауэзов. — Партия посылает его в республику, имеющую немало особенностей, ему неизвестных. Он с трудом, с огромной отдачей сил разбирается в новой обстановке, — ему помогает большой опыт государственной и партийной работы. Он прошел отличную школу жизни, наделившую его честным и отзывчивым сердцем, даром понимать и любить людей, сочувственно воспринимать их счастье, трагедии, смех и слезы. Мой герой — человек высокого интеллекта, носитель русской культуры. Ему есть дело до всего — и до искусства, литературы казахского народа, и до семейных отношений молодоженов, он оберегает любовь от старых обычаев и страдает до боли за чабанов, находящихся в тяжелейших условиях отгонного пастбища. Всего себя он посвящает тому, чтобы людям жилось лучше, чтобы люди становились выше, чище, душевно тоньше. Словом, это человек партии...»¹

В образе Нила Карпова много личного, близкого самому писателю. В речах и делах Нила Карпова мы узнаем многое из того, к чему страстно призывал депутат М. Ауэзов.

Мухтар Ауэзов начинал свой творческий путь с жестокой борьбы с патриархальщиной, с засильем феодального байства во всех областях народной жизни. Он окончил свою жизнь в разгар атаки на пережитки прошлого в экономике и в быту. Такой атакой был его последний роман, который смерть не дала ему завершить, роман новаторский: в нем автор стремился сделать политическую страсть основой психологии, «перевести публицистичность в сферу чисто художественную»².

Тема борьбы за окончательное, глубинное выкорчевывание живучей косности патриархального уклада, усугубленного поверхностным, бюрократическим отношением к людям вполне «современных» карьеристов, стяжателей и приспособленцев, составляет главный пафос последнего романа Ауэзова. Эта тема широко подхвачена «племенем младым» казахских писателей.

Творческое наследие М. Ауэзова исключительно велико и многообразно. Помимо художественных произведений, оно включает в себя многочисленные очерки, публицистические статьи,

¹ М. Ауэзов. Мысли разных лет, с. 63.

² Там же, с. 65.

научные исследования. Ауэзов был автором многих работ по истории тюркоязычных литератур и фольклору, по вопросам литературных взаимосвязей, глубоким и тонким литературным критиком. Он был первым собирателем, составителем и редактором послереволюционных изданий произведений Абая, его первым научным биографом и исследователем его творчества.

Если учеба в Ленинграде, вооружив молодого писателя основами марксизма-ленинизма и оружием русской литературоведческой науки, укрепила в нем ощущение необходимой связи казахской культуры с русской и мировой культурой, то занятия в аспирантуре Среднеазиатского университета в Ташкенте, где со времени образования Туркестанского края были сосредоточены культурные силы многих народов советского Востока, прояснили для него значение общетюркских связей (в частности, глубокую общность казахского и киргизского народного творчества, а также значение татарской культуры для развития других культур тюркоязычных народов пашей страны).

Примечательно обращение молодого ученого к «Манасу» — выдающемуся памятнику киргизского фольклора. Важно отметить, что его исследование о «Манасе» не носило описательного характера, не преследовало цели простого изложения сюжета (хотя и описание «Манаса» было бы уже немалым достижением в те времена). Нет, работа Ауэзова предполагала систематическое изучение памятника.

Как бы ответом на призыв Горького изучать родной фольклор явилась совместная работа М. Ауэзова и Л. Соболева «Эпос и фольклор казахского народа», написанная в конце 30-х годов. Она является важным этапом в развитии казахской и всей тюркоязычной фольклористики, так как впервые дает систематическую классификацию жанров казахского фольклора, приложимую к фольклору и других народов советского Востока. Работа эта дает также изложение и описание основных произведений казахского народного творчества, начиная с древнейших памятников ногайско-липецкого эпоса до исторических песен недавнего прошлого, анализ эстетических особенностей этих произведений, их жанров, их поэтики, а также историческое обоснование и характеристику их сложения, развития и бытования. Особое место уделено в статье проблеме взаимодействия и взаимовлияния национальных культур. Развитие национальной традиции мыслится Ауэзовым не самоцельным, а обусловленным стремлением к великому объединению культур Востока и Запада на общей социалистической основе.

Существеннейшее значение имели работы Ауэзова, освещавшие проблемы русско-казахских литературных связей. В статье

«Традиции русского реализма и казахская дореволюционная литература» охарактеризована роль русского реализма в становлении казахской письменной литературы. Под влиянием русских писателей-классиков сразу же определились такие ее черты, как тесная связь с жизнью народа, сознание ответственности перед ним. Ауэзов подчеркивает, что через русскую литературу и язык к казахам приходила литература мировая. Важным результатом влияния русского реализма Ауэзов считал также пересмотр отношения к национальной традиции, который был начат казахскими классиками-просветителями и продолжен в советской литературе.

Большое место в трудах Ауэзова занимала проблема национальной формы, может быть, одна из наиболее сложных в теории нашего многонационального искусства и вместе с тем одна из наиболее существенных.

В статье «К задачам развития и изучения братских литератур» М. Ауэзов, ратуя за комплексное изучение советской литературы, говорит, что «естественно ставить и вопрос о том, не стирается ли при иных обобщенных анализах и выводах национальное своеобразие, своя специфика каждой литературы в отдельности». И отвечает на этот вопрос отрицательно, опираясь на формулу неразрывного единства национального и интернационального: «Наоборот, вопрос о нем (то есть о национальном своеобразии. — З. К.) в конкретных проявлениях, воплощениях идеи интернационализма, народности, революционности будет разработан на каждой литературной почве с учетом того нового, оригинального, своего, что принесла та или иная литература в общую сокровищницу»¹. Подобная постановка вопроса обусловлена всей системой взглядов художника и ученого-интернационалиста.

М. Ауэзов пишет о том, что национальные памятники культурного наследия становятся «общенародным интернациональным достоянием всех наших народов». Он ставит вопрос о том, что социалистическая культура не только создает свои интернациональные ценности, но и приобщает к ним — в результате развития общей интернациональной основы жизни народов — культурные ценности прошлого. При этом русскому реализму М. Ауэзов придает решающее значение в деле объединения братских культур, в особенности культур Запада и Востока.

Еще отчетливее выступает в работах М. Ауэзова мысль об объединяющей роли реализма, когда речь заходит о реализме

¹ Архив музея М. О. Ауэзова, папка № 223, с. 56.

социалистическом. Выступая в 1949 году на обсуждении казахской литературы в Москве, он говорил о необходимости для писателей братских народов «более глубокого освоения метода социалистического реализма, путем к которому должно стать систематическое изучение лучших произведений великой русской литературы и творческое применение прекрасных ее традиций к национальной специфике, богатству родного языка, особенностям характера и традиций своего народа и своей национальной культуры. Сделав метод социалистического реализма основой своего творчества, мы тем самым обогатим национальную форму нашей литературы и одновременно освободим, очистим ее от канонизированных, зачастую застывших и окаменелых форм, удержавшихся в ней вследствие отсталости нашего народа в прошлом»¹.

Зналок тюркских языков, Ауэзов свободно оперирует разноязычным материалом, поверяя успехи литератур молодых достижениями русской советской литературы. Он явился одним из зачинателей комплексного изучения многонационального советского искусства.

Уже с 30-х годов Ауэзов выступает не только как литературовед, но и как художественный критик, озабоченный тем, чтобы вклад каждой национальной литературы в сокровищницу советского искусства был полноценным. Он высоко оценивает творчество Самеда Вургуня и Мусы Джалиля, ратует за присуждение Ленинской премии Расулу Гамзатову. Он первым обратил внимание на молодого Чингиза Айтматова, видя в нем выдающегося представителя нового поколения писателей советского Востока.

С литературной и научной работой Мухтара Ауэзова была неразрывно связана и его общественная деятельность. В качестве члена Советского Комитета защиты мира он много сделал для укрепления взаимопонимания между Востоком и Западом. Он стремился пропагандировать советскую культуру с целью распространения ее плодотворного влияния среди многомиллионных народных масс зарубежного Востока, сбрасывающих узы колониализма.

Как бы концентрированным выражением его идей и взглядов на мировое содружество свободлюбивых народов стала книга очерков «Моя Индия», исполненная глубокого и доброго внимания ко всему лучшему, что создано древним народом в его многовековой исторической практике, будь то характер человека, его труд или произведение искусства.

¹ Архив музея М. О. Ауэзова, папка № 223, с. 73.

Кипучая и многообразная деятельность Мухтара Ауэзова, отдавшего все свои силы делу борьбы за мир и дружбу между народами, делу сближения и взаимообогащения культур, еще при его жизни получила признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Для нас это признание тем более ценно, что М. Ауэзов являл собою пример художника, последовательно утверждавшего в своем многожанровом художественном и научном творчестве принципы социалистического реализма и рассматривавшего литературу как боевое оружие человечества, идущего в коммунизм.

З. КЕДРИНА

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 28 сентября 1897 года в семье кочевника-казаха Чингизской волости, Семипалатинской области, — Омархана Ауэзова. Как известно, до Великой Октябрьской социалистической революции территория и население казахских степей делились не только по административному признаку (уезды, волости), но и по родовому. Мои предки, выходцы из Средней Азии, еще в начале XIX века были причислены к племени тобыкты, из которого происходил и герой моего романа Абай Кунанбаев.

Раннее детство я провел в ауле, там же начал обучаться и грамоте. Учил нас, своих внуков, дед Ауэз (от его имени и происходит моя фамилия).

Мне было лет пять-шесть, когда однажды вечером, в час приятного ожидания ужина, дед решил проверить, не вырос ли я уже для грамоты, и он тут же заставил меня повторить несколько слов со звуком «р». Не умея отчетливо произносить этот звук, нечего было и думать о грамоте: детям, не справлявшимся с ним, муллы крутили язык, — ведь первые уроки начинались с заучивания первых слов Корана: «Бисмилляхи рахман ир-рахим...» («Во имя господя всемогущего»), и никакой мулла не мог допустить «кощунственного искажения священного изречения». Но этот экзамен, видимо, вполне удовлетворил деда, и он взялся за меня на следующий же день.

Помню безоблачное теплое весеннее утро. На лужайке перед зимовкой резвятся телята, прыгают милые детскому сердцу ягнята и козочки, а по небу, подобно белокрылым пери из бабушкиных сказок, далеко растянувшейся стаей летят озаренные солнцем лебеди, чуть слышная песнь доносится с непостижимой высоты. И вдруг все очарование весеннего дня исчезает: нас зовут в душную низкую зимовку к деду. Увидев в его руках толстую рукописную книгу, я понимаю, зачем нас звали, и огорчаюсь еще

больше. Дед пачинает показывать мне в книге арабские буквы, и у каждой из них такое трудное название.

Книга эта была сборником стихов Абая: Ауэз, друг поэта и искренний почитатель его таланта, заказал мулло переписать их в одну книгу и решил обучать нас грамоте по стихам любимого поэта, надеясь внушить любовь к ним и своим внукам.

У деда был свой метод обучения. Вероятно, он значительно облегчал труд учителя, но бедного ученика заставлял проливать немало слез: едва я стал различать буквы, мне пришлось учить наизусть одно стихотворение за другим. Стихи были длинные, непонятные, в них то и дело попадались странные, непривычные, никогда не слышанные имена: Фошкин, Лермонтып, Крылоп, какие-то Татьяна и Анеги. Дед, подражая учителям-муллам, держал нас над книгой с утра до захода солнца, и все выученное за день нужно было перед ужином прочесть ему и отцу наизусть. Вешнее солнце потускнело для меня, целыми днями не видел я своих друзей-ягнят, и абаевские страницы с сердечными жалобами Татьяны были мокры от горьких слез другой жертвы судьбы. Но дед твердо держался своего способа обучения; не помогало и заступничество сердобольной бабушки, опасавшейся, что от непрерывного заучивания стихов ее маленький внук отупеет.

Одиннадцати лет я лишился отца, и меня взял на воспитание мой дядя Касымбек, который в юности перешел из мусульманского медресе в русскую школу, не считаясь с проклятиями своего наставника хазрета Камаледдина. Дядя и меня устроил в Семипалатинское городское пятиклассное училище на земскую стипендию Чингизской волости.

Царское правительство собирало со степного населения средства для этих стипендий с целью готовить в русских школах переводчиков-толмачей, мелких служащих административного аппарата и т. д. Но казахи неохотно отдавали детей в школу. Патриархально-родовые пережитки и фанатические разъяснения мулл вызывали недоверие к русской школе: многие считали, что она учреждена лишь для того, чтобы крестить казахских детей. Поэтому уездным начальникам приходилось замещать вакансии в порядке разверстки — по два мальчика с волости, — и порой волостные управители выплачивали родственникам кандидата выкуп, чтобы выполнить разверстку. Понятно, что при таком отношении к русской школе наш дед выслу-

шивал от старейшин и аксакалов немало упреков, насмешек и осуждений за то, что разрешает сыновьям и внукам учиться в русской школе. Когда на лето мы, ученики, приезжали в аулы, родовые воротилы, глядя на одетых в форму мальчиков, сокрушенно покачивали головами и объясняли это «бедствие» губительным влиянием Абая. В этом они, пожалуй, были правы: великий поэт не только ратовал за русское образование в своих стихах и философских рассуждениях, но и сам обучал своих детей в русских школах, и это было известно всем.

Степная жизнь, которую мы наблюдали во время каникул, представляла резкий контраст нашей городской жизни, и благодаря этому ярче бросались в глаза пережитки кочевого феодализма, позорные обычаи патриархальной старины — калым, многоженство, пеня за убийство, родовая борьба с ее набегами, тяжбами, грабежами — борьба, разорявшая народ. Этот мрачный быт косной, отсталой степи был еще так силен, что и после установления Советской власти в Казахстане общественности приходилось бороться с баями и полуфеодалами, крепко державшимися за древние установления обычного права, адата и шарпата.

Семипалатинскую учительскую семинарию я окончил в 1919 году и по установлении в Семипалатинской области Советской власти начал свою общественную деятельность, работая сперва в Семипалатинском облисполкоме, потом в КазЦИК в Оренбурге, одновременно пробуя свои силы в драматургии и журналистике. Осенью 1922 года я поступил вольнослушателем в Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте. Тогда же начал сотрудничать в журнале «Шолпан», где напечатал несколько рассказов об уродливом социально-бытовом укладе старого казахского аула.

Через год я поступил в Ленинградский государственный университет на филологическое отделение. Здесь я учился до 1928 года, после чего поступил в аспирантуру при восточном факультете Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте.

К тому времени в казахских театрах уже шли мои пьесы «Байбише-токал» («Жены-соперницы»), «Енлик и Кебек» и другие, в журналах и отдельными изданиями печатались рассказы и повести.

Мною написано свыше двадцати пьес, показывающих различные этапы социалистического строительства в Ка-

захстапе, написано много рассказов и повестей. Последние двадцать лет я посвятил работе над романом о классике казахской литературы Абае.

Прежде чем начать задуманный роман, я занялся изучением биографии и творчества поэта. Я редактировал Полное собрание сочинений поэта, написал его биографию, собирал касающиеся поэта и его эпохи исторические материалы; в соавторстве с моим другом, русским писателем Леопидом Соболевым, знатоком истории культуры казахского народа, написал трагедию «Абай», отображающую последние годы жизни поэта.

Собирание материалов об Абае имело свои любопытные особенности, незнакомые большинству авторов исторических романов. Дело в том, что о жизни, работе, внешности и характере Абая нет никаких печатных и письменных данных — ни личного архива, ни дневников, ни писем, ни мемуаров, ни даже просто зафиксированных на бумаге воспоминаний о поэте. Все данные его биографии, все события романа мне пришлось собирать долгое время путем устного опроса знавших Абая людей, путем беседы с ними. Большинство этих людей, естественно, были уже стариками, в памяти их потускнели и давно минувшие дни, и образы людей, и разговоры, и события. Беседовал я и с учеником Абая Кокпаем: он был единственным из близких друзей поэта, кто дожил до наших дней. Скончался Кокпай в 1927 году, но, будучи моложе Абая на шестнадцать лет, ничего не мог рассказать о юных годах поэта.

Еще задолго до того, как у меня возникла мысль о романе, в ученические годы я подолгу слушал воспоминания своего деда Ауэза, который был на несколько лет старше Абая. Он хорошо помнил и Кунанбая. В те же годы я видел постаревшую Дильду, первую жену Абая. Много драгоценных подробностей рассказывала об Абае глубоко преданная его памяти Айгерим, пережившая мужа на десять с лишним лет.

Собирая материал, я беседовал и с друзьями и почитателями Абая, и с бывшими его врагами и завистниками — или с самими его современниками, или их сыновьями и внуками. В результате этих поисков у меня накопилось такое множество сведений о моем будущем герое, что я часто повторял один из великих заветов Горького: «Пиши о том, о чем не имеешь права молчать». Даже сейчас, когда роман о юности и о молодости Абая уже закончен, я вижу, что у меня осталось еще такое количе-

ство не вошедшего в эту книгу материала, что на основе его можно было бы написать еще одну такую же книгу об этом же периоде жизни моего героя. Полнота материала была благоприятным, даже решающим условием моего труда.

Но в сборе материала были и свои трудности. Читать о прошлом приходилось в потускневшей, ослабнувшей памяти моих престарелых собеседников. Много приходилось оживлять своими догадками, расшифровывать путем сопоставления с рассказом другого современника Абая. С этими воспоминаниями приходилось обращаться бережно и осторожно: так запоздалый путник, отыскав в пепле костра, оставленного давно ушедшим караваном, тлеющий уголек, бережно и осторожно раздувает его, вызывая своим дыханием огонь. Восстанавливать по этим рассказам давно ушедшую жизнь было так же трудно, как по облику шестидесятилетней Айгерим представить себе всю прелесть ее девичьей красоты, пленившей когда-то Абая.

Но верные помощники советского писателя — метод социалистического реализма, ясное критическое отношение к прошлому, великие реалистические традиции русских классиков — выводили меня из множества тупиков. Немало помогал мне и сам Абай своими бессмертными творениями.

Воссоздавая его образ, я думал не только о месте Абая в истории нашего народа, не только о его прогрессивной роли в прошлом, но и о том, какие мысли и мечты связывают его с нашей современностью, с советским поколением. Из жизни и деятельности поэта прошлых времен я отбирал то, что дорого и памятно для последующей истории. В этом отборе я все время помнил об историческом пути моего народа от времен Абая к социалистическому переустройству общества. Идеалы прогрессивных и революционных деятелей прошлого, безмерно обогащенные Великой Октябрьской революцией, воплощаются в жизнь.

Роман «Абай» входит в состав задуманной мною серии романов, которые должны будут показать жизнь казахского народа за сто лет — с середины прошлого столетия до конца четвертой пятилетки. «Абай» является первым романом этой серии. Сейчас я заканчиваю книгу, посвященную последнему этапу жизни моего героя. Как и остальные книги серии, и этот роман является самостоятельным произведением, хотя отдельные персонажи, их

дети и внуки будут переходить из одной книги в другую.

В этой серии исторический роман будет переходить к роману о современности. Серия начинается рассказом о великом поэте, устремленном в грядущее, и закончится описанием этого грядущего, ставшего настоящим. То, о чем мог лишь мечтать поэт, что он мог представить себе в смутных и зыбких очертаниях, воплотится в реальную величественную действительность наших дней, нашей величайшей в истории человечества эпохи.

Одновременно с писательской работой я уже давно, еще со студенческих лет, занимаюсь и научно-исследовательской. В качестве историка литературы я участвую в составлении школьных и вузовских учебных пособий по истории казахской литературы, свыше двадцати пяти лет веду педагогическую и лекторскую работу в вузах Алма-Аты. В качестве профессора Казахского государственного университета имени С. М. Кирова я веду специальный курс абаеведения, читаю лекции по казахскому фольклору и как действительный член Казахской Академии наук работаю в Научно-исследовательском институте языка и литературы при Казахской Академии наук.

М. АУЭЗОВ

РАССКАЗЫ
И
ПОВЕСТИ

СИРОТСКАЯ ДОЛЯ

Столбовая дорога тянулась мимо горы Аркалык. Дорога степная, унылая, голая, и Аркалык издали бросался в глаза, вселяя надежду в души усталых караванщиков. Узкий гребень горы провожал дорогу верст десять. Но тщетно здесь искали затишья. Одиноким Аркалык не укрывал от пронзительных ветров ни с севера, ни с юга. Зимой гору обволакивал сугроб, круглый, как яйцо. Здесь постоянно свирепствовали метели и то и дело случался джуг — белая гроза для скота, черная беда для людей.

В аулах близ Аркалыка селилась, сетуя на бога, беднота, голода. Селилась по наследству от предков и потому, что больше поселиться было негде. Утешало то, что земля под горой была плодородна, люди пахали и сеяли и тем кормились. В затяжные метели, в гибельное степное ненастье у этих людей находили приют и ночлег путники с большой столбовой дороги.

Единственный перевал на Аркалыке назван Кушикпайским. Кушикпай — родоначальник местных жителей. По преданию, он был батыром. Неподалеку от дороги хорошо виден старый могильник, невысокий курган, сложенный из необтесанного камня. Это могила Кушикпая. И кто бы здесь ни проезжал, все узпавали, кем был этот необыкновенный человек и какую жизнь он прожил.

Память о Кушикпайе ревниво хранили немощные, голодные и хворые старики — живая летопись степи. Они не пытались приукрасить словами сердце Кушикпая, они только стерегли, чтобы оно билось. А уж приукрашивали другие — с их слов... Если хозяйские овцы под вечер благополучно пригнаны из безлюдной ветреной степи и можно разогнуть у очага натруженную спину, если ты, гость, по душе хозяину, не досаждаешь ему и не творишь ущерба, беря у него корм для своих лошадей и волов, и если в доме

есть чай, а из котла на огне благодаря богу и тебе пахнет мясом, — садись, добрый человек, слушай!

Обыкновенно гость дремал, промерзший, измученный дорогой, но слушал. Слушал и ухом и сердцем.

Кушикпай умер молодым, двадцати одного года от роду. С юности он искусно владел соплом и шокпаром — копьём и дубинкой, мечтал стать военачальником, возглавить ратных людей, ходить в боевые походы. Был он находчив, ловок, неутомим, неизмеримо силен и не знал себе равных в схватках и стычках. Он не боялся ни человека, ни зверя, ни оборотня, ни вьюжной ночи, ни злой приметы. Потому и прослыл батыром.

Черная оспа, пришельца с юга, настигла Кушикпая и свалила наземь, как не мог бы свалить ни один силач. Дни и ночи лежал он и бредил. Об этом прознал его давний соперник из рода уак и сказал себе: пришла моя пора! Заявился в аул Кушикпая и, насмехаясь над лежащим, среди бела дня угнал его любимого коня Кызыл-бесты, стоявшего на привязи у юрты.

Дошла печальная весть до Кушикпая. Осерчал батыр, поднялся на ноги, не чуя боли, накинул на голое тело чекмень, халат из верблюжьей шерсти, и пустился в погоню. С пишкой наперевес, страшный, грозный, прискакал он в аул обидчика, когда тот весело похвалялся угнанным знатным конем и своей безнаказанностью. Нрав Кушикпая знали: он готов был биться насмерть хоть с вором, хоть со всей ватагой его родичей и слуг.

Перетрусили молодцы. Вмешались аксакалы и уговорили Кушикпая не проливать крови рода уак, к которому он сам принадлежал. Вернули ему коня и, чтобы забылась кровная обида, преподнесли богатый халат, проводили из аула с честью.

Ехал Кушикпай через Аркалык. На виду у перевала оспа сказала свое последнее слово: стащила батыра с седла уже без памяти, в горячке. Чекмень на нем был насквозь пропитан гноем из растертых оспенных нарывов. Все же, говорят, успел Кушикпай лечь головой в сторону Каабы — по мусульманскому обычаю, приник к родимой земле и протился с жизнью. Тут и догорел.

Но земля не забыла, как он ее обнимал, и потому степь у Аркалыка так сурова, потому обледеневаet зимой и не кормит скот, а людей гонит прочь жгучими ветрами, слепит метелями. Не прощает она того, что Кушикпай умер молодым, умер во гневе, не насытив своей дерзкой души.

Вот что рассказывали на столбовой дороге у Аркалыка убогие бедняки, гордые тем, что они потомки батыра. Тяжко было бремя их жизни, но ее освещала слава Кушикпая, то, как он умер, как жил, как летел на коне, черно-пятнистый от оспы, словно барс.

Кончался январь. Лениво угасал морозный день. Небо было ясно. Лишь на закате, как в кузнечном горне, жарко плавнились корявые железины туч. Сквозь них глядело чудовищное кровавое око солнца, без ресниц, с бельмом посредине. Чуть выше, подобно клубам дыма, висели облачка, багровые снизу. Небо над ними бледно зеленело. А в сторонке одиноко торчала опрокинутая ущербная луна. Она смотрела испуганно, как бы из-за кисейной занавески.

Весь день было безветренно, но на перевале Кушикпая мело. Свежий снег взвивался красно-сиреневыми космами и серпами. Тени лежали, как вспухшие жилы. И казалось, тени ползут, ползут и высасывают из сугробов красноту.

По дороге к Аркалыку ходкой рысью бежала пароконная упряжка. В легких желтых саях ехали два отменно одетых человека.

В одном из них сразу узнаешь господина. Поверх теплой одежды на нем серый чекмень с щегольским чернобархатным воротником, на голове — новый лисий малахай. Обут в превосходные шевровые сапоги; из-за голенищ выступают войлочные чулки, тоже отороченные черным бархатом. Ему лет около тридцати. Он коренаст, круглолиц и курнос. Клинышком торчит холеная борода. В косо посаженных заплывших и колючих его глазках, в постоянно насупленных бровях — барское презрение и затаенная жестокость. А в брезгливо распущенных губах нетрудно угадать женолоуба.

Это мирза Ахан, волостной управитель. Он возвращался из города, закончив там свои дела. Дела же были такие — внес в казну собранный в волости налог.

С волостным ехал, как водится, любимый слуга и прищешник — Калтай. Мирза держал его в строгости, но Калтай был преданным псом и разбитным шутом; конечно, вороват, зато шустр, оборотист и особенно полезен в ночных похождениях. Мирза привык ждать от него неожиданно приятных услуг.

За день пути Ахан не проронил ни слова, и можно было подумать, что он озабочен и отягощен не иначе как

народными судьбами, поскольку он голова волости. По Калтай хорошо знал, в каких волостях витают мысли господина и что это за мысли. Воображает, как он... с бабой, той или другой, и так целый день. Упаси боже его потревожить. Огреет плетью, выкинет из саней.

К вечеру, у Аркалыка, мирза стал зябнуть на ветру, оживился, заворочался. Калтай подхлестнул вожжами коней, говоря:

— Наверно, по сей день на Кушикпае горит оспа, если он так дует и дует...

Ахан осканился беззвучно, как лиса. Не угодил!

На отлогом пригорке вдали показались две могилы, и путники, подняв руки, скороговоркой пробормотали молитву.

Могилы свежие, песок вокруг еще не потемнел, но покрыт пятнами снега, похожими на оспины. Ветер с Аркалыка дул со злым посвистом, словно рассерженный тем, что видел на этом месте. Минует, может быть, одна ночь, и ветер упрячет под белым саваном песчаные бугорки — последнюю память о людях, которые под ними погребены, — и следа не останется.

Через полверсты завиднелась одинокая зимовка. Она казалась заброшенной, необитаемой, вросла в землю, увязла в сугробе и мало чем отличалась от могил. Крыша обветшала, углы обвалились, снег прикрывал прорехи. Лишь узкая тропка была протоптана к черным стенам зимовки, — в ней жили...

Калтай, загадочно крикнув, направил упряжку к зимовке.

Вблизи она выглядела еще страшней. Над скотным двором зияла дыра, над дырой вихрился снег, подобно клубам дыма. За поваленной загородкой у обдерганной скирды сена понуро стояли тощий годовалый теленок и барашек с пашленками снега на спинах. Дрожь охватывала при мысли, какое злосчастье облюбовало этот дом!

Соскочив с саней и стряхивая снег с чекменя, Ахан проговорил сквозь зубы:

— Куда ты меня привез? Тут, наверно, ни сесть, ни лечь... Неужели не мог найти жилья поприличней?

Калтай, распрягая коней, ответил с ухмылкой:

— Потерпи... Увидишь, где ляжешь...

Мирза приосанился, насколько позволял его кудрый рост и вдавленный нос. Калтай церемонно взял его под руку. Пригнувшись, они ступили под дырявую кровлю

двора, нащупали в темноте забухшую, заиндевелую дверь и, спотыкаясь, ввалились в дом.

В доме было две комнаты. В передней слабо мерцало застекленное оконце величиной с ладонь, в сложенном из кирпичей тагане светились угли. Но здесь, по-видимому, не жили. Комната служила сенцами и кладовой. Глинобитные стены давно не белены и грязны, потолочные жерди закопчены дочерна, в углах серебряные разводы плесени. Теснясь друг к другу, близ тагана топтались на привязи новорожденный ягненок и совсем жалкий телок с войлочным покрывалом на костлявой спине.

Задняя, жилая, комната выглядела как будто бы чуть веселей. Бросалась в глаза большая печь, впрочем, тоже неказистая, словно отлакированная сажей, с выщербленным подом. Сбоку от печи возвышалась деревянная кровать; краска на ней облупилась, но старенькие, потрепанные одеяла и ветхие подушки были уложены так тщательно-аккуратно, что сердце щемило. У стены против двери на низкой подставке — два сундука, застланные серой кошмой. Вот и все имущество.

Стекло в оконце, надколотое крест-накрест и заклеенное полосками бумаги, словно бы дышало. При каждом порыве ветра стекло отдувалось струйками пара. И здесь было темно; слабый свет исходил от тлеющих в печи углей.

Кто же обитал в этом темном, жалком доме? Три женщины... Они сидели у печи, съезжившись, нахохленные, точно птицы. Одна из них — дряхлая старуха, ей лет за восемьдесят, второй около сорока, третья — девочка тринадцати лет. Это бабушка, ее сноха и внучка.

Старшая немощна, измождена, и все же лицо ее на редкость мужественно. У него неженский склад — высокий лоб, крупный нос. Из-под редких сивых бровей устало смотрели бесцветные глаза. Но в глубоких морщинах на обвисших щеках было не только горе, след мук и обид целой жизни, а еще и многолетнее безответное упорство бедняка, способное сдвинуть гору труда и вынести ношу, непосильную иному герою.

Лицо у снохи, напротив, пугливо-настороженно. Яркие черные глаза ее странно неподвижны и уставлены в одну точку, словно у помешанной. Взгляд ее внушал невольную оторопь. Но она не помешана, она слепа.

И только младшая, Газиза, тоненькая и нежная, с круглым, слегка веснушчатым лицом, мила — от нее

трудно оторвать взгляд. Она легка, быстра и изящна, как козочка. А недетская печаль в ее робко опущенных глазах придает ей особую привлекательность. Пожалуй, в них и не печаль, а скорее мольба, наивная и трогательная, как убранный се руками пивца постель.

Горе у этих троих, слабых, общее — они осиротели. Буря пронеслась над их головой, оставив у дома свежие могилы. Там, на песчаном пригорке, похоронены отец и брат Газизы. Их унес тиф. Тщетно бабушка призывала духов предков, они не спасли кормильцев. А после похорои «сорника попала» в глаза матери. Слезы погасили в них свет.

— Боже, — вопрошала старуха с неистойвой верой, без гнева. — за какие грехи?

Они и прежде бедствовали, одипокие, никому не нужные в бескрайней степи. Но сам Кушикнай в свое время был одинок... И по вечерам у нежаркой печи, нахохленные, точно птицы, женщины вспоминали и оплакивали ту жизнь, те райские дни, когда в семье их было пятеро...

И вот нежданно-негаданно в доме появились гости, богатые, гладкие, в лисьих шапках, истинные бай.

Мать Газизы, тихонько толкнув ее локтем, спросила, что за люди. Девочка шепотом ответила:

— Не знаю... Незнакомые...

Гости, отряхнув у двери халаты, прошли выше, к сундукам, и уселись на почетном месте. Мирза Ахан прочел суру из Корана. Затем гости поздоровались с хозяевами, и старший из гостей обратился к старшей в доме:

— Воля божья! Дай вам бог изобилия и сытости... — намекая, что недурно бы расстелить дастархан.

Женщины онемели при виде таких редкостных гостей, а придя в себя, приободрились и даже, как им самим казалось, повеселели. Зажгли керосиновую лампу, тоже с падколотым и заклеенным стеклом. Газиза расторопно и сноровисто приготовила чай. Все, что было в доме — кусочек масла, темные лепешки, — выставили на единственную драгоценную скатерть перед почетными гостями, мужчинами.

Старуха, как подобало бы аксакалу, повела с ними неторопливую беседу.

Ахан слушал ее, то и дело причмокивая пухлыми губами и невпопад кивая, а между тем исподтишка неотрывно следил заплывшими глазками за Газизой.

Калтай любезно рассказал старухе городские и аульные новости, и она тоже чмокала и кивала.

Но после чая говорила больше старуха, а гости помалкивали. Видать, сам бог привел в ее дом всемогущего волостного. И она вела речь искусно и смело, как мог бы не всякий мужчина с такой важной птицей.

В голосе старухи, не по годам звучном и трепетном, были и гнев, и ласка, и горечь, и восторг, и боль, и надежда. Она сетовала на судьбу, по так, будто сказывала, будто выпевала старинное предание. И выражение ее лица менялось, как меняется вид замшелой скалы в ветреный день, под летучей тенью от облаков.

— Милый, — говорила она, — милый... Сам видишь, понимаешь, чем дышим. Я на пороге смерти, нет мочи жить, нет мочи помереть. Что я могу? Только молотить языком. Сноха ослепла, ей поводырь нужен по этой жизни. Кто же нас кормит? На ком работа? На внучке. Одна приняла на свои плечи мужское бремя. А плечи-то детские. Ты посмотри, ты пойми, милый!

К чему тебе это говорю? К тому, милый... чтобы билось у тебя сердце, когда, едучи мимо, вспомнишь о нас. И не скудела бы твоя милость, когда встретишь таких, как мы. И не думал бы ты, как другие: что мне до них, они из чужого аула! И чтобы другие, на тебя глядя, устыдились, бессовестные... не срамили бы наш род уак... и память Кушкпая...

Ведь что за люди, милый! Недалекие, мелкие души. Истинно бабы... Когда отзываются? Когда их кличут, как псов. Кому угождают? Тому, кого боятся. Если какой молодец и покажется в нашем доме, так задрав нос, с гонором, воображая себя господином. И все, все норовят, изловчатся что-нибудь да утянуть, как воры. Еще не успела земля отлежаться на могилах моего сына и его сына, задумали родичи разделить сыновнее имущество и разобрать нас, женщин, по чужим домам. Понятно, мы долго не протянем. Одни женщины не живут. Вот эти лукавые и зарятся. Рвут за живое.

Взять хотя бы Смагула, деверя моего. Сын делил с ним последнее, почитал за самого близкого. Покрывал плохое, хвалил за хорошее, в люди его вывел. И тот смотрел на сына, хвостом виляя, ожидая подачки. А как помер сынок, Смагул взял да и увел со двора нашу единственную яловую овцу. Зарезал он, видишь ли, барана в день похорон, — ну и чтобы не терпеть убытка... Сноха послала

к нему человека со слезной жалобой. Что же ответил? Пусть, говорит, не строит из себя хозяйку и поменьше голосит по мужу. Вои как! Ползала вошь по копыту, вползла на голову.

Был бы жив сын, господи... разве они посмели бы? У него в доме всегда горел очаг, а в бедном котле варилась радость. Каким был благонаправным, совестливым! Пусть земля тебе будет пухом, дитя мое... Из-за этих негодников, не стоящих его ногтя, он и погиб, бедняга. Ты послушай, милый.

Есть у моего деверя сын, зовут Дюсеном, прозывают «Болтуном». У него одно пристрастие — бабьи билетки. В жизни дельного слова не сказал, доброго дела не сделал. К тому же скряга, каких свет не видел. Удавится, но не угостит. Когда в доме гость, у Болтуна траур. Жену со света снимет, если в этакий день, упаси бог, она сварит мясо. Скулит, плачется, что она разоряет его. Послушаешь — убьешь, плюя себе за ворот...

Как-то поздней осенью, не знаю уж каким ветром, занесло к Болтуну шалого конокрада из Шубарадыра, рода тобыкты. Болтун и отличился: стал перед ним на пороге. Выгнал человека в буранную почь. Нечем, мол, тебя кормить, негде уложить! Известно, каковы тобыктинцы, их род богом обласкан, они нас, уаковцев, за людей не считают. Мог ли тобыкतिнец вытерпеть такую обиду? Нагрянул в ту же почь и погромил весь двор Болтуна, угнал полдесятка жирных баранов и двух рабочих лошадей.

Думаешь, кинулся хозяин в погоню? Как бы не так. Побоялся, что лишится последнего коня под собой. На другой день припелся с поклоном к моему сыну. «Тебя, говорит, тобыктинцы хорошо знают, тебя одного уважают, твоего слова послушаются. Неужто допустишь грабеж?»

Конечно, мой сын его поругал. «Не помним за тобой поступка, угодного богу. При кухне, при жене ты герой. Пожалел толику мяса человеку... а он для тебя важнее волостного... (Ахан холодно усмехнулся.) Сторицей тебе воздал бы, сторицей наказал. Ни силы, ни ума, грызешься с каждым проезжим. Думаешь, этим возвысишься? Тебе ли жить у Аркалыка, где Кушикпай жил! И у меня чего просишь? Просить у человека, чего он не может, — значит, позорить человека!» Вот как он его бранил, милый.

Дюсен-Болтун и голову повесил. «Кроме тебя, говорит, просить некого».

Собрался сынок и поехал выручать добро. Почитай, дней двадцать обивал пороги у тобыктинских аксакалов. Вор-то был из богатого спесивого аула. Их аксакалы так порешили, чтобы Дюсен засватал свою девятилетнюю дочь за жениха из рода тобыкты. Мой сын дал согласие, поручился за Болтуна и вернулся со всем утпапным скотом. Теперь Болтун с тем вором кровные сваты, породнились! А сын мой, на ту беду, занемог в дороге. Как вернулся, слег. И не поднялся, кормилец. Сам ушел невозвратно и младшенького своего увел, последнюю нашу надежду. Тут-то его и отблагодарили: отобрали у нас яловую овцу и голосить не велели. Да тем еще не кончилось...

За день до своей смерти сын взял в руки бумагу, карандаш и написал, глядя богу в очи, что кому должен, а что ему должны. Читать-писать он умел, как мулла, с детства. И скажу: не любил сидеть сложа руки. Умел подсобить кузнецу в ремесле, купцу в торговле, а при случае и костоправу и лекарю. Половину его имущества я истратила на погребение и на уплату долгов, чтобы они не легли ему на душу. До копеечки отдала. Но надо же тому быть: оказался у сына долг, не записанный на той бумаге... И какой долг! Считаю, примерно, в три головы скота. Все едино что последнее отдать да разбрестись по миру. Нож в спину. А он, незаписанный-то, проходу не дает, приспичило содрать с голых шкуру. Спросишь, кто такой? Богатей, милый, Курносый Марден из рода тобыкты.

(Мирза Ахан, сам безобразно курносый, скривился и оскалился. Калтай едва не прыснул. Но старуха сочла, что волостной гневается на тобыктинца.)

Я не отрекаюсь. Раз сын ему обещался, я сыну верю. Только дал бы осмотреться да выпросить-вымолить у тех, кто сыну должен. Мы — со всем нашим желаньем... И, может, мы уговорили бы его, кабы не Дюсен-Болтун. Чихнуть не успели, как он за нас все обмозговал да обстригал.

Сообразил скупердяй, что Марден своего не упустит. Еще, глядишь, расчувствуется, пожалеет нас, сырых, а спросит с близких родичей, которые позажиточнее. Попробуй ему не отдай! Пострадаешь своим животом... И что же Болтун удумал? Милый мой, выговорить жутко, язык не поворачивается. И ведь всех, право, всех на свою

сторону повернул. Мышку-то распороть — кошке забава. Чего хотят? Залить слезами Газизу, зрачок моих глаз.

В нынешнем году померла жена у Мардена. Овдовел курносый. А чем Газиза не жена? Чем плоха? Вот как хороша! Сам видишь, милый, сам понимаешь...

Ахан и Калтай мельком переглянулись. Они лежали, опершись на локти, изредка побрякивая, похмыкивая, и лица у обоих были озабоченные и вроде бы расстроенные. Ахан распустил пухлые маслянистые губы, точно у него была одышка.

— Не вытерпела я. Разругала, прокляла этих негодников зловредных. Сердце зашло: не знаю, как не разорвалось. Поплакали, потужили, богу помолились... Что нам еще оставалось? Но уж третий день пошел, а, говорят, курносый еще не уехал. Гостит у дорогих сватов. И теперь жена Болтуна сводничает, пристаёт к девочке. До чего же усердствует, подлая! «Ты, говорит, бессердечная. Не жалеешь своих матерей, ни зрячую, ни слепую... Где тебе справиться с хозяйством, как мог бы мужчина! А муж, он опора и тебе, и твоим матерям. Выйдешь за богатого — забудешь, как плачут, как голодают»; Вот до чего хитра, собака. Обманом готова отправить Газизу с тем вдовцом на крупе его коня.

Отдать свое дитя за какого-то курносого! В чужой род... Милый, надо тебе знать: мы прямые потомки старших предков своего аула. Наш дом — дом старших в ауле. Может, в моем сыне и в его сыне текла кровь самого Кушикпая! А Кушикпай, — поверь, милый, и сын это говорил, — еще поднимется, рябой от оспы... (Голос старухи впервые осекся, лицо было величаво.) Да что этим вырождакам! И не боятся, что дух моего сына разгневется, покарает. У них расчет: мало того, не поступиться, — еще разжиться на нашей беде. Ненасытные глотки. Думают, сбавят сиротку Газизу — и завладеют нашим скотом да домом. Не мытьем, так катаньем. Сами попросимся под их руку. А они уж нас проводят живьем в могилу...

Правду говорят: самый худой человек зарится на своего ближнего. Такой ли ныне тихий, безобидный этот Болтун, а жена его — с Газизой ангел. И ведь Газиза поплачет, поплачет, нет-нет да и прислушается к той сводне... Не понимает, маленькая, людского коварства. Господи! Помереть... Пора мне. А не могу. Не заслужила я последнего покоя. Не испила еще своей доли. Должна жить... Прости, милый, на глупом слове.

...Старуха, кажется, закончила свой горестный, бедняцкий сказ. Она сморкалась, утирала рукавом глаза. Но слез не было. Давно все вытекли.

Плакала за ее спиной сноха, беспокойно прислушиваясь и словно бы ища страшными сумасшедшими глазами гостей.

Мирза Ахан, морщась, поеживаясь, словно у него чесалась спина, пробормотал несколько слов. Но он был не любитель и не знаток таких слов, ему было неловко, неудобно, даже неприлично их выговаривать. Старуха и не расслышала, что он ей сказал. Поняла только, что господин раздражен, раздосадован, и встревожилась: не утомила ли она его?

Волостной слушал ее, однако, не перебивая, не торопя. И на Газизу смотрел со вниманием и как будто бы с сочувствием. Ну и его не следует торопить. Наверно, он наслушался в волости просьб и жалоб, ему не в диковинку. Потому он и не спешит обещать, обнадеживать. Благо, что уважил — выслушал терпеливо.

Старуха была довольна...

Она думала о будущем и не видела в нем просвета. Спину ее сгибали годы и привычная покорность судьбе. Сердце холодело от неосознанного недоброго предчувствия. Но во всем ее облике была спокойная сдержанность, ни тени робости и суеты. Бессильная и неутомимая, она была красива, как старый ломовой двужилый конь, от которого шарахается сама смерть.

Газиза приготовила вкусное душистое мясо, подала на единственном в доме блюде. Так велела бабушка. Последний кусок мяса. Гости принялись есть его с охотой, и бабушка, довольная, смотрела, как они его едят, неприметно глотая слюну, обтирая рот сморщенной бестелесной ладонью.

Милая мудрая бабушка. Она не видела того, что видела Газиза. Она не чувствовала того, что чувствовала девочка, а с ней, по-видимому, и ее незрячая мать. Несколько раз мать подзывала Газизу, брала ее за руку и держала, ни слова не говоря, тихо вздрагивая. Разве гости слушали? Ой, непохоже... Вряд ли они поняли, что сделал с ними Смагул и что собирается сделать Дюсен.

Старший гость словно оцупывал настырным жадным взглядом Газизу, да так, чтобы этого не заметила бабушка. И все время Газизе казалось, что он хочет сказать ей глазами что-то тайное, нехорошее, и говорит... и ей

было стыдно и противно это видеть и понимать. А младший гость исподтишка то и дело показывал ей глазами, бровями на старшего, как бы говоря: замечай, кто на тебя смотрит! И дергался, вертелся на локте, когда она отворачивалась или опускала глаза.

Девочка смущенно, испуганно кланялась, уходила в другую комнату, стояла там в темноте и дрожала.

Гости доели мясо, обтерли губы, покрякали, показывая, что сыты. Стали готовиться ко сну. Газиза разобрала постель. Гости вышли во двор.

Старуха, озабоченно и почтительно посмотрев им вслед, сказала внучке:

— Светик... Их лошадям надо сена. Возьми лампу, покажи, где взять.

Девочке боязно было идти из дома, и она промолчала, будто не расслышала. Сено во дворе найти просто... Но старуха повторила:

— Выйди, выйди, доченька. Подумают, что мы невежи. Не поленись, окажи уважение.

Газиза подошла к матери, та нащупала ее руку, подержала и отпустила. Девочка взяла лампу и вышла.

Тем временем Ахан и Калтай шептались во дворе, топчась около своих лошадей.

— Девка ни шута не смыслит еще... Выгнать тебя, пса...

— Я ли не потрафил, хозяин... Девка — первый сорт...

Увидев Газизу с лампой, они замолчали и разошлись.

Газиза повела Калтая к сеновалу.

Вход на сеновал походил на нору. Под низеньким потолком на мятом сене, только пригнувшись, мог бы уместиться человек. Газиза с поклоном показала Калтаю на сено и подняла лампу, чтобы ему было видней.

Калтай, ухмыляясь, подмигивая, уткнул руки в бока. Затем он склонился к уху девочки и гнусаво сказал ей, что дело-то, красавица, не в сене, а кое в чем ином. Наш конь не по тому сену наголодался.

Газиза отскочила от него, чуть не уронив лампу. Она была испугана и втайне польщена. Никто из старших никогда не говорил с ней так заискивающе. Потом она догадалась, что этот господский раб, конечно, подшучивает над ней, и вскрикнула:

— Думаете, я не понимаю? Все ваши козпи... Идите вы отсюда! Мы тоже не позволим над собой насмеяться... —

Поставила лампу на землю, припорошенную снегом, и побежала к дому.

— Эй, эй, постой, что скажу... — дурашливо забубнил Калтай ей вслед громким шепотом. Она не обернулась.

Но у двери в дом она столкнулась с Аханом.

Он облапил девочку, легко подхватил на руки и понес к норе, ведущей на сеновал. Она не успела открыть рта, как он залепил его жирными губами.

Калтай быстро нагнулся и задум лампу. Красноватый огонек мигнул и погас. Прижав лампу к груди, Калтай, крадучись, на носках, словно приплясывая, пошел в сторону, к лошадям.

В крошечной темноте он слышал приглушенные крики и плач. И посмеивался, похрюкивал в кулак. Затем он вышел со двора за ворота — размяться.

Мрак окутывал мир. Был ветер. Колочий снег длинными плетями хлестал землю. Промерзшая земля глухо потрескивала. С незримых в ночи откосов Аркалыка катился не то каменный гул, не то звериный рык, наводивший ужас.

Калтай попятился назад, в ворота.

Здесь его нашел Ахан. Мирза был разгорячен, не запахивал халата и громко, самодовольно пыхтел. Они постояли с минуту рядом и пошли в дом, не проронив ни слова. Мирза Ахан лег спать раньше всех. Он расположился на постели, у печи...

Газиза не помнила, сколько времени пролежала на сеновале, бесчувственная, с помутненным рассудком.

Очнулась она от холода. Ее знобило. Но еще долго она не приходила в себя и не сознавала, что с ней произошло. Лишь инстинктивно старалась укрыть себя клоками сена.

Потом она вспомнила... и невнятный вопль захлебнулся в ее сдавленном горле. Она не смогла даже оцупать себя. Тупая боль, не испытанное прежде гадливое ощущение сковывали ее. У нее не было сил встать. Не было воли броситься к своим матерям, заливаясь слезами. Показаться им? Бабушке... матери... людям? Они плюнут на нее, проклянут! Вспомнят отца... Она больше не Газиза, не светик, не доченька и не одно-единственное наше утешенье.

Внезапно ей пришло в голову, что бабушка может выйти и отыскать ее. «Боже, помоги!» С протяжным стоном она поднялась и на миг застыла в страхе, что услышат ее стон. Вылезла из ловушки сеновала и,

пошатываясь, стуча зубами, пошла вон со двора. Ветер толкнул ее в спину, подстегнул и ходо погнал прочь, в буранную степь. Там ее не найдут. Там не увидят.

Иди, иди, — гудел ветер ей в уши. Тебя не догонят. Иди, маленькая, гордая дочь совестливого отца, правнучка строптивого Кушикная. Иди от своих горестей, несчастий и бед, от позора, муки, стыда, от пожизненного обмана. О чем тебе еще мечтать, о чем грезить? Ты и не умеешь мечтать и грезить. Ты обучена лишь плакать потихоньку от лютой обиды. А сейчас и того не можешь. Такова твоя доля. Она с тобой, она тебя ведет. Она записана на твоём лбу. Иди, не отставай.

Ветер выдул из тела Газизы боль, а из души страх. Но холод опутывал ей ноги, снег слепил. И, слушая, как жутко и грозно ревет и грохочет кто-то на Аркалыке, может, буран, а может, дух Кушикная, она думала только о том, чтобы дойти до могилки... Дойти и упасть и обнять их. И пусть она тоже никому ничего не будет должна, как ее отец.

Мирза Ахан в ту минуту лежал в теплой постели, под ватным одеялом. Однако ему не спалось. Мирзе было не по себе.

Пора бы уж этой... визгливой... прийти с сеновала, приведя себя в надлежащий порядок. Она не шла.

Женщины зашептались в углу, старуха собралась идти во двор. Ахан остановил ее и послал Калтая. Тот вернулся с зажженной лампой и поставил ее на выступ печи. Женщины бросились к нему. Он недоуменно спросил:

— Разве не пришла?

Женщины всполошились, заметались. Калтай, смекнув, что дело-то оборачивается совсем скверно, привялся объяснять старухе, как оно было:

— Взял я у нее сено. Думаю: время поить лошадей. Спрашиваю: где колодец? Пошла она со мной... Выходим со двора — буран, зги не видать, свичет. А она не робка у вас! Довела меня до самого колодца. Я, конечно, скорей посылаю ее назад. Думаю, застудится ваше дитя, на мне будет грех... Неужели заблудилась?

Женщины заголосили:

— Солинышко наше! Замерзнет, господи! О боже, что еще посылаешь на наши головы?

Старуха, взяв палку, одеваясь на ходу, поплелась к двери. Сноха на ощупь пошла следом,

Ахан высунул из-под одеяла раздумывавшееся лицо и крикнул Калтаю:

— Дурак! Ротозей! Зажги наш фонарь, беги, подай голос, поищи... Живей поворачивайся! Скотина...

Выйдя за ворота, стали звать Газизу в три голоса. Женщины надрывались, крича. Но разве перекричишь буран? Снежный вихрь валял с ног, не давал открыть ни глаз, ни рта.

Старуха взмолилась:

— О духи, не оставьте ее, покажите ей дорогу! Припесу вам в жертву голову бело-рыжего барана!

Слепая также молилась, став на колени.

Калтай вывел со двора коня, вскочил на него верхом и поскакал в степь, крича и размахивая фонарем. И всадник, и конь, и фонарь исчезли в белой мгле бурана тотчас. Тотчас заглох и голос.

Женщины остались ждать, причитая.

Калтай вернулся не скоро. Вернулся один с погасшим фонарем. Конь под Калтаем хрипел. Хрипел и Калтай:

— Сам заблудился... Еле сыскал вас... И не сыскал бы, если б не орали... Нет ее нигде! Шайтан унес!

До утра женщины ждали ее. Много раз они выходили наружу, звали, плакали, молили бога. Но бог не внял их мольбам.

К утру буран ослабел. Еще до рассвета мирза Ахан велел запрягать. Он плохо спал и был злее шайтана. Голова трещала от бабьего скулежа. И чуть только забрезжило в степи, господин сел в сани и толкнул слугу в бок дорогой плетеной камчой с серебряным ободком, чтобы погонял.

Газизу нашли около полудня. Она дошла до могил и лежала между ними ничком. Одежда на ней была изорвана, как будто ее трепала собака. На ногах выше колен запеклась и уже выцвела на морозе кровь. А слегка веснушчатое лицо ее было ясно, ни следа страданий у рта и между бровей. Лицо было невинно и чисто, как у спящего ребенка. Она спала спокойно, крепко, и ей не спилось то, как она жила.

УЧЕНЫИ ГРАЖДАНИИ

I

Морозный безоблачный полдень. Солнце сияет так, что глазам становится больно. Совсем летнее солнце, если поглядеть из окна теплого дома. А на улице сильно прихватывает за нос и щеки. Легкий восточный ветер щиплет лицо.

Зима все вокруг укутала в пушистые одежды. Утонул в белых степных просторах и маленький сибирский городок. Сугробы поднимаются к самым крышам. А дома поменьше и сараи совсем засыпало, вместо них — цепочки белых холмов. Улицы пусты, притоптанный снег поскрипывает под ногами редких прохожих. Стоит этот городок на берегу быстрой и холодной сибирской реки. Живут здесь больше казахи. Невзрачный городишко, никакого порядка в нем нет. В центре еще куда ни шло: есть улицы, главная — Земская — идет от базара к реке. А окраины напоминают драную верблюжью попону. Казахские землянки разбросаны тут как попало.

Сегодня на Земской пусто. Лишь изредка покажется торговец, волоча по снегу связку пушнины или кряхтя под тяжелым тюком с шерстью. Иной раз заскрипит снег под полозьями саней. Это смуглый казах — гость из степи — направляет верблюда к базару. И опять тихо, безлюдно.

Но вот в конце улицы показались сани — небольшая кошевка. Кучер правит к базару. Седок, один из городских грамотеев, Меирхан, хмурится. Чем-то озабочен.

Сани остановились рядом с базаром, возле небольшого дома под зеленой крышей. Меирхан сейчас же соскочил, побежал к дому.

— Что, Хадиша, так плохо? — заволновался он, столкнувшись в передней с заплаканной молодой женщиной.

— Очень, с каждым часом хуже, оттого и послали сегодня за вами. — Хадиша опустила голову, стараясь скрыть слезы, приоткрыла дверь в комнату. Послышались хриплые вздохи. Меирхан вошел в маленькую горницу один.

Максут лежал на высокой постели. Приподнятое в подушках, обычно такое белое лицо казалось совсем черным. Щеки ввалились, а под глазами налились тяжелые мешки. Зачесанные назад черные волосы прилипли к голове, будто неживые. Он натужно дышал, то и дело ощупывал иссохшими восковыми пальцами грудь. Запекшиеся губы слабо шевелились. Меирхан наклонился к другу, стараясь понять, о чем тот просит, но в горле больного что-то хрипело, клокотало, и Меирхан едва разобрал несколько слов.

Друзья глядели друг на друга, словно прощались. Вскоре Максут впал в забытие, начал бредить. Вспоминал свою работу — школу, казахских детишек. Сквозь хрип прорывались слова: «Дети... сиротский город.. не успел я...» Больной водил руками по груди и повторял: «Не смог... Между жизнью и смертью теперь». Сжал руку товарища: «Не обижайтесь, не моя вина...»

Тихо вошли старая мать и жена, стали у постели. Хадиша прижимает ребенка к груди, с тревогой смотрит на умирающего мужа. А мать — Максут у нее единственный — спрашивает взглядом Меирхана, будто от него это зависит, будет жить ее сын или нет.

Но чем может утешить ее Меирхан? Ведь сегодня утром был врач и прямо сказал: «Немного уже осталось, скоро умрет».

Максут очнулся, узнал мать. Долго с тоской смотрел на нее, потом горестно закрыл глаза. Видно, представил себе одинокую, никем не пригретую старость матери.

Пересилил себя, заговорил:

— Что станешь делать, мама, на кого тебя оставляю?.. Молодые найдут дорогу, а ты?.. Уж лучше бы умерла до меня...

Замолчал, отвернулся к стене. Мать, больше не сдерживаясь, заплакала в голос. В стороне всхлипывала Хадиша. Пришли еще товарищи Максута: Жумагул и Актай. Молча сели. Максут, глядя в стену, снова заговорил:

— Хадиша... не пропадет... Родных у нее много... Но тебе не родная она дочь... Сама уйдет, случись что, а ты?.. Может, и поплакать еще заставит...

Старуха зарыдала громче:

— Свет очей моих, мой единственный, зачем так говоришь?

Максут еле слышно попросил:

— Не плачь, мама, не плачь... Сердце болит... Иди лучше отсюда.

Товарищи подошли к матери, начали уговаривать:

— Не надо. Ему тяжелее от ваших слез. Лучше вам уйти, посидите немного в другой комнате.

— Единственный мой, свет очей моих! Лежи, я пойду. — Старуха вышла, еле передвигая ноги. За ней молча вышла и Хадиша.

Меурхан сидел подавленный. Действительно, прав Максут. Немного ему осталось. Беда теперь придет к матери. Долго ли будет помнить молодая жена умершего мужа? Вряд ли засидится во вдовах. К тому же городская...

Недолго протянул Максут. Пришел день — и не смог он даже пошевелиться, глаз почти не открывал. Дышал часто, хрипло.

Поникла мать. Все эти дни от утра до утра не вставала с колен, просила бога о сыне. А теперь поняла — конец.

Покидала жизнь тело Максута. Вот и дыхание пропало, похолодели руки, ноги. Вокруг стояли родные и друзья. Решили — пришел конец. И вдруг умирающий тяжело открыл стекленеющие глаза, спросил:

— Жив я или нет? — и снова закрыл глаза. По лицу медленно растекалась бледность. Не стало Максута.

В тот же день весь город узнал о кончине молодого учителя. И все согласились: «Хороший парень был, краса города, жаль беднягу». И еще добавляли: «Старуху мать жалко, что теперь будет с нею?»

Народу на похоронах собралось много. Пришли ученики Максута, товарищи, родственники. Равнодушных не было. Все головы поникли, когда подносили тело Максута к свежему холмику из глины возле чернеющей ямы. Только муллы и в эту торжественную минуту не забывали житейских дел. Шипели, спорили, деля между собой чапан и поясные платки покойника.

Шли дни... Пролетали и забывались тяжелые месяцы. Солнце с каждым днем пригревало сильнее, пробуждало природу. И все вокруг молодело. Вот уже и деревья оделись густой листвой, без умолку зашептались о чем-то. Птицы от зари до зари хлопотали, песнями приветствуя прекраснейшую пору года. И люди воспрянули духом, веселее принялись за дела.

Ко всем пришла весна. Только в дом Максута не заглянула. Хмуро здесь, мрачно. Редко кто словом перемолвится. Слышно лишь, как тяжело вздыхает старая мать. Темные веки ее будто из камня высечены, не поднимаются, лицо иссохло, потемнело. Трудно молодой Хадише в осиротевшем доме. Давит ее горестная тишина. Совсем бы занемогла, если бы не Жамия. Маленькая дочка Максута иной раз даже старуху заставляет забытья.

А еще немного радости приносят друзья Максута — Жумагул и Актай. Меирхан, тот почти не заглядывает, словпо даже избегает встречи. А вот Жумагул и Актай наведываются, стараются разогнать мрачные думы Хадиши.

В последнее время Жумагул что-то зачистил. Приходит теперь один, без Актая. И уж чего только не придумает, лишь бы развлечь хоть немного Хадишу. Таких небылиц иной раз порасскажет! И уверяет: с ним самим, мол, это случилось. А о Максуте ни слова. О нем у Жумагула речь со старухой. И старуха довольна. «Хороший человек», — говорит.

И так привыкла Хадиша к Жумагулу, что, если долго не видит, — скучает, не хватает ей его веселых рассказов. А спать ляжет, все мечты какие-то приходят в голову, надеется на что-то. И чем дальше, тем непригляднее кажется молодой женщине этот дом, надоело слушать вздохи свекрови. «Ведь еще и жизни не видала, пора бы узнать ее сладость», — подумает так, и вдруг словно косящая рука схватит и держит. А перед глазами лицо мужа.

Потеряла покой молодая вдова. Верный признак — жди скорых перемен...

Как-то пришел Меирхан с работы, прилег отдохнуть. Вдруг приносят ему письмецо. Читает Меирхан и глазам не верит:

«Дорогой друг!

Жду тебя завтра к двенадцати часам. Будет моя свадьба. Приходи. Наверно, слышал уже: на Хадише женюсь. На то воля бога.

Жумагул».

Еще и еще раз перечитал записку Меирхан, верить не хочет. Понял наконец все и приписал в сердцах внизу: «Не приду. Провались ты со своей свадьбой».

Назавтра заходят за Меирханом два товарища, издали видно — на свадьбу собрались: начистились, надушились, белые воротнички поверх пиджаков выпустили. Зовут с собой.

Возмутился Меирхан, стал отговаривать:

— Надо совесть иметь! Вчера только простились с товарищем, а сегодня пойдем гулять на свадьбе его жены!

— Брось, — отмахивались друзья. — Не будь идеалистом! Идем с нами. Выьем, закусим как следует. Ну кому, скажи, от того хуже станет?

Все-таки пошел Меирхан. Решил взглянуть на эту свадьбу.

Гуляют гости, веселье в разгаре. Жених доволен. Невеста спяет, будто и не она рыдала недавно над могилой мужа. Никто и не вспомнил Максута. Подвыпили гости. Поздравляют молодых, шутят, смеются. Подвыпил и Меирхан. Встал, поднял свою рюмку, просит внимания. Умолкли гости, ждут нового тоста.

— Предлагаю всем выпить за Максута... Пусть живет и здравствует душа Максута!..

Кое-кто фыркнул. Жумагул и Хадиша улыбнулись. Все выпили, так и не уразумев смысл тоста. Друзья одернули Меирхана: «Брось, ни к чему, сиди».

На том и кончилась попытка Меирхана вступить за память друга.

Спустя несколько дней шумная процессия проходила под окнами дома Максута. Друзья провожали молодых, Жумагул собрался с Хадишой и тестем в степь, погостить в родном ауле. Резвая тройка с бубенцами пронеслась мимо затихшего дома. Жумагул покосился на окна и в одном из них увидел старуху. Мать Максута невидящими глазами горестно смотрела куда-то вдаль...

Май в этом году выдался щедрый. Степь буйно зеленеет, радует глаз высокими, сочными травами. Края нет этому ковру, разбегаются по нему желтые весенние цветы.

Обновились и долины, и горы, и говорливая речка, что без усталости скачет с камня на камень у подножия гор. Распустилась, похорошела березка на берегу, зазеленел кустарник, провожающий речку вниз. Даже угрюмые камни — береговые сторожа — и те повеселели. В кустарнике перепархивают птицы, поют на все голоса. И как кстати выросла здесь нарядная юрта. Дождается приезда молодой снохи.

Аулы, перекочевавшие на джайляу — высокогорные пастбища, рассыпались по южному склону горы Чингиз. Белые юрты, если посмотреть издали, напоминают положенные в траву яйца. Невдалеке озеро — воды в этом году много, — оно играет сейчас на солнце, отбрасывает лучики света, совсем как зеркало. Вокруг озера бродят стада, не теснятся — места всем хватает. А в аулах радостно суетится народ.

Хороши стада нынешней весной, хороши табуны лошадей, глаз не оторвешь. После сытой зимовки лошади гладкие, резвятся в степи. Джигиты похваляются. Чуть сойдутся по двое, по трое — затевают игры, состязания. Но подошло уже время кумыса. «Лошади в силу вошли, жеребята подросли, пора привязывать кобыл», — сказали старики. Вот и готовят по аулам уздечки да сбруи, скоро начнут ловить пасущихся на воле кобыл.

Аул Жумагула занят этим делом уже несколько дней. Мать нашего ученого героя — женщина хозяйственная, экономная, не любит терять попусту и крохи добра. Оттого у нее и сладилось все раньше других. Сегодня аксакал Амре привел и привязал кобылу. По обычаю, у него собрался народ, немного — самые близкие соседи да случайные прохожие. А так, из чужих аулов, никого. Скуповат Амре на угощение, люди знают это и не больно охотно идут к нему в гости.

Табунщик продолжает ловить лошадей. Оличали они за зиму, привыкли гулять вольно и теперь никак не даются в руки, не подпускают близко. Да старый табунщик знает свое дело, приказал начать с жеребят.

С диким топотом стремительно пронесится табун. Но тонкий, крепкий аркан успеваешь достать жеребенка.

И пусть он сколько хочет взвивается на дыбы, не вырваться ему из сильных и цепких рук опытного ловца. Не выдержит жеребенок, упадет на землю. И у Амре сердце падает. «Бисмилла!» — шепчет аксакал молитву и, вскочив с места, кричит: «Тише ты, спину ему не поломай. аккуратней, шею свернешь!»

Наконец все жеребята пойманы, матки привязаны.

И женщины, как ведется, принесли в поле на больших блюдах курт и масло. Усталые люди с удовольствием взялись за еду. Тихонько подсел к ним и Амре.

Утопили первый голод, и сам собой потек разговор. Стали делиться новостями. А самая интересная новость сейчас — женитьба Жумагула. Как женился сын, толком не знали ни Амре, ни его состарившаяся жена Камария. И хоть виду не подавали, но с интересом прислушивались к тому, что рассказывали случайные гости. В соседний аул приехали люди из города. Хвалят Жумагула. Хорошо женился. Взял дочь Кондыбая. Слышать, приданого за ней много, да и после первого мужа осталось богатство всякое. Теперь будто бы думает Жумагул удочерить девочку — дочку жены. А уж коли возьмет на воспитание ребенка, все имущество умершего по закону перейдет ему. Есть еще там старуха, мать покойного. Да много ли ей надо? «Богатым человеком стал ваш сын, в несколько дней жизнь свою повернул».

Слушают Амре и Камария, благодарят бога в душе, а вслух, будто ничего особенного и не случилось, говорят:

— Слава богу, дождались. Сколько потратились на него, учили в городе! Думали — выучится и нас не забудет, когда хоть копейку пришлет. Теперь уж должен нас вспомнить. Кому, как не сыну, и помочь старикам. Очень хорошо сделал, что взял обеспеченную женщину.

А гости продолжают беседу, судят-рядят. Как встретят молодых? Успеют ли наготовить довольно кумыса? Ведь на этот раз сын с невесткой приедут, будут почетными гостями. Другие интересуются, привезут ли с собой молодожены старушку. Надо бы привезти. Одна теперь осталась на всем белом свете, некому присмотреть за бедной, а ведь хозяйка всего добра — она как-никак.

— Да на что старухе богатство! — возражают третьи.

А Камария, мать Жумагула, про себя думает: «Вряд ли сыскался бы для старухи лучший зять, чем мой Жумагул. Будет кормить до конца дней. Не глупая — удержит мо-

лодых при себе. И не плохо бы...» Так думает Камария, но вслух — ни слова. Если и заикнется, то только на ухо мужу. Да Амре слушать не хочет, перебивает:

— Брось, старая, зря болтать. Нечего вперед загадывать. Как бог положит, так и будет!

Таят свои надежды родители Жумагула, скрывают ото всех. И все же кто-то разведает, подслушал нечаянное слово, и поползли по аулу слухи о несметном богатстве жениха и невесты.

Прошло несколько дней. Как-то вечером Амре задержался с табуном у водооя. Камария в это время стояла перед юртой, разговаривала с женщинами — они собрались доить овец. Овцы и ягнята, толкаясь и громко бляя, бежали к аулу. Мальчик-пастух поравнялся с женщинами, закричал:

— Суюнши, суюнши! Дядя Жумагул приехал!

Оживился аул, зашумел. Еще бы: всем давно не терпелось увидеть удачливого жениха.

Женщины забежали из юрты в юрту. Дети понеслись по аулу, оповещая всех громким криком. Всполошились и старушки, оборвалась их мирная беседа у колодца.

У большой белой юрты Амре собрался весь аул. Вдали послышался звон бубенцов. А вскоре показалась и удалая тройка, летящая, словно птица. Народ расступился, и ямщик лихо осадил лошадей. Пошли тут объятия, поцелуи, расспросы о здоровье, о родных, о знакомых. Жумагул переходил от одного родича к другому. Хадишу окружили женщины. Камария расцеловалась с ней, обняли Хадишу и другие — те, что постарше. Утихли первые волнения встречи, и народ стал внимательно присматриваться к приезжим. Очень они отличались по виду от жителей аула.

Жумагул и Хадиша были настоящие горожане. Одеты опрятно, легко и красиво, по сезону. И говорили не так, как здесь. Жумагул вставлял в свою речь какие-то непонятные, даже смешные на здешнее ухо словечки. А Хадиша в толпе аульных женщин и девушек и вовсе казалась диковинной птицей.

Вошли гости в юрту, уселись на почетное место. И тут многим не понравилось поведение горожанки. Она все наклонялась к уху супруга, шептала. Будто недовольна была или осуждала тех, кто пришел ее встречать. Острые на язык женщины сейчас же заметили ее «культур». Начались смешки, люди стали перешептываться. Пусть

не слишком заносятся горожане, в степи живут не такие уж простаки.

Амре сидел хмурый, молчаливый, недовольно косился на развеселившихся гостей. А Камария, хоть и замечала все, виду не подавала, по-прежнему ласкала и угощала Жумагула.

Недолго присматривались друг к другу свекровь и сноха. «Культур» горожанки не помешала им сблизиться. То же произошло с Амре и его образованным сыном. Все четверо очень скоро нашли общий язык. Ведь важный и сложный вопрос о разделе имущества занимал равно их всех. Молодые оказались здесь не менее матерыми, чем их старые родители. В скупой расчетливости сноха и «ученый» сын даже превзошли стариков. И не стало в этой четверке молодых и старых, ученых и неучей, мысль о богатстве крепко сплотила всех. День, другой — и раскрыли они друг другу души, не стесняясь, выложили то тайное, что скрывали ото всех. Камария не уставала напоминать:

— Расходы растут, а прибыли вовсе нет. Скота все убавляется да убавляется. Пора вам позаботиться о стариках. Как уж хотите, а постарайтесь.

Аппетиты росли: если поначалу приданое невесты казалось значительной прибылью, теперь забыли о нем и думать. Как прибрать к рукам наследство Максута, отобрать его у старухи — вот что было сейчас на уме. Раньше об этом Жумагул и Хадиша между собой разговора не начинали. Думали каждый про себя. А тут, в степи, забыли всякий стыд. Старики не церемонились, говорили прямо. Молодые не отставали. Камария скоро раскусила свою сноху. Поняла: поучать ее не требуется. Но на всякий случай нет-нет да и заводила речь о наследстве, напоминала, чуть повод подвернется. А повода нет, так возьмет маленькую дочку Максута, Жамилю, на руки и приговаривает:

— Внушенька моя родная, скоро ли утетишишь нас, стареньких твоих бабушку да дедушку, станешь хозяйкой всего добра. Ждем не дождемся от тебя помощи. Смотри, заведи все у старухи, все заведи! — И она легонько дергала за уши Жумагула и Хадишу.

А у Амре свои планы. Придумал он еще способ увеличить богатство. Был у него тут в ауле дружок — богач Жангозы. Попала раз тому на глаза маленькая Жамиля.

— Хорошая у тебя внучка, — похвалил ее. — Как раз невеста моему меньшому, знаешь, прошлым годом который народился. Посватаю я ее у тебя, Амре, как думаешь?

Очень понравилось это Амре. Рассказал обо всем Жумагулу. А тот почему-то заартачился:

— Не пришло время. Народ-то как поглядит? Ведь если говорим о разделе имущества, что под старухиной рукой, так это для ее же внучки. Все своей родной, дочери сына, отдаст, чего уж там. А тут? Соглашусь на сватовство, тогда как с этим разделом выкручиваться стану? Да и народ... Совестно все же.

— Народ, народ! — ворчал Амре. — Будешь слушать, что народ говорит, нищим останешься. Тех, к кому удача идет, всегда ненавидят. Плюй ты на народ. Да и совесть твоя не больно нужна...

Ворчал Амре, но настаивать не стал. Сватовство отложили.

IV

Сохли травы. Степь теперь уже не зеленела, стала бурой и серой. Все чаще народ поговаривал об урожае: чем отблагодарит земля тех, кто занялся ею?

Скот окреп на привольных пастбищах, у свежих водоемов. Подрос молодежь. Пришла пора подумать и о зиме. В аулах начали готовиться к осеннему кочевью. И аул аксакала Амре занят был тем же.

Загостились молодые в степи. Отдохнули на славу, посвежели. Не узнать бледных, слабеньких горожан, которых встречали тут весной. Народ в степи приветлив. По гостям да по праздникам, в веселье да смехе промелькнуло лето. Пора и в обратный путь.

Накануне отъезда Жумагул и Хадиша засиделись поздно вечером. Аул спал мирным, трудовым сном. Светила луна. То тут, то там вспыхивали тлеющие костры.

Молодые сидели рядышком, прикрыв ноги большим пуховым одеялом. Тихо беседовали. Подошла Камария. Разговор пошел все о том же — о наследстве. Жумагул отмалчивался. Молча принял и окончательное решение — действовать через Жамилю. Она хозяйка всего имущества. Это надо во что бы то ни стало узаконить, любым способом. Дом со всем богатством должен быть записан на Жамилю.

С тем и вернулись молодые в город. Встретились с друзьями, знакомыми, узнали о том, что произошло за

лто. И о матери Максута друзья тоже рассказали: жива еще старуха. Сидит в доме, взяла к себе хромую родственницу. Тоскует по сыну. Молится да плачет.

Узнала о возвращении Жумагула и Хадиши и мать Максута. Всю ночь не гасила свет, тосковала. Днем зашла к ней Хадиша с Жамилей. Обняла старая внучку, горько плакала, прижимала к иссохшей груди. Помнит ли Жамиля отца?

Досадно Хадише, не терпится поскорее увести Жамилю. И, посидев ради приличия немного, ушла с дочкой от старухи.

Нет дела Хадише до горя старой свекрови. Дома сейчас же начала наставлять мужа:

— Не теряй времени даром, быстрее берись за дело. Друзей у тебя много, все устроят, помогут.

И пошли хлопоты! Куда только не обращались Жумагул и Хадиша по своему делу! От кого-то узнали: при училище есть совет, специально занимается защитой малолетних. Вот как раз то, что надо! Подала туда заявление Хадиша. Прикинулась несчастной сиротой. Расписала все так, что чуть не злодейкой мать Максута оказалась. И совет вынес решение: «Единственная и законная владелица всего имущества, оставленного Максутом, — его дочь Жамиля. Поскольку Жамиля несовершеннолетняя, надзор за ее имуществом поручить отчиму и опекуну Жумагулу».

Между прочим, в этом деле помог Жумагулу его общий с Максутом друг — Актай. Актай и сам зарился на богатство Максута. Все говорил своему неженатому брату: «Сидишь, время теряешь, где еще найдешь такую невесту, как Хадиша!» Но не вышло у них дело. Опередел Жумагул. Актай быстро переключился. Жумагул теперь влиятельным человеком станет, надо заслужить его благодарность. Вот и стал бывший друг Максута ходатаем по делам Хадиши и Жумагула.

А старая мать Максута не знала ничего, не ведала. Продолжала лить слезы по своему единственному сыну. И вдруг пришла новая беда.

Однажды зашел к ней Кондыбай, принес решение совета.

— Дом и все имущество теперь собственность Жумагула и Жамили. Не беспокойтесь, будете жить при них. На то воля бога.

Не ждала старая, что может прийти к ней горшее горе. Да, видно, сбылось предчувствие Максута. Поняла хорошо, чем грозит хозяйничанье снохи да нового ее мужа. Вот оно, когда пришло настоящее сиротство! К кому обратиться, кого о помощи просить?

Попробовала поспорить с Кондыбаем:

— Как же это так? Ведь имущество мое, досталось мне по наследству от мужа и родителей. Зачем же добро мужа и предков отдам не родному, а врагу своему, ненавистному Жумагулу? Нет такого права! Пусть лучше бедным раздам, а он и нитки не получит по моей воле!

Собрала последние силы, вытолкала за дверь Кондыбая.

Ушел Кондыбай, и стала мать Максута думать: как же ей быть? Поняла: сила на стороне врага ее, Жумагула, заручился он бумагой от государственного учреждения. Ничего не сумела придумать, принялась за молитву. И тут вспомнила Меирхана. Вот настоящий друг Максута, он поможет ей в беде.

Все рассказала Меирхану. Что надо еще Хадише? Забрала она давно все свои вещи. Зачем хочет отнять у старого человека последнее, крова лишить? Плакала, молила Меирхана. «Помоги», — заклинала памятью друга.

На другой же день отправился Меирхан к Жумагулу.

— Что ты затеял? Ты молодой, здоровый, да еще «ученый» к тому же! Совесть потерял, подумай, что сделать хочешь? Женился выгодно, копейки калыма не уплатил! Сам не бедный, прибавил богатство невесты, мало тебе? Старуху ограбить задумал!..

Отмахнулся Жумагул:

— Не я это дело затеял — Хадиша. Она меня слушать не хочет. Ее это касается, сама и решает. А ты брось умничать, только и знаешь других критиковать. Смотри, как бы самому не попасть в беду.

Не дошли слова товарища до сердца Жумагула. Ушел Меирхан, только и смог сказать на прощанье:

— Верно говорят: чем богаче человек, тем жаднее!..

А Жумагул распустил на всякий случай слух: завидует, мол, Меирхан чужой удаче, вот и лезет не в свои дела, досадно ему.

Узнала о том мать Максута. Поняла: не вышло у Меирхана ничего.

Так пропала последняя надежда. И как-то сразу сдала старая мать. Раньше хоть и горевала сильно, но голова

сохраняла ясность, а лицо, застывшее в горе, казалось даже величественным. Теперь же все суетится, взгляд беспокойный, озабоченный. Иногда вдруг пойдет на нее — мечется по комнате, хватается вещи, кричит...

— Не отдам, убей меня!.. Унесу... уйду я к моему Максуту!

А Жумагул не терял времени. Заручился законной поддержкой. В один неожиданный день появился в дом Максута с тремя милиционерами, предстал перед матерью умершего друга. Обвела старуха странным взглядом вооруженных милиционеров и Жумагула, поднялась и, шатаясь, пошла к неубранной постели. Начала хватать с нее все подряд, цепляясь за вещи худыми руками.

— Не отдам... убейте... Максут! — закричала и вдруг упала навзничь, раскинув руки.

И ушла к Максуту...

НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

Теплый летний вечер. Робкий ветерок только еще родился и не в силах одолеть духоту. Чуть потускневшее, усталое солнце перевалилось за гору и медленно опускается в царство ночи. Его укрывают подкрашенные закатными лучами легкие кружевные облака.

Красный диск меркнет с каждой минутой, видно, не в силах справиться с наседающей тьмой. Вот на него, как на лицо младенца перед смертью, легли синеватые полосы — признак близкой кончины.

Небо быстро мутнеет, становится темно-серым, и только на горизонте, там, где садится солнце, горит спокойным костром. Косые лучи удлиняют тени и крупными красноватыми мазками ложатся на бурую землю.

В такую пору вершина холма особенно красива. И когда, желая избавиться от беспокойного предвечернего шума, уходишь за околицу и медленно поднимаешься на холм, тобой овладевает чувство высоты и манит, манит за собой. Достигнув вершины, с какой-то самому непонятной надеждой оглядываешься вокруг и, зачарованный неоглядной далью, вдруг ясно представляешь, как чаша синего неба опирается на края земли. Нет, это так показалось, наоборот, гордые вершины тянутся к небу и, дотянувшись, подпирают его...

Все вокруг небольшого уголка на западе, в том месте, куда закатилось солнце, окутали тени сумерек. Черная гора, одиноко высящаяся вдали, собрав на своем морщинистом лице все окрестные тени, угрюмо смотрит в степь.

Степь тоже изрядно потемнела. Опустевшая, она сиротливо укрылась легким туманом и лежит безмолвно. Тишина.

Зато все более отчетливо слышны голоса аулов, раскинувшихся внизу вдоль извилистого ущелья. В каждом из них, среди темных точек обычных юрт, как отражение полной луны на озерной глади, выделяются большие белые юрты.

Аулы встали густо, совсем рядом, и стада, возвращаясь вечером с пастбища, сливаются в одно. Печки возле юрт вырыты прямо в земле. Дым из невысоких труб то густым столбом поднимается к небу, то ровно стелется по ложине. На дне ущелья серебрится узенькая речушка. Она то с разгона течет прямо, то причудливо петляет между скал. Шум, поднятый смешавшимся стадом, постепенно стихает. Отары разбредаются по прилегающей к аулу равнине. К водопою спешат табуны. Они тоже смешались, и по зеленому лугу резво льется сплошной пестрый поток. Отбившиеся от табуна кони ищут своих, мечутся, упрямо пробиваясь в потоке, лягаются, звонко ржут. Неприятный шум не стихает до поздней ночи.

Большинство мужчин аула — у водопою. Они мирно беседуют и любуются лошадьми.

Вечером аул особенно оживлен. Старики, женщины, дети — все на дворе, все заняты делом. Особенно много хлопот у пастухов и чабанов — ночь коротка, а завтра снова в степь. Лишь две-три девушки из богатых семей, пытаясь затеять игры, бредут к водопою, а потом уходят куда-то за холм. От них отделилась аульская красавица в белом платье и черном камзоле, с переброшенным через руку легким чапаном. Она вынула из внутреннего кармана листочек и, всматриваясь в мелкие буквы, что-то читает про себя.

По тропинке вдоль речушки, прищпорив иноходца, во весь опор летит всадник с беркутом Саршегиром на руке. Желтые глаза птицы светятся жадной боя. Возбужденный беркут беспокойно вертит головой, щелкает клювом, нетерпеливо царапает защищенную рукавицей руку наездника. Вдруг охотник резко осадил коня. Его внимание привлекли два гуся, укрывшиеся в прибрежных зарослях. Беркут тоже заметил добычу и прильнул к руке охотника, словно набирая силы для взлета.

Охотник рывком повернул коня, стегнул камчой и во весь дух помчался вперед. Через мгновение, подскакав вплотную к гусям, он вскинул беркута ввысь и несколько раз сильно ударил в барабан.

Вспугнутые громом барабана гуси, громко хлопая крыльями, поднялись в небо. Беркут ринулся вслед за ними. Он быстро настиг перепуганных гусей, сделал над ними круг, и в небе замелькали силуэты трех птиц, потом они слились в один непонятный ком.

Через минуту жадно наблюдавший за смертной схваткой охотник увидел своего Саршегира, спускающегося на землю с гусем в цепких когтях. Опустившись, беркут подмял гуся под себя, и, хоть второй гусь самоотверженно наседавал на него, Саршегир не выпустил своей жертвы...

Подобрав добычу, охотник стегнул гнедого и галопом помчался к аулу.

В СКЛЕПЕ СЫБАНОВ

Аул раскинулся по южному склону Коксенгера. Вечер. Время, когда водопой уже подходит к концу. Стада соседних аулов медленно движутся в степь, на пастбища. Воздух полон неистового блеяния овец и отбившихся от них ягнят. Чтобы уйти от этого шума, мы вместе с аульным старостой — аксакалом Жортаром — направились к каменистому холму, что высится по ту сторону колодца. Тесно сбившиеся отары откатываются все дальше к югу, оживляя зеленое однообразие степи и радуя глаз. Последние лучи заходящего солнца залили степь мягким золотисто-багровым светом, и от этого вечерний аул кажется особенно живописным и оживленным. Чем выше мы поднимаемся на холм, тем шире разворачивается перед нашим взором величавая картина вечерней степи. Чистый, прозрачный воздух, ощущение необъятного простора рождают в душе смутные надежды, заставляют думать, пробуждают мечты.

Я еще не понял своего душевного состояния, не осмыслил желаний, но одно мне захотелось вдруг: услышать из уст самого Жортара рассказ о его прошлом. В молодости Жортар был батыром, его знала вся казахская степь. Людей охватывала дрожь при одном упоминании его имени. Ни одна барымта, ни одно побоище не обходились без него. Он был храбрый и умелый воин, искусно владевший копьём. Увидев его уже стариком, я попытался представить, каким же он был в пору своей далекой молодости. Высокий рост, аршинные плечи, крупная голова и спокойное приятное лицо говорили о богатырском здоровье и врожденной силе. Глубокие морщины, с годами избороздившие его лицо, казались, хранили следы суровых буйных

лет. Выцветшие, с пожелтевшими белками, но еще сохранившие живой блеск глаза, большие уши, выразительный крупный нос довершали облик легендарного батыра.

Да, Жортар был истинным представителем глубокой старины. Когда мы поднялись на вершину холма, я осмелился высказать свое желание. Мои спутники дружно поддержали меня.

В ответ на просьбу рассказать о прошлом аксакал ласково и вежливо сказал: «Дорогие мои, многое из того, что я видел, уже покрылось тенью забвения, вряд ли я смогу что-нибудь вспомнить».

Наступило неловкое молчание. Нарушить его помог подсевший к нам аксакал Кудайберген:

— Расскажи что-нибудь ребятам. Нам, старикам, теперь только и осталось, что вспоминать да рассказывать о прошлом.

И Жортар начал рассказ. Говорил он просто и в то же время красочно и ярко.

Мне почти слово в слово запомнился его рассказ. Вот он.

— Я вам не поведаю о битвах и войнах, — сказал Жортар, доставая шакшу — табакерку из рога. — Лучше послушайте, как я однажды сильно перепугался.

В ожидании необыкновенного рассказа мы не отрывали взгляда от лица Жортара.

— Я был, как и вы, молод. День и ночь искал приключений. В те времена даже в далекие походы мы, джигиты, почти всегда ходили поодиночке, уходили самое малое на неделю, а то и на целый месяц и больше. Ходили обычно за Тарбагатай — в Каракеры, Семизнайман, Мурынды.

Случилось это осенью. Я собрался в поход. Дойдя до кочевья рода сыбан, вспомнил, что здесь живет батыр по имени Тобет. Я слышал, что он давно искал случая встретиться со мной. Врагом моим он не был — просто хотелось померяться силой.

После долгого и скучного блуждания по степи я добрался до аулов Тобета. Осень была дождливая. И в тот день нудный дождь лил непрерывно с самого утра. Я надеялся, что к вечеру тучи разойдутся, но погода не менялась, дождь не переставал. Мало того, поднялся сильный холодный ветер. Сумерки быстро сменила темная, беспросветная ночь.

Я никогда не сбивался с пути и не блуждал — ни в буран, ни темной ночью. И на этот раз, несмотря на кро-

мешную темноту, точно вышел к аулу Тобета. Сквозь вой ветра я уловил еле слышное ржанье...

Конь подо мной был белый — сильный и выносливый. Правда, с ходу он не мог пуститься вскачь, зато потом, когда набирал скорость, никакой скакуи не мог догнать его. Но в ту ночь из-за сильного дождя конь шел нехотя и вяло. Вдруг он фыркнул и остановился. Я лег на гриву и взгляделся. Впереди что-то чернело. Подъехав ближе, я разглядел четырехугольный склеп — мазар.

«Наверно, могила кого-нибудь из рода сыбан», — подумал я. Основательно промокший и продрогший, я решил отсидеться в склепе, а потом уже, когда перестанет дождь и прояснится, продолжить поиски Тобета. Я спешился и завел коня на подветренную сторону. Привязав поводья сзади к поясу, вошел внутрь довольно высокого и просторного мазара и сел в ближнем углу. Темнота, хоть глаз коли. За стеной с воем мечется ветер. Хлещет дождь...

Признаться, сначала было жутковато, но постепенно я успокоился.

Раньше говорили, что на кладбищах ночью бродят черти, шабашат ведьмы и прочая нечистая сила. Но я не думал об этом. Немного согревшись, воткнул рукоятку камчи в землю, оперся на нее обеими руками и незаметно задремал.

Спал я крепко, но, как всегда, чутко. Вдруг в противоположном углу что-то треснуло. Я открыл глаза. Темный мазар был полон яркого света. Сон мой сразу же пропал. Потом свет на миг погас, и в углу что-то заухало. Я понял, что это и есть шайтан, и стал читать все молитвы, какие только знал. Подойти к тому месту, откуда раздался треск, не хватило сил. Я сжался, искоса глянул в угол, и мне показалось, что там шевельнулось что-то огромное и черное. Страх сковал меня.

Через некоторое время треск повторился. Внутри мазара стало еще светлее, но вскоре свет стал меркнуть и погас. Я нагнулся и сначала не смел даже взглянуть в ту сторону, но когда уже почти стемнело, поднял глаза и увидел чудовище.

«Не иначе дракон или сам дьявол», — подумал я. С человеком никакого сходства. Совсем голый и черный, как ночь. Росту огромного, побольше меня, пожалуй. Волосы торчат во все стороны. Но особенно страшным показался мне его рот. Огромный, как пещера, он извергал огонь, зубы торчали, точно клыки. Огонь так и рвался из пасти, как у дракона.

Честно говоря, я так испугался, что не мог подняться и бежать — ноги не слушались меня. В это время снова что-то дважды треснуло и снова вспыхнул огонь. Я взглянул украдкой и увидел ту же огненную пасть.

Я втянул голову в плечи и сжался так, что будь в земле хоть какая-нибудь трещина, провалился бы в нее. Не было сил даже пошевелиться. Вконец перепуганный, я сидел и ждал, когда чудовище разорвет меня на части.

Еще при первой вспышке огня конь порвал поводья и ускакал. Да я и не думал о коне. Из оружия у меня были дубина и копье, но они остались у входа в мазар: При мне был только небольшой кинжал в ножнах, но мне казалось, что стоит только пошевелиться, как чудовище сразу же набросится на меня.

Близилась полночь. Ветер по-прежнему метался как бешеный, и вой его, казалось, был еще сильнее. Дождь хлестал о стены. При каждом взгляде на чудовище я думал: «Это и есть моя смерть. Видимо, в глухой степи, в чужом мазаре, в полном одиночестве суждено мне встретить кончину». Грустные мои мысли были прерваны тем, что чудовище вдруг поднялось и направилось ко мне. Я зажмурился и почувствовал приближение чего-то холодного. Я стал читать предсмертную молитву. Раздался треск, я открыл глаза. На мгновение все вокруг залило ослепляющим светом, чудовище с оглушительным ревом медленно подошло и навалилось на меня. Когда темная громада приблизилась ко мне, я разглядел ее руки. Черные пальцы были полусогнуты, как когти беркута, а вся рука похожа на разинутую пасть волка. И вот две такие руки тянулись ко мне. Когда чудовище навалилось на меня, я подумал, что такими руками оно вмиг превратит мои кости в муку. Но ничего такого не случилось. Хоть и сильна была его хватка, но руки показались мне похожими на человеческие.

Схватив меня за плечи и подтянув к себе, чудовище повелительно крикнуло:

— Раздевайся и ложись в могилу — ты мертв!

Голос, без сомнения, тоже был человеческий. Это меня несколько успокоило. И когда чудовище стало тянуть меня, я крепко взял его за руки, поднялся, и мы схватились.

— Если я сниму одежду, то ты, наверное, наденешь ее?! Но я родился мужчиной. Бог этому свидетель, — сказал я.

Ответа не последовало.

Мы сцепились в темном мазаре, как два медведя, и замерли в мертвой хватке.

Ни он, ни я не отпускали рук. Сначала было трудно взять его за голое тело, но потом, когда я сцепил руки в замок у него за спиной, мне стало немного удобней.

Шумно дыша, изо всех сил напирая друг на друга, мы стали бороться по-настоящему. Мне показалось, что он не сильнее меня. Улучив момент, я собрал все свои силы, оторвал чудовище от земли, поднял над головой и, ударив об землю, сел ему на грудь. В отместку за испуг я схватил его одной рукой за горло и стал душить, а другой, после нескольких крепких ударов в грудь, потянулся за книжалом. Когда, разъяренный, я поднес книжал к горлу противника, чтобы одним махом отделить его голову от плеч, он, увидев блеснувшее в темноте лезвие, закричал

— Жортар, это в самом деле ты?! Я сразу узнал тебя по удару кулака.

Я тоже узнал его по голосу и бросил книжал в сторону. Это был батыр Бура-алтаяк из Тогай.

Мы были с ним давними друзьями и не раз в походах делились последним куском мяса. Перепугавшее меня чудовище оказалось близким другом!

Бура-алтаяк тоже было приехал к сыбанам на разведку. Но когда он отдыхал в безлюдных горах, налетел Тобет и взял его в плен. Целый месяц он пробыл в плену, а вот сейчас, в эту дождливую ночь, убежал. Легко одетый, он укрылся в мазаре, чтобы переждать непогоду. Когда зашел туда я, он решил, что бог ниспослал ему милость. Оружия у него не было. Была всего-навсего коробка спичек. Не надеясь на силу, он решил одолеть меня хитростью: разделся донага и стал зажигать спички, а когда спичка догорала, брал огарок в зубы и пугал меня. Причиной моего испуга были обыкновенные спички.

— Но кто из нас, казахов, знал в то время о спичках? Если был нужен огонь, мы добывали его при помощи фитиля, кремня и кресала. Вот так я был напуган какими-то жалкими спичками, — закончил аксакал и удовлетворенно рассмеялся.

Мы тоже посмеялись его рассказу. Надвигались сумерки, и мы направились к аулу.

ЖЕНИТЬБА

Тяжкий, неподвижный полдень. Небо ясное, ни облачка. Солнце высоко, почти над головой. Лучи его так ярки — нестерпимо смотреть, глаза закрываются сами. Накаленный воздух и в тени обжигает, мешает дышать. Люди изнемогли, жадно ловят малейшее дуновение — освежить расслабленное тело.

Одно спасение в такой день — юрта. Большая белая юрта. Тундук и двери широко распахнуты, гуляет ветерок. Только в юртах можно еще дышать. Аул, на днях прикочевавший на джайляу, устроился у реки, в высоких травах. От реки до далеких синих гор — степь. Золотятся неподвижные сегодня стебли степных трав.

Северный берег речки — длинная желтая седловина, от синих извилистых гор приходит сюда множество холмов. И все это вместе: золотая степь, узенькая лента речки в зеленых берегах, желтые холмы и белый аул, протянувшийся в небо сизые столбы дыма, — все дополняет друг друга. И в этом красота джайляу.

Аул ходжи Байбосына разместился привольно, в стороне от других. Захватил самое лучшее место. Тут и речка, везде узкая, разливается вширь, и травы поднимаются выше. Вокруг аула обширные пастбища и луга, а на них — несметные байские стада.

Десять юрт не теснят одна другую. А четыре из них — большие, белые — стоят совсем отдельно. Одна — юрта самого бая, две другие — сыновей, а четвертая покрыта новой кошмой, украшенной узорами, — это пятиканатная юрта невесты, дочери бая. Скоро здесь будет той.

Остальные — маленькие двух-трехканатные юрты. Не белые — черные, в дырах. Здесь живут работники — скотоводы.

В двухстах шагах от юрт вколочена в землю коновязь. Сейчас там только жеребята. А лошади на реке. Сбились в несколько табунов и стоят в воде, охлаждаются. В этот знойный полдень и животные изнемогают от солнца. Им еще хуже, чем людям, дожимают беспрерывно жужжащие полчища оводов. Вот и стоят бедняги по брюхо в воде, хлещут себя по бокам хвостами, отгоняют надоедливых насекомых.

Совсем плохо коровам. Им и жара труднее, и холод. А овод — лютей враг. Коровы вовсе обезумели. Стоит слышаться монотонному жужжанию, и вот они уже несутся, задрвав хвосты, по степи к аулу.

Аул Байбосына сегодня необычно оживлен. Вчера под вечер прибыли жених и сват. Теперь людям и жара пипочем. Настроение поднялось. Особенно у девушек. Всяк считает своим долгом заглянуть к жениху, поздороваться. Шум и гвалт растут, прибывают люди из соседних аулов. Они тоже хотят приветствовать жениха.

У белой юрты, где расположился жених, весело. Принаряженная сноха бая и соседские девушки то и дело забегают туда, высказывают со смехом и шутками.

Друзьки жениха с утра не выходят из белой юрты. Осушили уже немало вместительных чаш. Кумыс слегка ударил в голову, и сейчас здесь идет очень громкий разговор. Обычные шутки переходят в жаркие споры. Парни вскакивают, доказывают что-то, а потом опять смех. Очень притягательна сейчас юрта жениха. Шум, игры, шутки! И сквозь весь этот гвалт время от времени прорывается звук домбры и тонкий голос известного в степи певца Матая. Песни Матая всегда таят глубокий смысл.

Старики не считают приличным заходить в юрту к жениху. Они уселись особняком на берегу речки и ведут медлительную беседу. Сразу видно — почетные гости. Держатся важно. Приехали из уважения к жениху — знатному баю. Ведь жених Касым — человек не простой. Он недавно избран в председатели волисполкома соседней волости.

Родом Касым из знатного аула. В этом году он вел одну из предвыборных групп. Касым не батыр, не умелец, и вообще особых достоинств у него нет. А что народ избрал его волостным, то это в память отца. Не зря говорится: «Хоть криворотый, но пусть речь держит сын бая».

И как не оказать уважение жениху, если с ним приехал Оспан. Тот, кто продвигал Касыма в волостные начальники.

Оспан известный человек. Он поставил уже четырех вестных. А сам всего-навсего не слишком грамотный учитель. Это не мешает Касыму утверждать: «Наш Оспан — настоящий ученый». Касым подметил у своего покровителя особый талант — необыкновенное умение держаться высокомерно. Оспан большой любитель уважения и почестей, потому и привез его с собой жених. Почетный гость!

Правда, господин Оспан далек от нужд степной жизни, но «любовь к казахам» заставила его принять приглашение Касыма. И вот он здесь. Новый волостной намерен обзавестись токал — второй женой. Для этого и сосватал дочь Байбосына.

Касыму не больше сорока лет. Не беда, что лицо повредила оспа. Рябой он, зато плечи могучие. А на плечах огромная голова с солидным носом и редкой бородкой. Вот какой жених у дочери Байбосына. Красноречием не блещет, не привлекает к себе с первых слов. Зато, когда надо, очень понятлив. Вот хотя бы с Оспаном. Все, что ни скажет Оспан, принимает как великое откровение. Оттого, видно, и понравился он Оспану.

После утреннего чая Оспан счел необходимым немного прогуляться и вышел во двор. Скоро жара сморила его, но вернуться сразу в юрту было неудобно. Пришлось сделать вид, что заинтересовался жизнью села. В сопровождении приехавшего с ним «адъютанта» и толпы любопытных шествовал он от юрты к юрте и взирал с удивлением на все, что попадалось по пути. Можно подумать, видел это впервые: и овец, отдыхающих в тени, и скачущих с задранными хвостами коров. Заметил привязанного жеребца, встал в позу, покачал головой: «Жарко им бедняжкам! Что за жестокий народ эти казахи!»

Подошли к старухе, она варила курт. Оспан пришел в восторг.

— Что ты делаешь, бабушка? Ого, да это настоящее производство!

Сопровождавшие Оспана согласно кивали, пряча смехок, поддакивали: «У нас, казахов, бывает такое». Коротка память у человека. Забыл Оспан, как крутился, бывало, вокруг котла, не помнит и поварешки, которой охаживала его мать, если слишком надоедал. Забыл все и уставился сейчас на курт, будто никогда его не пробовал.

Погуляли и вернулись. Жених уже ждал Оспана. Отозвал в сторону: секрет есть. Пришлось снова выходить из прохладной юрты.

Отошли шагов на пятьдесят от аула, уселись на зеленой полянке. Касым нахлобучил шапку на брови, опустил глаза и начал:

— Слышал я тут один разговор, очень он мне не по душе. Вам известно, я сосватал дочь этого Байбосына. Родители девушки дали свое согласие и уже забрали от нас немало голов скота. И вот, пожалуйста, не знаю, что думают родители, но дочь объявила: «Сейчас у нас свобода, не хочу идти за него замуж, у него уже есть жена, да и старше он намного!» Приходила ее тетка, вот что передала: «Буду жаловаться, говорит невеста, в суд подам!» Что теперь получается? Вчера и сегодня звал ее — не идет. Заладила одно: «Не пойду!» Родители дали свое благословение на брак, и мы уже сосватаны. Мало того, я затруднил вас, привез сюда. Теперь все надежды на вас. Вы и для убегающего и для догоняющего опора! Жаловаться-то задумала вам. Если найдете возможным, легко сумеете отговорить ее от этой глупости. Вас она послушает.

Оспан изобразил глубокомыслие, потупил глаза, помолчал и решил:

— Хорошо, поговорю. Свобода свободой, но девушка должна приличие соблюдать. Казахских традиций отбрасывать не следует.

— Правильно! — одобрил довольный жених. — Не сказано же в твоём декрете, чтобы девушка отворачивалась от жениха. Так не должно быть!

Оспан не стал откладывать дела, тут же пошел к невесте. Это было даже интересно, он еще не видел ее. Миновал юрту жениха, у входа в разукрашенную юрту невесты задержался, вытащил из кармана расческу, пригладил волосы, приосанился, что твой петух, кашлянул и шагнул внутрь. Невеста сидела у постели, что-то строчила на швейной машинке. Больше в юрте никого не было. На Жамилю не надо было смотреть дважды, чтобы понять — она красавица. Черные блестящие волосы украшены черной вышитой тибетейкой, лицо оттого кажется особенно белым. Щеки яркие, носик аккуратный, прямой. Ладную полную фигуру ловко облегал плюшевый камзол, из-под него выглядывало белое платье. Одежда Жамили очень шла ей.

Оспан совсем растаял. Даже захотелось сделать для девушки что-нибудь приятное. Он прошел на почетное место, сел и поздоровался. Жамиля слегка повела глазом и с достоинством ответила.

Мешая дело с шуткой, Оспан подобрался наконец к вопросу, который привел его сюда. Девушка повернула голову, удивленно вскинула брови. Оспану было совсем не легко. Выражаясь туманно, спотыкаясь то на одной, то на другой фразе, он все-таки выговорил:

— Родители вас уже просватали. Жених — волостной начальник, уважаемый человек. Подумайте, не делаете ли вы ошибки, отказывая ему? Может, одумаетесь все-таки? — закончил он, жалко улыбаясь.

Слова эти несколько не смутили Жамилю. Она взглянула в глаза Оспану насмешливо и прямо.

— Не хочется верить, что это ваши мысли. Не смогли отказать приятелю, все-таки привез вас сюда, не так ли?

Оспан растерялся, не сразу нашелся, что сказать. Улыбнулся сочувственно и промямлил:

— Может, вы и правы, но высказал эти мысли я. Думаю, вам полагалось бы на них ответить.

— Пусть пришел бы кто другой, я бы не удивилась. Но вы? Вы образованный, известный человек. Мы здесь считаем вас нашим защитником. Думаем, вы за освобождение женщины, и вдруг — посредник в таком деле! К лицу ли вам это?

— Ах, вы обижаете меня, — взмолился Оспан, — какой я посредник!

— Рада слышать. — Глаза девушки смеялись. — Жду от вас справедливости. Ваше положение, внешность, возраст заставляют думать о вас лучше.

Оспан не пытался возражать — он признал свое поражение и опустил голову, ожидая дальнейших упреков. Откровенность и остроумие девушки победили его. Последние слова упали в самую душу и родили нечаянную надежду. Что же, девушка ему под стать и красотой и умом. Жамиля же тем временем успела разглядеть и красивую русскую одежду «настоящего ученого», и приятное румяное лицо.

В ее душе шевельнулись ответные чувства. О женихе больше не вспоминали. Несчастный Касым, сжигаемый двумя огнями — надеждой и безнадежностью, с нетерпением ждал Оспана. А вероломный посол уже строил

планы — как бы самому добиться расположения красавицы.

Еще несколько откровенных слов — и заговорили как давние знакомые.

Жамиля все больше нравилась Оспану. Решимость его росла. Разговор уже вертелся вокруг заветного предмета. Оспан сыпал шутками, блистал, не впервой ему покорять красавицу степнячку. Наконец решился, высказал сокровенное напрямик. Девушка и тут не растерялась. Видно, случалось уже ей выслушивать признания. Ободрив влюбленного взглядом, сказала:

— Ваше желание может быть исполнено. Но выслушайте сначала мое...

Оспан не дал ей договорить. Вскочил, притянул девушку к себе, поцеловал. Жамиля смутилась, но не слишком. Опустила глаза, тихо проговорила: «Могут войти».

А окрыленный Оспан уже требовал встречи наедине. Девушка улыбнулась.

— Какой вы быстрый. Не успели полюбить, а уже хотите наедине. Не надо торопиться. Сначала узнайте мое желание.

— Говори, говори скорей! — торопил Оспан.

— Слушайте. Пусть наша близость не будет мимолетной. Если правда любите, давайте будем вместе на всю жизнь. Что вы теперь скажете?

Оспан не стал долго размышлять, вскочил с готовностью.

— Какие слова, милая Жамиля! Это же мое самое заветное желание. Давай теперь же решим: ты — моя, я — твой.

Что еще оставалось влюбленным? Договориться о свадьбе, конечно!

Обсуждали долго, в конце концов придумали: на днях Оспан, завершив дела в аулах, поедет в город. Вот тогда, по пути, завернет сюда и увезет Жамилю. А Жамиля все эти дни должна твердо стоять на своем и согласия на брак с Касымом ни в коем случае не давать. Так решили они и крепко обнялись, словно друзья после долгой разлуки. Жарки поцелуи влюбленных, трудно расстаться. Но пока Жамиля считается невестой другого, надо уходить.

Женпху Оспан, конечно, не сказал правды. Пожаловался на девушку: «Я очень долго и серьезно убеждал невесту. Думаю, уговорить ее вряд ли кому удастся. Я и то не смог». Касым верил и не верил, но укорять не стал.

К вечеру по аулу пролетела весть: девушка отказала Касыму, не хочет идти за него. Какой стыд! Родители не знали, куда глаза девать. Перед всем народом осрамялись. Однако ничего не поделаешь. Силой замуж не потянешь. Не те времена. Свадьбу, назначенную на завтра, отменили. Парни и девушки приуныли, затихли. Со вчерашнего дня готовились, и вдруг — не будет веселья. Невесту уговаривали, посылали целые делегации из родственников и близких — ничто не помогло. Пришлось объявить жениху: «Наша невеста что-то капризничает. Пожалуйста, не огорчайтесь. Дайте сроку пятнадцать дней, все уладим. Пройдет срок — приезжайте». Поздней ночью люди из свиты жениха начали разъезжаться по своим аулам. Уехал и жених.

Прошло пять дней. Аул Байбосына спал, утомленный жарким днем. Тихо подкатил тарантас, запряженный тройкой. Это Оспан приехал за Жамилей.

Никому не догадаться, что затеял Оспан. Он хитро повел дело. Вместе с Касымом покинул тогда аул Байбосына и все эти дни провел рядом с незадачливым женихом. Кто бы мог заподозрить недоброе?

Кони остановились у небольшого холмика, на краю аула, — так было условлено. Сюда должна прийти Жамиля. Оспан с нетерпением вглядывается в темноту — скорее бы, скорее! Как долго тянется время! Минуты стали часами. Все тихо. Оспан и его спутник прислушиваются, ждут. Высоко в поднебесье подмигивают звезды. Джигитам мерещатся фигуры людей. Нет, это только тени...

Прошло около часа. Вдруг ухо уловило слабый звон шолпы. А вот уже и разговор слышен. Идут двое. Мелькнуло белое платье. Жамиля! Оспан бросился навстречу. На голову девушки наброшен черный чапан — на всякий случай, чтоб не узнали. Вот Жамиля что-то тихо сказала своей провожатой, попрощались, и кони тронулись.

Город отсюда в ста верстах. Пока аул проснется и люди сообразят, что случилось, беглецы будут уже на месте. Кони мчат во весь опор.

Настало утро. В ауле хватились: где Жамиля? И только к обеду догадались — убежала. Но с кем? К вечеру весть о побеге дошла и до аула Касыма.

А на следующий день народ узнал: побег — дело рук Оспана.

КТО ВИНОВАТ?

I

День клонился к вечеру, и томительная июльская жара спадала. Над широкой долиной, над шумным аулом разлилась легкая, бодрящая прохлада. Солнце медленно скатывалось за золотистые холмы, синие тени которых ложились на юрты, увалы, ложбины.

Бесшумными, вкрадчивыми шагами подходит ночь. Свежеет воздух. Сгущаются тени. Они ширятся, блекнут, теряют остроту очертаний и, наконец, сливаются с потемневшей землей. Еще мгновение — и прозрачные густые сумерки заливают долину. Просыпается мягкий прохладный ветерок. Он осторожно струится в травах и легко парит над ними, колышет их, заставляя петь едва уловимым, тончайшим звоном.

В аулелюдно и весело, словно на большой, праздничной ярмарке. Бронзовые от загара, бегают с хохотом и визгом полуголые ребятишки. Они встречают пропыленные и разноголосые отары, отгоняют пугливых ягнят от жирных, тяжело потряхивающих курдюками овец, перекликаются и болтают без умолку. Пылают багровые костры. Голубой пеленой стелется дым по ложбине. Мужчины прибирают уздечки, седла и пропахшие конским потом кошмы. Медлительные аксакалы один за другим идут к роднику, расположенному между аулами. Игривые и сытые табуны пестрыми косяками спускаются по склонам холмов.

Начинается вечерний водопой.

Лошади фыркают, шумно, удовлетворенно вздыхают и потряхивают красивыми, умными мордами.

Аксакалы рассаживаются полукругом у источника. Завязывается неторопливая беседа: кто похваливает кау-

рую кобылицу или игривого стригуна, кто радуется обильным пастбищам с тучными травами и здоровым, освежающим водопоем.

И хотя сегодня у родника собрались завсегда и подобных собраний — мужчины близлежащих аулов, — все же чувствовалось отсутствие главы их, аксакала Исмаила. Он, старейший богатого большого аула, раскинувшегося на зеленом лугу ближе всех к роднику, не вышел к своим друзьям-товарищам. Исмаил, важный аткаминер, известный всей округе, сегодня не пришел встречать табун. И то, что нет сейчас в привычном кругу Исмаила, и то, что неизвестно, почему это произошло, скоро стало главной темой разговора. Сначала в догадки пустились только старшие, а потом и остальные начали строить разные предположения, судить, рядить, допытываться.

— Не поехал ли он куда-нибудь? — произнес один.

— Уж не заболел ли аксакал? — предположил другой.

Недоумения рассеял сосед Исмаила — Бейсембай. Сдержанно, полунамеками, поведал он аксакалам о большом горе, постигшем семью Исмаила.

Из слов Бейсембая старики узнали о том, будто бы дочь Исмаила Газиза, та самая, к которой вот-вот приедет жених, совершенно неожиданно, и не сама, а через какого-то посредника, передала родителям, что она не хочет замуж, что не желает она идти за этого жениха. Да, да! Не хочет! Отказывается наотрез! Узнав об этом, Исмаил неслыханно разгневался. Что будет дальше, никому не известно, во всяком случае, аксакалы оживились. Одни говорили, что им про это уже намекали жены, другие вспоминали слышанные случайно пересуды и толки о поступке Газизы, третьи, убежденные сединой и потому наиболее уважаемые, покачивая головой, жаловались на теперешнюю испорченную и своенравную молодежь.

— Да, теперь такое время, — сокрушались они, — вырастишь дочь — так и знай: придет беда в твою юрту. А все от этих иноверцев. Как можно скорее надо избавиться от них, — единогласно порешили аксакалы, и все сошлись на том, что Газиза — пропащая и испорченная, что жаль седины уважаемого Исмаила и обидно за то, что ему пришлось припять позор на свою голову в столь преклонные годы.

А в это время хмурый и злой Исмаил одиноко сидел на холме за аулом, вдали от людей. Он не замечал ничего вокруг, не видел, как спустились темно-синие сумерки, как отшумел вечерний аул и мирная, спокойная тишина окутала юрты, холмы, долину, как легло на землю глубое безмолвие июльской ночи.

Холодно и пусто на душе оскорбленного старика.

Мысли, одна мрачнее другой, роятся в голове Исмаила, но нет в них никакого сострадания к слезам Газизы. Об отречении от нее все чаще, все настойчивее думает он! Стынет отцовское сердце, немеет. Крепко поджал под себя ноги аксакал. Угрюмо и пристально смотрит он в глухое пространство. Погруженный в свои мрачные мысли, он гневно бормочет что-то.

— О создатель! — восклицает Исмаил. — Не думаешь ли ты, что я просил у тебя ребенка для того, чтобы он обрушил несчастье на мою голову? Или ты решил очернить мое доброе имя, лишит почета и опозорить громкую славу предков? И ты выбрал орудием против меня мою же дочь, глупую девчонку, у которой и на ноготок нет рассудка? Ты задумал развеять по ветру мое счастье, до сих пор непоколебимое среди моего рода? Хорошо! Пусть я буду наказан, если согрешил перед тобой! Но лучше я решусь сразу, чем буду терпеть позор от неблагодарной дочери, не оценившей того, как лелеял я ее, как берег я ее и носил на руках. Да, вот на этих руках! — выдохнул старик последнюю фразу и смолк, погруженный в свои мрачные мысли.

Вскипела в сердце его взбудораженная гневом кровь. Вдулись вены. Посинело лицо. В каменном спокойствии просидел он до тех пор, пока не погасли в аулах костры, пока не вывездилось темное, далекое небо и выплыла печальная холодная луна.

Глубокой ночью поднялся Исмаил с земли и неторопливой, но твердой походкой пошел к своей юрте. Два всадника, неожиданно вывернувшись из-за крутого холма, шумно промчались мимо Исмаила. Тускло поблескивали в полутьме украшения седел, уздечек и стремян.

По стройным, подтянутым фигурам, по ловкой посадке Исмаил определил, что всадники молоды, и, глядя на них, остановился, желая узнать, в какой аул они держат путь. Верховые, не сбавляя хода, направились к его большой белой юрте и остановили лошадей лишь тогда, когда те уперлись мордами в жилище Исмаила. Гостей встретил

младший сын Исмаила, Касимжан, вместе с двумя-тремя своими друзьями, и повел их в юрту. Через некоторое время в юрту вошел Исмаил. Сумрачный и озлобленный, он даже не пытался скрыть своего подавленного состояния. Гости оказались сын Исмаилова свата Ислам и его приятель Жагыпар. Вот уже прошло два года с тех пор, как Ислам не был в степи, не видел родных аулов, друзей детства. И лишь недавно, окончив в городе среднюю школу, Ислам вернулся в отчий дом, погостил там немного, а теперь прискакал навестить родню.

Высокий и тонкий, длинноволосый, с румянцем во всю щеку, он больше походил на красивую девушку, чем на степного джигита.

Семья Исмаила встретила молодого родственника радушно и ласково. Все наперебой стали расспрашивать его о том, как живут люди в городе, не трудно ли учиться в школе, не тоскливо ли без родных и друзей. Больше всех радовался приезду Ислама Касимжан. Раньше они часто бывали друг у друга в гостях, а когда их аулы останавливались на соседних урочищах, юноши были неразлучны. Веселье, радость, горе и неудачи — все делили они пополам.

Аул Исмаила был Исламу почти родным. Как собственного сына, любила и баловала его мать Касимжана, приветливая Калиман. Видно было, что и сейчас ничто не изменилось и что любят здесь его по-старому.

Лишь угрюмый Исмаил тягостной, нескрываемой злобой своей омрачил светлую, теплую радость встречи.

Он мало говорил с молодежью. Обычная его неразговорчивость и нелюдимость сегодня были особенно заметны. После столь неожиданного решения Газизы, после гнетущих тяжелых раздумий на холме ничто уже не занимало старого Исмаила.

Закипел самовар. Калиман подозвала батрачку и велела ей позвать Газизу, которая сегодня весь день пробыла в своей юрте.

— Пусть Газиза угощает гостей чаем, — сказала Калиман.

Услыхав эти слова, заметно взволнованный Ислам стал все чаще поглядывать на дверь, и вскоре его настороженный слух уловил серебряное позвякивание шолпы. Но вот и Газиза. Она вошла одетая в светлое летнее платье и черный бархатный камзол. На голове, поблескивая позументами, красиво сидела новая шапочка. Изысканно одетая,

гибкая, как молодое весеннее деревцо, ясноглазая и приветливая, она каким-то особенным сиянием озарила юрту.

Когда молодежь, смущаясь и радуясь, стала здороваться, бледное лицо Газизы вспыхнуло, как весенний цветок. На ее красиво очерченных ярких губах засияла счастливая, радостная улыбка. Ислам не видел Газизу два года. И теперь она показалась ему прекраснее всех девушек на свете. При слабом желтом огне лампы лицо ее, казалось, излучало какой-то необыкновенный свет.

Газиза опустила на ковер и стала угощать гостей чаем. И хотя она сидела теперь рядом с грозным отцом, с лица ее не исчез отблеск большой затаенной радости.

После чая Исмаил строго взглянул на жену и процедил сквозь зубы:

— Приготовь юрту Газизы для молодежи, одним им будет лучше!

Калиман отослала дочь в ее юрту. Вскоре позвали туда и гостей.

Молодые люди были довольны тем, что наконец избавились от гнетущего присутствия Исмаила и, не заставив себя долго упрашивать, скоро оставили стариков.

После того как гости покинули юрту, а вслед за ними ушли и односельчане, в жилище стало как-то сиротливо, неуютно и пусто. Исмаил остался наедине с встревоженной Калиман. Сидя почти спиной к ней, он вновь возвратился к прерванному днем разговору.

— Слушай, если ты не хочешь, чтобы я поступил с тобой круто, уйми свою дочь! — грозно прорычал он. — Если не умеешь растить дочь, так нечего было ее и рожать. Воспитывала, воспитывала, вот до чего довело твое воспитание!

Калиман тоже осуждала, даже ненавидела сейчас свою дочь не меньше Исмаила. Поэтому гнев мужа, столь неожиданно обрушившийся на нее, положил предел терпению старухи. Обычно добродушное лицо ее исказилось.

— О создатель! Чего он требует от меня? — крикнула она возбужденно. — Разве хуже других воспитывала я свою Газизу? Чему, чему плохому я учила ее? И чего ты только набросился на меня? Я — мать, но ведь и ты приходишься ей отцом. Так наставляй же ее сам! — закончила она дрогнувшим голосом.

Исмаила взбесило упрямство жены.

— Проклинаю твое воспитание! — рявкнул он. — Ты одна, только ты одна довела до этого! В какой равной нам

семье есть дочери более испорченные, чем твоя? Отвечай мне, в какой? Найди мне хоть одну такую семью! Видала ли ты где-нибудь мать глупее себя и дочь — хуже твоей дочери? Назови же мне их, назови!

Возмущение, гнев и горькая обида сжали сердце Калиман. Больше она не могла сдерживать себя.

— Несчастный! — ответила она мужу. — Зачем ты чернишь свое родное дитя? Зачем говоришь о ней так, как самый заклятый враг никогда не сказал бы? Если хочешь знать, так Газиза равна царской или ханской дочери! Виновата ли она, что не хочет идти за дряхлого вдовца? Нет, не виновата!

Исмаил оборвал свою жену яростным криком:

— Замолчи! Ни слова больше! Сегодня я не остановлюсь ни перед чем! Запомни это! Если не уймешь свою дочь, если станешь заступаться за нее, то пусть проклянет меня из могилы мой отец, но я жестоко расправлюсь с вами. Прежде всего с тобой... Поняла? Не сумеешь вразумить дочь свою, так и скажи — не сумела, и откажись от нее. Иди поговори с ней сегодня — и хватит! Этой же ночью! Слышишь?

Исмаил неуклюже встал и вышел из юрты.

Калиман хорошо знала крутой нрав мужа, но таким грозным, таким взбешенным она не видела Исмаила уже много лет. Значит, решил человек на все. Вспомнив, как клялся он именем отца, она задрожала всем телом. Огромное горе навалилось на нее. И не себя, не дочь свою жалела старуха, а этого сильного, бесстрашного аксакала, растерзанного несчастьем. Неожиданно, словно волк, напала беда и беспощадно рвет на куски железное сердце того, с кем прожила она долгие годы. И решила Калиман сегодня же ночью окончательно поговорить с дочерью.

II

А в это время Ислам с трепетом ждал минуты, когда заснет аул. Сомнения всплывали одно за другим, тревожили. Он беспокойно ворочался с боку на бок. Ему казалось, что время остановилось, замерло.

Часы ли, минуты ли прошли?..

Ислам тихонько встал с постели, накинул на плечи легкий летний чапан и вышел из юрты.

Высоко в звездном небе плывет луна. Необъятным океаном лежит ночная степь. Аул спит. Словно водой

теплого озера смывает лицо дремлющая прохлада ночи, мягко ласкает тело. Он стоит возле юрты, задумчиво смотрит на далекий, грустный лик полной июльской луны и чувствует, как приятная бодрость возвращается к нему. Посередине аула лежат стада, погруженные в глубокий, мирный сон. Даже чуткие сторожевые псы притихли, уткнув мохнатые морды в вытянутые лапы. Липкий сон одолевает старого ночного сторожа. Кутаясь в рваную шубу, он хриплым криком изредка взбадривает собак. Далекое волнующее эхо глухо отвечает старику, перекликается на сотни ладов, гаснет где-то далеко-далеко за холмами, и снова настает дремотная тишина ночи.

Невдалеке стоит белая юрта Айши, невестки Исмаила. Видно, что там еще не спят. Хотя вход закрыт на ночь, но красноватый свет лампы тонкими, неровными полосами пробивается у самой земли из-под кошмы.

Ислам постоял, огляделся вокруг и, убедившись, что в ауле давно уже все успокоилось, подошел к юрте Айши. Постояв у входа, он заглянул в щель.

Горит маленькая лампа. Айша дремлет у высокой кровати. Около Айши, облокотясь на белую подушку, полулежит Газиза. Печально ее измученное лицо. Кажется, вся она ушла сейчас в себя и решает и не может решить своей судьбы. Кроме Айши и Газизы — никого.

Ислам осторожно отодвинул занавес и вошел. Обе женщины вздрогнули от неожиданности, быстро поправили волосы, платья и вопросительно взглянули на Ислама. Ислам молча сел около Газизы. Айша задала ему какой-то ничего не значащий вопрос. Он коротко ответил. Помолчали. Видно было, что и Газиза и Ислам не могут начать разговор. Стараясь помочь им, Айша полушутя-полусерьезно стала допрашивать Ислама.

— Почему ты забыл нас? Почему не исполнил своего обещания? Уехал в город, завел новых друзей и забыл родную степь! — говорила она, улыбкой и тоном давая понять Исламу, что так думает Газиза. И когда, преодолев первую застенчивость, стесненно заговорили они сами, Айша опустилась на подушку, сочувственно улыбаясь Газизе. — Не смущайтесь, — сказала она, — говорите откровенно обо всем. Не каждый день вам удастся так встречаться. Судьба не особенно балует вас, мои милые!

После первых незначительных и пустых фраз Ислам опять замолчал.

Газиза молча и по-новому смотрела на Ислама. Ясные, печальные глаза ее светились мягким укором. Она решила не начинать первой. Ислам понимал, какая обида лежит на сердце девушки, и чувствовал, что чем сдержаннее и нежнее высказана будет ему эта обида, тем скорее окажется он побежденным. Зная об этом, он хотел было заранее оправдаться, но неожиданно для себя сказал:

— Газиза! Я вижу твою печаль, ты можешь меня упрекнуть. Я готов заплакать, Газиза, но надо побороть себя. Я прошу одного — скажи, что ты не потеряна для меня! Скажи!.. Я...

Он взял ее руку и хотел поцеловать. Газиза высвободила руку и заговорила равнодушным, холодным тоном, будто речь шла о старой ненужной кошме:

— Ислам, чьей бы я ни стала, у меня было одно неизменное решение — не уходить никуда, прежде чем не увижусь и не поговорю с вами. Поэтому я и ждала вас. Но нечем мне вас утешить. Я долго ждала. Я готова была порвать с кем угодно ради вас. Но теперь все...

— Газиза, неужели ты не пожалеешь меня? Вот я пришел к тебе с повинной, но тебе ничего не нужно... Ты гонишь меня, Газиза? — взмолился Ислам.

— Я не гоню. Но прежние дни прошли. Связана теперь моя воля. Я попала в сети. Никогда мне из них не выпутаться. Недавно отсюда ушла моя мать. Я обещала исполнить родительскую волю. Обещала быть покорной. Ислам, не мучьте меня воспоминаниями.

— Газиза, разве так мы условились? Разве не смягчилось ради меня твое сердце, каменное для всех остальных? Не меня ли ты избрала тогда... — сказал он, ловя ее взгляд.

Газиза гладила волосы Ислама, перебирала их пальцами и молчала.

— Нет, те дни ушли, их не вернуть, — вздохнув, возразила она после долгого молчания. — Прежде мы наивно мечтали о несбыточном счастье. Никуда не уйти от власти обычаев!

Она снова замолчала, в раздумье глядя вдаль.

Ислам не находил слов.

Газиза взглянула в его умоляющие глаза и сказала:

— Ислам! Завтра, говорят, придет мой жених. Если хотите, до его отъезда оставайтесь в нашем ауле.

Жених!

Это слово подняло бурю в груди Ислама. Острая боль пронзила его сердце. Теперь еще дороже, еще желанней стала Газиза.

— Завтра же рано утром я уеду! — глухо простонал Ислам.

Но, поговорив с Газизой, он согласился ждать, покорившись на время всему, и, пока она еще у родителей, ничего не предпринимать в надежде на будущие лучшие дни.

Ислам и Газиза решили в это тяжелое время чаще видаться, утешать друг друга в печали. По настоянию Ислама Газиза обещала открыто показать свое полное презрение и отвращение к жениху. Было решено ни за что не разлучаться до тех пор, пока насильно не свяжут руки.

Расстались они взволнованные и радостные. Перед уходом Ислам обхватил ладонями бледное лицо Газизы и прильнул долгим поцелуем к ее губам. Газиза не противилась. Она забыла свою прежнюю сдержанность, обняла обеими руками Ислама за шею и крепко поцеловала его.

В последний раз прижав к своей груди Газизу, Ислам прошептал:

— Обещай, что больше не будешь такой неумолимой...

Газиза улыбнулась и молча взглянула в его глаза.

— Посмотрим, — тихо сказала она.

Успокоенный, вышел Ислам из юрты.

Наступило утро. Угасла побледневшая луна. Редели звезды. Занималась зеленоватая заря. Ислам крупными шагами прошел к юрте и повалился на постель возле своего товарища.

III

Сегодня вечером аул Ислама встречает желанных гостей — жениха с его родней и свитой. Между юртами к натянутым арканам привязаны оседланные кони. У костров кипучая толкотня и суматоха.

Ислам сидит в юрте, отведенной для жениха. Вместе с гостями напился он вечернего чаю и молча глядит перед собой.

Так понуро он сидел до тех пор, пока не вошла в юрту Айша и не вызвала его кивком головы.

Ислам вышел не сразу. Айша отвела его в сторону и сказала:

— Вон в той, крайней, юрте тебя ждет Газиза. Сейчас я была у нее. Она зовет тебя. Иди!

Ислам, стараясь быть незамеченным, пошел в крайнюю юрту.

В маленькой серой юрте никого не было, кроме Газизы. Она сидела в полумраке у догорающего очага. Синие огоньки бегали по багровым углям. Угли тускнели, затягиваясь голубым пеплом.

Сегодня весь вечер мучила Ислама ревность, когтистая, как россомаха. Подчиняясь ей, он готов был на что угодно. Ислам ревновал Газизу не только к жениху. Он ревновал ее ко всем, кто, суется и волнуясь, устраивал ей новую жизнь. Он ненавидел всех, кто старался отдать ее в объятия соперника. При мысли об этом у него мутился разум. Нервно и возбужденно разговаривал он с Газизой, терял самообладание, дрожал, громоздил невнятные фразы, выкрикивал непонятные слова. И когда Газиза, по-прежнему хладнокровная, стала успокаивать его, он заявил:

— Газиза, я истерзан горем. Нет мне выхода! Не утешись — так и знай: кто-то погибнет из нас! Жених, или я, или ты! Кому-то не жить на свете, Газиза.

Погасли синие язычки пламени в очаге. Истлели и рассыпались в золе последние угольки. Густой полумрак окутал убогую обстановку юрты. Только через многочисленные дыры ветхой кошмы большими белыми монетами падал прозрачный свет луны на камни очага, на лохматые овчины и кошмы.

Ислам порывисто обнял Газизу. Его страсть сделала ее покорной и тихой. Крепко сжимая в объятиях гибкое тело Газизы, Ислам молча и жадно целовал ее губы. Когда пришла пора уходить, Газиза снова взяла с Ислама обещание не покидать ее в эти дни.

Выйдя из юрты, Ислам заметил темную фигуру удаляющегося человека. Лица его не было видно, но по одежде Ислам узнал в нем одного из товарищей жениха, того самого, который вечером подозрительно смотрел на Ислама, покидавшего юрту Айши. Но юношу это не встревожило. Он спокойно вернулся в юрту жениха.

Гости уже отужинали. Перед ужином несколько раз посылали за Исламом, но нигде не могли его разыскать. Всем показалось подозрительным исчезновение одного из почетных гостей.

— Разве сталкиваемся мы с образованными людьми! — едко заметил один из друзей Жакуба — жениха Газизы. — Мы, степняки, привыкли говорить о том, что видим, а они за это называют нас сплетниками. Вот и получается недоразумение. А суда над ними нет, ну и разберись тут! — Огорочив такими словами Ислама, он многозначительно захихикал. Остальные переглянулись и улыбками и восклицаниями поддержали шутника.

Ислам вспыхнул, но, не найдя острого ответа, смолчал. Эта шутка встревожила и Жакуба. Особенно расстроился он после того, как, побывав на улице, поговорил с кем-то. Обеспокоенный и раздраженный, вернулся он в юрту. Добродушное и веселое настроение покинуло его, он замкнулся в себе. Румянец на его щеках то исчезал, то вспыхивал вновь. Иногда он начинал сердито сопеть, и было заметно, как кипит в нем невысказанная, невылитая злоба. Товарищи Жакуба заметили это не сразу, но, догадавшись, что ему не по себе, тоже помрачнели. Скоро в юрте воцарилась тишина.

IV

Когда гости разошлись, Жакуб послал одного из приятелей за Айшой. Увидев ее, Жакуб спросил, притворно улыбаясь:

— Айша, ты, как и золовка твоя, кажется, чуждаешься меня? А? Ну, подойди-ка поближе, — сказал он, освобождая место около себя, — садись!

Айша ответила ему улыбкой.

— Не успел приехать — и уже недоволен! — возразила она. — Кажется, рановато.

— Верно, не успел приехать, а уже разочарован. Но что мне делать, если вы так себя ведете. Прошу у тебя только одного — покажи мне Газизу, и непременно в эту ночь покажи!

Айша удивленно вскинула брови.

— Дорогой мой, — пропела она, — или ты не знаешь наших обычаев? Или ты забыл, куда приехал?

— Знаю, не смейся. Не могу я переносить все эти сплетни и пересуды. Не пужны мне ваши обычаи! Сумел бы и я соблюдать обычай, если б соблюдала его невеста. Посты и молитвы для сытых, не правда ли?

— Какие ты слова говоришь, с ума, что ли, сошел? Почему? Как ты можешь...

— Да, говорю серьезно. Хочешь считаться со мной, приведи ее. Будет скучно — уйдет Газиза, но надо мне с ней поговорить. И ты обязана все устроить!

Никакие уговоры и увещевания Айши не помогли. Жених упрямо настаивал на своем.

— Скажи ей, — потребовал Жакуб, — пусть придет сегодня. Может быть, это будет даже и полезно для нее. Я пока только гость, приехавший на два-три дня. Если все, о чем говорят, правда, если ей не нравится, что я приехал, то пусть так и скажет. А я? Чтобы не мешать ее счастью, я уберусь завтра же отсюда. Не хочу я навязываться вам в родственники. Скажи ей об этом. Поняла?

Видя, что Жакуб не шутит, Айша пошла к Газизе, чтобы в случае согласия привести ее к жениху.

Товарищи жениха без усталости толковали о странных событиях минувшего вечера. Они были буквально сбиты с толку и страстно хотели понять, что же все-таки случилось. Скоро к ним подошел друг Жакуба — Муса (это он следил за Исламом).

— Скажите, кто-нибудь из вас знает, почему так странно держится сын Азимбека? — спросил он.

Еще у себя в ауле парни много слышали о скандальном поступке Газизы, но, не зная, кто являлся причиной ее отказа жениху, только пускались в разные догадки и предположения. Кое-кто обратил внимание на городской, необычный вид Ислама, иные заключили, что он, и только он, мог быть предметом ее любви, но никто не знал ничего определенного.

Муса прислушивался к разговору парней.

— До приезда сюда мы только догадывались кое о чем, — сказал он, — а приехали — и поняли, в чем дело.

Любопытство присутствующих было подогрето. Начались назойливые расспросы.

Но Муса ничего больше не сказал.

— Придет время — выложим! Но скажу одно: паршивый человек этот Азимбеков сын! Вот!

Теперь никто уже не сомневался ни в чем насчет Ислама.

Недомолвки Мусы разгорячили воображение. Каждый дописывал сам, как умел, повесть о грязных делах Ислама.

И все, как могли, сочувствовали обиженному жениху, вслестически выражая свое сожаление, свое дружеское участие.

— Я намекнул Жакубу. Как быть дальше — решит он сам, — добавил Муса с видом человека, выполнившего свой самый почетный и трудный долг.

Наговорившись досыта, компания разошлась. И когда Айша возвращалась от Газизы к жениху, аул безмолвствовал. Не спал только Жакуб, ожидая ответа невесты.

При появлении Айши он не смог скрыть крайнего нетерпения.

— Говори скорей, с каким ответом ты пришла?

— Дорогой мой, не разыгрывай, пожалуйста, несчастного страдальца! Бог знает, что запало тебе в голову. Газиза, узнав о твоём приглашении, спокойно заявила мне: «Пусть осуждают люди, пусть я нарушаю обычай, но я приду, если этого хочет Жакуб». Так и сказала. Ну, а чья тут вина, тебе сейчас будет ясно. Выйди, я приготовлю постель.

Жакуб сделал вид, что он совершенно удовлетворен, и нарочито непринужденно пробурчал:

— Ну, хоть ты не осуждай нас! — и вышел из юрты.

Вернувшись обратно, Жакуб потоптался, вздохнул и лег на кровать. Он бормотал, сопел и ворочался с боку на бок. Через несколько томительных минут пришли Газиза с Айшой. Женщины поговорили о чем-то полупшепотом за спущенным пологом, и вскоре Айша, торопливо потушив свет, исчезла.

Оставшись наедине с невестой, Жакуб приподнялся в постели и позвал ее к себе. Газиза молча приблизилась к высокой кровати и остановилась, готовая слушать и отвечать. Жакуб лежал и ждал. Газиза стояла у кровати и думала, что-то скажет этот ненавистный ей человек. В том, что Газиза не говорила покорных слов, не спрашивала, зачем позвал ее жених, Жакуб увидел упрямую строптивость девушки. Подавляемый до сих пор гнев, вспыхнул в нем, и он решил поступить с невестой как можно круче.

Стыд и омерзение терзали Газизу. Она проклинала этот дикий степной обычай. Она задыхалась от возмущения. Ей казалось, что отвратительное чудовище хватается грязными когтистыми лапами ее обнаженное трепещущее сердце. Ничто не могло заглушить ее девической гордости. С трудом овладевая собой, она подбирала слова для того, чтобы дать последний и ясный ответ жениху.

Но Жакуб, ни о чем не спрашивая, молча дотянулся до нее, схватил за руку, рванул к себе и прохрипел:

— Ты, конечно, недовольна мной? Разлучил я тебя сегодня с Исламом. Неспроста молчишь! Знаю — связан твой язык клятвой. Клятвой скованы твои уста. Я все знаю!

«Так вот оно каково, первое знакомство с женихом!»

Газиза собиралась высказать все сразу напрямик, но не хватило сил. Она пыталась вырвать из лапы жениха свою руку, но не сумела.

— А ты приехал, — задыхаясь, крикнула она, — ты приехал и, как волк, ошетилил хребет! И уже бросаешься на всех! Так знай же: никого своей лютостью тебе не напугать! Мы не дети! Здесь никому не страшны выпученные глаза!

Жакуб оторопел.

Он ожидал чего угодно, только не этого.

— На кого ты надеешься?! Скажи! — выдохнул он, еле сдерживая звериную злобу. — Оттого, что я позвал тебя сегодня, ты начинаешь ругаться!

— Я поняла теперь, что будут для меня одинаковы все дни, — заторопилась она. — И завтра вряд ли увидел бы ты меня приветливее, чем сегодня. Каково начало — таково и конец. Какова я сегодня — такова всю жизнь. Нет у меня веселых слов, чтобы порадовать тебя.

Услышав это, Жакуб убедился в правдивости всех слухов о своей невесте и решил высказаться до конца.

— Конечно, — начал он, — твои радости остались в объятиях Ислама! И ты, мне кажется, гордишься этим. Так почему же ты все скрыла от родного отца? Наверное, научил тебя этому твой возлюбленный? Сама ты, кажется, уже заявила, что не хочешь идти за меня. Если так, говори прямо! Я позвал тебя только для этих объяснений.

— О чем нам разговаривать? Все понятно без слов.

— Да вот потолкуем давай хотя бы о твоих планах. Болтают, что собираешься за Ислама? Если люди не ошибаются, почему и нам с тобой не побеседовать о таком важном деле? Прав я или нет?

Глумливые издевательства жениха вывели Газизу из терпения.

— Да, я действительно не хочу быть твоей женой, — твердо, с неожиданным спокойствием сказала она. — А твои издевательства, твои насмешки переношу только потому,

что заставляют меня так делать те, кто сильнее меня. Да, правда, я люблю Ислама! Это ведомо богу, этого не хочу скрывать и от людей!

Жакуб ответил не сразу. Он предполагал, что Газиза не стыдится так говорить об этом только потому, что повторяет слова, которым ее научил Ислам. Но говоря о своем презрении к жениху, она оскорбляет дух предков Жакуба! Какой позор, если весь род заговорит, что дочь Исмаила отвергла его, всеильного Жакуба, и ушла с ученым мальчишкой! Давно ли, кажется, вчера еще, Азимбек да и сам Исмаил во всем зависели от большого человека — отца Жакуба. А сегодня сын одного и дочь другого имеют наглость глумиться над Жакубом, унижать его! Нет, нельзя снести такую обиду! Нельзя спокойно проходить мимо людей, издевающихся над законами предков. Да, он, Жакуб, не может простить оскорблений, не хочет и не будет слушать болтовни полоумной девчонки!

— Ну-ка, иди сюда! — тоном, не допускающим возражений, приказал Жакуб.

Газиза растерялась от неожиданности. Она стояла молча, как оглушенная. Но Жакуб уже рвал пуговицы на ее камзоле.

— Ты сегодня шутишь, — бормотал он, — смеешься надо мной! Ладно, первую колкость перенесу. Уж так и быть, раздену сам! — Он снял с нее камзол. Газиза не сопротивлялась, но и не шла к жениху. Она стояла в полузабытьи и, ошеломленная, молчала.

— Я к тебе не пойду, нет! — крикнула она. — Звал поговорить, я и пришла затем, чтобы только поговорить.

Разъяренный Жакуб потерял самообладание. Он вскочил, рванул Газизу за руку и, колотя ее в грудь, закричал:

— И ты еще смеешь издеваться надо мной! Ты... Ты... Я разрешил тебе говорить. Я все вытерпел, так она дала себе волю! Нет! Ошибаешься! Нет!

Он повалил Газизу на землю, нанося ей страшные удары. В злобном упоении он, казалось, хотел растерзать ее.

Никогда не знавшая побоев, обиженная, оскорбленная и подавленная, Газиза зарыдала. Слезы обиды, презрения и ненависти неудержимо полились из ее глаз. Отчаянно сопротивляясь, она кричала Жакубу в лицо:

— Убей, убей, но твоей не буду! Лучше черная могила, чем жизнь с тобой. Я презираю тебя! Ненавижу! Убей! Зверь!

Жакуб, не выпуская ее, прорычал:

— Гадина, думаешь, я умру, если не женюсь на тебе! Хотел взять, думал, что ты девушка. Но ты, оказывается, баба! Не возьму и за грош!

Он резко оттолкнул Газизу и, отдуваясь, пошел к постели. Газиза еле поднялась с земли. Она хотела сразу выбежать из юрты, но стала зачем-то разыскивать свой камзол и халат. Жакуб не дал их.

— Убирайся! — приказал он, забрав ее одежду.

Газиза вышла.

V

Над степью чуть брезжил рассвет. Порывисто дул свежий утренний ветер. Сырой туман клочьями висел над лугами. Унылая луна клонилась к закату. Чуткое, настроенное безмолвие трепетало в природе. Казалось, мир затаил дыхание, застыл.

Аул был погружен в глубокий, спокойный сон.

В этот таинственный час все живое набиралось сил, чтобы встретить солнце радостной песней.

Газиза не замечала ничего. Разбитая, стояла она, беззвучно рыдая. И горе, терзавшее сердце Газизы, и слезы, льющиеся из глаз, и содрогающиеся плечи в этот час были не видимы никому. Тяжесть, задавившая ее душу, была так огромна, что не было сил идти в юрту, не было сил жить на свете.

Газиза неподвижно стояла возле юрты. От кого ждать помощи, если в этот ад кинули ее родной отец и родная мать? Кому пожаловаться? Во всем ауле она одна бодрствует среди спящих, счастливых людей, она одна не знает ни сна, ни покоя.

Словно отбившийся от каравана в необъятной пустыне, одинокий, измученный жаждой путник, навсегда потерявший тропу, стояла Газиза, уронив голову на грудь.

Холодный утренний ветер заставил Газизу очнуться. Подавленная тяжелыми думами, избитая и опозоренная, она не замечала пронизывающего холода, не замечала бьющего ее озноба. Тонкое летнее платье не грело, но ни в одну юрту Газиза не могла идти до утра. Никто не должен видеть ее страданий.

И лишь когда встало солнце, добралась Газиза до Большой юрты и упала на постель.

...Газиза открыла глаза. Все давно на погах. Она огляделась, застонала и почувствовала, что ее бросает то в жар, то в холод. Забываясь в тяжелой дремоте, она поминутно возвращалась к мучительным кошмарам минувшей ночи. Все путалось в ее голове. Но вдруг ясно представив все, что произошло ночью, Газиза потеряла сознание.

Когда наконец она очнулась, щеки ее горели, огромная глыба давила на нее, голова кружилась и раскалывалась от нестерпимой боли. Газиза попыталась встать, но тело ее оказалось тяжелым, словно прикованным к земле. Не в силах подняться, Газиза застонала. Подошла мать. Она положила руку на пылающий лоб дочери и участливо спросила:

— Родная, тебя, наверно, продуло ветром? Ты горюшь вся!

Калиман устроила поудобнее постель и сама уложила Газизу. Жар у нее усиливался. Чем дальше, тем чаще бредила она. Страшные видения носились перед ее глазами.

А Исмаил в этот день, тщательно осмотрев, принял наконец калымный скот у сватов и готовился к тою.

Хотя Исмаилу, как и всем людям в ауле, было известно о болезни дочери, он не придавал ей значения и был совершенно спокоен, занятый приготовлением к приему гостей, созванных со всей округи. О болезни Газизы думал только один человек. Это был Ислам. Он сидел около постели больной, поминутно прикрывая ее одеялом, подавая ей воду, оправляя подушки.

В день тоя наехало много гостей. Они ходили шумными пестрыми толпами из юрты в юрту. Отовсюду неслись громкие песни, веселый, беззаботный смех.

После обеда все мужчины сели на коней и выехали на ближайший холм. Там устраивались конные игры, бега и состязания.

Ислам не интересовался теперь ничем на свете. Отстав от друзей, он все время проводил у постели Газизы.

К ночи гости разъехались.

На вечеринке задержались лишь особо приглашенные аксакалы, джигиты, девушки и женщины.

Беспечная радость царила кругом. Лились песни, звенели домбры, а у Газизы все сильнее горело тело, чаще наступало беспамятство.

Сначала в бреду она говорила что-то невнятное, теперь она звала себе на помощь людей, дрожала от испуга и не

находила покоя. Родные Газизы, вначале не обращающие на нее никакого внимания, забеспокоились и стали с тревогой прислушиваться к ее бредовым речам. Наконец собрались вокруг все сваты и товарищи жениха, все тетки, дяди, родные и двоюродные братья, сестры, племянники.

В юрте, и без того тесной и душной, теперь было почти невозможно дышать даже здоровому человеку. Газиза заметалась сильнее, застонала, невнятно заговорила о чем-то. Люди притихли. Пробормотав несколько бессвязных и непонятных фраз, Газиза вдруг отчетливо произнесла:

— Ислам, милый, не покидай меня... Будь здесь. Мне страшно без тебя.

Удивленные гости переглянулись, не нарушая молчания; только смущенная Калиман, пытаясь сгладить неприятное впечатление, сказала:

— Учились вместе, в детстве часто играли с Исламом, — вспоминает, бедняжка, теперь об этом...

Муса многозначительно оглянулся кругом и подтолкнул своего товарища Сулеймана.

Только Ислам не казался смущенным.

Наоборот, слова Газизы обрадовали и воодушевили его. Он ближе подошел к постели девушки, взял горячую руку и стал тихо спрашивать ее о том, что у нее болит. Изредка Газиза отвечала ему, вопросы всех остальных оставляла совсем без ответа. Молча потолкавшись в юрте, гости и родственники разошлись.

С Газизой остались ее будущая свекровь, Калиман и Ислам.

Товарищи Жакуба теперь получили новую работу для своих языков. Все они слышали от жениха о ночных событиях. Рассказав о них, Жакуб тогда вскользь уронил хитрую догадку:

— Она какая-то безрассудная, не околдовал ли ее кто-нибудь? Не сын ли Азимбека? Не он ли тут замешан?

Сейчас, удивляясь словам Газизы, товарищи Жакуба вспомнили случайно оброненную им фразу. Иного объяснения они не находили.

— Это, конечно, вполне возможно! — говорил один.

— Как же иначе, умная девушка, и вдруг с чего бы? — поддерживал другой.

— Недаром все рассказывает сама! — догадывался третий.

И тут, как и раньше, Муса подлил масла в огонь.

— Вчера я вам кое-чего не сказал, — вкрадчиво начал он. — Я слышал один разговор...

Слушатели насторожились.

— В первый вечер нашего приезда сюда Ислам и Газиза долго были вдвоем в крайней юрте. Помните, когда он исчезал? Он был там с ней. Я сидел за юртой и подслушивал. Я понял, что он чем-то пугал ее. Он даже прямо так и заявил: «Если не будет, говорит, по-моему, так умрет кто-нибудь из нас троих — жених, или ты, или, говорит, я». После этих слов они оба притихли. А сегодня, за чашкой кумыса, он печально проговорился: «У любой, говорит, из этих девушек, стоит только мне дать покурить моих папирос, закружится голова». Вот вы и соображайте...

Теперь все стало ясно.

— Значит, так оно и есть, — сказал один.

— В этом нет никакого сомнения! — воскликнул другой.

— Недаром же девушка, до сих пор ни в чем не замеченная, ни с того ни с сего бежит от жениха к городскому парню! — заключил третий.

— Да, только он один во всем виноват, — решили все.

Эти слова в ту же ночь стали известны всему аулу.

И сватам и жениху такие слухи были куда приятнее, чем сплетни о том, будто невеста отвергает жениха. Поэтому старательнее всех распространяли клевету родственники жениха. Дошла она и до Ислама. Но он ничего не мог противопоставить ей. К тому же Ислама так угнетала болезнь Газизы, что ни о чем другом он не мог думать и ничего не предпринимал для того, чтобы защитить себя.

VI

Прошло три дня.

Газиза слабела с каждым часом. Она не ела, не пила.

Сплетня, возникшая в день тоя, не утихала. Она распространилась далеко за пределы аула. Когда она дошла до Калиман, убитая горем старуха уже не знала, верить ей или нет. Терзаясь сомнениями, она стала косо поглядывать на Ислама, перестала разговаривать с ним.

Заметив подозрительные, отчужденные и злые взгляды окружающих, Ислам простился с Газизой и уехал домой.

Спустя несколько дней Газиза уже была в безнадежном состоянии. Она не узнавала людей. В последний вечер

Калиман, сидя со свахой около дочери, заметила, что Газиза затихла. Испуганная, она позвала аксакалов и мужчин.

Юрта была уже полна людей, когда Газиза в последний раз открыла глаза. Взор ее был тускл. Калиман, сотрясаемая рыданиями, бросилась к ней и простонала:

— Родная моя! Что стало с тобой? Какая беда постигла тебя? — И, еще ниже склонившись, спросила: — Или Ислам сделал с тобой что-нибудь? Скажи всю правду, дочь моя!

Дрогнули пересохшие губы больной... Собрав последние усилия, еще внятно, Газиза прошептала:

— Ислам... Ис...

Все молча переглянулись.

К утру Газиза скончалась.

Ее последние слова так и остались неразгаданной тайной.

VII

Ранним утром все окрестное население было оповещено о смерти Газизы. Долетело убийственное известие и до Ислама. Следом за страшным словом «смерть» несло и чудовищное объяснение причины гибели Газизы. Из уст в уста передавали, что сын Азимбека извел Газизу колдовством.

На другой день молчаливые всадники повезли прах Газизы за двадцать верст от аула и зарыли его на холме рядом с могилами предков.

Оплакивая смерть невесты, Жакуб со своей свитой прожил еще три дня в ауле Исмаила.

Грозный слух о злодействе Ислама, словно ветер, облетел всю округу.

Слух катился, как снежный ком с высокой горы. Запутанный мрачной легендой, на сотни ладов измененной и разукрашенной, гулял он по четырем соседним волостям. Легенде охотно верили люди еще и потому, что героем ее был загадочный, непонятный для них выходец из города, из какой-то неведомой школы. Слух стал нелепей и чудовищней еще и потому, что Жакуб раздувал его всеми способами.

Вернувшись домой, он поехал в ближайший поселок и обратился к старой русской гадалке с просьбой, чтобы

она разгадала тайну колдовства и причины внезапной смерти Газизы.

Ворожея объяснила, что Газиза погибла от злых волшебных чар молодого мужчины, врага семьи. Родные Жакуба немедленно известили об этом родителей покойной.

Теперь среди сторонников Исмаила и Жакуба все эти домыслы распространялись как доподлинная, неопровержимая правда.

Ислам не в силах был бороться с молвой, гулявшей в народе. Неизлечимой раной горела в его сердце тоска об утраченной навеки Газизе. Обессиленный и одинокий, он растерялся, помрачнел и затих. Часто плакал по ночам. Его не хотели понять не только чужие, но и родители.

Видя, как терзается измученный Ислам, Азимбек частенько подумывал: «Уж не правду ли болтают люди?» С каждым днем все жестче, все холоднее относился он к сыну. Но посторонним отец не мог показать вида, что он тоже верит слухам. Скажи об этом хоть одно слово, поднимется грозный вопрос о плате за убийство девушки. Только поэтому он всюду выступал в защиту несчастного сына. И ни с чем иным, как с целью уладить дело, он вместе с влиятельными людьми своего рода съездил в аул Исмаила. Он напомнил аксакалу о прежнем родстве, о прежней дружбе и сумел уговорить Исмаила, чтобы тот не возбуждал дела о выплате за погибшую дочь. Но Калиман, оплакивая при нем смерть дочери, причитала:

— Не показывайся мне на глаза, ты, черноликий Ислам! Разве не была она тебе ласковой сестрой? На кого ты поднял руку, злодей!

Рассказывая об этом своим домочадцам, Азимбек не скрывал своего презрения к сыну. Скоро не только среди чужих, но и в своем родном ауле Исламу нельзя было показаться на людях. В каждом взгляде, в каждой улыбке, в каждом слове он видел брезгливую отчужденность и опасливое недоверие к себе.

VIII

Однажды Ислам приехал в соседний аул к родственникам. Жена хозяина аула Батима подошла к нему и смущенно сказала:

— Дорогой, среди больших бед молчит и стыд. Неудобно мне говорить об этом, но я вынуждена просить

тебя, Ислам. Ты не осуждай меня, но моя невестка, жена твоего сверстника Кумакен, недовольна мужем. Я боюсь, что она может осрамить нас. Так вот, милый, пожалуйста, сделай то, что ты умеешь делать, как утверждают люди, с такими, как она. Вылечи ты ее, пожалуйста, прошу, очень прошу.

Разгневанный Ислам резко оборвал Батиму.

— Не морочь мне голову! — крикнул он и быстро отошел в сторону.

Ничего не поняв, Батима осталась еще более уверенной, что Ислам знает необыкновенную тайну.

Бежать! Скорее бежать из степи, бежать из родного аула. Другого выхода у Ислама не было.

Ранним утром пароконная подвода запылила по дороге к далекому городу. Скоро она свернула в сторону. Несмотря на то что приходилось делать большой крюк, Ислам приказал мальчику-кучеру ехать к зимовке Исмаила.

Стоял один из тех душных, знойных дней начала августа, когда все живое, прячась от пылающего солнца, не подает никаких признаков жизни; когда не слышно ни птичьего крика в небе, ни блеяния овцы в степи, ни ржания жеребца на горном склоне; когда одни лишь проворные кузнечики пронзительным стрекотом наполняют уснувший воздух да невидимая мошкара тянет высокую унылую ноту, недоступную человеческому голосу.

Не останавливаясь у пустынной зимовки, Ислам проехал к могильному кургану.

Курган одиноко высился на выжженном солнцем холме. Безлюдно, безмолвно и тоскливо кругом. Кажется, что грустное безлюдье степи наложило свой особый отпечаток и на полуразрушенный могильный курган.

Подъехав к кургану, Ислам сошел с телеги и неторопливо поднялся на вершину. Здесь, в гнетущем одиночестве, в чуткой кладбищенской тиши, высились ряды могильных бугров. Они поросли сухой колючей травой. За ними, на южной стороне кургана, чернела свежая насыпь, не тронутая ни знойными ветрами, ни освежающими ливнями. Из рыхлой земли поднимался широкий серый камень. Это была могила Газизы.

Словно слепой, шагнул Ислам к могиле. Он долго смотрел на маленький холмик и вдруг увидел на сухой земле запыленную книгу. Пораженный догадкой, он низко наклонился над ней. Да, это тот самый Коран! По нему, по этому Корану, маленькие ребяташки — Ислам

и Газиза — обучались у муллы непостижимой арабской грамоте.

Вихрем понеслись и закружились воспоминания далекого детства, проведенного с Газизой. Свежа и остра была боль о ней.

Дрожащей рукой Ислам раскрыл первую страницу старой книги и увидел на полях милые надписи, нацарапанные нетвердым детским почерком Газизы. На некоторых страницах старательно было выведено и его имя.

Ислам хотел поцеловать дорогие, неуклюжие строчки, но книга выпала из его рук, и он бросился на землю, с рыданием обнимая могилу навеки потерянной Газизы.

Огромное багровое солнце касалось своим раскаленным краем вершины дальнего холма. Вечерний ветер шелестел сухими травами. Где-то у водопоя призывно ржал жеребец. Откуда-то чуть слышно долетала песня.

Ислам тихо подошел к телеге. Лошади тронулись.

СИРОТА

Хмурый вечер середины лета. У подножья гор Улытау сумрачная прохлада. Еле шевелит травы легкий ветерок. Солнце садится. В долине сгущаются тени. На горизонт грузно легли тяжелые тучи, и лучи заката, пробиваясь сквозь них, красят притихшие холмы в темно-багровый цвет, отчего они кажутся грустными, сиротливыми. Иногда луч вспыхнет ярко, предгорье оживет на мгновение, и снова все вокруг мрачно и холодно.

Три всадника едут по холмам. Они не спешат, но все же иногда с опаской поглядывают на черную тучу, надвинувшуюся на горы. Там идет дождь.

Тоскливую тишину засыпающей долины нарушила песня одного из путников. Ему подтянули другие. Заунывно-протяжная песня казалась долгим возгласом великого смирения и терпения. Словно откликаясь на окружающее, песня то взмывала задорно и звонко, то снова текла уныло-однообразной дремотной мелодией. Песня как бы повторяла игру лучей уходящего солнца, которое бросало на вершины холмов крупные золотисто-алые мазки, а через мгновение вдруг тускнело и скрывалось за тучами.

Очевидно, стремясь сократить путь, всадники не свернули на широкую проселочную дорогу, ведущую мимо аулов, а поехали по петляющей среди холмов узенькой тропице

В то же самое время с противоположной стороны долины навстречу всадникам торопливо шел одинокий мальчик лет десяти — одиннадцати. На лице его застыла неутешная печаль, большое недетское горе. Все вокруг кажется ему холодным, чужим, жестоким. Задумчиво-грустные вершины холмов, окутанная сумраком долина,

дикие ущелья, молчаливо хранящие тайны ночи, нагоняют страх, который сжимает сердце.

Что же заставляет мальчишку на ночь глядя идти одного в незнакомые места? Кто гонит его? Заставляет его, гонит его — судьба.

Год назад умерла бабушка Касыма. Незадолго до этого скончались родители. Тяжелое то было горе, но тогда у него оставалась бабушка, было кому утешить. Да он и не понимал всей тяжести утраты, всего ужаса постигшей его беды, и если плакал, то больше потому, что плакали другие. Смерть бабушки он переживал куда тяжелее. Теперь он один, совсем один, некому приласкать, некому осушить слезы. В этот день мальчику показалось, что само небо всей своей тяжестью легло на его хрупкие плечи.

Близиких родственников у Касыма не было. Бабушку хоронили миром. Не было траурной процессии, никто не оплакивал ее. Только Касым, безудержно плача, громко причитал:

— Бабуленька, родненькая! На кого ты меня покинула?.. Почему ты не взяла меня с собой?! Теперь я совсем сирота...

Слушая его рыдания, присутствующие тоже вытирали невольные слезы, они знали, какова тяжкая сиротская доля.

Да, смерть бабушки была для Касыма самой большой утратой. Он так привык к ней, к ее ласковому взгляду, к легкому прикосновению ее рук, к тому, что она всегда с ним. Он любил вечером приласкаться к ней, положить голову на колени и сидеть так долго-долго.

Старуха понимала, как невыносимо трудно будет Касыму одному, знала, что его ожидает, и, собрав все свои силы, старалась, чтобы ничто не омрачало сиротскую жизнь мальчика. С какой-то странной улыбкой смотрела она на Касыма, когда тот ласкался к ней, — казалось, всю боль и жалость вкладывала она в эту улыбку.

Хотелось ли ей жить? Что и говорить, очень хотелось. Хоть бы дожить до совершеннолетия Касыма. «О господи! — молилась она. — Продли мои дни, пока окрепнут ноги моего жеребеночка. Не оставь его одного на произвол судьбы!» С этой молитвой на устах старуха и умерла.

Оплакав бабушку, Касым, глядя на взрослых, соблюдал траур. Тоска одиночества и бесприютность мучили

его. Чуть вспомнит мать, отца, бабушку, и они встают перед глазами как живые. Часто Касым брал палку, уходил в степь и там звал родных. Но никто не приходил, даже не откликался, и мальчик снова горько плакал.

Часто, вконец уставший, измученный, он засыпал прямо в степи. И тогда к нему возвращалось счастье — приходили отец, мать, бабушка. Они ласкали его, обнимали, целовали. Бабушка, ероша его жесткие волосы, приговаривала: «Теперь мы больше не умрем. Твои слезы вернули нас к жизни. Ты уже не беззащитный, и больше плакать не надо».

Касым радовался во сне, припадал к материнской груди и по-детски жаловался: «Зачем ты обижала меня, зачем не откликнулась и заставляла плакать?»

Тут Касым просыпался. Он понимал, что это был сон, и все же не хотел верить, что родители больше никогда не придут к нему. В душе мальчика теплилась надежда, что хоть кто-нибудь из них да вернется.

Шли дни. Для Касыма это были горькие, сиротские дни. Но как ни цепка детская память, а время делает свое. Забывались отец и мать, стала забываться и бабушка. Кочуя, род все дальше и дальше уходил от ее могилы, черневшей одиноким холмиком на склонах Улытау.

Шли месяцы. И время, прожитое с бабушкой, овеванное ее лаской, осталось в памяти Касыма как неясное воспоминание, как сладкий сон, который не повторится. Увлекательные, полные волшебства сказки бабушки, ее щемящие душу тихие и протяжные песни тоже ушли безвозвратно. Все погасло, как гаснет солнце на закате, и сплошной мрак окружил сироту.

После смерти бабушки Касыма, будто бы из жалости, взял к себе их сосед Иса. Забрал он и скот, доставшийся мальчику в наследство, — десятка три баранов, несколько коров и лошадей.

Соседи говорили Исе: «Не зарься на сиротское добро. Раз берешь к себе Касыма, не обижай его, вырасти человеком!»

Детей у Исы и своих было много, а скота почти не было. Ни он, ни его сварливая жена Кадиша не вняли советам соседей. Они сразу же стали распоряжаться этим скотом, как своим собственным.

Будь все ладно в новом доме, может, и не знал бы ничего об этом Касым. Да не очень рады были ему в семье Исы. Как-то поздней ночью, когда все дети

улеглись и только Касым, видно, из-за непривычной обстановки не мог уснуть и лежал, укрывшись с головой ветхим одеялом, он услышал разговор Исы и Кадиши. Они решали, как распорядиться по наследству Касыма.

— Черноголового барана и серую кобылу зарежем на зиму, корову продадим и справим детиншкам одежонку, — говорила Кадиша. — А то совсем пообносилась.

Касым заплакал, громко всхлипывая и шмыгая носом. Но на него никто не обратил внимания. Иса и Кадиша продолжали свой разговор.

С того дня Касым все больше и больше стал задумываться о себе, о своем горе. Но поделиться ему было не с кем. Да и кто мог помочь? Сердобольные соседки да всевидящие старики сами замечали все. Иногда говорили Касыму:

— Смотри будь хозяином, а то не останется у тебя скота, все пожрет Иса! — Но потом, как бы опомнившись, добавляли: — Дитя еще! Ну что он может сделать?

Касыму нечего было возразить им. Сиротство, как тяжелый камень, давило его все больше и больше. Прошло немного времени, и Касым, круглолицый и крепкий, любознательный и веселый, превратился в худенького, хмурого, убитого горем мальчишку. Весь его вид говорил о заброшенности и несчастье.

Настали те дни, которых больше всего опасалась бабушка Касыма. Внук остался один, всем чужой. Ису интересовал только его скот, которым можно было воспользоваться. И он воспользовался.

— Пожалейте сироту! Грешно резать мой скот! — сквозь слезы закричал Касым, когда Иса собрался вести на убой серую кобылу. Мальчик обхватил ее за шею и заплакал. В ответ он получил от Исы и Кадиши несколько увесистых тумачков. Вдобавок его оставили без обеда.

Дети Исы были избалованные. При каждом удобном случае они всячески издевались над Касымом. Отец и мать не запрещали им этого. Наоборот, всю работу по дому они сразу же свалили на сироту. На целый день отправляли они Касыма в степь собирать кизяк. Мальчик так уставал, что, придя домой вечером, падал и засыпал как убитый. Оправдывая безделье своих детей, Иса еще выговаривал Касыму: «Ведь скот твой, вот и работай. У них ничего нет, могут и порезвиться».

Аульные ребята тоже не дружили с сиротой. Касым, видя, что в ауле все забыли о нем, что никто не прини-

мает никакого участия в его судьбе, замкнулся. Он ни с кем не вступал в разговоры, избегал людей. Мальчик еще больше похудел, лицо его стало желтовато-серым.

Тихий и покорный, он все больше погружался в свое одиночество, в нем росла подозрительность, недоворие к людям. Эти чувства подтачивали его силы, ломали душу. Голод, нищета, изнурительная работа все больше озлобляли мальчика. Не было дня после смерти бабушки, когда бы жизнь подарила ему хоть маленькую радость. Касым и с виду стал похож на маленького старичка, и душа его с каждым днем дряхла.

Кадиша, любящая мать своих детей, была для Касыма воплощением зла. Ежедневные побои, постоянная ругань. «Ах ты, негодяй!.. Ах ты, бездомная собака!..» — иных слов сирота от нее и не слышал.

Сейчас, беспросветно темной ночью, Касым идет один по горной тропинке, далеко от дома. Иса и Кадиша еще утром избили его и прогнали из аула. Но перед закатом солнца Касым все-таки вернулся домой. Силы иссякли, хотелось забиться куда-нибудь в уголок и хоть полежать тихонько, смежив веки. Но перед юртой стоял разъяренный Иса. Не говоря ни слова, он стал снова избивать мальчика. И тогда терпенье Касыма иссякло.

— В чем я виноват?.. За что ты истязаете меня?.. Что я должен тебе?.. Вся моя вина в том, что я сирота, что за меня некому заступиться!.. — злобно выкрикивал он и, схватив увесистый булыжник, швырнул в Ису, а сам что есть мочи кинулся бежать в степь.

Иса схватился за колено и грузно сел, посылая вслед Касыму грязные ругательства. Дети Исы выскочили из юрты и, прихватив камни, бросились вдогонку за Касымом, но он был уже далеко. Он бежал в горы.

Ясно, что в аул ему теперь возвращаться нельзя. Касым подумал, что давно не был на могилах родителей, и направился в сторону прошлогодней зимовки. Он вспомнил, как хотел в день поминок зарезать на кладбище, у родных могил, барана, угостить бедняков, а муллу попросить почитать Коран, но Иса и Кадиша обругали его за это и не позволили резать скотину.

Сейчас Касыму некуда было идти, и он твердо решил одолеть перевал, добраться до прошлогодней зимовки, пойти на кладбище, припасть к надгробным камням и хоть нареветься вволю, выплакать свое горе.

Туда и шел он сейчас по горной тропинке, темной ночью, один.

Видя, что темнота сгущается, Касым ускорил шаг, затем побежал. Озираясь по сторонам, вздрагивая от страха, он бежал, надеясь хоть кого-нибудь встретить. Но вокруг ни души. Глухая ночь.

В раннем детстве Касым наслушался от бабушки страшных рассказов о чертях и ведьмах, драконах и всякой печистой силе, которая бродит по земле темными ночами. В рассказах вся эта нечисть не раз пугала путников, сбивала с пути и уводила то в пропасть, то в трясину. Касым вспомнил все это, и ему стало страшно. Он дрожал, как в лихорадке, сердце стучало часто и громко, ноги отяжелели и не слушались его.

Окутанные мраком каменные глыбы кажутся пристанищем злых духов. На мгновение вспыхивает свет. Но после него темнота кажется еще гуще, она, как ведьма, сразу же поглощает не только ночные сполохи, но и саму луну. Страх прячется и в таинственных ущельях, и между обнаженных скал; в густой листве деревьев тоже скрывается что-то ужасное и выжидает момента, чтобы броситься на тебя. Касыму казалось, что ночь пристально глядит на него тысячами черных страшных глаз из-под каждого камня, из-под каждого куста. А по горам бредет звездоглазая, каменнобровая, с лицом черным, как ночь, злая старуха, шепчет какие-то заклинания и громко чихает.

Нет, он ослышался. Вокруг тихо, только изредка птица захлопает крыльями или зашуршит в листве. Касым почувствовал себя еще более одиноким. Вдруг, словно зная о том, как боится Касым темноты, словно догадываясь, как мрак сжимает его сердце, в стороне что-то сверкнуло. Дорога проходила рядом с небольшим леском. Касым замер. И тут почти из-под ног что-то шарахнулось в сторону. Холод пополз по спине. Мальчик не мог сдвинуться с места.

Это была птица. Просто глупая птица. Но Касыму показалась она чем-то страшным, неземным. Ангел? А может быть, черт? Что за нечистая сила преграждает ему путь? А может, это человек?.. Касым тихонько кашлянул. Но ответа не последовало, и мальчик медленно двинулся вперед. Он сделал всего несколько шагов, как кто-то с гиком и хохотом бросился на него и с маху хлестнул по лицу. Касым закрыл глаза. Когда он осмелился открыть их, то увидел устремленный на него взгляд двух

огненных глаз... Перед ним стоял долговязый и тощий человек. Из-под выпяченных губ видны длинные зубы. В руках длинный нож. «Это, наверно, и есть степной шайтан», — подумал Касым. В это время чудовище крикнуло повелительно:

— Шагай за мной! Иди, несмотря на усталость и слабость. Оцарапаешь ноги, разобьешь в кровь пальцы об острые камни — все равно иди. Ну, марш за мной! — И чудовище зашагало вперед.

— Дядеька, я сирота... — отозвался Касым, но на него снова грозно блеснули огненные глаза. И Касым побежал, побежал сломя голову, не обращая внимания ни на что.

...Близилась полночь. Трое всадников ехали по взгорью, слегка поторапливая лошадей. Тропинка была узкая, и кони шли гуськом. Вдруг у небольшого леска, густым кустарником подступавшего прямо к дороге, головная лошадь остановилась, запрядала ушами, коротко заржала и стала пятиться. Остановились и другие.

Туча все же догнала путников. Рванул ветер, и хлестнул дождь. Сверкнула молния. И тут всадники увидели мальчика. Он стоял прислонившись к дереву и не двигался. Успокоив лошадей, всадники подъехали ближе. Окликнули, но мальчик не отозвался. Тогда они спешились и подошли к дереву. Один из них тронул мальчика за плечо, и тот навзничь свалился в траву. Он был мертв.

БАРЫМТА

Тихая лунная ночь. С безоблачного светлого неба мигают тысячи далеких огней. Созвездия видны четко. Прямой глаз тотчас угадывает — наступил август. Самая пора теперь перекочевывать с далеких пастбищ поближе к осенним становищам.

В урочище Кенозек еще два дня назад разбили юрты пять аулов. К концу перекочевки их скопится тут до двадцати. Очень уж хороши джайляу на Кенозеке. Долина просторна, до глубокой осени зеленеет сочными травами. Извилистая речка всегда полна свежей воды. А дышится здесь как! Воздух чистый, прохладный. Даже в самый знойный день веет горный ветерок, прилетает сюда с высоких ледников. Не вянет трава на холмах Кенозека. Так и кажется: навсегда останутся они свежими, юными.

Тиха и недвижна лунная ночь. Сказочен Кенозек, одетый легким, прозрачным туманом. У речки будто застыли хорорыды белых гусей — это байские юрты. Они выступили из темноты, повстречавшись с лунным лучом. А неказистые юрты бедняков прячутся, печально латают рваный войлок черным доскутом ночи. Погас огонь в очагах. Закрыты тундуки. Утихли в загонах овцы. Спят труженики, и мерная переключка сторожей баюкает Кенозек, зовет отдохнуть, забыться. Даже туман так плавно колышится над долиной, будто задумал прилечь здесь, уснуть.

Всех умиротворила ночь! Непокойны лишь байские юрты. Здесь и обычно жизнь затихает позднее, а сегодня красноватые отсветы без конца дрожат над открытыми тундуками, — никак не погаснут в белых юртах очаги. У коновязи ждут хозяев оседланные кони. Есть даже при-

зовые скакуны. Их сразу узнаешь — поджарые, с подвянными хвостами.

Со всех табунов отобрали баи аргамаков и привезли к своим юртам. С полудня кони под седлом. Еще и сейчас горячатся. Чуть шум какой — беспокоятся, ржут, сторожко водят ушами, бьют копытами оземь.

Что же встревожило белые юрты в эту тихую ночь? Почему во всех аулах у коновязей наготове оседланные скакуны? Барымта! Боятся барымты.

Каждый год встречаются близ Кенозека казахи из Терсаккана и Караганды, и каждый год возобновляется старая вражда. И в той и в другой волости живут многочисленные, богатые скотом, воинственные роды. Исстари междоусобица разделяет их. А главари — те еще стараются, раздувают вражду. Все лето следят аулы за кочевьем противника, досаждают друг другу при удобном случае. А уж если сойдутся дороги, без барымты не обходится — охотники разбойничать всегда наготове. А потом начинаются тяжбы о вдовах — к кому из родственников мужа должны они перейти, о куне — выкупе за убийство. И так из года в год.

Что прошлым летом тут было! Дошло чуть ли не до настоящей войны. О примирении не могло быть и речи. Главари родов порядком потратились на адвокатов. Засыпали жалобами самого губернатора. Только не принесло все это успеха ни той, ни другой стороне. Не пожелал губернатор вмешиваться в их споры.

И теперь они разрешали давние споры сами. Накопившаяся ненависть искала выхода. С начала нынешнего лета оба рода готовились к решающей схватке. До времени настороженно наблюдали друг за другом, ограничивались небольшими стычками. А как началось осеннее кочевье, уже не покидали седел. Каждый день приносил вести о новом налете. Барымта становилась все злей. Только в разговоре стало: «Лучших коней увели». — «Весь табун угнали!» — «Барымта, барымта!» — «Что-то еще будет? — гадали старики. — Не миновать большой беды».

В эту тихую ночь Кенозек стал центром борьбы двух родов. И все оттого, что прикочевал сюда на днях со своим аулом Досбол — самый злой враг карагандинцев. Нет богаче аула на Терсаккане, чем аул Досбола. И никто там не смеет противиться повелениям этого бая. Споры, тяжбы, барымта — все идет из его рук.

Недавно — с полмесяца назад — решил он проучить врага: пошел барымтой на главный аул Айдар. Большой табун угнал. Тридцать коней потерял Айдар. На прошлой неделе приезжали сюда посланцы потерпевшего, да Досбол и слушать их не стал. Ни с чем уехали. С той поры тревожен Кенозек. Знают люди: не простит обиды Айдар. Остерегаются терсакканцы мести. Больше других насто- роже аул Досбола.

Богат Досбол. Много у него преданных, послушных слуг. Имут они на бедняков — кедеев, крепко держат в руках. И так повелось: стоит лишь кликнуть Досболу — молодые сыновья кедеев кидаются по коням и жизни не щадят, защищая добро бая. Славные бойцы у Досбола!

Весь век провел главарь Терсаккана в разбое и схватках. Научился побеждать, оставаясь целым, невредимым. Хитер седогривый волк. Не было случая, чтобы настиг его враг врасплох. Вот и сейчас: и своих и соседей заставил сесть в седла. Днем и ночью рыщут по степи его люди, в руках у каждого соил — длинный шест с петлей. Вынюхивают след врага. И беда карагандинцу, если в одиночку отважится пуститься в такое время в степь. Наткнется на летучий отряд — не миновать петли соила, сдернут беднягу с коня, еле жив уносит ноги домой.

Но и осторожен Досбол. Свои богатые табуны отдал под надежную охрану. Ни с чем возвращаются к Айдару палетчики. Десятью — двенадцатью всадниками тут по обойдешься. Случается, и товарища оставят в руках табунщиков.

Наготове войско Досбола. И не только соилы в руках у джигитов, есть у них и шокпары — дубины с железными шипами. А кое-кому сунул тайком старый волк и винтовку.

Досбол надеется на отвагу своих бойцов. Но среди отважных самый отважный Калбагай, на него особая надежда. Калбагай не юнец. Тридцать годков стукнуло, отрастил уже черную бородку. Могуч — что грудь, что плечи! А взгляд — как у ястреба в степи. Нет равных ему ни в отваге, ни в выдержке, ни в умении сражаться. Недаром зовут его карагандинцы — «дьявол»!

А уж как хозяину предан! Никакая сила не заставит бросить байские табуны. Иной раз буран такой поднимется — ушей своего коня не видать, — все равно Калбагай при табуне. Из тех он, о ком в народе говорят: «Лед под-

стелет, снегом укроется». Вынослив батыр. Не баловало его детство. В бедняцкой семье рос. Единственный теперь сын у старухи матери. Да почти и не видит она его. Глаз не смыкает сын кедея — бережет байские табуны. Не разживутся при нем ни волк, ни вор, ни барымтач.

Нет на Терсаккане равных ему и в уменье обходиться с конем. Это искусство, видать, в крови у Калбагай. Посмотришь, как несется по степи на могучем светлогривом жеребце за строптивыми неуками, — богатырь, орел! Кони будто чувствуют это, — дрожа, останавливаются. Любой, самый свирепый четырехлеток, не пробовавший еще узды, со ржанием валится на землю, захлестнутый петлей или схваченный за уши стальными пальцами. Мастер Калбагай и объезжать коней. Как ни старается своенравный дикарь жеребец, какие головоломные прыжки ни выдумывает — только сам себя измучит. Храпит, весь в мыле, глаза кровью налиты, а седок словно прирос к его спине. Смиряется дикарь, отдает себя твердой руке. Вот каков Калбагай, бедняцкий сын!

Нынешней ночью табуны Досбола стережет этот самый батыр Калбагай. Днем один из разведчиков заметил в степи большой вражеский отряд. Всадники держали путь к Кенозеку. Прискакал разведчик, да уже за вечерело. Не с руки рыскать в темноте за врагом по степи. И решил Досбол: «Обороняться будем в самом ауле».

Нападения ждали к рассвету. Табуны согналы поближе к аулам и собрались у очагов: подкреплялись мясом, беседовали.

Аксакалы предсказывали: «Большая схватка будет. Айдар сильно рассердился, пощады не даст». Чувствовал это и сам Досбол. Понимал и Калбагай. Дошло до них: задумал Айдар во что бы то ни стало одержать верх. Набрал в отряд самых отчаянных воров. Говорят, даже «беглецов» призвал — двух братьев-конокрадов: Конакая и Жоламана. От них давно нет житья аулам. Сам пристав гоняется за братьями. Сколько раз посылали целые отряды, чтобы захватить грабителей и передать властям. Да хитры матерые волки. Отсидаются где-нибудь в горах или в камышовых дебрях у глухого степного озера — и снова за разбой. С каждым разом только больше свирепели. Аулы стонут от их разбойничьих налетов. Ходит молва: не расстаются братья с оружием никогда. Так и спят, держа наготове шокпар, кинжал и винтовку. Этих-то «беглецов» и натравил разозленный Айдар на Досбола.

В награду за верную службу обещал укрывать от властей. Вот с какими хищниками должен встретиться сегодняшней ночью Калбагай!

Мужчины сидят в юрте Досбола, насыщаются мясом, вспоминают подвиги Калбагая, хвалят его силу и храбрость. И о братьях-беглецах толкуют. Особенно о Конакае: «Свиреп!..»

Вдруг с дальнего конца аула послышались тревожные крики. Все выскочили наружу.

— На коней! — донесся боевой клич.

И не стало ночной тишины: слышны глухие удары, частый топот вспугнутых табунов, стоны раненых. Джигиты у юрты Досбола, наталкиваясь один на другого, хватают свои соилы, громко перекликаясь, вскакивают на коней. Кони возбуждены, почували сражение, кружатся на месте под седоками. Над суматошным шумом взлетают тоскливо-молитвенные возгласы аксакалов: «О аллах, спаси их! О аллах, огради их от несчастья». Резкие голоса обрывают стариков: «Хватит завывать! Джигиты, знайте свое дело!» Позади, прячась друг за друга, толпятся девушки и дети. Они дрожат, им страшно: ведь братья и отцы сейчас улетят сражаться.

Вот бойцы уже в седлах, кони с места берут в карьер. И исчезли в темноте, увел их Досбол. Только воинственные крики еще доносятся издали.

Остались перед юртой Досбола испуганные женщины да дети. Среди них и Умсын — мать Калбагая. Шепчут ее бескровные губы: «О господь, о святые! Не дайте погибнуть моему единственному! Защити сироту, о боже!» Только и есть опора у старой женщины — Калбагай. Вдвоем живут, не завел сын семьи. Калыма не может выплатить — бедняк! Так и умрет, наверно, мать, не помянчит внуков.

Что же там творится, в ночной степи? Тревожно в опустевшем ауле, томятся старики и женщины, слушают. По шуму боя стараются разгадать: кто берет верх?

Вот издали донеслось приглушенное: «На коней!» Это спешат на помощь Досболу терсакканцы из соседних аулов. Их много — восемьсот всадников. Гудит долина Кенозека: стучат копыта лошадей, трещат соилы, кричат люди. Женщинам не сидится, бегают из аула в аул: может, есть новости. Дряхлые аксакалы цыкают на них: «Перестаньте болтать! Тише!» — и напряженно слушают гудящую степь. Слабеют звуки. Дальше уходит бой. Стре-

ляют! Кто? Смолкли выстрелы, и затихло кругом. Погоня унеслась на юг в безлюдную полупустыню.

В тот день с вечера Калбагай был особенно настороже. Знал, что сегодня ожидается барымта. Без конца будоражил табунщиков, не давал задремать, смешил рассказами, гонял осматривать табуны. И сам без усталости крутился вокруг. Жеребцы то и дело норовили увести свои косяки подальше в степь. Калбагай согнал их в один общий табун. Время от времени он выезжал в степь на разведку, осматривал опасные места — ложбины, склоны и холмы. Сняв с головы шапку, замирал вместе с конем, сливаясь с ночной темнотой. Пока все было тихо.

В одну из таких вылазок Калбагай, обогнув табун, хотел было повернуть коня — и замер... На вершине высокого холма показались всадники. Освещенные луной, они были отчетливо видны. Их становилось все больше и больше. Миг — и всадники, стуча соилами, черной тучей хлынули вниз. Было их не меньше сорока. А при табуне не наберешь и пятнадцати человек. Бешеным наметом, с гиканьем и воплями летели барымтачи. Испуганные лошади шарахнулись в сторону и понесли назад к аулам. Вслед за ними — и несколько табунщиков. Лицом к врагу повернулись всего лишь двенадцать человек, впереди — Калбагай. Они отважно двинулись на айдаровцев, оглашая степь криками: «На коней! На коней!» Этот клич тревоги и поднял на ноги весь Кенозек.

Черная туча надвигалась, заходила стороной — враг задумал зажать в кольцо горстку смельчаков. В лунном свете белели высоко поднятые соилы. Еще мгновение — и всадники сшиблись. Затрещали ломающиеся соилы, озлобясь, заржали кони, взвивались на дыбы, грызли друг друга. Бойцы, возбуждая себя, выкрикивали имена предков. Бухали кованые шокпары.

Враги разделились. С кучкой табунщиков вполне может справиться и половина отряда. Другая половина погнала табуны в степь. Попробовал Калбагай помешать, да не вышло. Расчет у врага на этот раз был точным. Вот уже последний табун скрывается за холмом. Больше налетчикам здесь делать нечего. Добыча у них в руках.

Калбагай не испугала первая неудача. Не хочет отдать коней. Мчится со своими людьми за барымтачами. Вытянулись они в длинную редкую цепь, настигают врага. Айдаровцы спешат поскорее угнать добычу, пока не подошла подмога. Мешают им отчаянные табунщики Калба-

гая, навязывают стычки. То тут, то там спшибаются кони, дерутся бойцы. Но вот отделились от отряда айдаровцев два приметных всадника. Оба могучие, на рослых конях. Под одним — серый в яблоках. Второй словно слился с огромным жеребцом. На лбу у коня звездочка, хвост волнами льется до самой земли. Табунщики сразу признали во всадниках Конакая и Жоламана. Братья близко подпускают преследователей, яростно, с отрывистыми злобными криками бросаются на них. Сыплются удары соилов. Вот уже трое товарищей Калбагай лежат на земле. А братья догоняют своих и снова отстают, чтобы принять на себя новый удар.

Мчат налетчики, мчит погоня. Бьются на скаку. Вот Калбагай с друзьями нагнал хвостовой табун. Сотня лошадей в этом табуне. Айдаровцы погоняют, что есть силы колотят отставших коней соплами и плетьюми.

Калбагай и не думает уступить победы. Он и его люди уже успели приноровиться — отбиваются ловчей, смелее на скакивают на врага, уверенней стали действовать. Калбагай что-то задумал. Вот он врывается в самую гущу врагов. Удар — и налетчик с разбитой головой припадает к гриве своего коня. Еще удар — и еще одним врагом меньше. Калбагай обернулся к друзьям: «За мной, вместе держись, разобьем табун!» Ожег своего жеребца плетью и, ловко отбивая удары, молнией пронесся к передним рядам. За ним дружно, как один человек, — его отряд. Разбили табун на две части. Испуганные кони шарахнулись в стороны, часть повернула в аул. Калбагай не дает врагу опомниться, снова и снова врывается в табун. Теперь айдаровцы гонят перед собой лишь тридцать коней. Еще натиск — и коней остается всего пятнадцать. Налетчики и не помышляют собирать распуганных, не до того, сохранить бы хоть остаток добычи. Всадники взяли коней в плотное кольцо.

Со стороны аулов близится шум погони. Слышнее и слышнее воинственный клич, отчетливее топот коней, — идет, торопится помощь к Калбагаю. Нельзя терять айдаровцам времени, ожечь бы им сейчас покрепче скакунов да подальше в степь, но разозлил их Калбагай. Хоть напоследок показать силу, пусть узнает, с кем имеет дело. Оставили пятерых охранять маленький табун, большая же часть всадников повернула навстречу табунщикам.

Врагов теперь меньше тридцати — Калбагай сбросил с коней пять человек да двоих свалили его молодцы. Но и

у них серьезные потери. Шестерых бойцов недостает, сбили их, отступая, Конакай и Жоламан. Калбагай не страшится: он слышит — помощь близка. Криками собирает вокруг себя боевых друзей, подбадривает. И вот снова все врзаются в середину вражеского отряда.

Это был настоящий бой. Налетев на табунщиков, Жоламан выхватил из-под чапана револьвер. Два раза выстрелил вверх, закричал: «Поворачивай обратно! Живей! Убью!» Но джигиты Калбагай уже сцепились с врагом. Снова столбы пыли поднялись к звездному небу, и потемнела светлая ночь. Снова треск соилов, стук шокпаров и стоны раненых нарушили мирный сон степи. Люди набрасывались друг на друга с остервенением собак, грызущихся из-за кости. Все быстрее мелькали в воздухе дубинки, обрушивались удары на головы, падали всадники. И чем дальше шел бой, тем более ожесточались люди, беспощаднее разили друг друга. Из общей свалки выскочили шесть коней без всадников и умчались в степь...

Калбагай искал встречи с Жоламаном и Конакаем. Обрушивал удары направо и налево, но братьев нигде не было видно. Вдруг он услышал гордый голос: «Я — Конакай!» Всадник на сером в яблоках коне врзался в самую гущу боя. «Если так, то я — Калбагай!» — откликнулся табунщик и поскакал прямо на Конакаю.

Вот они уже стоят лицом к лицу. В руках угрожающе подняты дубины. Ни один не дрогнет. Замерли перед смертельным поединком. Разъехались, привстали в стремени и, мелькнув, как молния, схлестнулись. Не падают друг друга. Ударит один, второй отвечает двумя ударами. Бьются не на жизнь, а на смерть, будто заклятые враги. Захваченные битвой, не видят, что творится вокруг.

Опустело поле боя. Нет рядом ни товарищей Калбагай, ни айдаровцев. От аулов мчится грозная туча всадников, все ближе. Конец Конакаю! Опомнился тот, стеганул серого в яблоках, бешеным наметом понесся вслед за удирающими соратниками. За спиной все громче стук копыт, яснее крики — настигает погоня.

Калбагай не отстает. То и дело приходится от него отбиваться. Вот опять насаждает. Замахнулся Конакай, да неудачно. А табунщик в ответ огрел по голове так, что прилег Конакай на шею коня. Нет больше сил драться. Гудит голова, в глазах темно. Вся надежда теперь на быстроногого скакуна. Но серый конь Калбагай догоняет, теснит серого в яблоках. Глянул Конакай через плечо,

помутилось в глазах — с холма лавной катятся всадники. Колотит что есть силы ногами скакуна, гонит вперед.

Приметил Калбагай — сдал противник, куда делась недавняя отвага! Не разворачивает больше могучие плечи, не выпячивает грудь. Прижимается теперь к коню так, будто хочет укрыться за трепещущей гривой. Подхлестнул Калбагай серого, опять нагнал барымтача, хватил еще разок. «Слезай с коня, торопись, пока жив!» — приказал.

Еле держится Конакай, сполз набок, из последних сил цепляется за гриву, того и гляди, свалится наземь.

На выручку брату спешит Жоламан, Калбагай готов встретить нового врага. Сейчас он разделается с Конакаем и приготовит дубину для его брата. Попробовал Конакай перемахнуть на другой бок — не осилил, только и успел крикнуть: «Погибаю, стреляй! Стреляй же!» И упал к ногам серого жеребца Калбагая. А Жоламан уже метит в лоб серого. Да мотнул тот головой, испугался. Пуля пролетела мимо и пробила грудь Калбагаю. Схватил Жоламан под уздцы обоих коней и прочь ускакал.

Бледнели звезды, гасла луна, уходила ночь. Возмутили ее покой люди, сделали мирную ночь кровавой. А зачем?

Вот лежат на сухой степной траве рядом два врага, два уснувших навек батыра. Раскинуты руки, недвижим взор. Что не поделили между собой эти два сына кедеев? Байский табун? Не переступят они больше порога своих ветхих юрт, не дождутся сегодня их матери. Много слез прольет Умсын — старая мать Калбагая. Одна будет горевать — в белых байских юртах о ней не вспомнят.

КРАСАВИЦА В ТРАУРЕ

Шесть лет... Шесть лет прошло в трауре в печали. Какие это были долгие, бесцветные, унылые, холодные годы. Они походили на позднюю осень. Каждый из них — словно целая жизнь.

Шесть лет Карагоз была пленницей вдовьего ложа, жила, как птица в клетке. День за днем проходил без тепла, без улыбки. И казалось, что Карагоз смирилась со своей участью: и не томилась, и не тосковала, и не мечтала об иной жизни. Карагоз удивляла и, может быть, гордилась своей стойкостью, одиночеством, тем, что была не похожа на других. Вдовый траур стал ее привычкой, ее обычаем. Так путник свыкается с кромешной темной ненастной ночью, идет, как слепец, но будто бы что-то видит.✧

Сегодня, по обыкновению, она молчалива и замкнута. А весь аул ее шумно радуется.

Аул Карагоз в пути. Еще в ранних сумерках разобрали и погрузили юрты, едва солнце обожгло вершину ближнего холма — люди были в седле, имущество на колесах, скот на ногах. Снялись с кочевья и просторными дорогами-ущельями тронулись в горы, на другое кочевье, манившее густыми травами, тенистыми рощами и прохладными озерами.

Говорливой пестрой нарядной толпой теснились поблизости от возов верхом на конях женщины, с ними дети. Впереди молодые гнали табун коней в четырехста или пятьсот голов чабаны вели овечьи отары. Конь и овцы напоминали кипучий клокочущий поток, который вырвался из ущелья на простор нетоптанных лугов.

Радостный поток жизни вторгался в девственное безмолвие... Люди были настроены празднично. Озорные де-

вушки и смелливые молодухи не давали проходу мужчинам и парням, встречали и провожали их залпами колких и соленых шуток. А тем только того и надо, затем они и подъезжали сюда, к возам. Молодые парни гарцевали в седлах, как их кони под ними. Жеребцы плясали, заливались ржаньем, рвались к табуну. И парни то и дело пускали их вскачь и с гиком, свистом налетали на табуны, подгоняя его. Сотни коней, развевая по ветру гривы, уносились вдаль, сотрясали землю громовым топотом.

Веселый и шумный кош — кочующий аул, пожалуй, способен разбудить древние утесы от вековой дремоты. Смотришь — и чудится: замшелые скалы добродушно ухмыляются каменными морщинами со своих обрывистых высот, посылая гостям привет и воздавая им честь. Джайляу, которое спротивно пустовало целый год, раскрывает кошу объятья, точно ветвистая крона — перелетной птице. Все кругом, точно на великом пиршестве, дышит хмельной радостью, буйной силой.

И трудно удержаться от того, чтобы не скакать, не кричать и не смеяться во все горло. Общее возбуждение увлекало и заражало не только молодых. Не было в ауле ни одного человека, которого не коснулась бы неосознанная смутная мечта о чем-то необычайном, прежде недосягаемом, а ныне таком близком.

Чабану Булату минуло полвека. Усы у него с проседью. Но и он, когда мимо его отары с гомоном и девчачьим визгом проезжал кош, лихо подскакал на своей саврасой кобылке и с ходу врезался в толпу всадниц. Он тоже балагурил со своими сверстницами, задирали их, подмигивал им, напрашиваясь на острое словцо. И когда одна молодая, краснощекая неожиданно стегнула кнутом саврасую кобылку под ним, он словно помолодел. Он почувствовал себя кавалером, достойным ее внимания, и осанисто выпрямился, трогая сивый ус.

Карагоз ехала в рессорной коляске, запряженной тройкой. Поравнявшись с чабаном, она неожиданно окликнула его:

— Ай, Булат... и в тебе еще шайтану есть чем поживиться! И в тебе еще искорки от вчерашнего костра!

Слова мудреные, но Булату понятен их смысл. Ага, подумал он, вот и сама Карагоз нас заметила. И он браво и почтительно привстал на стременах.

— Что там толковать, милая! Молодухи — ровно кидяток, я от них таю. Так по всем жилам и ходит, так и прошибает...

Карагоз отвернулась. Только она одна, хозяйка скота и повелительница аула, первая и самая красивая в этой озорной и дружной толпе, ко всему равнодушна. Она погружена в свое горе. Она в унынии. И длится это уже шесть лет...

Ей было немногим больше двадцати, когда она покрыла голову черным платком и захлопнула перед собой двери радости. До того она считала себя баловнем судьбы. До того она была весела. Внезапная злая смерть унесла ее мужа, а Карагоз сломила. Среди сверстников Карагоз не знала ему равных.

Его звали Азимханом, он был единственным сыном в семье. Родичи его жили в своих аулах, своими заботами и нуждами и со временем отделились от него. Ближе всех Азимхану был его отец Усен, а тот переступил порог уже семидесяти лет. Но хотя Азимхан был отроду один — родных братьев не имел, он прославился по всей огромной Иргайлинской волости. Пожалуй, ни один человек из малочисленного рода не мог бы добиться такой известности и уважения, как Азимхан.

Издавна иргайлинцы были в раздоре с родами Коныртауской волости. И тем и другим жилось беспокойно. Днем и ночью то и дело слышался родовой клич, истощные крики: «На коней!», завязывались яростные стычки, шла упорная взаимная барымта.

Еще до женитьбы на Карагоз Азимхан был в числе самых драчливых, самых отчаянных. Обычно он возглавлял знать своего рода и других родов, когда она шла с копьями и дубинками драться за честь иргайлинцев. Но нередко Азимхан пускался в путь к коныртаусцам один, на собственный страх и риск, и ввязывался в ссоры. Злые языки говорили, что коныртаусцы особенно ненавидели род Усена. Это слышали не один, а много раз. На то была особая причина.

На один набег коныртаусцев иргайлинцы отвечали двумя-тремя. В этом деле сын Усена был неутомим. А подогревало распрю то, что жила на свете такая девушка — Карагоз, и была она с детских лет просватана за коныртаусца, внука Сыбанбая, главы богатейшего рода.

Не нравилось Азимхану то, что Карагоз — невеста копыртаусца... Не нравилось это и самой Карагоз. Ей по душе пришелся один отчаянный иргайлинец!

Жених Карагоз был хромцом, в юности повредил ногу. Даже в родной семье его не почитали и недолюбливали.

Стыдно было Карагоз идти за жалкого и хилого, богом обиженного человека. И хотя неммыслимо послушаться родительской воли, она не скрывала недовольства. Но отец уже взял за нее калым.

Мать Карагоз была родственницей Усена и, естественно, тянулась к нему. Его аул был близок и сердцу Карагоз. Она часто приезжала в этот аул, гостила в нем по многу дней — и с матерью и одна. В нем рос один мальчик, отроду один — без родных братьев, но такой забияка, будто их у него имелось семеро! Этот мальчик был люб Карагоз больше, чем его сестры.

Правда, и ему, еще малолетнему, родители сосватали другую, а когда он вырос, женили на ней. Своей судьбы не обойдешь. Затем в один год случилось два несчастья: умер отец Карагоз, а Азимхан похоронил первую жену. И до этого было известно, что Карагоз не хочет идти за внука Сыбанбая. Но мало ли какая прихоть взбредет в голову девице! Мать не слушала ее жалоб, отмахивалась, говоря, что время придет, видно будет. Овдовев, мать стала прислушиваться к дочери внимательней.

А там приехал в их дом милый храбрый Азим. Приехал проведать... Так все думали. Так, возможно, думал он сам, поскольку и он овдовел-осиротел. Когда же он вошел в юрту и увидел Карагоз, не ту, что знавал прежде, а ту, которую еще не видывал, о которой только слышал от людей и догадывался, душа его исполнилась решимости.

Он помнил ее еще ребенком, подростком. Теперь перед ним была девушка — рослая, тонкая, гибкая и сильная. Какие у нее чудесные волосы! Какие прекрасные глаза! А ведь он не видел ее всего год... Перед ним была невеста, о которой он мечтал. Вот она, его судьба. Карагоз смотрела застенчиво, но на щеках ее играла горячая кровь. Она чувствовала его волнение и радовалась ему. Их радость была общей.

И когда Азимхан, поздоровавшись с матерью, повернулся к дочери с обычными словами: «Здорова ли ты, милая?» — и Карагоз коротко ответила ему, они словно

обменялись безмолвным признанием. Им не нужно было слов, чтобы понять друг друга. Они говорили сердцами. Сердца их были полны надежды.

Вскоре же после этой встречи начались трудные переговоры.

Родичи Карагоз не противились Азимхану. Они к нему благоволили. А мать, овдовев, спешила опереться на род Усена. Она искала защиты, а нет защиты надежней, чем родство. Азимхан получил тайное согласие. Однако это полдела. На пути жениха и невесты лежал горный хребет с опасным перевалом — Сыбанбай и коньртаусцы. Невеста была чужая. Она была продана вражескому роду.

Сыбанбай пришел в бешенство, узнав о планах старого Усена и его сына. Коньртаусцы взбудоражились от мала до велика, кровно задеты и оскорбленные. Было ясно, что они не уступят невесту без боя.

Кто знает, как бы обернулось дело, скорей всего — худо, если бы не случилась еще одна нечаянная смерть. Внук Сыбанбая, чахлый хромец, оказался не живуч: отдал богу душу. У всех других детей Сыбанбая, сыновей и внуков, были жены или засватанные впрок невесты. Все же упрямый и строптивый старик сказал, что не откажется от своего сватовства.

— Пусть Карагоз подождет кого-нибудь из моих младших внуков.

Он хотел сохранить красавицу для правнука. И все же теперь спорить с ним стало легче. Неписанный степной закон был на стороне Усена.

Усен возместил Сыбанбаю весь калым, уплаченный за Карагоз, и сосватал ее родному сыну. Через год Азимхан привез ее в свой аул с богатым приданым.

Казалось бы, на том можно было и помириться иргайлинцам с коньртаусцами. И в самом деле, распря как будто бы приутихла. Года два-три жили по-добро-соседски, хотя и в это счастливое время обе стороны ревниво следили друг за другом и не забывали старого. В родовой степи старое властно.

Всякий раз, когда разносилась молва, что Усен своей силой добился богатства, Сыбанбай делал так, чтобы укротить его силу, убавить богатство. А Усен был доволен, когда ставил Сыбанбаю подножку. Родовая спесь их ожесточала. Они поочередно брали верх друг над другом и никак не могли сквитаться. Не дано было этим людям и

их родам поделить меж собой великую степь, освятить ее миром.

Опять вспыхнула, как моровая язва, пошла гулять по кочевьям барымта.

В злосчастный год аул Усена перекочевал к реке Каинда, в излюбленные родные места, куда шесть лет спустя двигался кош Карагоз. Ночи были беспокойные. В ауле Усена ждали ответного набега и потому оставляли у коновязи под седлом боевых коней, сильных и быстрых жеребцов. Спали чутко. И вот послышался знакомый вопль: «На коней!» Азимхан был первый на погах и в седле.

Ночь выдалась тихая, лунная. Карагоз побежала следом за мужем, схватила за повод его рыжего скакуна. Никогда прежде она не была так встревожена, никогда прежде так не боялась.

— Не надо вам самому... — просила она. — Пошлите других... Не надо сегодня, милый...

Он не послушался ее. Ему был неприятен ее страх. Злая воля бурлила в его жилах и звала вперед. Он торопился и сгоряча оттолкнул Карагоз.

Еще трое-четверо поскакали вместе с Азимханом. Они с грохотом пронеслись по каменистым буграм, подобно маленькому обвалу, и исчезли вдаль.

Вслед им суматошно гомонил весь аул. Оставшиеся без коней кричали, размахивая руками, и бегали взад-вперед без толку.

А там, куда ускакал Азимхан, ошалело орали табунщики, глядя на то, как барымтачи угоняют их табун. Табунщики гнались за подлыми ворами, но на порядочном отдалении, потому что чужих было много. Так, по крайней мере, казалось в ночи.

Азимхан не стал собирать табунщиков и считать, сколько перед ним врагов. Он посылал коня прямо на гулкий топот угоняемого табуна, похожий на грохот горной лавины. Азимхан живо настиг налетчиков. А затем, не оглядываясь, идут ли за ним джигиты, обогнав и своих и чужих, с гиком поскакал в обгон табуна, стараясь завернуть его и остановить.

Горд и горяч был Азимхан. Он не знал боязни и опаски, а потому внушал страх многим. Однако был он не особенно силен и не так уж ловок. Дрался он лихо, яростно, но не имел ни навыка, ни сноровки настоящего барымтача, поскольку был хозяйским сыном. Недоставало ему хладнокровия.

Обыкновенно он увлекал за собой самых робких и ленивых увальней-силачей, а врагов распугивал. На этот раз схватка сложилась скоротечная.

Два крепких парня, понаторевшие на барымте, приметили в лунном свете всадника на рыжем скакуне. Догнать его — не догонишь. Больно резв под ним конь! Но он сам вернулся к ним, заворачивая табун. И они встретили его...

— Вот он... Давай! В тиски его... в тиски...

Азимхан врезался между двумя молодцами, как топор в вязкое дерево. Его словно заклинило. Все трое завертелись на одном месте на визжащих, грызущихся конях. Азимхан первый с ходу огрел дубиной по башке здорового детину справа, сидевшего на сивом скакуне. Удар вышел звонкий, короткий, легкий. Ответный свистящий удар пришелся мимо — Азимхан увернулся, прижав к гриве своего коня. А вот парень слева, сидевший на желтомастом жеребце, медлительный и вроде бы нескладный, не целясь, с разворота вlepил дубиной Азимхану прямо в лоб. Удар глухой, страшный.

Этот удар остановил и всадника, и его рыжего скакуна.

Азимхан не чувствовал, как сполз и соскользнул на землю, подгибая ноги, разбрасывая руки. Конь потянулся к его лицу мордой и отдернул ее, захрипел, приплясывая на тонких ногах.

Подъехал и наклонился из седла над лежащим тот парень, который ударил его, и сказал другому, которого ударил Азимхан:

— Эх, ты... Плоховато он упал с коня. Видел, как он упал? Не дай бог, помрет... Неужто помрет?

— А ты как бьешь... Не знаешь, как ты бьешь? — пробормотал другой.

Азимхан лежал мертвый, не успев вымолвить своей любимой последнее «прости». Дубина расколола ему череп. Когда примчались его люди, он уже не дышал.

Карагоз в ауле, у своей юрты, почувствовала его смерть. Она вскрикнула, ломая руки. Упала на землю, прислушиваясь к ней, глядя в темноту безумными глазами. И услышала издали, с лугов, оттуда, где вдруг утихли боевые клики, новый, не прежний, загадочный шум. Голоса были тоскливые, со слезой. Это табунщики ехали в аул, протяжно крича:

— Родной мой! Опора моя!

С той ночи и начался шестилетний траур Карагоз.

Иргайлинцы не остались в долгу у обидчиков. В одной схватке они тоже убили человека, тоже молодого, ибо в набеги ходили молодые... Помимо того, коньртаусцам пришлось уплатить выкуп за убийство, равный стоимости ста верблюдов. Выкуп огромный! Вообще нагнали на коньртаусцев страха... Хотели порадовать молодую вдову. Но Карагоз не утешилась.

Ни старый тесть Усен, ни маленький сынок Мукаш не могли ее отвлечь от горя.

На двухлетнего Мукаша сородичи смотрели с надеждой. «Лучше живая мышь, чем мертвый лев», — поговаривали они словами поговорицы, а думали о том, как из ребенка вырастет джигит; вспомнит он пролитую отцовскую кровь и воздаст за нее сторицей. Все молили бога за Мукаша, последнего в роду, как будто века и поколения суждено было враждовать иргайлинцам и коньртаусцам...

Семидесятилетний Усен дождался поминок по сыну, тех, которые справляют через сорок дней после смерти, и умер, одряхлевший, исчерпав свою силу, сделав в жизни все, что мог.

Мужское бремя легло на плечи Карагоз. Нелегко женщине распорядиться большим хозяйством. Непросто молодой вдове управлять родом своего мужа и тестя. Мало ли ходило около нее охотников — и до ее богатства, и до ее красоты! Среди них были настырные, привязчивые. Иные соблазняли ее, иные стращали. Она справилась со всеми. В отличие от своей матери, она не искала защиты и опоры. И табуны и отары ее были в порядке.

Первое время она словно разом постарела. Чувство опустошенности и безнадежности шло за ней, как тень. Она была одна, а тоска ее безысходна. В вечерних сумерках, в пору любовных свиданий, и на рассвете, в пору самого сладкого сна, Карагоз, пряча лицо под траурным платком, заливалась слезами. Она не могла сдержаться и не хотела сдерживаться. В ауле слышали, как она голосила, слышали ее причитания, певучие, как степной сказ. Она звала мужа и говорила с ним подолгу:

— Сокол мой ясный, крылатый... единственный ты мой... высокий, как тополь у ручья... золотой мой... сильный мой, грозный мой, крепость моя и воля...

И тот, кто слышал ее, запоминал слова и музыку ее плача, как запоминают песню. Горькая была эта песня,

горше полыни, по ее передавали из уст в уста. И вскоре по всей Иргайлинской волости знали, как прощается и не может проститься Карагоз с Азимханом, как обжигают ее вздохи, как едки ее слезы и как выцветают от них ее глаза, блекнут щеки.

Со временем о ней, узнице траурного покрывала, стали поговаривать с похвалой, как редко говорят о женщине:

— Вон как оплакивает возлюбленного...

Старики и старухи, которые видели на своем веку всякое, отзывались о ней такими словами, какими говорят не о живых, а о живших и оставшихся в легендах.

— Не было женщины, подобной Карагоз! Траур ее долог, траур ее свят... Дурным он — в тягость, мудрым — пример, богу — в угоду.

Эта слава вернулась к Карагоз, словно эхо в горах, многократно. Эта слава возвысила ее и сковала, как зимняя стужа сковывает бурные воды.

Цвели весны, зелеными морями разливались джайляу. Вдогонку за веснами, за жизнью кочевал аул. Рос и креп Мукаш. А Карагоз оставалась верна себе, своей редкостной славе. Она жила вдовой, как угодно было старикам и богу, и не ласкала никого, кроме сына. Она устояла перед тысячью соблазнов и ни разу не проявила слабости. И длилось это уже шесть лет.

Недаром, когда Карагоз сказала чабану Булату о шайтане и искорках вчерашнего костра, ее слова показались ему набожными.

А между тем она была молода. Она была жива. По-прежнему прекрасны были ее печальные черные глаза, смуглым румянцем горели щеки. Слезы не источили ее красоты. Тело ее, белое-белое, лишь слегка располневшее, было юно. Оно дышало здоровьем, быстрой и нежной силой. В нем билась горячая кровь, равнодушная и неутихомирная.

Карагоз была женщиной, была матерью. Она любила и была любимой. Она изведала счастье, которое суждено не каждой смертной. И вдруг оказалась словно в темнице, за чугунной дверью. О, если бы знали люди, которые распевали ее плачи, какую муку несла в себе Карагоз!

Если эта мука угодна богу, поистине она адова. Тщетно Карагоз, задув лампу и ложась на одинокую постель, читала молитвы. Тщетно она молила у бога благодатного сна. Сон и покой были у других, слабых, грешных, у тех, кого не хвалили благолепные старики. Ее уделом был темный ночной бред, бред страсти. Огненные змеи ползли по ее жилам; они выползали на ее грудь и целовали ее в шею, оплетали и изламывали все ее тело сладостной и гнетущей судорогой. И не было от этих змей спасенья. От темна до света Карагоз не могла вырваться, отдышаться, прийти в себя. В мучительной истоме, ослепшая и оглохшая, она зажигала лампу, звала старую доверенную служанку, обнажалась перед ней и велела себя бить, срывать с груди ползучий змееподобный огонь. Служанка пугалась того, что на ней нет лица, и тоже молилась в страхе. Карагоз извивалась перед ней, словно в припадке. А служанка не смела и подумать, что это молодость рвется из траурных пут, что это жизнь ищет воли.

Была пора — изменился характер Карагоз. Она казалась больной — настолько становилась неровна с людьми. Стоило дунуть на нее, и она вспыхивала, как порох, негодовала, сердилась и гневалась из-за пустяка, была нетерпима, высмеивала и обижала людей без жалости. А иной раз замыкалась в себе, уползала, как мышь в нору, и уныло молчала неделями, не поднимала на людей глаз, как девочка, и сама вызывала к себе жалость. Тогда даже обиженные ею думали про нее, что она не падит себя, а осмеянные дивились, как она к себе строга. В другое время она поражала людей своей неженской волей, хозяйской сметкой, властностью, обжигавшей, как камча.

Нынешней весной, на седьмом году вдовства, Карагоз опять стало невольно.

Дни стояли теплые, празднично-светлые, радостные, ночи студеные, но ясные, звездные, манящие. Горы, луга, воды помолодели. Все сияло, все шумело. Конский топот, блеяние овец на просторах джайляу — желанная музыка. Люди были хмельны от счастья жить на подоблачных высотах, под орлиными небесами. У каждого и у каждой на душе что-то свое, тайное, заветное, — может, надежда, может, мечта. Чабан Булат, привыкший не спать по ночам, сторожа овец, и тот не постеснялся, закричал при всем народе, что хмель у него по жилам так и ходит, так и прошибает...

Карагоз отвернулась, услышав это. Но от одного безобидного словца «милая», от хрипловатого застуженного голоса чабана огненные змеи поползли по телу. Карагоз погнала вперед свою тройку и гнала ее до самого берега Каинды.

Здесь она сошла с повозки, оставив в ней спящего Мукаша. Медленно пошла вдоль берега, заросшего молодым белоствольным березняком и непролазной черемухой. Звонко и нежно журчала вода. Утренняя прохлада оевала лицо и шею Карагоз, а грудь горела. Ноги были слабы, колени дрожали. Хотелось лечь, прижаться к земле, обнять стволы берез, напоминающие своей шелковистой корой живое тело.

На знакомой полянке она увидела распряженный старомодный тарантас с задранными в небо оглоблями. Ни людей, ни коней поблизости не заметила. «Будут соседи», — подумала она безразлично. Здесь, у Каинды, Карагоз впервые узнала о гибели Азимхана. Но и об этом она думала вяло. Ей было душно, точно в знойный полдень. Сердце билось тяжело и гулко.

Из ближней рощицы, пышной и тенистой, донесся залиvistый юный смех. Это смеется девушка... Затем послышался веселый зовущий возглас. Это парень... Карагоз слышала их словно в дремоте. Хотела пойти прочь, а пошла в рощу, на голоса.

На опушке она остановилась. Свистнул соловей, прочищая горло. Еще свистнул и затрепал, зацелкал хлестко, подобно маленькому кнуту. Сколько раз слышала Карагоз соловья на этом урочище! И проходила мимо. Теперь она стояла, подняв воспаленное лицо, прищурив глаза, и слушала, упиваясь. Соловей высвистывал песенку, прежде не слышанную, Карагоз ее понимала.

Он пел песню того утеса, который возвышался серой громадой над рощей. Утес одинок, он ранен в самое сердце, он тоскует. Он послал соловья спеть Карагоз. Пусть она знает, что наболело на каменном сердце. Она безутешна седьмой год, а он седьмой век. Они сверстники по чувству, по боли.

Потом соловей спел ответную песню Карагоз. Теперь она послала его ответить утесу. Соловей пел, как она красива, как жгуче черны ее глаза и нет ничего ярче ее глаз, ведь ее имя означает — Черноокая... Соловей пел, как в ее душе безлюдно, пустынно, ни капельки влаги, ни зеленой былинки.

Карагоз слушала певца и мысленно спрашивала его в сладостном онемении: к чему ты клонишь? Куда ты ведешь?

Незаметно она прошла в глубь рощи и вздрогнула, увидев за густой листвой широкую спину парня и плечи девушки, стиснутые его рукой. Парень в белой сорочке и черном жилете, у него кудрявые волосы, и они взлохмачены, конечно, ее рукой. Девушка тоже нарядно и опрятно одета. Они сидят, обнявшись, на зеленом берегу и шлепают по воде босыми пятками. Каинда отвечает им тихим плеском. Они не видят Карагоз, играют и смеются, поминутно валя друг друга на траву. Задумчивости ни следа.

Это жених и невеста из аула Исмагула, дальнего родственника Карагоз. Она их знает. Парень хорош собой, к тому же грамотный, ученый. Все лето на джайляу он будет со своей нареченной, и родители не стеснят их свободы.

Раз они жених и невеста, они вольны решить, по душе ли они друг другу. Но видно, что им хорошо вместе, они не расстанутся.

Карагоз неотрывно смотрела на них сквозь листву, хотя следовало бы бежать без оглядки. Голова ее шла кругом. Листва вихрилась перед глазами. С небывалой силой вздулись в ее жилах огненные змеи и незримо поползали ей на грудь, обвивая шею, руки, ноги, тело. Еще минута, и они повалили бы ее на землю, изламывая в мучительной неодолимой судороге. Последним усилием Карагоз поборолась себя и пошла назад, стараясь не зашуметь. Лицо ее горело от стыда и от страха перед самой собой.

С радостным гамом подкатил к Каинде кош Карагоз, гоня перед собой табуны и отары.

Сняли с возов, разобрали и поставили юрты. Как обычно в таких случаях, суетились и хлопотали до позднего вечера. Угмонились, когда взошла луна. Разошлись усталые. Всех сморил сон. Бессонный овечий страж Булат и тот, наверно, улегся под кустом, неподалеку от стада, укрылся дерюжкой и задремал чутко, как пес.

Карагоз не спала. Она лежала, оплетенная огненными змеями. И виделось ей всеобщее людское веселье сегодня днем, на пути к Каинде. Теперь ей казалось, что все мужчины, все молодухи, пошучивая друг с другом, смеялись

над ней, над ней одной, потому что она среди пих белая ворона.

Впервые за шесть лет привиделся Карагоз во тьме юрты юноша, статный, со взлохмаченными волосами, в белой рубахе и черном жилете. Он прошел прямо сквозь стены юрты и обвил ее прохладными ладонями, приник к ее шее, смеясь и шепча ей на ухо. Она хотела обнять его, он исчез, но она слышала его шепот — он звал ее.

Карагоз крикнула:

— О аллах, я не могу больше! О боже, зачем я тебе такая?

Вскочила и бросилась вон из юрты, сама не зная куда.

Аул, словно выбеленный и посеребренный луной, был тих и нем. Меж юртами ни души. Блестела трава под босыми ногами Карагоз, блестела тонкая рубашка под черной струей распущенных волос. Карагоз не ощущала ночной прохлады. Она была в огне. Подойдя к реке, она вошла в прозрачную воду по колена и легла спиной на отлогий берег. Тело ее обнажилось. Оно было слепяще белым. И по нему ползли огненные змеи.

Хрипловатый застуженный голос окликнул ее словно с вершины утеса:

— Карагоз милая... Никак, ты? Что это с тобой?

Она не понимала, кто и о чем с ней говорит. Она услышала мужской голос и тотчас протянула к нему руки, не поднимаясь с земли. И когда прохрустели по траве тяжелые мужские шаги и человек подошел и наклонился над ней, она с силой потянула его к себе; обняв всем телом, стала целовать.

Померкло лунное небо, погас блеск воды и травы, растаяли туманные блики далеких горных белков. Зато огненные змеи радостно плясали в жилах Карагоз. В помрачении страсти она видела только посеребренную щеку Булата и его сияющие белизной волчьих зубы.

ТЕНИ ПРОШЛОГО

1

Задумчивая летняя ночь. Месяц льет на землю вековую грусть. Небо чистое, нет даже крошечного — с монету — облачка. Перемигиваются звезды — красноватые, зеленые, желтые. Небо будто всматривается, ждет: вот-вот начнет земля одну из своих былей.

Смотрят звезды на уснувшую в лесной тени речку. То петляя, то вытягиваясь, разметалась она по Караджалу. Красив Караджал, нет лучше места на джайляу. Наверно, потому и устраивают аулы свои стоянки здесь, на берегу реки.

Дремлет речка, дышит прохладой. Дремлют камни, вросшие в землю. Смотрят звезды...

Но вот из-за глыбы, похожей на морду спящего зверя, показались два всадника. Они быстро спускаются вниз. Их лошади — светло-рыжая с белой гривой и белая — идут бок о бок. Спутники не заняты беседой, едут молча. Всадники сдерживают фыркающих лошадей, натягивая поводья, паправляют их к мягкой луговине. Холеные лошади, мотая головами, резко рысят по ночной прохладе, идут без плети. Кажется, вот-вот выскочат из-под седоков.

Всадник на рыжем коне миновал тень скалистого камня.

Перед ним открылся поголубевший от лунного света Караджал. Он сдвинул шапку на ухо, потом совсем смахнул ее. Несколько раз вздохнул, набрал полную грудь воздуха. Яркий свет луны упал на исхудалое, задумчивое лицо. Спутанные пряди длинных черных волос закрывают бледный лоб. Из-под распахнутого серого чапана видны белая рубашка и черный жилет. Этот юноша на рыжем скакуне сегодня чувствует себя героем. Его ведет любовь.

Молодые люди выехали из верхнего селения, держат путь к аулу Жакипа. На рыжей лошади Кабыш. Он за-

кончил среднюю школу и приехал на лето домой. Умным парнем слывет Кабыш в Мойылдинской волости, а там весь народ башковитый, много вышло оттуда грамотеев. Рядом с Кабышем — Жуматай, поднял остроконечную бородку, любитесь голубой от лунного света долиной. Жуматай неразлучный спутник Кабыша в летних скитаниях.

Есть у Кабыша на сердце тайна, она и заставила его вернуться домой.

Юноша учился в далеком городе, но не мог забыть черных глаз красавицы Жамеш. Стройная, гибкая Жамеш была его давней мечтой и тайной печалью.

Когда он жил вдали от родного дома, девушка эта манила его, как мираж. Шли годы, а чувство Кабыша не остывало, как не стынет капля крови, упавшая в снег. Много писем написал он за эти годы, но ответа не получал: Жамеш молчала, хотя тоже умела писать. Так жил он одной мечтой. Безрадостным было прошлое лето. Только в день отъезда получил он от Жамеш весточку. Не написала — через Жуматай передала несколько слов приветов. «Будущее покажет», — туманно обещала она.

Прошла зима. Кабыш опять полетел вдогонку за своей мечтой. Он верил: не может девушка быть вечно гордой, неприступной. Настанет и для нее пора задуматься о своем будущем. Жуматай поддерживал его надежды. Но опоздал джигит. Жамеш уже стала невестой.

Невеста богатого Кенжехана! Сказали об этом Кабышу — не поверил, подумал — хотят подшутить. Потом, когда узнал всю правду, стало вдвойне больно. Девушка по доброй воле шла замуж за пятидесятилетнего старика. Не захотела слушать советов брата, отмахнулась от уговоров невестки. Один у нее советчик — старая бабушка: что скажет, то и верно. А вместе с бабушкой — отец. Так и согласилась она войти в дом Кенжехана, стать его второй женой.

Пять лет тому назад взял уже Кенжехан жену из этого аула. Кадиша — сестра Жамеш, старшая дочь ходжи Жакипа, — стала тогда второй женой богача. Но этой весной Кадиша умерла, оставив сына и дочь. Была Кадиша капризной и своевольной, сама заправляла всеми делами богатого хозяйства. И, умирая, высказала твердую волю: «Не хочу, чтобы мою постель занял чужой человек, ведь оставляю маленьких детей. Уважаете меня, — обращалась она к мужу и родным, — отдайте мое место сестре моей, Жамеш».

Так неожиданно Жамеш стала невестой.

Со сватовством поладили быстро, еще до переезда аула на летнюю стоянку. Недавно родители Жамеш объявили — свадьба будет здесь, в Караджале. Уже приехал Кенжехан, чтобы забрать невесту. И сейчас, лунной ночью, примчался сюда Кабыш взглянуть последний раз на Жамеш.

Жестоко обижен Кабыш, душу будто черным камнем придавили. Но любовь к девушке все так же сильна. Пусть бы Жамеш хоть всю жизнь стояла вдали, неприступная, холодная, как далекая вершина, Кабыш все равно летел бы к ней. Какая-то непонятная сила тянет его к этой чужой уже красавице.

О чем мечтают девушки в Мойылды? Конечно, о том, чтобы повстречался им молодой, красивый и, разумеется, образованный парень. Нынешние девушки очень ценят вежливость и привычку всегда опрятно одеваться. Но прежде всего — образованность. Готовы забыть и родительское благословение, и нареченного жениха, и калым — все готовы бросить ради дорогого сердцу и равного по возрасту друга. А вот Жамеш не такая. Отказывается от этих бесценных даров, предложенных Кабышем, бежит прочь. Свободная, вольная, губит себя, идет к старику. Да еще второй женой. Поведение Жамеш — вызов нынешним молодым людям, их стремлениям, мечтам, чистым помыслам.

Что же случилось с Жамеш, отчего старый Кенжехан для нее желанней и лучше Кабыша?

Ломал он голову над неразрешимой загадкой. Любовь, ревность и злость кипели в нем. Но и надежда не оставляла.

Жуматай пожалел товарища, пошел сегодня утром в аул Жакипа, так просто, на всякий случай. Повстречалась ему Бибиш, сноха молодой невесты. Сказала Бибиш: «Сегодня вечером ждите в лесу за селом, да будет с вами удача. Крепко обнадеживать не стану, но хоть посмóтрите еще раз на девушку. Побудет наедине с Кабышем — может быть, задумается над своей судьбой. Что бы ни случилось, будьте на месте, приведу ее, как только люди уснут». Вот почему два товарища пробираются этой ночью к аулу Жакипа.

Еще один поворот горной тропинки — и друзья увидели аул, уснувший на берегу реки. Сердце Кабыша замерло. Здесь ждет его гордая возлюбленная, в первый раз он будет с нею наедине. А вдруг это все обман, насмешка? Придет холодная красавица и начнет нахваливаться своего

старика. Ну и пусть. Кабыш все равно увидит ее этой светлой, лунной ночью. Хотя бы увидеть, поговорить — ведь и это было для него долгие годы лишь мечтой.

— А что, Жуматай, мы и правда едем к Жамеш? — глянув на товарища, сказал он. — Не обманула нас Бибиш? Разве может Жамеш так быстро измениться? Захочет ли идти к нам среди ночи? Она теперь совсем чужая, и аул этот какой-то холодный, чужой. Помоги, Жуматай, мне поверить, прогони сомнения!

Жуматай смекалистый парень. Сердечное дело разберет в два счета. Не в первый раз. Кому-кому, а ему-то давно известна печаль Кабыша. Жуматай утешит молодого друга, не зря усмехается в усы.

— Не горюй, Кабыш. Поймаем сегодня девушку за подол, если только она та Жамеш, которую я знаю. Красавица, капризная, в голове ветер. Вчера пошла к Кенжехану, сегодня явится к нам. Все теперь зависит от тебя, смотри не раскисай. Действуй смелее. Заставим ее сегодня раскаться. Поймет, что такое любовь молодого джигита, — потом пусть бежит, как подраненная дикая коза.

Кабыш повеселел.

— Может, ты и прав, — сказал он. — Может, сегодня Жамеш раскаивается в том, что натворила вчера.

— Еще бы! — уверенно отозвался Жуматай. — Я понял это еще утром, когда говорил с Бибиш. Поверь мне, девушка уже спешит на свидание. Ну, а теперь помолчи — подходим к месту. Давай думать, где лошадей оставим.

Молодые люди вышли на левую сторону речки. Чтоб не увидели их из аула, сразу же свернули в молодой лес, остановились между тонкими стволами. Укрывшись в черной тени, поглядывали сквозь редкий лес на аул.

Пришел тихий час свидания. Ночь молчала, молилась светлому месяцу в этой долгой тишине. Будто просила прощения за горькие слова упрека, готовые слететь с уст Кабыша. Он все еще любил Жамеш. Как он ее любил!

Тихо. Не слышен голос сторожа. Не лают аульные собаки. Не мигает красным глазом огонь в очагах. Люди уснули. Кабыш забыл сомнения, в нем бушует музыка любви, и все кругом притихло, будто прислушиваясь: что же дальше?

Жуматай — надежный товарищ. Его сердце свободно, красавицы не властны над ним. Спокойный, настрожен-

ный, слушает ночные звуки. прикидывает, где лучше лошадей оставить, где самим пританяться. Первые, байские, юрты белеют совсем рядом. Ближе подойти на лошадях нельзя.

А Кабыш не замечает ничего. Он мечтает о Жамеш, перед ним любимое лицо... Поводья ослабли. Рыжая лошадь выступила из черной тени. Влюбленный очутился на открытой полянке. Балованная лошадь — ей, видно, наскучила ночная тишина, — тряся головой, шумно выбирала овес из мешочка. Вдруг изогнула шею и, взбивая копытами землю, громко зафыркала.

Опомнился Кабыш, рванул на себя поводья, стукнул лошадь кнутовищем по голове. Еще одна оплошность — сытая, норовистая лошадь, звеня сбруей, отпрянула назад и испуганно захрапела. Все произошло так быстро, что Жуматай едва успел сказать: «Маленький, что ли, не понимаешь — аул рядом». Рыжая лошадь, пятась, сломала тонкое деревцо. Треск разбудил тишину. Залаяли собаки. Встрепенувшийся сторож привычными выкриками принялся науськивать их. Лай усилился, собаки понеслись к реке. Сейчас и аул проснется, выбегут люди. Пока угомонятся, близкое утро настанет.

«Поворачивать надо, пока не поздно», — решил Кабыш.

Но Жуматай схватил рыжую лошадь под уздцы.

— Стой и не шевелись, — приказал, и Кабыш вмиг оказался в густой тени. — Не бойся, собаки сюда не доберутся, вода остановит. Сейчас утихнут. И смотри, вперед будь осторожней.

Кабыш молча подчинился. Собаки лаяли долго, но на этот берег, где прятались друзья, не перебежали, даже к воде не подошли. Только один черно-пегий кобель не может никак угомониться, забежал дальше других, вслушивается в тишину ночи. Сторож вначале кричал испуганно, громко. Потом голос его стал тише. Похоже, старик тянул слова сонной песни, как бы уговаривая самого себя: «Ничего нет, иди спать». А вот и совсем затих.

Все успокоилось. Только черно-пегий страж не верит тишине, лает. Бережет байское богатство. «Не тревожься, хозяин, — будто хочет сказать, — спи, чужой человек не найдет в нашем ауле добра, лежащего без охраны».

Должно быть, Кенжехан и Жакип специально приставили этого пса к Жамеш, чтоб помешать свиданию.

В этом черном зловонном существе, кажется, воплотились сейчас все преграды и испытания, что стоят между Кабышем и Жамеш. Уж если теперь красавица придет сюда, не побоятся ярости пса, юноша больше никогда не скажет ей и слова в упрек.

Совсем приуныл Кабыш. Зовет воротиться.

— Ах, Жуматай! Аул опять кажется мне далеким, враждебным. Будто занесли его на высокую снежную гору, куда человеку не забраться. Этот черный пес похож на злого духа. Он вещает: «Не будет тебе счастья, Кабыш, воротись».

— Робкий ты очень! — засмеялся Жуматай. — Потерпи чуть-чуть, и этот кобель перестанет брехать.

Прошло еще с полчаса. И правда, замолк черно-пегий. Жуматай завел лошадей подальше в рощу, захлестнул поводья за переднюю луку седла, крепко-накрепко связал коней — голова к голове. Теперь надо подобраться к условленному месту. Пригнулись, краем леса, крадучись, вышли к полянке напротив юрты Касыма, брата Жамеш. Сюда Бибиш должна привести девушку. Тише, Кабыш, не шевелись, замри, сейчас она будет здесь.

II

Что же все-таки произошло с Жамеш? Почему дарила она свою молодость Кенжехану?

Все случилось неожиданно. Она и не помышляла о замужестве. И вдруг сваты! Кенжехан, муж умершей сестры, звал Жамеш к себе в жены. Родные тоже хотели этого. Ну и согласилась. Разве могут родные желать ей зла?

В Мойылдинской волости нет послушней девушки, чем Жамеш. На все глядит она глазами бабушки. Да и не одна она. Все в ауле Жакипа смотрят глазами Макен, ее ушами слушают, повторяют ее слова. Бабушка — главная хозяйка аула, властная байбише, с мужским складом ума. И в окрестных аулах имеет вес ее слово.

Взяла она к себе Жамеш еще малышкой и на свой манер вылепила девушку. Сколько помнит себя Жамеш, снохи всегда трепетали перед бабушкой. Ходили смиренно, боясь слово сказать. Вот и мать Жамеш успела состариться, за сорок перевалило, а все как молоденькая трясется перед свекровью. Да что мать, отец — Жакип — не

смеет начать дела, не посоветовавшись с Макен. Он так и не стал главою аула. Кто ни придет — простой человек или аткаминер, серебрябородый или с черной бородой, — все идут к Макен. А с Жакипом видаться не обязательно. Байбише Макен, не смущаясь, откровенно высказывает свое мнение: что хорошо, что плохо. Аул издавна слывет богатым, к смелым суждениям своевольной хозяйки привыкли: что ни скажет, выполняют беспрекословно. Стала Макен надменной, чванливой. Не терпит, когда при ней хвалят другого.

Достойным мог быть только человек из ее семьи, из ее аула. У чужих она не находит хороших свойств.

Под крылышком такой женщины росла Жамеш. И стала она второй Макен. Разница между ними лишь в том, что одна начинала жизнь, другая — заканчивала ее. В юном характере черты бабушки резче, заметней. Не может и Жамеш терпеть превосходства других, ей легче порицать, чем хвалить. Нет для нее ровни, верит только себе. Себе да бабушке.

Побывает в гостях в соседнем ауле, а потом вместе с бабушкой разбирает по косточкам увиденное, услышанное: и принимали не так, и беспорядок в доме, не чиста одежда, плохи наряды. Байбише корила своих сверстниц, а Жамеш осуждала новых снох и девушек-ровесниц.

Один пример у Жамеш — бабушка: что скажет, то и правда. Советы чужих пролетают мимо ушей, не оставляют и следа.

Мойбылды в последние годы все чаще потрясали такие новости: молодая девушка самочинно избрала мужа, муж оставил жену и бежал с любимой. «Кто так поступает? — гневно возмущалась Макен. — Испорченные девчонки! А почему? Все идет от предков, плохой род».

Но корень зла бабушка видела в образовании. Оно сбивает с толку. Эти «ученые» — ветреные, бездумные, ни на что не годные люди. Среди них был и внук байбише, родной брат Жамеш. Вернувшись с ученья, не замедлил выказать свою образованность. Макен, говоря о нем, махала рукой, кривилась: «Я еще не видела ребенка, исправленного учением. И этот — один из непутевых в нашем краю. Для нас потерян. Пусть живет как знает! Убрался бы отсюда, молю бога, чтоб зараза другим детям не передалась». Усадит рядом Жамеш и толкует о страшной заразе. Доставалось и Кабышу. Не один раз падали на его голову ядовитые слова Макен. Беда только — сми-

рен. Поди отыщи у него изъян. Но бабушка не терялась, хитро переводила разговор на родню молодого человека. Важничала, принижала небогатый родственный аул.

Так и жила Жамеш у подола бабушки, никогда долго не отлучалась от нее. И не нашлось человека, который сказал бы ей: неправильно учит бабушка, оглянись вокруг, прислушайся к советам добрых людей...

Наоборот, мать и отец не уставали наставлять: вникай в мудрые слова бабушки, учись, пока она жива. Ни у кого из девочек нет такой руководительницы, будь достойной ее.

Обо всем говорила старая наставница с Жамеш, но о том, что ждет девушку, о ее будущем молчала. И Жамеш не вникала в это. Бабушка молчит, значит, так и надо.

Учила аулом заправлять. Толковая девушка, понимает хозяйственные дела, разбирается, — хвалили люди. И правда: с кем Жамеш ни заговорит — с соседями, женщинами, пастухами, — всегда умеет найти нужное слово. Прочили ей — хозяйкой аула растет, не похожа на нынешних.

Жамеш и в одежде придерживалась старины. Ей нравились широкие рукава, широкий подол, свободное платье. Не желала одеваться по-новому, «фасонить», как она говорила.

Подойдет время кочевки, сядет на иноходца, на косах меховая шапочка с кисточкой из перьев, поверх камзола с короткими рукавами — туго подпоясанный чапан. Глянут ее почитатели и залюбуются, вспоминают лучших девушек старого времени.

Не влекло Жамеш к невестам-сверстницам — легкомысленные, смотрят на жизнь, как на игру. Кто-то сам убегает, кто-то бежит, захватив другого. Права бабушка — порча в народе! И чего добиваются эти влюбленные? Зачем накликают на свои головы проклятья родных? Перетерпят стыд, останутся жить вместе — ну и что? Разве лучше их жизнь, чем у других? Жамеш не замечала, чтобы сбежавшая поднималась головой до небес, судьба не отпускала ей счастья больше, чем послушным невестам. Мужняя жена, как и все! Обыкновенная баба, покорная, безропотная. А если не станет как все — еще хуже. Ходит странная, чужая всем. И говорит не так, и делает не то, забывает, чему учили родители. Совсем теряют разум сбежавшие с этими «учеными», глупеют, становятся неучтивыми. И Жамеш все больше укреплялась в своем: нет, не надо ей новой жизни.

Вот сестре, той действительно стоило позавидовать. Бывало, не поговорятся Жамеш с бабушкой, припомнивая, как все хорошо было у Кадиши.

Сестра была старше Жамеш всего на четыре года. Когда выдавали ее за Кенжехана — противилась, не хотела идти к старику. Вторая жена! Но бабушка уговорила, прогнала глупые страхи. До свадьбы в родительском доме Кадиша все же пряталась от Кенжехана. Но потом обосновалась в новом ауле, прошел год, и не узнать стало сестры.

Почитала Кенжехана. Только и речи о его достоинствах. Повторяет, бывало, слова мужа. А появится сам — исполняет все, чего ни пожелает его душа. Наверно, потому и отказался Кенжехан от хозяйской воли. И добро, и собственную голову — все отдал под власть Кадиши. Вот это пример для Жамеш! Макен не уставала расхваливать Кадишу.

Первая жена Кенжехана, состарившаяся, тихая байбише, не смела и слова сказать. Не вмешивалась ни во что.

Стала Кадиша полновластной хозяйкой большого аула, владелицей огромных стад. Чего бы ни пожелала — все в ее воле.

Если заскучает — соберет гостей из знатных аулов, молодых и старых, девушек и замужних, затеет гулянье, веселые игры.

Жизнь ее казалась Жамеш сплошным праздником.

А Кенжехан не мог налюбоваться женой. Только выйдет из дома — сейчас же торопится обратно, соскучился уже.

С гостями, большими людьми из ближних и дальних аулов, Кадиша была смела, рта не давала раскрыть Кенжехану: смеялась, шутила, сама потчевала. Нигде так не встречали гостей. «Дом у тебя — полная чаша, живешь, как в раю», — говорила ей бабушка.

Каждый год Жамеш с бабушкой гостили у Кадиши месяца по два. И каждый раз, будь то зимой или летом, дом ее казался Жамеш радостным, уютным. У всякого времени года свои заботы и свои развлечения. Находились у Кенжехана и свободное время, а к услугам гостей — скаковые лошади, гончие, ловчая птица. Охота, скачки — все превращалось в праздник для Кадиши. На ее зов бежали слуги, ее развлекали друзья Кенжехана. «Это и есть счастье», — разъясняла Макен.

Жамеш прониклась уважением к старому зятю. Почтенные люди склоняли головы, когда Кенжехан въезжал на коне в аул, окруженный полусотней всадников. Подумать только: сестра была самым любимым другом аткаминера, знатного, уважаемого всеми. В душе Жамеш росла гордость.

И собой зять был еще хорош, строен, а что в бороде пробегала седина и недоставало трех передних зубов — не беда. Это даже украшало его. Старая Макен, не выдержав, часто хвалила Кадише ладную фигуру Кенжехана, и Жамеш, конечно, все это слышала.

Нет, сестра была счастлива! За все пять лет Жамеш ни разу не видела ее хмурой, огорченной.

Так о чем же раздумывать самой Жамеш? Кенжехан просил ее войти к нему в дом. О том же молила, умирая, сестра. Жамеш согласна. Наука бабушки не пропала даром. Всю жизнь готовила девушку к этому. И вот в один миг повержена Жамеш, как подстреленная в грудь степная коза. Брат Касым возмущался, протестовал: «Хватит несчастья Кадиши, Жамеш не пойдет!» «Какое несчастье? Что знает Касым?» — озлилась Жамеш. Даже поговорить с братом не захотела.

А Касым знал. Подослал к ней человека: «Не соглашайся, погубишь себя. Не видела счастья Кадиша, все ложь, все было напоказ. Плакалась мне сестра, рассказывала о своем горе. Тебя ослепил блеск празднеств, не заметила печали в душе сестры. Она и от бабушки все скрывала. Подумай, посоветуйся». И Жамеш посоветовалась. С кем? С бабушкой, конечно. А вот и ответ: «Касым, смотри за собой, не суйся в мои дела».

Ну, а потом пошло все гладко: сваты, калым, наезды Кенжехана. Так протекли два месяца. А вчера сыграли свадьбу. На славу вышел той. Много людей собралось. Со всей округи. Было шумно, весело. Народ, почтив жениха и невесту, разошелся. Наступила ночь. Долго Кенжехан был зятем, старшим, уважаемым, как дядя или отец. Этой ночью упали покровы. Жамеш узнала то, от чего оберегал ее брат.

Что испытала Жамеш в эту ночь? Какое разочарование постигло ее? Никому не доверила она тайну. Даже Бибиш — ровеснице, близкой подруге, жене Касыма — не открылась.

Вышла из юрты мужа рано, чуть поднялся народ. Пришла к бабушке, прилегла рядом. Не заснула, только

вздыхала, мучилась, будто выпила яд. Потом поднялась, позвала Бибиш и увела ее за холм. Не стала рассказывать, заплакала и вдруг быстро сказала: «Хочу увидеть Кабыша».

Бибиш удивилась. Как понять эти слова? Жамеш, привыкшая командовать, отрезала:

— Не допытывайся. Сегодня ничего не скажу. Я должна встретиться с Кабышем, столько лет просил. Разок выйду, ничего не случится. Разущи его, дай знать.

Бибиш по-своему истолковала эти слова — видно, что-то было между девушкой и молодым человеком — и решила им помочь.

Прошел день. Вечером Кенжехана пригласили в один богатый аул. Не годится, мол, быть только супругом, пора и людей вспомнить. Посхал он со всеми гостями. Жамеш оставил дома.

Наступила тихая ночь. Кабыш с товарищем прокрадывались к аулу. А Бибиш и молодая жена Кенжехана лежали в это время в юрте Касыма и тихо беседовали. Спит аул. Скоро джигиты должны подойти. Залаяли собаки. Бибиш, сжав руку подруги, прошептала:

— Они... Ах, что же так неосторожно, торопятся, видно. Не учуяли бы их собаки...

Жамеш нахмурилась.

— Перестань переживать! — шепнула раздраженно. — Думаешь, это у них первое свидание?

Не на Кабыша злится Жамеш. Досадна ей откровенность невестки.

Шум в ауле затих, все успокоилось. И Жамеш, дернув Бибиш за рукав, приказала:

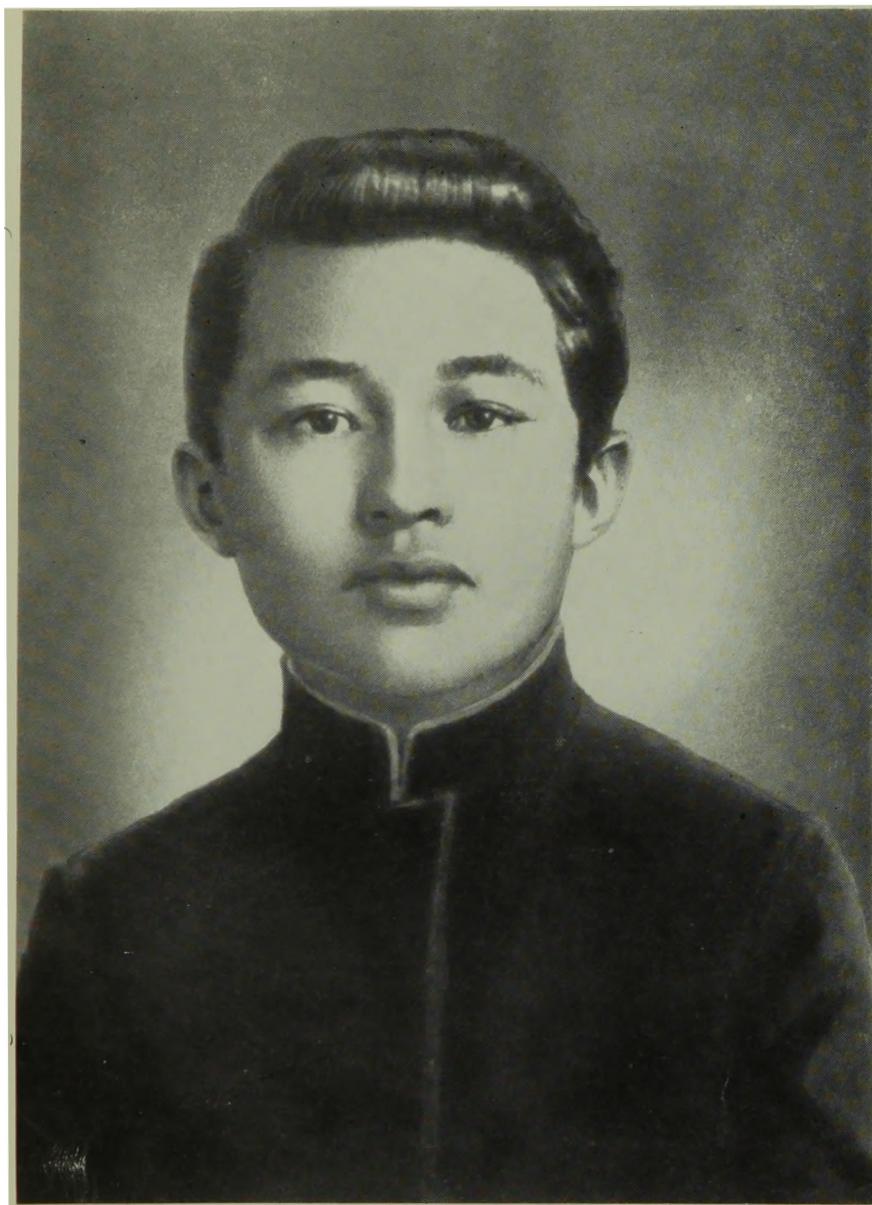
— Ну, веди!..

Закутавшись с головой в черный чапан, она пошла за Бибиш.

В темной тишине от легких шагов Жамеш зазвенели монеты на ее одежде. Но громче этих монет стучит сердце. Стучит и поет, и будто слетает с него тяжелый недуг.

Прикрыта дверь белой юрты. Луна приветствует красавицу. Лицо Жамеш осунулось за день, бледно.

— Скорее, скорее!.. — вздыхает она, сжимая руку Бибиш.



М. Ауэзов — ученик Семипалатинской учительской семинарии.
Фото. 1914 г.

РАСПРАВА

I

Урочище Акузек нынче у всех на устах. Целая волость Караадыр шумит: акузекцы соберут самый богатый урожай, акузекцы превзошли всех.

Года три назад в урочище Акузек обосновалось тридцать семей бедняков. Пришли они сюда из разных аулов и начали обрабатывать землю. И вот награда: нынешние посевы обещали хороший урожай.

Прохладным вечером после тяжелого летнего дня любят люди присесть и, попивая кумыс, обсудить новости. В последнее время все чаще толкуют о земле. Оказывается, не только скот, но и земля обогатить может. Вот, глядишь, и выйдут нынче акузекцы в люди. Только и слышно: Акузек! Все в Акузекке дышит благополучием, урожай ожидается небывалый. Пшеницу выгнало — каждая соломинка что твоя пика. Да и рожь там высокая — лошадь с головой укроется. Послал бог нынче акузекцам! Поговорят о пшенице, а потом — слово за слово — переходят и к тем, кто посеял эту пшеницу. Кто такие? Где зимовкой стоят? Довольно ли у них скота — овец, верблюдов, коров? А женщин в ауле много ли? А как с девушками? Слыхать, жена такого-то ушла. Кто же увез, свой или чужой? Тот на днях поссорился с тем-то, другой подрался. Все интересно, обо всем надо узнать. Поговорят, а потом эти новости расходятся по аулам, разносят их досужие старики. Давно заведен обычай: по гостям ездить, мясом лакомиться, кумыс попивать. А уж если старики за дело возьмутся, дойдут до такой подноготной, похлеще, чем в иной служебной анкете.

Стал Акузек как легенда. До дальних аулов слава дошла. Но там питались лишь неясными слухами. А вот

ближние аулы знали точно: кто сколько снимет, у кого ожидается лучший урожай. Все сходились в одном: «Ныне самый богатый урожай по всей волости соберет Жаксылык».

Жаксылык из бедняков, работяга. Скота у него немного — голов двадцать крупного, да тридцать — сорок овец. Нелегко прокормить большую семью. Зимой и летом не покладает рук, трудится. Скот свой небогатый завел недавно, как за землю взялся. На первых порах посеял две меры зерна, снял столько, что хватило семье на зиму и на семена осталось. Ну так и пошло, год за годом.

Хвалит он свое новое дело. «Сколько времени попусту лили пот. А богатство-то под ногами лежало, в земле. Только рук не жалей, земля воздаст с избытком. Отныне я земледelec, надеюсь только на землю».

Хвалили люди его поля, завидовали. «Что вложил, то и беру, — отвечал Жаксылык. — Вспаши землю поглубже, заборонуй получше, без хлеба сидеть не будешь».

Стоит пшеница ровной стеной, наливаются колос. Молит Жаксылык дождя, пусть хоть еще разок промочит землю. И пролился над полями дождь. Не сидится Жаксылыку дома, что ни день — обходит поля. Вот поздняя пшеница, она все еще белая, тянется вверх. А ранняя уже начала наливаться желтоватым цветом. Заботливо осматривает хозяин колосья — не поклевали бы воробьи, не добрались бы мыши, не завелась бы другая какая вредная тварь. Все хорошо. Растет, поспекает хлеб. Молится Жаксылык днем и ночью. Немного осталось, пронесись беда мимо наших полей.

Пришла пора жать пшеницу. Теперь уже Жаксылык не опасался ни пернатых, ни грызунов. Другие заботы на душе. Не принес бы беды злой человек.

Еще недавно Жаксылык зависел от бая, не был волен поступать как вздумается. Не свой скот пас тогда — байский. Бай Абиш — богатый, властный. Его воля что веление судьбы. Соседние аулы не смели ослушаться Абиша. Всем заправлял бай. Подниматься ли на кочевье, сниматься ли на зимовку — все он назначает. Укажет и место, где сено косить, и время. А в город надо поехать, опять поклон Абишу: разрешит ли? Случалось, наезжал богатый аул в урочище, отданное бедному под сенокос. Но бай не вступался. Так и оставалась беднота без се-

нокоса. Задумает какой-нибудь бедняга уехать на время подзаработать малость, бай всегда придумает повод удерживать его. Жаксылыку приходилось особенно туго: не принадлежал он к роду аула, был всего-навсего консы — пришелец из чужих мест. Ни скота, ни земли у него. И гонял бай Жаксылыка, как хотел. Захочет — берет с собой на зимовку, не захочет — отошлет с другими горемыками на неудобное, трудное для зимовки место.

Много терпел Жаксылык до зрелых лет. В те времена в Караадыре и не помышляли о земледелии. Какие богатства таила земля Акузека, не знали ни Абиш, ни его родственники. Для зимовки урочище считалось непригодным. Заносит зимою сугробами. Да и воды мало, а та, что есть, солоноватая. Ни к чему Абишу такое кочевье. Если и заглянет осенью в этот унылый край, торопится скорей перекочевать на другое место. У Жаксылыка была мечта: осесть, обосноваться где-нибудь. Прослышал о том Абиш, расщедрился, кинул ненужную кость! Предложил: чем не место — Акузек! Устраивайся там, займись земледелием. Не один Абиш владел урочищем Акузек. Осели уже там несколько семей бедняков. Заручились раньше Жаксылыка согласием своих баев. К ним и пристал Жаксылык. Построил дом и двор на земле, что уступил ему Абиш.

Прошло лет пять, и поднялся Жаксылык, стал хозяином наравне с другими. И не только сам поднялся на ноги, — бедным соседям помогать начал. В дружбе жил со всем народом Акузека.

Уступил Абиш землю, да скоро пожалел. Не ожидал, что Жаксылык сумеет так быстро освободиться от хозяина. Начал бай вместе с родственниками тревожить земледельца. То конь ему понадобится, то сбуя.

А времена между тем наступили иные. Слышал Жаксылык — новая, советская власть за бедных стоит, их права защищает, их интересы. Стали приходиться в голову мысли: «Долго ли еще терпеть от бая? Хватит, довольно! Покомандовал, не разрешим больше!»

Абиш зорко следил за бывшим своим работником, Жаксылык бровью шевельнет — баю и то известно. Разнюхал бай, что за мысли бродят в голове земледельца, почему глядит волком.

А в волости Караадыр тем временем подошли выборы. Аулы раскололись на две партии, Жаксылык вме-

сте со всеми тружениками Акузека оказался в стане противников Абиша. Случилось это как раз перед тем, как сниматься с зимовки. Летом на джайляу состоялись выборы. В стане Абиша праздновали победу, бай одержал верх.

II

Прошло лето, Жаксылык ни разу не встретился с Абишем. А теперь узнал — аул Абиша вместе с аулами еще нескольких баев откочевал на осенние пастбища.

Тяжки думы Жаксылыка, знает он повадки богатых аулов, могут и силу показать. Не навредили бы полям со зла.

На кочевье близ Акузека аулы останавливались не каждый год. Абиш являлся сюда, когда бывал недоволен Жаксылыком, наезжал один, только со своим аулом. На этот раз он прибыл в сопровождении младшего брата Курмана и еще двух аулов из бедноты. Разбили юрты как обычно, на холмах Донкьяк, у самого Акузека. Раньше не было случая, чтобы скот бая травил посевы или сенокос. До такого не доходило. Дрожит Жаксылык — бай уже бывал доволен, большего не требовал. «Долг соседа», «божья милость», оказанные баем, становились труженику поперек горла. Что задумал бай нынче? Какой обиды ждать от него?

Двор Жаксылыка в ауле крайний, отсюда до Донкьяка рукой подать. Белые юрты бая видны со двора. Поля Жаксылыка на другой стороне урочища. Кочевья оттуда далеко, скот сам туда не пойдет, разве Абиш со зла направит. Зорко смотрит Жаксылык, чует его сердце байскую злобу.

Два дня прошли спокойно. Жаксылык спешил покончить с сенокосом. Пора было приниматься за жатву. В семье помощников мало. Больше все сам. Вот и не навещил еще Абиша, не поклонился. На третий день тронулся верхом к аулу бая.

Поля не по пути, но сердце ноет, зовет с дороги. Не удержался, свернул. Не зря народ говорит: «Чтобы собрать урожай да сено скосить — не своди глаза с полей и лугов». Въехал на пригорок — и обомлел.

Всего ждал от бая, но такой мерзости... Не под покровом ночи, среди бела дня большой табун без помех топчет пшеничное поле. Хрустят сорванные колосья. Ло-

шади фыркают, не поднимая головы, спокойно жуют пшеницу. На глазах исчезает потом и кровью политый урожай, гибнут надежды и мечты большой семьи. А как радовались детишки Жаксылыка, следили, каждый день бегали смотреть, как наливаются хлеба. Не дрогнула рука бая, что ему труд бедняка.

Отчаянно закричал Жаксылык. Проклял лиходея. Слезы залили глаза. «Как жить с такой обидой, лучше бы я умер! А жив останусь — не спущу тебе!» — думал горько, с налета врезываясь в табун. С гиком и проклятием погнался к аулу Абиша. Вспомнил все семьдесят семь поколений предков этого кичливого рода. Проклинал и плакал горькими слезами.

Опомнился недалеко от аула. Поймал двух холеных коней и повернул домой. Не украл коней, а ради справедливости взял, как залог. Пусть ответит бай за потраву.

Вспокоенный табун с грохотом ворвался в аул. Оказалось, это табун Курмана. Табунщик — наглый, довольный — встретил лошадей. Он-то все отлично знал, но вида не подал. Начал пересчитывать, все ли лошади на месте. Ага, двух не хватает. Самых лучших, отборных, что Курман берег для охоты. Табунщик — быстрее на бугор. Ясно: вон там верховой торопится, гонит на привязи двух скакунов. «Это Жаксылык, кто же еще», — решил он и отправился докладывать хозяину. «Табун загнал до пота, увел Саврасого и Козыгера. А с чего? Был ли еще табун на его полях? Был ли, не был — бог ведает», — рассказывал он.

Курман от такой дерзости весь злобой налился. Клял и Жаксылыка, и отца его, и деда. Обещал и уголка на земле ему не оставить! Пусть помыкается, поищет, где голову приклонить! Курман сожжет его двор, разгонит скот, а самого, как козявку, раздавит.

Дошло и до Абиша. Сидит бай, зубы точит, ждет не дождется, пусть только покажется этот Жаксылык. А Жаксылык отвел домой коней, разузнал, чей табун, да и отправился к Курману. Гнев бушевал в нем, жег душу пламенем.

Ввалился Жаксылык в юрту. Буркнул что-то вместо приветствия. Абиш и Курман сидели рядышком, увидели Жаксылыка — позеленели от злости, так и впились в него глазами. Подумать только, консы, ничтожный батрак, поднимает голос! Да кто он такой? Абиш целую волость

осилл, победил в предвыборной драке, а тут козявка какая-то. Не будь он Абиш, если не вгонит зазнавшегося в землю!

Курман, не приветствуя гостя, сразу накинулся с бранью:

— Эй, ты! Низкий раб, валявшийся у меня на пороге, рано забываешь своего бога! Завел пять голов скота и воображаешь себя человеком. По миру тебя пущу, да как еще — жуков собирать будешь на корм своим голопузым. Ишь шишка какая, святой! Табуны загоняет до пота, скот захватывает! Я тебе покажу барымту!

Жаксылык не испугался. Чего ему бояться? Вины за ним нет. А эти ответят за все.

— Если я в чем виноват, пойду по миру, собирать жуков буду. А если нет — ничего мне не сделаете, высовывайте сколько влезет свое ядовитое жало. Хватит, побыл довольно у вас в кабале. Я загнал твой табун? А ты? Я честным трудом...

Курман не дал договорить, схватил камчу — приготовил заранее — и набросился на сидящего Жаксылыка. Камча обжигала плечи, голову, лицо. Но больше ударов жгли обидные слова, унижали, ранили душу.

Жаксылык пытался вскочить на ноги, начал было отбиваться. Вмешались гости — их тут сидело трое, — скрутили руки и придавили к земле. Теперь Курман мог делать с Жаксылыком все, что хотел. И он бил его, бил, пока рукоятка не переломилась.

Насытилась злоба Курмана, утихомирился он, и тогда наконец Абиш счел нужным вмешаться.

— Перестань же, перестань, довольно тебе! — увещевал он уже остывшего брата.

Абиш был удовлетворен. Все получилось так, как он задумал. Руками брата вдвойне отплатил батраку за непокорность, а своих — не замарал.

Знакомая повадка. Абиш любит загребать жар чужими руками. Запомнит науку Жаксылык. И думать теперь побоится о правах, о свободе! Есть у Абиша и теплые слова, и ласка, да не для таких беззащитных бедняков, как Жаксылык. Для них — побои. С начала лета братья готовили припарку непокорному. Пусть охладится слегка. На пользу пойдет.

Что было делать Жаксылыку? У кого искать защиты? Испокон веков люди шли к баю, надеясь на его силу и

власть. Нет, Жаксылык не упадет в ноги Абишу. С воплем бросился он из юрты, вскочил на коня и понесся куда глаза глядят.

Сколько времени так проскакал — не знает. Как домой добрался — не помнит. Выбежала навстречу жена. Проклинает Курмана, горько плачет. Приезжал табунщик, увел коней, что стояли на привязи, а ее избил.

— Иди, иди, жалуйся начальству. Хоть умри, а не спускай обиды, отомсти! — причитает она.

Слова жены будто пробудили Жаксылыка, бальзамом легли на израненную душу.

Заторопился Жаксылык. Ни о чем не стал расспрашивать больше. Не обмыл даже окровавленного лица. Оседлал гнедого и опять поскакал.

Слыхивал раньше, есть в Актасе, за сорок верст отсюда, начальство. Вот и мчится теперь туда. Все расскажет, выложит все обиды.

В Актас прибыл, когда от домов легли длинные тени и мулла призывал к вечерней молитве. Начальник милиции, молодой казах, встретил вежливо. Лицо у него мягкое, приятное. Жаксылык с ходу начал плакать, выкладывать свои обиды, растирая кровь на лице. Показал следы побоев — вот что сделали с ним. Накипело на сердце, выложил все, что терпел с давних пор он, потомственный бедняк. Сколько раз бил его бай, отнимал заработанное. И вот опять то же. Поля, хлеб кровный уничтожили, избил, надругались. Еще сильнее зарыдал Жаксылык.

— К кому пойду, кому пожалуюсь? Вся надежда на вас. Не заступитесь — по миру пойду с детьми. Мне теперь в Акузекке не хозяйствовать. Бай не дадут. Все они заодно. Разве найдется среди них хоть один, кто бы защитил меня. Вас, Советы, прошу: заступитесь, верните мне мое добро, накажите обидчиков.

Долго говорил Жаксылык, и в его речи слышалась боль всех тружеников степи. Будто не он один — все они жаловались. Сколько еще терпеть? Доколе неправым и виноватым будет только бедняк?

Начальник милиции слушал, и приветливое лицо его темнело. Вначале время от времени он задавал вопросы — к любой жалобе надо подходить осторожно. Потом умолк. Горячая речь Жаксылыка убедила. Он поверил человеку из степи.

Встал, вызвал трех милиционеров.

— Сейчас же гоните в Акузек, арестуйте и тащите сюда Абиша и Курмана! — приказал он.

Душа Жаксылыка от радости до небес взмыла.

Три милиционера, грохоча саблями и прикладами винтовок, рысью тронулись в путь.

Для обиженного были эти три молодых парня роднее самых родных, ближе самых близких. Что за ребята! Стройные, ловкие. А вид какой грозный! Никогда не встречал таких. С умилением подумал об их родителях — таких орлов вырастили!

Вернулись милиционеры на следующий день. Привезли братьев. Начальник милиции, к великой радости Жаксылыка, так отчитал их — три пота пролили. А потом, еще лучше, засадил братьев под замок. Довольный Жаксылык вернулся домой.

Не шевельнулось в душе и капли жалости. Много терпел бедняк, пусть хлебнут горя баи. Радовался. Наконец отплатил за все.

— Теперь, пожалуйста, мстите. Не заплачу, выпью весь ваш яд. Хоть раз посчитался с вами. Доволен, доволен я тобою, моя советская власть! Давно пора было просить у тебя помощи! — сто раз восклицал он, едучи домой.

III

Многолюден аул Абиша. Со всех концов волости Караадыр съехались сюда богатеи, собралась степная знать, сутяжники, скандалисты, склочники, пройдохи. Расселись группами на лугу за белыми юртами. Поглаживая бороды, оживленно разговаривают. Всем достается в их беседе! Одних костят так и сяк, других зло высмеивают. Тонкая улыбка кривит губы. Но есть среди гостей и такие, что надулись, сидят угрюмые, молчат, побелели от гнева. Родовитая знать всей волости поднялась на защиту своей вековой власти. Неслыханная беда, невиданный позор! Унижен Абиш. Сам Абиш! Опора и властелин всей округи, вожак. И кто унижил? Ничтожный консы — пришелец Жаксылык. Последний из последних, сын паршивой собаки. Посмел голос поднять, как равный на равного! И слыханное ли дело? Добился своего, посадил баев в тюрьму, наказал.

Трудные времена настали. Приходится богатеям ломать голову, искать ходы-выходы, хитро сплетенные пути.

Как наказать Жаксылыка, чтобы впредь неповадно было к начальству бегать? Как обуздать гордеца, подчинить воле знати? Не должен неимущий забывать бога, пусть, как прежде, трепещет перед хозяином. Жалоба властям — не новость. Казахи с давних пор любят бегать к начальству. Однако эти жалобы никогда не приносили им ни чести, ни победы. Вот и этого Жаксылыка надо поставить на место.

Десять дней сидели под замком Абиш и Курман. И все эти дни родовая знать не слезала с коней. Шныряли по всем лазейкам и наконец нашли пути, вызволили из беды братьев. Обскакали всех друзей-приятелей, живущих в городе, через них передавали прошения. Сами ходили, просили отпустить арестованных на поруки. Дружно взялись за дело — арест ведь обесчестил всю знать Караадыра — и добились своего.

С некоторых пор богатеи действуют все заодно. Забыли старые раздоры. «С ними подождем, — согласились они, — не то время теперь». Научили их тому выборы. Услышали слово правды от избирателей, пришлось подражать за свою шкуру. Кое-где народ уже добрался до своих баев. Внесли их в черные списки и даже близко не подпустили к выборам. Вот и согласились богатеи больше не враждовать друг с другом. «Давайте в мире жить, спокойно. Будем молчать, поведем себя тихо, кто полезет на нас?» И теперь, под видом миротворцев, дружно взялись восстанавливать честь Абиша и Курмана. Абиш — опора знати. Его авторитет должен быть незыблемым. «Покажем силу Абиша, пусть содрогнутся бедняки, гордецы вроде Жаксылыка. Карает не закон, карает бай». Но как обойти начальство? Как наказать Жаксылыка? Вот о чем думали бай, собравшись в ауле Абиша.

Власти взяли с Курмана подписку — должен он возместить пострадавшему убыток. На этом настоял Жаксылык.

Но Курман и не думает платить за потраву. Жаксылык пытался было заикнуться, напомнить — на него так цыкнули, сразу замолк.

Сидят гости в ауле Абиша, пощипывают бороды, размышляют. Как приступить к делу? Конечно, об уплате

долга Курманом и речи нет. Здесь думают о другом долге. Остался должен Жаксылык. Пусть заплатит братьям за обиду. Просят они собравшихся помочь. Встал Абиш, сказал:

— Жаксылык, опирающийся на людей аула Алатай, больно ранил нашу душу.

При чем тут аул Алатай? Оказывается, во время выборов Жаксылык выступал на стороне этого аула. Видно, и сейчас подстрекали его. Иначе откуда бы взялась такая смелость у консы? Собрание баев обращается к гостям из аула Алатай.

— Пусть ответят, — требует Абиш. — А если не согласны с этим выскочкой, так и должны сказать. Тогда уж мы сообразим, что делать.

Разве станет волк драть волка, когда есть баран? Чего было ждать от богачей? На что им Жаксылык? С ногами и руками отдали его Абишу. «Не знали мы, не ведали, что творит этот человек. Сам придумал, сам пусть и расплачивается. Разве мы не согласились жить в мире? Не к чему обременять себя хлопотами. Абиш зря на аул Алатай сваливает. Выборы — другое дело. Тогда, конечно, отношения у нас были натянуты, это правда. Но мы никогда не поскакали бы в город».

Таким образом, вопрос, из-за которого собралась здесь знать, наполовину был уже разрешен. Богачи доказали свое единство. Ради такого случая закололи барана. При дележке лакомых кусков спора не было. Разделались с мясом единодушно. Потом перешли к другой стороне вопроса. Жаксылык совершил преступление, нарушил законы рода. И преступление это равносильно убийству человека — так расценивали самозванные судьи попытку Жаксылыка найти защиту у властей. Возмутил покой степи, взбудоражил народ, пытался уничтожить Абиша. Самое жестокое наказание будет для него милостью.

Долго думали, спорили, обсуждали. Наконец вынесли приговор и закрепили его молитвой. Жаксылык должен внести плату за оскорбление братьев и покинуть земли рода. А еще решило собрание — мстить Жаксылыку. Мстить будут все вместе и каждый в отдельности, как удастся, куда бы Жаксылык ни откочевал. Не будет теперь ему нигде покоя...

Кто устоит перед таким мощным единством? Давно известно: «Поднимутся силы грозные и бездну затопят». А как же закон? У баев свой закон — сила.

Сломали они Жаксылыка. Ведь не станешь каждый день докучать властям, спастись под их крылом...

Покорился Жаксылык. Мечтал взять с баев плату за обиду, да вдруг лишился всего: и полей, и нажитого скота. И к приветливому начальнику не мог снова съездить — взяли баи под надзор. А ведь обещал начальник помочь, говорил: «Приезжай, если упрутся, не захотят платить за потраву». Все отняли у Жаксылыка баи, но этого оказалось мало. Как снял урожай, выгнали совсем из аула.

Правду говорят: «Окажется вором богач — потерпевшему быть его жертвой». В начале декабря Жаксылык со своими голопузыми тронулся из Акузека куда глаза глядят. Исчез, как в воду канул.

ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ

ПОВЕСТЬ

1

Старший брат поднял на руки младшего, точно ребенка, и сказал своей жене, торопливо перестилавшей постель:

— А в нем ни кости, ни мяса. Сухой да легкий, как перекати-поле... Экого молодца извели!

Постель — сложенные втрое-вчетверо стеганые одеяла на земляном полу под серой глинобитной стеной зимовья. Больного бережно уложили на правый бок.

А тот совсем обессилел, пока его поднимали, дышал тяжело и едва шевелил бескровными губами. Брат и сноха склонились к его лицу, но скорее догадались, чем расслышали, что он сказал:

— Отощавший конь — как по ветру пух...

— Отощавший муж — как бесплотный дух, — договорила женщина, горестно вздыхая.

Старшего брата звали Бахтыгулом, младшего — Тектыгулом, женщину — Хатшой.

Бахтыгул, черноусый, плечистый и широкогрудый, сел возле больного, низко опустив голову. Еще прошлой осенью Тектыгул удивлял людей своей богатырской статью. Он был на голову выше, кряжистей и крепче старшего брата. И вот доконал его злой недуг. Истекла из парня сила, как кровь из широкой раны.

Прежде голая скала была ему мягка, теперь постель жестка. Придирчив стал, просит перестилать почаще; и поднять его на руки — ничего не стоит. А бывало, не оторвешь от земли!

Помнится, в юности, в страшную годину, пришлось Бахтыгулу, как ныне, носить брата на себе. Было тогда

старшему шестнадцать, меньшому — десять. Повальный тиф, словно пожар, поджег степь, все аулы окрест. В один день слегли отец и мать, а затем в один день и померли, утром — мать, к ночи — отец. Братья побежали из родного аула куда глаза глядят, как велел, помирая, отец, и, когда у младшего подкашивались ноги, старший из последних сил тащил его на закорках, чтобы подальше уйти. Тогда Бахтыгул унес брата от погребей, от заразной хвори, которая гналась за ними. А ныне, пожалуй, не унести...

Тоска томила Тектыгула, но не молодецкая, смертная.

— На срубленном кусту не зеленеть листу, — твердил он, глядя застывшими, мутными, пугающими глазами то на брата, то на сноху. — Это все бедность проклятая, наше сиротство. Не люди меня убили, брат, — бедность! Как будешь жить без меня?

Судорога морщила его серые губы, и словно прорывалось сокровенное, затаенное в душе.

— О, если бы поквитаться... не за смерть, за обиду... — шептал он и всхлипывал яростно и беспомощно. Кашлял натужно, точно дряхлый старец, отвернув лицо к стене.

Сегодня Хатша не выдержала, вскрикнула со слезами:

— Подлые! Отсохни у них руки и ноги! Ломали, ломали парня... изломали вконец... И хоть бы дохлым козленком откупились. Кинули бы милостыню... болящему на пропитание...

Бахтыгул был скуп на слова.

— Ми-ло-стыню? — проговорил он с угрюмой усмешкой, и кончики его густых черных усов поползли вниз.

Хатша поняла мужа. Нет у их недругов ни жалости, ни благородства. Не только руки дарящей не протянут — глазом не моргнут! Обидчики знали: подкормишь хилого, больного — признаешь вину перед ним... А если не выживет Тектыгул? Придется отвечать по древнему степному закону — платить за убийство. Вот чего опасались они.

В жизни своей Бахтыгул не помнил дня, когда богачи были бы справедливы, а он прожил уже вторую жизнь с тех пор, как на его глазах остыли отец и мать.

В тот страшный год тиф не догнал беглецов, догнала судьба. После долгих скитаний они нашли приют у дальних родичей, дядьев по материнской линии, но не нашли счастья. Стали мальчики батраками в богатом ауле рода козыбак, кочевавшем в Бургенской волости. Прошлой осенью минуло двадцать лет, как братья верой

и правдой служат баю Сальмену, младшему из козыбаков. Крутому, правному хозяину.

За годы службы Бахтыгул достиг большой чести — стал табунщиком, то бишь наибольшим среди пастухов, правда, не разбогател. Зато богател его хозяин Сальмен. Умелые руки Бахтыгула выходили и выкормили в степи немало байских табунов, сотни и сотни голов хорошей крепкой породы.

Младшего, Тектыгула, бай держал в черном теле — доильщиком кобылиц. Шли годы, уходила безрадостная молодость, но ничего не менялось: днем Тектыгул доил кобылиц, а по ночам сторожил овечьи отары.

Бахтыгул был удачливей — все-таки бай его женил. Взял табунщик в жены девушку Хатшу, дочку пастуха из соседнего аула, и она тоже стала служить баю Сальмену, его жене и матери, как служил муж. Бахтыгулу женитьба стоила всего, что он заработал, примерно, за десять лет, однако на то была байская воля. А вот Тектыгулу стукнуло тридцать лет — и он не женат.

Братьев-батраков знали по всей округе, они славились силой и отвагой, и был от них баю еще особый прок.

Род козыбаков — богатый род, а потому жадный, властолюбивый, ненасытный. Издавна козыбаки были известны тем, что при случае затевали барымту, угоняли скот. В этих делах Бахтыгул и Тектыгул были незаменимы.

Им вручали черные дубины, сажали на отменных коней и посылали в тайные налеты. Братья кланялись баю и шли, куда он велел.

Старший брат их хозяина Сальмена, бай Сат, то и дело вязывался в междоусобные распри, домогаясь должности волостного управителя. Сат сколачивал в волости партии, разжигал меж ними вражду и в мутной воде ловил рыбку. Трещали под ударами дубинок кости у джигитов, бай Сат пожинал почести волостного, а у бая Сальмена разрастались табуны и стада.

Молодцы из других родов побаивались Бахтыгула и Тектыгула, завидовали их силе:

— Нешто они люди — дубины...

Случалось, что и посмеивались над ними:

— Нешто они слуги — рабы... Братья-рабы!

Слава удалая, да нерадостная. Худая слава. Не только чужие, но в родном ауле даже бабы и детишки поговаривали исподтишка:

— Пошли наши барымтой, как велит обычай... Пришли наши с ночной воровской добычей...

Однако был бы доволен бай! Под баем ходим, на все байская воля.

Из года в год, из зимы в лето жирели козыбаки, нагтели. Недаром служили им Бахтыгул и Тектыгул. Тяжелы дубины, длинные арканы у братьев-пастухов и кротки души. Двадцать лет пролетело, а они все такие же безропотные, безотказные.

Бай Сальмен ничего им не платил. И никогда братьев и хозяина не связывал договор, обычный в степи: столько скота и одежды за такой-то срок... Не было этого баловства в заводе у Сальмена! Разве бай не отец-благодетель своему рабу? К тому же они родичи, хотя и по материнской линии. Родным не платят — дарят.

Вот почему у Тектыгула в тридцать лет не было ничего такого, про что он мог бы сказать «мое». Чуть больше было у Бахтыгула и Хатши...

Тесная старая юрта, три-четыре лошади, десяток овец — и все! Все, что они, трое сильных и умелых, нажили за много лет усердия и старания, тяжкого труда и отчаянного риска.

Но и то слава богу, кабы были богачи справедливы и кабы в груди у Сальмена билось не кабанье сердце.

Прошлой осенью в ненастную ночь, ветреную, мокрую,стряслась беда. Крики, плач и ругань висели над аулом, когда Бахтыгул пригнал из степи косяк коней. Бай Сальмен метался по аулу, вопя, плюясь, как верблюд, и хлеща плетью всех, кто попадал под руку. Хатша в слезах лежала у потухшего очага, голося по Тектыгулу, точно по покойнику.

— Где он?

— Бог знает...

— Жив или нет?

— Бог знает...

Он был, конечно, в степи. Случилось так, что вихрь разметал отару овец и погнал их прочь от аула. Тектыгул не пошел за ними и, когда подскочил с плетью бай, впервые в жизни не стерпел, сказал ему прямо в глаза, заплывшие жиром:

— Смотрите, какая ночь... А я голый, босый! Один чекмень, и тот сгнил от пота, дыра дыре подмигивает... Дайте хоть поношенную одежду душу прикрыть.

Сальмен оторопел от неожиданности.

— Овцы гибнут... большая отара!.. А ты еще торгуешься?

— Я прошу... будьте милостивы...

— Собака! Шкуру свою бережешь!

Тектыгул невесело пошутил:

— Она у меня единственная, последняя...

— Так я с тебя три шкуры спущу!

По знаку бая пятеро его молодцов набросились на Тектыгула, повалили наземь, и сам бай в испуге стал бить его сапогами в грудь, а потом погнался в степь, и Тектыгул покорился. Пошел со стыдом, в тупом отчаянии, сказав:

— Ваш будет грех...

Бай проводил его яростной бранью.

Людей бросало в дрожь при одном взгляде на Тектыгула. Чекмень на нем изодран байскими подкованными сапогами, лохмотья висели, точно космы на верблюде во время липьки. Но все молчали, а бай кричал, подгоняя батрака плетью...

Тектыгул мог бы пришибить Сальмена насмерть ударом кулака, но батраку это и в голову не пришло. Он подумал об этом много позднее, когда сам лежал при смерти.

Бахтыгул велел Хатше присмотреть за косяком и поскакал в степь, зовя брата. Объехал окрестные холмы и лощины, собрал овец, но до рассвета не мог найти Тектыгула, а когда нашел и поднял его на коня, прикрывая от ветра и дождя своим телом, парень был ни жив ни мертв.

Хатша не справилась с косяком, лошадей разметало бурей, точно овец, и как только братья вернулись в аул, их обоих постигла свирепая хозяйская кара. Младшего били уже бесчувственного, бредящего в горячке, и старший не мог его оборонить. Били чем попало, без жалости и пощады, словно конокрадов.

После той ночи братья ушли от Сальмена. Бежали из аула козыбаков, унося на себе жалкий скарб, в соседнюю Челкарскую волость и укрылись в заброшенном ветхом отцовском зимовье, которое покинули двадцать лет назад.

Но вместе с ними вошла под родительский кров незримая медленная смерть, как некогда тиф. Вошла и стала в изголовье Тектыгула.

Парень слег и больше не поднимался. Всю зиму его бил, выворачивал наизнанку мокрый кашель. Тектыгул харкал густой кровью, выплевывал свою силу шматок за шматком.

Никогда прежде он не сетовал на судьбу, а теперь скулил сквозь зубы, как побитый щенок. Но не потому, что не видел в жизни счастья, не имел жены, не родил детей, и не потому, что не хотел помирать, а потому, что не сквитался с обидчиком. С детских лет Тектыгул был добряком, простодушным и покладистым, а тут словно злой дух в него вселился.

В дни зимнего забоя скота Бахтыгул послушался Хатшу — поехал к Сату, брату Сальмена. Поехал с открытой душой, с робкой жалобой.

Сат выслушал его терпеливо, ответил обстоятельно, как на бийском суде:

— Голодаете, говоришь? Хорошо, что ты не тапшься передо мной. Но у Сальмена вы не голодали! Помираете, говоришь? Хорошо, что ты не лукавишь. Но убитый умирает сразу, а избитый не умирает! Ты тоже попал под горячую руку, а жив... Болеет, говоришь? Вот она, истинная правда. Но ты знаешь, что это за болезнь! Кто из нас не болеет этой болезнью? Кто ее не боится? Родная мать Сальмена и моя жила в полном достатке, плавала в масле, а померла от чахотки. Кого прикажешь в этом винить? Сальмена? Или меня? А может быть, Хатшу, твою жену, ибо она прислуживала покойной? Видит бог, ты принудил меня сказать то, что не следовало говорить. Но как же ты посмел заикнуться, кто тебя надоумил — взыскивать с человека то, что отбирает бог?

Не позволив Бахтыгулу возразить ни слова, Сат отослал его от себя. И Бахтыгул ушел, горько смеясь в душе над Хатшой и над собой.

Ранней весной пробил час Тектыгула. Вслед за силой истекла из него жизнь. Незаметно погас в его глазах мутный свет.

Долго не мог утешиться Бахтыгул, долго оплакивал брата. Горевал сорок дней, а через сорок дней собрал многочисленных и небогатых своих родичей из рода сары, истратил последнее, что имел, и устроил, как полагается, поминки по Тектыгулу.

На поминках говорили, что покойный был львом. Говорили про его муки. И еще про то, что род сары осиротел. Остался род без батыра.

«А я как без рук и без ног...» — думал Бахтыгул, повесив голову, и в сердце его, как в юрте, было пусто и голо.

Осенью Бахтыгул затеял тайное опасное дело. Выбрал глухую дождливую ночь. Приторочил к седлу бурдюк с малтой — супом, густо заправленным простоквашей, и пустился в горы. Вместе с ним увязался его давний товарищ и советчик — голод.

Бахтыгул ехал и думал:

«Осень заветная, долгожданная... Дожди шумят, дожди застыт, дожди слизывают след... Если будет удача, к утру угоню ее за три перевала! Неужели я даром брожу, даром слежу, даром ее сторожу?»

Горы величаво громоздились в ночном небе. Бахтыгул едва различал в темноте тропу, но скалистые хребты, лесные скаты видел ясно. Пастух зорек, как пес. А места знакомые, исхоженные-изъезженные, любимые.

Издали днем горы походили на каменные юрты великанов, пустынные, недоступные смертным. Вблизи и в ночи они принимали иной облик, пугающе живой. Мохнатые дремучие заросли елей на крутизнах смахивали на шкуру громадного, сонного, мирно дышащего чудища. Лощины, точно уши с острыми по-звериному настороженными концами, а пропасти — открытые пасти, дышат холодом и тленом, из них торчат клыки скал.

Но Бахтыгулу здесь не страшно, горы ему родные; они встречали его тишиной, покоем, они манили его: иди, спешь, мы укроем тебя.

Правда, тропа ненадежна, особенно в дождь, в осеннюю ночь. Бахтыгул, не колеблясь, доверился своему коню. Его Сивый, крепкий, бывалый, привык карабкаться на кручи, ходить над обрывами, он цепок и ловок, как горный козел. Местами тропа сужалась в нитку, на ней рядом не умещались два копыта, но Сивый шел спокойно, плавно, легко, не прижимаясь боком к выпуклой скале справа, не кося пугливого взгляда на пропасть слева, шел, словно канатоходец.

Сивый выручит! Он чует, куда собрался хозяин. И когда Бахтыгул слегка сжимал ногами его бока в знак тревоги и опаски, конь вскидывал голову и дергал повод, не соглашаясь. Спина его мягко опускалась под седлом, как бы успокаивая: сиди смирно, пока не довезу, а там уж твое дело...

Бахтыгул ехал и думал — за себя, и за коня, и за тех, кто ему встретится:

«Вряд ли и вы рады такой погодке. Под дождем мы все как бездомные собаки! Посмотрим, у кого нос мокрей и кто из нас подожмет хвост... Сальменовцы вы или из других козыбаковцев — одинаково! Весь род козыбак у меня в долгу неоплатном».

Минула бесконечная ночь, короткий пасмурный день показался длиннее. С позднего ленивого рассвета до ранних сумерек Бахтыгул прятался, отсыпался в сосновом бору Сарымсакты, что значит чесночный, густо душистый... Бор, темный, дикий, пах сладостно-горько, но на голодный желудок не спалось. Живот у Бахтыгула подвело, как у волка. Малта в бурдюке иссякла. И разве это еда для мужчины? Напиток... он для горла, не для желудка, а чем слабей жажда — сильнее мука голода.

Бахтыгул едва дождался темноты. Сомнения его утихли. Он слышал один голос своего тайного советчика, неотвязного друга.

«Сальменовцы или иные ихние... хоть сам Сат... была не была!»

Сейчас табуны должны быть еще на горных пастбищах — джайляу. Рано им спускаться в степные низы. Там, на поднебесных лугах, нынче ночью и быть встрече... Видит бог, на ком вина...

И все же в глубине души Бахтыгул колебался.

«Пускай сперва Сальмен оправдается!» — думал он, но ему самому хотелось оправдаться прежде, чем он сделает то, что задумал.

— У меня дома горсть размолотого черного проса... — шептал он в уши коню, — скудная горсть на всю семью... Дети послали меня сюда, они безвинные...

К полуночи конь побежал быстрее. Тропа расширилась, скоро джайляу. Бахтыгул всей грудью почувствовал впереди простор. Он ободрился, распрямил усталую, озябшую спину. И в него и в коня вливались свежие силы, желанная удаль.

Теперь всадник походил на большую крепкогрудую птицу, которая медленно приподнимает крылья. Эта птица — старожил и хозяин здешних мест, горных высей, снежных белков. Вот-вот она расправит крылья, взмоет в небо и повиснет над скалистыми глыбами, бездонными ущельями Алатау, зорко высматривая добычу. Прицелится и вдруг ударит со свистом, подобно стреле, схватит и изломает железными когтями.

Вспомнил Бахтыгул шальное пьянящее чувство, с каким он в молодости хаживал в ночные пабеги по воле козыбаков. Тогда он ощущал себя такой птицей. Летел сломя голову, был не задумываясь, сплеча. Рядом с ним шел брат Тектыгул, юноша с правом ребенка и с силой батыра.

Нет, они не были такими уж простаками, баранами, ломящимися лбом в лоб! Умели и выследить, подстеречь, обойти и обвести, перемахнуть на полном скаку через сонного, не разбудив, проскользнуть невидимкой под носом у бодрствующего, утерев ему нос. Были ловки, хитры, сметливы. Силе одной скучно, а вкупе со смекалкой весело. К тому же были упорны: если не везло, не шла удача, с полпути не сворачивали, дрались яростно, неутомимо, одни против двоих-троих.

Сейчас бы Бахтыгулу прежний азарт, былую беркутову хватку!.. Нет их и в помине. Что-то надломилось, надорвалось в груди.

Однако раздумывать некогда. Еще издалека Бахтыгул особым пастушьим чутьем почувствовал незримое движение по мягким мокрым травам многоголового табуна. Кони паслись за каменным седлом перевала, а Бахтыгул уже слышал их сквозь шелест дождя и посвист ветра.

Если сторожа тут опытные, они будут кружить неподалеку от табуна, чтобы лучше слышать и вовремя перехватить чужого. Таких обмануть трудно даже глухой ночью. И Бахтыгул покороче взял повод, следя за тем, чтобы Сивый не застучал копытами по камню, а главное, чтобы он, соскучившись в долгом одиночестве, не заржал при виде табуна.

Медлить нельзя. Ночное дело любит проворных, решительных. Бахтыгул держал коня на коротком поводу, но давая ему опускать головы. Подобрался и он, сам готовый каждую секунду к любой неожиданности. Маленькие узкие глаза его по-птичьи расширены, округлены, будто и вправду видели в темноте.

Табун неторопливо тек вверх, по луговому скату, навстречу Бахтыгулу. До табуна — расстояние хорошо брошенного камня. Бахтыгул застыл под одинокой скалой. Похрапывая, пофыркивая, кони дружно хрустели сочной травой. Далеко разносилось игривое залиvistое ржание молодняка. Изредка подавали голос жеребцы — заботливые, осторожные и воинственные хозяева косяков. На миг

Бахтыгул отчетливо различил переливающееся, плотное пятно табуна. И испугался — неужто посветлело? Нет, темно, хоть глаз коли. А табун богатый, несметно богатый.

Бахтыгул снял шапку и повесил ее на луку седла. Прислушался, закусив длинный ус. Ничего подозрительного. Табунщики не то лукавы, как бесы, не то попросту спят. Не видно и не слышно людей. Однако то, что кони паслись кучно, настораживало. Это не случайно. Кто-то умелый собрал их, держал вкупе и вел в непроглядной ночи на новые травы.

Вдруг тонкая живая струйка отделилась от тесно сбитой массы табуна и потекла к скале, у которой притаился Бахтыгул. Он тотчас бесшумно лег на спину Сивого, заставил и его опустить морду к траве. Струйка расплескалась, расползлась и вновь слилась. Ага! Это жеребец отвел от табуна свой косяк. Стало быть, табунщика поблизости нет...

Бахтыгул немедля толкнул коленями Сивого, и тот потихоньку, будто пасясь, пошел к косяку.

Косяк тут же насторожился, стал отходить в сторону, не подпуская к себе чужого одинокого коня. Длинногривый буланый красавец жеребец, вокруг которого держался косяк, высоко вскинул голову и негромко коротко заржал, словно спрашивая: ты кто? Он, конечно, заметил человека.

Опытный слух сразу отличит это басистое ржание: в нем угроза и вызов. Как бы не подманило оно табунщика! Но Сивый вовремя отступил вбок, а Бахтыгул прикинулся, что дремлет в седле. Жеребец опустил голову.

Сперва кони в косяке показались мелковатыми — годовалый, двухгодовалый молодняк. Ночью, пока не подьедешь вплотную, не разберешь, насколько они упитанны. Постепенно Сивый подобрался к ним ближе, и Бахтыгул вздохнул с облегчением, жадно прищурил глаза. Вот она! Отыскалась, желанная... Крупная дородная кобылица — лучшая в косяке, а может, и во всем табуне. Бока у нее гладкие, круглые, грива подстрижена, ходит рядом с жеребцом — хороша.

Бахтыгул снял с седла волосяной аркан. Больше он не колебался. Когда умный, знающий свое дело Сивый забрался в самую середину косяка и притиснул плечом кобылу, Бахтыгул не промахнулся в темноте — первым же точным броском накинул ей на шею крепкую петлю

аркана. Таким броском Бахтыгул мог бы зааркашить птицу на лету.

Кобыла была строптива — целое лето ее не касались ни узда, ни путы. Капризно, испуганно всхрапнув, она с места метнулась вперед, прочь из косяка. Но Сивый был готов к этому — не впервой! Не дожидаясь понуканий, он так же стремительно пошел следом за беглянкой, не давая ей вырвать аркан из рук хозяина.

Резвая кобыла долго неслась напрямик, во всю прыть, так, что аркан звенел на скаку, словно струна. Бахтыгул расчетливо, плавно сдерживал ее, не позволяя кинуться вбок и дернуть аркан. Сивым он не правил, пастуший конь сам шел как надо, помогая всаднику в каждом его движении. Кобыла брыкалась, спотыкалась на скаку и вскоре устала, пошла по кругу, поворачивая к табуну. Тут-то Бахтыгул дал ей почувствовать мощь своих рук и батрацкой поясницы. Он круто повалился в седле на спину, мыча от натуги. Кобыла задохлась в петле аркана и умерила бег. Потом остановилась как вкопанная, понурив голову.

Осторожно подбирая и укорачивая аркан, успокаивая кобылу тихими ласковыми и властными возгласами, Бахтыгул подъехал к ней и быстро, ловко взнуздal. Легонько, скользящим ударом плети стегнул по мокрому от дождя и пота крупу и повел за собой.

Кони в табуне, беспокойно озираясь, теснились, толкались, отходя от Бахтыгула. Это не могло остаться незамеченным. И вот прямо перед ним, а вернее, над ним, замаячил на рослом коне грузный и словно безголовый верзила с большущей дубиной...

Померещилось? Нет... стоит на пути, не шевелясь, как безгласный чурбан. Ждет, соображает, свой это или чужой? Ну и овечьи же у него мозги...

Бахтыгул резко пришпорил Сивого, посылая его вперед. Верзила немо протянул длинную руку и схватил коня под уздцы. Сообразил наконец! Худо дело. Бахтыгул с дрожью представил себе, как петля волосяного аркана затягивает его плечи... Однако верзила вел себя странно: он удерживал Сивого как бы нехотя, лениво, вяло. Дубинищи своей не поднял. И молчал, чего-то выжидая, густо сопя.

Бахтыгул встал в стремях, приглядываясь, и хохотнул неволью. Так и есть, перед ним не баран-овечка. Это Кокай, известный удалец, парень с дуроломной, лошади-

ной силой и с заячьей душой, посмешище всей округи. Кто над ним не шутил, кто его не разыгрывал!

— Р-раздавлю... ч-чучело! — страшным шепотом выговорил Бахтыгул и, хлестнув Кокая плетью по блошиной его голове, снес с нее шапку.

Удар не сильный, скорей обидный, но Кокай кулем вывалился из седла и укрылся за крупом своего коня, сопя еще гуще. Он не посмел даже крикнуть, позвать товарищей. Знал, что посмеются над ним, тем и кончится, как всегда. Лучше уж помалкивать, прикрывшись ночной темнотой и моля аллаха, чтобы этот неузнанный поживей убрался восвояси.

Бахтыгул дернул за повод и поскакал к большому ущелью, заросшему сосняком. Там он укроется надежно, там его следа и днем не сыскать...

А Кокай — табунщик Сальмена, самого Сальмена! Значит, угодил Бахтыгул в точку, прямо в жадное кабанье сердце. И зря мучил себя сомнениями двое суток.

Сивый несся во весь мах, обходя табун. Кобыла покорно и охотно шла рядом, плечом к плечу. Холодный зев ущелья открывался перед ними. И тут они напоролись на другого табунщика.

Он скакал на хорошем коне сверху, от перевала, наперерез Бахтыгулу, зычно крича:

— Эй, кто там? Кто такой?!

Бахтыгул мигом узнал его по голосу, по уверенной повадке. Этот неробкого десятка, черту не спустит. Сам Бахтыгул был некогда на его месте у Сальмена — знал бай, кому довериться.

Припав к гриве Сивого, Бахтыгул молча выпростал дубину, а табунщик на полном скаку поднял над головой свою, вопя во все горло:

— А!.. Сюда! Ко мне, братцы! А!.. — Раскатистое эхо погналось за ними по пятам.

И тотчас с разных сторон отозвались голоса других табунщиков. Судя по тому, как дружно они всполошились, ни один не спал и их было много. В темноте они живо и безошибочно разобрались, в какую сторону кинуться, и эхо их не спутало. Бахтыгул услышал за собой гулкий топот азартной погони.

Многоголосое яростное улюлюканье раскатилось над табуном. Табунщики словно науськивали друг друга дурным криком и накликали бурю. В одну минуту послушный, смирный табун одичал.

Десятки голов и грив разом взметнулись вверх, прыгнули длинные хвосты, разлетелись, точно по ветру. Кони злобно грызлись, лягались, подкидывая задами, громоздясь на дыбы. Заметались жеребцы, стараясь развести в разные стороны свои косяки. В беспорядочном гуле копыт потонули голоса людей.

Конские спины кружились и дыбились, как волны на реке перед порогом. Затем все слилось воедино — в общий тяжелый круговорот разгоряченных и словно слепленных между собой тел. А этот круговорот внезапно вылился в страшный, сокрушительный вал, дробящий и размалывающий все и вся тысячами копыт.

Не разбирая пути, в паническом ужасе, будто от наводнения или пожара, табун стремительно покатился по травам джайляу. Кони распластались в бешеном галопе, неслись бок о бок, вплотную, сминая и растапывая слабых, и, подобно легким камешкам от снежной лавины, отлетали прочь однолетки и жеребята, падая замертво.

Казалось, раскат грома, бесконечный, оглушительный, навалился и лег на горные луга, на окрестные хребты, от ущелья до перевала. Благо еще, что конский вал катил не к обрыву.

Табунщики один за другим останавливались и поворачивали обратно. Поздно они спохватились! Ни один из них не видел, за кем гнался. Того и гляди, заблудишься в темноте.

Не сразу удалось остановить и успокоить табун.

Но наконец он утихомирился, и головы коней опустились к траве. Лишь ржание маток, искавших своих жеребят, пронзительно звенело в тишине.

Табунщики съехались и загалдели, бранясь, упрекая друг друга:

— Что же это было? Кто первый кричал? И откуда он взялся, шайтан проклятый! Кто его видел самолично?

Никто ничего толком не видел и не знал, но как же не крикнуть ночью? В темноте твой зов — мой глаз...

Осмотрелись крикуны и обнаружили, что нет старшего табунщика.

Вернулись к ущелью, рассыпались, негромко перекликаясь, зовя Жамантая.

Его нашел проворный Кокай на острых камнях скалистого ската, опоясывавшего луга. Жамантай слабо стонал, от него пахло кровью, рядом валялась дубинка, а его коня поблизости не было видно.

— Э!.. — вскрикнул Кокай. — Гляди-ка... Кто-то его треснул по башке... Из него вытекла вся кровь!

Жамантая подобрала.

— Живой! Дышит... Кто тебя? Кто?

Старший табунщик невнятно мычал, показывая на ущелье.

У этих камней он столкнулся с Бахтыгулом. Жамантай первый ударил его, но стгоряча, с налета, и вышел удар слабый и неметкий, серединой дубины по плечу. Зато крепок был ответный удар — и всадник и конь покатались под откос...

Не успел Жамантай опознать чужого. Но судя по тому, как вор управился один в ночи, оставив в дураках столько сторожей, знаток парень, понаторел на тайных делах. По резвости цепить коня, по резвости узнаешь и волка...

Бахтыгул ехал по ущелью неторопливой рысцой. Сперва он прислушивался, потом успокоился, и Сивый не насто-раживал ушей. Погони за ними не было. На всякий слу-чай Бахтыгул покружил среди сосен, сделав несколько лисьих петель. Кружил по сырой земле, уходил по глад-кому камню. Впрочем, вряд ли после дождя поднимут его след.

Ушел Бахтыгул и увел свою удачу. То и дело он по-глядывал на кобылу, любуясь ею. Очень она ему нрави-лась.

Потрепав ее по шее, он нащупал под короткой гри-вой тугой, плотный слой жира. Ткнешь пальцем — пружинит. Ну разве не удача? Давно Бахтыгул не был так доволен.

— Хороша... — с восхищенным вздохом сказал он. — Добрая скотинка!.. — И чтобы не сглазить, сплюнул на пальцы: — Тьфу-тьфу!

Дождь моросил не переставая. Сырая мгла омывала лицо Бахтыгула. Он, усмехаясь, подкрутил мокрый ус. Бахтыгул не боялся заплутаться. Пусть черно небо, черны горы, а перед мордой Сивого словно ком кудлатой овечьей шерсти, — Бахтыгул видел в этой черноте небо, видел горы и хорошо видел дорогу.

Задолго до рассвета он по душистому запаху почув-ствовал, что вышел к бору Сарымсакты. Дорога вниз всегда короче дороги вверх... И Сивый работяга, в хо-зяина! Но когда на опушке смолистый дух ударил в нос, сморщился, отвернулся Бахтыгул, его замутило. Он прогло-

тил все, что осталось в бурдюке, и слез с коня. Расседлав его, обтер, огладил ему спину, бока, грудь. Надо и Сивому поостыть, пообсохнуть, и у него, наверное, гложет нутро.

Бахтыгул задумался, сидя на седле под старой сосной. Сивый тихонько толкнул хозяина мордой в плечо. И правда, пора. До света надо уйти подальше. Грех мешкать, ведя удачу в поводу.

Бахтыгул снова заседлал Сивого и потуже подтянул заднюю подпругу, чтобы седло не сползло на холку коню, потому что ехать предстояло все время вниз, все время вниз.

3

Под утро дождь прекратился, стало теплей. Бахтыгула сморил сон. Он задремал в седле, упершись усами в грудь.

Очнулся оттого, что всхрапнул. В испуге встряхнулся, дико озираясь. Ему привиделось, что его душат.

Светало. Как бы не попасться кому-нибудь на глаза...

Бахтыгул поехал дальним, скрытым путем, продираясь сквозь девственные заросли карачая, цепкого, как конский клещ, тесного, как паутина.

Теперь он не останавливался и днем, погонял и погонял, не давая передышки ни себе, ни коням.

— Домой пора, детишки ждут... — бормотал он в уши Сивому.

Зимовье Бахтыгула сиротливо ютилось в пустынной горной лощине. Пыльные караванные тропы не пролегали в этих краях, зато в лощине можно было укрыть хоть целый косяк угнанных коней. Здесь Бахтыгул родился и похоронил отца и мать. Здесь он был дома.

На виду у зимовья он спешился, стреножил для порядка кобылу и валко зашагал к жилью, разминаясь, облизывая пересохшие губы.

До снега оставалось не меньше месяца, и семья жила еще в юрте, драной, прокопченной, поблизости от изгороди загона.

Бахтыгул крякнул, тронул черный ус, чтобы скрыть усталую улыбку. Он увидел Хатшу. Загорелая до черноты, едва прикрытая рваными обносками, она хлопотала у очага, кипятила детям чай. Детишек было трое: первенцу Сеиту десять лет, второму, Жумабаю, пять, двухлетнюю чернявенькую шустрю Батиму еще не отняли от

груди. Двое сыновей, дочка... Вот богатство Бахтыгула и Хатши.

Отца встретили без шума, без суеты, но сразу словно посветлело в черной юрте. Рослая ладная Хатша замерла, увидев мужа, в радостно-тревожном ожидании. А он спокойно подошел к дому, не говоря ни слова, не роняя достоинства мужчины. Перешагнув через наваленный у порога хворост, вступил в юрту и, побряхтывая, сел на главном хозяйском месте у стены, против входа. Это — торь, «красный угол» юрты. После трудной дороги сладко это место под родным кровом.

Недолго, однако, молчал Бахтыгул, теребя ус. Не выдержал, покосился на красные угли в очаге, повел носом.

— Ну, как там у тебя, жена... Ярко ли горело, живо ли поспело? Нет ли чего-нибудь хоть на один зубок...

Хатше хотелось кинуться, прильнуть к его широкому твердому плечу. Она не посмела; почтительно, робко спросила от порога:

— Удалась ли ваша дорога?

— Э, поворачивайся... — буркнул он в ответ. — Некогда мне мешкать!

Все, что имелось в доме, выставила Хатша на стол. Не пожалела и масла, которое хранила с весны в высушенной прозрачной бараньей кишке. Достала его из сундучка для продуктов с самого дна. Подала мужу. Налила горячего чаю. И то и дело старалась хоть мимолетно коснуться его локтя, плеча своим телом. Он шумно прихлебывал обжигающий чай, а у нее щемило в груди, и он это видел.

В семье праздник. У детей заблестели глаза, радость так и рвалась из них наружу. Жумабай и Батима потихоньку пинали друг друга, шаловливо пересмеиваясь. Сеит строго шикал на них, а у самого улыбка до ушей.

Все улыбалось и в душе Бахтыгула. Впервые за много дней словно разжались незримые тиски, сжимавшие его грудь. Но по лицу не заметишь, что он рад. И слова тратить попусту он не любил. Сидел, пил чай, поглаживая ус.

Опорожнил три пиалы подряд, утер усы, поднялся и пошел из юрты. С порога бросил жене через плечо как бы самое маловажное, а она ждала этого с трепетом:

— Прихвати мешок, иди за мной.

Наскоро она прибрала в юрте, наказала старшему сыну Сеиту:

— Никуда из дому не уходи. Смотри за огнем. Если кто придет, спросит, скажешь: мать пошла за княжком, сейчас вернется.

В юрте остались одни дети. Поднялась возня. Из-за дырявых войлочных стен доносился то отчаянный визг и плач, то залихватистый смех. Жумабай, неумный задир, дожимал и сестренку и брата, выхватывая у них из рук лакомые кусочки примшка — сушеных сливок.

Хатша нашла мужа неподалеку, в укромном месте, на дне маленького высохшего ледникового озера. Дно каменное, в щелях плотно слежавшийся прошлогодний снег, берега отвесные, точно частоколом, обнесены «бараньими лбами» — бело-розовыми выветренными камнями, острыми, как рога, проросшими длинными космами трав, похожими на козлиные бороды. Место незаметное, и попасть сюда можно только с риском сломать коню ноги, а себе шею.

Бахтыгул сидел на корточках подле распластанной туши кобылы. Он уже начал ее свежевать. В каменной яме было темновато, холодно. Сильно пахло сырým мясом. Хатша принялась торопливо и ловко помогать мужу.

Порядочно пришлось ей повозиться, когда он вывалил на шкуру внутренности лошади. Разобраться в них было женской заботой, и Хатша старалась как умела.

Между делом она быстро, ловко развела на плоском камне огонь. Она не забыла, что муж невесть сколько не ел мясного, и закопала в горячие угли жирную сизо-лиловую почку и еще два-три любовно выбранных лакомых куска — доброе ему угощение, кормильцу.

Бахтыгул беспокойно поглядывал на огонь. Как бы дым не привлек незваных гостей... Но и тут он смолчал. Голод туманит разум, приклеивает язык к небу. Боже, охрани этот огонь, накорми этой едой!..

До вечера трудились не покладая рук. Разделали тушу и надежно припрятали шкуру и мясо, заложив их камнями. Выделили и оставили только недельную долю мяса и требушки. Доля умеренная, но для батрацкой семьи празднично сытная. В сумерках вернулись в юрту.

Бахтыгул исподволь усмехался в усы, глядя на то, как Хатша хлопочет у очага: подвесив над огнем закопченный казанок с водой, она бросила в него кусок нежного вымени, сердце, щедро заправила варево подгривным жиром. Заодно она жарила на углях кусочки печени и раздавала их детям.

Ночь дышала холодом, а в юрте тепло, по-домашнему уютно. Сеит подтаскивал и клал под руки матери хворост. Мальчик старался, но его усердие не обмануло Бахтыгула. Он окликнул сына, тот подошел как бы пехотя. Сеит вдруг загрузил.

Это с ним случалось и прежде. Странный он был мальчик, не по летам задумчивый, не по разуму пытливый, не к месту понятливый. Дома уныние, гнетущее молчание, старшие рассорились, а он ни с того ни с сего пускается в пляс, скачет, точно козленок. Все веселы, а он уткнется носом в колени — и не поднимешь его с земли. Когда на него этакое находило, перед ним хоть золото сыпь! Смотрит, как побитый пес или как помешанный, тоскливо и безучастно, и словно слепнет и глохнет, не оборачивается даже на зов матери и отца.

Вот и сейчас задумался мальчик, тяжел его взгляд, как у взрослого, на безусых губах бледная печальная виноватая улыбка...

Бахтыгул усадил его рядом с собой.

Тут же к отцу бросились и Жумабай и Батима, прилипли, как щенки к соскам. Хатша укрыла всех четверых тулупом — они сидели поодаль от огня.

Дети притихли. От них исходил сладостный блаженный покой. В котле булькало, в юрте вкусно пахло, Хатша суежилась, шутливо приговаривая. Бахтыгул слышал ее голос точно сквозь ватный халат. Он не заметил, как уснул сидя.

Хатша наполнила теплой водой узкогорлый кумган и окликнула мужа, предлагая полить на руки. Он с усилием разжал веки. Глаза его были мутны и в отсветах дымного пламени казались налитыми кровью. Во сне у него озябла спина, затекли ноги, он потянулся, вздрагивая, спросонья разметав прикинувших к нему детей.

— Ох-хо, неживой я... — пробормотал он, складывая ладони ковшиком.

— Сейчас, милый, сейчас... — отозвалась Хатша ласково и любовно.

Сняв казанок с треножника, она схватила деревянный черпак, чтобы выложить мясо на блюдо. А Бахтыгул поднял с земли свой пояс, вытащил из ножен длинный узкий нож с черной рукоятью и попробовал остроту лезвия большим пальцем левой руки. Нож отменный, мясо режет, как масло. Бахтыгул из чайника обмыл клинок кипятком.

— Сейчас, сейчас... — повторила Хатша, и тут снаружи донесся лай.

Дружно забрехали старая сука и два ее щенка. По лаю Бахтыгул понял, что собаки бросились к загону.

Хатша так и застыла, подняв черпак над казанком, испуганно глядя на мужа.

Топот множества копыт словно вырвался из-под земли и заглушил лай. Бахтыгул отчетливо различал знакомый drobный стук волочащихся по камням соилов, испытанного оружия степняков.

— Прикрой мясо... недолго до беды! — глухо вскрикнул он.

Хатша заметалась, точно птичий пух на ветру, — она никак не могла найти крышку от казанка. Топот приближался. Муж смотрел сердито, зло, а она совсем потерялась. Размахивая черпаком, обливалась потом, шептала бессмысленно:

— Сейчас, сейчас...

Бахтыгул выругался сквозь зубы, и она впопыхах подхватила с земли половик и покрыла им котел, а черпак кинула в ведро с водой, судорожно отдернув руку, точно обжегшись. Из-под половика выбивались струйки пара, но Хатша не замечала этого. Ноги ее не держали, и она села прямо на голую землю.

В юрту уже входили без спроса и без привета чужие люди, и лица их не предвещали ничего хорошего. Это были козыбаковцы — головорезы, здоровенные, матерые, отборная шайка насильников, ночных добытчиков. Поступь нахальная, взгляды презрительные. Сразу видать, что привыкли говорить кулаком да дубиной и не ждут, что им возразят.

Постегивая по голенищу плетью, важно, вразвалку, вошел толстобрюхий и толстозадый Сальмен, подпоясанный широким кожаным ремнем с серебряными бляхами и насечками, и с ним еще несколько надутых, спесивых, сытых. Грузно стали против Бахтыгула.

В юрте становилось тесно, а сзади все напирало, проталкивались поближе к баю. Последним юрко вывернулся из толпы щуплый рыжебородый человек с колючими глазками. Этот и не взглянул на Бахтыгула, а с ходу шумно потянул носом и, словно нырнув, лег у очага, привалясь плечом к одуревшей от страха Хатше. Она отстранилась, он подмигнул ей, нагло ухмыляясь. Шуты да охальники везде как дома!..

Дюжий краснорожий детина, устрашающе тараща глаза, раздувая ноздри и кривя рот, лизнул свои подбритые усики и начал без обиняков:

— Эй, вчера ночью на джайляу Дэн ты увел из нашего табуна жеребую кобылку и проломил башку табунщику Жамантаю. Больше некому! Всякий, кто понимает, скажет: твоих рук дело. К тому же видели поутру в горах одинокого всадника с двумя сивыми лошадьми. А один приметил под вечер дым близ твоей юрты. Словом, нечего тут воду толочь. Ограбленный отцу не спустит! А мы тебе — и подавно... Отвечай!

Бахтыгул не оробел перед всей этой разбойной оравой, хотя знал: приехали по его душу люди жестокие и тупоумные, от них не жди пощады. Он твердил себе, словно клятву: «Моя правда, ваша кривда! Что бы я ни сделал, Сальмену — все поделом!» И потому, не отвечая верзиле, спокойно спросил бая:

— Кажется, ты меня хочешь обратить в вора? Когда Бахтыгул был вором?

Сальмен, отдуваясь, процедил:

— Белую ворону из себя не корчи!

Ни один мускул не дрогнул на каменном лице Бахтыгула.

— Куда вороне до ястреба! Мне ли с тобой равняться, тебе ли со мной квитаться?

Сальмен мгновенно побагровел, задохся от ярости.

— Ах, ты... ах, ты... змея...

— Докажи сперва! Кто меня уличил! Кто тому свидетель?

— Найдется... будь спокоен...

— Где он? Пусть скажет мне в глаза.

— Крутишь! — перебил бай. — Увел скотину, перебил табун... За одну ночь — такой убыток! И это ты, ты, выросший у меня на руках!

— Оно и видно, что у тебя на руках. Недаром швыряешься мной как попало. Тебе не привыкать, знать! А скажи, за что на меня взъелся?

— Ты же мне пакостишь и ты же меня попрекаешь?

— Будто не в чем тебя попрекнуть!

Бай тупо уставился на батрака.

— А что я у тебя взял?

— Спроси: чего не взял! Душу из меня вынул. Брата родного сгубил. Забил до смерти...

— Вон оно что! Стало быть, я твой кровник?

Бахтыгул приложил руки к груди.

— Сам бог подсказал тебе эти слова... Ты их выговорил первый!

— Рехнулся ты! Сдурел?

Бахтыгул с горечью покачал головой.

— Умирающему не дал спокойно помереть... Ни привет, ни подаяния! Полгода он чах, ждал от тебя хотя бы паршивой овцы. Надеялся хоть перед смертью сердцем утешиться...

Баи прищурил заплавленные глаза, поцокал языком.

— Э... вон куда гнешь... Что ж, считаи давай! Много ли там с меня причитается? Может, огулом половина моего добра — твоя? Хватай, не зевай! Что еще вздумал содрать с козыбаков, с Сальмена?

Угодливый и угрожающий смешок послышался в толпе, но Бахтыгул бровью не повел. Пусть он один. Зато с ним правда!

— Считать, говоришь? Изволь. Двадцать зим я подстилал лёд, укрывался снегом, а летом сутками не смыкал глаз. Двадцать весен не радовался, двадцать осеней не жаловался, света не видя, пас твои табуны! Столько же бедовал с твоими отарами горемыка Тектыгул. Хатша двенадцать лет как стала мне женой, а тебе слугой, угодницей твоей матери. Таяла в чахотке твоя мать, таяла молодость-красота моей жены. И что ж нам за это за все? Одно право — ковырять в носу, пока не подохнем с голоду?

— Понял я, понял... Дранный паршивый раб! — закричал Сальмен, брызжа слюной. — Вижу тебя насквозь. Какова дерзость! Ворюга срамить меня вздумал! Ну, ты у меня прикусишь язык... Где кобыла?

— Кобылу проси через суд.

— Про-сить? Ах, недоносок, недоумок! Голь беспорочная... На что надеешься?

— За тобой сила, за мной правда. Пускай нас рассудят.

— Как же — рассудят, погоди! Ишь как разговорился, болтливый мерин. С козыбаками затеял тягаться? Суда хочешь? Правды ищешь? Хо-ро-шо... Судись-рядись, коли у тебя язык мелет. Получишь по заслугам! А скотину вернешь немедленно. Там посмотрим, что кому присудят... Последний раз спрашиваю: где кобыла? Ну? — И Сальмен, багровея, замахнулся плетью.



М. Ауэзов — студент Ленинградского университета.
Фото. 1926 г.

Бахтыгул не шевельнулся, будто это его не касалось. Краем глаза он видел, как на него надвинулись, потряхивая дубинами, байские молодцы. Ждут. Только мигни.

Он сказал, вздохнув:

— Нету вашей кобылы и в помине...

— Куда дел?

— Отдал одному дружку, чтобы увел подальше. Дружок верный, не выдаст...

— Врешь, душа из тебя вон!

— А вру, так и не спрашивайте! А отвечать не стану.

Тогда рыжебородый, щуплый, лезавший у очага, поднялся на локте и заговорил дурашливым скрипучим басом:

— Эй, молчаливый... к чему отпираться? Чего без толку лошадей гонять?.. Потеха, право! Провалиться мне на месте, но вот в этом казане, к которому хозяйка глаза привязала, то самое, что чувствует мой нос. Аж ноздри щекочет. Мясом пахнет, клянусь, это сочная конинка... Откуда она у тебя, хозяин, а? Поведай-ка нам, мы послушаем.

Бахтыгул молчал, Хатша не поднимала глаз, и рыжебородый вскочил, сдернул с казана половик, взмокший изнутри от пара.

— Так и есть! Крышка не к месту, открыл невпопад, а на донышке клад!.. Что же, гости дорогие, — как раз к вашему приходу. За чем же дело стало? Мойте руки, а ты, Хатша, подай блюдо. Живей!

Сальменова банда загалдела, теснясь вокруг бая, усердно работая локтями.

Хатша, онемевшая от горького стыда, протянула большое блюдо.

Рыжая борода сам выложил и разрезал мясо. Сальмен и десяток наиболее свирепых молодцов, засучив рукава, принялись хватать жирные, нежные, дымящиеся куски.

Бахтыгула даже в насмешку не подозвали. Хозяин дома стоял в стороне и глотал голодную слюну. Дорогие гости плотно отгородили его от блюда спинами и задками.

Хатша смотрела в землю с ненавистью и омерзением. Немало она повидала в своей жизни подлостей, а такого еще не видывала!

Громко чавкая, уписывали гости за обе щеки, а с ними — бай... И не лопнула его утроба!

Когда же заблестело дно блюда, Сальмен сытно рыгнул и кивнул Бахтыгулу:

— Теперь покажешь двор. Посмотрим, что там у тебя припрятано. И пусть сгинет мой род, если я оставлю тебе хоть кобылий хвост! У меня не разживешься, врешь... Все заберу без остатка. А ну, поворачивайся, покуда живой!

Голодная боль, казалось, завязала узлом все в животе Бахтыгула.

— Ищи, если хочешь, бери, если найдешь, — выговорил он сквозь зубы, дрожа от унижения и ожидая худшего. — А вылупленным глазом, длинным языком меня не испугаешь...

Сальмен подскочил и дважды, крест-накрест, хлестнул Бахтыгула змеино-желтой плетеной камчой... Тот не поднял даже руки, чтобы прикрыться. Смотрел не мигая, и слезы наворачивались на его опухшие от недосыпания веки. Бай разразился гнусной бранью.

Вот чего опасался больше всего Бахтыгул: на глазах у жены, у детей...

Заломив руки, Хатша пронзительно закричала:

— Будь проклят, козыбак, бог тебя покарает!

Коротко вскрикнул маленький Сеит:

— Свинья! — и прыгнул на грудь Сальмену.

Бай отшвырнул мальчишку. Тогда Бахтыгул, не помня себя, схватил за горло обидчика.

Страшен был в ту минуту батрак и сильней пятерых. Не сразу оторвали его от Сальмена, не сразу привели бая в чувство. Едва очухавшись, икая от злости, Сальмен вновь заорал:

— Будешь ты у меня в кутузке! Паскуда... Сгною, в землю вгоню, закатаю в Сибирь! Или лучше бы мне не родиться...

Но Бахтыгул уже не слышал ни брани, ни угроз. Его били смертным боем. Огненные зигзаги и кольца вспыхивали, мелькали и сплетались перед его глазами. Потом и они потухли. Он с гулом полетел в узкий черный колодец, колотясь головой, спиной, животом о его стены, и никак не мог долететь до дна.

На миг сознание вернулось к нему от режущей боли в скуле. Точно шилом крошили десну. И опять темнота, и он упал наконец грудью на раскаленное, точно сковорода, дно колодца.

Больше Бахтыгул ничего не помнил.

Пришел он в себя не скоро и сквозь кровавый туман с трудом разглядел Хатшу. За одну ночь она страшно осунулась, постарела. Ее душили рыдания, в горле у нее хрипело, клокотало. Бахтыгул не узнал голоса жены.

Бледный унылый свет лился в юрту через широкую косую щель — дверь была оторвана. Сеял редкий дождь, и у порога стелились зыбкие белесые космы, похожие на конские гривы.

Бахтыгул застонал. Лучше бы ему не видеть этот свет — свет несчастья.

Очаг погас, и Бахтыгул дрожал от холода под тяжелым тулупом. Все тело у него болело, а скулу словно дергали клещами. Хатша, тихо воя от сострадания, смывала с его лица запекшуюся кровь; оно потеряло человеческий облик, — сплошной бугристый багрово-сизый ком. Глаза неправдоподобно вспухли, щека распорота, из нее еще сочились кровь и застывала на дубленой коже тулупа блестящими черными бусинками.

Бахтыгул с трудом, мыча, повернул голову. Он кого-то искал.

— Нет их... Ушли все, проклятые... — сказала Хатша, всхлипывая.

— Сеит... — выдохнул Бахтыгул.

— Он здесь, он молодец.

Управившись с отцом, насильники взялись за сына. Сальмен сам выпытывал у мальчика, где спрятано мясо. Грозил убить. Сеит не сказал ни слова. Бай исходил злостью, а мальчик смеялся, как дурачок.

Глотая слезы, Хатша рассказывала: рыжая борода зажег факел и пошел рыскать кругом по-собачьи. Он-то и разнюхал, где мясо, — и то, что было подвешено на балке в скотном дворе, скупой недельный запас, и то, что заложено камнями в тайнике. Табунщики опознали по масти шкуру кобылы. И Сальмен велел забрать все, а в придачу — Сивого и корову. Коня — чтобы не было урона байскому табуну, корову — в отместку за оскорбление, а мясо — потому что оно краденое, не оставлять же его вору!

Напоследок рыжая борода и еще двое с факелом подошли к Бахтыгулу. Сели, переглядываясь, прислушиваясь.

Подошел Сальмен, и рыжебородый сказал ему успокоительно:

— Дышит...

— Этому рабу, — сказал Сальмен, — не в юрте — в тюрьме записано испустить дух. Будет мой брат волостным... все вы мои свидетели... составим бумагу, приложим печать... Погонят вора в ссылку, в кандалах, на собаках кататься! Попомните мое слово. — С тем они и ушли.

Бахтыгул смотрел на детей. Бедные несмышленные кулята, опять им голодать. Голодать паравне со щенками старой дворовой суки.

— Что-нибудь хоть осталось... детишкам? — спросил Бахтыгул.

— Ничего... ни крошки, — в голос запричитала Хатша. — Обчистили догола. Видишь, и юрту изуродовали, изверги... Подрубили свод... Он велел, кабан! Да размоет его могилу после скорых похорон!..

Бахтыгул скрипнул зубами и вновь впал в забытье. До полудня он громко бредил и все спрашивал бога и неких судей, ропща на него и срамя их:

— А!.. Э!! Теперь скажите: кто же кого обокрал?

Несколько дней, лежа пластом, Бахтыгул думал, ломал себе голову: что же делать?

Он один, и нет у него никаких надежд. Разве в одиночку сквитаешься с козыбаковцами? В их ауле правды не добьешься, — и разговаривать не станут. Гордецы эти живодеры. А иные запуганы, помалкивают. В беде на кого положиться? На родичей. А где они? Не более двух десятков юрт у худосочного рода сары. И те раскиданы по всей округе, не соберешь их в кулак. Кочуют с богатыми родами, служат им, прозябая в нищете и горе. Кому они указчики? Их слушать не будут. Нет среди них ни одного хозяина, который владел бы землицей хоть с ноготь!

И все же Бахтыгул не мог смириться с тем, с чем мирились люди из рода сары. Наверно, он смелей, упрямей других, оттого ему хуже и трудней, чем им. Брат Тектыгул был ягненком, и сожрали его волки. А вот в маленьком строптивом Сеите — душа отца, его нрав. Была бы удача, мог бы Бахтыгул стать человеком, жить по совести, кормить детей досыта. Слава богу, он и умом не обижен, и язык у него хорошо подвешен. Многое мог бы Бахтыгул... да нет удачи, нет справедливости. И словно заразный неизлечимый недуг, посылает ему бог голод, посылает муку унижения.

Теперь будет совсем худо. Отныне он у Сальмена бельмо на глазу. И то, что было, — цветочки, а каковы-то будут ягодки! Козыбаки постараются, себя превзойдут. За ними власть: свой волостной, свои бии — родовые судьи. Это одна шайка, рука руку моет. И если уж удалось им однажды поймать Бахтыгула с поличным, на его голову свалят все, что было и чего не было, а первым долгом — собственные темные делишки. Проворуется свой — покажут на Бахтыгула. Тогда-то и постигнет его великое горе и срам, ужас, который зовется тюрьмой.

Больше всего на свете боялся Бахтыгул тюрьмы.

Знал Сальмен, чем стращать. Не раз Бахтыгул в рукопашных стычках на барымте видел перед собой лик смерти и не дрогнул, а сейчас дрожал, как в лихорадке. Тюрьма... Зловонная могильная утроба... Его хотят замуровать живьем. Участь Тектыгула легче.

Уж кто-кто, а Сальмен зря замахиваться не станет. Он доконает неугодника раба, чтобы другим неповадно было, доведет до тюрьмы.

«Куда деваться?» — спрашивал себя Бахтыгул и в отчаянии катался по земле, не стыдясь жены и детей, точно затравленный зверь, попавший в западню.

Хатша считала, что муж опять в бреду, и всей силой души молилась:

— Боже, помоги ему вытерпеть... Не дай ему помереть, боже!..

Был день, когда он вовсе пал духом. Подозвал Хатшу и стал говорить ей лишнее, чего прежде терпеть не мог:

— Нет, жена... сила солому ломит... чего уж там!..

В эту минуту она впервые испугалась за него.

— Неужели некому заступиться?

Он не ответил, задумался. И, видать, что-то надумал! Она сразу это поняла. Больше он не стонал, не бредил. Молчал, ощупывая покрытую ссадинами грудь.

Минула неделя, Бахтыгул поднялся на ноги, и по тому, как он поднялся, Хатша видела, что не ошиблась в нем. Он вновь собирался в дальнюю дорогу.

Воры козыбаки отняли коня, верного испытанного Сивого, но был у Бахтыгула другой — не хуже, горячий гнедой иноходец, припрятанный до поры до времени в табуне надежного друга соседа.

Конь завидный, стройный, сухой, с широкой грудью и тонкими бабками. В бескрайней степи у самого последнего

бездомного пастуха могло быть и два и три копя, но таким владел не каждый бай. Пожалуй, один волостной ездил на настоящем иноходце, под стать Гнедому.

Настал черед оседлать Гнедого. Ранним утром Бахтыгул зарядил древнее кремневое ружье, мазнул маслом рубец на скуле, залепил его паутиной и кивнул на прощание Сеиту, подавшему повод. Гнедой понес Бахтыгула высоко в горы, в неприступные места, выше лесов.

Долго пробирался всадник сквозь низкорослые заросли карачая и колючего шиповника и лишь за полдень выбрался из непролазных дебрей. Перед ним открылись голые, громоздко уходящие ввысь кроваво-красные скалы.

Глянешь, как они нависают над твоей головой, и невольно ссутулишься. Жутковато к ним подступиться. И кажется, что грех нарушить их царственное вековое молчание. Тут не встретишь ни человека, ни скотины. Красные скалы — исконная обитель дикого, вольного зверя, но охотник забредает в эти места редко. Трудно сюда забраться, еще трудней выбраться.

Бахтыгул тихо подъехал к каменным исполинам, бесшумно спешился, привязал в тенистой расщелине коня, снял с головы лисий малахай, сунул его за пазуху, укрепил на ремне за спиной ружье и полез на кручу. От натуги засочилась кровь из-под рубца на щеке, клейкой соленой струйкой заползла в рот. Бахтыгул облизнулся.

На лысом темени утеса он отдышался, вода боками, как загнанная лошадь.

Ему открылась невидимая снизу обширная серокаменная котловина, а за ней — он знал — ниспадал ступенями осыпной голый спуск, излюбленный козами, иссеченный вдоль и поперек нитяными, исчезающими в камнях тропами.

Бахтыгул зорко всмотрелся в неподвижную рябь скал. На той стороне котловины, на дикой крутизне, — нпкого. Все мертво, ничто не шелохнется, не шевельнется. Безглазая немая пустыня... Сколько раз Бахтыгул бесплодно рыскал здесь, ползал, исцарапанный, изодранный каменными когтями, и рад был, что возвращался целым, невредимым! Теперь он не мог уйти с пустыми руками. Ныне его доля — камень и тот переупрямить.

Небо угрюмо и серо, как камни вокруг, и сам Бахтыгул, в сером заплатанном халате, с бескровным серым лицом, худощавый и костистый, похож на камень. Сняв

его спины кремневку, он, подобно ящерице, неслышно, не приметно стал красться по гребню котловины. Горы, горы! Подайте хоть вы милостыню бедняку!..

День клонился к закату, когда Бахтыгул подобрался к откосу по ту сторону котловины и ему открылись козы тропы...

Случается, что везет и невезучему. Прямо под Бахтыгулом на длинном волнистом скате словно повисли в серокаменном прозрачном тумане три великолепных архара — косматый круторогий козел и его короткохвостые, острокопытные жены. Они только что остановились, повернув головы туда, откуда бежали, настороженные, чуткие, готовые броситься вскачь и исчезнуть прежде, чем ты мигнешь. И было в их собранных косматых телах что-то пружинистое, крылатое.

— Ну, дай бог... — беззвучно прошептал Бахтыгул, высовывая из-под груди ствол кремневки и прикладываясь к ложу.

Он прицелился в самца, но слишком торопился, — руки дрожали, дуло ходило, и зверь заметил его. У робости свой закон — дважды не оглядываться. Едва почуяв неладное, козел порскнул в сторону и, взлетев в гигантском прыжке, легко и быстро понесся вниз по ступенчатому склону. Козы тотчас обогнали его и поскакали впереди, точно блохи.

Тут-то и окрепли руки Бахтыгула, ведя козла на мушке ружья. И когда тот вскочил на высокий валун, зовя за собой коз, из дула вырвалось пламя и сильный треск. Синеватое облачко медленно расплылось среди камней, и сквозь дым Бахтыгул увидел, как козел на лету кувырнулся через голову.

Не помня себя, Бахтыгул скатился вниз, боясь, что добыча поднимется и уйдет. Архар бился в агонии, лежа на боку. Бахтыгул выхватил нож и полоснул зверю горло. На серые камни хлынула ярко-алая кровь. Козел дернулся и обмяк. Бахтыгул, хрипя, повалился рядом с ним.

Потом он освежевал добычу, выкинул внутренности. Разделил тушу пополам и увязал мясо в шкуру. Кружным путем по ущелью привел Гнедого и с трудом взвалил на него груз, привязал волосяным арканом.

Передохнул Бахтыгул в седле, снова углубившись в заросли карчая. Но путь его лежал не домой...

К вечеру Бахтыгул спустился в тенистую, укрытую от ветров долину. Здесь, на берегу реки, селится богатый

аул. Это был аул Жарасбая, волостного управителя соседней, Челкарской волости.

Жарасбай был человеком известным не только в своей волости и не только своим чином-должностью. Во всем уезде не найдешь управителя, мирзы, ходжи, бая более заметного, чем он. Он славился и как хозяин, и как купец, и как воин, — поистине ему не у кого было занимать ни богатства, ни чести, ни ума.

От этого человека можно было ожидать чего угодно — и хорошего, и дурного, и добра, и зла щедрой рукой, полной горстью, силеча!

«Попытаю счастья... — думал Бахтыгул, подвезжая к аулу. — Осточертело жить бирюком...»

Как видно, здесь, у реки, Жарасбай собирался зимовать. Многие жители аула, опасаясь осенних заморозков, уже перебрались из юрт в глинобитные зимовья. В вечерних сумерках все высыпало наружу, на свет.

У ворот самого просторного двора Бахтыгул увидел высокого толстяка в куньем треухе и белоснежной мрлушковой шубе. Лицо его багрово-красно, блестит от испарины, но важно и даже величаво. Жарасбай! Он был не старше Бахтыгула годами, а поди дотянись до него... Целая свита окружала его — два почтенных аксакала, сытый паренек лет семнадцати — сын-первенец и прихлебатели, молодые и старые, точно серые мыши у белого куля с мукой.

Бахтыгул с должным почтением отдал салем. Волостной, бросив взгляд на витые рога архара, ответил милостивым кивком. Для начала неплохо.

Из ворот, неся узкогорлый кумган, вышла байбише — старшая жена бая, дородная бабенка с холеным светлым лицом. Она тоже заинтересовалась круторогой головой красавца козла, залитой кровью, и медленно обошла коня, восхищенно причмокивая. За ней потянулись другие любопытные.

Бахтыгул вежливо поклонился ей.

— Кажется, вам по нраву эта безделица? Нынче утром, едуци в ваш аул, я смекнул: небось давненько у вас не видели дичинки, архарьего мяса... ну, и завернул в горы, да попался больно неказистый... Вез его вам, возьмите, коли не гнушаетесь...

Байбише мельком лукаво покосилась на мужа, как бы спрашивая его и боясь отказа. Бахтыгул усмехнулся про себя: ей не откажет.

— Прими... Что ж поделаешь... — процедил Жарасбай лениво и добавил, подмигнув окружающим: — Зверь-то из наших гор, — сам бы не отдал, так мы бы отняли!

Все засмеялись. У Бахтыгула отлегло от сердца.

Один из аксакалов нетерпеливо взмахнул рукой.

— Где там девки? Пускай унесут...

Бахтыгул догадался, что это Кайранбай, прижимистый, расчетливый старец: он был закадычным дружкой покойного отца Жарасбая, а сейчас заведует всем скотом и считается правой рукой волостного.

— Не думай, Кадиша, — скороговоркой сказал Кайранбай байбише, — что ежели человек опоганил, осрамил козыбаковцев, так все из его рук поганое да срамное! Нечего им гнущаться! Этот бедняк последнего коня отдаст, коли человек ему по душе. Правда, упрям, но говорят, батыры упрямы...

Ободренный, польщенный Бахтыгул низко поклонился ему.

— Спасибо, отец. Что говорить! Ты за меня лучше сказал. Нет у меня счастья, хотя я и упрям. Вот пришел к мирзе выложить все, что у меня накопило... Но перед твоей мудростью умолкаю. Ты меня видишь насквозь. Пускай будет, как ты рассудишь.

Сын волостного кликнул двух молодых, и они, сняв тушу с коня, поволокли ее во двор, а великовозрастный сынок, прижав голову архара к животу, стал игриво бодать женщин в спины рогами.

Жарасбай снисходительно следил за этой возней не говоря ни слова Бахтыгулу. Может, он и не хотел унижить его, но волостному не приличествовало кидаться навстречу каждому встречному-поперечному. Не больно важная птица и не бог весть что за подарок!

Зато второй аксакал смотрел на Бахтыгула с сочувствием. Это Сарсен, один из старейших биев волости; Жарасбай неизменно принимал его сторону на выборах судей, ценя многолетний его опыт, а главное — широкие связи.

С волостным Сарсен на равной ноге.

— Бедняга парень... — проговорил Сарсен, поглаживая бороду. — Хорошее намерение — половина дела, а в твоих мыслях, замечаю, немало хорошего. Что ж, и прежде бывало: такие, как ты, горемыки, испытав все горести жизни, без памяти бежали из родного аула. Не это ли ты надумал?

— Истинно так, аксакал, — ответил Бахтыгул, углом глаза посматривая на волостного. — Задумал я немалое, нелегкое... А за доброту вашу готов отплатить с лихвой, сколько мочи хватит!

Волостной скупое повел бровью. Наконец и он обратился к Бахтыгулу:

— С коня говоришь, — похоже, что правду. Послушаем, что скажешь за столом. Входи, упрямец...

Бахтыгул, обрадованный, пошел за баем.

— И впрямь, мирза, не успел я приехать — наболтал полны уши. Да очень уж наболело.

— Э... хорошо... молодец... — дружно загудели приживалы, примечая, как настроен бай.

Вслед за хозяином, строго соблюдая старшинство, они вошли во двор, а затем в его богатый высокий дом.

Не часто доводилось Бахтыгулу бывать в таких домах — за всю жизнь, может быть, разок-другой, и он замялся на пороге. В огромной чистой теплой комнате горела керосиновая лампа, точно солнце. На почетном месте, на недоступном байском торе, — гора стеганых разноцветных одеял. К нему от порога ведет красный ковер. Справа — роскошная, сверкающая никелем русская кровать и над ней, на стене, еще более богатый узорный ковер. Все горит, искрится и играет кругом, как на цветущем лугу весной по росе.

Ступить в такой дом из черной и холодной батрацкой юрты, убранной драными кошмами, было для Бахтыгула редкостной честью, а переночевать в этой неземной благодати казалось счастьем. И когда его усадили рядом с другими гостями перед обильной байской едой, он словно забыл, что голоден, хотя рот его был полон слюной. Ел не жадно, и все видели, чего это ему стоит. Слава богу, байбише не ленилась его угощать. Он с достоинством благодарил и рассказывал, рассказывал... Слова лились сами собой, жгучие, горькие.

Его слушали все с охотой и интересом, будто новость какую новость или небылицу. Когда же он выговорил страшное слово «тюрьма», байбише вскрикнула, захохла по-бабьи, а старшие мужчины насупились, закачали головами; бий Сарсен схватил себя за бороду. Степняк степняку может пожелать смерти, но не тюрьмы... И Бахтыгул дивился в душе: что за жалостливые бай, понимают, чувствуют несправедливость! Не снится ли ему этот дом, эта еда, это внимание?

— Голый я. Сирый, беззащитный... — говорил Бахтыгул. — Как отбившийся от табуна малолеток. Одна надежда — прибиться к сильному, приткнуться к материнскому соску. Все бы за это отдал, на все согласен!

Байбише и сын бая Жангазы, первые баловни в доме, не дожидаясь старших, стали откровенно поругивать козыбаковцев. И женщина и мальчишка не спускали глаз со знаменитого барымтача Бахтыгула. Такого лестно иметь и слугой и другом.

Бий Сарсен, также упреждая хозяина, сказал:

— Ладно, видим, что у тебя в руках и что за пазухой. Кончай плакаться и хватайся за полу нашего волостного. Держись крепче! Ему такие, как ты, стреляные, рубаные, ловкие да проворные, не боящиеся ни черта, ни бога, нужны... Сумеешь, расстараясь — станешь хозяину братом младшим, а его сыну дядюшкой, родным человеком. Тогда и в ус не дуй! Из-под его руки никакой суд, никакая власть тебя не достанет. Сам белый царь не возьмет ни живым, ни мертвым! А не сегодня, так завтра, бог даст, сведешь счеты со своими недругами, попомнишь зло, покажешь силу.

Бахтыгул слушал, не веря своим ушам. С чего бы такая щедрость? И на что намекает почтенный бий? «Станешь родным... Не сегодня, так завтра...» Бахтыгул знал: козыбаковцы — давние соперники Жарасбая; это два края, два берега, две горы в уезде. Недаром Бахтыгул сюда прибежал. Но неужто Жарасбай будет братом несчастному нищему беглецу? Такого оборота Бахтыгул не ожидал. Судьба сулила ему больше, чем он желал.

Он бежал от ужаса тюрьмы и готов был стать рабом своего спасителя. А ему протягивали руку, как будто и для него в стени существовала честь и справедливость!

Однако Жарасбай не спешил сказать свое слово. Он по-прежнему слушал всех словно безучастно. И нельзя было понять по его высокомерно-насмешливому лицу, что он думает. Хорошо еще, что слушает, не перебивая... И хорошо, если хочет только испытать терпение бедняка. А может, колеблется? Послушает-послушает и отвернется. Не примет и не выгонит...

В тот вечер Бахтыгул так и не дождался, что скажет бай. Пошучивая, посмеиваясь, волостной пошел спать, отпустив с миром гостей и приживалов, коротко кивнув Бахтыгулу, как при встрече. И все разошлись радостные: бай доволен, весел, у него хорошее настроение.

С раннего утра ко двору волостного стали стекаться просители. Их было много. Бахтыгул оседлал Гнедого и стал в сторонке, показывая, что готов уехать, готов остаться, — как велют. После утреннего чая вышел волостной. «Поддай хоть надежду...» — молил взгляд Бахтыгула. Жарасбай прошел мимо, не замечая его. Но Бахтыгул подождал, когда он отошлет других, и опять появился у него на виду.

— Чего ты хочешь, милый человек? — спросил волостной, устало отдуваясь.

Бахтыгул выпрямился, подошел.

— Клянусь служить тебе до гроба! Посылай куда вздумаешь. Требуи чего угодно. Буду тебе братом младшим, а твоему сыну — дядюшкой... Разве не так сказал седобородый Сарсен?

— Об этом достаточно говорено, — сухо ответил Жарасбай. — И клятву твою я запомню. Но придется... повременить, пока заглохнут слухи, утихнет шум. Сейчас негоже мне связываться с козыбаками, путаться по мелочам. Приспеет время, я тебя сам позову, спать не дам! Посмотрим, как держишь клятву... А пока что не чурайся нас, наезжай почаще. Ты моим понравился, поможешь им по хозяйству, они найдут тебе занятие. Потом я пристрою тебя как должно. Ступай.

Бахтыгул так обрадовался, что не мог найти слов благодарности.

— Дорогой... добрый болыс... Больше отца родного... Думал — отвернешься... Прости на смелом слове... — Он дернул за повод иноходца. Конь вскинул гордую голову. — Позволь за твою ласку, за твой привет... Перед богом не могу тебе не ответить... Хочу посадить на этого коня сына твоего Жангазы! Раз мы не чужие, пускай берет Гнедого, пускай владеет...

Волостной промолчал, не соглашаясь и не возражая, но глядел одобрительно, и Бахтыгул поспешил удалиться, громко зовя Жангазы. Конь ветроногий, редкостный. Тем приятней его дарить.

Байский сын, подобно своему отцу, не стал отказываться и не стал благодарить, но видно было, что парень очень доволен. Ничего не скажешь — недоросль, игрив, дурашлив, а соображает в лошадях!

Байбише проводила Бахтыгула в дорогу тоже не с пустыми руками — наложила ему жирной, с чесноком, домашней колбаски, сама выбрала несколько крупных

кусков вкусной жеребятины. Бахтыгул вернулся домой обласканный, счастливый.

Спустя два дня к нему в юрту вошел Жангазы, пошел, поговорил, передал привет от отца, затем вышел, отвязал Гнедога, вскочил на него и уехал в свой аул. Иноходец шел под ним хорошо, парил, как сокол.

5

Началась странная, непривычно легкая жизнь.

В первую зиму волостной придерживал Бахтыгула в тени, не подпускал к своей канцелярии. Разумеется, Бахтыгул не сидел сложа руки, но жил не впроголодь, жил не униженный. И слава его, давнишняя и нерадостная, стала понемногу уходить в забвенье.

На крупных советах, собирая аткаминеров волости — заправил и воротил родов, байскую знать, «верховых среди пеших», — Жарасбай исподтишка похваливал нового слугу, рассказывал о его горестях и злоключениях, о его терпении. Сарсен и Кайранбай в два голоса подхватывали эту песенку и хвалили волостного за богоугодное дело. Не сглазить бы, обратил ночного добытчика в мирного труженика, влил в обозленное, ожесточенное сердце добро и смирение.

— На правильном пути... человеком становится...

Аткаминеры, тучные, как их стада, спесивые, как их роды, со вниманием присматривались к беглому батраку. Почтенные люди похлопывали его по плечу, беседовали с ним. И кто умел понимать, понимал: у Жарасбая на этого молодца особые виды.

А Бахтыгул не находил себе места, изнывая от безделья. Легкая жизнь была ему трудна — беркут любит выси, скакун любит гон. Из всех сил старался он послужить аулу Жарасбая. За что ни брался, и то, и другое, и третье делал с завидным умением, хотя как будто бы, кроме ухода за скотом, ничего в жизни не знал. Но разве суетня в ауле — работа? И разве тут нужна его сила? С тем и бабы справятся.

С восхода до заката Бахтыгул бегал, хлопотал, мотался по аулу, точно язык в пасти собаки в знойный день, что-то чинил, чистил, таскал, ворочал, неумоимо ища себе занятие, словно гоняясь за усталостью. И зоркий Кайранбай, видя его рабочий азарт и хозяйское рачение,

совсем растаял — улыбка расплывалась по его щекам, как круги по растопленному бараньему жиру. Сладостное это зрелище — наблюдать, как на тебя гнут спину и льют пот.

— Дело у него в руках горит. На все мастер. И в счете не дурак! Не об считаешь... — говорил Кайранбай волостному.

— Бедняга, сирота, истинно по немилости божьей нет у него достатка. А не то разве к такому работяге пристала бы бедность? — внушал Кайранбай другим.

В любой работе по хозяйству — в отгоне табунов и откормке баранов, в весеннем севе и уборке урожая по осени — Бахтыгул знал толк. Требовалось ли отыскать непотравленные выпасы, заготовить ко времени сено, оберегаясь джута, или испечь к случаю белый хлеб — за все он брался и все делал быстрее и лучше, чем иные табунщики, чабаны и пекари.

Был слугой, стал помощником, а затем советчиком, и не только в доме волостного, не одной байбише, а и всем соседям. К нему не стеснялись ходить за советом — по хозяйству, по семейным делам; он мирил, наставлял, урезонивал, хоть был и не стар. И со временем прозвали его в ауле «Дальновидным».

Волостной постепенно приближал его к своей канцелярии. Одно поручение, другое... Бахтыгул снова сел на коня, но не с пастушьим соилом, а с сумой посыльного через плечо — метой доверия и власти. И теперь он сам себя не узнавал.

Между делом Бахтыгул не забывал и о себе. Разъезжая по волости с полной сумой важных, исписанных чернилами и меченных печатью бумаг, он прихватывал с собой кое-какой товаришко и с выгодой перепродавал его желающим купить, и многие ждали, когда он приедет, интересовались, что привезет. Весной Бахтыгул запахал для себя землицы втрое, а то и вчетверо больше, чем прежде, и Жарасбай ему ни слова не сказал; Кайранбай позволил взять семян.

Как и у Сальмена, ему не платили жалованья, но Жарасбай, по крайней мере, не бил его, давал жить. Хатша припасла впрок на будущую зиму и мяса, и муки, и масла, и белой соли, и желтых серных спичек, точно таких, как в доме бая, и крепких ниток. Она сама прирабатывала в ауле волостного, прислуживала байбише и к лету заметно подкормилась, даже приоделась. Обноски с байского

плеча были для нее нарядом, а свою старую одежду она перешила детям, и они больше не бегали голышом, в рванье.

Еще зимой Жарасбай сказал Бахтыгулу:

— Хочешь, чтобы сын был грамотен? Приведи парнишку.

Это было великой милостью.

В ауле волостного жил молоденький казах Жунус. Он окончил русскую школу, и за грамотность его звали муллой. Он учил грамоте двух-трех мальчиков из зажиточных семей, учил и сына волостного, Жангазы. Бахтыгул с благоговением привел к мулле своего Сеита.

— Пойдешь в волость, будешь учиться, выбьешься в люди, — сказал сыну Бахтыгул, и Сеит крепко запомнил эти удивительные слова.

Всю зиму Сеит твердил русскую азбуку, упорно зубрил ее, точно колдовской наговор, который помогает выбиться в люди. Ему нравилось учиться, и он быстро превзошел ленивых, балованных, туповатых байских сынков.

Мулла с любовью говорил Сеиту:

— Подрастешь, будешь муллой.

И часто ночами Сеит подолгу не мог уснуть — мечтал, как подрастет и будет муллой.

Посевы Бахтыгула взошли густые, чистые. Душа батрака обретала покой. Летом он окончательно перебрался в аул Жарасбая, ставший ему родным. Жаркую пору прожил с сыном на джайляу, высоко в горах, и досыта попил пенистого золотистого кумыса.

Летом забот по хозяйству убавилось. Волостной взял Бахтыгула целиком под свою руку. И потекли дни особой загадочной суеты, за которой стояли большие дела Жарасбая.

Бахтыгул быстро освоился с хозяйской наукой: держаться по чину — приветливо и учтиво в аулах, которым волостной покровительствовал, и, наоборот, угрожающе и драчливо там, где волостного не особо жаловали. Иногда волостной позволял ему выступить на маленьких аульных сходках — Бахтыгул был красноречив. Был предан и расторопен, пока не почувствовал неладное. Он заметил, что люди посматривают на него, как прежде он сам смотрел на подручных Сальмена. И сразу стало темно на душе у батрака.

Сальмен пока не давал о себе знать. Почти год пролетел, но Жарасбай не вспоминал о Сальмене. Бахтыгул

старался постичь, что же на уме у волостного, и чем больше задумывался, тем больше мрачнел. Обманчив был этот мир, подозрительно молчание.

Осенью предстояли выборы, и еще с начала года в Челкаре, в Бургене и в других волостях завязалась подспудная запутанная борьба родовых партий. Из месяца в месяц она становилась острее и откровенней.

«С этого двора не жди добра...» — замечал себе Бахтыгул Дальновидный, но никак не мог предвидеть, в каком обличье его настигнет беда.

Страсти разгорались неумовимо и неостижимо для простого смертного, давно уже вышли за пределы волостей и охватили едва ли не половину громадного уезда. Схватились сильные богатые роды, бил и аткаминеры смежных волостей, сводя старые счеты, раздувая неразрешенные споры.

Слабые искали опекунов, сильные — союзников. Чем ближе выборы, тем ясней обозначались две большие межволостные силы; одну возглавлял челкарский болыс Жарасбай, другую — бургенский голова Сат, брат Сальмена, и у обоих были тайные агенты, подкупленные люди в лагере противника.

В своей волости Сат был, казалось бы, сильнее и крепче, нежели Жарасбай в Челкаре. За Сатом стоял многочисленный и сплоченный чванливый род козыбаков. За Жарасбаем стояли два-три рода, богатые, влиятельные, но разве сыщешь в степи два рода, меж которыми нет трений? Зато в уезде у лукавого Жарасбая гораздо больше связей, чем у самоуверенного Сата, больше, чем у всех других волостных, и Жарасбай держал вожжи в своих руках.

Борьба разгоралась подобно степному пожару в засушливое лето.

Летели в уезд, в канцелярию ояза, всевластного уездного начальника, русского чиновника со светлыми пуговицами, коварные доносы, «приговоры» с множеством подписей и родовыми тамгами — клеймами-печатами биев и аткаминеров.

Аткаминеры Сата изощрялись в жалобах на самоуправство Жарасбая. Каждая подводила его под следствие, под позорный и накладный штраф. Но всякий раз Жарасбай торжественно возвращался из города оправданным. А вот Сату в городе пришлось туго. По навету Жарасбая отсидел Сат пятнадцать суток в уездной каталажке. Один

аллах знает, сколько Жарасбай вложил в это дельце хитрости, сколько денег, однако дельце того стоило.

Повсюду говорили:

— Сам вернулся белым, как звезда во лбу вороного... А того засадил в навоз с головой, как мотыгу под корешок... Пятнадцать дней и ночей — ой-бой!

После этой удачи у Жарасбая стало больше сторонников, больше и противников. Где страх, там и зависть.

Без передышки метались по кочевьям аткаминеры, где улецают, где угрожая. Жаркое, знойное выдалось лето, как говорится, некогда попить кумыса. Выборы, выборы... Власть на три года!

Жарасбай упорно выискивал слабину в лагере Сата, собирая вокруг себя недовольных, обделенных, колеблющихся и просто блудливых, щедро награждал их, раздавал деньги и скот направо и налево. Он знал, что и Сат поступает так же, и зорко следил за своими, обхаживал подозрительных, платил им больше, чем Сат. Власть на три года! Все окупится с лихвой.

Шло время, и неясно было, на чьей стороне перевес. Сат не сомневался в своих козыбаках, а те храбрились, высмеивали хлопоты Жарасбая, его бесконечные траты.

— В городе он беркут, в волости — воробей. Мы собьем с челкарцев спесь... — так говорили козыбаки, и Бахтыгул чуял, чем это в конце концов обернется.

И вот, когда жарасбаевский табун перекочевал на джайляу, в суматохе пропали три жеребые кобылы и откормленный жеребенок. Кинулись их искать и напали на воровской след. Верный человек, соглядатай из Бургеня, подсказал: лошадей увели люди Сальмена по указу Сата. Погоня пришла по пятам похитителей. Люди Жарасбая потребовали вернуть лошадей, но Сальмен без зазрения совести матерно обругал их и с улюлюканьем выгнал из аула.

Жарасбай не спал ночь — его душила ярость. А на рассвете, не мешкая, велел Сарсену составить донос и отправил бумагу в город. Бахтыгул ожидал, что волостной пошлет его нарочным, но бай не вспомнил о нем, и Бахтыгул с недоумением и обидой расседлал коня. Все утро близ восьмиканатной байской юрты теснились люди, а из нее доносился шумный говор. Там спорили, бранились, грозились аксакалы.

И только в полдень, когда почтенные белобородые разошлись и, укрывшись от зноя в тени юрт, потягивали

прохладный, освежающий кумыс, Жарасбай позвал Бахтыгула к себе.

Нехорошее предчувствие сжало сердце Бахтыгула, едва он увидел распаленное, покрытое бурыми пятнами лицо волостного. По правую руку хозяина стоял, пасу-пьясь, поигрывая плетью, самый дюжий из баев угрюмый, черный Кокыш.

Жарасбай усадил Бахтыгула, налил ему кумыса и, прихлебывая из тонкой пиалы, начал с того, что Бахтыгулу благодаря богу недурно жилось последний год — целый год, как все знают и все видели. Бай не позволял отягощать его черной работой, оберегал для дел, достойных настоящего мужчины. И Бахтыгул почувствовал: кончилась его странно покойная, непривычно легкая жизнь.

— Эти шакалы шелудивые не подожмут хвоста, пока не поднимешь палку... — добавил Жарасбай.

Кокыш сплюнул, хлестнув себя по сапогу плетью, и рука Бахтыгула дрогнула, расплескивая кумыс.

Батрак понял: случилось самое страшное — старое проклятье догнало его.

— Будем сидеть смирно — проиграем, — продолжал волостной. — Зазеваемся — сядут нам на шею с рогатиной, а нашей скотине — с арканом. Людей забьют, коней уведут. Свои же с головой за грош продадут... Видно, дожили мы с тобой, Бахтыгул, до часа, которого год ждали.

Бахтыгул молчал.

— Нынче же отбери по своему вкусу десяток надежных джигитов и — с богом! Не сыщешь Сальменовых или Сатовых табунов, все равно, налетаи на любых козыбаков. Отбей и утони косяк кобылиц с жеребцом постатней да попородистей. Ты выбрать сумеешь... не впервой...

Бахтыгул опять промолчал, оставив пиалу с недопитым кумысом, обтирая ладонь о халат. Казалось, ком застрял у него в горле. «Час, которого год ждали...» Что же это? Давно ли Жарасбай показывал Бахтыгула баям и аткаминерам, точно прирученного зверя, и те возносили бая, а батрака трепали по плечу, внушали ему, что есть праведный путь! Когда это было? Вчера. А ныне — «с богом»?.. Что скажут люди? И что же сказать сыну Септу?

Кокыш присел на корточки против Бахтыгула и засмеялся, надувая бычью шею.

— Да ты что? Обабился на байских хлебах? Батыр на такое дело из гроба встанет!

Но Бахтыгул не улыбнулся, и Жарасбай сказал, подлив ему кумыса:

— Сат первый начал, как тебе известно и всем ведомо. Не было б почина, не было б и торга. Они замарали руки ночной кражей, мы омываем лицо честной барымтой! И уж отныне, куда бы эти ворюги ни сунулись, хоть к губернатору, всякий будет на нашей стороне — и казах и русский... Понял ты меня?

— Нет, болыс... не понял. Мутится у меня в голове, — глухо, тоскливо ответил Бахтыгул. — Знаю одно: осень на носу, а этой осенью и вору и барымтачу рядом висеть между небом и землей на деревянном коне... Натерпелся я лиха, сыт им по горло. Не посылай меня, прошу!

Жарасбай с раздражением перебил его:

— С каких это пор ты стал оглядываться на деревянного коня? Ишь ты, Дальновидный!.. Забыл свой долг? Не слышишь голоса предков? Сат разорил твоего отца, Сальмен осиротил тебя, я даю тебе силу против Сата и Сальмена. Если упустишь такой случай, ты трус и предатель, безрукий, безмозглый ленивец, которого я зря кормил!

— Чему ты меня учишь, хозяин? — проговорил Бахтыгул подавленно. — Какой пример подам сыну?

Жарасбай исподтишка усмехнулся.

— На мне ответ за все! И перед земной и перед небесной властью. Я кормлю, я и велю. Моя воля — мой грех. Езжай и уповай на бога...

— Хватит, поговорили, — добавил Кокыш. — Не сомневайся, поедет.

Жарасбай грузно поднялся с места.

Бахтыгул рванулся, чтобы встать раньше бая, и замер на коленях, растерянный, оглушенный.

6

В тот же день десятеро во главе с Бахтыгулом отобрали десять лучших коней, длиннохвостых, ветроногих жеребцов из табунов Жарасбая, Сарсена и Кокыша. Сборов не таили, потому что шли на «праведную» барымту, и к вечеру проводить молодцов вышли все жители аула от мала до велика.

Джигиты были одеты скромно, в серые чекмени, но не одежда красит мужчину, а сила и статный конь. Собра-

лись видные парни. Чекмени туго обтягивали их литые плечи. Посмотришь — кулаком камень расщепит, а на ногу быстр и ловок, как ласточка на лету. Перебрасываясь озорными, грубоватыми шуточками, барымтачи словно играли в веселую, забавную игру, красуясь перед народом, показывая себя и коней. Кони — загляденье. Под низкими, плоскими седлами, с коротко подвязанными хвостами жеребцы гордо держали сухие головы, нервно перебирая тонкими ногами. Это победители скачек, именитые скакуны. В мягком свете вечерней зари их чистая холаная шерсть поблескивала, как парча. Они не стояли на месте, вертелись под всадниками; и над аулом висел частый легкий и гулкий топот, подобно дроби боевых барабанов.

Ждали Бахтыгула. Он вышел из Большой юрты, напутствуемый волостным и словно преображенный. Одет тоже просто, неприметно — это всем понравилось. Но в осанке и повадке что-то новое, прежде невиданное. Чекмень натянут на одно левое плечо, правый свободный рукав заткнут за пояс, чтобы было вольготно разойтись плечу, размахнуться руке. Из-за пояса-кушака торчит револьвер-шестизарядка. Стрелять из него в человека Бахтыгул не будет, но по этой игрушке видать, кто атаман, кто первый ударит и примет первый удар, натиск сильнейшего, себе подобного.

Валко, неспешно шагал Бахтыгул к товарищам, и они не спускали с него глаз. С ним не пропадешь. Он крепче и крупней всех других. В правой его руке в круглых мускулах от кисти до плеча переливается пружинистая взрывная сила.

И лицом Бахтыгул вроде бы не тот. В прищуренных, узеньких щелочках глаз искрится жадная нетерпеливая страсть. Лишь под колючими усами неожиданно мягкая улыбка, словно бы мечтательная.

— Эй, орлы! — отрывисто, властно окликнул он. — Удачи вам в пути! — И голос его зазвенел в общем молчании сквозь топот копыт.

— Всем удачи, всем!.. — дружно ответили джигиты.

— Да будет так, да будет так! — подхватили провожающие.

Прежде чем Бахтыгул подошел к туго натянутому аркану, служившему коновязью, молодой пастух повел ему навстречу и поставил поперек дороги крупного, рослого светло-рыжего коня с подвязанным хвостом. В крас-

ных лучах заката конь походил на пламя большого костра. Это любимец волостного; Жарасбай держал его для байги — степных многоверстных скачек.

Пастух собирался почтительно подсадить атамана, но тот, сунув конец поводка себе за пояс, едва коснувшись носком стремени, взлетел в седло; конь, приседая, боком отпрыгнул шагов на пять в сторону.

— А ну, трогай, — скомандовал Бахтыгул, пришпорив.

Всадники, теснясь, устремились за ним, на ходу прилаживая к седлам соилы и шокпары. А некоторые поехали, небрежно держа дубинки под мышкой, будто не в драку — на прогулку.

Мужчины, женщины, детишки аула повалили за ними толпой, гомоня, визжа, ахая. Пошла в степь сила, удаль, мужская краса! Разгуляется она — дьявола сомнет и растопчет...

В сумерках смутно замелькали крупы коней светлой масти, слились в темное пятно и растаяли вдаль, но еще долго слышали в ауле тающий волнистый гул лихого галюпа.

Так началась барымта, которую простаки и хитрецы называли «праведной». Баи тешили ею древнюю спесь, бедняки утоляли вековую жажду воли. Одним доставалось палицей по башке, другим — даровой скот. Каждому свое, что назначено безликим всевышним судьей, бием над всеми биями.

К рассвету Бахтыгул и его орлы управились с делом — угнали у Сата небольшой косяк, десять молодых кобылиц с приметным гривастым жеребцом. От погони ушли на диво легко, хотя слышали за собой стрельбу из ружей. Невредимые, укрылись в безлюдных, безмолвных горах на рубеже трех волостей.

Попутно в незнакомом ауле прихватили годовалого ягненка, оставляя за собой лишь лай собак. На камнях без опаски развели огонь. Бахтыгул велел сварить мясо, а сам ушел вверх по голой шершавой осыпи.

Впереди одиноко маячила острогрудая, кирпично-красная, словно окровавленная, скала. За ней, подобно кабаньему загрызку, щетинился хвойный лес. Могучие густые ели чернели, как обожженные, и над ними висело синеватое мерцающее дымчатое марево. А еще выше, будто выхваченная солнцем из ночи, сияла круглая снежная вершина — недоступная, почетная белая юрта. Орел парил в бездонном небе; он казался величиной с воробья.

Бахтыгул смотрел ввысь, на красную скалу, на черный лес, на белую снеговую юрту, парящего орла, и грудь его теснило. Смотрел и думал: «От чего ушел, к тому и пришел, вот и все, что нашел!»

Снизу от костра винтом поднимался прозрачный дымок, пахло мясным варевом, джигиты болтали, как бабы, возились, как подростки, шуршал под их ногами неверный сыпучий камень. Бахтыгул морщился, покусывая жесткий ус.

Азарт ночного налета испарился, словно хмельной угар. На душе остался горький чад.

— Эх... все равно... Бари-бир! — вслух выговорил Бахтыгул.

Прославят ли, ославят ли его теперь — все равно. Судьба его в руках Жарасбая. Баю казнить, баю миловать. Слава богу, что этот все-таки не пара Сальмену. Жарасбай не забудет, что ты служил ему преданно и усердно.

— И того предовольно с нас, сынок, — прошептал Бахтыгул. — На том и порешим... — И пошел назад по осыпи, к костру.

Так началась барымта. С той удачливой и роковой ночи поднялась между родами и родовыми партиями такая заваруха, какой еще не бывало. И безглазой ночью, и при свете дня, в степи и в горах — дикие свалки и драки, бешеный, ошалелый крик погонь, кровь и черная обжигаящая пыль до знойного неба. А за брашным шумом набегов, как и в былые времена, тихой сапой подкралось, расползлось по аулам и пастбищам воровство. И вскоре ни один праведник и пророк не смог бы здраво рассудить, где барымта, а где кража, что денной грабеж, что полуночный.

Правду говорят, что выборы в степи подобны джуту. Не предскажешь, когда тебя ударит джут, степное зимнее лихо. А выборы каждые три года! Но Жарасбай, видно, решил либо взять верх, либо разориться.

По-прежнему, что ни день, у него многолюдный сход, шумливые сборы-советы, гости, гости... Без числа и счета шла скотина под нож — на угощенье, шла под аркан — на подарки. А сколько утекло из байского рукава длинной деньги! За месяц-другой, почитай, одну треть того, что имел весной, истратил Жарасбай. И теперь он не давал Бахтыгулу и его молодцам прохладиться так же, как некогда Сальмен. Но этот лукавый, по крайней мере, го-

ворил, что посылает брать не затем, чтобы восполнить расходы, а в отместку. Красиво говорил, право!

Не удивительно, что хитрец преуспел — нашел крепкую подпору, сильного союзника за спиной Сата. Неожиданно Жарасбай сдружился с аулом досаев из Бургенской волости, могущественным аулом толстых, которым нахальные козыбаки были не по нутру. И это повлекло за собой особые траты и издержки.

Мудрецы бии, прожженные степные политики, так говорят: текучую воду умеряет дерн, кипучую вражду усмиряет девица. Да, да, девка на выданье... Была у головы рода досаев молоденькая смазливая дочка Калыш, и застал Жарасбай к досаям сватов.

Бахтыгул живо смекнул, в чем тут соль. Конечно, может, и позарился Жарасбай на девичью красу, захотел привести в дом, к своей возлюбленной байбише, молодуху токал. Но это дело десятое. А соль в том, что выбрал Жарасбай самолично пятьдесят верблюдов и послал их отцу девицы. Калым неслыханный, будто ханскую дочь сватали. И еще до того были родителям предварительные подарки.

Истинно, что сватовство — лучший союз, он скрепляется скотом, это крепость надежней клятвы на крови. Вот почему сплелись аулы жениха и невесты навек, как кишки в животе, и Сату осталось кусать себе локти — аул досаев стал на его пути, точно щетина саксаула: не пролезешь и не пообедашь.

А степь стонала, точно женщина, над которой надругались. То тут, то там попадались барымтачам под горячую руку и страдали безвинно, ни за что ни про что бедняки, которым было не до Сата и не до Жарасбая. Тщетно лились слезы, сыпались проклятья. Сказано: джут!

Жарасбай поставил дело на широкую ногу. Угнанный скот он сбывал на сторону и в своем и в соседнем уезде с чисто купеческим размахом. Бахтыгул пригонял, Кайранбай загонял... Тот добывал, этот сбывал — не торгуясь, за полцены, лишь бы с рук долой, поскорей да поглаже. И не прогадывали! Скупец и жадюга Сальмен никогда так не умел. Скотина валилась, как в прорву, — ночью являлась, к утру исчезала, и мошна у Жарасбая не тощала.

Бахтыгул махнул на все рукой. Жил точно в кровавом горячечном тумане, точно в пыльной степной буре, когда среди бела дня ни зги не видать. Куда девался скот, взятый в набегах, он не ведал. Жарасбай позаботился, чтобы

па этот счет душа атамана была покойна. Строго-настрог приказал Сарсену, Кайранбаю и Кокышу:

— Когда вы бдите, пусть он спит!.. Паче чаяния придется обгореть кочерге в очаге, пусть и под пыткой не сможет сказать наш Дальновидный, что куда, что к чему.

Грянули выборы. Жарасбай выиграл — остался в Челкаре управителем. Сат провалился — его не избрали. Правда, и аул досаев не протащил в Бургене своего ставленника, но козыбаки были биты. Не зря тратился Жарасбай. Пришел его черед стричь долгошерстную, золоторунную овечку власти и в своей волости, и в уезде.

Тотчас он призвал пред свои очи Бахтыгула, принял его поздравления и, милостиво похлопав по спине, отослал домой.

— Ступай, отсыпайся. Порадуй жену, сына. Даю тебе полную волю хоть на три года подряд, до будущих выборов...

Бахтыгул вздохнул с нескрываемым облегчением. Ему хотелось поскорее уйти с глаз хозяина, и тому хотелось, чтобы он убрался подальше.

— Моя воля — твоя воля, дорогой болыс, — сказал батрак вежливо.

— Ступай, ступай... Там видно будет, — небрежно ответил державный бай.

7

Подошла черная осень. Бахтыгул уехал в свое зимовье, взял сына с собой. Посадил на коня и увез. Лишь изредка навевывался Бахтыгул в аул волостного — отдать хозяину должное, поприветствовать его; погостив денек-другой, уезжал с легким сердцем. Домой, к семейному теплу! В эти дни он казался в ауле посторонним — от хозяйства и от канцелярии отошел, ни тем, ни другим не интересовался. Жил словно сам по себе, не вникая в людские разговоры, не прислушиваясь к молве. И потому толком не знал, что творится на белом свете, то есть в партии волостного. Помнил одно: враг у них общий — козыбаки... Это помнил крепко, а обо всем прочем — не ему думать.

И когда внезапно прилетел на взмыленном коне гонец, крича с седла: «Зовет тебя Жарасбай!..» — Бахтыгул не особенно взволновался, поехал следом.

В ауле собрались все верховоды волости и... кое-кто со стороны. Спутав своих коней и пустив их пастись, приезжие расселись вокруг волостного управителя. Чуть поодаль от других Бахтыгул увидел людей из аула оразов, соседней Бургенской волости.

Род оразов был в Бургене слабей рода досаев, сватов Жарасбая, и намного слабей козыбаков, но пока сильные душили друг друга, оразы провели своего человека в волостные. И так получилось, что после выборов стал новый бургенский волостной угоден проигравшему Сату. Само собой понятно: слабородный волостной не мог быть совсем самостоятелен и стал ходить в узде козыбаков.

Увидев оразов, Бахтыгул подумал: «Видать, по их жалобе позвали». И не ошибся. В пору барымты его люди прихватывали скот и у этих, поскольку они бургенские... Ошибся Бахтыгул в другом. Жарасбай встретил его холодно. Приветствие его принял нехотя, словно бы через силу. И, порядком не расспросив, как полагается после приветствия, набросился будто на чужого, со строгими речамп:

— Эй, Бахтыгул... Меры не знаешь! Лишку хватил, право. Я тебе верил и всех заверял, что ты носа в грязь не сунешь, а ты и меня мараешь, выходит дело, пока я за тебя распинаюсь. За что же мне такое наказание? Объясни, по крайней мере...

Так еще никогда не говорил с Бахтыгулом Жарасбай. Волостной стонал от благородного гнева, лицо распалено. С жаром праведника бай выгораживал свою голову, требуя у слуги чистосердечного признания. Бахтыгул слушал, пораженный тем, как он, оказывается, виноват перед своим благодетелем.

— А в чем же моя вина, дорогой болыс? Вон вы как разгорячились! Неужто других слов не нашли для меня? Сперва укажите, в чем преступление, а там казните без сожаления. Обидно слушать клевету, сочиненную злым языком. Проверьте сначала, дознайтесь...

— Нечего мне дознаваться! И так вижу, что ты... кроме тебя, некому... твоя это рука... Говори правду: в ауле оразов в Бургенской волости ты взял одного гнедого, одного чалого жеребца и двух маток-кобыл? Ты взял... Возмести взятое! — грозно повелел волостной.

Бахтыгул молчал, приглядываясь к нему. Взять-то, может, и взял... Что правда, то правда... Бахтыгул не

собирался отпираться, врать в глаза. Ну и волостному нечего валять дурачка, — кони эти уведены у оразов по его указке, и тому здесь много свидетелей. Но они тоже молчали, присматриваясь к Бахтыгулу.

Неужто отступился, отвернулся волостной от своего атамана? Быть не может!

Это он для вида... перед чужими... чтобы пустить пыль в глаза... Баю видней, что делать, как сказать, и не следует сейчас с ним препираться, мешать его игре. Небось у него дальний прицел, тонкий расчет.

— Что же, я и прежде не крутил и теперь не увиливую, — сказал Бахтыгул Дальновидный. — Все твое, волостной, и животы наши, и жизни. Мне ли противу тебя? Ты мне один судья, а тебе судья бог! Взял я коней. Сделай, что только сможешь придумать, но чтобы оразам было возмещено все сполна. Больше мне нечего сказать.

И разом словно ожили белобородые и чернобородые, зашевелились, заерзали на месте, качая бородами, щуря глаза, грозя пальцами. Понравилась речь батрака. Покорность и власть любят друг друга.

Опять послышалась хвала пронизательности и справедливости волостного. Кто-то сказал о Бахтыгуле:

— Ни шиша за душой, а храбр, как хан. Помрет, но правду скажет.

Другой сказал:

— Случись убить человека — убьет, от хозяина не скроет. Ежели уж взял, говорит, взял... — И это была также похвала волостному.

В ту минуту и Бахтыгул радовался, что хозяину лестно.

Одного он не мог понять. Осмотревшись, он увидел рядом с жалобщиками оразами людей из аула досаев... Бахтыгул не поверил своим глазам. Как же так? Целое лето враждовали непримиримо, а нынче вот слетелись, точно птенцы в родное гнездо, и сели тесно, сели, как говорится, сомкнув колени, и незаметно было, что меж ними нет довольства и согласия.

Здесь судили своего, Бахтыгула. Хоть он и повинился напрямик, не виляя, голос волостного не смягчился, а лик не потеплел. Теперь Жарасбай бранился злобно, крикливо, а под конец пригрозил:

— Наперед от меня поблажки не жди! Я тебя обласкал, приблизил к сердцу своему, почитал своим — за что?

За честность. Ежели еще оступишься, сунешься с пути истинного на один шаг, с того самого шага ты для меня никто, и я тебе чужой. Трижды подумай, прежде чем шагнуть...

«Ну, это уж слишком!» — подумал Бахтыгул, но и тут промолчал.

Притихли и другие, словно обвороженные и покоренные голосом волостного, его негодующим и благородным звучанием, его басовыми раскатами. Очень красивый голос, истинно дар божий, как раз такой должно иметь блюстителю правды и чести.

Бай указал на старшего из оразов.

— Сейчас этот человек, хозяин угнанного тобой скота, пойдет за тобой. Ты поведешь его в свой дом и из своих рук отдашь в его руки четырех полноценных коней, не хуже тех, которых взял. («А где они — те?..» — мелькнуло в голове Бахтыгула.) И еще в уплату за свою вину преподнесешь одного коня — возглавить и одного верблюда — замкнуть возмещение... Вот так будет достойно и по совести!

Бахтыгул открыл было рот и застыл, ошарашенный. Казалось, его треснули дубинкой по затылку. Все кругом молчали, будто воды в рот набрав. Стало быть, и они поражены...

Знает бай, хорошо знает, сколько и какого скота накопил Бахтыгул. Знает и велит отдать больше половины... И верблюда велит отдать!

Нет, конечно, Жарасбай вернет потом с лихвой взятое у Бахтыгула. Как же иначе! Позовет болыс и утешит — при своих, без посторонних. Одарит послушного раба и скотом, и добрым словом, чтобы не было потери и обиды ни хозяйству, ни душе, чтобы было достойно и по совести.

Так думал Бахтыгул, ведя за собой людей из рода ораз и еще аксакала Сарсена, посланного проверить, точно ли выполнена воля волостного.

Но прошел день, другой, третий, а волостной не звал Бахтыгула. Волостному было недосуг. Очень много важных, неотложных дел. Запомнил бай про Бахтыгула. В один миг разорил и насмерть обидел преданного друга в угоду лютым своим врагам... взял и растоптал... и даже не оглянулся на растоптанного! Зачем так?

Бахтыгул недоумевал. Хатша ходила с заплаканным, потемневшим лицом. Сеит смотрел на отца непонятным,

не то задумчивым, не то равнодушным взглядом. Изредка мальчик тихо смеялся своим тайным мыслям, и это пугало и сердило Бахтыгула.

Измученный догадками, Бахтыгул кинулся к соседям, друзьям в окрестные аулы, — поделиться наболевшим, посоветоваться, осмотреться и понять, как жить дальше. Но его встречали с опаской. Голова кружилась от рассказней, басен и слухов, — до седых волос в них не разобраться. И опять, как после гибели брата Тектыгула, он почувствовал себя отставшим от каравана, брошенным в пустыне, заблудившимся безысходно и безнадежно. Опять, подобно каменно-бездушной стене, перед ним вставала его сиротская доля. Все люди, весь мир по ту сторону стены, он один, как отсеченный палец, как вырванный волос.

Летняя разгульная барымта была пиром... Осенью пришло похмелье, но не для жирных, понятно, — для тощих. Как и при отцах и при дедах, белое выдавалось за черное, черное за белое, в этом деле бай-степняки мастаки. Виновный ходил тузом, выпятив круглое пузо, невинного волокля с позором за драный ворот — привычное зрелище, старинная картина!

Едва прошли выборы и в волостях стал угасать гром барымты, как в уезде отозвалось долгое эхо. Большое чиновное начальство пасторожило длинные жандармские уши. В городских толстостенных канцеляриях судили по-своему:

— Между киргиз (так именовали тогда казахов) участилась артельная верховая езда... Взял волю воинственный элемент. Не ровен час, выплеснется сия зараза из киргизских волостей на казачьи станицы...

— Стражники, урядники докладывают: непослушание-с! Случаи непочтения к чинам... к свыше установленным регалиям.

Подобострастные доносы волостных друг на друга подливали масла в огонь. Их всеподданнейшие бумаги, точно оспенной сыпью, пестрели страшными словечками: бунт, бунтовщики, смутьяны, вору... А «вор» на чиновничьем жаргоне то же, что «бунтовщик».

И вот в студеный осенний день, подобно взрыву, сотряс уезд приказ жандармского начальника. Все волостные управители, все бии аулов были срочно вытребованы в город для строжайшего допроса и внушения.

Ну и пошла писать губерния! Крупные «пишки» и мелкая сошка за канцелярскими столами, по-над стеклянными чернильницами и мраморными пресс-папье развернулись вовсю. По старой привычке стращали... Грозили выборным волостным смещением с постов, а главарям родов и партий — ссылкой из родных мест. Под шумок набивали себе взятками бездонные карманы.

Отпускали, приказав:

— Чтобы у тебя там, господин хороший бай, было смирно!

Встряска подействовала на жирных целебно. Хмельной зуд, возникающий под кожей от крепкого кумыса, мигом утих. И даже страшный, как чума, неизлечимый недуг интриганства как будто бы пошел на убыль.

Главари враждующих партий съехались в город на общий шумный, словно праздничный, сбор, и началась показательная гульба... Резали отборных коней серой масти и иных мастей, с лысинкой на лбу и без оной, и громогласно читали Коран, воздевая к небу мытые холеные барские руки, взывая покончить с раздорами, прийти к вождеденному согласию. Под конец на жертвенной крови, при многих свидетелях, принесли клятву — отныне и на веки веков пресечь смуту в народе, пресечь воровство, лукаво притворяясь, что и не ведают и не подозревают, кто это воровство затеял.

По примеру других на глазах у других помирились и Жарасбай с Сатом.

Сговор был дружный, сговор легкий. Седобородые хищники, опытные лжецы поняли друг друга с полуслова и наперед наметили себе, кого обвинят, кого предадут гоненьям в угоду жандармам, хотя вслух ни одного имени не назвали.

Издавна уж так повелось: пока не дашь в уезде взятку, не обрешь покоя. Но на сей раз требовалась особая взятка: людьми... виноватыми...

Был у Жарасбая в городе свой человек — толмач Токпаев. С ним Жарасбай сжился душа в душу, сросся рукав в рукав. Токпаев стал для бая ангелом-хранителем, вернее, ангелом-оповестителем, из тех ангелов, которые зимой и летом безотказно получают земную мзду натурой и деньгами. В свое время этот житель уездных небес и пособил Жарасбаю «угостить» Сата каталажкой, подсунув кому следует под горячую руку нужную бумагу и должную купюру.

После выборов толмач позвал Жарасбая в гости к себе на городскую квартиру и с глазу на глаз, из уст в ухо, ласково предупредил:

— Начальство изволит гневаться... Доносят, многие доносят: содержишь у себя воров, а среди них — знаменитых конокрадов первой руки.

И посоветовал Токпаев выдать начальству одного-другого из самых заметных, заядлых, колющих глаза...

— Главное, приговорите его сами, у себя, на бийском суде, приведите в город под своим конвоем на волосном аркане. Чтобы был у всего этого дела должный вид.

Вот чего не знал Бахтыгул.

Близился съезд биев волости Челкар. Их созывал волостной раз в три-четыре месяца, когда накапливались споры и ссоры. Обычно бии судили-рядили, а волостной из-за их спины приговаривал:

— Не я решил, не я казнил — старейшие, мудрейшие в народе...

Но на очередном съезде бии не собирались касаться обычных долговых тяжб, а намеревались заняться неким особо важным делом, требующим особой мудрости, и потому ждали съезда с нетерпением, с небывалым интересом. Ждали и торопили волостного. И об этом тоже не знал Бахтыгул.

Беды лепятся к бедняку, точно заплаты к изношенному чекмену. В то самое время, как Бахтыгул в растерянности метался по соседям, спрашивая совета, пропал у козыбаков скот — несколько голов. И вор и покража исчезли бесследно, но козыбаки тотчас обвинили Бахтыгула. Раз нет следа — значит, украл он! Не зря говорится: ослепший видит то, что видел еще зрячим.

Искать пропавший скот приехали двое. Ввалились в дом Бахтыгула и стали рыскать по углам, по закуткам, как год назад. Бахтыгул удивился сперва: распоряжались наглецы в чужой волости, как в своей. Правда, с них какой спрос? Одно слово — козыбаки! Все же Бахтыгул попытался выпроводить их добром. Не ушли. Разорались, словно хозяева:

— Хочешь прошлогоднего? Скучаешь по нашим плетям?

Кровь бросилась в голову Бахтыгулу. Он выхватил из-за голенища узкий длинный нож с черной рукоятью:

— Запорю... собак неумных!

Пришельцы оказались отменными «храбрецами»: язык

поганый, дутая грудь. Оба кинулись от ножа наутек, к своим лошадям, бранясь в оба горла. Долго крутились верхами перед зимовьем на виду у Бахтыгула и грязно, гнусно лаялись. Знали шакалы, что лев за ними не погонится.

В тот же день Хатша приготовила вкусное жаркое и поехала в аул волостного с достойным угощением дому Жарасбая. Но байбише Кадиша встретила ее, хмурия на-сурмленные брови, на мясо и не взглянула. Хатша величала ее тетушкой, а та только кривила губы и надменно фыркала. Вслед за хозяйкой и скотницы, и домашние девки-прислужницы принялись подтрунивать над Хатшой, ехидно высмеивая каждое ее слово, ухмыляясь ей в лицо.

Хатша улучила момент и при Жарасбае сказала байбише о сыночке Сеите:

— Полюбилось дурачку ученье у муллы. Покоя не дает, твердит свое: зима, мол, на носу, когда да когда пошлете меня?.. Не знаю, что ему и ответить.

Но ни волостной, ни байбише головы не повернули, слова не обронили, будто Хатши и не было в доме. Расстроенная, испуганная, она вернулась в свое жалкое зимовье.

Тогда поехал Бахтыгул и тоже вскоре вернулся молчаливый, угрюмый. В ауле волостного на него смотрели исподлобья, говорили с ним сквозь зубы. Тыкали ему вслед пальцами, шипели за спиной злорадно:

— С-с-строптивец..

Дней десять еще прожил недавний атаман и любимец бая на отшибе, брошенный всеми, не высовываясь из дома, нигде не показываясь, тщетно гадая, что же случилось и что еще должно случиться. Жил, как под арестом, и лишь случайно, от стороннего проезжего, узнал, что уж третий день, как собрался в Челкаре съезд биев.

Говорили люди, что подобались бии на редкость жестокие и злые. Судят строго, присуждают много, без пощады и снисхожденья. И будто бы составлен черный список, и в нем двадцать человек, объявленных ворами. Кто попал в этот список, никто не знает, но ясно, что несчастным не миновать тюрьмы.

Хатша неведомо где узнала имя одного из них — Жадигер. И Бахтыгул содрогнулся от чувства, которого не испытывал целый год. Жадигер, молодой парень, был правой рукой атамана летом, в пору барымты.

— Видит нечистая сила, в кого целит, в кого метит, — сказал себе Бахтыгул. — Подходит моя очередь.

В эти дни он ни разу не улыбнулся, почти не ел, совсем не спал, ни с кем не говорил. Надвинув на брови меховую шапку, лежал пластом на спине, на дырявой кошме, не шевелясь, словно связанный, и казалось, весь мир перед его потухшим взором перевернулся вверх дном.

Лежал и ждал, когда его позовут.

И его позвали. Приехал человек с почетной сумой посылного и увел его за собой.

В чисто прибранной, нарядно убранной высокой восьмиканатной юрте, утопая в нежном пуху подушек и одеял, лежали, развалиясь, жирные; днем и ночью они ели мясо — сытые до одурения. Ели и судили... И очень были похожи на псов тех аулов, где скот подход от мора, — глаза налиты кровью, загривки вздыблены, хвосты поджаты, как у бешеных: нажрались падали, бросаются на человека.

Бахтыгул, едва волоча ноги, словно изможденный долгой болезнью, вошел и тихо поздоровался, став у дверей. И ни один не обратил на него сочувственного взгляда — ни суровый старейшина, ни ласковый Сарсен. Бии отворачивались, будто опасаясь заметить его поклон, а приживалы, наоборот, тарасили, пучили на него рыбы глаза, бледнея оттого, что он смеет им кланяться. И не нашлось человека, который спросил бы его о здоровье, семье, о житье-бытье.

«Ну, теперь-то ты чувствуешь, чем дело пахнет?» — спросил себя Бахтыгул со скупой усмешкой и вдруг, сам того не ожидая, вздохнул с облегчением.

Словно бы посветлело в его душе, прояснилось в голове. Это дело знакомое, привычное. Просто нет на земле справедливости и никогда не будет. Очень просто.

«Я во всем чист, нет за мной вины, — говорил себе Бахтыгул. — А если я вор, вы трижды воры, и не вам меня винить, не вам судить. Мне бог свидетель!»

Он как бы спорил с самим собой, доказывая себе собственную правоту, а тем временем бии начали свой суд.

Истцами были, конечно, козыбаки, и бии выслушали старшего с почтительным вниманием. Затем со вкусом отхаркались, насупились и всем скопом взяли в оборот обвиняемого.

Однако, сколько они ни петушились, он не вешал головы. Как и прежде, он не стал отпираться. И одному, и другому, и третьему бию ответил невозмутимо:

— Не скрывал и не буду скрывать — скот у козыбаков брал.

— Зачем брал? Почему брал?

— А затем и потому, что был в вашей партии!

Бии-челкарцы на момент присмирели. Засопели, молча переглядываясь. Бий-kozyбаковец, низкорослый, тучный, с прямыми, точно иглы, усами, выручил их.

— Ох, уж мне эта партия... несчастная ваша партия! — вскричал он, сытно похохатывая. — Кому только она, бедная, не служила! И тебе, оказывается, она подставила спину, подобно ишаку, ну и ну!

Челкарцы оживились, ухмыляясь, облизывая лоснящиеся губы.

— Интересно бы узнать, какие же у тебя партийные счета с Сатом или оразами? Может, ты поспорил с ними на каком-нибудь народном собрании, заступился за Челкарскую волость, встал горой за нужды народа? Что-то я запамятовал, когда это было... Напомни нам, сделай милость!

Бии засмеялись, отваливаясь, держась за животы.

— И в счет чего, напомни, ты взял у козыбаков указанные пять лошадей? Вот что, милый, напомни... Указанные пять лошадей!..

Бахтыгул огляделся с горестным недоумением. Над чем они смеются? Сперва он и впрямь попытался припомнить, о каких именно пяти лошадях идет речь, а потом и сам усмехнулся, глядя на развеселившихся биев. Им всегда весело, им всем весело — и своим, и чужим, и истцам, и судьям.

— Я брал и пять, и дважды пять... — проговорил Бахтыгул глухо. — Вам ли не знать, сколько я брал! Что же, конечно, я вступался за свою волость, себя не жалея, о себе не думая, — за вас воевал-бедовал, голову клал, ради хозяина, ради его живота...

Бии разом всполошились, зашумели, не давая ему договорить.

— Ишь ты, что плетет, куда гнет!

— Во-е-ва-ал!.. Дерзость какая... У кого обучился таким словам?

— Воевал — воровал! У него это одно и то же.

— Сам сказал: «и дважды пять...»

— Не пойму я, — выговорил Бахтыгул негромко, со сдержанной силой, — чего хотите от меня, почтенные люди?

— Судим тебя за преступные дела, — надменно ответил старший из биев, — запрещаем тебе преступные речи! — И протяжно крикнул, довольный сказанным, огладил седую бороду с важностью. — Не смей и заикаться о том, что тебе не по чипу, не по плечу, не по рабскому разумению. Те, кому должно, кому богом назначено, разберутся сами в своих делах, сообразно высшему усмотрению, тебе недоступному. Наша волостная партия уже очистилась давно от этих пяти лошадей и всего прочего. Я сказал: давно и добела! А очистив себя, направила законного истца по верному следу, по пути истины. Ныне отвечай за свою вину, раз ты призван к ответу!

— Но в чем же моя вина? — спросил Бахтыгул с отчаянием. — Не для себя брал, на взятом не разбогател. По указке брал, против своей воли. Может, тем и виноват, что делал, что велют? Скажите...

— Ин-тересно, а кто ж это мог тебе велеть воровать? — осведомился козыбаковец, выпучив нахальные глаза.

Бахтыгул опустил голову. Он колебался. Ему было стыдно и смотреть, и слушать, и отвечать этим людям.

— Молчишь? Наветчик...

— Лучше бы они сами сказали, — печально проговорил Бахтыгул — Их недолго искать. Недалеко ходить... Вот они сидят на почетных местах. — И он показал на Сарсена и Кокыша, только что вошедшего в юрту с роскошной плетеной камчой в руке. — Хоть и не по чипу мне, а хотел бы я посмотреть, как они очистятся от тех пяти лошадей и всего прочего... и какое тут будет высшее усмотрение...

Бии переглядывались сердито, с затаенной яростью. Среди приживалов прошелестел завистливый и ехидный шепоток.

Батрак-голодранец держался с властью имущими чересчур смело и уж больно умно. Хочется правды рабу! Стало быть, легко не отделается раб!

Сарсен молчал, спесиво надувшись. Кокыш, черный, грузный, как буйвол, угрюмо посмеивался, играя своей камчой.

— Заруби себе на носу, — сказал Кокыш, — одно — партийные тяжбы, другое — воровство! Нам отвечать за одно, тебе, любезный мой, за иное. И ты не путай... не выпутаешься! («И это он говорит?..» — подумал Бахтыгул.) Бии! — поспешно продолжал Кокыш. — Ежели ему позволить, он не только нас, еще десятерых и самого Жарасбая

измажет своим дерьмом. А вот что мне поручил немедля сказать вам волостной управитель, послав сюда. Слушайте слово волостного управителя: выборные дела тут ни при чем, — перед вами вор!.. И его поганое воровство, которое он признал! Судите вора и карайте.

Бахтыгул бессильно опустил тяжелые рабочие руки.

— Я... вор? Это... слово больша? — спросил он с наивностью ребенка. И не дождался ответа.

Что бы ни творилось на его глазах, в глубине души он все-таки ожидал: в последнюю минуту слово больша, единственное слово вызовет его из беды. «Я ручаюсь за этого несчастного!» — вот все, что стоило бы сказать волостному. Больше ничего. Век не забыл бы этого слова Бахтыгул, даже если бы бии его несправедливо осудили. В могилу с собой унес бы это слово Бахтыгул. «Я ручаюсь за несчастного...»

Бахтыгул непроизвольно ощущал загрубелыми пальцами шрам на своей щеке — выпуклый рваный шрам, подобный тавру, — память о последней встрече с кабаном Сальменом. Точно такой шрам, неизгладимый, лег сегодня на сердце батраку, и сердце его кровоточило.

Ему ли не знать, сиротливому сердцу, какова бывает жестокость, каково бывает вероломство? Ему ли не знать...

— Ну, коли это слово больша, — сказал Бахтыгул, — и не врет Кокыш, я замыкаю рот, молчу, как покойник. Воля ваша, — сожгите мою жизнь, она хуже собачьей. Жил бедняк и нет бедняка — эка важность! Одно скажу напоследок: я же вам верил... верил! Э, да ладно... бог с вами, а мне поделом... — Бахтыгул, не договорив, опустив голову на грудь, поднялся и вышел вон из юрты.

Пошел, как слепой, кусая губы, чтобы не завить по собачьи, и тут увидел волостного. Жарасбай и еще четверо толстых в богатых халатах неторопливо пересекли ему дорогу и пошли, важно беседуя. Жарасбай не заметил его привета. Бровью не повел! Вот что было подло... Вот бесстыдство!..

И впервые Бахтыгул заскрежетал зубами, глядя в спину Жарасбаю.

Подбежал рассыльный и позвал — принять приговор. Бахтыгул пошел за рассыльным.

Бии присудили возместить указанные пять лошадей, по справедливости, пятью лошадьми. А вдобавок вору — три года тюрьмы.

Два дюжих парня вывели осужденного наружу.

В степи не было помещений с решетками и не было в заводе держать людей на запоре, потому осужденным, прежде чем отправить их в город, надевали для верности на ноги кандалы с большим висячим замком на каждом браслете.

В первые минуты Бахтыгул до того потерялся, что и не понял, куда его ведут. Смотрел на своих конвойных и думал про них в оцепенении: какие певзрачные да слабо-сильные...

— Пстой тут, — сказал один, а другой пошел и выпес рыжие от ржавчины цепи, он стал вертеть их в руках, глядя на ноги Бахтыгула.

Тогда Бахтыгул с презрением оттолкнул молодца, да так, что тот едва удержался на ногах, а кандалы упали в пыль, жалобно звякнув. Другой отскочил прочь с резовстью козленка.

Бахтыгул подошел к своей лошади, вскочил в седло и поехал тихой рысью между юртами, мысленно говоря: «Прощайте, все...»

Парни были без оружия, и можно ли их винить в том, что они подняли крик, когда знаменитый барымтач был уже на коне:

— Эй, эй! Куда? Держи! Лови!..

Ловить казаха в степи — искать ветра в поле. Пока конвоиры кричали, беглец перевалил через холм, у которого лепился аул, углубился в каменистую обрывистую лоцину и пропал в горных прилавках. И опять же можно ли винить посланных в погоню, что они потеряли след? Люди не собаки... Тщетно гневался волостной управитель, бранились бии, грозя выдать нерадивых, упустивших осужденного, жандармам. Ушел красный зверь.

Ушел, против своей воли, в ту жизнь, которой всегда чурался и из которой не было возврата.

Нигде не задерживаясь, Бахтыгул прискакал домой, и Хатша без слов поняла, что случилось, и тотчас, без слез и причитаний, принялась собирать ему теплую одежду.

Бахтыгул быстро заседлал другого коня — саврасого скакуна; отныне этот конь его единственный друг. Повесил за спину старинное курковое шомпольное ружье, за-

ряженное картечью. Сунул за пояс и револьвер, который брал с собой летом, — теперь он уже не игрушка.

И ушел в Черные Скалы неподалеку. Здесь он заколол последнюю свою ярочку и наскоро разделал мясо; половину оставил семье, другую круто посолил и уложил в мешок из высушенной брюшины. Вечером, в сумерках, Хатша принесла ему толченого проса, а он отдал ей баранину. Еще он взял с собой в поводу откормленную каурю лошадь.

Прощание было коротким. Поручив богу свою семью и не сказав жене, когда вернется, Бахтыгул скрылся в ночи.

Хатша и тут не заплакала, только вымолвила сухими губами:

— О Жарасбай, двуличный, двоедушный!.. Чтоб и твоя жена проводила тебя туда, куда я своего!.. Чтоб и твоим детям было то же, что моим... — И посмотрела в беззвездное небо с верой, что это проклятие не минет подлого обманщика.

В ту же ночь нагрянули в дом беглеца посланцы волостного. Но у Хатши они ничего не дознались.

— Утром уехал к вам, — сказала она, притворно улыбаясь. — А что такое стряслось? — Но глаза ее светились гневом и гордостью.

Прошло две недели. Жарасбай повел поиски основательно, что называется, взяв в руки фонарь.

Днем и ночью десятеро верховых не сходили с коней, прочесывая горы с севера на юг, с востока на запад. В Бургене и Челкаре знали, что легко Бахтыгула не сыщут и дешево он в руки не дастся, поэтому Жарасбай задумал взять его измором. Сменяя друг друга и меняя лошадей, люди волостного рыскали по горам и долам, по аулам и зимовьям, расставляя повсюду засады и дозорных, чтобы не дать беглецу передышки, измотать его коня, затравить, взять обессиленного, уstraшенного травлей. Искали его известные охотники, знающие в горах на ощупь каждый камень, каждую щель, искали заведомые вору, способные видеть в непроглядной ночи и проскользнуть под носом у пугливой овцы.

Бахтыгул уходил от них, как дым в темноте, но ему приходилось туго.

Страшный призрак тюрьмы, немой и безглазый, с бездонным каменным зевом, подобно нечистому духу,

бежал за ним по пятам. И Бахтыгул молился, оглядываясь на него:

— О господи, спаси... дай мочи!

Враг гнался за ним упорно и неотступно, как в сказке Баба-яга гналась на быстроногом одногорбом верблюде за храбрым охотником Куламергенем. Иногда беглецу снилось, что за ним катит сплошной вал лесного пожара или подкрадываются длинные сизые языки наводнения, и он просыпался то в испарине, то в ознобе. Иногда это мерещилось Бахтыгулу наяву, и были минуты, когда он не отличал сна от яви и суеверно плевал себе за пазуху, чтобы отогнать наваждение, вырваться из незримых объятий нечистого духа.

Были случаи, когда конь уносил его от погони почти бесчувственного, благо что и в беспамятстве джигит не валился с седла. Очнувшись, Бахтыгул благодарил судьбу, подарившую ему такого друга, шептал иступленно:

— Не дамся... Живым не дамся... Помру в седле... Отдам душу богу, а не баю... Лучше в пропасть, чем в тюремную дверь...

Но все чаще его хватало за горло уныние, он хрипел, как лошадь в туго натянутом аркане. Рано или поздно его настигнут и закуют в цепи эти толстые, жаднорукие. Он не хотел помирать. Горячая кровь билась в его жилах, в истомленном теле. Сидя на корточках перед жалким, гаснущим костром, подняв голову к скалам, точно волк в морозную лунную ночь, он говорил:

— Ну, Жарасбай, не доводи до края... — И в скалах отзывалось чуткое эхо.

Жарасбай подозревал, что беглецу благоволят в бедняцких аулах, — те прячут, а эти кормят. И повсюду разослал гонцов с пугающей вестью:

— Пока ходит меж нами беглый, никому не будет покоя. Не ровен час, нагрянет из города отряд, жандармы... Тогда пиши пропало. Из-за одного строптивца пострадают безвинно десятки, сотни... Возропцут старики, заплачут жены и дети, да поздно!

Заодно послал Жарасбай доверенных лиц к влиятельным аксакалам, чтобы и они не сидели сложа руки, спустя рукава. Нагнал хитрец страха на робких и неробких, на добрых и недобрых. Пустил поверху беркута, понизу борзых.

И разом лишился Бахтыгул тайного крова и тайного подаянья. Не прошло и недели, как он очутился во всеоб-

щей кружной облаве, точно медведь в кольце собак-пиявок. Горные дебри и те становились ненадежны. До него дошло, чем запугал людей лиса Жарасбай. Пугало испытанное... Теперь человеку не доверяйся — один прогонит, другой убежит, третий продаст, а то и убьет со страха.

Ненастной ночью в последний раз заночевал усталый донельзя Бахтыгул под одной крышей с людьми, и было это в маленьком горном ауле, в убогой юрте, примостившейся на отшибе, под нависшей скалой, в тех местах, где берет начало кипучий белогривый Талгар.

С самого начала показалось ему, что в доме неладно, не так, как прежде, не по-людски. Встретили Бахтыгула насупясь, глядя ему в ноги да за спину, будто за ним следом вползла змея. Ночью он долго слышал сдавленный, беспокойный шепот хозяев, будто и этот шепот хотели от него скрыть. И когда они притихли, он не уснул. Подремал часок, расправив ноющую от усталости спину, и задолго до рассвета поднялся и вышел неслышно, волоска на людях не шевельнув. Оседлал крепко спавшего на ногах Саврасого и уехал, тщательно проверив, не следит ли за ним человеческий глаз. Уехал со стыдом и горем, но без зла. Слава богу, что еще не встали поперек дороги.

Был у Бахтыгула приятель в Бургене — русский мужик, старый горемыка, очень смелый человек. Три года назад случай свел их в пору барымты, когда Бахтыгул служил еще Сальмену, и они крепко сдружились. Смелости мужик был неслыханной: пошел против большого городского начальства, и оно упекло его в тюрьму, хотя он и был свой же, русский. Год просидел мужик за решеткой, и, пока он сидел, Бахтыгул, сколько мог, подкармливал его многодетную семью и хлебом и мясом. Вернулся мужик изломанный тюремщиками, но рассказывал о тюремной жизни со смешком, так, что мурашки продирали Бахтыгула по спине. К нему первому пришел Бахтыгул после бийского суда, простившись с женой и детьми, и тот без лишних разговоров прежде всего выкопал из земли и отдал припрятанные впрок порох и свинец для ружья и пули к револьверу.

Это друг закадычный. Жандармами его не испугаешь. Но он жил далеко, в открытой степи, в людных местах.

Еще одно пристанище было у Бахтыгула — ниже по течению Талгара, у Красных Скал, в доме бедняка Катубая. В этот дом Бахтыгул забредал чаще, чем в другие, и всегда находил в нем приют. После разлуки с родным

очагом очаг в доме Катубая стал ему самым близким, самым теплым. И Бахтыгул решился рискнуть заглянуть, погреться чайком, если напоят, послушать, что слышно в округе, если скажут, побаловать в сухом закуте коня, а к вечеру, в сумерки, уйти в горы.

Он выехал на опушку соснового бора, взбиравшегося вверх по отвесному склону, и осторожно огляделся. Внизу неистово бушевал Талгар, наполняя грохотом всю ложбину. Близ дома Катубая и во дворе как будто бы чужих нет, заседланных лошадей не видно. Бахтыгул медленно подъехал к воротам, слез с коня, привязал его и вошел в дом.

Катубай, сам четвертый, с женой и двумя детьми, жил оседло, врозь со своими родичами и близкими, кочевавшими круглый год. Встречались они нечасто, случайно и без особого интереса друг к другу. Летом Катубай растил хлеб, зимой ходил за скотиной, а было у него скота — конь да несколько коз с козлятами, тем бедняк и довольствовался. Еще пробавлялся охотой, ловко ставил силки и сетки на мелкую дичь, стрелял крупную; это тоже его кормило. К охоте Катубай пристрастился; Бахтыгул делился с ним драгоценными зарядами и сам был любителем поднять неприметный для других след, добыть дичинку одним дальним выстрелом. Вот что их родило.

Когда Бахтыгул вошел, все четверо были дома. Катубай чистил ружье, жена его жарила каурдак, детишки теснились у очага, дожидаясь угощения. На треножнике кипел желанный чай.

Катубаю за пятьдесят, в маленькой его бородке седина, а на скулах румянец, как у юноши. Кроткий, добродушный, легкий нравом человек. Его байбише — статная, полная, светлолицая и тоже румяная. Лицом и телом она крупновата и больше походит на мужчину, а отзывчива и наивно-добра, как девочка или сердобольная старушка. Истинно на счастье свели духи предков этих двоих! Дети точь-в-точь в отца и мать. Два мальчика, скромные, чистенькие, приветливые, неприхотливые.

Чай подали немедленно. Потом и мясо. И, конечно, оставили беглеца ночевать... Он согрелся и насытился, точно под родной кровлей, из родных рук. Одинокая озябшая душа Бахтыгула размякла и заскулила. Он вышел во двор к своему Саврасому, мирно хрустевшему сеном в ночной тишине, обнял коня за шею и долго стоял так, с щемящим сердцем, судорожно кусая жесткий ус.

Катубай и его жена знали историю Бахтыгула, но с его слов. А больше ничего не ведали. По гостям Катубай не ездил, без нужды и дела по аулам не шлялся, за слухами не гонялся, без сплетен не скучал. И, видимо, невдомек было добряку, сколь много он дает беглому вору и сколь многим рискует, укрывая его. Не потому ли Катубай так беспечен? С незнающего — какой спрос?

Несколько студеных осенних ночей провел Бахтыгул у Катубая. Уходил и приходил в темноте, чтобы ненароком не подвести милых людей. Уходил со свежими силами, приходил не с пустыми руками — с дичью.

— Не мы тебе, ты нам подмога, — говорил за поздним ужином Катубай. — И еще скажу: одинокому бог подпорка!

И Бахтыгул подумал: «Если этому человеку придется выдать меня, пусть... пусть выдаст!»

— Прослышал я, будто бы бродит в наших местах страшный человек, плохой человек. Не человек — шайтан... Волостной велит: всякому, кто бога боится, ловить и вязать злодея. Недавно в нижний аул нагрязнула целая шайка верховых — искать его... — И Катубай закончил с глухим смешком: — Этот шайтан уж не ты ли, сынок?

Бахтыгул понял: пора уходить.

Он тотчас оседлал Саврасого и поехал вдоль Талгара.

Издаലെка слышен хрипучий и гулкий голос белогривого потока. А вблизи его ледяное кипение устрашает. Диким холодом, неумной мощью веет от зеленой воды, сплетенной в стремительные струи, — невольно отступаешь от берега, и все же не оторвать от воды глаз! Кажется, что множество удавов, извиваясь, вспухая толстыми горбами, свились здесь в неразрывном объятии и душат друг друга, изрыгая клубящиеся гребешки снежно-белой пены. Кажется, что не волны, а тысячи одичавших животных с оглушительным топотом в паническом ужасе несутся по руслу потока, и спины их громоздятся друг на друга.

Бахтыгул придержал коня в узком темном ущелье, над большим порогом, приглядываясь и как бы примеряясь к бешеной воде. Летом Талгар многоводней, но и сейчас, глубокой осенью, он не обмелел, бурлил и шумел впустую. Поток изгибался здесь туго натянутой тетивой. Выше по течению вода вылетала из-под громадной нависшей скалы, словно из-под гранитного носа, из чудовищной каменной глотки, ниже проваливалась под

другую скалу, подсеченную у основания, точно в зияющую бездну. Казалось, одна гора пошла другую и не могла напоить.

Миновав поворот, Бахтыгул выехал на более покатое место, в небольшую открытую долину. Поток стал шире и мельче, но и здесь жутко было подумать о броде. Голова кружилась от взгляда на плоские, гладкие, мягко уходящие друг под друга валы с высокими жирными поясами пены, — словно застывшей на месте в нескончаемом полете.

«Мост у нижнего аула, — думал Бахтыгул. — А так не перескочишь...»

И тут Саврасый вскинул голову и наострил уши. Бахтыгул глянул туда, куда смотрел конь, и сердце его дрогнуло.

Два всадника выехали из-за голого безлесого уступа, примерно в полуверсте от берега. Люди не простые: чекмени надеты на один левый рукав, в руках дубинки. Кони сытые, свежие.

Бахтыгул быстро оглянулся и увидел позади себя, на отлогой скале, еще четверых конников, и, кажется, один из них был с ружьем.

Так. Похоже, что его окружили. Он в каменном загоне. Талгар, белогривый, громкоголосый, отрезал Бахтыгулу путь в безлюдные, труднодоступные места.

Спрятаться негде. Пробриться напролом? Не выйдет. С ним церемониться не станут. Пристрелят на всякий случай, чтобы не упустить.

А раздумывать некогда. Всадники заметили его и кинулись вскачь со свирепо разинутыми ртами, размахивая дубинками. Впереди уже трое, сзади шестеро-семеро — некогда считать. Долгий свист прорезал грохот Талгара.

Оставалась одна дорога, одна надежда...

Бахтыгул почти бездумно закрепил потуже за спиной ружье, нащупал на груди кожаный непромокаемый мешочек с зарядами, переложил шестизарядку в карман. Выбрал на глаз место у берега, вроде бы потише, и ударил Саврасого плетью, направляя его к воде.

И Саврасый пошел. Опустил голову, словно собираясь напиться, и медленно, осторожно вошел в ледяное кипенье.

У самого берега коню было по колени. Затем его потянуло вглубь, подхватило под брюхо, толкнуло, валя набок, и понесло. И все — берега, горы, небо — полетело

вкривь и вкось и с громом завертелось перед глазами Бахтыгула, подобно громадной черно-красно-зеленой карусели.

— Господи, вынеси... Предки, пособите... — молился Бахтыгул, лежа на спине Саврасого.

Сильные твердые струи кидали его и коня то вверх, то вниз, стремительно унося по течению. Вода била, трепала и молотила Бахтыгула от затылка до пят, словно тысячу дубин, тысячу цепов, сдергивая, срывая с коня. А он цеплялся за него, немея от натуги и ясно чувствуя, как изо всех сил борется под ним Саврасый, как его бьет, ломает о подводные камни, а он держится, не поддается, спасая седока. Как только ослабнет конь — конец! Целы ли у Саврасого ноги, грудь? И где правый берег, где левый? Ничего не понять... Алчный зеленый зев воды распахнулся перед Бахтыгулом, и он летел в него кувырком, отчетливо сознавая, что летит навстречу гибели. Никакой надежды в сердце, сжатом последним напряжением.

На миг коня подняло над водой по грудь, и Бахтыгул увидел вдруг выросшую впереди черную мокрую каменную глыбу... «Вот... конец!» — мелькнуло у него в голове. Еще миг — и их расплющит об эту скалу, разметет в разные стороны... Не случилось ни того, ни другого. Саврасый чудом удержался у черной глыбы и, видимо, даже встал на ноги и стоял, прижатый к ней напором воды. Бахтыгул осмотрелся, отхаркиваясь и отплевываясь. Боже милостивый! До берега каких-нибудь два-три шага...

Но тут же он почувствовал, как Саврасый начинает сползать со скользкой скалы. Сносит! Конь хрипел, оскалив желтые зубы, кося огненным глазом. Сейчас их смоеет и потопит. Бахтыгул вскрикнул вне себя, не помня что — может быть, «прощай», а может быть, «прости», встал коню на спину, потом ступил ногой ему на голову, между ушей, оттолкнулся и прыгнул изо всей мочи, с силой отчаяния, в сторону берега...

Вода ударила его по ногам, точно палицей, и он подумал: «Все пропало!»

Очнулся он на прибрежной гальке, лицом вниз, окровавленный, в изодранной одежде, дрожая от холода и боли. И первое, что он вспомнил, было: «Саврасый...» Со стоном Бахтыгул поднял голову, но ничего не увидел в багровом тумане, застилавшем глаза.

Правый бок и бедро были ободраны, точно звериными когтями, все тело в ссадинах и кровоподтеках, но кости

и голова целы. Уцелело и ружье, и мешочек с зарядами, только шестизарядку вырвало вместе с карманом.

Слепой, мыча от боли, Бахтыгул вполз повыше на берег и, когда кровавая пелена сошла с глаз, уставился на Талгар, как помешанный. Он заревел бы от горя, если бы хватило на то сил. Саврасого нигде не было видно. Плеть, будто в насмешку, висела на руке Бахтыгула.

Нет, видно, не в седле суждено ему умереть... Нет Савраски! Ушел желтозубый бесстрашный друг туда, где костей не соберешь...

Бахтыгул с ненавистью, скрипя зубами, посмотрел на другой берег.

Полтора десятка всадников гарцевало там на нервно пляшущих конях в порядочном отдалении от потока, не приближаясь к воде. И кони и люди были напуганы и уstraшены тем, что видели. Перепрыгнул, шайтан, Талгар!

И тогда поднял Бахтыгул окровавленный кулак и, слабо тряся им, прохрипел:

— Ну погоди же, благодетель, ласковый бай...

9

Бахтыгул бродил в безлюдном суровом краю, над перевалом Караш-Караш. Ночью он укрывался в сосняке, разводил в колючих зарослях, в каменной яме, дымный, короткоязыкий костер, чтобы вскипятить воду для жиденького чая или какого-либо немудреного варева. А с восходом солнца спускался к перевалу, к серой ленте дороги, выходящей по пустынным унылым увалам.

Целыми днями Бахтыгул не сводил с дороги сощуренных воспаленных глаз, покусывая черный ус. Иногда спускался на нее и ходил взад-вперед, осматриваясь по сторонам, словно разыскивая что-то. Иногда садился на корточки, ложился на живот над дорогой, то с одной, то с другой стороны, в мрачном раздумье, невнятно бормоча себе под нос, и смотрел на нее неотрывно, по-птичьему прикрывая один глаз, будто подмигивая.

Лицо Бахтыгула серо, па скулах ни кровинки, и кажется, что все живые соки замерли в нем. Руки тряслись и вздрагивали, словно стискивали скрюченными, цепкими пальцами что-то невидимое. Дышал он неровно и то взды-

хал тяжело, всем нутром, то покашливал хрипло, беспокойно.

Нетерпение мучило его. Длинные вислые его усы над вспухшими, лихорадочно горевшими губами подчас смахивали на крылья беркута, прижавшего к снегу рыжую лису.

День за днем он сползал с кручи к дороге через перевал и, насмотревшись на нее, поднимал голову к поднебесному джайляу, выцветшему к осени и запятнанному ранним снегом, на высокой горе Асы. Бахтыгул глядел на нее покрасневшими глазами, щурясь от слепящего сияния снега, и не понять было, слезятся они или поблескивают холодно.

Бог свидетель, он не хотел того, что задумал, как не хотел прежде ни громкой достославной барымты, ни тайного бесславного конокрадства. Его привели на край, и он без оглядки обнялся со смертью, ступив в Талгар. Ему суждено было воскреснуть. Стало быть, он не выпил еще своей чаши до дна. И он готовился допить последнюю каплю здесь, на Караш-Караше!

Караш-Караш — сплетение трех хребтов, скалистых, гологоловых, опоясанных сосновыми и еловыми лесами. Главный Караш, Средний Караш, Нижний Караш... Черные горы, аспидно-траурные скалы, вечно темные лесные дебри... Перевал здесь высокий и трудный, но единственный во всей округе. Летом на него медленным шагом взбираются караван за караваном — в Бурген, в Челкар; с бляением и ржанием рекой текут стада и табуны вверх, на манящие травы джайляу. Теперь, серой осенью, в самый канун метелей и белых лавин, редкий путник проскочит перевал, понукая коня и озираясь, не видно ли волков, спускающихся следом за скотом на равнины.

Один Бахтыгул не уходил отсюда. Он знал, что здесь его судьба. И ждал, глядя на дорогу.

Выбрал он Средний Караш. Облазил, обшарил все кругом, каждую щель, каждую извилину, обнюхал горы, как пес, и знал их наизусть, как мулла книгу. Он искал место, где бы он мог возникнуть, словно из-под земли, и тотчас провалиться сквозь землю. Он нашел такое место.

Дорога вилась по склону каменистой лощины и вела путника широким полукругом, открывая его издалека. Ближе к перевалу дорога взбиралась по краю обрыва, вдоль отвесной стены. Здесь, встретившись, можно было разминуться, только держась друг за друга. Против

дороги, по другую сторону лощины, на остром хребте росли, тесно прижавшись друг к другу, словно из одного корня, три старые осины. Сразу же за осинами начинался головоломный спуск, покрытый бородавками красных скал, на которых могла удержаться лишь коза. А у подножия — темный лес, в нем легко укрыться и пешему и конному.

Эти осины на крутизне, их матово-серебристые стволы подолгу любовно ласкал Бахтыгул загубелыми озябшими руками, приходя с рассветом к перевалу.

С тоской, без надежды оглядывал он мир, в котором жил. Осеннее небо все чаще заволакивала грязно-серая мгла. Далекие седые вершины покрывала чалма облаков. Угрюмые тени ложились на каменный лик гор, и даже в полдень хребты и пики хмурились, супили мохнатую бровь, как будто и они были чем-то недовольны. Кругом могильная тишина. В свете зари, прорывавшемся из-под синих туч, дорога против осин густо багровела, словно набухая, и казалась окровавленной. Красные пятна мерцали на окрестных скалах.

— Пусть будет так, коли так... — шептал Бахтыгул и закусывал ус.

Иногда в ясные дни он поднимался повыше над перевалом, чтобы вздохнуть пошире, освободиться от гнетущего груза на сердце.

Далеко на юге, в солнечной стороне, виднелась хвойная щетина леса Сарымсақты. Отсюда она походила на круп могучего коня караковой масти. В этом лесу, пахучем, как дикий чеснок, Бахтыгул прятался с краденой кобылой из табуна своих прежних хозяев, и его мутило тогда от смолистого духа, так он был голоден... А было это лишь год назад! Последний год жизни, казавшийся ему поначалу тягостно легким, непривычно сытным...

В другой стороне, прикрывая собой перевал от дыхания студеных ветров, возвышался хребет Назар. Его сивато-пегий горб вздулся, как вена на руке батрака, почерневшей от пота. На хребте также тянулись ввысь, ствол к стволу, вековые изжелта-красные сосны, черно-зеленые ели. Местами они были повалены кронами к вершине, и их изломанные, ободранные каменными дождями ветви и необъятные бурые комли с могучими узлами вывороченных корней напоминали потемневший от времени скелет древнего батыра. Лежит он и тлеет, и под ним ничего не растет.

А выше, над хребтом и над облаками, вечно сияла нетронутыми девственными снегами и льдами вершина Ожар. Старая седая голова, и названа Ожар — то есть Дерзкая. Она и по ночам ясно белела в небе, и подчас казалось Бахтыгулу, что она манит, влечет его своим величавым и неукротимым видом туда, на дикую грозную высоту, где нет жалости, где все холодно-жестоко.

Да, она говорила с Бахтыгулом, эта заоблачная ледяная голова, как будто задумала с ним одно, как будто поняла, что на сердце у одинокого загнанного человека, который отчаялся жить на любимой, родной ему отчей земле.

Выдался теплый безветренный день. Бахтыгул стоял над перевалом, безмолвно говоря с белоглавым Ожаром, как вдруг что-то заставило его обернуться. Он осторожно присел под скалой, беспокойно осматриваясь. И увидел вдаль, на дороге, под мрачноватыми стенами Среднего Караша, плотную черную кучку — всадники.

Они ехали со стороны горы Асы, постепенно вползая в непроглядную тень лощины, словно утопая в ней.

Бахтыгул негромко вскрикнул и, пригнувшись, кинулся по шуршащей осыпи к трем старым осинам.

Подкрался, лег за сизыми стволами, задыхаясь, весь облитый холодным потом. И тотчас оглянулся на Ожар. Белая, ослепительная Дерзкая голова смотрела прямо ему в лицо, словно бы торжествуя, тысячью искрящихся озорством и задором глаз.

Бахтыгул приложил руку к сердцу — оно рвалось из груди, в ушах отдавался колокольный гул. Прищурясь, он взглянул на леса Назара, и померещилось ему, что колючие ели тронулись с места и цепями, волнами побежали вверх по горбтому хребту, подобно несметной рати, идущей на штурм, на последний приступ... Но в следующую минуту ему почудилось иное: там, наверху, не воины... Ели и сосны, по-человечьи вытянув и заломив руки ветвей, в испуге опроретью бегут от него, от того, что он хочет сделать.

Бахтыгул провел рукой по воспаленным глазам, лег грудью на землю, чтобы успокоить сердце, уткнул в нее мокрое от пота, искаженное мукой лицо. Земля молчала, а по ней стелился отдаленный глухой топот копыт.

Бахтыгул тяжело, точно больной, поднял голову. Почти из-под самых стволов осин уходили круто вниз глубокие промоины от горных паводковых вод. Они

походили на морщины, и по ним стекали серые грязные извилистые полосы, точно следы от слез.

Нет, на этой дороге им не разойтись! Бахтыгул до боли стиснул зубы.

— Пусть будет то, что должно быть, — медленно, словно заклинание, выговорил он и выдвинул вперед из-под своего правого локтя длинный ствол ружья.

В голубоватом мареве, словно за прозрачной шелковой занавеской, показались на тонкой дуге дороги кошны — человек пятнадцать.

Это не пастухи и не гонцы, люди солидные. Большинство на шлоходцах, масти коней только светлые, на подбор. Седла и сбруя дорогие и издали тускло поблескивают серебром. Едут господа неторопливо, празднично. В центре — самые полнотелые, впереди и позади — те, кто потощей. Выделяются женщины, разряженные, как в большой праздник. На фоне черных скал режут глаз радужно-цветастые шали с пышными кистями и подолами белоснежных шелковых платьев. Все веселы, беспечны, возбуждены. Через лощину уже доносятся оживленные голоса, залихватистый смех. Там, где дорога шире, едут по двое, по трое в ряд; там, где уже, вытягиваются гуськом. Окликают друг друга, оборачиваются, беседуя, и громко хохочут, откидываясь в седлах. Знатная, богатая, веселая компания!

Бахтыгул, щурясь, закусив губу, искал среди всадников одного... И тихо застонал, разглядев его и узнав! Вот он, гладкий, важный и добродушный, с высоким светлым челом, на знакомом золотисто-рыжем жеребце с белой гривой и белесоватым хвостом, с беленькими бабками. Такая масть зовется игреневою. Конь в масле — жирно блестит, отлив у шерсти огненный, чисто золотой. На этом коне Бахтыгул водил джигитов на барымту... Ох, какой скакун! Ох, какой всадник! Женщины едут вплотную за ним и то и дело подъезжают поближе, шутят, смешат его и сами игриво смеются. Видно, им очень весело.

Внезапный озноб объял Бахтыгула незримыми ледяными лапами. Мушку дергало. Невозможно было прицелиться.

Тогда Бахтыгул опять посмотрел на Ожар... и озноб как рукой сняло. Белая голова скинула с себя чалму облаков и гордо, величаво сияла от маковки до плеч. Бахтыгул увидел в этом повеленье. Наверно, там, в вышине, сейчас бешено свистит шальной, разбойничий ветер, сби-

вающий с ног, подобно потоку Талгар. И Бахтыгул зарычал, словно подпевая ему, сжав тяжелое старое ружье.

Веселая праздничная кавалькада растянулась по тропе над обрывом, под чернокаменной стеной. Близ перевала, на самом ребре, свисая в обрыв, росло несколько кустов смородины. Спелые, сочные ягоды на них были черны, как скалы Караш-Караша. Подъезжая к кустам, всадники один за другим склонялись с седел и очищивали черные ягоды. Лишь тот, на золотистом жеребце, не протянул руки. Но когда он важно проплыл над кустами, Бахтыгул уже твердо держал и вел его на мушке.

Он ждал, когда красивый бай повернется к нему лицом.

Кони, гулко цокая, стучали подкованными копытами по камню. Они подходили все ближе. И вот дорога округло повернула к трем осинам. Перед глазами Бахтыгула мелькнули, гарцуя, ноги светло-серого коня, а за ним открылся и игреневый. Скакун шел спокойно, высоко держа золотую голову и с непередаваемо легкой, плавной грацией вскидывая передние ноги. За спиной бая Бахтыгул увидел закутанную в шаль маленькую фигурку молодой женщины. Это, конечно, Калыш из рода досаев, токал, вторая жена Жарасбая, сосватанная еще в лихорадке выборов. Счастливый муж вез ее в свой аул.

«Стой!.. Погоди...» — сказал себе Бахтыгул. Сейчас не мудроно угодить одной пулей в двоих. Пусть всадник выдвинется вперед.

Красивый бай самодовольно оглаживал холеную бороду, глядя вверх ушей коня, когда Бахтыгул наконец мягко, нежно спустил курок, и в лисьей шубе из синего сукна, в том месте, куда он целился, появилась рваная дырка, и над ней взвилась прозрачная струйка голубоватого дыма. Конь поднялся на дыбы, а ездок повалился навзничь и вылетел из отделанного серебром седла, широко раскрывив полы шубы.

Бахтыгул невольно вскочил на ноги, глядя, как он валится с седла. Смотрели и спутники бая, онемевшие, с трудом удерживая напуганных коней.

Затем Бахтыгул кинулся вниз по головоломному спуску позади осин, прыгая по красным бородавкам скал, подобно козе, и уже в спину себе услышал пронзительный вопль Калыш:

— Ой-бой!.. Бах-ты-гул!

Он вздрогнул, ссутулился и побежал к лесу не оглядываясь.

К вечеру Бахтыгул был далеко от Караш-Караша, но сердце его по-прежнему билось со звоном, как там, у трех осин. Лихорадочное возбуждение не проходило. И хотя было не холодно, его снова и снова начинало сильно знобить.

В синих сумерках ему повстречался незнакомый охотник с тушей архара поперек седла. Бахтыгул окликнул его, остановил, осмотрел его добычу и сказал с недоброй кривой улыбкой:

— Нынче я тоже подстрелил одного архара...

10

Бахтыгул в тюрьме.

Он жив, дышит, ходит, говорит, но непонятно, как он выжил, как удержалась душа в теле.

После выстрела на Караш-Караше родичи Жарасбая подняли на ноги весь род таныс. Городское начальство прислало им на подмогу жандармского офицера. А Бахтыгул не захотел бежать из родных мест никуда, даже в другой уезд не ушел. И его схватили.

Прах и пыль оставил всемогущий род таныс на том месте, где селился маленький бедняцкий род сары. Всего то и было домов двадцать... Танысцы разграбили, растащили все жалкое имущество сары, не побрезговали рваньем, грязными закопченными кошмами, обобрали людишек до нитки, разорили дотла и выгнали их с детьми и старцами с обжитых мест, из Бургена и Челкара, на все четыре стороны. Пустили по миру и Хатшу с малышами.

Бахтыгул ждал нового суда, городского, приговора русских биев.

Хатша работала служанкой в доме состоятельного бия в городе. И жила с детьми, конечно, впроголодь: делила свой харч на четверых...

Выбрав время, Бахтыгул бросился в ноги старшему тюремному начальнику. И через несколько дней открылась дверь — под темный пещерный свод камеры вошел Сеит!

Мальчик остался в тюрьме.

Смирный, задумчивый, молчаливый, он понравился всем заключенным, и казахам и русским, многие подкарм-

ливалл его, отдавая часть своего хлеба. И когда Бахтыгул видел это, у него щемило сердце.

Сосед Бахтыгула по тюремным парам, Афанасий Федотыч, добыл книгу, купил на свои деньги карандаш и пестрой клетчатой бумаги и стал учить Сеита читать и писать, как мулла Жунус. Бахтыгул смотрел на это с благоговением.

Сеит плохо спал, громко, сердито разговаривал во сне и просыпался в слезах. Вскакивал среди ночи, нечленораздельно кричал и дремотно-дико смотрел на лунный свет из зарешеченного окошка, словно соображая, откуда окно в юрте. И днем иной раз сидит, молчит, жует тюремный хлеб, а по щекам ползут желтоватые ячменные зерна слез.

Мальчику довелось увидеть, как около их зимовья схватили танысцы его отца, неуловимого барымтача.

Сеит бился в руках матери, она держала его изо всех сил и в голос вопила:

— О несчастный, смотри, убивают твоего отца, о несчастный!

И теперь, в тюремной каменной яме, мальчик видел все то же: дубины, плети, кулаки, сапоги... Он смотрел, и видел, и бился в руках матери...

Бахтыгул не ласкал сына, не утешал его, лишь изредка будил, когда он начинал скулить во сне слишком громко. Но однажды, рано утром, когда другие спали, а Сеит поднялся и бродил около нар, отец мягко окликнул его:

— Сеитжан... подойди ко мне, сынок... — Он прижал мальчика к себе и уткнулся носом в его еще влажную от слез щеку, словно нюхая ее. — Я долго думал, много думал, и что мог придумать, то и скажу. Милый ты мой, прошу тебя, как старшего сына, не поднимай головы от той пестрой бумаги. Если кто тебя выведет в люди, так только она! Видишь, что со мной случилось, все оттого, что я неученый.

— Ты не виноват... — горячо зашептал Сеит. — Они сами... сами... тебя!.. Я все знаю.

— Не все, родимый, не все. А будешь учиться, баям и биям носы утрешь, и не посмеют они с тобой, как со мной... Глаза у тебя откроются, и ты их другим откроешь. Мне это не по плечу, а ты сумеешь, должен суметь! Всю свою силенку приложи к пестрой бумаге... А больше мне нечего тебе сказать. Нет у меня ни ума, ни учености, чтобы тебе передать.

Слеза сползла по серой щеке Бахтыгула. Он смахнул ее, оттолкнул от себя Сеита.

— Теперь иди к своим бумагам.

После этого разговора Сеит перестал плакать и кричать во сне.

Афанасий Федотыч к тому же был веселым человеком, никогда не унывал. Каждый день он за руку выводил Сеита в тюремный двор, покрытый жухлой травой, на прогулку и бегал с ним наперегонки.

С ним вместе Сеит кипятил воду для отца и других старших. Отец любил чай.

Как-то русский спросил мальчика, подмигивая голубым глазом:

— Что задумался, Сеитка? Весна на дворе... Небось соскучился по аулу? Хочется на волю? А? Чего молчишь?

Мальчик вяло покачал головой.

— Нет, Афанасий-ага... не хочется...

— Будет врать! Не может этого быть.

— Тут лучше, Афанасий-ага... Лучше тут...

Бахтыгул лежал лицом к стене, кусая сивый ус, сжав рукою горло.

«Маленький ты мой... Зрачок мой зоркий...» — думал он о сыне.

Афанасий Федотыч поднял мальчика на руки, прижал к своей груди, и тот не стал вырываться.

— Слышите, что он говорит, братцы? Ах, Сеитка, Сеитка!.. Убил ты меня, ей-богу... И ведь что страшно? А то, что не из книжки он вычитал эти слова! — И Афанасий стал ходить по камере взад-вперед с Сеиткой на груди.

Вот так они и жили, день за днем, ночь за почью.

Тихий, усидчивый и понятливый чернявый мальчик исписал не один лист пестрой бумаги. Афанасий-ага учил его писать, улыбаться и видеть то, что не видел его отец, — свет будущей жизни.

А Бахтыгул ждал. Ждал суда и каторги...

ЛИХАЯ ГОДИНА

ПОВЕСТЬ О БУНТЕ СМИРНОГО РОДА АЛБАН

Глава первая

Было это летом недоброй памяти 1916 года. Было это в предгорной долине Каркара — материнской колыбели казахского рода албан, рода многолюдного, а стало быть, сильного, богатого землей, скотом и трудовыми руками, но известного своим простецким, бесхитростным нравом.

С весны пролились теплые ливни, напоили живительной влагой лоно Каркары, и вымахали травы — на радость чабану и табунщику. Сказочно хороши летовки албан! Не луга — люльки под зелеными шатрами. Они манят и ласкают глаз, они кормят. Купается в травах пастушье племя, встречает торговых гостей.

Каждое лето в Каркаре ярмарка. Один раз в год, но уж во всю ширь, во весь мах. Место знаменитое. Здесь сходятся и сплетаются в узел девять дорог со всех сторон света. Сюда едут купцы из русских городов — от Волги до Иртыша, едут из Хивы, Бухары, Самарканда и Ташкента и даже из Кашгарии и Кульджи. Едут и везут, едут и увозят.

Уже более месяца, как кипит большое торжище в Каркаре. И будет кипеть еще месяца три. С каждым днем оно все пышней, шумней и тесней. Кажется, полна долина до краев, а товары текут и текут сюда днем и ночью, подобно буйным весенним потокам с гор.

Тысячные гурты овец, стада коров, табуны лошадей ржут, мычат, блеют, топчя и потравливая албанские летовки. Каркара изнывает, стонет под тысячами и тысячами копыт. А скот гонят и гонят: киргизы — со снежных гор, казахи — с предгорий, и он уходит в кипящий ярмарочный котел, как в прорву.

По виду торжище в Каркаре — беспечный, разгульный праздник в летнюю пору изобилия, а по сути — денной грабеж, пожива купцу на целый год, нетрудная пожива.

Волк в степи становится против ветра, ловя запахи стада. Издалека схватывает слабое дыхание живого тела с теплой кровью, словно паутинную нить; бежит, крадется, не обрывая ее, пока не увидит глазом то, что учуял носом. Так и купец. Волчий у него нюх и волчья повадка. За сотни и сотни верст поднял да взял купец след человеческого стада албан. И не обманулся: лакомый, жирный кус, люди что овцы.

Кишмя кишат купцы на ярмарке. При свете дня ходит здешнее торжище на гигантского сома-обжору, который разбухает и лоснится от сожранного, а ночью — на хищного ловкого барсука, который пробрался в овчарню и, впиваясь в овечьи курдюки, сосет жирную кровь.

Говорят, умелые руки и снег подожгут. Но с покладистым племенем албан как будто и не надобно такого искусства. Оно, подобно матери-верблюдице, покорно подставляло вымя ненасытному коварному сосуну и словно бы тешилось тем, как щедро поит его своим густым молоком. Купец — мастер доить! По девяти дорогам уезжали из Каркары отборные кони, дойные коровы, курдючные овцы. Мясо и мясо, живое тягло, тонкая шерсть и толстая кожа. Капитал...

Куйрук-бауыр — блюдо из курдючного жира и печени. Чудесное это блюдо — им можно вылечить чахоточного. Оно же богатое угощение для почетных гостей, чаще всего сватов. Ну, а купцы все сваты. Не было в Каркаре торгового гостя, который не нажрался бы курдюка с печенью по уши, до ослиной икоты. Вот почему знали это негромкое место (верстах в ста от города Верного) в торговых городах Сибири и Туркестана, Кашгарии и Китая. На словах — каркаринская ярмарка, а на уме — каркаринский курдюк...

Понятно, с жиру купец бесится. Со временем возмнили себя толстобрюхие, цепкорукие соперниками самой царской казны, и шеи у них замлели от чванства. Возгордились своей мощной, стали поплевывать в колодец, из которого пили, да потаптывать грудь, которая их вскормила. Запоминавали, как, бывало, приезжали в Каркару на одной жалкой повозке. Кивали спесиво на свои нынешние караваны. Высмеивали мудрость здешних простаков, которые нет-нет да и грозили пальцем: не хлопай, братец, дверь, которую еще откроешь... Случается, в годину джута и бескормицы хозяин бросает павшую

скотину псам. Но пес, вскормленный мясом, бросается па хозяина.

Чудесная земля — Каркара, чудо-джайляу. Травы густы и сочны, как масло. Сколько их ни топчи, сколько ни трави, они неистощимы. После дождя луга воскресали. Даже за ночь долина обновлялась, удивляя поутру чистотой и свежестью, зеленым блеском жизни. Большая Каркаринка, светлая река, вилась по долине, ее вод хватало земле, скоту и людям. Право, это место бог создал для ярмарки!

И все же долготерпенье здешних хозяев истощалось. Таяло стародавнее пастушье смирение. Казалось, разлилась желчь, и молоко Каркары начинало закисать.

* * *

Знойный июль. На ярмарке пыльно. Подобно паршивой коросте, она облепила излучину реки. В самом центре базара на высоком шесте колышется белый флаг с двуглавым орлом. Тут власть, сила, которая вершит и правит, тут ненависть.

Главный и вседержавный под этим флагом и далеко окрест — пристав, тучный человек с воловьей шеей, обвешанный от плеч до пят оружием и прозванный Сивым Загривком. При нем его подручные, казахи-толмачи, тоже пузатые, распухшие от сытости.

Сивый Загривок глядит грозно, толмачи — двояко: на господина пристава — блудливо, точно младшая жена, осквернившая супружеское ложе, на прочих — свысока, надменно, с алчностью хорька. Заняты пристав и его слуги одним делом и в том деле без слов понимают друг друга. Не зря самого ловкого, самого близкого к печальству толмача зовут Жебирбаев, что значит Обиралов.

Они берут у всех, кто подвернется под руку: у простого люда и волостных управителей, у пастухов и купцов. Ярмарка — длинный рубль, то бишь большая взятка. Не далее как вчера Жебирбаев отправил в свой аул три сотни овец и полсотни голов крупного скота — через родню, кружившую поблизости, как воронье над падалью. Но это лишь закуска... При Сивом Загривке, богоданном и обожаемом, Жебирбаев хлебал и солоно и жирно.

Вот и нынче в канцелярии господина пристава привычный шум. Сивый Загривок пробирал трех казахов, он топал ногами, весь в поту. Их благородие был в состоянии

вдохновения. Потому и лик у Жебирбаева такой ледяной. Толмач словно видел и не видел просителей. Так порочная молодуха на глазах у супруга верпа ему всей душой. Так натасканный пес в час охоты опережает хозяина.

— Дурачьё! Олухи царя небесного! — кричал пристав. — На кого вздумали жаловаться! Кто вам, скотам, возит товары? Да не будь ихнего брата, купца, — бежать бы вам по всякую всячину за сто верст, в город Верный. Скажите на милость — отравил купец ваши земли... Как это понять — ваши? Земля-матушка — царева! И скот купецкий — царев. И сам купец — белому царю покорный слуга. От него польза и вам и казне. Экую взяли волю — купцу не пасти скот! Я тебе покажу, сучий сын, волю! Сгною в тюрьме!

Толмач с почтительным и угрожающим придыханием переводил речь пристава.

— Таксыр... каспадын... ваша-родей... — сказал истец постарше, седой Хусаин, коверкая от большого усердия и русские и казахские слова. — Но ведь и мы тоже слуги царя... Но ведь и наш скот — царев скот...

— Ма-алчать! Не рассуждать! Ну я вас закатаю... Всем по месяцу каталажки...

Пристав схватил бумагу, перо и, гремя шашкой, скрипя портупеей, вывел на листе страшное слово и тут же прорычал его сквозь зубы:

— Пр-рото-кол!

Невдомек пастухам, какой перед ними искусный шут. Теперь, казалось, и взятка не поможет. С немой надеждой они смотрели на толмача, ища в земляке поддержки. Но тот воззрился на бумагу со страшным словом, благоговейно открыв рот, играя в ту же игру.

Истцы переглянулись и опустили глаза, точно невесты. Разобиделись пастухи... Они пришли сюда искать правды, закона. Руки сложив, темя показывая, смиренно пришли, как на божий суд. За что же им месяц тюрьмы?

— Выходит дело, — сказал самый молодой из троих, Картбай, обращаясь к своим, — раз я пастух — значит, виноват? Всякий наговор — уже вина! Что же, я раб безответный? Этот купец, казанский торгаш, брешет на нас бессовестно, а нас и слушать не слушают!

— Хватит! — оборвал его толмач. — Знаем, каков ты смутьян... Слышали...

Однако и старый Хусаин не сдержался:

— Куда ж нам податься? Ваша-родей! Вразумите... Разве так можно править народом? Вот что мне непонятно.

Пристав, подскочив к старику с кулаками, стал их совать ему в бороду.

— Безмозглые! С-старый пес! А это тебе понятно?

— Как не понять, — сказал молодой Картбай, глядя прямо в глаза приставу. — Умней некуда! Каков правитель, такова и управа.

Старик все же придержал его за рукав потрепанного чапана: не перебирай, мол. А пристав побагровел, ноздри его раздулись, как у коня на байге.

— Ты... образина! А вы что вытворяете? По какому такому пр-раву избили у того купца... Мухаметкерима... его слуг? Ты кто такой — чинить самосуд? Я тебе покажу самоуправство... Запру на тюремный замок, живо образумишься!

И пристав кликнул казаков, куривших из кулака тут же за дверью, в сенях и на крыльце.

Картбай усмехнулся. Подталкиваемый двумя конвоирами, сказал дерзко:

— Я вас не боюсь, в ногах валяться не стану... Само собой — купец-богатеи не нам чета, вот и вся недолга. Нехитрая ваша наука.

Но пристав его не слышал. Пристав слушал себя.

— Убрать! Увести их! Заморю голодом... Я из вас дурь выбью... — кричал он уже в спины старому Хусаину, Картбаю и третьему, молчаливому, так и не вымолвившему ни слова.

Когда же их увели, Сивый Загривок тотчас успокоился и сел, пыхтя и отдуваясь, с самодовольством поглядывая на толмача, словно спрашивая его: ну? каково?

Жебирбаев метнулся суетливо и согнулся в безмолвном поклоне, что означало восторг, преклонение и растерянность перед талантами их благородия. Пристав любил такое усердие.

— Разбойники, — сказал толмач удрученно. — Да если каждый будет замахиваться на купца... Да что станет с ярмаркой! Надо, надо проучить этих глупцов албан. — Сам Обиралов был из другого рода.

— Не-ет, шалишь, попляшешь у меня. Ни за какие коврижки не выпущу! — проговорил пристав и тут же, заметив подобострастную улыбочку толмача, добавил кратко: — За сто рублей! И кончен разговор.

— За сто двадцать, ваше благородие... — вкрадчиво поправил толмач, и Сивый Загривок сразу же его понял.

Купец Мухаметкерим побывал в канцелярии пристава, разумеется, раньше троих каркаринцев. Он тоже жаловался. Его овцы, пажитые на ярмарке, травили луга окрестных аулов, потому как где же им еще пастись? Одна из отар набрела на аул Картбая и старого Хусапна, объела травы до самого очага, смешалась с овцами хозяев. Хозяева вышли было с миром, с увещеванием, по байские пастухи — парод балованный, самовольный. Чем богаче купец, тем отважней его холуп. Попробуй их усостыжить! У них на все один ответ — так твою и так... Это великие охотники и умельцы материться. Ну, вышла стычка. Картбай выбрал самого нахального и намял ему бока. Другие ускакали. А почтенный Мухаметкерим поспешил в канцелярию, имея при себе конвертик, а в том конвертике восемьдесят рубликов. Конверт он вручил, прощаясь. Мог бы вручить и здороваясь. Нет еще того соображения. Тем не менее купец свое сделал.

А вот те каркаринцы будто с луны свалились. Будто им невдомек, что к их благородию с пустыми руками не суйся, на глаза не показывайся.

Как водится, господин пристав уважал обе стороны. Его справедливость имела два лица, ибо от природы ему даны две длани. Не глупо ли, в самом деле, принимать сторону одних, когда есть противная сторона! Ни тех, ни сих не обойди. Таков порядок, непонятный только дурням в этой степи.

Впрочем, Жебирбаев порядок знает. Казах-степняк под замком не усидит. Это для него хуже смерти. Упрутся трое ходатаев — не выдержит родня. Кинется выручать. Тогда-то сведущий толмач внушит им азбучные истины: в каком разе берется восемьдесят, а в каком — сто двадцать.

* * *

На очереди у пристава было другое дело, необычное, оно много важней ярмарки и всех иных дел. Поначалу их благородие струхнул малость, поскольку дело было не по статье торговли, а по статье той самой — пронеси, господи, — политики. Касалось оно военного ведомства, и, может быть, впервые в своем азиатском захолустье господин пристав задумался над тем, что Российская

империя уже два года тащит кровавое ярмо нескончаемой войны с Германской империей. Вдруг война словно приблизилась к здешним тихим краям, а рука у военного ведомства тяжелая... Однако и на сей раз пристав рассудил по-своему.

Хитрая ухмылка расплылась на его губах, он посмеивался в усы. Что это он оробел при своих двадцати годах службы в степи? Случай, правда, нерядовой и небывалый... А взяться умеючи — быть бешеным барышам! Похоже, что так. Вот когда местный род албан у него в руках — и голытьба, и знать, и богатеи.

А дело было такое. Утром сегодня подоспела казенная почта и пришла гербовая бумага в форменном пакете под сургучными печатями. Указ государя императора, белого царя.

По правде сказать, не все тут было ясно. Начиная хотя бы с замысловатого титла... О реквизиции инородцев на тыловые работы по военной надобности. Неслыханное занятие. Но ясно одно — указ! Здесь, в дикой степи, он подобен воле божьей.

Сивый Загрявок умел толковать законы. Закон состоит из артикулов, меж ними пробелы. В этих пробелах — самая соль. Они подобны рытвинам да ухабам на прямой дороге. За такой малой рытвинкой можно верблюда спрятать, человека убить, вырыть золотой клад. Ну, а царский указ — всем законам закон. Пред ним все прежнее мелочь, гроши.

Пристав поманил пальцем толмача, показал ему бумагу с двуглавым орлом. И затрясся от сдавленного смеха, увидев, что изобразилось на его сладкой роже. Жебирбаев словно верил и не верил негаданному счастью; заплывшие его глазки, казалось, подмигивали друг другу. Пристав кивком укрепил его веру. И сам в ней укрепился.

Правой рукой пристава был урядник Плотников, долговязый сухопарый казак с длинной раздвоенной бородой, всей своей статью напоминавший борзую. Урядник Плотников свободно говорил по-казахски и был недреманым оком начальства на ярмарке. Это око мигом находило виноватых — сколько их благородию надобилось. Ему первому из русских чинов пристав дал в руки царский указ. В русской грамоте Двухбородый был не силен, в бумагах не разбирался и понял только то, что начальство довольно и до поры до времени следует держать

язык за зубами. На радостях он высморкался, делая вид, что прослезился.

Осведомил пристав и чиновников — судью, следователя, надзирателя, и они, разгуливая по пыльному базару, то и дело сходились вместе, чтобы обменяться лукавыми усмешками, поскольку все они плели одну паутину.

Пожалуй, дальновидней других был следователь — недаром носил очки с толстыми стеклами. Он лучше знал казахов.

— Новое это дело для степняка, непривычное. Недурно бы посоветоваться, под каким соусом его преподать.

— Извольте! Советуйтесь... А я слуга покорный! — возразил пристав. — У меня — живо!

— Собственно, и я не охотник мешкать. Но здешний народ — как скот, полудикий, необъезженный. Привык весьма вольно кочевать по степи и потягивать себе кумыс.

— Вот и нужно его по шеям, сударь мой, чтобы и головы не поднял. Чтобы и не вспомнил про разные там соусы... Мы станем советоваться — и их обучим. Не дать рассуждать!

— Положим, это так. Положим, вы правы...

— Ну, так и с богом! — перебил пристав. — Вызовем волостных, объявим указ, и без разговоров! Никаких поправок, ни малейших проволочек. Исполнять бегом, не дыша. Думать только о том, как бы поживей да попроторней. А понадобится, видите ли, совет — я к вашим услугам.

И Сивый Загривок с удовольствием сжал толстые пальцы в кулак.

Следователь промолчал. Он видел, что на самом деле пристав отнюдь не так спокоен, как старался показать. Недаром, призывая собрать волостных, пристав назвал первым имя Рахимбая. Этот господин был не столь умен, сколь оборотист, из самых ретивых и угодливых.

* * *

Ярмарка — великий сбор господ и слуг. Здесь живут тесно, как в городе. Все влиятельные, знатные, власть имущие из рода албан толкуются на ярмарке постоянно, а при них — несметная свора прихлебателей. Заняты они куплей-продажей, но чаще бездельем и тайными кознями.

Иные, развалиясь на коврах в своих богато убранных юртах, пьют хмельной кумыс, играют в карты, а иные с утра до вечера в чайханах едят сурпу, узбекские манты, прихлебывают зеленый чай, беседуя с жаром пророков, с достоинством козлов.

Обыкновенно волостной управитель держится в своей волости удельным князьком, таким чистопородным вожаком-бараном с крутыми рогами и большой мошонкой. Здесь, среди себе равных, а то и старших чином, волостные выглядят скромней. Не так орут, как дома. И вроде бы не так самоуправствуют. Однако при каждом непременно свита. Повсюду неотлучно толмач, и, конечно, посыльный с нагрудной медной бляхой размером покрупней, и, на худой конец, хотя бы один-два аксакала видом поосанистей, побогаче. Без них волостному срамно показаться, как женщине без нескольких юбок. Все же при волостном печать! А она равнозначна рогам и мошонке у барана.

Первейшее и излюбленное дело у этих людей — интрига. Все они политики, а на ярмарке все начальство. Этот на короткой ноге с урядником, а тот и с самим приставом... Любая распря, склока, неурядица разрешается в конечном счете там, где русский чиновник. На одного навлечь гонение, другого прикрыть, запутать умника, обмишурить глупца — вот где раскрывались таланты волостных и их подручных. От века так было: там, где волостной, всегда свара, мутная вода, а в мутной воде рыбка.

У волостного Рахимбая была репутация дельца изрядного. Он был моложе других и худо-бедно, а все же балакал по-русски, умел потрафить и был ближе к начальству — это придавало волостному особый вес. Случалось, сам пристав окликал его по имени, подавал руку, приглашал на чай. Это дороже денег! Считалось, что Рахимбай вхож в дом пристава, и на ярмарке Рахимбая знали все, толкали друг друга локтями, когда он появлялся. Вот за что Рахимбай почитал пристава, вот за что любил. И уж по ярмарке ходил индейским петухом, совал нос в любое дело, всем покровительствовал, всех поучал, благо язык у Рахимбая был без костей.

Посыльный пристав застал его на людях, в узбекской чайхане, где он обедал, по обыкновению, за чужой счет. Был он в тот день на базаре с женой и сынком, баловнем, и как раз попался ему на глаза старшина

одного богатого аула из родной волости. Пришлось уважить человека, сделать ему одолжение: «Э... видишь, моя жена... хочет отвесть манты... для того только и приехала... Так что поворачивай коня — угостишь нас узбекскими мантами!» Это было у Рахимбая в обычае. Ну и засели в чайхане, и пошли манты, сурпа, кумыс и лганье, бахвальство самое несусветное.

Тут-то и подоспел посыльный — от самого пристава. Объявил — зовет его пристав... Рахимбай постарался, чтобы это услышала вся чайхана. Знай, мол, жена, знайте все, с кем мы знаем.

— Седлай коня! — скомандовал он старшине и с важным кряхтеньем стал подниматься. — Что-то мне хочет сказать мой старый друг?

Когда Рахимбай прискакал, все волостные были в сборе. Но он, никого не замечая, прошел прямо к приставу, хотя тот был нынче мрачноват. Хмурились и урядник Плотников, и четырехглазый следователь.

— Здрасти...

И Сивый Загривок на миг будто бы посветлел.

— А, прибыл наконец. Садись, садись.

Тотчас посветлели и толмачи и за руку поздоровались с Рахимбаем, единственным из волостных, поскольку с ним одним здоровался пристав.

Рахимбай, надув шею и страшно кряхтя, словно собирался по меньшей мере снести золотое яйцо, уселся.

Сегодня у пристава тесно. Волостных управителей десятеро, а всего — с биями да аксакалами — человек пятьдесят. Многие сидели на полу, держа шапки в руках.

Пристав встал. Он медленно багровел от натуги. Голос его был неестественно зычен, но речь невразумительна. Из всего начальства Сивый Загривок самый недалекий. Хоть он и грамотней урядника Плотникова, но не гораздо ученей... Не умудрил господь говорить речей.

— Война, милые мои, война, — начал он. — Надобно и нам с вами посылно посодествовать... Об том царь-батюшка и повелевает... Это не дело — распивать кумысы, когда тут, изволите ли видеть... война! Все государство терпит лишения, кровь проливает... По сему случаю прибыл высочайший указ. Па-пра-шу встать! Оглашаю указ государя императора...

Указ оказался тоже недлинный.

Жебирбаев должен был его перевести, но он был натаскан по части взятки, а в прочих занятиях — ни в зуб

погой. Кроме того, Жебирбаев не из рода албан, его слушали бы с подозрением.

Следователь предложил своего толмача по имени Оспан. Этот человек был в хозяина — умней и приличней других, имел почтенный вид и даже добрый нрав. Как и все толмачи, он паживался при начальстве и в том находил вкус жизни. Он не забивал себе голову такими праздными вещами, как убеждения или мысли. Никакой такой суеты не было в его сердце. И все же благолепие, обходительность украшали его. Хорьки злобны, а лисы, пожирая курицу, улыбаются.

Последнее время слышал он краем уха, что где-то там в Казани будто бы издается казахская газета и будто бы она печется о делах степняков. От этих слухов он отмахивался, как пес от слепня, а то и клацал зубами, поскольку слепень неотвязчив.

Указ его не слишком обеспокоил. Больше его тревожило то, что начальство не в духе. Он и старался угодить, не осрамиться. А что за страсть он переводит — не задумывался.

Толмачил он хорошо, понятно. С ясной, светлой, добродушной улыбкой. Чего указ требует? Немедленно, спешно сдать властям джигитов. Спрашивается — каких? Написано: в возрасте от девятнадцати до тридцати одного года, не моложе, не старше. Для чего? Для нужд фронта. Сказано, однако, что воевать они не будут. Понимай — с оружием в руках. А будут они заняты на тыловых работах. Будут в тылу. Так точно и указано, слово в слово.

Одна лишь заминка вышла на слове тыл. Где это страхолюдное место? Какой оно волости, уезда? Уж не так ли теперь именуется, спаси аллах, тот край, где на собаках ездят, — Сибирь?

Тут толмач слукавил — с поклоном, с извинением повернулся к господину следователю. Начальству приятно, когда ты в затруднении. Начальство знает, что ты не можешь знать того, что оно знает. Улучи момент, покажи внезапно, со стыдом, а то и с детски наивными глазами всю свою тупость, истинное свое ничтожество — не проиграешь. Умней начальства только круглый дурачок, блаженный слепец...

И мудрый Оспан споткнулся на малознакомом военном слове. И погрузился в раздумье, услышав от следователя, что их родная Каркара, представьте себе, есть тыл!

Когда же толмач закончил, оторвал взгляд от бумаги, он увидел то, чего еще не видывал в канцелярии пристава. Пожалуй, ни одна бумага из тех, какие Оспану доводилось держать в руках, так не ошарашивала людей. И это ему льстило.

Никогда прежде не было здесь так тихо. И так темно, как будто солнце затмилось. Все были ошеломлены, и господа и слуги, и, кажется, не менее прочих само начальство. Волостные, вылупив глаза, не мигая уставились на пристава и толмача; в глазах только испуг. И те и другие онемели. Даже румянецкий Рахимбай побелел и словно разом отоцал; шея — как у опущенной курицы. Страх клубился в воздухе, подобно табачному дыму. Сливый Загривок внушительно топтался на месте, скрипя сапогами и портупеей, но, видать, и он опешил.

Так и стояли и молчали...

Хороши были волостные в этот постылый час. На последних выборах как будто бы подобрали деятельных людей, молодых, не старше тридцати; многие из них кумекали по-русски. Бойко они распоряжались, но они ли правили? Ни одного настоящего дела не решали без родовитых, богатых баев, которые и сделали их, молодых да прытких, волостными управителями.

И теперь все они мысленно спрашивали тех, старших: как быть? что отвечать? Строили догадки. И каждый ждал, что скажет другой. Десятеро... при десяти печатях... А ни у кого ни совести, ни воли. Все поджали хвосты.

Пристав густо откашлялся и со значением посмотрел на следователя, приняв трусость за послушание.

— Так вот, указ, — сказал он. — Незамедлительное выполнение! Указ царский. Так что сами беритесь за списки. Все иные дела побоку и в сторону. Докладывайте списки джигитов на реквизицию. Спрашивать буду лично по всей строгости закона военного времени. Война-с, господа управители, война-с!

Волостные зашевелились. Понутив голову, они исподтишка переглянулись и вроде бы перешептывались. И казалось, что они скалятся друг на друга и шипят.

Нашелся, однако, один, обретший человеческий язык. Это был Аубакир. Он тоже из молодых, да не этого десятка. Лицом бел, бородка клинышком, взгляд острый, с прищуром, дерзкий взгляд. Нравом горяч. Говорит не церемонясь, без околичностей, хоть без начальства, хоть

в глаза начальству. С этим молодцом пристав столкнулся раза два и люто его невзлюбил.

Ждал пристав, что ответит ему Рахимбай, но ответил Аубакир:

— Указ нам огласили. Мы его выслушали. Но мы не знавали такого указа. Он как гром на нашу голову. Почернели мы до пят от этого грома. Казах, сколько ни живет на белом свете, не видывал, не слыхивал такого слова от царя! Что мы можем сейчас сказать? Пошлите нас к народу, будем советоваться с народом. Разве это не так? Разве это не нужно?

И сразу же точно прорвало: хором загалдели все остальные, перебивая друг друга. Все подняли хвосты.

— Так... точно так... Правду говорит... Разве неправду? Что тут еще скажешь? Вдруг с бухты-баракхты... Советоваться! С народом!

Теперь следовательно со значением покосился на пристава, а Сивый Загривок позеленел.

Такого галдежа, такого разврата он не упомнит в своей канцелярии за двадцать лет беспорочной службы. Он ли не знал этих скуластых, черномазых как облупленных? Бай вечно кивает на дядю, когда с чем-либо не согласен, и уж этого дядю хвалит либо бранит с жаром. Это Сивый Загривок знал. Но знал он и другое. Всегда сыщется да выскочит какой-нибудь рахимбай и поклянется за всех других: будьте покойны, не подведем, исполним!

Где же этот шельма Рахимбай? Вон он — прячется за спинами других... Каков гусь! Вроде бы он впереди всех и вроде бы нет его вовсе... Разрывается — хлопочет, подталкивает других, а сам ни гугу... Нынче от него почина не жди.

Пристав искал взглядом еще одного, другого. Повел этак начальственной бровью... Те ели его глазами, как солдаты в строю, но языки проглотили.

Экая досада, однако. Такой счастливый случай! Кажется, привычное, законное дело: приструнить, настрашать — бездонные карманы наполнятся, поспевай брат. И вот на тебе!

Такой смиренный, спокойный, покладистый народец, тишайшее племя во всей бескрайней безгласной степи... Посмотришь — раб, пастух сиволапый, вроде бы не богомолен, а бабу не бьет, при старце не сядет, трезв, песни

складывает каждый третий! Дерн с него шкуру — поет, бренькает на своей домбре... А уж эти, эти-то господа, холопы души... Советоваться, видите ли, с народом!

Будто подменили. Не узнать.

Доныне Сивый Загривок знал одну силу — высшую, богоданную, самую страшную. Стало быть, есть еще другая сила? Неведомая бесовская, и она страшней его силы, а значит, всего на свете?..

Это была даже не мысль, не догадка, а внезапное ощущение, и пристав содрогнулся от этого жуткого для него ощущения, а следом за ним, глядя на него, содрогнулись следователь и урядник. От них не ускользнуло то, как пристав поднес к груди ладонь, сложенную щепоткой, и мотнул ею, как бы незаметно, произвольно крестясь. «Ужас... ужас...» — мысленно бормотал следователь. Этакого конфуза и он не ожидал.

Аубакир... Теперь на него были обращены все взгляды. Волостные жались к нему, точно к аксакалу... Опасный человек. Вот кого надо к погтю. Давно уже он у властей на примете, а все-таки недосмотрели. Попустительство.

— Да-с... Вот, значит, как... — сказал наконец пристав. — Порадовали вы меня, право, порадовали. Это вам зачтется, господа мои! Сколько лет служу, на моей памяти ни вы, ни ваши люди ничегошеньки перед царем-батюшкой не заслужили. Так-то вы верны, так-то служите государю императору! Запомню, господа, запомню. Ну, что ж... так и быть... разрешаю... Даю вам три дня сроку. Езжайте по домам, советуйтесь. Хоть с чертом лысым, хоть с овцами да баранами, извольте, сделайте милость... Но чтобы через три дня списки были у меня здесь на столе! Через три дня — списки! Иначе — пеняйте на себя. Я лишних слов не люблю-с. Да-с! И баста. Кончены разговоры... Езжайте!

Расходились молча, словно из дома покойника. Рахимбай и еще двое, те самые, на которых пристав рассчитывал, стали пробираться к нему, показывая, что они не как иные, они его люди, его уши, его глаза. Каждый из них надеялся услышать от пристава особое доверительное словцо.

Однако сегодня Сивый Загривок был неласков. Лишь Рахимбаю бросил на ходу через плечо, углом рта:

— Сма-атри у меня! А ты туда же... ловчить? Я т-тебя, братец!..

Глава вторая

Мишула короткая ночь, настал черный день. Наутро об указе знали везде и всюду, стар и млад. И поднялся над аулами женский вой, детский плач. У всех на устах были уродские и страшные, необъяснимые слова: реквизиция... тыл... Старики сокрушались, а молодые поглядывали в сторону Алатау, на его ущелья и леса. Надсадно ревел брошенный без присмотра скот. Из края в край скакали гонцы, хлеща коней плетями, а людей дурным ошалелым криком. Слухи были один другого нелепей.

Около полудня в слепящем знойном небе над степью пронеслась одинокая туча. Она походила на сломанное обвисшее крыло дракона. А под тучей от земли до неба взвивался и раскачивался клиноподобный вихрь без грома, без свиста, устрашающе беззвучный. Когда туча была над лугами, срывались и взлетали ввысь травы, когда над рекой — ввинчивался в небо чудовищный сосок воды.

Смерч прошел над ярмаркой, мгновенно вздув столбом песок, пыль и мусор, срывая крыши, ковры и кошмы, валя и расшвыривая прилавки, коновязи, повозки, унося во все стороны шкуры, ситцы и шелка, взметнув выше птичьего полета пятнистую мелькающую игривую занавесь гребней, зеркалец, ниток и посуды. И пошел гулять далеко в степь, до Кегепа, и дальше до Туза, и там внезапно рассеялся и исчез.

Но уже к вечеру по всей округе, во всех аулах, на всех летовках узнали, что над Каркарой было знамение. Под видом июльского смерча прилетал дух великого предка. Он явился, чтобы заступиться за безвинное и беззащитное племя албан.

Сведущие люди толковали знамение так. Это было внушение: приставу — «не обижай, не гони моих людей...», а людям — «уверьтесь, не дам в обиду...». И многие люди слушали знатоков и верили. Поздравляли друг друга; объясняли со слезами умиления: освобождают! отменяют указ! не погонят джигитов!

Ярмарка опустела. За целый день ни один казах не купил коробка спичек. Замерло громадное торжище, уснуло, как в сказке.

Не дымилась пекарни. Не благоухали маслом, тестом и мясом манты. Торчали порожняком чугунные котлы, медные чайники. Словно водоросли в заболоченном озере, висела конская сбруя, никому не нужная, непонятно, для

чего предназначенная. Осиротели в лавках ткани и платья, подобно одежде покойника, к которой казах не притрагивается целый год. Ни одной живой души у прилавков, ни одного коня у коновязи. Все девять дорог с ярмарки, со всех сторон света точно вымело. Мертвые дороги, загадочные, голые, как тропы в пустыне. Тишина удручающая, сонная одурь.

Только чрево несытое купецкое урчало. Бесились купцы, ругали, кляли этих простаков, глупцов, этот убогий народ. И что за дикость! Вчера тут топотали, ржали десятки, сотни верховых коней, лавки трещали от люда, но протолкнешься, не продохнешь. И не одно мужичье — старухи, молодухи, девки, смешливые такие дурочки; они платили, сколько ни запросишь, не торгуясь. Нынче забрел бы случаем беспорточный батрак, принес бы хоть завалищый клок шерсти, хоть сырую шкуру... Спросил бы хоть пшалушку для починна... Даром бы отдали, проводили бы с поклоном.

Куда подевалось вчерашнее благодущие и щедрость, щедрость уморительно деликатная, словно смущенная тем, как она недостаточна, ничтожна? Все сторонятся ярмарки, как сточной ямы, а купца — как зачумленного. И у последнего оборвыша, который вчера стеснялся поднять на тебя глаза, сегодня во взгляде, в сжатых губах, во всей осанке такое презренье, как у хана при виде черни. Как будто разом все постигли, откуда их беды и кто они есть на этой земле...

Между тем в степи, в цветущей Каркаре, не стихали плачи и причитанья, моления и заклинанья. Дурные и добрые вести сменяли друг друга с быстротой ветра и опадали, как осенняя листва. У каждой летовки были свои пророки, и люди внимали им с жадностью, с безотчетной надеждой. Но как ни верили в духа предков, знали, видели: ни с вечерней, ни с утренней зарей не кончится черный день.

Нет, не минует это бедствие, не обойдется само собой, как мечтали, как гадали...

* * *

Тогда пошли люди к Узаку и Жаменке.

Узак, невысокого роста крепыш с седеющей бородой, был батыр. В каменной груди у него билось храброе сердце. А кто знал, тот знал, что у батыра Узака к тому же разбитое сердце.

Жаменке — аксакал. Ему за семьдесят, но он еще выглядит орлом. Это красноречивый человек, за ним всегда последнее слово, однако спорить он избегает, в споры ввязывается лишь по крайности, как бы уходя в себя, предпочитая размышление.

Немногословен и батыр Узак, не любит длинных речей и мастер оборвать болтуна. Скажет — как отрежет. Слово у него — как кол.

Батыр Узак и Жаменке — давние друзья. К ним-то и стекались люди имущие и неимущие; шли с утра до вечера из Кары, Лабаса, Сырта...

Уже был съеден жертвенный скот. Прежде всего, понятно, принесли жертву с усердной молитвой. Так поступают, когда захворает родич, когда нет дождя; просишь у бога даянья — воздай ему сам. С этого и начали совет — на холме Танбалытас, близ аула Узака.

Узак молчал. Целый день он слушал одного за другим всех, кто пришел к нему. Но он слышал лишь жалобы да сетования. Сплошной стон. «Жили как умели. Жили да жили... А тут конец света». Никто не мог сказать ничего дельного, даже один почтенный старик, который дольше всех говорил.

Узаку опостылело празднословие, он плюнул в досаде.

— Ты перестанешь, что ли? Плачешься, как вдова по покойному мужу. Не я выдумал этот указ, нечего передо мной распинаться. Ступай поплачься перед приставом. Держу я тебя, что ли? Или говори дело.

Крутой нрав батыра известен. Но по тому, как он оборвал седобородого, как угрюмо насупил брови и сверлил людей маленькими зоркими глазами, было ясно: и он не в себе. Что-то он замышляет и чего-то ждет от собравшихся. Он себе на уме. Но, видать, и ему трудненько... Понимал это и Жаменке и не мешал Узаку собраться с мыслями и найти в людях то, что он искал.

Однако все ждали их слова. Албаны как дети — любят ласку, но утешать нынче грех.

Долго длилось молчанье, терпеливое, покорное и тем более тягостное в такой день, в такой час. И вот заговорил Жаменке:

— Мы, албаны, младенцы. Тепло нам, уютно у материнской груди... Немало я прожил, есть и постарше меня, но на нашем веку мы не помним джута на Каркаре или мора на скот. Не бывало и мора на людей. Как ни теснили нас, чего ни сносили мы, видит бог, оказывается, золотое

было время! Нынче обходит нас счастливая доля. Хлынула на степняка беда. Вон она, батыр, вон она над нашей головой! Не обессудь — когда переходят реку вброд, больше всего грузят на большого верблюда. Хочешь не хочешь, подставляй горб. На тебя первого бросится двуглавый орел... в обличье того Сивого Загривка... потому что к тебе пришел народ. Мы знаем: не о себе думаешь. К чему оно нам с тобой, наше благополучие, если народ, народ в тупике! Кто ему укажет путь? А теперь... говори, батыр!

Узак ответил тут же, сердито ответил:

— Говоришь, хорошо было, да, хорошо... Чего бога гневить, завидные у нас летовки! Ну, а разве в твое золотое время, отец, не видели мы нужды? Разве теперь только бедствует степняк? Когда, спрашиваю вас, мы жили безмятежно? Разве в первый раз в нынешний год нас, вольных коней, рожденных в великой степи, обращали? И что же, на вашей памяти не гладили нас пулей? Неужто, отец? Так ли, аксакалы? Назовите мне день, когда вы не жили под страхом, моля о спасенье. Что вы так всполошились, разохались? И до белого царя бывало... то ли бывало! И этот царский указ не сегодня рожден. К тому дело шло издавна. Не видите, не понимаете, что ли? Эй вы, инородцы! — вдруг вскрикнул с гневом Узак. — Ежели вы народ... ежели вольные кони... пора на дыбки да лягнуть копытами. Нету у нас другой судьбы. Держись, крепись, брат, день — так день, год — так год, хоть всю жизнь до смерти. Вот мое слово... А кто думает не так — скатертью дорога, пускай бежит к приставу на реквизицию...

Был при этом Серикбай с дальней летовки Донгелек-саз, тамошний голова, сверстник и друг волостного Аубакыра. Пришел он сюда для того, чтобы услышать слово Узака. И не обманулся — где еще услышишь такое слово?

— Кому же охота к приставу! Кто сунет башку под указ! — сказал горячо Серикбай. — С этим к вам не пришли бы. Народ вам доверился, мы вам верим. У вас в голове — то, что в душе народной. Все хотят, чтобы мы сказали: не дадим джигитов! Ну вот, сказано... сказано, люди! Вот с чем идти к Сивому Загривку.

Узак, прищурясь, пронзительно посмотрел на Серикбая. Этого неробкого человека Узак уважал, его горячность нравилась ему, но на душе было беспокойно. Сказано-то, сказано... И на словах не сразу соберешься с

духом, а в деле? На что рассчитывать, на кого опереться? Об этом думал Узак целый день.

— Думаю... надеюсь... — медленно сказал он, — что и другие казахи, не нашего рода, поднимутся, не покорятся. С ними бы рука об руку, гуртом, сообща... Мы-то, албаны, закоснели... больше привыкли ходить вокруг да около, водить за нос самих себя. Примеряемся и так и сяк. А как придется отрезать? А ведь придется! Мира теперь не жди. Царь не отступится, пристав не простит. Что же, рвать корни... сниматься с родимых мест с детьми, семьями, скотом... грызть локти да уходить? Из этой вот благословенной Каркары, где ни джута, ни мора... Куда? На чужбину! в незваные гости! в пески да пустоши... к тому шайтану на поклон... отцам в кабалу, а детям в рабство!

Это было у всех на уме. Деда, прадеды не забудут, как уходили невесть куда, в Синьцзян... Истинно что к шайтану. Возвращались ободранные, голые, чтобы хоть при последнем издыхании припасть к отчему роднику, из которого мать обмывала тебя при первом твоём вздохе. А сколько не вернулось, умерев на чужбине! Вот что было у всех на уме.

И опять первый сказал Жаменке:

— Пристав дал три дня сроку. От него спуска не жди. А зараза эта моровая. Чего же ради нам тянуть? Только подрежем себе поджилки, притушим гнев народный. Сказано: не дадим джигитов. Так тому и быть! Будем поднимать парод.

Поднимать народ... Давно не слыхивали таких слов. Заветные слова.

— Вот это мне по душе! — возвысил голос старый Жоламан, сам бедняк и отец бедняка, молчавший с утра, пока другие скулили. — Истинная правда: будешь тянуть время, метаться промеж власти и народа — худо дело обернется. Найдутся подлые души, вывернутся наизнанку — угодить начальству. Они-то поспеют! Их упредите, чтобы побоялись грешить против народа. Будем заодно, так и с этими пройдохами совладаем. Скажем всем волостным: не дадим джигитов! А там и к приставу: слушай, мол, как порешили... народ порешил!

Узак вздохнул: старик попал в точку. Волостные... они всюду поспеют.

— С этого начать, — сказал Узак твердо, — не валандаться с волостными. Не с чего им задирать носы, коли у девятерых из десяти сопли по поясу. (И люди со смехом

закивали головой.) С ними поостороже. С ходу их обуздаты! Сказать сразу: если что... не помилуем. Хватит морочить голову людям, обрыдло пустозвонство, пустобайство. На кой бес нам волостной, который жрать садится с начальством, а чего иное... с народом!

Громкий хохот прервал речь Узака. Так их, батыр, так... Вот это по-нашему.

— Для нас, степняков, грош цена и их власти, — закончил Узак. — Нам дай небо повыше, травы пошире, волю попроще!

— Ой-бой... — прошелестел общий вздох.

Это было у всех на уме. Узак безошибочно и безжалостно ткнул в наболевшее место.

— Сивый Загривок высоко, можно сказать, в тронном седле, а пониже, у нас, на самой шее сидят да погоняют свои приставы да урядники доморощенные, однородные. Воля попроще... Где она, батыр?

«Сжечь все мосты, — думал Жаменке, — чтобы некуда было пятиться волостным, чтобы стояли как вкопанные, боясь кары божьей, воли народной».

И думая так, сказал:

— Завтра же заколю жертвенного коня, приглашу к себе волостных. Думаю, что явятся все. Но полагаться на ихнего брата, верить, что они пойдут с нами, — глупей глупого. Тут-то и подковать их при всем честном народе. Клятвенно упредить: прогоним с позором из нашего рода на веки веков как предателей, как врагов.

На том и поладили. Согласились... И так стало славно, чудно у всех на душе в тот поздний час, по вечерней кроваво-красной заре, предвещавшей ветер. К аулу с холма совета шли, обнимаясь. Поздравляли друг друга, благодарили и благословляли. Пели, но не смеялись, больше лили слезы.

А в ауле повскакали на коней и разлетелись по всем дорогам и без дорог с буйными криками, с ликованьем, унося в темную степь, в безлунную беззвездную ночь светлую весть. Старшие сказали: не дадим джигитов!

* * *

На другой день спозаранок в Акбеит на жертвоприношение Жаменке съехались джигиты рода албан. Собрались влиятельные аксакалы, баи и бии всех аулов. Прибыли и те, кому пристав читал указ, все десятеро.

Юрта Жаменке посреди аула. Вокруг нее столько коней под седлом, как будто здесь открылась новая ярмарка... Весь ближний берег реки кишел людьми. Конники, конники... Их не меньше, чем сосен в бору Лабас, за рекой.

Пылали костры, дымились котлы. Жар и пар — не подступишься. Тут и там кололи скот, рекой лился кумыс. Без этого сборы у казахов не обходятся. Пили кумыс, хмелели, и открывались люди, изливались душа в душу.

Заглавный, набольший круг самых знатных, именитых, самых полномочных расположился на лугу. Всех прочих держали в юртах, поили чаем и кумысом, чтобы не мешали, не лезли на глаза и под ноги. Решать должно аксакалам. А молодежь да беднота только отвлекают, тратишь на них попусту дорогое время... Так полагали опытные распорядители. Зря, однако, старались. Изю всех юрт спешили к лугу рядовые джигиты, окружая его тесным живым кольцом.

В центре круга, насупив брови, надвинув до бровей черные каракулевые шапки, сидели Узак и Жаменке. Волостные управители, разодетые напоказ, с кричащей роскошью, избегали встречаться с ними взглядами, отворачивались. И те и другие смотрели грозно. И те и другие молчали.

Долго молчали, словно пережидая друг друга. И казалось, что в молчании решается, кто здесь хозяева, кто гости, кто судьи, кто ответчики. Молчание затягивалось, но чем оно истовей и церемонней, тем весомей слово, важней и значительней собрание. Здесь не ярмарка и не торговля, здесь совет и суд чести.

Кто же все-таки начнет?

— Уа, сыны албана! — сказал, слегка приподнимаясь, Серикбай, не самый молодой и не самый старый, уже известный, но еще не именитый. — С чем приехали? В такой трудный час можно ли отмолчаться? Мы слышали вчера слово аксакалов. Оно всем известно. Завтра вам отвечать приставу. Народ хочет знать, что ответите!

— Так, так... верно! Народ ждет... — раздался голоса со всех сторон.

Люди задвигались, зашептались. Старшие прокашливались.

— Слушаем, слушаем! — зычно сказал молодой Турлыгожа в тон Серикбаю. — Все знают, по чьему зову и

чего ради мы собрались. Пусть не те времена... но и мы, албаны, не без вождей. Пусть ведут! Мы готовы! Пусть скажет аксакал...

— Что ж, дети мои... аксакал свое уже высказал... — сдержанно начал Жаменке, и морщинистое его лицо потемнело от гнева, это все видели, но голос был тих, печален и задумчив. — Говорят, старый баран — это долгие годы, а молодой — быстрый ум. Есть у нас молодежь, джигиты, способные и достойные быть вожаками. Пора им заговорить! Лучше новая бязь, чем лняный шелк... Мы постарели, родные мои, наши шапки помялись, вместо былой силы — помощи да подуги. Наше время ушло, ваше время приходит. Новое время и великое испытание для вас, албаны! Кто болеет душой за народ, пусть подпоясывается потуже... Я свое прожил, свою долю съел — чего мне еще желать, просить у судьбы? И чего ты недобрал у жизни, Узак, батыр? Кто пойдет с нами, увидит, мы не дорожим тем, что нам осталось. Мы стары, но мы будем в твоих рядах, народ! Это мы сказали вчера... говорим сегодня... скажем завтра! Судите, как это вам, по душе ли? А мы послушаем вас, молодых... тех, у кого вожжи в руках... Что услышим?

Негромкий говор пронесся над лугом, говор стариков. Это были их голоса, довольные и сочувственные, а в иных слышались и слезы.

— Ах, хорошо... любо... Не посрамил, не подвел... Сердцем говоришь, брат...

Молодые молчали. Но их возбужденные лица загорались гневом, как и морщины старого Жаменке, и это было то, чего он хотел.

Волостные утратили лоск. Кажется, не было в речи Жаменке угрозы, одна горечь, а между тем слышали правители словно бы новый указ, и был он страшней и опасней для них, нежели царский. Такого оборота они и ждали и не ждали... Вторые сутки они ломали голову, как бы ухитриться не вымолвить на людях ни да, ни нет. И теперь обрадовались, когда опять первым, как у пристава, вылез этот выскочка Аубакир.

— Спасибо, аксакал, — сказал он горячей скороговоркой. — Слышали вас все. Все благодарны. Лучше не выскажешь чаяния народа. Лучше ему не послужишь. Не дадим джигитов! Иначе и быть не может... Хорошо... Но тогда что же! Как сказал вчера батыр Узак, нам, албанам, доля одна: бежать куда глаза глядят! Узак в дружбе

с калмыцкими вожаками. Глядишь, выпросит у них землицы года на три? А за три года, поди, и войне конец...

Ропот прервал Аубакира, и он с недоумением осмотрелся. Его недослушали, и он так и не понял почему.

Бойко он говорил! Легко у него все получалось про долю албан — бежать куда глаза глядят... Нет, не так, вовсе не так, как вчера батыр Узак... Скор, однако, милый, храбрый наш Аубакир! Побежит — на коне не угнаться...

— Не снеши, — сказал, выручая его, Серикбай. — Чего перескакивать с пятого на десятое? Ты сказал: не дадим джигитов. Ладно, хорошо... Это мы слышали. А что скажут остальные? Не слышим!

— Не слышим... не слышим волостных! — подхватил Турлыгожа своим трубным голосом. — Чего молчат? Чего дремлют?

И по всему лугу молодые и старые закричали: не слышим!

Рахимбай ерзал на месте, кряхтел и кашлял. До сих пор у него и наяву и во сне звенело в ушах: «Сма-атри у меня!» Замучился, несчастный, извелся. Вот, может быть, последний случай прыгнуть выше блохи...

— А что волостные? — вдруг сказал он. — Объяснили вам насчет списков... Теперь передадут приставу вашу волю. Кто такой волостной? Посредник, клянусь аллахом! А посему... чем кивать на нас, орать на нас... не лучше ли заняться делом, потрудиться самим, всем миром... Господин пристав — он как объяснял: война-с! Указ военный, всех касается одинаково — и казахов, и киргизов, и уйгуров. Тыловые работы... рабочие руки... выложить, говорит, и подать... Война-с! Так объяснял. Что же тут волостные могут поделать? Была бы наша власть, наша сила... Мне вон было лично указано при всех других: «Сма-атри у меня!» Это надо понять. У царя слуг много, их — как деревьев в лесу... Не знаешь, где чихнуть, где охнуть, чтобы не повредить своей же волости... своему роду... Так или нет? — спросил Рахимбай, стараясь угадать по лицам волостных, высоко ли он скакнул.

— Так, так... — недружно ответили двое-трое; другие молча поглядывали на Узака и Жаменке.

— Ну и ну, — проговорил Жаменке. — Залюбуешься, право! Змеиный у тебя язык, Рахимбай. Плывешь, как ху-

дой пноходец... Наверное, думаешь, что, если ты уйдешь в кусты с полными штанами, конец свету, некому будет управлять албанами!

— Хромая ты баба, — сказал Узак. — Дырявый человек. Думаешь, один ты знаешь правду? Да ты ее в жизни не искал! Ты пристава знаешь, урядника... И они тебя знают... примерно как своих баб! Царя испугался? Перекрестись... Кас-па-дын Рахимбаев! Давай пиши списки. Гони джигитов царю в подарок. Твой верх, твоя взяла... Идите все за этим выродком. Чего зря болтать!

Тут-то и услышал волостной Рахимбай свой приговор. Зашумел народ:

— Знаем, почему он так запел, знаем! Всю волость купит-продаст-разменяет... Гнать его в три кнута! Проваливай отсюда... мать твою... дочь твою... Пока не прикончим тебя с домочадцами, ни один джигит не пойдет из волости. А пойдет, так прежде тебя зарежет... И зарежет! Как жертвенного барана!

Такого общего яростного крика, пожалуй, не припомнят распорядители, знатоки обычаев и церемоний на высоких собраниях, в кругу избранных, баев и биев. Всего удивительней было то, что не только Аубакир, славный малый, но и все остальные волостные, все до одного честили на чем свет стоит своего же брата волостного. Смекнули-таки, что им делать, как себя держать. И не прогадали, потому и были прощены. А Рахимбай сидел повесив голову, моля аллаха, чтобы ее не снесли.

С трудом утихомирили аксакалы народ — не прежде чем всласть отвели душу все те, кого и не звали на совет. бедняки и молодые. Решили, однако, так: к приставу завтра пойдут не старшие и не волостные, а кто помоложе, похрабрей да понадежней. Избрали Серикбая, Турлыгожу и еще Айтпая.

Затем поклялись в верности на крови жертвенного коня. Жеменке и самые почетные аксакалы именем всех святых рода албан благословили своих соплеменников, и чудилось в те минуты, что все единодушны, как дети одного отца. Огромная толпа, теснившаяся до самой реки, внимала старикам и взывала к духам предков, моля не оставить в беде и в борьбе.

Так было посеяно зерно бунта, одно из тех малых зерен, из которых выросла нива восстания 1916 года, предтечи великой революции.

Глава третья

С того памятного собрания Узак возвращался вместе с Тунгатаром, своим родным братом, и толпа всадников их провожала.

Тунгатар — богатей, владетельный бай, из самых крупных в роде албан. Его сила в мощне. Полторы тысячи коней выводят на летовки его пастухи. По этой причине старший сын бая ходит в жожаках народа, а внуки верховодят среди молодежи. Боятся бай только джута и засухи, но то и другое на Каркаре редкость.

Указ царя для него не бедствие. Он уже побывал у кого следует — и у своих и у русских. И остался доволен: он мог быть спокоен за всех своих сыновей и внуков, равно как и за весь свой скот. А вот Узак и старый строптивец Жаменке его напугали.

Неугомонные люди. Ими бай был недоволен. На них осерчал.

Увидев, как круто обошлись с волостным Рахимбаем, Тунгатар предпочел не открывать рта, но заметил, что брат Узак забирал чересчур большую силу. Забылся брат — не оглядывался на баев! Такой грех никому не прощается.

Под вечер подъехали они к своему аулу, и тут на встречу подскакал один из джигитов Тунгатара, отозвал хозяина.

— В полдень... как с неба свалились... шестеро казаков... и прямо — к аулу батыра! Обыскали весь аул. Спрашивают: «Где хозяин?» Мы жмемся. «Может, на ярмарке?» А ихний старший, Двухбородый, смеется.

— Так. Понятно, — сказал бай.

— Оказывается, там, на ярмарке, все известно: кто чего говорил и как было с волостным Рахимбаем — все!

— Не ори. Это я знаю. К нам не заглядывали, не спрашивали, где я?

— Нет, и носа не сунули! Но в ауле все равно перепугались. Послали меня встретить вас. Надо вам ехать домой или нет? Ваша супруга велела предупредить. Вас и батыра... Вы ему сами скажете... или как?

Бай с усмешкой почесал ус пальцем, украшенным двумя перстнями.

— Этого следовало ожидать. С белым царем шутки шутить накладно. Влепят ему! Ну да он, кажется, сам

хочет, чтобы его проучили. Шибко хочет за-ра-ботать... по шее от пристава... Я добавлю!

Тунгатар спешился и повел коня в сторону от дороги, кивком головы послав гонца за Узакком.

Неохотно откликнулся Узак на зов брата. Давно уже батыр сторонился бая, тяготился каждой встречей — с того темного, трижды проклятого дня, когда разбилось сердце Узака.

Встречаться им приходилось, но ничего в их душах не теплилось друг к другу, ничего не осталось кровного, братского. Иной раз думалось: а одного ли они рода?

Бай был как бай, корыстен, жаден и жесток, не брезговал и грязными делишками, шкурничал крупно и по мелочам. Все же он таился от брата, прятал нечистые руки, но батыр обычно раскусывал его козни и, случалось, заставлял поступать по справедливости.

Всякий раз, когда им надо было встретиться, Узак мучился. Тошно ему было. А Тунгатар делал вид, что ничего не замечает. Тунгатар богател, а Узак седел из года в год.

Однако сегодня нашла коса на камень. Тунгатар сидел на высокой травянистой кочке, когда Узак спешился около него. Провожающие отъехали, оставив их с глазу на глаз. Солнце стояло низко, люди и кони волочили длинные тени...

Бай дождался, когда брат сядет рядом, сказал, не глядя на него:

— Поешь, как петух! Распустил хвост... Кого ты будишь? Кого разбудил? У пристава на твое кукареканье ухо острее, чем у казаха! Вон уже были у тебя шестеро, обыскивали. Сам урядник Плотников. Слыхал? С кем ты тягаешься? Еще когда все было тихо, мирно, пристав дал тебе хороший урок — три месяца тюрьмы. Это задаток. А сейчас... головой рискуешь! Что будем делать без твоей головы? Оспротеют албаны.

Узак тоскливо огляделся.

— И чего ты от меня хочешь? Кого пугаешь? Что у тебя чешется — совесть или карман? Ну, дал мне Сивый Загривок урок, дал... Спасибо тебе за тот задаток. А сейчас? Лихо всему твоему роду! О чем же ты хлопочешь? Что с того, что были шестеро? Не видел я, что ли, урядника Плотникова! Провалиться мне сквозь землю? Или обабиться? Что велишь брату? Лизать зад Сивому

Загривку, как Рахимбай? Не умею я, как ты меня не учил. Стар я переучиваться.

— Вот ты всегда так... — сказал бай, передергивая плечами, будто его знобило. — Вечно лезешь на рожон! Дожил батыр до седин, воевал-воевал, а чего достиг? У царя силища — земля под ним гнется. Неужто с тобой не справится? Против кого восстаешь? Когда одумаешься, остепениться? Себя не жалеешь, пожалей хоть семью, свою же родню. Позаботься о детях, чтобы не тыкали в них пальцем: вон — косопузые того дурня Узака!

— Уа, Тунгатар... да лишит тебя бог надежды... Издергал ты мне душу, вся в крови от твоей узды. Истоптал ты меня, весь в навозе. Что тебе еще надо? Говори...

— И скажу! Послушай... Я кое-кого пощупал. Ты знаешь, я это умею. Как курицу... хоть самого пристава... Если малость потратиться... пообедем это лихо на тройке! Спасибо аллаху, не обделил меня скотом. Спаси нужного человека — добра у меня хватит. А другие как знают! Клянусь тебе, мигни только глазом — вычеркну из списков на реквизицию кого ты скажешь, кого ты хочешь. Не бойся, не разоримся, посеем копейки — пожнем рубль!

Узак удивленно поднял брови:

— Купить меня вздумал, что ли? Правда, что ли?

— Спасая тебя! Остановись, пока не поздно. Не подбивай, не мути простолюдые. Удержи народ! Мы же первые погорим... Они тебя слушают. Пойдут за тобой хоть к шайтану — к тем калмыкам... Это гибель наша. Лишимся всего! Там я не бай, нищий. Сколько ни выпросишь земли — моих табунов не прокормишь. Раньше всех пропадем мы с тобой — вон сколько у меня скота! Куда его девать? Кому его пасти? Ограбят. Разнесут по костям... Послушай меня, успокой наших с тобой пастухов, моих слуг! Хотя бы и дома, на родной земле, — вдруг зашептал бай, — голытьба разорит нас, если дашь ей волю. Об этом подумал?

— Ты все сказал?

— Да, все. Если ты брат мне, честью рода, памятью наших предков заклинаю тебя!

Это было уж слишком, это кого хочешь взбесит: Тунгатар — и честь рода... священная память предков... Глаза батыра налились кровью.

— Пропади ты пропадом, подлый пес! И как аллах не расшибет тебя громом, а меня осуждает слушать твой бредни... Уйди с глаз моих, двуногая тварь! Не имеешь

ты права называться сыном Саурука. Убирайся! И чтоб больше я тебя не видел. Не лезь в мое дело, не стой поперек дороги. Умру — не смей хоронить меня, не позорь мертвое тело. В могилу с собой унесу свое горе, стыд, что ты мне брат. Уходи прочь!

Много лет не видел бай Узак таким неистовым, неукротимым. Батыр дрожал, хватался за кривой нож, висевший на поясе. Вспомнил, видно, бывшее...

«Его не согнешь, — думал бай. — Ломать этого смутьяна, ломать!»

— Что же, я выполнил свой долг... — деланно ворчливо проговорил Тунгатар, влезая на коня. — Кончено. Отныне мы не братья.

Узак проводил его взглядом, слепым от ненависти. Бай ехал на закат, и на него смотрело солнце, тоже слепое, мрачно-багровое, из-под тяжелого века тучи.

А перед батыром вставал день, который он помнил двадцать тягостных лет и не забудет до смертного вздоха.

* * *

У нее была смуглая нежная шея... На шее петля. Пестрая рябенькая петля волосяного аркана, плетенного в три струны.

Обвисло остывшее, бездыханное тело. Лицо мертвенно бело. Лишь глаза слегка приоткрыты и взгляд живой. Глаза кричат: «Отец мой... отец...»

Она звала его в свою последнюю минуту, и он не отозвался. Он не слышал. Но вот уже двадцать лет, как он слышит... И отвечает ей: «Иду».

Бекей была единственной дочерью. С детства она росла особенной, не похожей на других. Недаром он так любил ее, хотя никогда, а тем более о ту пору, не отличался слабосердечием или особой чувствительностью. Была дочка хороша собой, но были девушки и краше — не было ее умней. Он гордился ею еще и потому, что Бекей была учена!

В то время буйный Узак, сын покойного батыра Саурука, тоже стал батыром и входил в славу. Дочь была ему под стать.

Как водится, Бекей была засватана с малолетства. Жених, сын богатого бая, пошел в своего отца: оба интересовались только скотом, сами почти скоты. А Бекей привыкла к тому, что ее отец, батыр, прислушивался к ее

речам. Ей внимали даже аксакалы. И понятно, что она невзлюбила дом глупцов, в который ей предстояло войти. Скромна была Бекей и чиста, но дерзка душой, как отец, и нарушила родительскую волю. Выбрала себе друга по сердцу и уму.

В ясную звездную летнюю ночь, в пору мечтаний и любви, послушалась Бекей веления сердца и пошла за своим избранником, оставив родительский дом. Как ни умна была, ушла не думая, очертя голову.

А может, потому что была умна, она и поверила не в доброту людскую, а в одного человека своего многолюдного рода, в отца, в его дерзость, в то, что он переступит роковой порог, который другие не переступали.

Беда была в том, что умыкнул Бекей молодой киргиз с далеких синих поднебесных гор — Балтабай, сын Манапа. Беда была в том, что было у Узака два брата, и один из них — Тунгатар.

Манап — давний враг Узака и его рода. Взять в жены дочь врага за приличный порядочный калым — значит помириться; умыкнуть ее — значит оскорбить кровно, а это хуже, чем убить. Под горячую руку, не дав сердцу одуматься, а голове остыть, батыр отрекся от дочери и проклял ее.

Опомнившись, он сам себе поразился. Он не хотел плохого дочери. Он ее любил. Тогда вступились братья Тунгатар и Кожамберды.

Бекей — слишком дорогой дар роду Манапа, говорили они, и это была правда. Самы ляжем костями или убьем, сказали братья, и это была подлость. Но в те дни Узак не разгадал ее и не устрасился; он одурел от ненависти к Манапу и его сыну, овладевшему Бекей, бесценным его богатством. Батыра побуждали к мести, и он желал ее, не задумываясь, кому же он мстит.

Своенравный, своевольный, а на самом деле уже замороченный братьями, Узак кинулся в погоню. Подкупил начальство в Караколе. Бекей вызвали в канцелярию.

Иным думала дочь Узака встретить своего отца. Увидев его, она увидела то, чего он еще не видел: свою смерть.

— В моих жилах твоя кровь, отец. Не заставляй меня смотреть в лицо сородичам, — молила она. — Если я провинилась, убей на месте своими руками. Накажи — отними у возлюбленного, отдай за первого встречного, только за киргиза. Не срами перед своими.

Узак согласился, дал слово на Коране. А Бекей подписала дурацкую бумагу, что отрекается от любимого человека... Но, заполучив дочь, Узак, не долго думая, привез ее домой, в свой аул.

Он обманул и предал ее. Обманул и предал самого себя. Он был не так умен и не так учен, как его дочь.

Тем временем его проклятие действовало. Бекей слепла, таяла на глазах. Маленькая, прекрасная, невинная Бекей... Она онемела навек и дрожала, как ягненок, которого хлестнули кнутом по глазам.

Скрипя зубами, Узак стучал себя кулаком в грудь, потому что в ней опять было сердце, а не бездушный черный камень. Вдруг ему пришло в голову, что он не спас, а погубил свою дочь, что она несчастна, как это говорится в книгах, в песнях. Он ужаснулся тому, что на творил, может быть, впервые в жизни почувствовав жалость и сострадание к женщине.

Братья Тунгатар и Кожамберды ходили за ним по пятам, дергали за полы. Тунгатар изощрялся в громком слове. Позор, говорил он, клеймо на весь род. И пугал карой божьей. Узак презрительно кривил рот, слушая его. Но Тунгатар поднял своими воплями на ноги спящих и хворых. Вся родня ополчилась против Узака. Живые блюстители чести обложили его, как волки одинокого путника в степи в голодную зиму. Остался батыр один. Никто его и слушать не хотел.

Вот когда понял Узак, как смела и высока душой его маленькая Бекей и как он труслив и низок. Кровь отца, батыра Саурука, вскипела в жилах Узака.

— Не выдам. Не покорюсь! — сказал он дочери.

И опять он ошибся в своей силе, как ошиблась в ней Бекей.

Подстерегли подлые люди, когда он уехал на часок, пришли к нему в дом и повесили Бекей под куполом отчей юрты, на пестром аркане, плетеном в три струны. Сделал это Тунгатар со своей бражкой — на глазах у родной матери, цеплявшейся за его мохнатые руки.

Мать слегла после этого и не скоро поднялась. Свалился и брат Кожамберды в неведомом припадке. Когда же пришел в себя, замычал, завыл, перестал отличать пшеничные лепешки от лепешек кизяка, выплевывал хлеб и ел навоз, прожил так год и так умер.

Лишь один Тунгатар пошел в гору, раздался брюхом и задом, и вместо одной у него стало три шеи.

Каждый раз, когда Узак мысленно уходил в прошлое и видел Бекей в петле, с чуть приоткрытыми живыми глазами, ему словно стреляли прямо в сердце. Тысячу раз оно было прострелено.

И все же он шел туда... и смотрел в глаза Бекей... И жадно, до тягостного болезненного опьянения пил всю горечь, весь яд своей вины, своей неизлечимой раны. Чуждые в молодости, а сейчас сладостные, преступно нежные слова скребли ему душу, ибо то было его любимое дитя, его ласточка, горлинка, невинная, святая.

Вот земля, которая ее родила, выкормила и в которую она ушла. Вот аул, свидетель ее последних дней. Это место названо Танбалытас — Меченый Камень. Не смыть с него клейма.

Северней аула есть утес, черный, с проседью, как борода Узака. Утес тянется вон к тому красному сосновому бору, стоящему на небесном пороге, на краю света. К утесу часто уходила Бекей, будто к отцу. Возвращалась увядшая, сухая, как опавший лист.

Бродила она и под соснами по вечерам, в сумерках, когда сосны выцветали и меркли, как ее юная душа. Но так и не смогла, как хотела бы, уйти от аульной лужайки, посреди которой оголились серые пятна глины, похожие на струнья паршивой головы.

Печаль Бекей несла в себе и речка, узкой лентой сползавшая в Каркаринскую долину подобно длинному плетеному аркану. И невзрачные, безжизненные солончаки на закате. И обшарпанные ветрами, унылые зевы оврагов, похожие на огромные западни.

Повсюду жила мука¹ Бекей, безмолвная, неистощимая. Близ юрт мерцали вечерние огни очагов, и в них была тоска ее сердца. Куда ни посмотришь, видишь ее ранние быстрые морщинки.

И нигде ни искры ее растоптанной потушенной гордости.

«Проклятое время... проклятое место...» — думал Узак с застывшим, страдальчески искаженным лицом, согбенный, как будто у него сломали позвоночник.

Что изменилось за минувшие двадцать лет? По сей день по земле Бекей ходит ее палач, мохнатый тарантул в образе человека, раб наживы. Ходит и рвет с корнем, выжигает огнем редкостный дар Бекей, каждый его слабый новый росток. Ходит, и судит, и приговаривает, и

казнит, и клянется честью рода и тенью предков, пома- хивая ими, как петлей аркана, плетеного в три струны.

Он извел бы родную мать и праmaterь своего рода, если бы они угрожали его табунам.

И еще думал Узак о том, что, видимо, он сдает, при- томился за эти двадцать лет, стал туговат на ухо, плохо слышит голос Бекей, зов Бекей, завет Бекей, ее последние слова: «Отец мой... отец...» А вот Тунгатар не старится и не слабеет, он многолик, многорук, его табуны множатся, его власть возвеличивается.

И, подумав так, батыр застонал, поднял глаза к небу, прося дать ему новую силу и взять взамен его жизнь.

«Я готов, бери меня... Но — как хотела Бекей! Чтобы мне там, перед ней, не гореть от стыда. Возьми меня жерт- вой за народ! Жертвой за парод... Милая моя, понимаю — не зря явилась твоя тень. Иду! Иду догонять тебя. И до- гоно, догоню...»

Двадцать лет он винился перед Бекей. Теперь он хо- тел бы большего — оправдаться перед пей. Возвыситься до ее мужества и мудрости, которых у нее, женщины, было больше, чем у мужчин рода албан.

Повернувшись лицом к западу, он совершил молитву. Он молился за душу Бекей, а может быть, втайне и ее духу, как духу предков, высшей святыне для степняка, равной самому богу.

Потом пошел вниз, к аулу. Конь шел следом.

Была уже глубокая почь.

Глава четвертая

Назначенные приставом три дня прошли. Но так ли все было, как он задумал? Когда же всполошится смиренное племя, побежит, повалится в ноги, примется молить, со- вать деньги, скот, все свои животы? Похоже, что этим и не пахло.

Что же там делается, что варится на их хваленых ле- товках?

Добрый толмач Оспан притворялся, что ему стыдно за земляков, вздыхал виновато, глядел скорбно, стараясь показать, как он подавлен и угнетен. Пристав отворачивался от него.

Было у него иное ухо — им он слышал каждое слово, оброненное за десятки верст от канцелярии. Рахимбай

днем и ночью слушал, где что говорят, и доносил приставу. Прибывали еще лазутчики неизвестные, от безымянного лица, но Сивый Загривок хорошо знал его имя — умнейший бай. Недавно привелось с ним приятно беседовать, и он первый из немаканных сподобился, отметил беседу надлежащим образом — ассигнацией, достойной царского указа!

Уму непостижимо, что брат этого бая — главный подстрекатель и смутьян. Не выучили строптивца даже три месяца тюрьмы, назначенные ему по-братски, по совету бая.

Пристав привык ощущать себя божком среди всеобщего подобострастия. И разве не был он идолом в этой дикой степи? Сейчас он не мог понять бесстрашия перед ликом своим. Он был оскорблен.

Первым побуждением было схватить вольнодумца немедленно. Следователь и урядник удержали его.

Это, видите ли, было бы рискованно. Упаси бог, как они стали осмотрительны! Спору нет, они упрятали бы за решетку, выслали бы по этапу каждого пятого из тех, кто шумел против указа государя императора. Но это, видите ли, было бы превышением власти. Вон какие мы скромные, малые ярмарочные чины...

Доносы шли и шли. Соглядатаи являлись в холодном поту. Послушать, так взбунтовалось все племя, весь народ, степь горит. И прежде указа накопилось достаточно обид, а нынче переполнилась чаша. Об этом никто не говорил открыто, но думали про себя все.

Худо было уже то, что народ вдруг ушел с ярмарки, точно по тайному сговору, как по сигналу. Это, господа, разбой и воровство среди бела дня. Это именуется одним непронишимым политическим словом — демонстрация!

Однако следователь долбил свое:

— Аккуратность и еще раз аккуратность! В такой вот именно момент брать жожака было бы неаккуратно. Ошибемся, очень ошибемся. Лучше воздержаться. Надеждаем беды. Сам по себе арест, как правило, возмущает... В такой вот именно атмосфере недурно бы вменить в обычай уговоры... пожалуй, и ласку... Пастух падок на ласку.

— Все равно брать его придется. Без этого нельзя, — сказал урядник. — Да это дело от нас не уйдет. В свой срок...

— Будь по-вашему, подождем, — ответил пристав с усмешкой превосходства. — Хотя и непорядок, господа... Арест на то и есть арест, чтобы пре-се-вать-с! Всякий пыл да раж у степняка мигом проходит, ежели прижмешь к ногтю главаря. Без своей седой головы пастух — овечка. Вот именно какой у меня был расчет — куда уж аккуратней!

— Совершенно справедливо, — согласился следователь. — Степняк горяч лишь поначалу. Покипит, побулькает — остынет. Войдет, как говорится, в берега. Возьмет верх, разумеется, не Узак... а его братец — весьма аккуратный деятель! Равно как и наш любезный Рахимбай. Поэтому следует им всемерно способствовать. Не следует им чинить помехи.

— Да-с! Это, слава богу, я и делаю, — проговорил пристав. — Вот что, Плотников, сделай милость, возьми-ка ты, друг мой, полдесятка нижних чинов и — к нему в аул с обыском собственной персоной. Для почина этого дозволено. Но чтобы там у меня — ласково! Понял?

В эти три дня пристав был грозней обычного, пыжился перед чиновниками больше, чем перед толмачами, скрывая от них и от самого себя страх. Бранью, угрозами показывал Сивый Загривок, что существует и властвует.

Он хватал одинокого незнакомого путника, забредшего на базар, вырывал его из рук купцов и давал своей душевке волю, отбирал коня и вертел кулаками перед рендешкой черной бородкой:

— Казах? Албан? Шпион? Закатаю! Упеку!

* * *

Настал день четвертый, день ответа. Этого дня ждали все. О нем только и думали у аульных очагов и на пастбищах. Ответ будет всем известный, простой-понятный. Стало быть, так. Так оно и будет.

Но... как же все-таки оно будет? Нелегко было вообразить себе, как придут обыкновенные смертные, пастухи, и скажут супротивные слова... Кому? Сивому Загривку! Разве так может быть?

Говорят, надо держаться всем миром, душа в душу, стоять стеной, как будто у всех албан один общий воротник, общий рукав. Тогда оно так и будет. Надо думать, будет...

И вот с утра множество людей двинулось по девяти дорогам к ярмарке. Поднялись все, кто мог сидеть верхом, стоять стеной.

Съезжались со всех летовок: с Донгелексаза, Коктебе, Кокбулака, Сырта... и с Лабаса, Акбента, Туза, Кегена... С горных лугов, по ущельям и лощинам текли на Каркаринскую равнину толпы и толпы всадников. Толпы и толпы клубились куда ни глянешь, на всех скатах и кручах, как кучевые облака перед июльской грозой.

Казалось, сами горы, скалистые и снежные хребты вдруг разверзли свои древние недра и сыпали и сыпали из таинственных глубин в зеленую долину людей на конях. Шло племя бесчисленное нескончаемым, буйным, многоструйным потоком. Шел народ конный, непоседливый, народ необъятной, бескрайней суровой степи.

До ярмарки пока что не доходили, задерживались на просторной возвышенности между ярмаркой и аулом Узака. Тут обычно справляли мусульманские праздники. Это место называлось Айт-Тобе, что значит Молитвенный Холм. Оно притягивало к себе всадников, точно магнит. И скапливались, распухали здесь толпы, сливаясь в единое, огромное, живое целое, и снизу, из ярмарочной долины, казалось, что на холме выростал высокий дремучий темный лес и его раскачивал гулкой ветер.

На Айт-Тобе уже приехали Узак и Жаменке. Здесь и Серикбай и Турлыгожа. Многие спешили, коней привязали к живой коновязи. Сидели, подобрав под себя ноги, ждали. А к ним подъезжали все новые и новые всадники. Иные подлетали, гарцуя на разгоряченных конях, поднимая их на дыбы. Но большей частью ехали степенно, нестройными текучими рядами, сдерживая коней, грызущих удила.

На Айт-Тобе особый подвижный порядок. Первыми сюда прибыли встречающие. Их много. Держатся они парами. На сильных резвых конях. Они поспевают всюду, а их кони не перестают дергать головой, прося воли... И видно, как довольны прибывшие, когда их встречают чин чинном. Значит, здесь все ладно, все по-хорошему. Довольны и встречающие — отовсюду люди скачут к ним, на Айт-Тобе.

Время шло к обеду. Издалека собирались. Много собралось. Людей, коней — сила! Солнце стояло в зените, огненное, нещадное.

Выделялись люди с летовки Донгелексай, самой дружной. Их привели старый Хусаин и дерзкий малый Картбай, выпущенные вчера из ярмарочного узилища за сто двадцать рублей!

Был с ними и Кокбай, рослый, щербатый, с маленькой бородкой джигит на длинном коне. Он щурился па солнце, подмигивал знакомым и незнакомым, смеялся:

— Бывало, на ярмарке, на том тухлом базаре, сойдутся человек пять — десять купчишек и мнят о себе, что их много! Пусть теперь на нас попялятся, будь они неладны. Кого хочешь сметем — так говорю, аксакалы?

Ему ответил Картбай, с удовольствием осматриваясь:

— Поздравляю, брат. Желаю успеха. Вижу, албаны тут все, как один! Дай бог...

И с разных сторон полетели и сплелись в узел голоса:

— А как же! Так оно и должно быть, если мы зовемся народом... Держись теперь, господин пристав!

— Ну и ну... сколько нас, братцы! Небось начальство не знает, куда ему деться.

— Попрячутся сейчас в норы. Гляди орлом! Не робей.

— Как пойдем, разбежимся — затопчем! Гуляй, народ, веселей, дружней!

В голосах стариков звучала давно не испытанная гордость, в голосах молодых — желанная удаля.

Молодые, как водится, зубоскалили, но не над сверстниками, как обычно. Сегодня шел иной разговор — под дружный злорадный хохот.

— Эй, Кокбай, скажи про начальство! Как оно сидит на ярмарке?

— А так. Вылупив глаза, с полными штанами.

— Эй, Кокбай! Как же оно будет тебя допрашивать?

— А так. На бегу удобряя землю.

— Еще чего — допрашивать! Вон нас — тьма. Всех не допросишь.

— Пусть меня допросят. Только и слышишь: царь да царь. Будто я царя испугался!

— Гнать их в три шеи. Сколько нам терпеть этого Сивого Загривка?

— Перво-наперво — ярмарку! Всех обираловых! Нажрались — хватит.

— Постой, постой. Эй, Кокбай, а ты еще не купил себе табачку пожевать, не отведал манты...

— Скажи: не отведал урядниковой плети!

Неподалеку, соперничая с Кокбаем, озоровал другой,

рыжеватый молодой парень по имени Жансеит, то есть Милый Сеит. Он потешался над купцами.

— Теперь не стану платить за табак. Возьму табак и так. Отберу.

Его окликали любовно-насмешливо:

— Жансеит, а Жансеит! Как это ты отберешь? А он обидится — купчина. Почитай, мы с ним приятели давние...

— То-то что давние. Я этих приятелей еще в животе у матери обещал обидеть!

Такое обещание шумно одобрили.

— Жансеит, а Жансеит! А как ты их обидишь? Какого купца ты больше любишь — ташкентского или казанского?

Рыжеватый хрипло прокашлялся.

— Ташкентского не трону. Потому что нужны манты. Без них я скучный. Скажу: сиди тут, вари свои манты. Ослушаешься — бороду сожгу.

— А казанского?

— Казанскому скажу: у тебя глаза зеленые, нос острый. Ты мне бесполезный. Останешься без царской службы — придется тебе кочевать, а ты купец, какой из тебя толк? Иди-ка ты к своим господам прислуживать, как привык! И залейся ты хоть маслом — тебя не возьму. Вот что скажу. Огрею разок плетью и прогоню.

Опять смех.

— Жансеит, а Жансеит! А что ты сделаешь с ихними бабами?

— Какими еще бабами?

— Ну, к примеру, с этой... толстухой... господина пристава?

— А отведу я ее вон за ту скалу, три дня поморю голодом, она и забудет своего пристава и своего бога! Похудеет — отдам во вторые жены Жаменке, аксакалу. Пускай греет ему воду для омовенья.

Хохот, свист, гам... Частый топот копыт сливался в сплошной громовый гул. Сквозь этот гул и не услышишь голосов. Переспрашивали, кто что сказал, кто что ответил, и покатывались со смеху, валясь животами на седла. Вдруг срывались и с пронзительным шальным гиком, с визгом пускались вскачь. Скачки короткие, быстрые, но они зажигали кровь, взрывали душу. И люди хмелели от того, как вольно дышали, как дружно держались, и от того, что их становилось все больше и больше.

Возник было беглый говорок о том, что шестеро, из них один Двухбородый, обыскивали аул батыра Узака... Там были шестеро. Здесь тьма!

В полдень весь Молитвенный Холм и пологие подступы к нему кишели черными шапками, как невиданный муравейник высотой до неба. В один неуловимый миг он неожиданно странно стих, словно бы замер. Потом сдвинулся в небо, как мираж, и медленно, тяжело пополз всей своей волнистой шевелящейся массой вниз, к ярмарке, туда, где на высоком шесте полоскался белый флаг с двуглавым орлом.

Пошел народ. Двинулось смирное племя.

Ехали молча, неторопливым шагом. Конни тянули головы к траве, словно паслись. И топот копыт как будто приглух. Он не гремел, а стелился. Ни крика, ни свиста, ни смеха. Лишь переглядывались исподтишка, мельком, как бы говоря: идем, идем!

Но было в этом молчании, в этом покое небывалое грозное согласие, сила самой стены, самой земли. Казалось, надвинется это тихое шествие черных шапок и сотрет ярмарку, как медленный сель.

* * *

С утра все, кто был в канцелярии, не спускали глаз с Айт-Тобе. И никто уже не скрывал страха перед тем, что видел.

Пристав и другие чины тайно укрыли свои семьи в двух домах. Их прятали даже от толмачей. Вооружили всех, кого было можно. Толстуха жена пристава взяла наган. Посадили казаков, солдат на коней. Не велели слезать... И заявил пристав во всеуслышание официально, что предпринял надлежащие меры!

Следователь, выслушав его, усмехнулся четырьмя глазами и поступил по-своему. Вытащил из канцелярии наружу большой черный короб с круглым совиным глазом спереди и поставил его на высокий желтый треножник около крыльца. Короб был гладкий, черный-черный, как камень Магомета на святом месте...

Пристав встречал гостей кулаком. Следователь хотел заглянуть албанам в самую душу...

Толмачи жались к начальству до последнего часа, били хвостами, как аульные псы, и, упреждая урядника и пристава, покрикивали на тех немногих казахов, которые

жили при ярмарке, однако держали ухо востро. Еще поутру и Обиралов, и добрый Оспан отослали своих жен и детей в близлежащие аулы словно бы в гости.

Простых людей сторонились. Только избранным, кого считали посметливей, внушали:

— Это добром не кончится. Наедет карательный отряд. Кровь прольется... В Жаркенте стоит войско. А в Караколе пушек да ружей... как мух на базаре!

Обычно каждое такое слово летело пулей в аулы и разило наповал. Сегодня оно унало под ноги, как козий горошек.

Когда пошел народ с Айт-Тобе, казаки выехали навстречу. Пристав послал их — испробовать, что будет. Но тщетно они кричали, замахивались плетями и хлестали ими воздух, как бы промахиваясь. Народ шел и шел, будто и не было перед ним казаков, а те, вертясь на конях, пятились и пятились. Это походило на игру: огромные толпы черных шапок и перед ними — одинокие чубатые плясуны на конях.

Толпы делились по волостям. Уже на виду у канцелярии два бородача подскочили к черным шапкам, которых вел волостной Рахимбай.

— Стой! Куда прешь? Не велено всем... Давай одного выборного! Осади!

И Рахимбай еще раз испытал судьбу.

— Спешиться! — выкрикнул он сдавленно.

И стал слезать с коня. За ним следом слезли с коней несколько его приближенных.

Никакого уговора на этот счет заранее не было. Но видя, что волостной и его свита спешили, люди его волости сделали то же самое. А видя, как спешиваются эти, и думая, что так и надо, стали слезать с коней люди, которых вел Аубакир. И дальше — люди других волостей...

Движение застопорилось и остановилось. Люди и кони сгрудились, стеснились. Тогда Рахимбай и его приближенные стали привязывать коней — это напрашивалось само собой... И все кругом принялись привязывать коней, оставляя при них коноводов.

И сразу словно бы тысяча богатырей стала тысячей карликов. Огромные толпы черных шапок, спешенные, потеряли свое грозное обличье. Сами себя унизили...

Пристав и другие чины, стоявшие на крыльце канцелярии, ободрились. Казах пеший уже наполовину не

казах. Так и ждешь — сорвет с башки черную шапку и примется мять ее в руках.

Истинно генеральским жестом пристав послал урядника с толмачом Жебирбаевым туда, к просителям, ибо то, что они слезли с коней, уже означало подчинение, означало, что они просители.

У бравого урядника сосало под ложечкой, однако приходилось соответствовать начальству.

— Осади! Не шуми! — начал он, подъезжая, с высоты своего седла. — Кто тут у вас за аблаката? Пра-шу... к его благородию!

Люди стояли опустив головы.

— Есть три человека, — вдруг громко сказал Турлыгожа, выступая вперед, — выбранные народом! Они пойдут... скажут слово народа... Но и мы все пойдем, все! Сами послушаем, что скажет пристав. Так, что ли, народ?

И тотчас над толпами взмыло и раскатилось могучее ахо:

— Все-е-е!

— Стой, не напирай, стой... — забормотал урядник, с трудом усидев на отпрянувшем коне. — Нельзя, не велено...

Куда там! Ожили черные шапки.

— Народ тебе не собака... гнать! Сказано — пойдем... И пойдем, отчего же не пойти? Власть не должна скрываться от народа. Пошли все! Пошли!

И пошли пешие, а урядник поскакал перед ними таким бешеным и таким коротким галопом, будто нарядился скакать на месте, смешить людей.

На крыльце канцелярии не то вздохнули, не то ахнули хором. Мгновенный общий порыв — бежать!

— С ума посходили, — зашептал пристав сквозь зубы. — Держитесь, черт вас подери... Не подавайте виду.

— Да, да... — подхватил тучный судья, пыхтя и отдуваясь. — Будто не замечаем... ничего не случилось... Ведите себя, господа, бога ради... как подобает государственным мужам...

Лишь один следователь, поправив на носу очки, храбро сошел с крыльца и встал около своего короба на треножнике.

Выпятив туго перепоясанный живот, ибо толстый живот в степи уважают, опираясь на рукоять сабли, висящей на роскошной португее, которой не побрезговал бы

и столичный полицмейстер, пристав уставился на вал черных шапок взглядом удава. Право, он походил на героя, готового взглядом остановить лавину.

Но напрасно он тратил силу — на лицах казахов не было ни следа страха и смирения, которые он так в них любил. Будто с цепи сорвались! Смотрели на него как на равного... Смотрели насмешливо. Смотрели строго. Ужасно смотрели... И Сивый Загривок почувствовал, как его начинает пробирать дрожь. Хотелось попятиться, пригнуться. Еще минута, секунда — и он не выдержит, заскачет на месте, как Плотников.

Почувствовали это и другие, прежде всего толмачи. Кажется, наступал момент, когда лучше слегка отодвинуться от его благородия. Сейчас при начальстве, у крыльца, были только Жебирбаев и лекарь Жарылгап. Добрый Оспан уже исчез. Его нигде не видно.

— Я начинаю, — сказал следователь и нырнул под треножник; накрыл голову бархатным покрывалом и тихонько двинулся вместе с черным коробом, круглым глазом вперед, прямо на толпу черных шапок.

Гром не грянул, но из-под бархатного покрывала выснулась белая рука, на ощупь схватила тоненький черный хвостик под коробом, раздался щелчок, и глаз спереди единожды мигнул. Это все видели, все слышали.

И побежал, побежал черный короб на человечьих ногах мигать глазом вдоль фронта черных шапок...

Потом только об этом коробе и говорили. Будто бы в нем волшебное стекло. Глянь — увидишь, что было... И, конечно, что будет!

А сейчас — черные шапки замялись, затоптались, отворачиваясь. Люди незаметно поплевывали себе за ворот, чтобы отогнать злого духа, бесовское наваждение. Сглазит — умрешь в адских муках!

Остановилась толпа. Онемела. Застыла, как рысь, когда ей на голову накинута черная мешок.

И тут же отыскался Оспан, выскользнул из толпы и встал перед крыльцом как ни в чем не бывало.

— Говори, кто такие! — рявкнул пристав, хотя колени у него тряслись. — Кого вы там выбрали? Их первых пере... пере... — В глотке у него булькнуло, он выдохнул всем брюхом: — ...ю-у!

— Салем всему собранию... — перевел мудрый Оспан. — Где ваши выборные? Слушаю!

Это «салем» вызвало педоумение. Из задних рядов кто-то крикнул:

— Сказано вам: выбрали тронх. А кто выбран, уж вы-то знаете! И пусть толмач не врет.

— Ваше благородие, — перевел Оспан. — Позвольте сказать троим.

— Трое так трое, — кивнул пристав. — Выходи!

Серикбай, Турлыгожа и Айтпай вышли вперед.

Тут же черный короб приблизился к ним и встал на треножник сбоку, со стороны Серикбая. И пристав, и тучный судья невольно улыбнулись, заметив, как дрогнул Серикбай. Привлекательное его лицо с красивой бородкой порозовело, словно у девицы. Губы так и тянулись к вороту, беззвучно шевелясь, — жутко было бедняге!

Пристав ткнул в него пальцем.

— А ну-ка, ты... что скажешь? Ка-ак тебе пришелся царский указ? Говори...

Серикбай так и не сумел овладеть собой. Досадовал, что не озлился, а оробел. Хотел сказать гневно, а сказал жалобно, запинаясь, волоча слова, как камни:

— Трудно это народу... отдавать джигитов! Тяжко это народу. Кровное это дело... касается всего народа... Да вот народ! Пусть сам скажет... — Серикбай повернулся к толпе и напряг голос: — Отдадите вы джигитов?

— Не-ет! Не-е-т! — зашумели черные шапки.

Пристав видел враждебные лица, огненные взгляды. Но заметил он и другое — подавленность, сомнение, смятение в одном, другом, третьем...

Турлыгожа, смущенный тем, как растерялся Серикбай, испуганный тем, что, может, и сам не справится, замямлит и подведет, вдруг возмутился самим собой. Кровь загорелась в его жилах. Он крепко взял своего друга за локоть и без церемоний отстранил.

— Нет, не так... не так нам доверил сказать народ!

Голос его был зычен и звонок. Голос как труба. А слова как оплеухи. Невозможные слова...

Пристав сунулся было к краю крыльца — оборвать, одернуть. Судья с деланной кривой улыбочкой удержал его.

— Простой народ грубеет душой, — говорил Турлыгожа все более свободно и смело, — ярится народ, когда царь своей царской властью попирает справедливость. Правил нами царь, правил... мы молчали... Но этим своим указом он нарушил свое царское слово. Еще не прошло

полвека, как мы вошли в Россию, с охотой вошли. А царь обещал не брать джигитов в свою армию раньше чем через полвека. И еще обещал не брать налога больше рубля двадцати копеек с юрты. А сейчас? Берет! Обложил всех казахов от двадцати одного года до сорока пяти. Обложил, как данью, как тот калмыцкий хан! Это второе. А потом землю отобрал, с обжитых мест выжил. Отнял воду у народа! Это третье. До чего дошел? Продает царь нам же наши земли. Мы у него пасынки! Потому и злится народ, грубеет душой. Мы недовольны обманом. Большой обман! Думали все же, надеялись сердцем: поправится царь, поймет, как обидел казахов... Должен царь держать свое слово. Чего же дождался? Указ! Реквизиция! Великий обман! Кончилось наше терпенье. Кончилось наше молчанье. Со дня этого указа не верит народ царю! А вам, господам... толмачам... купцам... и подавно. Никому не верим. Если такой указ... слушайте слово народа: не дадим джигитов!

Турлыгожа поднял руки, и тысячные толпы, заполнившие ярмарку от канцелярии до ближних лугов, подхватили во всю мощь, во всю ярость мужских голосов это слово:

— Не дадим джигитов...

Никогда еще за двадцать лет жизни в степи Сивый Загривок не видывал и не слыхивал такого. И никто не видывал и не слыхивал.

Теперь пристав не замечал ни в ком ни тени сомнения. Черные шапки задвигались, стали напирать, тесня урядника и тоненькую шеренгу казаков и солдат на конях, толмачей и служащих. Там и сям взлетали над головой смуглые кулаки. Повсюду слышна крепкая ругань. Канцелярия, окруженная с трех сторон, казалось, была схвачена за горло.

На маленькую пыльную лужайку, на которой стоял Турлыгожа, вышел серый человек, босой, в заплатанном чапане, ведя тощего вола в поводу.

— Кто согласен отдать джигитов, — сказал он, — того вот этим зарезу. — И вынул из-под полы длинный нож с черной рукояткой и ясным лезвием. И показал нож приставу.

Турлыгожа обнял бедняка. И другие стали его обнимать. Пристав стоял ни жив ни мертв, делая, однако, вид, что все это ему нипочем.

— Ну, так вот, — сказал Турлыгожа, дождавшись, когда народ поутихнет. — Пусть царь берет скот, как брал, но не джигитов. А если уж и впрямь нельзя царю обойтись без наших молодцов — так и скажи... Пусть будет так. Но пусть будет честь по чести! Тогда дай в руки джигитам оружие. Дай коня под седлом, дай ружье, дай патроны. Одежу-обувку, ремень... и вон тот погон, как у казака... Мы не хуже его конники! Это не дело — идти на войну с голыми руками. На позор-поруганье, губить ни за что не дадим джигитов. Дай оружие! Шапку с кокардой! Вот чего народ хочет.

Эти слова понравились больше всех других. Очень пришлись по душе эти слова.

Турлыгожа закончил. Начал было говорить и третий выборный — Айтпай, но его не стали слушать. Гул голосов прокатился над толпой. Заговорили сами с собой, яростно выкрикивая, повторяя слова Турлыгожи, такие простые, такие ладные: дай ружье! дай коня! ремень! погону! шапку с кокардой! мы не хуже твоих казаков! ты бери, бери людей, но честь по чести! что же мы, пасынки?

Чем дальше, тем жарче разгорался огонь этих слов. Вскипала, взрывалась в этом огне, подобно влаге на пожаре, давняя горечь, давняя обида, светились, как угли, глаза, вспыхивали бешено оскаленные зубы. Горело сердце у смиренного племени.

Начальство застыло, окаменело. Стушевался и отважный следователь со своим спасительным черным коробом. Он в толпе, его не замечают. Ему надоело и собственное фиgliedство, и бездарность, беспомощность господина пристава.

Пристав, тяжело опершись на перильца крыльца, склонился к судье. Судя по их лицам, они держали совет государственной важности. Судя по губам, пороли чушь для отвода глаз.

На минуту пристав повернулся спиной, перекрещенной ремнями, к черным шапкам. И тут Жансеит, растерявший в суতোлке своих сверстников, выиграл духом, руки у него чесались.

— Огрею я его, сукина сына, плетью по заднице!

Вывернулся из толпы, вскочил на ступеньки крыльца и уже замахнулся было своей нарядной черно-белой камчой... Старики стащили его назад.

— Ой, сынок! Ты что? Подожди, милый. Придет время. Тогда и огреешь... Лежачего, милый, не бьют...

Но по глазам их Жансеит видел, что поспей он да вмажь сплеча по господской, по жирной спине, никто бы не упрекнул его. И еще видел Жансеит, что достань он сейчас пристава плетью, ничего бы от начальства не осталось — ни ремешка, ни пуговицы на память его толстухе.

— Жаль, жаль... — смешливо сокрушался Жансеит, чувствуя, однако, что свое дело он сделал.

На глазах у всех он поднял руку на недостижимый поднебесный Чин... А уж то, что старики помиловали его, — на то они и старики.

Рухнул степной идол — Сивый Загривок...

Вон он будто бы еще стоит вполоборота, таращится, крутит ус, словно думает свою важную думу. А ведь он уже пыль и прах... Этот человек — ничто перед народом, перед его словом, перед его сердцем.

И стали черные шапки покачивать головой, пощелкивать языками и посмеиваться вслед за веселым рыжим Жансеитом, безотчетно радуясь своему великодушию и не догадываясь о своей безмерной наивности. Что было задумано, то было сделано. Они сказали свое слово, сказали, как хотели, вольно, буйно. Так же они скачут на коне, так пасут скот, так оберегают его от волка. А дальше — как бог даст. Теперь скажите вы, как умеете...

И стали черные шапки почесывать затылки да подтягивать кушаки, поплевывать да расходиться. Искали коноводов, разбирали коней. К предвечерней молитве — как вымело, почти никого не осталось на ярмарке.

Волна гнева, поднятая так легко и, казалось, готовая все сокрушить, так же легко отхлынула и растеклась.

Глава пятая

Горы. Жгучее солнце, холодные воды... На западе могучий хребет, скалистые его плечи круты, а на его груди — раздольные луга, белопенная речка; близ нее длинные ряды юрт — на зеленых буграх и у самого берега, врезанного в обнаженный камень.

Это летовка Донгелексаз, аул Серикбая. Повсюду кругом, за хребтами и ущельями, такие же луга, такие же аулы. С весны весь род албан был на этих высотах. Но аул Серикбая выше всех.

Над лугами сосновые, дремучие боры, похожие на насупленные мохнатые брови. Но местами сосны, редая,

клиньями сбегают с вершин к лугам, и тогда они смаивают на редкие бороды, точь-в-точь как у казахов. Руслы горных ручьев, сухие и влажные, рассекают кручи, напоминая чистые мягкие морщины. Вдоль них взползает зелень лугов; она чем выше, тем нежней, и горит, как румянец на смуглой каменной коже. Лицо гор мужественно и моложаво.

За темной чертой хребтов и вершин ясно синеют леса и скалы дальних гор, а за дальними белеют под облаками уже седые головы, снежные шапки. Ниже, там, где стоят в обнимку две зеленые вершины, точно в синем тумане, брезжит богатырский бок Кулык-горы.

Краток вечер в горах. Но и его резкие быстрые тени не сразу гасят зеленый огонь лугов. Бледно розовеют кроны старых сосен за аулом. В густой хвое протяжно вздыхает студеный вечерний ветерок. Под соснами уже темным-темно. А в ярком небе все еще кувыркается и звенит жаворонок, мечется, стреляет над лугами неумная пустельга. Дружно поют за холмом мальчишки — юные чабаны.

Куда ни глянь — табуны да отары. Овцы забираются дальше всех, пасутся тесно, не разбредаясь, и их так много, что издали кажется — они клубятся, как облака. Кони разномастны и ходят вольней.

По вечерам, когда пустеют пастбища, голос аула возносится до лесов и гор, заглушая летний гром реки.

Овцы возвращаются раньше всех; их уже подоили, они жмутся к аулу. Стелется низкое блеянье крупных овец, взлетает тонюсенький дискант козлят и ягнят. Послушать их — в ауле бедствие, повальное жалобное моленье. Мычат коровы, завидев своих телят, ржут жеребцы, отменные табунные певцы. Иной залетит на самой высокой, яростно звонкой ноте и закончит могучими короткими хрипами, похожими на рыканье.

Женщины ласково зазывают коров. Повелительно покрикивают мужчины. Слышны слабые, но властные голоса старцев, они советуют, одобряют, порицают. Брызжут всплески детских голосов, лепет, визг, смех и плач.

Ну и, конечно, лай собак. Он стихает позже всех других, а то и совсем не стихает. Интонации совсем человечески. Отчаянно нежно скулит обиженный щенок, сварливо брешет злая сука, нахально — молодой, достойно — старый кобель. Они отзываются на каждый шорох и шелест в степи, в юрте, в загоне, они встречают и про-

вожают людей. Едва подаст голос один пес, поднимаются на ноги все. На пороге ночи, когда вспыхивают очаги, разгорается оголтелый, оглушительный лай. Собаки распекаются от огня, и их не угомонить. Они кричат человеку, овце, коню: не бойся темноты, мы начеку.

Есть своя гармония в жизни аула. Но вся прелесть аульного бытия открывается по вечерам. Это час слаженной кипучей работы, завершающий медленные труды долгого летнего дня, когда в ауле безлюдье и скучная тишина. К вечеру и горы и луга оживляются, как бы стряхивая с себя знойную ленистую одурь. Небо дышит прохладой, а в руках все горит. Голосист и многоязычен вечерний аул. Илюдно, и тесно, и шумно в ауле, как на ярмарке...

* * *

Однако как далеко отсюда до ярмарки!

Странная жизнь пошла здесь с некоторых пор, тянулась уже вторую неделю, и не видно было ей конца. Молодые гуляли, хмельные от кумыса, не расседывали коней ни днем, ни ночью. Старики сокрушались, глядя на их праздность и безделье, но и они считали: надо быть наготове. Джигиты не спали... Джигиты гостили. Нынче они в гостях у народа.

Все ждали чего-то. И никто не знал, чего ждет. Утешались тем, что джигиты наготове...

Печально смотрел Серикбай на красоту гор, на вечернее оживление лугов. Он благодарил и благословлял судьбу за отчий дом, за землю и небо, которые достались его роду, его племени. Не эта ли земля сделала албан одним из самых видных казахских родов? Но думал Серикбай: а не слишком ли богат этот дом? Не слишком ли он благополучен? И не находил ответа в своей душе.

Неужели конец привычному приволью, нелегкой, кочевой, но милой и родной аульной жизни, желанному миру?

Подходили к Серикбаю люди, ищущие, вопрошающие. Его любили, держались за него... А что он мог им ответить?

Вот один из них, Жаксылык. Малорослый, толстый старик. За версту видно, что горемыка. Единственный у него сын, единственный кормилец — Жуматай. Крепыш, девкам на загляденье! Ему первым быть в списках...

Наверно, уже пролил старик со своей старухой соленую слезу, думая над участью сына, над своей участью. Сегодня его бедная юрта богата, а завтра может быть разорена дотла. И родной аул станет чужим, вся жизнь пуста и безотраднa. Все, что он пережил, стало быть, еще не горе, а вот это горе!

Жаксылык скромн, как его достаток. Приблизится неслышно, спросит невнятно, а то и смолчит. Спрашивали его запавшие от горьких дум глаза. Что новогое? Добрые ли весте? Но Серикбай молчал, ибо сказате «все по-прежнему» — значит молчатъ.

Старику отвечали джигиты... Они говорили за Серикбая, много говорили.

Ближе других к нему были Баймагамбет и Отеу, из бедняков; они ездили с ним повсюду, они все знали.

— Эти гостили внизу, — сказале Баймагамбет, кивая на молодых всадников, уже в сумерках въезжавших в аул с песней. — За нынешний день, пожалуй, барашков тридцать — сорок заколото.

— Какое там тридцать! — возразил Отеу со смешком. — Если взятъ аулы в Коктебе, наверняка все пятьдесят! Народ расщедрился на славу...

— Хороша твоя щедрость и слава, — перебил его Баймагамбет, косясь на Серикбая. — Много ли разгуляешься, если будешь жрать собственный скот? Отобратъ бы у казаков... у ихних богатеев...

Жаксылык удрученно повесил голову. И словно выдавил из себя:

— Дались тебе казаки, сынок... Подумал бы лучше, как поберечь свою скотину. А всего бы лучше, если б ни ты, ни казак не трогали друг дружку.

— Ишь чего захотел! А ежели он не хочет? Вечно нам терпеть, отец?

— Я уж натерпелся досыта. А вот как ты, милый... я еще не видел. Тебя-то он пока не трогал. Что ж зря болтать... Неладно все это.

— А народу нравится! Дратъся, так дратъся не шутя! — вскрикнул Баймагамбет.

— Зачем же тогда сели на коней, забросили хозяйство? — добавил Отеу. — Оружие готовим...

— Больно много вы знаете, как я погляжу, — вздохнул Жаксылык. — Кому это нравится? Кто будет дратъся? Где оно, оружие? Я что-то не знаю. Не вижу. Это как же у вас... как у моего Жуматая? Привяжет железо к палке

и говорит — копьё! Думаешь, солдат будет стоять да ждать, пока ты подскачешь да пырнешь его?

Парни примолкли, смущенные. Все ждали — скажет Серикбай. Но он не обмолвился ни словом.

Баймагамбет подмигнул:

— А что, отец? Случись война — что-нибудь придумаем. Не пулей берут, а храбростью. Пугнем разок, глядишь, солдат побросает оружие, а мы и подберем...

— А что, отец? — повторил Отеу. — Не люблю, когда киснут прежде времени. Случись война — отгоним весь скот подальше, в какой-нибудь тайный глубокий овраг...

И было это так лихо-дурашливо, что все рассмеялись.

Случись война... Так говорили потому, что наслышаны были о киргизах... Не далее как сегодня в соседнем ауле кололи барашка, пили кумыс, там были скачки, была борьба казахша курес — вольная, с хитрыми подножками, ловкими бросками. И вот туда приехал один человек с ярмарки и привез слухи неслыханные, и все про них, про них...

— Смотри на киргизов! — сказал Баймагамбет, исподлобья косясь на Серикбая. — Говорят, под Караколом улепетывают тамошние сивые заливки, как зайцы. Чем мы хуже киргизов?

Отеу загорелся. Он верил всем слухам без разбора.

— Киргизы, если начнут, не отвоятся на полпути. На нас надеются, на албан. Так говорят!

Старый Жаксылык с робкой надеждой повернулся к Серикбаю:

— Раз воюют, значит, вооружены? Есть оружие?

— Вряд ли... Но в них я верю. Это народ смелый, воинственный. Дай им бог...

Старик, обрадованный тем, что Серикбай наконец заговорил, не отворачивается, почти взмолился:

— А мы? А мы-то что? Вся Каркара поднялась... Говорят, Узак-батыр угнал самых лучших коней из табунов брата Тунгатара, отдал неимущим добровольцам... Паук этот Тунгатар... Правду ли говорят?

Но опять ему ответил Баймагамбет:

— А мы? Мы тоже... Во всем Донгелексазе кони падутся на аркане. Только позови, кликни!

И Жаксылык опять опустил голову, что-то глухо, недовольно бормоча себе в бороду. Серикбай с силой похлестывал плетью по новому мягкому сапогу. Он думал о том, что спросил у него старик: угнал лучших коней... раздал неимущим... паук этот Тунгатар...

Старик сказал о самом главном. Отеу ответил ему в тон, сам того не понимая, смешливо крутя головой:

— У меня одна лошадка. На ней я пашу и сено убираю. Вот оседлал! Авось хватит ее — прогнать пристава до Жаркента? А? А тот рыжий... Жансеит... И всего-то у него две лошадки, а одну уступил Канапие. Что же мне после этого жалеть? Ни жизни, ни добра не жалко!

Услышав имя Жансеита, Баймагамбет приснул, сказал:

— Подарил, сукин сын! Мало того... Этого ему мало... Я, говорит, свое раздал. Теперь каждый пеший, у кого нет коня, пускай идет ко мне, будет конный! По крайности, угоню табун толмача Оспана, но ни один не пойдет пеший.

— Веселый он — братец Жансеит, — неожиданно с недоброй улыбкой проговорил Серикбай. — Оспан-то родственник Жансеиту, как Тунгатар Узак-батыру... Грозит, значит, табуну толмача? И верьте — раздаст! А этот черный ворон, питающийся падалью, гнилое яйцо... Не то что помочь народу, напротив, только того и ищет, как бы насосаться по-паучьи в царской паутине. Сам он не даст ни одного коня. А дал бы, не был бы Оспаном.

Жаксылык слушал Серикбая с откровенным облегчением.

— И на что он надеется? — спросил сдержанно. — Так и не ушел с ярмарки. Ну, не дай бог, перебьют всех албан, с кем он останется? Выучили ихней грамоте, и забыл все на свете, забыл дедов и прадедов... Глуп как чурбан.

— Глуп, да не очень, — сказал Серикбай. — Съедет с ярмарки, скажут, переметнулся. А что ему народ? Здравствовало бы начальство. Жебирбаев — воруга, а этот предатель! Кто раз отведал похлебки господина пристава, тот уже отравлен. По мне, Оспан опасней урядника.

— То-то и оно, — сказал Баймагамбет. — Брал бы, черт с ним. Был бы шкурой... да ведь шельма! Продает.

— Советует, упреждает... — язвительно добавил Отеу. — Завтра-послезавтра, говорит, будет народ тише воды, ниже травы, строго накажут...

— Кого же накажут? — спросил Жаксылык.

— Спроси, кого пощадят. Всех подряд...

— Не в тебя метит, отец, в Узака! — перебил Баймагамбет. — Чтобы ты его продал, как он продает.

— Да... Пора бы, пора Жансеиту вырвать это жало, — проговорил Серикбай сквозь зубы. — Надо змее знать, кого ей бояться!

Джигиты угрюмо переглянулись. Имя Жансепта их уже не смешило.

Тут подошел Карашал, друг и правая рука Серикбая в хозяйственных делах; разговор принял новый оборот, и стало вдруг ясно, что на душе у Серикбая.

— Не знаю, как там и что, — сказал Карашал, — а пока суд да дело, аул Оспана и в ус не дует. Живет сам по себе, сам для себя, ничего его не касается. Единственные из всех албан, кто занят хозяйством, — это они. Прислал жену и детей в аул...

— Понятно, — сказал Серикбай. — Черная коза печется о спасении, а мясник о ее мясе. Разбогател за пять лет... Богаче всех!

Карашал причмокнул: богаче, мол, не бедней.

— А кстати, — сказал он, — раз уж речь о хозяйстве... У нас тоже пшеница созрела, время жать. И с покосом надо спешить, а то опоздаем... Что за праздник у албан? Такой нынче урожай! Хлеб... Сено... Пропадает! Неужто дадим пропасть?

— Не ворчи, — сказал Серикбай раздраженно и словно бы виновато. — Жужжишь, как осенняя муха, не отобьешься от тебя. Что же, мы все шутики шутим? Поминокки у нас, а не праздник... Еще то ли увидишь!

— Пока увижу, кормиться надо... — возразил Карашал. — Деды учили: жить тебе до полудня — запасись едой на целый день.

Серикбая взорвало, и по тому, как он стал говорить, хлеща себя плетью по сапогу, видно было, каково это человеку — поворачивать на скаку не коня, а всю свою жизнь.

— Пропади он пропадом, мой дневной запас! Я не Оспан. Мне помирать в полдень. Не нужно мне богатеть.

— А нужно тебе беднеть? — быстро, с хитреньким прищуром спросил Карашал.

— Хочешь, чтобы я дрожал над богатством... Хочешь, чтобы трясся... Что за радость? — вскричал Серикбай.

— Рехнулся ты, хозяин! Смеешься надо мной?

— Я смеюсь? Плачу я. Начни я убирать хлеб — завтра же все разбредутся. У каждого сыщется дело. Кто не нуждается в хлебе, в сене? Не так мы богаты. Совсем не богаты! (Жаксылык и Отеу закивали головой.) Уйдем в поле, забудем коня. Коня береги! Это наше единственное оружие.

— Не узнаю тебя, не понимаю, — пробормотал Карашал.

— Не обо мне думай, тогда поймешь! — сказал Серикбай. — Я говорю всем: будь наготове, хозяйство подождет. Делись всем, чем можешь, корми друг друга. И будь на коне по первому зову — в срок и к месту! Не расходись, не отлучайся никуда ни днем, ни ночью. Будет гостевать. Не сегодня, так завтра быть такому делу, каких мы еще не делали... Пока не пройдем через это испытание, жизнь не жизнь и добро не добро. Провались все, и скот и хлеб, если мы не выстоим.

— Помилуй бог, — сказал Карашал. — Разоришься — Оспан будет рад. Уж он-то не сидит сложа руки.

— Ты не тычь мне своим Оспаном! Имей совесть... Оглядишься — бедняки раздают последнее. Бедный из бедных Жансеит имел двух лошадок — одну отдал! А наш волостной Аубакир? Кабы захотел, был бы начальником почище твоего Оспана... А батыр Узак кого первого ударил? Тунгатара, наука! Я разорюсь, когда народ разорится...

Карашал утирал рукавом чапана лицо и грудь. Он был в холодном поту.

— Что ты надумал? Скажи, ради аллаха.

И Серикбай сказал:

— Придет черный день, будет нужда — пригоню свой табун и раздам Донгелексазу. Раздам — и не охну. Тсперь понял?

К этому клонилось, все этого ждали... И все-таки не верилось! Ободрать богача, мироеда — это в степи бывало. А вот раздарить свой табун — такого еще не слыхали.

Жаксылык стоял в сторонке, смиренно сложив руки, как приличествует бедняку.

«Ай, Серикбай, ай, Серикбай, — думал он. — Молод ты еще, молод... А будет ли доволен твой отец, давший тебе имя?»

* * *

Минуло две недели с того дня, когда род албан сел на коня и сказал приставу: «Не дадим джигитов», — по повсюду было «все по-прежнему»...

Аул Узака напоминал штаб; сюда стекались вести и слухи. Надежные, смышленные гонцы уносили их в аулы Жаменке, Турлыгожи и Серикбая, а оттуда и дальше, повсюду. Видные люди этих аулов спешно съезжались на

совет; говорили и говорили, а сказанное не держали в секрете...

Слухи и вести шли издалека — из Каракола, Жаркента, из города Верного, но прежде всего с ярмарки в Каркаре, где обитал пристав. И все глаза, все уши были нацелены на Каркару.

А власти таились. Они были неразговорчивы... Набрали в рот воды и толмачи, и прочие ученые казахи. От них ничего нельзя было добиться. И глупо, опасно было им довериться. Нужен был свой человек на ярмарке. Стали такого искать. И нашли.

Им оказался узбек Султанмурат, купец из Ташкента, обходительный и умнейший из торговых гостей. Он жил близко от канцелярии и не упустил из виду никого из тех, кто туда прибывал, будь то купец, чиновник или курьер. Сумел он войти и в окружение самого пристава; время было тревожное, рюмка водки под балычок и под граммофон успокаивала. Трудно было, однако, добраться до Султанмурата, не вызвав подозрений.

Ярмарка пустовала. Приезжали двое-трое, а то и пятеро-шестеро драных бедняков верхом на волах. Люди мелкие, и покупки мелочные. Но как бы ни была пустычна покупка, казах не торопится, обойдет всех купцов и все лавки, самые крупные и дорогие. А уж эти на волах, точно на смех, приценивались ко всему и торговались за каждый грош до хрипоты, до синевы. Впрочем, изнывающему без дела купцу они были не в тягость. К ним-то и подсылал Султанмурат приказчика-насмешника, и под шумок тот сообщал им что нужно... Люди всякий раз приезжали новые.

Так были получены первые бесценные весточки — о восстании. Одновременно прибыл очень хороший человек — из Каракола. Вести совпадали...

Немедля Узак снарядил двоих к Серикбаю. Они прискакали на Донгелексай уже ночью, под истошный лай собак, разбудивший весь аул.

Узнать всадника в темноте нелегко. Кони толкались, тяжело сопя, звеня уздечками, седла скрипели. Но одного рослого на длинном коне как не узнать! И седло и стремена у него посверкивали серебром. Это весельчак Кокбай, из джигитов джигит. Другой, похоже, вестовой.

Кокбай едва вошел в юрту и сорвал с головы проплетевшую шапку, не успев отдышаться, забасил:

— Из Каракола! От Султанмурата... Одним словом, началось. Донял царь и нас, и киргизов, и уйгуров. Поднялись все, начиная от Лепсы и Талды-Кургана. Не признают указа! Никаких чертовых списков! Грозят уйти от царя... Были нападения на города. Были стычки с солдатами. Дальше. Под Пишпекком, Верным, Караколом восстание. Там настоящая война! Оказывается, все-таки опередили нас киргизы и уйгуры. Напали на военный обоз с оружием, который шел из Пишпека в Каракол. Говорят, вооружились все до одного. Власти напу-
ганы...

Отеу не выдержал, вскрикнул:

— Говорил я вам — киргизы! Они начали дело. Их разозли — ни за что не остановишь.

— Не только они... уйгуры!

— Вот это народ. Мне бы туда... Нам бы с ними... — сказал Баймагамбет.

Серикбай спокойно почесал бородку.

— Послушай, насколько все это точно? Спрашивали у Султанмурата?

— Наверно, уж точно. Должно быть, точно, — сказал Отеу.

Кокбай перебил его:

— Прибыл еще от киргизов их человек известить нас, албанов. Говорит, посланы вестники в Верный, в Пишпек. От вожаков!

— Кто же у них в жожаках?

— Сказано было, что Батырхан, Кыдыр, Саудамбек... Восстал весь народ. Ни один не ушел в кусты... Просят действовать сообща. Просят подтвердить делом — разнести ярмарку... Кстати, знают они наших — Узака, Жамепке... и тебя, Серикбай...

— Ой, спасибо, спасибо беркутам! — Отеу взмахнул руками.

А Баймагамбет заметался по юрте, то вскакивая, то вновь садясь.

— Что ж тут раздумывать? К делу! Вот настоящие мужчины...

Но Серикбай был невозмутим.

— Что говорит Узак?

— Ждет вас... Думает он, что дошло все это до пристава. Если дошло, значит, так оно и есть. Снимется тогда Сивый Загривок с места со своим конвоем. Но по-хорошему этот волк не уйдет. Не может он по-хоро-

шему... Надо держать ухо востро. Завтра, не позже, все будет ясно.

— А до завтра что будем делать? Ждать? — зло выговорил Серикбай.

Кокбай засмеялся.

— А вы, как Узак... бьете тем же словом! Посланы три человека к Саудамбеку. Хотим рука об руку с ними. Это одно. А второе — посланы наши гонцы в урочище Асы, к красношапочникам. Чует моя душа — оттуда будут вести. С часу на час!

Красношапочники были тоже рода албан, как и черные шапки, но не такие смирные.

— Говоришь, из урочища Асы? Все может быть. Похоже на то, — сказал Серикбай задумчиво.

И старики, бывшие при том разговоре, прослезились, благословляя:

— Ну... чтоб все хорошо было... О дух святого предка...

Ободрился даже Карашал, который в отличие от Отеу не верил никаким слухам. И только когда Серикбай встал со словами: «Баймагамбет, седлай...» — Карашал помрачнел:

— Уедешь? А кто же тут... с нашими? Без головы ноги не ходят.

На минуту Серикбай задумался.

— Аубакир останется дома. Он будет с людьми... — И с легкой душой уехал.

Пришлось Серикбаю вскоре горько пожалеть об этом.

В ту же ночь радостная весть, как ветер, облетела весь Ширганак, и не только Ширганак — все луга и левтовки на десятки верст окрест. Повеселело пастушье племя, ожил степной люд.

Всю ночь непрерывно лаяли собаки, скакали из аула в аул гонцы. Не гасли очаги, пылали костры. Искры взлетали до неба, в котлах дымился бешбармак. Никто не хотел спать — ни старцы, ни дети. Взрывы смеха, протяжные песни мужчин и женщин, игры, стычки и забавы превратили эту ночь в праздничный день.

До утра ехал Серикбай и до утра видел во всех аулах веселую суету, общее радостное возбуждение. Его останавливали, сообщали ему весть Кокбая... Предлагали мясо, кумыс и игры с выкупом, но выкуп не деньгами, а песней или шуткой, и с наградными поцелуями аульной черноокой красавицы.

Давно рассвело, когда Серикбай въехал в большой аул. На пологом зеленом косогоре стояли сплошь белые юрты. Близ юрт множество овец. Приплясывали, развеывая гривы, великолепные боевые кони — на арканах или с путами на передних лодыжках. Людей не видно было, если не считать старых пастухов, которые бодрствуют и на вечерней и на утренней заре. Аул спал, по, видимо, тоже после шумной бессонной ночи.

Будить никого не хотелось. Серикбай разнуздан коня, прилег на лужайке у центральной юрты вздремнуть после утомительной дороги... И проснулся лишь к обеду.

Над ним стоял Турлыгожа, а чуть поодаль незнакомый человек в шапке из рыжей смушки.

Серикбай вскочил смущенный: проспал? Турлыгожа взглядом ответил: еще нет!

— Поздравляю, — сказал он. — Гони суюнши. — И ловко сорвал с головы Серикбая тубетейку.

— Э-э, что такое? — пробормотал Серикбай. — Что случилось?

— Случилось! — проговорил Турлыгожа своим зычным голосом. — Восстала Асы! Красношапочники... Вот их человек. Перебили солдат во главе с начальником, порвали списки, прогнали всех...

— Не врет он? — растерянно спросил Серикбай.

Незнакомец молча покачал головой.

Втроем вошли в юрту. Она была полна пароду. Сидели старые и молодые. Все громко переговаривались. Перед каждым — пиала с кумысом.

На почетном месте Серикбай увидел Узака и Жаменке. Здороваясь, от самых дверей закричал:

— Правда ли?

Веселые морщины собрались у глаз Жаменке.

— Правда, правда. Обогнали тебя, милый, красные шапки... Они уже выступили. А мы все ждем. Посмеются над нами, и поделом. Наш черед ударить по власти, пока она не очухалась от страха! Садись поешь, да потолкуем...

И никто из тех, кто был в юрте и выходил из нее, не заметил поблизости от аула, от зловещего Меченого Камня, на котором лежало клеймо проклятья, одного странного человека.

Его хорошо знали все, кто был в юрте. Они его туда не позвали. Но он и не нуждался в этом. Нужда у него была совсем иного свойства.

Он почевал в небольшом тихом ауле, тихом даже в ту радостную ночь. Аул был укрыт в кабаньем бору... Ехал человек восвояси, может, на ярмарку, а может, и с ярмарки... И вдруг у белых юрт, чистых, как первый снег, увидел он оседланных коней, забрызганных грязью по самые седла, покрытых потеками пота и пены. Кони тянулись к траве, грызли удила. Видно, что не кормлены, непоены и пробыли в пути не час и не два, всю ночь.

Глаз у человека был наметанный. Среди многих коней он легко отличил знатного рыжего иноходца под богатым седлом. Это конь Серикбая. Но еще приметней были два жеребца с волнистыми, вьющимися гривами. Это кони красношапочников!

Человек осторожно поодаль объехал аул. При нем был только один джигит. Под косогором бродил дряхлый старик, щипал скрюченными пальцами какие-то травки и нюхал их. К нему и подъехал с опаской джигит. Старик обрадовался собеседнику, заговорил взахлеб:

— А сам ты... не видишь? Приезжие... Издалека... Только к утру поспели. Хотят решить, что теперь делать с приставом... Серикбай, Турлыгожа, Жаменке... К тому же было кровопролитие. Там... как его... в этом... в урочище Асы! Есть один молодой оттуда, с перевала. Вон те два жеребца его... Они самые.

Старик был туг на ухо, кричал, и человек слышал каждое слово, но был так любознателен, что подъехал ближе и сам расспросил о том о сем.

А потом человек потихоньку отъехал, отозвав джигита. Ехал и ехал трусцой. Но как только аул скрылся из виду, он пустил коня во весь опор и гнал его, не жалея плети.

Глава шестая

Щедра земля в урочище Асы, высоко в горах Алатау. Здесь от века жили красные шапки, крупная крепкая ветвь рода албан. А с ними бок о бок селились ближние племена — жаныс и канглы, оторванные от дедовских корней, потесненные с родных мест, из-под города Верного. Пришли они сюда голые, босые, как путники, ограбленные на большой дороге. Асы приютила и их.

Это продолговатая, глубокая, как колыбель, зеленая долина. На западе высится выпуклая гора, покрытая сбоку

густыми кудрями хвои. Ни дать ни взять — красавица с толстой черной косой на правом плече. Стоит она в полный рост над колыбелью, прикрывая ее спиной от ветров. На востоке толпятся небольшие округлые вершины, точно подушки в изголовье.

Здесь много воды и до поздней осени чисто и зелено. Воды стекаются с горных высот в реку Кокозек, и она все лето полноводна, дышит величаво.

Зеленая долина полна кипучего движения — это первое, что бросается в глаза и радует глаз. Куда ни глянь, стада и табуны на привольных травах. Травы не выжжены, не вытоптаны и не объедены даже к концу лета. В буйной зелени белеют юрты, точно гусиные яйца в камышах.

Пришел август; ночи похолодали, участились дожди. По утрам весь мир застилал туман, потом он поднимался и источал теплую, нежную изморось. К полудню солнце разрывало белесую пелену, и распахивалось небо, словно умытое, а долина хорошела, как в сказке.

Космы тумана еще лежали на окрестных горах, цепляясь за пышную хвою. На снежных зубцах Алатау синели и чернели тучи. Там повисали гладкие косые полосы ливня и в них посверкивали молнии. Но над дугами облачка уже белы, ленивы и ласковы.

У края долины, между зеленью лугов и синевой неба, возвышается стена мрака. Это леса, сосны. Кажется, что там затаился кто-то в шубе, вывернутой наизнанку. Голова у него в чалме тумана. Он хмурится и тоскует по ясным весенним дням. И все же любит тишину и свежестью августовского полудня.

Облака уплывают за горы медленно, словно прощаясь и обнадеживая. По лугам скользят легкие дымчатые тени. Они будто играют в свет и мрак. Так бывает на душе, когда светлое, радостное, блаженное вдруг заволакивается пеленой необъяснимой грусти. Так бывает в горах, на летовках, в то яркое и краткое время, когда осень еще завтра, а лето уже вчера.

К югу вдоль реки тянулась обрамленная вековыми соснами просторная лощина. Здесь, на самой лучшей из земель красношапочников, осел аул, может быть, самый богатый во всем роде албан. Это было родное гнездо предков Даркембая, отца Даулетбака, а Даулетбак был самым влиятельным лицом во всем громадном Верненском уезде величиной с иную европейскую державу.

Жители этого аула вели свою родословную от одного общего предка. Из поколения в поколение множилось число потомков и сородичей, множилось и их богатство. Ныне большая аульная семья насчитывала уже человек триста, и праmaterь этих трехсот человек, старая байбише, была еще жива.

Многотысячными, а значит, уже несчетными табунами, стадами и отарами владел сын Даркембая Даулетбак. Их пасли десятки его слуг-пастухов. Богатство и могущественная родня принесли Даулетбаку неслыханную власть и славу почти святого. Звали его не иначе как Почтенным и Благим. И было время, совсем недавно, когда он мог повелевать и карать, как ему вздумается. Мог лишить имущества, мог лишить и жизни. И лишал, обогащая себя и свою родню, как это делали его предки до прихода русских и еще немало лет после их прихода.

* * *

Господин Клубницкий, помощник уездного начальника, прибыл в урочище Асы из города Верного с порядочной свитой. При нем был младший чиновник, толмач, два бойких писаря и воинский наряд в составе девяти нижних чинов при десятом унтере. По одному этому можно судить о том, как было взвинчено начальство и какие надежды оно возлагало на господина Клубницкого.

Красношапочники исстари жили на виду и могли бы явить образец поведения для всех инородцев. Между тем в урочище Асы словно уснули. Красношапочники упорно и загадочно молчали. Это лишило покоя начальство. Вероятно, полагало оно, народ напуган и смущен. И, слава богу, разрознен и не знает общего языка... Народ дик и глуп. Но могут найтись смутьяны и поджигатели. А по-сему надобно направить в аулы распорядительных и строгих чиновников с нарядами солдат. Помочь господам волостным составить списки по всей форме. И препроводить джигитов на реквизицию под конвоем. Не упустить кризисного часа. Тогда народ сам сунет голову в хомут. Увидят, что первые джигиты взяты и земля не разверзлась. Увидят порядок и потянутся по ранжиру. Нужен пример, как козел для овец. Пусть им будут красношапочники.

Клубницкий избрал местом своей резиденции аул Даулетбака. Ехал он сюда на рессорной коляске, но чувствовал себя как на гвоздях. Он уже знал, что было на

ярмарке в Жаркентском уезде. Знал — между киргизами брожение. Что греха таить — все уроженцы Алатау встали и ощетинились, как леса на горах. И там и сям нахло гарью... Списки — большое место... И понятно, что Клубницкий был готов к неожиданностям. Но то, что он встретил, ни на что было не похоже.

Народ угрюм. Смотрит косо. Зол, как цепной пес. Ни малейшего признака радушия. Юрту для начальства — и ту едва сыскали. Никто не пожелал ее ставить. Ни один, как бывало, не кинулся сломя голову, причитая от усердия. Кто-то из волостных все же дал юрту, но не узнать кто... Немалых хлопот стоило также найти барашка на бешбармак гостям. Кумыса как не бывало. Не подали, сукины дети, даже освежиться с дороги. Таким гостям! Из самого Верного, где живет сорок тысяч верных слуг белого царя.

Вообще управители, старшины и прочая местная власть ходят, как сонные. Одни чешутся, другие зевают тебе в лицо с собачьим завыванием. Так и норовят перепоручить твой приказ один другому.

С ними Клубницкий обошелся круто, взял их за бока... Он нередко наезжал к казахам с ревизией да инспекцией и был известен своей суровостью. Не столько нечист, сколько тяжел на руку... Он и на этот раз потешился всласть. Орал на волостных и биев, не давал им рта раскрыть. Ругал на чем свет стоит при младших и при слугах. Топал ногами, закатывая глаза. Гнал вон из юрты, не считаясь с именем и званием. Двух старшин велел арестовать, а еще одному-другому самолично вклеил по оплеухе.

Но от его глаз не ускользнуло то, что местные господа уходили после разноса предовольные... Уходили спать!

Клубницкий сбавил тон и незамедлительно распорядился потихоньку собрать всех чиновников, которые были поблизости в аулах по делам службы. Писцов, судебных исполнителей, стражников — всех!

Они тотчас явились, не глядя на внезапный ливень и распутицу. Собралось в общем человек двадцать, все были вооружены.

Тогда подошел к Клубницкому один из волостных, человек рыхлый, кривоногий, обычно молчаливый и несмелый в разговоре, с такими словами:

— Каспадын нашалнык... народ сапсем плоха...

И дал понять, что одни волостные вряд ли справятся,

Не совладать. Но есть у них аксакалы — Даулетбак... Жылкыбай... Казах не живет и не умирает без аксакала. Без аксакала казах плохой...

И Клубницкий внял совету.

— Зови! Пусть придут.

Так оказался в его юрте Даулетбак, Почтенный и Благой. Приехал и Жылкыбай. А с ними еще несколько стариков.

Они пробыли у Клубницкого долго, целый день. На их глазах продолжались вразумления, внушения и рукоприкладство. Слышали старики отдельные робкие голоса, которые пытались было склонить Клубницкого повременить, пока подадут прошение... пока его рассмотрят... Он пропускал все это мимо ушей. Помимо бранных слов, он употреблял лишь одно слово: списки, списки!

Ничего путного от волостных старики не ожидали. И Клубницкий их не испугал. Их пугало и угнетало другое. Даулетбак молчал!

Старики перешептывались со стыдом:

— Что же, так и помрем, не вымолвив ни слова?

— Почему же нам не сказать? Надо что-нибудь нам сказать.

— Дауке... уважаемый... Ты ли не знаешь народ, его чаяния, его упования... Как мы посмотрим людям в глаза? Так и отдашь покорно этому бесноватому списки?

— Связал ты нас арканной петлей, конскими путами, Дауке...

Но Даулетбак сидел, как идол. И было его молчание громче грома.

Жылкыбай ворчал сварливо:

— А кто тебя станет слушать? Не видишь, что ли, как он жмет?

Жылкыбай был очень стар, очень утомлен и недоволен. Спину разламывало от боли.

«Пусть бы брали уж поскорей... хотя бы и эти списки... — думалось ему сквозь звон в ушах. — Не проситься же нам, старым людям, в тюрьму из-за каких-то там бумаг. Одно дело — бумаги, другое дело — люди... Дойдет до джигитов, посмотрим, как оно будет! Возьмем и не дадим. Попробуй их удержи...»

Так думал Жылкыбай, но и думая так, он не открывал рта.

На ту беду, отыскался след каких-то поименных списков, подходящих к случаю. Кто знает, что в них было

намаракано. Но Клубницкий, вскричав: «Пр-ревосходно! Всех прощу! Всех награжу!» — послал за ними толмача с двумя конвойными.

Старики зароптали:

— Что же это происходит? Такое оскорбление, такое поношение...

— Зачем мы тут торчим, подобно трухлявым шлям, изъеденным муравьями?

— Что за собачья жизнь, рабская доля?

— Ба! Господа аксакалы... — сказал Клубницкий, присмотревшись к Даулетбаку. — Вы мои гости. Мое вам почтение. Я у вас в долгу не останусь...

Он давно понял игру Даулетбака — раньше, чем однопородцы бая. Даулетбак знал, что делал, ибо его молчание было делом. Тонкое это, высокое дело — молчать к месту да ко времени, если ты пророк.

Какое величие на его челе! Какая горькая мука в глазах! Разве он сказал «да» начальству? Разве он сказал «нет» народу? А между тем он служил царю верой и правдой. Клубницкий понял: пока здесь при нем этот человек, там, на летовке, будет мир, покой и терпенье.

Две недели тому назад была у Даулетбака смутная минута, когда и он вроде бы обмолвился: не дадим джигитов. А потом приехал из города старший сын, новый человек среди сыновей их рода, постигший таинство русской грамоты и русских денег. Он богател на торговле с быстротой, завидной для степняка. Сын привез из города приветное словцо, из которого следовало — отцу молчать, дабы слышнее было царя.

И Даулетбак, сын Даркембая, молчал, а на летовке в аулах не знали, почему он молчит, ждали смирно, ждали с надеждой.

Шепот в юрте Клубницкого, однако, не утихал, и теперь склонялись друг к другу не только старики.

— Лучше на край света, чем так жить.

— Уйдем, пусть правитель делает, что хочет.

— Да, пусть делает, что ему вздумается, но без нас.

— Не убьет! Не остановит...

Тем временем подскакал и вбежал в юрту толмач с бумагами в руках. Конвойные, которых ему придал Клубницкий, остановились в дверях с шашками наголо. Прибыли списки!

И тут случилось то, чего все-таки не ждал Даулетбак, никак не ждал и Клубницкий, а может, и сами красно-

шапочники. Вскочили все, кроме Даулетбака; кряхтя встал и Жылкыбай... И с криком: «Пошли! Пошли!» — повалили вон на волю.

Тщетно выходило из себя начальство. Тщетно солдаты преграждали дорогу ружьями, замахивались прикладами. Люди шли прочь от юрты, прочь из аула Даулетбака к соседнему ближайшему аулу.

— Мы не волостные и не старшины. Вон они. Их держите... А мы пошли! Мы пошли! — и, говоря так, уходили.

Когда же они вышли к отлогому лесистому холму неподалеку, им навстречу из-за холма и из леса выступили люди из соседнего аула и еще из многих аулов. Это были женщины, старцы и дети. Они собрались давно и ждали весь день под дождем, моросившим из рваной кошмы тумана, которая висела над ложиной. Они держались порознь и семьями, а сейчас сошлись вместе. Было их не менее ста. Лица печальны и унылы, иные строги, иные злы. У женщин и детей заплаканы глаза.

Увидев их, мужчины, шедшие из аула Даулетбака, стали выкрикивать:

— Забрали... Прощайтесь, люди... Лишились, лишились джигитов, люди...

Услышав это, женщины заголосили, запели жоктау, плач по умершему, содрогающий душу:

— Опора моя, единственный мой, опора моя!

Обе толпы, большая и маленькая, слились и смешались. Зашумели, загалдели все. Женщины, старики цеплялись друг за друга со стонами и громким рыданьем. Толпа толкалась и ворочалась, вздымая к небу множество скорбящих и грозящих рук, и вдруг с ревом повалила к аулу Даулетбака, к юрте Клубницкого, у которой нестройно стояли солдаты с ружьями наперевес.

* * *

Еще утром, когда Клубницкий собирал чиновников из окрестных аулов, вся округа всполошилась. Сходились старики, сбегались женщины, дети к коновязям, на приаульные лужайки, гомоня на все голоса. Мужчин, однако, не видно было.

— Этот главный из Верного... дерется, как шайтан... рвет списки с мясом...

— Наехала тьма солдат. Штыки, сабли голые...

— Говорят, зажали рты Даулетбаку и Жылкыбаю. Может ли так быть?

— Это конец. Пропали джигиты!

— А где они, наши-то? Куда подевались? Обабились они, что ли?

Люди метались из стороны в сторону, кружились, как дети, играющие в жмурки, с повязкой на глазах, то приближаясь, то удаляясь от белой юрты Клубницкого. Она одиноко стояла на каменистом берегу реки, на крутой излучине, огибавшей подножье горы, заросшей соснами. Она манила и отталкивала, как злой дух ночью в глухом бору.

— Чего зря стоять? Идти надо...

— Узнать, что да как, спросить. Разве нельзя спросить?

— Пусть начальство посмотрит, как мы плачем. Хорошо ли, когда народ обливается слезами?

— Где волостные, где старшины? Будь они неладны...

— Прячут свои побитые морды!

— Почему аксакалы с этим неверным?.. Что им там делать?

— Ох, что-то они засиделись... Это не к добру.

— Отправить бы его не солоно хлебавши, без списков! Встретили без кумыса, проводить бы в шею...

— А джигиты, где джигиты? Почему не садятся на коней? Кто же, если не они, покажет, что и мы живые люди!

Джигиты как сквозь землю провалились, и женщины, матери, невесты, были в страхе, а старики в гневе. Что еще за стыд и срам на нашу голову? Не схоронив, не оплакав, вдруг осиротели.

Подошел старый пастух. Послушал, посмеиваясь в бороду. И поднял над головой свою клюку.

— Что кричите, что шумите? Разорались со страху. Будут вам джигиты! Вон из того леса.

— Ой, правда? Ой!

— Как же они там оказались? Как это мы не углядели?

— То-то что не углядели. Видел я на опушке вроде бы табун коней... и хоть бы один при нем табунщик... будто бы ни одного! Значит, это они. Значит, правда.

— О господи, помоги им, не оставь их...

— О святой пращур, укрепи нас всех...

Старухи и девушки расплакались. Старики повеселели. Стали кричать, гладить бороды.

— Кто же их собрал? Много ли их?

— И не сговаривались... и не рядились... А вот видишь, поспели!

— Что ж тут сговариваться? В такое время надо сквозь землю чутя друг друга.

— В такое время, — со смешком сказал старый пастих, — мигом скиснешь, как молоко. Стало быть, не скисли. Собрались человек двести — триста. Есть и с ружьями...

— Да, да, кое у кого должны быть...

— То-то что должны. Копья да дубины... Но чутье у них волчье. Как сказал один: «за мной», — отовсюду отозвались. И по сей час к нему едут и едут. Наш малыш Матай — и тот помчался на своей трехлетке.

— Кто же такой сказал: «за мной»?

— Стало быть, сказал... Стало быть, есть такой...

И старик шепотом назвал имя: Ибрай!

— Ну, молодец! А как же иначе? Должен сыскаться храбрец, когда так достается народу...

— Хитрая голова. Знает толк в своем деле... Он и китайцев, и калмыков, и киргизов, и нашего брата, казаха, попробовал на зубок.

— Дай ему дубинку потяжельше — устоит против пятерых.

— Пособи ему, аллах, пособи.

Ибрая знали все от родного аула до синьцзянских караванных троп. Это был рослый, плотный, плечистый джигит лет под тридцать. Усы жесткие, как конский волос, колючая бородка. В гостях он казался толст и неповоротлив, а на коне был, как вихрь. Одни почитали его как батыра, другие хулили как конокрада. Он был и тем и другим. Собрал десятерых крепких, рискованных джигитов под стать себе, вооружил их дубинами, секирами и ходил с ними в набеги на богатые китайские, киргизские и казахские табуны, угонял коней и одаривал ими бедняков, голоту. Имелись у Ибрая на черный день и берданки и наганы. Это был отчаянный, искусный и добрый конокрад. Люди знали, что глаз у этого вора зоркий, а крыло могучее, как у беркута, но сердце человечье.

И вот его день наступил. Ибрай со своими джигитами встречал в лесу молодых, как русские говорят, новобранцев, собранных тайно и так хитроумно, что даже бабы, старики и детишки этого не заметили.

Конечно, новенькие все горели и все трусили.

— А ну-ка, на коней да за мной, — сказал им Ибрай. — Сегодня на карту ставится самая малость — и жизнь и добро... Ну, да сколько ни войю, хоть сорок лет, а помирать тому, чей пробил последний час. Остальные пока поживут. Так что не бойся! А ну, трогай, чего стоишь! Не зевай...

От слов Ибрая джигиты захмелели и как будто бы ободрились, окрепли. Сырые души, необожженные, но других у Ибрая не было.

Он повел их своими скрытыми нелегкими дорогами, по оврагам и ущельям, попутно собирая новых и новых из дальних аулов, и походя испытывая джигитов на конях и коней под джигитами. Водил, томил, чтобы پوستыли да попривыкли друг к другу, а потом внезапно вывел лесом прямо на юрту Клубницкого так, что джигиты оставались невидимыми, а юрта была как на ладони.

— Ладно, — сказал Ибрай. И велел замереть.

А сам со старыми товарищами поехал под соснами вдоль реки.

Позади юрты Клубницкого возвышались две скалы, похожие на богатырские ворота. Здесь Ибрай спешился, сирятал за скалами коня и стал смотреть на солдат у юрты. Он был бледен от злости, усы стояли торчком. Злился потому, что дорожил товарищами и привык беречь оружие, самое драгоценное, что имел, а нынче предстоял большой расход, а джигиты из аулов плохо знали и совсем не знали друг друга, стрелять не умели и храбрились и рисовались по молодости и по глупости. Как их соберешь в кулак? Их было слишком много...

И все же он сделал что мог и выжидал, как ловчий беркут, желанной минуты, когда наконец хозяин снимет с его глаз шапочку-томагу, он взмоет в небо и ему откроется в камнях и травах красный огненный хвост лисы. Горячая жадная кровь билась в его жилах; она искала жизни и борьбы и вот уже сколько лет не могла остудиться. Ибрай скрипел зубами, сдерживая самого себя.

Поблизости укрылись его товарищи, названные братья. Он и за них в ответе. Они — единственная, настоящая сила. Они — его семья...

Ибрай видел, как из юрты Клубницкого выбежали, отталкивая солдат, старики, розовые и пунцовые от ярости. Слышал, как за холмом вдали начался траурный плач — жоктау... И не шевельнулся.

Но когда он увидел, как безоружные плачущие люди пошли, обезумев от горя, с холма к белой юрте, прямоком на солдат, и впереди дети и матери, — закричал, не таясь и не оберегаясь, побежал за скалы и прыгнул на коня.

Не задумываясь и не колеблясь, он выскочил из скалистых ворот. И словно рухнул по крутизне с утеса, не оберегая любимого коня, душой и телом положившись на его железные ноги, звериную ловкость и верность. И конь снес его под обрыв и, легко, радостно угадывая, чего он хочет, помчал навстречу, наперерез бегущим детям и женам, без понуканий, без узды и без плети, быстрее волка, быстрее ветра.

Ибрай не оглядывался, и ему не нужно было слышать за своей спиной топота и знакомого свиста, чтобы знать: все десятеро бросились за ним, десятеро барымтачей, конокрадов. У всех на сердце было одно — успеть прикрыть своими телами, своими конями, своим разбойным, устрашающим видом тех безумных, беззащитных...

Из лесного секрета выше по реке показались молодые джигиты, рассыпались в беспорядке и закружились на растерянных конях, задерганных жестокими и дурными с перепугу руками. От юрты Клубницкого их отделяли спины бегущих. Кони не шли на эти спины. Но и того было довольно, что они объявились — джигиты...

Распаленный скачкой Ибрай ясно видел, как сова видит в темноте мышь, что было у юрты. И с облегчением перевел дух, стал успокаивать коня... У юрты творилось что-то невообразимое, несуразное.

Не иначе как Клубницкий принял толпу, шедшую из-за холма, за полчище врагов. И смертельно испугался. Унтер, глядя на Клубницкого, непрестанно орал: «В ружье!» Солдаты оборачивались на его крики, лязгали затворами, совали по патрону в рот, показывая, что готовы, но унтер ошалело кричал все одно и то же, не в силах понять, почему солдаты его не слушаются... Другие дергали Клубницкого за рукава, тыча пальцами то в сторону утеса, то в сторону опушки:

— Вон они, вон они...

— Сюда смотрите, сюда...

Несколько солдат, так и не дождавшись команды, пальнули, почти не целясь, по тем, что скакали за Ибраем. Следом еще двое-трое открыли стрельбу по джигитам на опушке уже точнее и прицельней.

Ни у кого из молодых джигитов не было ружей. От выстрелов и свиста пуль кони разом одичали — шарахались, брыкались, лезли на дыбы, несли куда попало. Тщетно всадники сыпали им плетей. А один, раненый, вылетел из седла, упал на спину. Конь его ускакал с жалобным ржаньем.

— Стреляй! — закричал Ибрай пронзительно.

И на скаку, чуть привстав в стременах, выстрелил из берданки. Солдат у белой юрты упал.

Белая юрта ответила ружейными залпами. А на них ответили из обрезов и револьверов барымтачи...

Горы, леса отозвались гулким протяжным эхом. В сыром воздухе, подобно клочьям тумана, повисли сизые пороховые дымки.

Никогда прежде здесь не слышали такой стрельбы, такого эха. Но люди, шедшие от холма, не остановились. Шли и шли, крича и плача, как одержимые навстречу свисту пуль и сизым дымкам, и впереди — женщины с заломленными руками и мальчишки, немые, дрожащие, самые бесстрашные. Они не видели, как упал джигит, упал солдат, и не сознавали, что эта пальба несет смерть. А эхо их словно подстегивало.

И солдаты, стоявшие теперь стройной редкой цепью, стали опускать винтовки, стали пятиться, оглядываться.

Клубницкий наконец пришел в себя и обрел дар речи:

— Безумие... дурачье... Отставить! Прекратить огонь! Отступаем все... живо! Вниз по реке...

— Отступать, отступать! — закричали другие. — Не расходишь, держись ближе...

— Нас же перебьют... Пошлите людей, кончите миром! — кричали третьи.

Но никто уже никого не слушал и не слышал.

Побежали пешие, бросив коней и коляску, бросив свои вещи, каждый сам по себе, без оглядки. Лишь солдаты держались строем, цепочкой, прикрывая господина Клубницкого.

У белой юрты остался один Даулетбак со своими прищепниками. Потом увидели и Жылкыбая, сидевшего в изнеможении тут же на травке.

Все имущество начальства, портфель Клубницкого с серебряной монограммой, а главное — списки были в руках красношапочников.

Началось буйство. Молодые джигиты, как только потушили выстрелы и стали слушаться кони, обогнали плачущих женщин, а они плакали уже от радости, и скопом налетели на белую юрту. Стали дубасить по ней дубинками, рубить секирами, топорами, пороть ножами. С гиком и свистом подскакивали все новые и новые джигиты. Места им не хватало, и они принялись за соседние юрты. Иные секли стенки и оголившиеся остовы плетью. Мальчишки лезли наверх, плясали на провисающих сводах, раскачивались на обломках и обрывках.

Русские чины да подчинки убежали, но в юртах застряли волостные и старшины. Пока шла стрельба, они прятались за сундуками и под кошмами. Все они были даулетбаковцы, и юрты были даулетбаковские, аула избранных и богатеев. Вытряхнули их джигиты, как крыс из мешков с брынзой. Они выползали наружу на карачках, прикрывая голову ладонями. Смех и гогот валились на их голову.

Затем джигиты, женщины, старики, дети ворвались в юрты и стали крушить все, что видели, что попадалось под руку. Рвали одежду, ковры, одеяла, подушки, но прежде всего бумаги, все бумажное. Были в юрте Клубницкого книги для дорожного чтения с чудными цветными картинками. Их вырывали из рук друг друга и раздирали в клочья. Большую конторскую книгу с линованными красным и синим страницами, в толстом переплете разнесли в дым— у каждого в руках был ее обрывок, нитка от корешка, шматок переплета. Женщины набросились на форменное пальто Клубницкого с кантами и бронзовыми пуговицами и вмиг обратили его в лоскутья. Мальчишки расшибали пуговицы камнями в лепешки, гочно тарантулов. От того, что называлось списками, не осталось и следа. Вихрем кружились перья и пух из подушек и бумажный пух. Столбы пыли. Мусор. Прах.

Жылкыбай тем временем уже вздремнул с устатку. Но Даулетбак неусыпно следил глазами своих холопов за тем, что происходит с Клубницким.

Вначале погнались за ним молодцы Ибрая.

— Давай, давай! Окружай! Окружай!

Ибрай удержал их:

— Стой, не лезь на рожон! Куда скачете! Пули глотать?

Кинулись было в погоню и молодые джигиты, поскольку места у юрт и в юртах было мало, а джигитов много и стрельбы не было.

Ибрай остудил и тех и других, собрал в кучу около себя. И замялся, заговорил, словно оправдываясь:

— Бегут они, пусть бегут... Нет у них коней. Далек ли уйдут? А у вас нет оружия. А надо, чтоб было... Вот те жирные отстанут от солдат — их схватим. Переловим. Ну, а солдат... их вот как... Отрезать бы от города, загнать бы в горы. Возьмем оружие без кровопролития.

Мялся Ибрай оттого, что хорошо видел, как солдаты без команды начали стрелять, когда выскочили он и его люди, и как солдаты без команды кончили стрелять, когда подошли женщины с плачем жоктау. Вот что стояло у него перед глазами...

Клубницкий и его люди шли не останавливаясь, скорым шагом вниз по реке и прошли с версту. Ибрай с джигитами тянулся следом словно бы нехотя. Солдаты теперь только грозились винтовками в его сторону, но не стреляли. Лишь изредка, чтоб не подумали, что нет у них патронов, они пуляли разок-другой в белый свет. Ибрай поступал так же, чтобы и те не подумали, что он отступил. Сколько раз стреляли солдаты, столько раз и он разряжал свою берданку.

Он был всегда первым на охоте и архара и дрофу добывал одним выстрелом. А сейчас мазал, но так, чтобы пуля провыла у самого уха то справа, то слева... И видел, как беглецы кланялись пулям. Казалось, он подгонял их стрельбой, чтобы резвей шагали.

— Так и гони, так и гони, — говорил он. — Но в людей не стрелять! Так целься, чтобы пуля шла под пятки, под пятки последнему... — И азартно кричал.

И вдруг он увидел, как двое усатых, но безбородых казаков, видимо, помоложе да полегче на ногу, бросили остальных и пустились бежать во весь дух в сторону. Куда они? Они бежали на луга; там пешему не уйти и не укрыться от конника нигде до самой стенки гор. Ибрай взглянул поверх их голов и вскрикнул. Он догадался, кто его опередил и провел, как воробья па мякине. Навстречу двум казакам шел рысью табун отборных скаковых коней, табун бая Даулетбака.

Не просто поймать и обуздать скакового жеребца, но на передних, самых лучших в табуне, случайно оказались недоуздки... И казаки живо справились с делом. Они си-

дели уже верхом на двух гнедых с белыми звездами на лбу. Остальных табунщики галопом погнали назад.

Ибрай слышал, как Клубницкий истошно кричал скачущим мимо казакам:

— В Верный без передыху! Война! Инородцы стреляют! Давай сюда эскадрон! Эска-дро-он!

Не мешкая более ни минуты, почти не глядя, Ибрай отобрал человек двадцать — тридцать. Теперь и он кричал во все горло:

— Не упускайте! Не дайте им уйти!

Джигиты, распалая друг друга криками, поскакали за казаками. Казаки скрылись за излучиной реки. Скрылись и джигиты.

До позднего вечера, дотемна гнал Ибрай Клубницкого и тех, кто при нем оставался, до низовья реки, до устья лощины. К тому времени при Клубницком уцелели только солдаты, восемь человек, и один унтер.

Все люди Ибрая были целы. Клубницкий, впервые на своем веку увидевший, как могут быть злы пастухи, до того перетрусил, что не велел в них стрелять. Боялся он мести, лютой смерти. Солдаты, когда приходилось уж очень туго, подстреливали лошадей под всадниками, а Клубницкого заслоняли своими телами, выставив во все стороны штыки. Так и не смог Ибрай достать пулей господина Клубницкого, хотя тот пули стоил.

Когда стемнело, Ибрай увел джигитов назад.

«Ну и ну... — думал он. — Его счастье, что солдаты у него такие...»

Не знал Ибрай, что и тут его обошел Даулетбак. Не оставил богатый, щедрый бай господина Клубницкого без коня. Под утро отыскали русского барина верные рабы Даулетбака и спасли, отвезли его, живого, здорового, в город Верный; была за это Даулетбаку благодарность.

По пути в аул Ибрай и его люди подобрали пятерых раненых чиновников и увезли с собой, взяв у них наганы.

Поздней ночью вернулись в аул джигиты, посланные вдогонку за двумя казаками. Вернулись ни с чем. Как догнать казака на свежем коне, если твой конь с утра под седлом? Все же они ссадили одного пулей. Стреляли и в другого — ружье дало осечку. А Ибрай вгорячах сунул им только это старое ружьецо. Понадеялся на то, что их много.

Конечно, к утру в Верном все узнают, и жди теперь с часу на час кары.

Как подумали об этом красные шапки, так тут же и порешили:

— Чего бы это ни стоило, уходите! Всем откочевать. Белый царь не пощадит... Уходить — ничего больше не остается.

И в ту же ночь все аулы урочища Асы, все аулы красношапочников, кроме аула Даулетбака, поднялись со стоянок и тронулись в путь. Пошли туда, куда еще днем, когда порвали списки, послали гонцов на двух жеребцах при двух запасных. К черным шапкам, в благословенную долину Каркара, колыбель рода албай. А дальше — куда глаза глядят...

Глава седьмая

В большом доме Узака в тот день случилось, пожалуй, самое худшее.

Был приготовлен чай. Закусывая, люди разговорились — каждый сообщал, что знает. Узак, хмуро улыбаясь, сказал:

— Как их не благодарить, правителей! Это они нас, разоренных, кочующих по белу свету, собрали воедино... в одну грозную тучу. Так, что ли?

— Собаки в ауле вечно грызутся, — отозвался Жаменке, — а как увидят волка, собьются в кучу. Так и люди. Несчастье — оно роднит!

— Эх... Был бы наш путь счастливым... — с горьким вздохом добавил Серикбай. — Услышал бы бог слезы детей... Послал бы нам милость.

Но Турлыгожа возмутился, вскричал:

— А ты что стонешь! Или не слышал, как красные шапки пощупали самого помощника уездного начальника? Разве это не счастье?

Узак усмехнулся; он был угрюм, словно чувствовал недоброе, и ждал его, и не хотел в этом признаться.

— Уж как ни гнули нас, как ни гнали, слава богу, — сказал он, — хоть под старость привелось увидеть... Ищут люди, находят друг друга, как дети одного отца! Об чем тужу — не видел я этого в свои молодые годы. Вот что мне жалко. Да что поделаешь...

— Ушли годы, — сказал Жаменке. — На что ушли? Сколько было раздоров... За что дрались? За то, кто пер-

вый почешет властям пятку, даст взятку. Теперь вот одряхлели, волочим свои высохшие кости...

И так тяжко, так скорбно вздохнул Жаменке, что Турлыгожа на минуту потерялся. Что же на уме и на сердце у стариков? Что они сегодня хоронят — прошлые драки, раздоры... или самих себя?

— Интересно узнать, — сказал Турлыгожа с веселой хитрецей, — а кто же из вас в те самые молодые годы во время выборов на глазах у людей огрел камчой рыжего уездного... прямо по башке, между глаз! Так спросу...

Турлыгожа напоминал Узаку случай пятнадцатилетней давности. Уездный тогда пообещал, что назначит волостным того, кого назовет Узак, а за это взял у него гнедого иноходца, необычайной красоты коня. Но в разгар выборов слова не сдержал и встал на сторону противников Узака. Тогда Узак на большом собрании, выйдя вперед, сказал господину уездному: «А коли так, верни мне моего коня! Он тебе не по чину, не по чести!» Хлестнул его камчой так, что остался под шапкой шрам навек, сел на своего гнедого иноходца, стоявшего у коновязи, и уехал.

— Было дело, — сдержанно посмеиваясь, сказал Узак. — Сильный был... Упивался лихостью, молодостью. Не одного этого господина бил. А что проку? К чему это? Ссорился, дрался со своими же сородичами. Вот и прошли годы как во хмелю от никчемных удач, никому не нужной удали, громкой славы... Похмелье — моя слава, братья!

Сказал, как ударил. И опять подумал Турлыгожа: жестокое слово, зачем оно сейчас?

— Спрашиваешь самого себя: был ли ты батыр? — с мягким укором проговорил Жаменке. — Друг ты мой! Что суждено сделать сегодня, нельзя сделать вчера. Что нынче дело, вчера только мечта!

Узак понурился упрямо.

— Жили-то мы вчера... в те времена, когда казахов, как баранов на мясо, делили на двенадцать частей... и мы еще назывались людьми! Нам бы жить под небом, а мы жили под кошмой. Сколько живу, не видел я казахов, которые шли бы под одним знаменем... бросили бы клич... Это как сказка!

— Это и вправду мечта, батыр, — тихо выговорил Турлыгожа, и на глазах его выступили слезы.

Жаменке задумался, одобрительно и печально качая головой. А сказал с неожиданной, словно бы беспечной обреченностью:

— Что тут скажешь? Прошла жизнь и пропала. Как ветром ее задуло...

Узак сжал на коленях кулаки. Блеснула седина на его выпуклых висках.

— А лучше не скажешь, брат, как некогда женщина одна молодая сказала... «Хотя ты и был прежде батыром, нынче твоя голова как сухой кизяк!» Так она сказала. То-то и оно, что и нынче, и нынче...

Все в юрте затихли, услышав эти слова. Долго молчали, оставив пиалы с чаем и кумысом. Все поняли, кто эта женщина... Только она единственная могла так сказать. Тень юной строптивой Бекей вошла в юрту и встала над побелевшей головой отца.

— Помилуй бог... сохрани ее память... — с невольной скрытой опаской проговорил Серикбай, быстро переглянувшись с Турлыгожой. — Однако же, аксакалы, что мы слышим? Неужто прошли наши времена? И нынче разве мы не ближе к тому, о чем мечтали? Свершим что-либо доброе — останется в памяти людей на все времена! Пройдем огонь и воду с поднятой головой — чего желать лучшего? И помереть, так со славой доброй...

А за ним Турлыгожа сказал, не сводя горящих глаз с батыра Узака:

— Отец! Не узнать вас... Будто прощаетесь с нами! Не хотим мы вашего завещания...

Узак насупился, отворачиваясь, глухо бормоча:

-- Да уж ты скажешь... ты скажешь...

И тут вбежал в юрту человек:

— Ой-бой, а вы тут сидите... а вы ничего не знаете... пристав уже окружил вас...

Тишина. Снаружи ни звука.

Узак медленно перевернул свою пиалу и отчетливо сказал:

— Кап, кап. — Это значит: жаль, жаль.

Жаменке властно поднял руку.

— Теперь кто сумеет, уйдет с этого собрания! Прокляну, коли не уйдете! Спасибо всем, вставайте.

Но было поздно. Снаружи донеслись выстрелы. В юрту ворвались солдаты. И в глаза людям уставились дула винтовок.

Вошел урядник Плотников с двумя бородами и с двумя наганами — в правой и в левой. И ахнул:

— Э... да вы и впрямь все тут? Здравия желаю... С благополучным прибытием!

Узак встал и каблуком сапога раздавил свою пиалу.

* * *

Сивый Загривок с того незабвенного дня, когда чудом остался жив и целехонек, помилованный черными шапками, не слишком-то поумнел. Зато весьма образовался. В эту смутную пору у него было много чтения. Меж Каркарой и Караколом непрерывно сновали конные вестовые с пакетами под сургучными печатями и предлинными казенными бумагами.

Бумаги были такого толка. Участились бунты в гуще киргизов (киргизами тогда именовали и казахов). Бунтовщики жгут села, грабят, избивают, изгоняют жителей. Сие чревато опасными последствиями. Преступники, хамы. Нельзя столь беспечно сидеть в мелких казачьих поселениях. Особо серьезна угроза тем селам, кои расположены среди инородцев. Необходимо срочно собрать и вооружить тамошних жителей. Денно и ночью печься о том, чтобы оружие не попало в руки бунтующих киргизов, равно как и мирных. Неусыпно оберегать огнестрельное оружие, равно как и холодное, из железа, включая ножи. Впредь до особых указаний русским кузнецам не подковывать коней у киргизов. Разбойники, басурмане. Окрест ярмарки созвать ополчение добровольцев числом не менее ста — полтора ста душ. Держать в постоянной готовности, не распускать. Добровольцев брать из казаков и зажиточных крестьян. Бесспорно исключаются мужики батрацкого сословия, а также ссыльные поселенцы, лица без нательного креста. Безбожники, студенты. Всеми мерами увеличивайте контингент преданных людей из инородцев. Держите их в постоянном движении, дабы иметь каждодневные сведения. Востребуйте данные о вожаках и зачинщиках. Неукоснительно следите, нет ли на кочевьях неугодных властям приезжих из городов, особо Казани, Оренбурга, подозрительных занятий, запрещенных бумаг, как печатных, так и писаных. Подлецы, бумагомаракы. Ждем важных указаний из Верного, из губернаторства...

Сивый Загривок вслух читал бумаги и старался как умел. Из сел и станиц Жалалаш, Нарынкол, Сарказ взял отменных добровольцев. Самолучно их опрашивал, перебрал каждого бородача по волоску. Теперь у него под рукой — сотня орлов! Многие с толстой мошной, со своим оружием. Они, как престольного праздника, ждали приказа выступить в аулы, с которыми враждовали из-за земли. Это была главная опора его благородия, злая сила надежней роты солдат.

Была у него и другая сила, тайная. Ее возглавлял один старый знакомый, человек невзрачный, но ему искусно помогал сам Тунгатар, умнейший бай.

Пристав жил с ними душа в душу. Эти люди как исполнения мечты своей жизни ждали того дня, когда будут схвачены и посажены за решетку Узак и Жаменке.

Тот день выдался хлопотным и беспокойным. Утром пришло ужасное известие из урочища Асы. Его привезли купцы, видевшие, как барымтачи Ибрая гнали господина помощника уездного вниз по реке Кокозек. Купцы были русские: ехали из Иссыка и Тургеня на ярмарку. Увидев Ибрая, они отделились от татар и узбеков и погнали лошадей; не сомкнули глаз всю ночь, а на рассвете разбудили урядника.

Накануне вечером пристав распечатал приказ — немедленно по получении арестовать албанских вожakov. «По ранее вами представленному списку, а также по дополнительному, всего — семнадцать человек».

Поистине отменная работа стояла за тремя словами: всего семнадцать человек. И уже в этих словах чувствовалось поощрение. Но легко сказать — немедленно по получении! Вообще, казаха, даже самого завалящего конокрадишку, брать — все равно что ловить ветер в поле, а этих и давно. Вчера допоздна и утром на свежую голову прикидывали, рассчитывали, кого, как и где заарканить. А тут еще купчишки разбередили душу...

Но в час пополудни в пыли и в поту прискакал на ярмарку старый знакомый со своим джигитом и спешил к у канцелярии, нимало не скрываясь. Привез подарок царский.

— Все... все там... в Танбалытасе! Кроме них, ни единой живой души в ауле. Старец один глухой собирает шалфей. И эти еще... кони, кони красношاپочников... из урочища Асы!

— Ну! Ну! — вскричал следователь, трясясь от нетерпенья.

Пристав скомандовал:

— Ну, Плотников! Роба твоя двухбородая! Гляди у меня. Упустишь — закатаю. — Потом позвал денщика: — Эй, там... стакан водки господину Рахимбаю.

Что было дальше — известно. Разом всех изловпи. Увезли, как говорится, на одной веревке. И на ярмарке скрыли от глаз людских.

* * *

Вся Каркара содрогнулась. Одни плакали, другие били себя в грудь кулаками. Были от боли, шатались, как слепые, будто камчой ударили по глазам. Горе, горе. Никто не знал, что делать, как быть. Только и делали, что поверяли друг другу свою муку. И кляли мучителя. И стар и мал возглашал проклятья:

— Чтоб ты сдох, чтоб ты света невзвидел! Чтоб ты сгорел и чтоб имя твое стерлось! Чтоб тебя Керман наказал!

Не иначе как от этих проклятий Сивый Загривок должен был пропасть, сгинуть, потому что Керманом звали самого страшного черта 1916 года — германского кайзера.

Это были часы великой растерянности. Даже вести из урочища Асы, казалось, не ободрили, не порадовали. Люди слушали про то, как не убоялись красные шапки ружейного огня, как изорвали в пух списки, как солдаты пятились от женщин, певших жоктау, и словно бы не верили своим ушам.

Понемпогу, однако, стали утирать слезы, собираться с мыслями.

И стали поговаривать так: пойдём на ярмарку опять всем миром, как и в тот раз... Скажем строго: отдайте нам наших старших! Скажем, как оно есть: разве они виноваты? Вся вина наша, вините нас, простых смертных. Хотите наказать — наказывайте нас всех...

Так толковали повсюду в аулах. И потекли опять черношапочники живыми ручьями по многим тропам и дорогам в сторону ярмарки.

На этот раз, правда, народу было не так много. Столько людей, как тогда, собрать не сумели, потому что на иных летовках и так рассуждали вроде бы вопросительно:

— Допросят, глядишь, и отпустят? Посмотрим сперва, что с ними будет?

Туманно было в душах этих людей. Да и те, которые поднялись, шли не так дружно, как в первый раз, шли вразброд. Когда у мирского тела нет головы, ведет сердце, а в сердце хоть и была вера в свою правоту, но больше веры в милость божью.

Раньше и охотней других собрались люди с лстовки Донгелексаз. Человек двести. Их вел крамольный волостной Аубакир. Они шли, подбирая по пути людей из других мест, как речка подбирает ручьи, и стало их триста.

Ехали рысью по цветущей долине. Каркара горела и искрилась зеленым огнем, как и в июле. Но теперь не слышно было ни гама, ни гика, ни свиста, ни пенья. Не слышно было человеческого голоса. Не бахвалился Баймагамбет, не смешил Жансеит. Глухой, унылый топот.

Неподалеку от ярмарки им навстречу внезапно, как из засады, выскочили человек тридцать — сорок конников, не похожих на солдат, но вооруженных не хуже, с ружьями, саблями, пиками, в хороших, не смазных, а наваксенных сапогах. Сидели они в седлах подбоченясь, покручивая ус, скаля белые зубы. А их главный, казак с пегим от седины чубом, свободно говорил по-казахски.

— Эй! Стой, не балуй! — крикнул он, точно на лошадь. — Нечего вам делать на ярмарке. Давай по домам. Расходись! Нынешний день торговли не будет.

Этими словами он спраживал сегодня многих бродивших у ярмарки, легко узнавая албан по тоскливым, ищущим глазам. Они искали тюрьму под названием гауптвахта... Но со вчерашнего дня, как пригнали арестованных из Меченого Камня, путь казаху на ярмарку был закрыт.

— Это мы знаем, — сказал Аубакир. — И вам надо знать, кто мы... Мы посланцы народа. Посланы для переговоров. Хотим узнать, что с нашими людьми. Высказать свое прошение. А потому — пропустите нас.

— Ишь ты! Пусти его... Таким вот гуртом не высказывают и не просят. Поворачивайте!

В толпе зашумели:

— Хотим увидеть своих родных, говорить с начальством. Разве вы начальство?

— Они не виноваты, виноват народ, мы виноваты! Вот что хотим сказать.

— Заявление скажем, заявление!

А затем передние толкнули коней и пустились трусцой гуськом, как по команде «справа по одному», в объезд русских конников.

Казак с пегим чубом вырвал вон из ножен саблю.

— Назад! Не пройдешь, дудки... Не велено вас пускать. Вас не первых завернули...

Аубакир крикнул в сердцах:

— Как это не велено? Как это может быть? Что ж это за начальник, ежели не желает выслушать народ?!

Казак искоса посмотрел на него, подумал с ленивой усмешкой и сказал:

— Ну, я вас упредил. Всех не пущу. Давай одного-другого. Хотя бы и ты! — Он ткнул в сторону Аубакира саблей. — Поехали.

— Поеду! Один поеду... — сказал Аубакир, трогаясь следом за казаком.

Картбай, дерзкий малый, поехал позади Аубакира, точно оруженосец.

Всех остальных стали теснить подальше от ярмарки — с умиряющим хохотком, смешливо приговаривая:

— Давай, давай, давай. Вот ваши вернутся, приведут и тех... Враз и освободят! — И отогнали далеко.

По дороге к канцелярии Аубакир увидел доброго Оспана, неволью закивал ему, поворачивая коня, но тот, увидев Аубакира в сопровождении казака с голой саблей, отвернулся и резво пошел прочь, втянув голову в плечи, как курица под дождем.

— Уходишь... — вырвалось из души у Аубакира. — Катись, катись, тухлое яйцо!

Оспан не оглянулся.

Сивый Загривок и следователь сидели, беседуя после сытного обеда, розовые от порядочного возлияния, когда казак ввел в канцелярию Аубакира и Картбая.

Сивый Загривок как отворил пасть, так, кажется, и забыл про все на свете. В глазах его было умпление.

— А-а! — прорычал он наконец и захохотал, затрясся, закашлялся. — Кого я вижу! В нашем полку прибыло. Вас-то нам и не хватало. Сам пожаловал — хвалю! Ты у меня, милый, давно на примете. Еще с первой огласки указа вот где сидел... — И он показал на то место, где печень.

Аубакир поклонился, здороваясь, собираясь сказать, с чем пришел... Но его не стали и слушать.

— Ты волостной! — кричал пристав, словно любуясь хрипотой своего голоса. — Тебя зачем поставили? Лясы точить? Забыл царя, власти! Мало того что смутьянам потачку дашь, сам туда же. Нет смутьяна хуже тебя!

Аубакир ответил без боязни, как равный равному:

— Высокого ты мнения обо мне, господин. Но смутьянство мне не пристало. Съесть меня хочешь живьем? На здоровье... Но бог свидетель, за мной этого нет греха — смутьянства. Ничего ты не можешь сделать невинному человеку! А смутьян — это ты, господин. Ты — темный грешник.

— Убрать... — сдавленным голосом сказал пристав казачу с пегим чубом. — Отведите его и заперите. А этого — в шею!

И как ни противился Аубакир, как ни пытался что-то еще сказать, его отвели и заперли, а Картбая вытолкали в шею.

Глава восьмая

Картбай, когда его выгнали из канцелярии, с ярмарки не ушел. Смиренно, с видом побитой собаки он поплелся за конвойными, которые вели Аубакира в кутузку под названием гауптвахта. И видел, как отомкнули железный замок, отодвинули железный засов и втокнули в темноту нового узника. И слышал, как оттуда донесся зычный голос — в надежде, что его услышат на воле:

— Передай привет народу! Пусть держатся вместе. Пусть не боятся... — Это был голос Турлыгожи.

Картбай ответил мниможалобным возгласом «уа! уа!» и повел прочь коней, своего и Аубакира, будто бы уходя с ярмарки. Часом позже удалось ему незаметно пробраться в дом купца Султанмурата.

Тот был вне себя от того, как чудовищно повезло приставу и уряднику. Султанмурат бранился, но ругал не их и не Рахимбая...

— Наивные люди, наивные люди, — твердил купец.

Он ожидал худшего и не ошибся. Видимо, пристав все же опасался, что его гауптвахту расшибут и выручат арестованных. И решил не дразнить удачу.

Ночью, когда ярмарка спала, тихо зазвенели замки и засовы. Урядник вывел наружу Узака, Жаменке, Аубакира и еще семерых, всего десять человек. Их посадили

на две повозки, оцепили двойным кольцом коповных и повезли.

Султанмурат и Картбай были настороже всю ночь и слышали, как старый Жаменке крикнул тем, кто оставался:

— Прощайте, прощайте... Дай бог свидеться на этом свете. И пусть предки будут нам опорой.

Турлыгожи и Серикбая на повозках, кажется, не было.

— Куда? Куда их? — шептал Картбай. — Убьют?

— Может быть, — сказал Султанмурат. — Плохо дело. Везут, ясно, в Каракол! Бери обоих коней, скачи. Только бы тебя не перехватили. Это последний случай — отбить, спасти...

Картбай сумел выбраться с ярмарки невидимкой, между двух расседланных, якобы пасущихся коней. И поскакал на Донгелексаз.

Взошла луна. Каркара осветилась холодным светом. Дорога, по которой укатили под конвоем две повозки, вела туда, где верст через тридцать хребет Алатау поворачивал в сторону киргизских земель. Катили они с громом; лошадей погоняли, и они то и дело переходили с рыси на галоп. Это были хорошие пароконные повозки на железном ходу, а лошади сытые, резвые. До Каракола — одна ночь пути!

Конь под Картбаем взмок, и он пересел на другого. Ему отчетливо выделось то место на дороге, белеющее под луной, как конский череп, куда он приведет засаду. Поспеть бы, только успеть бы! В эту ночь ради Узака, ради Жаменке жизни не жалко.

Когда он прискакал на летовку, аул спал. Спали Баймагамбет и Жансеит, вернувшиеся с ярмарки без Аубакира. И сон их был крепок по молодости и с устатку. Кони, обычно заарканенные, были отпущены попастьсь...

Что сделалось, когда Картбай поднял людей на ноги! Все кричали... Все думали, что Аубакпр просто задержался в канцелярии. Что же, ему видней, он волостной! Ежели было бы что не так, он прислал бы Картбая... А Картбай, чудак, почему до самой ночи не дал знать, что с Аубакиром?

Никто на летовке не ждал, что будет нужда в силе, собранности и быстроте немедля, в ту же ночь.

Собрались, однако, без лишних слов, без всяких споров человек сто, вооружились кто чем и поскакали на

юго-восток, не жалея коней, не думая о себе, готовые положить голову в схватке с конвоем.

По пути растянулись. Скакали и по двое, и по трое, и поодиночке. Но передние полсотни человек, а может, больше, и среди них Баймагамбет и Жансеит, выскочили на дорогу, которая огибала Алатау, вместе, дружно. И стали кружить у того места, которое белело, как конская голова, остужая вспотевших коней, поджидая отставших. Когда же собрались все и встали в засаду, уже рассветало. Где же, однако, конвой?

На дороге показались три телеги с одинокими возницами. Судя по шапкам, уйгуры. Увидев конников, они в испуге погнались лошадей. Их остановили. Оказывается, они ехали из Каракола, выехали в полночь. А испугались оттого, что приняли джигитов за казаков... Этой ночью уйгуры уже встречали казаков, и те отогнали их далеко от дороги, потому что кто-то сквозь гром телег и топот кричал в темноту по-казахски: «Привет Каркаре! Держись дружнеей!» Где это было? Отсюда не видно, за Курдайским перевалом. Сейчас они небось уже под Караколом...

Баймагамбет со стоном склонился к гриве коня и стал бить себя кулаком по голове.

— Вот до чего довела нас беспечность... Из-за собственной дури страдаем. Ни за грош отдали самых славных людей. С кем теперь будет народ? На кого опереться? Сонные мы души. Неужто не вызволим хотя бы тех, кто остался на ярмарке? Опять посмеется Сивый Загривок? Любой ценой... следующей же ночью... налететь бы... разбить ярмарку... выручить наших... а приставу плетей...

И еще много подобных речей слышали от Баймагамбета, и от Жансеита, и от других, возвращаясь назад, в Донгелексаз.

Головы понурили и люди и кони. Горевали долго. Горевать джигиты умели.

* * *

Утром две пароконные повозки с каркаринцами, покрытые грязью и пылью, медленно, осторожно въехали под конвоем в Каракол.

Этому тихому городку, а скорее поселку, суждено было стать свидетелем громких событий. День и ночь Каракол жил под страхом нападения сильных, мужественных, мстительных киргизов.

Всем ветрам было открыто это селение, отовсюду нависла угроза. Но сюда стекались и стекались из окрестных и дальних мелких сел мужики и казаки, толпами брели женщины, дети и старики. И это еще больше нагнетало страху в Караколе; сюда приходили обиженные, ограбленные и осиротевшие из сел, претерпевших нашествие, из мест, где лилась человеческая кровь. Это уже не люди — беженцы; у всех разгромлены дома, отобран скот, сожжены хлеба, многие потеряли близких и родных, отцов, сыновей и мужей, видели их кровь. И не умолкал в Караколе сиротский и вдовий плач.

Лихая шла пора. Казалось, что многие годы молчавшие горы, безголосые, навек онемевшие дикие камни вдруг заговорили, и в каждой щели необъятного Алатау горели костры жестокой мести. Старая поганая политика царя натравливала людей на людей, и люди с трудовыми черными руками, соседи, ненавидели друг друга и враждовали из-за земли, на которой жили, из-за пастбищ и воды. И грабили, и жгли, и били друг друга: мужики киргизов, а киргизы мужиков. Черная кость с остервенением лупила черную кость. И множились и множились покойники и сироты.

Окрестности Каракола наполнялись кровавым маревом и зловонием. Повсюду валялись неубранные, преступно брошенные тела убитых. Смертный грех всех народов и верований, грех убийства и грабежа растекался по селам и аулам, как зараза. С каждой ночью все хуже, все страшней. Земля и скалы Алатау вопили, а человечьи сердца словно каменели.

Днем и ночью шли в Каракол беженцы, ища крова и защиты. И днем и ночью пригоняли в Каракол арестантов, смутьянов и душегубов. Маленькая тюрьмка глотала и глотала живых людей, подобно ненасытному обжоре. А маленькое селение поглощало людские реки, как та шелушинка проса, на которой аллах уместит весь бесчисленный восемнадцатитысячный мир в день всемирного потопа.

По ночам живым в тюрьме становилось просторней, а в овраге близ Каракола тесней мертвецам. Волки и барсуки, черные и серые вороны сбегались и слетались в овраг на жуткий пир. Там лежали красноликие черноглазые степняки.

Давно ли, кажется, вчера, были те ясные мирные дни, когда румяные дети веселили крепкоруких отцов... Ныне

твое дитя посинело от слез, а ты сам обратился в вонючий кусок мяса, который терзают пожиратели падали. А вот другой гниет в черной луже, а третий уже высох, как мумия, на жгучем солнце. И сердце, вчера еще полное радости жизни, почтения к старцу, любви к женщине и к ребенку, сморщилось, как увядшая кисть винограда, оно пало, познав самое гнусное оскорбление, стыд и ужас смерти.

Мимо этого оврага проехали и каркаринцы, отпетые преступники. Прикрывая рукавами рты и носы, они безмолвно переглядывались, без слов понимая друг друга, стараясь скрыть судорожную дрожь.

* * *

В Караколе их встретили с интересом и не заставили долго ждать. Едва въехали повозки в тюремный двор, тюремщики повели троих на допрос — Узака, Жаменке и Аубакира, дав им наскоро умыться.

Говорили, что их затребовал к себе пред грозные очи сам уездный. Это был сравнительно молодой, ражий и очень тучный, болезненно-бледный человек, известный своей злостью и жестокостью. Но в конторе оказалось, что их ждет еще другой, больший начальник, из тех, коих каркаринцы до сей поры не видывали. То, что он больший, сразу поняли по тому, как он строго, сдержанно и безразлично держался. У него были бабьи руки и бабье лицо. Это был «паркурол» — прокурор из Верного.

В минувшие двое суток каркаринцы сговорились: что бы ни было, вытерпим. Вчера на гауптвахте Узак и Жаменке встретили Аубакира с холодком, ибо он дался в руки Сивому Загривку еще нелепей и глупей, чем они сами. Потом общая судьба и общая ошибка их помирили.

Страшен был Каракол. Каркаринцы были подавлены, но не прииженены. Были скромны и учтивы, но держались свободно. «А мы ни в чем не виноваты», — говорили их глаза. «Виноваты, что опозорены», — говорили их души.

Прокурор выбрал для начала Жаменке. Белая борода и чистые морщины старика показались ему приятней угрюмых бровей Узака и искусанных губ молодого Аубакира.

Держа двумя пальчиками карандаш и нежно-презрительно тыча им в сторону аксакала, прокурор с ласковым барским отвращеньем спрашивал, как его имя,

сколько ему лет, какой он волости и аула. Толмач-узбек внятно и негрубо переводил по-казахски.

До крайности уставший с дороги Жаменке выглядел уж не таким молодцом, как прежде. Но в лице его, в позе и в жестах был обычный ненаигранный покой старого мудреца. Он отвечал одним-двумя словами, разве что помаргивал чаще обычного то лукаво, то как бы рассеянно.

«Что толку сейчас во мне? — думал старик. — Но раз меня допрашивают, значит, я нужен? И не этому барину. Для него не открыл бы рта. А раз нужен, буду отвечать, не ленясь душой».

— Это правда, что ваш род, ваше племя... э... противится реквизиции? Не дадим джи-ги-тов? Это правда, что так говорят?

— Правда. Говорят.

— Кто же смущал... подстрекал... научал народ дурным словам? Кто приказывал так говорить? Кто главный?

— Главного нету. Нету главного... Народ есть. Я могу сказать худое слово, а народ не может. Неохота нам давать джигитов.

— Почему же не-охо-та?

— Говорят, что несправедливо это. Правители несправедливы. Отобрали землю, воду, загнали в пустоши, в камни, в горы!.. Мы исправно платим подати, налоги, делаем что велят. А нас держат в черном теле, как врагов! По сей день мы вам неродные... И еще говорят, что обманывают. Правители обманывают. Обещали — не брать нашей земли. Обещали — не брать в солдаты. На словах — гладите по головке, на деле — пинка в зад... И еще говорят, что туги стали на ухо. Правители туги на ухо. Жалуемся — не слушают. Наказывают. Разве такие правители хороши? Разве охота таких слушать?

— Так. Не-о-хо-та. И что же, совсем наотрез неохота или при известных условиях войдете во вкус и прихотитесь? Есть среди вас трезвые головы, авторитеты, готовые уступить, ежели вам пойдут навстречу? Так сказать, условно говоря...

Жаменке насторожился. Все силы в нем напряглись, точно перед капканом, невидимым под чистым, нетоптанным снегом. Вот уж таких речей здесь, в Караколе, он не ожидал!

— Народ говорит, что согласен, — твердо сказал Жаменке, — пусть джигиты идут, но не на черную работу! Пусть их берут на ту службу, где учат солдатскому делу.

Пусть они будут настоящими солдатами. Кабы с самого начала вы объяснили бы, обещали бы это...

— Но ведь тот, кто пойдет на тыловые работы, останется цел и невредим... А солдата шлют в огонь, на фронт! Знаете вы это? Зачем же вам в солдаты?

— А мы такие же люди, как ваши мужики... И наши джигиты — мужчины, а не бабы. Хотим умирать за свою землю! Пусть дадут нам оружие в руки... Так говорят.

— Лю-бо-пыт-но... У кого же, собственно, вы просите оружие? — с откровенной издевкой добавил он; вопрос был как кшжал.

— У вас... — ответил мудрый простак. — Пусть дадут джигитам оружие при всем народе. Пусть учат воевать — на глазах у народа. Не знали мы прежде такой напасти. Хотим знать! А когда люди увидят, что их дети, сыны при оружии, учены, могут постоять за себя, успокоятся. Берите джигитов, шлите на фронт.

— Слушай, старик. Ты, насколько можно понять, аксакал этого народа. Человек, хотелось бы надеяться, разумный. Как же ты лично думаешь и располагаешь?

— Как все. Так же.

— Но это же глупые речи! Ребяческие прожекты. Ни у какого народа так в солдаты не берут. Ни у индусов, ни у китайцев, ни у арабов, ни у негров. Пустейшая фантазия. И твой святой долг — объяснить своим единоплеменникам, что это бред, с потолка взято, из пальца высосано. Не будет так, как они хотят, — ни ныне, ни присно, ни во веки веков!

— Тогда они не послушаются.

— А ты убеди народ. Дай разумный совет. Это в твоих силах, в твоей власти. Твоя должность! Иначе будет плохо... Будете жестоко наказаны. Бес-по-щад-но. Понял ты меня? Сделаешь, как я сказал?

— Спаси, господи... Как же я это скажу! Нет у меня такой власти. Вон ты какой начальник! А не слушаются тебя. А я простой смертный, как и все. Вот моя должность.

— Не врй, не врй... Не люблю. Ты голова своему роду. Ты скажешь — тебя послушают.

— Я старый человек, господин, я не вру.

— Ну, словом, так, — неожиданно перебил прокурор, бросив карандашик на стол и изысканно-любезно оскалив золотые зубы. — Либо ты понудишь своих темных безумцев повиниться — это одно, и безоговорочно дать джиги-

тов — это второе... Либо пеняй на себя! Будет тебе такая кара, о какой и не слыхивал ни один казах. Отвечай!

Жаменке слабо, устало улыбнулся. Этот голос был ему знаком.

— Не стану тебе врать, господин большой начальник... Это дело не по мне.

— Нет, ты выполнишь, что тебе приказывают. Заставим, старик, заставим! Но лучше будет, если ты по своей воле...

— Не могу.

Прокурор взвизгнул точно от щекотки:

— Старый ты пес... Сделаешь, сделаешь!

И Жаменке невольно рассмеялся.

— Сделаю, не сомневайся, — сказал он, — коли ожи-вет у старого пса... — И запнулся, озорно блеснув глазами.

— Уведите, — холодно-спокойно сказал прокурор. — И ко мне другого.

Ввели Узака. С ним разговор был короче.

— Слышал я, чего ты хочешь, — сказал Узак проку-рору. — Зря тратишь слова. Не сможем мы понять друг друга. Отведи меня к самому старшему начальнику.

— Что за наглость! Что это значит?

— А то, что с тобой не об чем мне разговаривать. Ста-рый-то орел тебя крепко клюнул. Хочешь, чтобы я? Нет у меня для тебя ничего — ни в сердце, ни в голове.

— Так-таки нет? И больше ничего не скажешь?

— Скажу. Ты насильник. Подлый насильник. О чем можно с тобой говорить — о чести, или добре, или любви?

Прокурор закричал фальшивым бабьим голоском:

— Здесь я спрашиваю!

— Спрашивай. Отвечать не стану.

И не стал. Как ни ершился и как ни язвил прокурор, Узак молчал. Грозить батыру было смешно.

Прокурор приказал увести и его.

Пришла очередь Аубакира. Он кипел, глаза налились кровью. Он сам себя не помнил.

— Я вот что вам скажу: сделайте так, как сказал ас-сакал! Или верните казахам все, что у них взяли, — зем-лю, воду... и кровь, которую вы пролили... Тогда мы в рас-чете! Вот и весь мой ответ.

Прокурор с брезгливой миной склонился к уездному:

— И этот мальчишка, болтун, у вас волостной упра-витель?

— Черт знает... Каркарпеския яма! — сквозь зубы выговорил уездный.

Потом прокурор собрал всех троих вместе и словно бы сызнава принялся их разглядывать, изящно поигрывая карандашиком, сняя золотыми зубами.

— Вот, видите ли, мы каковы... Черные шапки... Приятно познакомиться, — сказал он зловеще.

Глава девятая

Безрадостно и бессмысленно тянулись дни и ночи в тюрьме. С воли никаких вестей, ни слуху ни духу. Из соседней камеры тоже ни голоса, ни топота. Надзиратели казались глухонемыми. И только новые узники приносили разрозненные протпворечивые слушки, и жужжали они в ушах назойливо и однообразно, как осенние мухи.

Будто бы уйгуры подняли восстание... Будто бы схватили киргизских вожаков и заточили... Будто бы кашгарцы пошли на белого царя войной, хотяг освободить мусульман... Чему верить? Чему не верить? На что надеяться? Не знаешь и не поймешь, стоит ли жить и живут ли еще где-либо люди.

Узак и Жаменке не верили ничему, ни на что не надеялись, и, глядя на них, молодые молча валились на нары, часами лежали пластом.

Есть птицы, которые не живут в неволе. Есть и люди. Узак и Жаменке медленно умирали, не умея и не желая выплеснуть из души смертную тоску.

Есть звери, которые не выносят униженья. Есть и люди. В ту последнюю минуту в своем доме, когда Узак раздавил ногой пиаду, он раздавил самого себя. А Жаменке проклял себя, когда услышал, что аул окружен. А потом Аубакир... Он их добил. Они чувствовали, как там, на воле, беспомощен род албан. Это — их позор, их вина.

По ночам ждали худшего. Вслушивались в походку надзирателя, в позвякиванье ключей и сквозь стены видели овраг под Караколом... С утра, как только рассветало, а рассветало мучительно долго и поздно, принимались всей камерой гадать на кумалаках...

Лучшие кумалаки — бобы; годятся и камешки, хлебные зерна. Аубакир припас горошины. Горсть горошин — сорок одну штуку — бросали или роняли из ладопи и по тому, как они ложились, судили о будущем. Толковали

раскладку умельцы, знатоки, а гадали все, с нетерпением ожидая и подбирая новые поводы погадать. Узак и Жаменке тоже заглядывались на кумалаки застывшими, словно замороженными глазами, как на огонь костра.

— Эй, Аубакир, — окликнул молодой Сыбанкул, — что же это мы сегодня? А Кашгария? Из головы вон? Если уж на что гадать, так это... Давай-ка сюда свои кумалаки.

— Все-таки добрая весть, — подхватил его сверстник Нуке. — Говорят, доброе слово — половина счастья. Чует мое сердце, есть что-то хорошее в той стороне...

Аубакир выдвинулся на середину нар, молча раскинул кумалаки. И все замолчали, сгрудившись на нарах и со стесненным дыханием разглядывая, как легли кумалаки. Затем стали подталкивать друг друга, как бы опасаясь сглазить: «Ты скажи...» — «Нет, скажи ты...». И как домбристи касаются струн, так же бегло касались кумалаков, тех, что легли кучками по три-четыре, и особо тех, которые легли посередине. Там, в сердце, лежали три горошины; их касались с нежностью, словно колдуя.

— Это, пожалуй, самые удачные кумалаки. Как легли, как чудно легли!

— Ох, если по ним судить... пришла и весть о них и сами они пришли...

— В том-то и дело: есть тут намек! На бой... кровопролитный.

— Что бы ни случилось, уже случилось, — сказал старший из толкователей, Карибоз. — Даст бог, освободимся живые, здоровые. Конец будет хорошим.

И все, смотревшие на кумалаки, заговорили громким молитвенным шепотом:

— Да сбудутся твои слова. Пусть твоя ворожба будет пророческой. Сам бог вложил слово тебе в уста.

Но Аубакир покачал головой, не соглашаясь. На него уставились как на богохульника.

— Нет... Не то вы говорите, что есть... — сказал Аубакир. — Где вы это увидели? Если я хоть что-нибудь смыслю в кумалаках, они плохи... Будет несчастье. Половина из нас погибнет, половина спасется.

Все закричали:

— Камень тебе в рот! Прилипни твой язык к камню!

— Тьфу, тьфу... Плюй на землю! — скороговоркой сказал Нуке.

И Аубакир плюнул.

А люди внезапно стихли и бесшумно расползлись по парам. потому что в дверной глазок смотрели два светлых глаза...

Не могли степняки привыкнуть к этим глазам. Они всегда заставляли врасплох и прокалывали насквозь, как иглы. Они словно проликали в самое сокровенное и внушали заячью оторопь. Они могли сбить с ног, проглотить живьем! И, конечно, сглазить и тем извести. Два светлых, подолгу мигающих глаза...

Жеменке, лежавший в дальнем от двери углу, почувствовал в камере неладное, взглянул на дверь, встретился со светлыми глазами и вдруг протяжно, слабенько, пелуче закричал, как кричит раненая ланка.

Закрылась дыра в двери, убраны кумалаки и еще прошло время, за которое можно успеть вскипятить молоко, а в ушах людей все звучал этот страшный крик. Дальше было то, чего не предвидели ни люди, ни кумалаки.

Жаменке ворочался на парах, хрипло вздыхал... Думали, мается душой, но старик снова вскрикнул, зажал руками живот и свернулся в комок.

— Не пойму... — проговорил он словно бы удивленно. — Что это со мной? Что такое творится? Лежу и не могу улечься. Жжет у меня внутри... Помираю я, что ли?

Люди повскакали с пар, столпились около Жаменке.

— Что он говорит? Что с ним случилось?

— Только что был здоров... Отчего это?

— Где у тебя болит? Как болит? — спросил Карибоз, склонясь к искаженному лицу старика.

Жаменке тихо, жалко кряхтел, обессиленный. Он был совсем плох.

— Это неспроста... Что бы ни случилось — неспроста... Как посл утром, все нутро горит. Уж долго я терплю. Не могу больше. Невмоготу жить... Наверно, это конец. Смерть моя... Кто жив будет — поклонись жене, детям, народу нашему. Прощайте все. Милые вы мои...

Его то скрючивало, то судорожно распрямляло и вытягивало. Он бледнел, синел на глазах, будто кровь из него выпивали. Дыхание, тяжелое, учащалось и укорачивалось. Глаза помутнели, побелели. Они слепли. Незаметно он их закрыл... Крепко закрыл. И больше не открывал, будто не хотел видеть никого, хотел уединиться и остаться с глазу на глаз со своей мукой.

Люди стояли перед ним, сцепив руки, точно в молниеносном порыве.

Хорошо ли, плохо ли он жил, а прожил жизнь большую, в большой чести, многое видел, немало сделал. Он был родным человеком каждому из каркаринцев, был им отцом, был головой. И вот судьба подводила последнюю черту его делам, мечтаньям и заблуждениям.

Когда тебе за семьдесят и жил ты трудно и честно, смерть светла, она заслуженное отдохновение. Но помирать в тюрьме — тяжкая кара.

Смертный недуг душил Жаменке. Снова и снова его тело содрогалось и извивалось в конвульсиях, в жару горячки, как будто его разрывали на части. Он бредил, и невнятные речи его были полны яда, как и его тело. Но когда он на минуту приходил в себя и собирал силы разума и сердца, он говорил — и нечем было его утешить:

— В неволе... подыхаю... На поле бы мне... помереть... от ран... Мои старые... старые кости... сложить... за молодых... отомстить... Милые вы мои...

Кажется, это и были его последние слова:

— Милые вы мои.

На глазах у людей наворачивались слезы. И думали люди, глядя на Жаменке, худо и страшно, как будто яд его бреда капал в их души. Утром сегодня стражник припес бурду, называемую супом. «Это старику...» — сказал он, ставя миску перед Жаменке. А тот поклонился, благодаря: «Рахмет...» Был он невесел, но проснулся раньше всех. Обыкновенно они, старики, знают наперед свой день, ждут его. Жаменке не ждал.

Узак ждал... С первого дня ареста, когда пристав смеялся, тыча в батыра пальцем, с первого допроса в Караколе, когда увидел бабьи руки и бабье лицо прокурора...

Узак ждал для себя и для Жаменке кары и муки и на том успокоил свое сердце. Ни слухи о кашгарцах, самозванных спасителях, ни слухи об уйгурах, друзьях и братьях, ни нынешние кумалаки, поначалу счастливые, под конец утрашающие, его не тронули. Он смотрел на Жаменке бесстрастно, беззвучно, и глаза его были сухи.

Жаменке был его старым, закадычным другом. Целую жизнь они прожили душа в душу, понимая друг друга с полуслова, по движению бровей. В их времена не было братства крепче и краше, чем между ними. В любом деле они искали и находили друг друга без труда, без спора. И то, что подчас казалось загадкой, каверзным, запутанным делом, они разгадывали и распутывали вдвоем с од-

ного взгляда. Они любили и верили друг в друга и вместе были нужны людям.

Случись это в степи, под родной крышей, Узак сейчас плакал бы, обняв голову Жаменке. Он простался бы с ним, и был бы безутешен, и не стеснялся бы своего горя. В тюрьме же лить слезы — бесчестье.

«Сегодня твой черед, Жаменке, завтра черед мой. Ты бы не понял меня, если б я убивался над тобой, говоря: брат, ты умираешь! Ты бы подумал, что ошибся во мне... Что бы ни было, вытерпим. Так мы сказали с тобой, не сговариваясь. Смотри же, я не огорчаю, не мучу, не унижаю тебя».

Таков был батыр. Умирала половина его души, и не жить без нее другой половине... Худо ему. Но он, как волк, не подаст голоса, хоть режь его, хоть жги, хоть убей. Узак сидел немой, замкнутый, окаменевший, лишь глаза сверкали злобой.

Один раз он подошел к Жаменке, в одну, ему ведомую минуту. И Жаменке открыл в эту минуту глаза и посмотрел на Узака в смертной истоме.

— Прощай, старина. Прощай, друг, — сказал Узак, отвечая на его взгляд. — Что еще сказать? Душу твою поручаю богу. Я догоню тебя. Не кручинься. Тебе сожалеть не о чем.

И опять обратился в камень.

Каркарницы всхлипывали. Карибоз читал молитву.

Жаменке становилось все хуже. Уже давно он не говорил ни слова. Уже давно истекли, истаяли его силы. А его все ломало и корчило. На губах выступила синяя пена.

Сокрушительен был смертный недуг. Много раз он ломал старика, останавливая дыхание, и казалось, вот — конец. Колики, судороги мutilи рассудок. Печать смерти лежала на бескровном лице. Оно было холодно, как маска. Не узнать старческих добрых и гордых морщин. Белые косматые брови низко напoлзли на глаза и закрыли их целиком. А когда брови вдруг поднимались и торчком всползали на лоб, на краткий миг открывая выцветшие незрячие глаза с расплывшимися белесыми зрачками, в них был безжизненный туман. Глаза медленно закатывались под ветхие веки, как будто с трудом уходили и в ужасе прятались от того, что видели уже за гранью живого. Сморщенные губы, реденькие усы смялись в цепотку, и не пайти, не угадать в них ни былой воли, ни мудрости, ни доброты. На лице словно застыл всплеск той жестокой бури, которая терзала его.

Старик дышал, громко, сердито сопя. И так долго это длилось, что думалось: разве немощно его тело? разве слаб его дух? Его силы хватило бы еще многим надолго.

Наконец он вытянулся и затих.

В круглый дверной глазок не мигая смотрели два светлых глаза...

Остаток дня и всю ночь затем каркаринцы молились и оплакивали своего дорогого покойника.

А утром по такому исключительному случаю пустили к ним с воли одного человека навестить, наспех пособолезновать. Много у тюремных ворот было желающих, пустили одну женщину. Ею оказалась жена Аубакира.

Еще в тюремном коридоре, увидев мужа, она заревела в голос. Едва не заревел и сам Аубакир, увидев жену. Ослаб, размяк, будто ему в живот бросили горячий уголек. Они не успели даже поздороваться.

— Молчи, — сказал он, сдерживаясь, стирая слезу со своей щеки. — Грош цена слезам здесь. Будешь плакать — уйдешь немедля. Зря ты приехала. Из такого далека. Но если уж приехала... Не время много разговаривать. Вчера умер Жаменке. После еды умер. Думаем, накормили его... Больше сказать нечего. Передашь это всем, кто есть тут из наших. Поезжай скорей домой. Иди... Прощай! Тебя и ребенка вверяю одному богу...

Сказав это, он отослал жену, не дав ей говорить. Повернулся и ушел в камеру.

* * *

На Каркаре тем временем ловили слухи и слушки и старались угадать, что и где будет. Где начнется... где прорвется... Потому что где-то что-то должно было случиться. Судя по всему, должно! Люди ждали этого с часу на час. А по сути, не знали толком, где и что происходит на самом деле. Жили на отшибе, на отлете и вообще не ведали и не понимали, что творится в мире. После того как восстали красношапочники, а пристав схватил их гонцов, никто не знал достоверно, что же было дальше и куда девались красные шапки в бескрайней степи. И все же на Каркаре чувствовали: зреет какое-то большое дело, великое дело. Пора ему быть!

Пристав как будто бы взялся за ум и стал не то чтобы хорошим начальником, но немного лучше. Он не высывал носа с ярмарки. Списков не вышибал. Правда,

слишком уж долго он задерживал арестованных. Спрашивается, зачем?

Баймагамбет и Жансент осмелели. Грозилась, что разгонят ярмарку в любой час и день. Освободят и уведут с почетом своих вожаков — Серикбая и Турлыгожу, а гауптвахту сотрут с лица земли, чтобы впредь некуда было сажать других.

Однако делать это, видимо, не следовало, никак не следовало... Потому что поплатятся за это узники в Караколе. Вся тяжесть ляжет на их головы. Так люди рассуждали... И только это удерживало. Они уверяли себя, что только это.

Правдами и неправдами добывали ружья и револьверы. Раздобыли несколько. И припрятали. Берегли оружие пуще глаза. Хранили его как редкую драгоценность. По-прежнему лишь единицы знали, как с ним обращаться. На этих людей смотрели как на батыров. Все прочее боялись его и в руки взять, ибо оно... стреляло! Но говорили в один голос: днем и ночью держим его наготове, а коней под седлом...

В эти-то дни волнений и ожиданий пришла скорбная весть. Отмучился праведник, старый Жаменке.

В Караколе были свои люди. В дозволенное время они носили узникам передачи, а надзирателям мзду, чтобы не были они так люты. Когда вернулась из тюрьмы жена Аубакира, эти люди со слезами побежали к начальнику тюрьмы, прося отдать им их почтенного покойника. Начальник тюрьмы сказал, что осведомится у уездного, а осведомившись, наотрез отказал.

Кинулись хлопотать. У кого только не были, кого не уламывали! Обошли всех чиновников в Караколе. Иные и слушали, зевая, бесстыдно скаля зубы. Иные заверяли, что будут хоронить на казенный счет исправно, согласно мусульманскому обряду и обычаю. И при том строго внушали, что по закону трупы преступников на руки не выдают.

Люди отчаялись. Стали ходить в овраг близ Каракола... Хотели выкрасть тело Жаменке, если оно там. Но там его не было.

Когда об этом узнали в Каркаре, обезумели. Не так потрясла сама смерть старика, как то, что он не похоронен. Неслыханное надругательство, неслыханная подлость.

Никто никого не звал. Никто не собирал и не вел людей. Они пошли сами, не сговариваясь, не советуясь,

по в один и тот же день, в одни и те же часы, со всех летовок, из всех аулов. Пошли толпами и в одиночку, все в одно место — на ярмарку.

С известных пор ярмарка была запретной землей для рода албан. К канцелярии и гауптвахте казахов не подпускали ближе чем на пушечный выстрел, как приказал пристав и предписало высокое уездное начальство. От дозорных застав, доносчиков и лазутчиков пристав знал, что творится вокруг ярмарки, где, в каком числе и по случаю чего толпятся инородцы.

И тем не менее случилось, казалось бы, невозможное и немыслимое. Ровно в полдень давно пустовавшая ярмарочная площадь и все близлежащие улицы и проулки были бптком набиты и запружены до крыш черными шапками, конными и пешими, лошадьми, оседланными и в упряжках, быками под ярмом, кобылами и жеребятами, телегами и арбами.

Иглу некуда было воткнуть, не то чтобы шагнуть или повернуться. На телегах стояли. Конные прижались друг к другу стременамц, пешие не могли и руки поднять, а подняв, опустить.

А в этих толпах тут и там, вместе и порознь безнадежно потонули и затерялись затертые и зажатые наглухо со всех сторон казаки, солдаты и прочее воинство.

Люди пришли безоружные, кто как есть, кто с чем был, но думали, что вооружены, поскольку джигиты держали в руках дубинки и копья, весь свой арсенал. Пришли не загадывая, придется ли драться или нет, — как бог даст. Пришли потому, что где-то в Караколе остался непогребенным старик по имени Жаменке, а это бесчестно, грешно и противно естеству.

Канцелярия была осаждена спереди и с боков и походила на маленькую плотину, которая подперла людское море с островками базарных лавок и лабазов. Гауптвахта была тоже обложена вплотную, и часовые притиснуты к засовам и замкам.

Люди стояли молча, угрюмо. В этот полдень нмп двигал обций, единый порыв, одна могучая сила. И думали они про себя: а может, уже началось, прорвалось... может, это и есть то, чего все ожидали... то, чему быть пора... Но что же будет дальше? Пойдем к цели или станем еще чего-то ждать? Когда думали о цели, виделось людям нечто высокое, манящее и загадочное, как божество; каково же оно, это божество, — кто знает...

Сивый Загривок метался по канцелярии от окоп и дверям, от дверей к окнам, поправляя на себе ремни и портупей.

Созвал он в канцелярию всех, кого можно было, даже казахов-толмачей, которых последнее время избегал и держал в отдалении, а сегодня обласкал и не отпускал ни на шаг. Как будто они могли помешать черным шапкам оторвать у него башку! Или воспрепятствовать уездному наказать его, хотя, бог свидетель, оно не заслужил-с.

Никто не мог сказать, как все это вышло. В тот самый момент, когда в степи и на базаре стало особеннолюдно и пристав сказал уряднику: «Как бы того... не прозевать...» — а урядник сказал приставу: «И не заметишь, как это... не доглядишь...» — было уже поздно, лавина обрушилась, и пристав из ловца превратился в улов.

Один следователь рассуждал как философ: чего не бывает в степи. Дичь несусветная, первобытные законы... Однако и он с дрожью прислушивался, не зазвенит ли железо под ударами камня и не раздастся ли перед канцелярией зычный голос Турлыгожи, голос Серикбая. Но чего не было, того не было...

Следователь снял очки, подошел к приставу и повел его на крыльцо.

— Держитесь проще. Побольше жалуйтесь.

Пристав упирался, мелко крестил себе грудь.

Вышли на крыльцо. Пристав заговорил, едва переводя дух:

— Ну?.. Что скажете? Чего ради понаехали?.. Кто тут у вас за главного? Пусть выйдет, изложит... Мы ждем.

Впереди стояли люди с летовки Донгелексаз, и среди них Баймагамбет, Жансеит, Картбай, злые и ожесточенные. Но главного не нашлось, и передние закричали хором, так что лица у всех стали серыми и вздулись жилы на висках:

— Отдай тело Жаменке!

— Прикажи, чтобы отдали нашего человека...

— Ты его арестовал! Ты посадил в тюрьму! Ты и отдай нашего главного аксакала.

И сквозь эти яростные слитные крики едва пробился одинокий глуховатый голос:

— Выпусти своей волей... наших людей с проклятой гауптвахты!

Пристав и следователь тотчас глубокомысленно закивали, как игрушечные китайские божки, с такими

же непроницаемо-фальшивыми лицами. Орут, конечно, страшно... Мороз по коже... Но жожака нет. И хотят-то, господа, чего они хотят!

— Нар-род! — выговорил Сивый Загривок со вкусом, чуть ли не со слезой. Следовательно что-то шепнул ему, и он добавил: — Дитя прир-роды! — И оба подумали: ни черта, сойдет, казах любит красноречие... — Слушай меня сначала, что я скажу. Кто я есть такой? Я есть самый ближний для вас начальник! А есть дальние, коим я сам слуга... Вон начальник в Караколе и тот выше нас. Скажет: умри — умру. А я ему скажу? Захочет — послушается, не захочет — не послушается. Это правда, помер ваш аксакал, э-э... царство ему небесное... Но он в Караколе. Там уездный! Во-он какой чин. Что я могу сделать? Кто скажет?

— Я скажу, — ответил Баймагамбет, как бы вступая в переговоры. — Ты его арестовал, ты отправил под конвоем, ты и выручай. Весь народ плачет, весь народ сердится. А раз говоришь, ты нам самый ближний начальник, пиши бумагу, ставь печать, гони курьера в Каракол! Пиши все как есть! Нам покажи, как написано...

— Покажу! — вскрикнул пристав по внезапному напятию, а следовательно со значением поднял указательный палец. — А если Каракол меня по шапке? Связанный я по рукам, по ногам... Что тогда делать?

— А тогда... тогда шли депешу в Верный! По той штуке, которая сама стучит... Что мы тебя просим и что правильно просим, а ты не против отдать людям покойника. Шли депешу в Верный!

— Депешу! — подхватил Жансеит. — Хватит того, что убили... Теперь сам выручай его.

И опять из толпы понеслись крики:

— Ты это сделал! Ты виноват! Не будешь стараться — будем считать, что ты! Мы тебя знаем, какой ты есть!

И впервые пристав услышал свою бранную кличку и понял ее без толмача:

— Ты, Сивый Загривок, ты! Смотри людям в глаза. Не юли.

Пристав невольно подался назад. Следовательно с трудом удержал его, как бы обнимая за плечи, и торопливо подскзал:

— Будь по-вашему... так и быть...

Пристав затрещал, как скворец:

— А я и говорю... так и быть... будь по-вашему... Покойника так покойника. Дешешу так дешешу. В чем ошиблись, в том ошиблись... — И еще раз его осенило: — А вот в чем не согласен, в том не согласен! Если уж посылать дешешу, так от имени пар-рода... за всеми подписями... Кто из вас будет подписывать? — И он вдруг завопил в ражк: — Желающие... становись! Нежелающие... ас-сади!

Черные шапки снова притихли... Командные окрики смущали. Однако пристав старался, а каждый старается как умеет, как отроду приучен. Он сказал, что ошиблись. Так и сказал. К тому же он советовал как лучше... Но как только оказалось, что лучше идти и что-то подписывать, перед крыльцом канцелярии стало просторней.

Не все ясно слышали, что у крыльца говорилось, даже стоявшие впереди, а позади и вовсе не было слышно. Задние кричали, когда кричали передние, и ждали, что передние станут делать. Когда же впереди приумолкли, в глубь толпы покотился долгий говор о том, что было сказано у крыльца, а потом оттуда, из глубины, прихлынула, плеснула и растеклась, как прибой, волна голосов. Голоса были незлые.

— Эй, вы, слушайте, кто там ведет переговоры... Не все тут понятно.

— А чего тут понимать? Что он, бедный, может? Делает, что ему под силу.

— И то видать, из кожи вон лезет. Вы не давайте ему вылезти, еще, глядишь, пригодится.

— Раз обещает, пусть делает. Тогда увидим.

— Пусть исполняет сейчас, с ходу, нечего спешиваться.

— Сейчас, сейчас! Скажите там — сейчас! Эй, вы, кто там ведет переговоры...

И так несколько раз накатывали волны тех же голосов. Человеческое море мерно дышало. Люди смаковали слово дешеша.

Баймагамбет и Жансеит, видя, что Сивый Загривок не тот, что прежде, и ждет, что же ему еще скажут, стояли перед крыльцом, вопросительно и нетерпеливо глядя друг на друга, словно стараясь вспомнить, что же еще хорошо бы сказать приставу...

Следователь уловил их настроение. Эти молодцы были не хитрей девицы, которая жаждет, чтобы ее обняли, но отбивается, как кошка. Понял это и пристав, как ни был испуган, и бодро-деловито прокашлялся.

— Ну, а заснем, люди добрые, расходись... езжай по домам с богом... Что толку всем толпиться? И того сверх головы довольноно, что останутся желающие... э... распилиться на депеше... Ответа не ждите... ранее двух-трех дней. Ближе не обещаю. Будет ответ, извещу, ждать не заставлю. А пока суд да дело, как вам, так и мне с вами — покой, покой...

Черные шапки закивали, задвигались, заворочались, затолкались, загомонили и стали поворачиваться к канцелярии спиной, медленно, туго и дружно расходясь. Покой — это хорошо, покой — это ладно, как тебе, так и нам...

Тут-то Жансеит спохватился. Подошел к крыльцу и сказал громко, чтобы побольше людей слышало:

— Хочешь быть хорошим начальником, выпусти наших людей с гауптвахты... Они невинные, народ виноват. Серикбай, Турлыгожа ничего сами не выдумали. Вот как перед богом говорю! Сделай хорошее дело, враз с тобой договоримся. А не то все равно на тебе вина. Не очистился ты, Сивый Загривок...

И ближние с жаром подхватили его слова:

— Верно, пора... самое время их отпустить...

— Хватит людей томить... намучились... не виноваты...

— Все мы тут виноватые, кто перед тобой... Что с ними делаешь, делай тогда и с нами со всеми!

Но остальные не слышали их горячих голосов. Там стоял топот, глухой треск, тяжкий шорох толкотни. Там потели от тесноты и первой заботы — не порвать сбруи, не сломать колеса, не дать себя затоптать. Эти люди как пришли, так и уходили без указки и без спроса, никем не ведомые. И пристав с трепетом видел, как из людского паводка выбирается и выпрыгивает на спасительный берег один, другой, третий солдат... двое казаков, еще трое, еще пятеро... как они сбегаются под руку к уряднику.

Теперь пристав с отеческим всепрощением, сердечно-ворчливо журил Жансеита:

— Сивый Загривок, говоришь? Ай-яй-яй! А ведь я для тебя аксакал-с! Твой волостной Аубакир и тот со мной на вы-с... Торопись, братец. Был приказ свыше — аррестовать. Будет новый приказ, освободим. Имей терпенье. А коль скоро и вы все виноваты, дай срок, и вас посадим...

Джигиты всполошились, подняли крик:

— А тогда знай, заруби себе на носу: не будет тебе покоя! Будет народ бунтовать!

— Тогда и па нас не обижайся. Ты до тех пор пачальник, покуда у нас тихо. А будешь скалиться, и мы огрызнемся. Посмотрим, где у тебя грива, где хвост!

— Нам все равно, Сивый ты Загривок или Пегая Голова... Мы не станем смотреть, какая у тебя масть!

— Вот подождем два-три дня... Ох, если обманешь! Ох, если соврешь!

Но чем более они горячились, чем крикливей грозились, тем спокойней и насмешливей становился Сивый Загривок. Их было много, слишком много... Но за ними была пустота, непроглядная туча пыли от редющих и разбредующихся толп.

И джигиты, чувствуя это, стали вскакивать на коней, стали их горячить, заплясали, как бревна в водовороте, и поскакали, затапанные течением, сперва скопом, а потом и врассыпную.

Пристав, горбясь, шаркая ногами, пошел в свою канцелярию, плюхнулся на первый попавшийся стул, бормоча бессмысленные ругательства и тщетно стараясь уразуметь, что же это было, что за страх, что за нелепца.

Поднялась стихийная силища, играючи взламывая и кроша ледяные оковы, затопила ярмарку по горло и ушла в землю, из которой и вышла, как полые воды...

Глава десятая

Разумеется, пристав послал депешу, как было обещано, в Верный. Послал также бумагу в Каракол. И позаботился о том, чтобы бумагу и депешу показали людям из рода албан. Так советовал следователь. Те посмотрели, уверились, что дело сделано, и убрались восвояси.

Никто из них не умел читать по-русски, как, впрочем, и по-арабски. Знали только, что мусульманское письмо пишется справа налево, а русское, неверное, слева направо. Так оно точно и оказалось.

Следователь поручил Оспану объявить бумагу и депешу своим единородцам, и тот прочел и перевел их вдумчиво и понятно. Депеша тем и кончилась слово в слово, что господин пристав вместе с народом покорнейше просит отдать тело Жаменке... Ничего подозрительного.

Под низким лбом Сивого Загривка было, однако, темно. После указа царя от 25 июня все казалось ясно и

просто — джигитов на тыловые, деньгу в карман, а теперь все пыльно, все туманно, ни покоя, ни барыша.

Не дал господь разума по части политики, а она, прости господи, бодалась, точно бык при виде красного лоскута. С середины лета так она, подлая, стала оборачиваться, что будто бы и не надо было до поры до времени усмирять бунт. Не следовало его опасаться, наоборот, надлежало подстегнуть. Хотят восстать — пусть восстают. Пусть побунтуют в охотку, чтобы во всем винили самих себя... А потом, как распустятся, развоются, дать жару! Аулы сровнять с землей без жалости, без пощады, а на хорошей земле посадить своего человека.

Так или не так, но дело к тому клонилось. Судя по тому, как вышло с этим Жаменке, как дразнили, толкали людей на безумство, — похоже. Местные чины по соседству с ярмаркой, тоже не умудренные в политике, на этот раз превзошли самих себя. Глумились жестоко и лили кровь. В иное время иной щелкопер, а то и инспектор сказал бы: произвол! самоуправство! Хотелось приставу осведомиться на этот счет у вышестоящих, поскольку в таком огне рук не погреешь... Но он благоразумно помалкивал. Вляпаешься, как кур во щи.

Одно Сивый Загрявок поощрял — драку мужиков и казаков с инородцами. Эту политику он принимал всем нутром и в ней преуспел. И другое он усвоил легко и прочно. Арестованных берег, кормил. Это заложники, люди ценные. Их судьба была ему наперед известна. В один прекрасный день, между нами говоря, э... до единого... Тут двух мнений быть не могло. Данная мера касалась и казахов, и киргизов, и уйгуров. В этом Сивый Загрявок утвердился.

Бунт между тем разгорался. Налеты на почту, на военные обозы, поджоги, убийства... Куда же больше? Похоже, что наступил час расправы. В город Верный из Санкт-Петербурга прибыл жандармский генерал. Прибыл он, конечно, не целовать ручки и не подносить букеты, хотя в Верном задавались и балы...

Казахи тотчас об этом узнали. «Крупная шишка... жандарал...» И до киргизских гор, до синьцзянских рубежей, до Тургая и Оренбурга донеслись его слова. Вот как крылато сказал жандарал, едва прибыл и осушил пиалу кумыса: «Там, где пролилась кровь царского чиновника, трава не должна расти!» Эти слова звучали, как строфа из Корана.

В тюрьме в Караколе было по-прежнему глухо и жутко, как в заброшенном колодце. С воли приходила только еда. К кумалакам больше не прикасались.

В тот день с утра к тюремным воротам близко не подпускали никого из казахов или киргизов. Прогоняли и тех, кто задерживался поодаль в надежде, что пустят. Прогоняли далеко; упиравшихся были прикладами, хлестали нагайками, как скотину не хлещут.

В тот день и в тюрьме было строже обычного. Из соседней камеры изредка доносился упорный тупой стук. Точно дятел прилетал и улетал. Кто-то там забавлялся скуки ради, от нечего делать, как здесь в кумалаки... И больше ни звука... А в дверном глазке то и дело — светлые глаза...

— Что-то нынче у нас не так, — сказал старый Карибоз. — Нехорошо у нас... К чему бы это?

В душе у Карибоза словно бы раскидывали кумалаки. Они ложились то лучше, то хуже, и он не мог вздохнуть полной грудью от неумемного волнения. А долгом старшего было предостеречь.

Но и молодые были не в своей тарелке.

— Что-то делается по всей тюрьме, — сказал Нуке. — Всегда знаешь, что происходит в ауле, по лаю собак. А сейчас у меня в ушах собачья свора...

С самого утра все узники-каркаринцы не находили себе места, как будто заражались друг от друга необъяснимой, гнетущей тревогой.

Наконец Узак, лежавший на нарах в углу, на ложе Жаменке, и уже несколько суток не проронивший ни слова, встал и подошел к двери. Дождался, когда откроется глазок, и уткнулся в него носом, словно нюхая, чем там пахнет.

— Эй, чего не выгоняешь на прогулку? И чего наших с воли не пускаешь с едой? Что сегодня за день? Почему такой пост?

Светлые глаза вытаращились, потом прищурились, и в камере услышали:

— Обождешь... В шесть часов будет манифест.

Глазок захлопнулся.

— Манапас... — проговорил Узак упавшим голосом, приваливаясь спиной к двери.

Ничего хорошего это не предвещало. О чем мог быть в шесть часов неожиданный мапапас? О помиловании заключенных? Узак в это не верил. Об освобождении от реквизиции? А в это не верил никто.

Глядя на Узака, Аубакир похолодел, побелел, в памяти всплыло гаданье в день смерти Жаменке, и он тоже привалился спиной к стене, глухо бормоча:

— Не то он сказал... Что-то за этим кроется... Боюсь, что остается последнее — прощаться. Пусть старики начинают молитву.

Все молчали, замерев на нарах. Узак лег. А Карибоз, набожно сложив руки, тихо начал погребальное заупокойное чтение. Руки его дрожали, и голос дрожал, надламывался, и в лице было больше боязни, чем благолепия. Но он пересилил себя, ладонями стер со своего лица житейское, суетное, и потек голос гнусаво-заунывный, чистый от всяких страстей. И сразу камера обратилась в склеп, а люди лежавшие — словно бы в мертвецов, а сидевшие и стоявшие — в бесплотных призраков. Все были готовы к встрече с вечностью, как будто молитва придала им мужества.

Лишь Аубакир не мог совладать с собой, хотя сам затеял все это. Рассудок его мутился от животного ощущения нависшей опасности, от ее близости, от ее медленного приближения. Страх дышал ему в лицо, как птице перед сильной бурей, как зверю накануне землетрясения.

За ним знали эту нечеловечью чуткость и потому так верили в его гаданье и предсказания, а сейчас смотрели с сочувствием, как на женщину, которой трудней в беде, чем мужчине, и которую нечем утешить.

Вдруг Нуке с мягкостью кошки распластался у ног Аубакира, положив ему голову на колени.

— Прикорнем-ка мы к нашему сыночку... — сказал он писклявым женским голоском.

Смешное слово всегда мудрей сердитого. Нуке был зятем Аубакира... Аубакир улыбнулся и стал помахивать ладонью у лица Нуке, как бы отгоняя от него мух.

Вышло это совсем по-ребячески у обоих, и хотя в душе ни у кого не было и тени игривой беспечности, простецкая эта шалость оказалась нужна всем, как будто поднимала людей на крылья детской чистоты.

Потом Аубакир прислушался, и стали прислушиваться все.

Издали наплывал неясный слабый шум. Он усиливался.

А через минуту уже вся маленькая каракольская тюремка содрогалась от топота множества сапог, скрипа и хлопая дверей, лязга засовов и замков и гулких выстрелов, которые туго хлопали и грохотали в тесноте коридоров и камер. Еще через минуту стали слышны и людские голоса, дикие, истошные вопли, крики ужаса и боли, проклятья и стоны.

Узники-каркарицы сбились в кучу, то вытягивая шею, то пригибаясь от гула стрельбы, затем рассыпались, прижались к стенам, не спуская глаз с узкой темной двери. Сквозь тонкую щель под ней по ночам обычно проникала питка света, а теперь сочился струйками синий пороховой дым.

Щелкнул дверной глазок. Показались два светлых глаза и исчезли. С треском распахнулась маленькая дверца, в которую был вделан глазок, и в нее всунулись два гладких вороненых ружейных дула. Они посмотрели не мигая, как светлые глаза, и изрыгнули огонь и дым с оглушительным громом. А потом стали поворачиваться и всматриваться то вправо, то влево, то вниз, туда, где нары, где люди, бегло и часто плюясь короткими пучками дымного огня и незримым длинным свинцом. Смерть вбежала в камеру и стала свирепо кидаться во все стороны и кусаться жадно и бессмысленно, как бешеный волк.

И вот забились в четырех стенах человечьи крики:

— О предки, о предки... Прощай! Братья, прощайте...

Аубакир видел, как упали Карибоз и Нуке. Оба — наповал... Раненые скорчились и замерли, иные ползли. На одежде, на полу, на стенах кровь.

Уцелевшие бросились под нары, потащили за собой раненых, стараясь укрыться и укрыть их от взгляда вороненых дул. Узак, Аубакир и Сыбанкул втиснулись за печь сбоку от двери. Узак и Аубакир были окровавлены: у старшего пуля в груди, младшему прокололо плечо.

А стрельба не кончалась, она грохотала, превращая камеру в ад. Камера полна клубами дыма, и уже не разглядеть, где нары, где люди. Свет из маленького окна высоко в стене слабо полоскался поверх дыма. Зато пучки ружейного огня вспыхивали ярче.

— О господи! О святой дух!..

— Неужто нам конец?

— Погибнем все. Аллах, аллах...

Аубакир локтем толкнул Узака, тот вскинул голову и кивнул. В тюрьме что-то опять переменялось.

Вдали стрельба утихла, и оттуда все громче и громче доносились уже другие, новые голоса, яростные, бодрые, зовущие. Там была большая камера. Там были киргизы. Это их голоса.

— Выходи, беги! Скорей...

— Бей их! Ломай, круши все!

— Умри молодой, собака! На тебе, подыхай!

— Не подходи, убью! Я тебя первый...

Тогда Узак выступил из-за печи, подошел к двери, не оберегаясь огня, схватил оба ружья за стволы своими железными пятернями и выдернул их из рук стреляющих, втащил в камеру. Из-за двери донесся беспорядочный топот убегающих.

Узак выглянул в дверцу. По коридору бежали заключенные. Тюремщиков не видно было. Но камера была на железном засове и замке.

— Разбирай нары, ломай дверь, — сказал Узак, приклоня ружья к стене.

Люди стали вылезать из-под нар, оттаскивать раненых в сторону и отдирать доски.

Узак вырвал из-под нар тяжелые козлы, поднял их над головой и обрушил на дверь. Она загудела, как дубленая бычья шкура. Узак поднял козлы и ударил еще раз. Дверь затрещала. И в третий раз ударил батыр. Козлы разлетелись на части, а средняя доска двери проломилась как раз над засовом. Узак упал, зажимая рапу на груди. Ладонь его залилась кровью.

Тогда Аубакир, словно не чувствуя боли в плече, стал долбить дверь тяжелой толстой доской, упрекая и заклинающая всевидящего, но молчащего бога:

— Если одна из трех высших сил язык — заговори. Неужели из восемнадцати человек не выпустишь хоть одного?

И все другие, кто мог стоять на ногах, принялись долбить дверь досками, бревнами из-под козел, прикладами ружей, и она стала ощеряться гвоздями, железными завесками, дощатыми зубьями.

Разломали, отодрали обломки; остался лишь засов на замке. Со звериным воем, с проклятьями и молениями полезли в пролом и побежали, спотыкаясь и падая, поползли на карачках, потащили друг друга по

дымящемуся, измазанному кровью тюремному коридору вон, на волю.

В тюрьме стражи уже не было. Когда вырвались из своей камеры киргизы, окровавленные, недобитые, обмазанные смертью, и повалили толпой, точно мертвецы, вставшие из могил, которых не берет пуля, побежали от них и тюремщики и солдаты, себя не помня. Одни побросали оружие, у других его отняли, и они запрыгали, как козы, чтобы их не подстрелили.

Но в тюремном дворе десятка полтора стражников, сохранивших оружие, собрались у железных ворот, построились в цепь и стали палить упорно по тем, кто выбегал из дверей, лез через тюремный забор и метался по двору, призывая на помощь создателя и святое воинство.

Был вечер, небо заволочли тучи, быстро сгущались сумерки, и они спасли тех, кому это было суждено.

Аубакир и Сыбанкул, поддерживая под руки Узака, истекающего кровью, выбежали в тюремный двор вместе. Бежавший впереди молодой уйгур взобрался на забор и свалился по ту сторону. Они кинулись за ним. Аубакир и Сыбанкул подсадили Узака; Аубакир полез следом и потащил за собой повисшего на заборе, обессилевшего Узака. И тут хлопнул рядом выстрел. Аубакир услышал, как тихо вскрикнул Сыбанкул.

— А-а... Остался я. Прощайте. — Он медленно сполз с забора и рухнул на булыжник тюремного двора.

Аубакир со стоном подхватил отяжелевшего, хрипящего Узака, взвалил себе на спину и, мыча от боли, поволок прочь от забора, на широкий пустырь, заросший сорняком. Раненое плечо Аубакира занемело, кровоточило, ноги подламывались. Вскоре он сам захрипел и повалился вместе с Узаком на холодную, покрытую росой землю, ничего не видя.

Когда же он обрел способность видеть, уже стемнело и на земле и в небе. Неподалеку за тюремным забором стреляли. Батыр Узак лежал грудью на спине Аубакира, раскинув руки, словно стараясь прикрыть от пуль его и землю. Спина Аубакира была мокра от его крови.

Батыр был жив и в сознании, но не мог двигаться, а Аубакир не мог его нести. Наступила, может быть, самая трудная минута в жизни Аубакира.

Выстрелы стали реже, но отчетливей. Вдпю, тюремщики вышли за ворота. Может, они шли вдоль забора.

— Иди, — сказал Узак. — Постарайся уйти. Мне пельзя... Я еще обниму того, кто придет меня добить, унесу с собой в могилу.

Он лежал на спине, раскинув руки и ноги, точно воин, сраженный на поле боя, и казался огромным, как сказочный дух.

— Иди... — повторил Узак. — И не засекайся в жизни, как я... Умри за то, чтобы народу жилось. И вот что: против царя ищи друзей русских. Запомни — русских.

Аубакир склонился над Узакон, с мукой вглядываясь в его лицо.

— Я не забуду... Отец, дорогой, прощай, прости... Прости, отец...

— Не жалею ни о чем, — сказал Узак. — Бекей меня ждет.

Аубакир ткнулся лицом в густую липкую лужу на его опавшей груди, встал и, шатаясь, пошел в темноту.

Неподалеку он наткнулся на троих незнакомых. Но по тому, как они схватили его и увели в глухой проулок, он понял — это свои; двое уйгуров и киргиз. Вчетвером задворками и закоулками они ушли прочь от тюрьмы и укрылись в каком-то заброшенном доме с заколоченными окнами. Здесь Аубакиру перевязали плечо. Рана его была сквозная, чистая.

Они дождались, когда Каракол уснет, и побежали в сторону гор.

Собаки нагнали на них страху. Брехали, как бешеные, на полверсты в округе и гнались за ними неотступно. По счастью, люди на брех не выходили. И еще мешали телеги, уставленные поперек улиц в несколько рядов, связанные задками и оглоблями, закрепленные на кольях. Это были заграждения на случай набегов с гор дико-каменных киргизов, как их тогда называли.

На окраине Аубакир и его спутники чуть не провалились в глубокую яму, пошли в обход и поняли, что это не яма, а длинный большой ров, свежевыкопанный. Для конников западня! Вот как, стало быть, боялись набегов. Такие западни, говорят, предстояло копать джигитам, взятым по реквизиции, против самого Кермана... Ров был по всем правилам, как на войне, против большой силы.

Аубакир сел передохнуть и горестно задумался. Стало быть, есть тут, под Караколом, такая сила? Почему же она не пришла, не перепрыгнула через ров и щетину телег на крыльях мести и геройства? Почему не вломилась в

тюрьму и не вырвала из лап смерти лучших, самых нужных народу, таких, как Узак? Почему не раздавила карателей, палачей на месте их страшного преступления? Почему так тихо в Караколе в эту роковую ночь, когда Узак встречается с Бекей, а собаки брешут на одиноких, чудом спасшихся беглецов? Где она, эта сила?

Молча подошли уйгуры и киргиз, подняли Аубакира и повели дальше, в степное предгорье...

Аубакир шел и видел перед собой угрюмое лицо Узака с выпуклыми висками. Шел и с содроганьем утирал ладонью усы и губы, с которых еще не стерлась засохшая кровь Узака. Шел и мысленно повторял его последние заветные слова.

В эту ночь, только в эту ночь Аубакир, кажется, понял до конца, с каким сердцем провожал могучего старца Жаменке, а следом и сам уходил из жизни батыр Узак.

Глава одиннадцатая

Чаша людского горя была полна. Кровавопролитие в Караколе ее расплескало. Капли крови Узака падали на травы Каркары, воспаляя ненависть. Как будто мгновенно выгорели доверчивость, благодушные смиренного рода албан. Все бывшие упования вызывали теперь злой смех. Никто больше не верил в мир и спасение. Одна страсть обуяла людей впервые за это бурное лето: воздать извергам-правителям и уйти с этой земли, на которую легло проклятие, уйти в отчаянии, как ушли красношапочники куда глаза глядят.

Судьба красношапочников стала известна в Каркаре. В одну ночь они поднялись и побежали, как дикий зверь бежит от степного пожара, но днем их настигли солдаты. Люди бросали скот, бросали скарб, ускользая ночами, спасая детей и женщин. Что дальше случилось с ними, знала лишь степь и птицы, которые высоко летают.

Говорили глухо, что один конокрад по имени Ибрай и его товарищи, тоже конокрады, дали клятву отомстить и что Ибрай ходил по степи, как ангел смерти, и убивал.

Узнав про это, увидели черные шапки перед собой пропасть и все же говорили: уйдем... Они не знали иных путей. А пока были в родном гнезде, пока не сорваны с корней и не рассеяны, проклинали свое стародавнее смирение, хваленое терпение и выплескивали ненависть, как

будто были связаны обетом: все дни, что им осталось, лить кровь, жечь добро, губить живое.

С этим настроением ели хлеб, баюкали детей. Кусок становился поперек горла, пугались дети в колыбелях, но ничего другого албаны не знали и знать не умели. И потому мужчины готовили дубины и топоры, а женщины увязывали узлы, один-два, не больше, как будто и не были женщинами.

Всем, что имеешь, пожертвуешь ради жизни, а если нет жизни, зачем тебе все? И скот, и очаг, и земля хороши, когда жив-здоров твой защитник, твой сын, и когда ты хоронишь умерших, а не живых... Так судили и те, кому выпало отдать джигита, и те, кому некого было отдать.

Были головы, которые думали иначе, не по-людски. Но это были не люди. Это Тунгатар, Даулетбак и им подобные баи и их холопы. Им беспокойно было этим летом, как Тунгатару при встрече с братом Узакон, но они молчали, как молчал почтенный Даулетбак в белой юрте Клубничного, и таились, как таился Рахимбай в день ареста Узака и Жаменке. Бунт, как джут, — одно для овцы, другое для волка...

Что знал старик, знал и ребенок. Что говорил один, говорили все. Но никто не мог сказать, что же там, на дне той пропасти, в которую их влекло... Есть ли там земля? Есть ли там воля? И есть ли оттуда возврат? Этого никто не ведал. Об этом спрашивали все.

Немногие помнили, какое жестокое слово сказал об этом Узак, — в день, когда пронесся над Каркарой дух великого предка в образе смерча. Главные из тех, кто его слышал, были далеко — одни в узилище, другие в могиле, а малые, рядовые не смели и вымолвить слово Узака: отцам в кабалу, а детям в рабство... Нынче за это побили бы, оплевали бы как трусов и еретиков. Нынче в памяти был Каракол.

Как и накануне, когда черные шапки обрушились на ярмарку, оплакивая Жаменке, и родила лавина... депешу в город Верный, не было в роде албан человека, который мог бы возглавить его мудростью и красноречием, и вел людей по-прежнему не разум, вело сердце, крик боли из Каракола. Но на этот раз не оплакивали покойных и не страдали оттого, что те не похоронены. И молитв было меньше, и угроз, и благословений, и вообще всяких слов. И черные шапки дивились себе, как дивятся детям, начавшим ходить.

Клич к отмщению слышен был повсюду без слов и речей.

Весть из Каракола пришла днем, а ночью сотни джигитов налетели на мелкие деревни в окрестностях ярмарки, и осветилась степь новым факелом, и на ярмарке увидели красное зарево.

Действовали в эту ночь разрозненно, каждый аул выбирал деревеньку по соседству, но в уме держали одно: первым долгом прикупить ружей и патронов. Потому что завтра (это знали все без уговора), завтра идти на ярмарку!

До рассвета висело зарево близ аулов Акбеит, Желкар, Танбалы; горели избы, сараи на близлежащих запмаках, ревел угоняемый скот. Ни один джигит не был ни убит, ни ранен, только под пятерыми подстрелили коней. Под утро разохотились и напали на Жаланаш. Но это была старая станица, казачья. Тут джигитов ждали давно и не подпустили близко. Жаланаш огрызался залпами, огоньки выстрелов светились, как волчьи глаза, и кони и люди на них не пошли. Неподалеку в лощине в утренних сумерках увидели повозку с припозднившимися путниками. У них были винтовки. Их убили.

И поскакали прочь с криками:

— Ярмарка, ярмарка! Гауптвахта!

* * *

Настал день большой решимости. Грозный той, начавшийся ночью, приближался к ярмарке. Теперь собрались в кулак, всей людской силой. И тот, кто сегодня сберегал свою шкуру, был чужак. Все, что имелось хорошего в роде албан, готовили для нынешнего дела, нынешнего тоя.

Женщины в аулах не цеплялись за стремяна, старики не читали траурных стихов. Только кормили сытней, а вернувшихся из ночных набегов укладывали на часок поспать. Не было и слез умиления, таких обычных на степном ветру. Все думали о тех, кто был на волоске от гибели в лапах у Сивого Загривка; все с отвращением вспоминали, как хотели, чтобы пристав стал хорошим начальником.

К полудню Кокжота, Зеленый холм к западу от ярмарки, покрылся тучей черных шапок. А позади их было еще больше. Тысячи,

Многие на выезженных жеребцах — самых резвых, гнедых и чалых, рыже-гнедых, сиво-чалых, пегих. Масти играли на солнце золотистой красниной и белыми пятнами-лаптами.

Холм огибал быстрый чистый ручей, приток Каркаринки. Здесь поили и остужали коней те, кто с ночи не успел побывать дома. Подтягивали подпруги, оглаживая, лаская тонконогих любимых своих друзей, втайне вручая им свою жизнь.

Держались отрядами человек по сто; меж ними непрерывно сновали посыльные. Командиров, кажется, было не меньше, чем посыльных, и оттого не было покоя посыльным.

Вооружены, как обычно, дубинами, копьями и лукообразными топорами-секирами. Топоры сверкали, сияли, как луны, копья торчали, как волосы на богатырской груди. Были еще соилы, незаменимые в рукопашной. Соил для казаха — то же, что сабля для казака, возлюбленная сестра.

Но понятно, что сегодня взяли и ружья, все, что добыли. Винтовок было немного. Большею частью берданки и охотничьи одностволки, двустволки, заряженные дробью и жаканом — на птицу и архара. Взяли и револьверы, их держали за пазухой; из этой штуки далеко не достанешь, камень и тот дальше запустишь, однако она стреляла. А сегодня нужно, чтобы побольше было стрельбы.

Нужно нагнать страху... И уж джигитам, как пробьет час, лететь пулей, чтобы не успели кони испугаться огня. Иначе не подступишься, как к Жаланашу...

Что еще будет нужно — не знали. Но сегодня люди верили в себя и рвались в бой. Хотели посмотреть в глаза косой, как давно обещались.

Среди вожаков нашлись все же такие, которые объезжали все отряды, все войнство. Это Баймагамбет, Жансеит, Кокбай, Картбай. Их можно было принять и за штаб... Что же они делали? Говорили речи.

Долго, пламенно, с воодушевлением говорил дерзкий малый Картбай, зажигая людей. Он к месту вспомнил, как упустили джигиты конвой, увозивший в Каракол Узака, Жаменке, Аубакира...

Однако лучше всех сказал веселый могучий Кокбай, и его слушали потому, что он последний увидел Узака у Меченого Камня и видел Серикбая, за которым его послал Узак.

— Уа, джигиты, пусть поведут нас духи предков, да будет удачным наше дело... Сегодня все тут, все заодно. И стар и млад. Неужели не выдюжим вместе? В самое сердце ударили нас в Караколе. Нет больше мочи терпеть надругательство, иго воловьё, кнут воловий. Пока мы вместе, как жили вместе — умрем вместе! Биться до последнего! Умрет тот, кому суждено. А умирать, так на этой нашей земле, за нашу волю, за нашу честь, как хотел Узак! Кто из нас лучше тех, кто гибнет и гибнет за нас? Кто из нас может так дальше жить? Не будем драться — не видать нам светлого дня. Никогда мы так низко не падали, как вчера, никогда так не возвышались, как сегодня. В добрый путь, братья! — закричал Кокбай и по-старинному воззвал к древним славным казахским родам: — Где вы, уйсуну, албаны, кипчаки, аргыны, керей и канлы?.. Где вы, духи предков Раимбека, Саурука?.. В добрый путь с нами!

И так это было всем понятно, близко и дорого, что тысячи голосов подхватили клич Кокбая. И в ту же минуту словно бы незримый полководец махнул рукой, сказав: вперед. Все тронулись, подняв знамена...

Черные шапки с глухим, низким, будто подземным гулом перевалили через Зеленый холм, развернулись пошире, покрылатей, в одну минуту разогнались и теперь уже с высоким раскатистым грохотом понеслись во весь опор, во всю мощь своих боевых коней вниз, па кучку спичечных коробков, которая называлась ярмаркой.

Стена пыли до гор, до неба поднялась над степью.

Хорошо шли кони, прирожденные скакуны, выкормленные не в конюшнях, а в вольных диких косяках своих отцов, отобранных самой природой, на буйных травах Каркары! Эти кони любили и от роду знали такой ураганный, звериный, бездорожный гон, как будто наперегонки с волком, когда сам бог-всадник отдается тебе. И хотя они не чувствовали узды, все же правно взмахивали головами, чтобы гривы летели, и со злостью клевали мордами, словно грызя себе колени.

Какой, к черту, выстрел или залп услышишь сквозь этот гром, когда земля раскалывается, как в час землетрясения, и кажется, скалы катятся с крутизны, срывааясь, как беркуты на взлете, заслоняя и изламывая степной горизонт.

Ее и не слышно было, стрельбы. И не видно было дымков от выстрелов. Ярмарка была нема и словно

пуста. Ярмарка не стреляла! А до нее уже с полверсты, не больше...

Так и не услышали джигиты ни одного выстрела. Лишь кони услышали сбоку, правым ухом, ровную, мерную, частую стукотню, похожую на сердитый клетот, и не испугались ее. Но перед лавиной всадников повисли невидимые, остро свистящие нити. Точно ветром подуло... И передние пятеро, десятеро джигитов вдруг полетели на всем скаку через головы кувырком, как игрушечные. А следом еще пять, десять. И еще и еще...

Длинный беспорядочный пятнистый вал лежащих и бьющихся коней и людей вытянулся на зеленых травах в полуверсте от ярмарки. Многие проскакивали эту полосу, с ужасом оглядываясь, а она все расширялась, и поваленных коней и людей все прибавлялось. Долгое горькое конское ржанье...

И еще не осознавая, что это значит, не видя, что за сила валит и валит передних, лава всадников стала круто сворачивать влево от ярмарки, немислимо теснясь, чтобы не затоптать лежащих.

Осаживая коней, посыпались назад и джигиты, проскочившие страшную полосу. И они-то увидели, что лежат неподвижно убитые, а бьются раненые.

* * *

Пристав знал про себя, что у него в голове в одно и то же время умещается лишь одно соображение. А у следователя, каналы, несколько! Этим летом пристав научился слушаться советов, а у следователя их был полон рот.

По этой причине Сивый Загривок загодя, еще до экзекуции в Караколе, сделал три дела.

Прежде всего собрал телеги, брички, возки и арбы, кои имелись на ярмарке, конфисковал их у купечества, собравшегося было в отъезд, как военное имущество и загородил ими проезды и проходы к базару, канцелярии и гауптвахте, связав ремнями и заякорив кольями, в точности как на улицах Каракола. Опоясался двумя рядами. Управился в один день. Запряг в это дело господ и слуг, как фельдмаршал.

Другое дело было двоякое. Во-первых, послал он надежных ребят из казахов пригнать отару-другую овец из любого ближнего аула. Это на случай осады ярмарки —

кормить. Во-вторых, послал пригнать табун ездовых лошадей пополнить свою конюшню, чтобы было кого впрягать в телеги, брички, возки и арбы. Это на другой случай, если примстится вдруг бежать поспешно. Следовательно именовал это ретирадой.

Третье дело было такое, за которое вполне могли отозвать с должности. Дешу в Верный, пренаглейшую, сочинял следователь. И в ней просил... просил невозможного! Но из города Верного последовала чисто генеральская милость: необыкновенная, из вороненой стали вещичка в брезентовом чехле, в повозке с сеном, под усиленным конвоем, и казенная бумага о том, что за утрату этой вещички, в том числе в бою, равно как и за порчу ее, в том числе неумышленную, господин пристав подлежит военно-полевому суду.

— Сей же час спрячу, — сказал пристав, с оторопью глядя на генеральский дар.

— Сей же час донесу, — пригрозил следователь, протирая очки.

Но когда на другой день впервые в жизни увидел Сивый Загривок, что творят длинные пулеметные очереди, как кувыркаются конники и отступает конная лава, возвеселился, возликовал, запрыгал за телегами.

— Руби! Коси! Вали! — орал он. — Повернули... Отходят... Бей их в спину, гони... Ах, боже ты мой! Стучишь в час по чайной ложке... тянешь, как псаломщик...

— Грех тебе, барин, ваше благородие, — сквозь зубы выговорил первый номер, старый казак. И тут же уткнулся лицом в вороненый короб.

Он был убит пулей в голову.

Все, кто торчал за телегами, сели. И военные и невоенные понимали, что это не шальная пуля, а из метких меткая — но откуда же выстрел? Вплоть до дальних ложцин, вплоть до обрыва над Каркаринкой была зеленая гладь.

— Это русский... — крестясь, сказал пристав.

* * *

Кокбай скакал впереди всех на своем длинном коне, крича во все горло, когда его конь грохнулся оземь и он сам вылетел из седла вверх, в небо, как душа из тела в смертный час. Очнулся на земле. Тишина, в башке конское ржанье. Спросил бога, берет ли он его. Нет, как будто бы живой. Нашел глазами своего коня — тот уже

оскалился навек. Встал кряхтя, раскорячась, как старый дед. Отыскал в пыльной траве свое ружье. Огляделся — лежат, стонут люди, кони.

Откуда-то кричал злой голос:

— Иди сюда! Беги сюда! Пригнись... Ложись...

Кокбай понял, что кричат ему и что по нему стреляют. Ноги подломились, он свалился.

В стороне Каркаринки серо светились голые камни. Из-за них выглядывал незнакомый джигит с красным, как медь, лицом. Это он кричал. Кокбай пополз к нему на карачках.

За камнями были еще десятеро незнакомых, и Кокбай поразился: все с ружьями!

В башке стихло конское ржанье, Кокбай вдруг снова услышал тяжкий топот и увидел справа от себя изогнутую дугой лаву конников. Она откатывалась, но кони, люди все падали и падали. Лава оставляла за собой широкий пятнистый след конских и людских тел.

— Что это? Отчего это? — завизжал Кокбай, как баба.

Краснолицый не отвечал, а другие повернули Кокбая лицом к ярмарке, показывая на свои уши. И тогда Кокбай услышал стук, похожий на клетот.

Все смотрели на краснолицего. Тот лежал за камнем и цеплялся в самый дальний левый угол ярмарки. В руках у него была настоящая винтовка. Целился он долго.

Выстрел! Клетот умолк...

— Ага! — вскрикнули десятеро негромко.

Краснолицый оскалил волчьи зубы и сказал Кокбаю, показывая на лаву (там перестали валиться конники):

— Поломот называется. Махсум. Кабы не прыгал за телегами ваш Сивый Загривок, я бы этого Махсума не нашел... Поломот! Тыща пуль за одну минуту. Кермана хорошо бьет.

— Кто ты? — спросил Кокбай.

— Узнаешь... Ходить можешь? Беги низом, Каркаринкой, к своим. Пусть подберут раненых. Но чтоб на конях, лётом. И все врозь, с разных сторон. Каждый подсаживает одного. Понял? Скажешь — будут по ним стрелять, не бойся, мы прикроем. Мы для них тоже поломот... Но чтоб как я говорю! Пока пристав сидит под телегой... Ступай. — И пригнул Кокбая головой к земле.

Кокбай ящерицей дополз до реки и под высоким берегом побежал к Зеленому холму, отыскал в невообразимой суетоке Баймагамбета.

Они оба отлично умели исполнять приказы, много лучше, чем их отдавать. Не прошло и четверти часа, как выскочили несколько десятков всадников и редкой цепью понеслись к страшной полосе и стали подхватывать раненых, как велел краснолицый. Брали людей с ходу, с ловкостью и быстротой джигитовщиков, как козла на козлодранни.

На ярмарке под телегами не сразу смекнули, что там за беготня посреди поля, а смекнув, подняли стрельбу, беглую, раздраженную, но им внезапно ответил такой собранный, прицельный и меткий огонь, что под телегами прижались к земле.

Огонь не давал поднять голову. Огонь был неизвестно откуда.

Кокбай, и Баймагамбет, и другие тоже стреляли — с коня, и на скаку, и с места, и казалось, это они задавили стрелков под телегами. Но казаки, старшие, бывавшие в деле под Мукденом и Лаояном, искали противника не на коне и не на горке, ибо тут где-то был истинный противник.

— Винтовки, ваше благородие... Окопались, ваше благородие... — В голосах слышалось уважение.

Пристава это взбесило, он заорал, но тут же убрался в ближайший дом, услышав:

— Погон твой, как риза, ваше благородие, далеко видеть...

Это его и спасло.

Джигиты унесли раненых без потерь. Их, впрочем, не преследовали.

За щиток пулемета лег новый первый номер, тщательно выцелил серо светящиеся камешки в стороне Каркаринки и нажал гашетку. Пулеметчик трясся и матерился, удерживая прицел, пока не вышла вся лента. Над камнями взлетел вихрь осколков... Но там уже не было людей.

Краснолицый все предвидел и не стал дожидаться — ушел, сам одиннадцатый, цел и невредим, как и пришел.

Пулемет пощупал своими свинцовыми плетями еще обрыв над Каркаринкой, дальние лощины, кустики, бургорки, но не нашел того, кого искал. Хлестнул он и по Зеленому холму, где виднелись черные шапки, достал одного, другого, но оставил лишь синяки и теплые, осты-

вающие в руке пульки на память. В такой дали огонь терял убойную силу.

Долго искали краснолицего и джигиты и уже думали, что погиб, когда он опять окликнул у реки Кокбая точно из-под земли:

— Чего бродите? Чего надо?

— Тебя надо...

— Не ходи ко мне, иди прочь!

Кокбай понял, ушел и подобрался к нему сзади незаметно. Краснолицый и его десятеро оказались на месте, где их и не искали, но отсюда ярмарка была видна до самой канцелярии... Лежали эти люди за мягкой морщиной земли, точно за каменной стеной.

— Ладно, — сказал краснолицый. — Ходить-то можете? Спешиться пора! Поломот конного глотает, пешего жует пополам с землей. Понял? Пусть конные не трогаются с места. До них дело дойдет... Возьми только пеших с ружьями. Обойдешь с ними ярмарку, встанешь на всех дорогах. Побольше ставь на этой, которая в Жаркент. Но чтобы, как я! Не видно, не слышно. И чтобы не бухали в белый свет. Выстрелом его не пугнешь, он не лошадь, — пулей пугай! Надо бы продержат их до вечера. Чтобы и в голову не стукнуло развязывать повозки. А ночью поломот слепой! Вот тогда садись на коня и ломи... Так я говорю?

— Так! Вот это дело! Где ты был раньше?

— Я везде... Я тут...

— Слушай, а хватит у вас зарядов до вечера?

— Свои сосчитай. Мы пулять зря не будем. За нас не беспокойся.

Кокбай почтительно крякнул.

— А вы... а вы и есть настоящий мужчина! Любуюсь вами! В добрый путь...

— Ладно. Хвалить будешь после. Ночью посмотрим... Иди живей. Иди. — И опять с силой пригнул Кокбая головой к земле.

С этой минуты Кокбай забыл про коня и стал ползать со злым удовольствием, чего раньше стеснялся бы, над чем от души посмеялся бы как прирожденный конник, начавший ездить верхом прежде, чем ходить.

И Баймагамбет, и Картбай, и смешливый Жансеит дивились краснолицему.

— Поломот! Конного глотает, пешего жует... А? Шайтан!

Его слова приняли как приказ. Со всех отрядов набралось шестьдесят стрелков. Их ссадили с коней, развели и расставили скрытно по пятку, по полдюжине со стороны девяти дорог, а больше с той, которая на Жаркент, точно так, как он велел.

И вскоре после полудня на ярмарке почувствовали, что она окружена. Отовсюду стреляли, особенно с севера и запада. Огонь был не сильный, но расчетливый, не па испуг, а по цели. Правда, винтовок почти что не слышно, но и стрелков не видать, а и дробь и жакан тоже не сахар. Теперь повсюду стоял противник — на огневых позициях...

Пулеметчик потерялся. Куда смотреть? Кого подавлять? На ярмарке не было человека, который мог бы назначить ему цель. Рассыпались и солдаты и казаки, ведя огонь вкруговую, по своему выбору и рассуждению.

Пристав сидел в канцелярии, потому что среди тех немаканных был один такой дьявол, что страсть... А может, он и не один? Он стрелял редко, из разных мест — он искал пристава. Окна в канцелярии были разбиты вдребезги.

Кокбаю хотелось бы найти краснолицего, спросить, доволен ли он. Но что ж его отрывать от дела? Да и не найдешь, пока он не окликнет. Надо думать, что доволен, раз не окликает...

* * *

С ружьями ушли лучшие, самые стойкие, ушли и вожак. Там, вокруг ярмарки, были десятки, здесь, у Зеленого холма, тысячи. Там воевали и видели врага под телегами, прижатого к земле огнем. Здесь ждали ночи и видели своих раненых, кричащих, умирающих. Одних увезли в аулы, других страшно было тронуть, нельзя поднять на коня — в каждой кишке у человека по пуле.

Сотни и сотни джигитов говорили о том, что им суждено было пережить в полдень.

— И что же это такое стреляло? Это и есть ихняя пушка? Наверняка она самая, пушка...

— Треклятая, ни на миг не умолкала. Хоть бы чуть-чуть передохнула. Да нет!

— Как треснет, так пуля... Как треснет, так пуля... Как будто ее слабит.

— Молись богу, что спаслись. Как мы все не полегли?

- Один, говорят, красный заткнул ей глотку.
- Какой еще красный? Болтай! Чем ты ее заткнешь?
- А как она потом жарила, видел?
- А это она по тому красному, по одному... со злости...
- А что же от него, одного-то, осталось?
- Кто его знает... Каша красная...
- А говорили, нет у него никакой пушки. Сам слышал: пушку не спрячешь, она — как юрта... Видать, наш пес, хороший начальник, уж постарался для нас, дураков.
- Нет у нас ни у кого даже берданки. На худой случай — голы и сиры перед ним, как перед богом. Разве его голыми руками возьмешь?
- Да, не похоже, что он дастся нам в руки. Хоть нас сотни, хоть и тысячи — всех перебьет его пушка.
- Говорят, не пушка... Кто выдумал, что пушка?
- И впрямь не она. У пушки одна пуля. Куда бухнет, там яма. А тут что-то другое.
- Что же другое? Как тогда называется эта собака? Знает кто-нибудь?
- Говорят, что поломот...
- Чего, чего? Милый... Такого не бывает!
- А все-таки говорят. Будто бы как он ни страшен, а пешего боится...
- Сказал! Видели мы, как он боится... Ты-то пешего боишься? Порешь что попало.
- А тебе не все равно, как он называется? Хоть бы и не пушка, что из этого? Режет по десятку, по два разом, как коса... Это тебе не яма?
- Да я что... я, как скажут...
- Один из отрядов держался особняком от других. Он и в лаве шел последним. Теперь же отмалчивался. Отряд большой.
- Это альжаны; они входили в род албан, как и красношапочники, но тех любили, почитали, а эти были не в чести, а стало быть, и в обиде. Красношапочники жили кучно, в богатом урочище Асы, альжаны — разрозненно, в разных волостях, жили бедно и сами себя считали слабыми, хотя было их много и звались они крепкими душами. Поговаривали давно, что вовсе они и не албаны; их чурались.
- Худо тому в роду, кто не свой кровный. Недаром из двух толмачей ярмарки Оспана слушали, а Жебирбаева

нет — все же подлец Оспан албан, а подлец Жебирбаев не албан...

В свою очередь, и альжаны сторонились черношапочников, шли за ними с оглядкой и были себе на уме. «Где черным шапкам сливки, нам сыворотка. Делаем одно дело, а нам пот, им слава. Сделаешь хорошо, скажут — албан; сделаешь похуже — альжан!» Так они говорили, и говорили правду. Так оно и было.

И потому сегодня после полудня, когда Кокбай стал собирать и уводить людей с ружьями, из отряда альжап не спешился ни один человек. Там не было ружей, не было и желающих идти пешком в засады, как велел пекий никому не известный красный, которому, однако, верили как однородцу, а альжанам нет. Позднее, когда стали томиться, ожидая ночи, — все ее ждали, чтобы налететь на ярмарку, а альжаны — чтобы уйти. Может, подались бы они и днем, кабы ведать, что пристав не догонит их из своей пушки. Как выскочишь из-за холма, тут и споткнешься. Пушка, она достает на три версты; от нее не укачешь.

В споры альжаны не ввязывались. Отворачивались, отходили. Что проку? Тебя же облают. Скажут — альжап! А когда оставались одни, говорили вполголоса, безучастно, безнадежно:

— Бесполезное дело. Лезем на рожон. Не о том надо думать.

— Пусть другие как знают. У них своя голова. Вон их сколько!.. А много ли нас? Уйдем, пока целы.

— Верно, уйдем. И не заметят... Что им до нас? Мы для них — сорняк.

— Все равно худо и так и этак. Ну, ушибем этого правителя — всех правителей не ушибешь. Оттого, что воюем, мира не будет. Ну, скажем, тут победили, а дальше? На ярмарке и всего-то человек сто — двести, а там?

— Попробуй сперва одолей этих...

— То-то что вряд ли. Скорей они нас. Бог знает кого.

И так же, как в перепалках альжан задевали черные шапки, принялись они сами задевать за живое токтасынов, которые были в их отряде. Этих бедняков не наберешь и полтора десятка, они не албаны и не альжаны... Вот и клевали их, как гуси уток. Альжаны допытывались, с кем останутся токтасыны. Все же совесть была нечиста, стыдно было.

Тем временем перестрелка вокруг ярмарки ослабела. Обе стороны словно испытали друг друга. Солнце ниже, выстрелы реже. С гор наплывала вечерняя тень.

Кокбай и Жансеит вернулись к Зеленому холму, покрытые солдатским потом, с жадностью напились из ручья, осушив его наполовину, окунули в него горячие головы. Дула их ружей были закопчены, а сердца обожжены первым, желанным и нечаянным воинским успехом.

Их окружили, стали тискать, трясти, как после долгой разлуки. Но странное дело: о чем они спрашивали? Как будто бы Кокбай и Жансеит ходили пить чай к господину приставу, а за чаем выпытывали, что у него за оружие...

— Что с вами такое? — удивился Кокбай. — Ни один не поздравил... У нас, почитай, на всех чапаны и шапки порваны пулями.

— А что? А как? Из этой самой пушки? — посыпались вопросы.

И тут же все закричали наперебой:

— Я говорил, это что-то зачатое! Как вы живы-то остались?

— Небось они двое одни и остались... Будто мы сами не видели своими глазами?

— Много ты видел, спал тут под кустом задницей кверху!

— А ты где спал? Нашлись тоже учителя божьи на наши головы!

Теперь кричали и альжаны со старой, накипевшей обидой, словно ища в ней оправдание своему неверию, малодушию.

— Сами знаем, может, и не пушка, да одного с ней рода, богом проклятого...

— Во, во! Пушка албан, а это альжан...

— Эх! — сказал Кокбай, тряся над головой ружьем. — Вояки... Жаль, нет здесь того краснолицего... Не видели вы настоящего джигита! Он там... Он один держит Сивого Загривка на свинцовом аркане! Некогда ему с вами чесаться...

Джигиты притихли. Тогда принялся за дело Жансеит. Сегодня он был весел, и язык его остер, как в прежние времена. Казалось, он опять влез в свою шкуру и кололся, как еж. Он в два счета высмеял все страхи и всю дурь и толково объяснил, что такое полomot, зачем спешивались с ружьями и зачем сядут на коня ночью.

Кстати обрисовал, как красный побил стекла у пристава и, говорят, очки у следователя...

— Жду нынешней ночи, как после свадебного тоя. Кровь в жилах стоит, ей-богу! Эту вот ярмарку в пепел! Сварим в огне. Я не перекочую отсюда, пока не выпью ее черного супа.

Неожиданное зрелище отвлекло их. Не далеко и не близко, со стороны Ширганака вдоль лощины не быстро и не медленно шел табун лошадей... Не сразу джигиты сообразили, что табун идет к ярмарке, потому что никто его вроде бы не гнал. А как сообразили, закричали:

— Это же они! Солдаты! Идут по лощине!

— Они гонят, они. Вот они.

— Разграбили Ширганак...

И в самом деле это был наряд пристава, посланный за тяглом. В наряде пятнадцать нижних чинов во главе с самим урядником Плотниковым.

Еще утром он был на ближайшей летовке, где теснилось в удобном месте с десяток аулов. Урядник, старый кавалерист, сам вызвался в этот наряд и лично отобрал в аулах отменно выезженных коней, жеребцов, сытых яловых кобыл — всего голов около ста. Между делом попался ему на глаза, конечно, случайно — такое добро прячут, как ларцы с золотом, — редкостной стати конь; Плотников велел его оседлать. Видно, хозяина не было дома, а то бы как знать... вряд ли взяли бы... За такого коня можно и жизнью рискнуть.

В полдень, услышав пулеметные очереди, Плотников смекнул, где хозяин коня, и несколько часов отсиживался в горах. Когда же стрельба поутихла, решил он проскользнуть мимо Зеленого холма. И глядишь, проскользнул бы, если бы не пожадничал — бросил табун...

Бросить его пришлось все равно. Наперерез летела сотня джигитов.

Вся надежда была на пулемет. И он заговорил, но больше для острастки. Пулеметчику было не с руки... Он пытался открыть отсечный огонь, но урядник и его люди сами пошли на огонь, боясь, что их оттеснят в степь. А потом джигиты и солдаты смешались.

Кинулись было на выручку казаки с ярмарки, но недружно, не готовы были... Первых, самых расторопных и шустрых, перемахнувших на конях через телеги, вернули стрелки из засад, люди Баймагамбета и краснолицего, а дальше уже поздно было.

Скоро сделалось дело. На виду у ярмарки, в чистом поле, при свете дня заварилась рукопашная, наконец-то рукопашная, долгожданная, когда человек, и конь, и дубина, и земля под ними одно живое целое.

Поначалу было все чин чином, никакого беспорядка. Урядник скомандовал, пошли пашки вон, и его ребятки, орелики, лихо привстали на стременах с клинками на вытянутой руке — люди, тоже не лыком шитые, мастера рубки, которых толпой не испугаешь, хоть и сотенной. На них и не шли толпой, чтобы не мешать друг другу, впереди было десятка два... Выбирай!

Но попробуй достать клинком всадника с соилом, если его дурацкая оглобля не подпускает тебя на удар, вертится, мелькает, как мельничные крылья, и лупит, подлая, точно привязанного, по коленкам, по локтям, по башке. Дерется, бес, убегая! Он бежит, а из тебя дух вон.

Кокбай влез в драку первым, вылез последним, без шапки. Ухо, что ли, было у него рассечено?

Прорвался на ярмарку только один бородач с глазами сокола, ранивший пятерых джигитов. Он рубился двумя клинками — с правой и с левой...

И еще удрал урядник.

В самый разгар схватки вдруг закричали: «Матай-улы! Матай-улы», — увидев его известного всем албанам жеребца, рыжего, с белой гривой и с белым хвостом, победителя всех скачек, и аульных и ярмарочных. Однако в седле был не Матай, а Двухбородый!

За ним погналась половина сотни. Жансеит — на лучшем скакуне из табуна толмача Оспана. Шли вплотную, а по краям — заметно впереди урядника, окружая... Но красавец конь привык уходить от соперников; ушел и теперь, играючи, как от пеших.

Все это видели джигиты с Зеленого холма. Видели рукопашную, и у многих чесались руки. Видели, что поломот, который все время бешено стучал, никого не косил, зря стучал. Застоялись кони, засиделись люди... И когда Жансеит погнался за урядником, не выдержали. Что такое полверсты для конника? Несколько шальных голов бросились вперед, вдогонку. За ними хлынули остальные...

Тщетно кричал не своим голосом Кокбай, скача им навстречу. Они не понимали его и растоптали бы, если он не пошел впереди них...

На ярмарку! На ярмарку! Опять покатила конная лава...

Дорого обошлась эта вылазка, дороже, чем в полдень. Обманул поломот... Человек пятьдесят — шестьдесят остались лежать на лугу в крови, в черной пыли, и среди них Кокбай.

Остальные спешились за холмом — ни живые ни мертвые.

Все было потеряно, все потухло — и порыв, и бесстрашие, и вера. Под вечер Баймагамбет и Картбай вернулись из засад и с ними самые сильные, самые храбрые. Но и их слушали — иные молчком, а иные ропща. Многие плакали — кто по брату, кто по отцу, кто по сыну. Эти уже в бой не пойдут. Глядя на них, жить не хотелось. Были повстанцы, стали плакальщики, смиренные, богобоязненные.

Альжаны нетерпеливо поглядывали на закат, торопили вечернюю зарю. Но когда стемнело, недосчитались не только их, зашевелились все отряды, и на Зеленом холме осталась, может быть, одна треть из тех тысяч, что были утром.

Сошлись командиры оставшихся отрядов и повели такой разговор:

— Для первого раза не хватит ли? Сыты по горло и люди и кони. Давай лучше завтра утром, пораньше. Тут и пожрать нечего... и поспать негде... И раненых надо увезти. Лучше бы завтра. Всего лучше — завтра!

— А мы что, сюда спать пришли? Зачем мы ждали ночи? — вскипел Жансеит.

Но Баймагамбет и Картбай молчали.

С Жансеитом заспорили вяло, неохотно и, так ни к чему не придя, ни о чем не сговорившись на завтра, препираясь на ходу, стали разъезжаться. Раненых подобрал их близкие.

К тому времени, как должно людям ложиться спать, у Зеленого холма не осталось ни одного казаха.

Ночью, когда взошла луна, прежде других отыскал на лугу Кокбая человек с красным лицом и с винтовкой.

— Ты? Жансеит? — прохрипел Кокбай.

— Эх, брат... Своих не признаешь? А мы с перевала Асы...

Кокбай схватил его за плечи, за голову, притягивая к себе, обнимая.

— Ибрай! — вскрикнул он перед своим последним вздохом.

На ярмарке крепко перетрухнули в тот день и штатские и военные.

Начать с того, что хватило у повстанцев пороху — палить целый день! По всему судя, оружия много... И стрелки были упорные, настырные, бог знает кем обучены. А какая свирепость, дикость! Даже на пулеметный огонь рвались толпами... Дьяволы, а не люди. Какое там мирное племя! Конечно, у страха глаза велики, но ведь их и вправду тьма...

Господин пристав был на грани истерики. Скрепя сердце, усмирив гордыню, он накинул на плечи какую-то крылатку без всяких знаков различия, ибо погон у него как риза, а канцелярия засыпана стекольными осколками... За ним охотились, как за царем-освободителем Александром II... И что там ни говорите, стрелок был русский, каторжник, студент! Тут пахло такой политикой, что боже упаси. Не нашего рассуждения-с.

Помимо того, раненых на ярмарке полно, а при них один фельдшериска и тот татарин.

Увидев, как чудом унес ноги урядник Плотников, пристав захныкал, просто так сел и захныкал, и денщик подал ему носовой платок. Одним словом — бежать! Дотянуть как-нибудь с грехом пополам до ночи и, так сказать, под покровом... Иных соображений в голове пристава не имелось.

Следователь бубнил ему в уши что-то свое, кажется, что ночью будет то и се, прошу прощения, атака. Пристав отмахивался от него платочком.

Ничего ночью не было. Все стихло, все замерло. Замерла и ярмарка. Час битый после того, как стемнело, пристав еще ждал и скулил, жалуясь на разврат, поскольку следователь, почему-то с биноклем в руках, и урядник стояли рядом и не давали ему встать с плетеного, очень жесткого кресла. Никакой атаки, однако, не дождалось.

Тогда ярмарка ожила, завозилась, закопошилась, впрочем, нешумно и не зажигая огней. Развязанные телеги, брички, возки и арбы живо разошлись по рукам. Их заложили. Погрузили имущество, железный ящик с бумагами и кое-какими казенными и личными ценностями, устроили в отдельном экипаже при эскорте, точно их

превосходительство, пулемет и хорошенько смазали все оси и рессоры, чтобы не скрипели.

Образовался длинный обоз. Потихоньку по бодрящему ночному холодку выбрались на темную дорогу, ведущую в Жаркент, и покатили с богом.

Опустела канцелярия. Опустела и гауптвахта.

* * *

Накануне добрый Оспан ездил, сопровождая следователя, в Саржаз. Следователь прихватил с собой и толмача Жебирбаева. В Саржазе был убит важный чин — член правительственной комиссии, которая отбирала лошадей для государственных военных нужд. Какой-то безумец разможил ему голову, когда он выходил ночью по малой нужде. Четырехглазый расследовал это дело, но не нашел преступника, а нашел преступников, как он сам сказал.

Нюх у следователя был собачий. Он почуял, что назревает в аулах, и быстренько убрался из Саржаза, свернув допросы и попрощавшись с преступниками елико возможно любезней.

На обратном пути на одном из пикетов следователь отделался от толмачей под тем предлогом, что им будто бы не хватило перекладных. Смысл был — испытать молодцов, дав им отстать вдвоем без охраны.

Они отстали на сутки, но поехали на ярмарку и были уже по эту сторону Каркаринки в полдень, когда повстанцы пошли с Зеленого холма в первый налет. Толмачи умчались прочь в степь.

Встретились им знакомые, кое о чем рассказали, расспросили. У всех на языке было одно:

— Ярмарке крышка... Поедете туда? Или домой?

Оспан и Жебирбаев бормотали себе под нос всякую несуразицу, сказать им было нечего, а когда знакомые отъехали, погнали коней назад и проскочили на ярмарку прежде, чем джигиты окружили ее засадами.

Сивый Загривок давно уже косо смотрел на толмачей, не подпускал к себе, как ни старались они попасться ему на глаза. Теперь же, увидев Оспана, похлопал его по плечу, потом по щеке.

— Смотри-ка... А я думал, ты сбежал к своим. Ты здесь, оказывается? Ах ты стерва... Смотри-ка!

Вечером, когда стрельба вокруг ярмарки утихла, к Оспану подошел следователь.

— Желательно бы знать из первых рук, что они там затевают. Не исключаю, что ждут только ночи... только ночи... Вы поняли меня? Жебирбаев не годится. Ни на кого больше не полагаюсь...

— Я с радостью! Я узнаю, — сказал Оспан.

— Я так и думал. Если они готовятся и хотят напасть, спокойно удалитесь и в течение часа жгите костер слева от холма, подальше, небольшой... У меня бинокль, я ваш огонь увижу. А сами скачите назад ложиной...

Оспан влез на коня и проехал кружным путем, готовясь врать не на жизнь, а на смерть. Но когда он добрался до Зеленого холма, там уже никого не было, а когда опять кружным путем вернулся (под конец ползком, отогнав от себя коня, потому что с луга кто-то его окликнул и погнался за ним), никого не было на ярмарке.

Страшная картина представилась Оспану в лунном свете на базарной площади.

Пристав припас на случай осады отару овец голов в пятьсот. Перед отъездом в Жаркент он распорядился:

— Ну, гнать их некому... и это медленно... Режьте, да порезвей, сколько кому нужно. Всем разрешаю!

И началась бойня. Каждый служащий, торговец, толмач, слуга — все, кроме солдат, хватали по одной, по две овцы и задирали им морды.

Увезти все с собой в Жаркент, конечно, не смогли. Разделать, сварить — когда же? Так и бросили окровавленные, вываленные в пыли тушки где попало, где пришлось. И их уже рвали вмиг одичавшие ярмарочные псы.

Без дрожи заколет пастух барашка в котел, но и без дрожи своим телом прикроет от волка, согреет в метель и стужу новорожденного, выходит его ослабевшую мать. То, что было сотворено на базарной площади, могли сделать только торгаши да волки.

Даже очерстневшее сердце Оспана вознегодовало.

— Псу под хвост... Пропало все зря.

Но затем потянулось это сердце все-таки в Жаркент. Хотелось Оспану поскорей глянуть на пристава, на следователя подобострастным взглядом, схватить на лету их высокомерный кивок, не замечая, что они его сторонятся, как погани и заразы, будто он не человек, будто он не служащий! Честолюбив был Оспан, отнюдь не безволен, но этого ему хотелось, как жене, брошенной мужем, — догнать, кинуться в ноги, под пинок и плевков.

И, наверно, небо вняло его молениям. Перед утром въехал на ярмарку какой-то заблудившийся перепуганный купец-татарин. У него язык отнялся от того, что увидел он там, на дугу... Телега у купца, однако, была исправна, конь сытый. Оспан без лишних слов подобрал две овечьи тушки посвежей, подсел в телегу и повернул коня на дорогу в Жаркент.

С ярмарки укатили благополучно.

Верст через пять-шесть увидели пообочь дороги трупы людей. Одни лежали в пяти шагах, другие в пятнадцати, как будто пытались бежать перед смертью, одни поврозь, другие по двое, по трое, как будто умирали, обнявшись.

На спине лицом на восток лежал Серикбай. В него стреляли, видимо, в упор, и короткие его волосы на правом виске были опалены. Дырка величиной с медяк зияла на черепе. Запекшаяся кровь почернела. Но на лице ни следа страха и смятения. Брови насулены. Между бровями стрелой прочертилась длинная морщина. Это морщина гнева и достоинства. В сжатых губах решимость — суровая, холодная. Во всем лице, еще молодом, не постаревшем после смерти, сила правоты и чистота.

Кто-то покрыл его тело серым чапаном. Чьи-то почтительные добрые руки. Этот человек обещал в час беды раздать свое имущество, но час беды настал, а он мертв; ему нечего больше отдать.

Рядом лежал Турлыгожа, который своим трубным голосом мог свалить быка, друг и соперник Серикбая в мужестве, чести и красноречии. Лежал он лицом вниз, открыв рот, словно хотел поведать родной земле свое последнее, заветное. Наверно, его недобили и он еще долго ворочался, говорил с ней, умирая.

Смерть схватила этих людей безобразная, предательская, как и их братьев в Караколе, но они умирали с верой, что гибнут за народное дело. Дерзкие у них были мечтания... Их красноречие вдохновляло... Жертвами народного клича называли этих людей.

Мимо них, мертвых, без остановки проехал Оспан, и теперь в его сердце не было негодованья, как при виде зарезанных овец. Он ехал в телеге торгаша, волочась за теми, кто превратил этих людей в трупы. Это было издевкой над мертвыми. Он марал их тела, как стервятник.

Сейчас он спасал свою шкуру, ибо он предал, и об этом кричали ему убитые, но совесть его молчала, он не раскаивался. Благолепно, молитвенно он огладил ладо-

нями лицо, но лицо его было спокойно, чудовищно спокойно. Ни тени сострадания, скорее любопытство. С интересом он вглядывался в лица, точно в лица спящих. Ага, говорили его кроткие глаза, я еду, а вы лежите, и далеко уеду, пока вы лежите.

Лошадь храпела, и он подстегнул ее вожжами.

* * *

Утром на месте каркаринской ярмарки горел грандиозный костер. Ослепительные мечи пламени взлетали к небу, степь застилала драконовы клубы дыма. Горел он долго, жарко, стреляя огромными пылающими головнями, поджигая луга вокруг себя, и к нему нельзя было подступиться ближе чем на полверсты. Треск и гул сотрясали окрестные горы.

А в аулах уже разбирали юрты, нагружали арбы, навьючивали верблюдов.

Повстанцы были на ярмарочной площади на утренней заре. Впервые за много лет на высоком шесте не колыбался белый флаг с двуглавым орлом. И не было здесь царской власти. Не было его благородия по имени Сивый Загривок, двухбородого урядника и хитрого четырехглазого следователя, не было судьи, надзирателя и жирных толмачей. Канцелярия была пуста. Перед ней валялись не догрызенные собаками бараньи тушки.

Но пуста была и гауптвахта.

Купцы уехали, бросив в домах и на улицах много разных вещей, а в лавках и ларях много разных товаров. Домашние вещи валялись как попало, а товары в полном порядке — ткани, платье, сапоги, посуда, сбруя, мазут, керосин, ковры, кольца, бусы, граммофоны... Очень много товаров. Никто из повстанцев на них не смотрел.

Ярмарка была безлюдна. Но в загонах блеяли уцелевшие овцы. А в одном дворе нашли старую подслеповатую клячу. Овец выгнали в степь. Клячу вывели под уздцы за околицу. В торговых рядах залиvisto пела канарейка. Ее выпустили из клетки. И еще походили, посмотрели, чтобы на ярмарке не осталось ничего живого.

А затем подожгли ее с девяти сторон, не взяв ни одной нитки из вещей и товаров. Ярмарка была деревянная, хорошо высушена жгучими степными ветрами, и запылала, как хворост,

Много лет она ненасытно заглатывала и пожирала все вокруг себя и была толстобрюха и спесива, как купец. Теперь она давилась черным вонючим дымом, исчезая с лица земли.

С ней было покончено. Поквитались и с пей...

Пожарище еще тлело и курилось пеплом, когда смиренный род албан откочевал из благодатной и благословенной Каркары. Тысячи людей потянулись длинными веренищами, подобно перелетным птицам, диким гусям, уходящим от зимы.

Обезлюдели горные пастбища Алатау. В лощинах, укрытых от ветров, остались бесчисленные беспризорные отары овец. И со скалистых и лесных высот испуганно вслушивались в их жалобное блеяние архары, лоси, козули...

Добрая, щедрая, милая земля. С тех пор как албаны стали албанами, она не дала им испытать ни джута зимой, ни засухи летом. И вот она брошена, и казалось, стелется над ней от края до края безутешный сиротский стон.

Позади был белый царь, впереди воля. Люди проклинали все, что было позади, но больше всего этот роковой час, в который уходили. И думали они о том, как вернуться, думали о том, что следом за зимой, пока не затмилось солнце, приходит весна... И лили и лили слезы. Отчаяние погоняло, надежда вела.

Шли в пустыню, во мрак, в неизвестность. Искали воли, а отдавались во власть неизвестности, на ее произвол.

И так же, как от красных шапок отстал бай Даулетбак, поддельный святой, так и от черных шапок отстал и спрятался в горах Текеса и Сырта бай Тунгатар, темный убийца, — оба богачи, нищие души. Остались с царем и приставом Рахимбай, добрый Оспан и Обиралов.

СЕРЫЙ ЛЮТЫЙ

Большой овраг близ Черного Холма безлюден, по хорошо известен пастухам окрестных аулов. Из этого оврага нередко приходит беда.

Черный Холм, точно меховой шапкой, покрыт низкорослыми кустами караганника и таволги. Верхушки караганника бледно, нежно зеленеют — на них раскрылись почки. Овраг сплошь зарос шиповником. Под его колючим пышным ковром скрыты волчьи норы.

Прохладный майский ветер порывами задувает из оврага, далеко разнося запах молодых трав и дикого лука. Кусты шевелятся и угрюмо, сухо шелестят, словно перешептываясь.

Поздней весной в овраг к старым норам пришли волк и волчица. Старые норы размыло полней водой, в них мог бы свободно влезть человек. Волки выкопали поблизости новую, более тесную нору и соединили ее со старыми узкими темными лазами.

Волчьи лапы вскоре утоптали свеженарытую землю. Белесая шкура волчицы не успела облिनиться, когда в логове появились дымчато-серые волчата.

Тихим утром волчица лежала на солнцепеке, под высокими метелками конского щавеля. Здесь было безветренно, жарко, ее разморило. Она дремала, изредка приоткрывая мутный глаз. Бока у нее опали, соски набухли молоком. Кожа на спине нервно подергивалась, соски непрерывно вздрагивали.

Слабый хруст донесся из-за кустов. Волчица вскочила, взметнув с земли летучие клочья белой шерсти, и оскалилась, глухо ворча. Волчата барахтались у ее ног.

И тотчас, перелетев через ветвистую стенку кустов, перед волчицей плюхнулась туша ягненка. Следом бесшумно выскочил крупный, тяжелый волк с низко опущен-

ным хвостом. Роняя с морды красноватую пену, он обнюхал волчицу, а она жадно лизнула его в окровавленную скулу.

Ягненок был еще жив. Волк и волчица набросились на него и в одну минуту разорвали на части. Две белозубые прожорливые пасти большими кусками глотали легкое, нежное мясо. Зеленые глаза злобно горели.

Сожрав ягненка без остатка, волк и волчица повалялись в сочной пахучей траве и растянулись на ней во весь рост. Потом поочередно стали отрыгивать проглоченное мясо.

Волчата один за другим подползли к мясу и, урча, толкаясь, стали его трепать. Только двое, родившиеся последними, были еще слепы. Волчица подтащила их к себе и положила около сосков.

На другой день, когда солнце стояло в зените, волчица издалека почувла стойкий, густой конский запах. Быстро затолкав волчат в нору, она скрылась в кустах.

Послышались людские голоса, конский топот.

Люди съехались у самого логова, спрыгнули с коней. О землю дробно застучали длинные пастушьи дубины.

Волчица стояла в шиповнике на крутом откосе оврага, вывалив из оскаленной пасти язык. Она все видела.

Набрасывая на головы, на шеи волчатам крепкие ремненные путы, двуногие вытаскивали их одного за другим из темной норы. Пятерых тут же прикончили. Одному перебили задние лапы и бросили около обгрызенной головы ягненка. Волчонок будет ползать, скулить, и волки унесут его и надолго уйдут из этих мест. А самого маленького из выводка люди взяли с собой.

Стих в овраге конский топот. Матерый черногорбый волк и белая волчица с двух сторон подошли к лежащему пластом волчонку и свирепо оскалились на него, а затем друг на друга. Волчица схватила волчонка и скользнула вверх по оврагу. Волк высокими, летучими прыжками понесся за ней.

Логово опустело.

Жил в ауле мальчик по имени Курмаш. Ему и достался слепой волчонок. Старшие говорили: серый попал к людям слепым — может быть, он приживется в ауле.

Курмаш не расставался с ним; приготовил для него чистую плошку, мягкий кожаный ошейник,

Дня через два волчонок открыл глаза, но из юрты не высовывался — снаружи доносился лай и жутко пахло псиной. На ночь Курмаш брал волчонка к себе под одеяло. Ради него мальчик ложился теперь спать врозь со старой бабушкой, которую любил больше всех людей на свете.

Она одна не одобряла его привязанности к слабому, прозрачно-серому зверьку с острыми, точно колючки, зубами.

— Он еще не прозрел, когда у него выросли клыки, — говорила бабушка. — Не успеет встать на ноги — прижмет к затылку уши.

И мальчик сердился на нее.

К середине лета волчонок подрос, окреп и ничем не отличался от аульных щенков, своих однолетков. Будь он полухматей, он походил бы на маленького волкодава. Но жизнь в ауле была для него неволей. Пастушьи псы не хотели с ним примириться, как и старая бабушка. Рычащие, ощеренные пасти встречали его всякий раз, когда он отваживался показаться из юрты.

Курмаш заступался за него, и верные сторожевые псы отходили от мальчика, обиженно огрызаясь. А в юрте волчонку было тесно, душно и скучно. Ему хотелось в степь, в высокие многоцветные травы, в неизведанный простор.

Однажды рослый черно-пегий пес из Большой юрты подстерег, когда мальчика не было поблизости, отогнал волчонка от его юрты, повалил и долго мял тяжелыми клыками. Подоспели другие псы и с упоенным лаем принялись хватать серого за ноги и за бока. Прибежали дети и взрослые, едва отбили волчонка. Потрепанный, искусанный, он отполз к юрте, сел к ней спиной и беззвучно оскалил белозубую пасть.

— Ишь какой немой... Гордый! — удивились мужчины. — Щенок бы сейчас своим визгом землю про-сверлил.

А женщины сказали:

— Ворюга! Потому и немой...

И это было верно. Даже Курмаша изумляла и тревожила прожорливость волчонка. Мальчик баловал, кормил его безотказно, намного сытнее, чем собак. А волчонок, казалось, никогда не мог насытиться.

Аульные псы ходили поджарые, они были непривлекательны. У волчонка туго налились бока и грудь, заметно рос жирный загривок. А он был постоянно голоден и рыскал по юрте, поводя черным влажным носом.

При людях он не притрагивался к еде, отворачивал от нее морду. Но стоило человеку отойти, как он мгновенно проглатывал все, что ему положили, и тоскливо смотрел на пустую плошку, будто ничего не ел. Стоило людям заглядеться, как он жадно хватал все, что было плохо положено и попадалось ему на зуб. Утаскивал вареное хозяйское мясо, лакал простоквашу из казана, будто она поставлена для него, грыз свежие шкуры, подвешенные сушиться на остов юрты.

Частенько он попадался, и его колотили безжалостно. Он испытал и удары скалкой, от которых гудело в голове, и острую, жгучую боль от тонко свистящей плетки. Ловко увертываясь, он молча скалил белые клыки. Не было случая, чтобы он, побитый, подал голос.

А между тем в ауле стали поговаривать, что по ночам он проскальзывает, не замеченный собаками, в кошары и обнюхивает курдюки у ягнят, и овцы его боятся. Кто-то видел, как он украдкой убежал в стень.

Курмаш не слушал аульных пересудов. Но как ни старался мальчик, как ни учил своего серого, тот никак не мог понять, чем хуже еда, которую он крал, той, что давали ему хозяева.

Курмаша он не опасался, ел при нем. Когда мальчик протягивал ему мясо, волчонок не брал, а выхватывал кусок из его рук. Но Курмаш ни разу не поднял на него палки, которой отгонял псов. Мальчик любовался волчонком, его сумрачным независимым взглядом исподлобья, его слегка темнеющим грозным загривом, его растущей день ото дня упрямой силой.

И назвал Курмаш своего любимца Коксерек, что означает Серый Лютый.

К исходу лета Серый Лютый стал уже мало похож на аульных псов. Голенастый, как теленок, крутогорбый, как бык, он перерос их всех. Хвоста он не поднимал по собачьи и оттого казался еще рослей, а загривок и спина его напоминали натянутый лук.

Теперь он не убегал от черно-пегого кобеля, и собаки перестали задирать его. Едва он поворачивал к ним лобастую каменно-серую морду и сморщивал верхнюю губу, те кидались врассыпную. Обычно собаки, завидев его, держались сворой. И он и они всегда были настороже.

Никто не замечал, чтобы волк резвился в ауле. Не играл он и с Курмашем. Кличку свою помнил хорошо и прибегал, когда его звали Курмаш или старая ба-

бушка, но бежал неторопливо, ленивой трусцой и не махал хвостом.

Собак он не трогал, не оборачивался на их лай, не гнался за убежавшими. Чаще всего он лежал в тени юрты, выпрямив острые уши, и угрюмо щурил зеленые глаза.

Курмаш гордился молчаливым зеленоглазым зверем и весело смеялся, когда соседские собаки, визжа от страха, пускались от него наутек. По правде сказать, мальчик и сам подчас побаивался Серого Лютого, но ни за что не признался бы в том даже старой милой бабушке.

Хозяин черно-пегого пса хвастался:

— Что ваш серый, вислохвостый! Мой черно-пегий враз его скрутит, только дай! Давно бы придушил, если б не отгоняли.

Как-то походя, пробы ради, он науськал черно-пегого. Пес, не колеблясь, с азартным лаем бросился на волка, ударил его клыками в плечо. Метил он в шею, но промазал. В последний миг волк увернулся и, прежде чем пес успел отскочить, молча метнулся, в прыжке взял его за загривок и швырнул на землю. Огромный пес покатился с пригорка, точно беспомощная жирная овца. Волк тоже промахнулся, иначе он вырвал бы у пса горло.

Выбежал Курмаш и отозвал Серго Лютого, а хозяин отогнал своего черно-пегого.

Поздним вечером два волка неожиданно напали на овец, которые паслись неподалеку от аула.

Чабан поднял отчаянный крик, свист. Прискакали на конях из аула подростки и старшие. С оглушительным лаем дружной сворой примчались на выручку все аульные псы, а с ними и Серый Лютый.

Волки ушли в степь. За ними погнались — не догнали.

На ближних холмах всадники и собаки остановились. Вдали, по высокому гребню Черного Холма, в тусклом, неясном свете скользили серые тени.

— Раненько они нынче объявились, — сказал чабан.

И только Курмаш заметил, как по волчьим следам, почти касаясь мордой земли, бесшумно понесся Серый Лютый.

Мальчик отстал от людей и пеший бесстрашно пошел в темноту, к Черному Холму. Долго ласково звал:

от. — Коксерек! Кок-се-рек...

Но Серый Лютый так и не пришел на его зов.

Волк появился в ауле ночью. Встав на виду у своей юрты, он неторопливо поскреб железными когтями сухую, утопанную землю, взметая клубы пыли. Поднял голову

к звездному небу и втянул в себя по-осеннему студеный воздух, жадно внюхиваясь в слабые дуновения со стороны Черного Холма.

Днем Серого Лютого видели в ауле, а ночью он опять ушел в степь.

Пропадал трое суток. Вернулся отощавший, люто голодный, но по-прежнему угрюмый и без ошейника. Когда Курмаш окликнул его, он подошел, низко и словно бы угрожающе опустив голову. Мальчик обрадовался, обхватил его за короткую мускулистую шею. Волк вырвался, прижал к затылку уши, но даже бабушка не стала его бранить и захлопотала, готовя еду.

Ел он страшно, и Курмаш отступил от него подальше.

— Ого! Сказывается порода, — сказал Курмашу отец. — Глаза-то у зверя зеленые-презеленые, днем горят. Пора, сынок, пора содрать с него шкуру.

И мальчик задрожал, боясь, что теперь старшие не уступят ему, погубят его волка.

Но Серый Лютый словно понял, что говорят о нем. Едва люди отвернулись, он исчез. Никто не видел, когда он ушел из аула.

Много дней затем Курмаш напрасно искал его в зарослях чия — с тоской, с угрозой. Тщетно! Минула ветреная осень, белой кошмой покрыла степь суровая зима. Серый Лютый не возвращался.

До поздней осени он кормился зайчиной далеко от родных мест, не брезговал и мышковать. Суслики были жирны, и он лакомился ими, как лиса. А по снегу голод пригнал его к людским зимовкам, овечьим загонам.

Теперь он пришел крадучись, как чужой. Шерсть поднималась на нем торчком, когда он видел людей.

Ночь за ночью он кружил, петлял по заснеженным холмам, оставляя на снегу летучий след пяток и когтей. Пар клубился у его слегка сморщенной серой морды. Он останавливался с подветренной стороны, и в нос ему бил густой сытный запах хлева и скота, а в уши — собачий беспокойный лай. Волк свирепо клацал клыками. Сейчас собаки так же чутки, как он голоден.

В глухой пуржистый час он попытался приблизиться к зимовке. Но бессонные псы словно знали, откуда он подойдет. Его встретила вся свора во главе с черно-пегим, прогнала.

Ветер стих, подморозило. Волк заплясал, приседая на задние лапы. Жесткий снежный наст обжигал ему пятки, черные уголки пасти мерзли, брюхо стянула голодная боль. Мелкой рысдой волк поднялся на холм. Снег искрился под сильным лунным светом. Серый Лютый вскинул голову к небу и, застыв в судорожной, не испытанной прежде истоме, протяжно, уныло завыл.

Тотчас в ауле вскипел оголтелый собачий лай.

Серый Лютый не опускал головы. И вдруг издалека, с Черного Холма, донесся невнятный, тоскливый отклик. Волк выпрямился, дрожа. Кто-то ему вторил, манил его. Он вслушался, повел носом и стремительно понесся на зов.

У схода в большой овраг он остановился, настороженный, вздрагивая от сильного озноба. С Черного Холма к нему спускалась снежно-белая волчица.

Серый Лютый не подпустил ее к себе. Она подходила, он отскакивал, скаля зубы, прижимая уши. Но уйти он не мог. И когда она пошла по его следу, вынюхивая его, а потом повернулась, жалобно повизгивая, и ткнулась теплым носом ему в пах, он не тронулся с места. Волчица тихо побежала прочь. Он догнал ее и лизнул в скулу.

Плечом к плечу они пустились вверх по оврагу, пролетели его насквозь и повернули к людскому жилью. По гребням холмов они за полчаса безостановочно, неумоимо проложили гигантский полукруг двойного редкого следа, и только наст звонко похрустывал под их лапами. Затем, словно сговорясь, они так же рядом помчались вниз, к аулу.

Луна зашла. Ночь была на исходе. Серый Лютый и белая волчица вихрем пролетели аул, как большой овраг, и оба увидели, как от желтоватого сугроба у овчарни за ними метнулся вдогон длинношерстный кудлатый пес, увлекаая за собой всю свору. Это был, конечно, черно-пегий.

Волки неслись от аула во весь мах. Черно-пегий не отставал, надрывисто, натужно лая. Свора за ним растягивалась, редела. И Серый Лютый умерил скок, злобно прислушиваясь к лаю, — пес разрывался от ярости, от гнева.

Близ лощины свора остановилась, остановился и черно-пегий кобель и побежал обратно, к своре. Волчица первая кинулась за ним.

В безлюдной степи собаке трудно убежать от волка. Но черно-пегий не струсил, хотя остался один. Он жил для того, чтобы драться с волком, и, не колеблясь, сцепился с волчицей, когда на него палетел Серый Лютый и подмял под себя. Волчица с визгливым рычанием впилась ему в горло.

Вскоре от огромного черно-пегого остались лишь хвост, обглоданная голова да редкие клочки шерсти. Даже окровавленный снег волки проглотили.

Нажравшись, они ушли к Черному Холму и в овраге повалились на чистом снегу.

С той ночи они не разлучались. И пошла гулять по округе серая беда.

То тут, то там, близ Черного Холма и далеко от него, волки задирали овец, резали коров и лошадей, валили верблюдов, губили лучших сторожевых псов и ускользали безнаказанно.

От аула к аулу ползла худая молва.

— Их целая стая, серых бесов, и все, точно оборотни, человека не боятся. Ничуть не боятся — вот что! Вожак у них матерый, с телянка ростом, до того лют, до того страховиден... Не бежит, даже когда человек подходит к нему на длину сошла! Подойти-то боязно. Налетит стая с одной стороны, чабаны кидаются туда, собаки их травят, а тем временем вожак с другой стороны уносит на горбу овцу...

Подолгу волки не держались на одном месте. Сегодня их видели у Черного Холма, а завтра — верстах в десяти, двадцати, тридцати южнее, восточнее. Известно: волка ноги кормят.

Степь в том краю холмистая, овражистая, обросла кустарником. Любо-дорого посмотреть на нее с Черного Холма: точно море в бурю, она горбится высокими валами, кипит мохнатыми гребнями. В таких местах удобно волку, хлопотно пастуху. Легко подобраться невидимкой к стаду, к загону, легко подстеречь, отбить отставшую скотину. И трудно выследить серого, невозможно предвидеть, откуда он выскочит неслышной дымчатой тенью. А снежной зимой и выследишь — не догонишь! Глубоки сугробы. Волк уходит целиной. Наст волка держит, а всадника нет: проваливается конь, не скачет — вспахивает снег.

Попробовали у большого оврага, где не раз находили волчьи норы, подбросить отравленное мясо, и покаялись. Разве оборотни возьмут отраву? Молодые аульные псы-

педоумки подобрали мясо у оврага и там же остались лежать. Волки не тронули и застывшие собачьи туши.

Сытной была для волков та зима. Серый Лютый все рос и рос, наливаясь каменным весом, но по-прежнему не мог утолить свою страшную жажду мяса и крови.

Лишь к весне как будто слегка приглож его голод, и в жилах у него ненадолго зажглась иная жажда.

Снег в степи рыхлел, темнел. На холмах появились рваные пятна проталин, оголялась рыжая вязкая земля.

Небывалая игривость обуяла Серого Лютого. На бегу он стал суетлив, никчемно кружил, метался около волчицы, как щенок. Она ложилась отдыхать, а он приплясывал близ нее, поднимая вихри искрящегося снега, дурашливо прыгал через нее, толкал грудью, лапами, мордой. Она сердито грызлась, а он хватал ее за шею и, подержав, отпускал. Иногда он подолгу трепал ее за шиворот, не давая вырваться. Она сварливо визжала, кусалась.

Потом она подобрела и стала чаще обнюхивать его и лизать.

Севернее Черного Холма лежали обширные мелководные соленые озера. Берега их тесно поросли чием и камышом. Места дикие — не зря над зарослями постоянно висит птичий грай. Сюда белая волчица увела весной, когда буйно зазеленели берега озер, Серого Лютого.

Теперь он охотился далеко от родных краев. А волчица не покидала логова и кормилась птичьими яйцами, подобранными в камышах.

Раз он принес ей бараний курдюк, но она не встретила его у норы, как обычно. Он беспокойно заскреб лапами землю, и она вылезла из норы обессиленная, едва волоча ноги.

Из норы исходил сильный незнакомый запах. Серый Лютый грозно ошетинился, сунул в нору оскаленную морду и вытащил зубами хлипкого, неказистого волчонка.

Волчица, слабо тьякая, кинулась к нему, но не смогла ему помешать. Серый Лютый бил маленького слепого волчонка о землю, пока тот не превратился в бесформенный серый комок, потом с отвращением швырнул через себя.

Когда он обернулся к волчице, она лежала между ним и норой, и к ней подползали другие волчата, тыкались ей в соски.

Серый Лютый, угрюмо облизываясь, лег в стороне.

Волчица стала выходить с ним па охоту, но была еще неповоротлива, грузна и то и дело убегала к своему выводу. Передко они возвращались в логово, не солоно хлебавши, ничего не добыв, и он алчно поглядывал на волчат, а она кусала его, гоня от норы.

Ранним апрельским утром, когда волчата уже прозрели, Серый Лютый и белая волчица бежали вдоль озера к своей лежке, она — впереди, не позволяя себя обогнать, он — вплотную за ее хвостом, и вдруг почували человека. Птицы тучей поднялись над гнездами, топотали кони, стучали о землю пастушьи дубины... Волки прятались в камышах, пока не стихло кругом. А подкравшись к логову, нашли в нем лишь одного волчонка с перебитыми лапами.

Несколько суток волчица неотступно бродила вокруг аула, куда люди увезли других ее волчат. Тщетно Серый Лютый отзывал ее. Она не шла за ним — и их заметили.

Подсохла, зацвела земля. Кони быстро набирали силу на сочных весенних травах. И в один теплый голубой день волки услышали за собой шумную погоню. Трое всадников на резвых конях выгнали волков из большого оврага, что у Черного Холма.

Серый Лютый летел, как стрела. Еще в овраге волчица отстала от него. Соски у нее не успели затвердеть, и она была тяжела в беге. Сперва Серый Лютый вернулся к ней, побежал сзади, покусывая ее в бока, подгоняя. Она зарычала на него. Он оглянулся па конников и молча, стремительно ушел вперед.

У выхода из оврага он круто повернул и гибкими скачками, точно коза, взлетел вверх по скату оврага, заросшего колючим шиповником.

Серый Лютый скрылся в кустах, а белая волчица неслась напрямик по открытому месту, и всадники с гиком и улюлюканьем скакали за ней.

Ночью Серый Лютый, фыркая, осторожно потрусил по следу травли. В дальней лощине на сырой от росы траве он нашел пятно засохшей крови. Принюхался, лизнул его. Здесь лежала белая волчица, и здесь обрывался ее запах.

Серый Лютый сел и сидел, не двигаясь, напряжнив выпуклую грудь, горбя бурый затылок, пока не взошла луна. А когда взошла луна, он завыл уныло, глухо.

Словно окаменев, Серый Лютый сидел в лощине до утра. Перед рассветом поднялся, судорожно позевывая. Голод холодил ему брюхо.

Все лето он рыскал по степи один, нагоняя на стада и аулы страх. Не утихал ночной разбой, и пастухи проклинали свою долю. Как будто ходил у Черного Холма, близ соленых озер и повсюду окрест один серый с бурым горбом, а за лето зарезал не меньше полусотни ягнят и телят! Бездонное было у него брюхо.

Дважды пускались за ним вдогон на свежих конях со сворой резвых собак, оба раза ему удавалось унести ноги. С таким тяжелым брюхом легок был на ногу, разбойник, и неутомим. Волк не убегал — улетал, срамя аульных удалцов.

Днем он прятался, отсыпался в темных дубовых зарослях камыша, на топких, сильно заболоченных озерах, а ночью ничто его не останавливало — ни крик человека, ни лай собак, ни гром и огонь ружейного выстрела. Зря тратили чабаны патрон за патроном, целя в серую тень, без толку посвистывали над отарами жаканы — волк, невредимый, возвращался, едва утихало эхо в ночном мраке.

За лето Серый Лютый разжирел. Плотная жесткая шерсть стояла на нем, как колючки на еже, но брюхо было поджато и не знало ни часу покоя.

Повадился он ходить за косяками лошадей. Подкравшись к сосунку, он хватал его за короткий хвост и держал так, что тот не мог тронуться с места. Жеребенок вырывался изо всей мочи; волк внезапно выпускал его, и тот кубарем катился по земле. Волк бросался, и его клыки смыкались на горле жертвы.

Осень промелькнула короткая, ненастная, и вот опять завывли, замели многодневные, многоснежные бураны.

В морозную светлую ночь на голом гребне холма Серый Лютый неожиданно столкнулся с большой волчьей стаей. Взметая вихрь колючей снежной пыли, стая налетела на него и окружила. Серый Лютый оказался носом к носу с вожаком — громадным матерым зверем с дымящейся на морозе оскаленной пастью.

Но стая сразу поняла, что встретила не добычу, а хозяина здешних мест. Поджав толстый хвост, приседая, Серый Лютый свирепо кладал железными клыками. Он был вдвое моложе вожака, но не уступал ему ни в росте, ни в весе; ни у кого в стае не было таких крутых гладких боков.

Волчицы первые подошли и принялись обнюхивать Серого Лютого. Опасливо приблизились волки помоложе. Лишь вожаку он не позволил себя обнюхать, и тот тоже

не подпустил его к себе. Пришельцы повалялись на твердом сугробе, поглотали мерзлые комья снега. Так же поступил Серый Лютый. И пошел со стаей рядом с вожак.

К утру заметелило. Серый Лютый привел стаю к табуну коней. Отбили кобылу-двухлетку, загнали ее в глубокий сугроб, и Серый Лютый свалил ее на снег, как некогда черно-пегого кобеля. Волки навалились на лошадь со всех сторон. Серый Лютый по привычке вцепился в лопатки и отскочил от тупого удара клыками в плечо. Около него, ощерясь, стоял вожак: Серый Лютый тронул его коронную часть добычи.

Однако драться в эту минуту было некогда — лошадиная туша таяла, дымясь. Молодые волки вгрызлись в брюхо по уши. Волчицы терзали труп, толкаясь и рыча. Серый Лютый и вожак вернулись в тесный круг.

Над последней задней ногой остались только они двое. Остальные с почтительного отдаления, положив головы на лапы, смотрели, как они рвут мясо, с хрустом мозжат лошадиные кости. Оба отошли одновременно, тяжело дыша, немирно косясь один на другого, вымазанные в крови до глаз.

Легли порознь в центре стаи. Волчицы кружили около Серого Лютого. Он не сводил зеленых глаз со старого вожака.

Еще несколько ночей они водили стаю вдвоем, держа голову к голове, и если один уходил вперед па полшага, другой тотчас хватал его зубами за бок или за ногу.

А ночи выдались ясные, безветренные, голодные. В немом горле Серого Лютого клокотала ярость.

Волки шли вдоль яра, когда у них из-под ног сорвался заяц. Косой проскакал и прометался перед волчьими посами не менее версты, прежде чем его смяли. Серый Лютый и старый вожак одновременно схватили его и разорвали пополам. Стая далеко отстала от них.

Оба жадно проглотили свои куски и тут же бросились друг на друга. Веером полетели снежные комья, клочья шерсти. Дробный ляг клыков разнесся в тишине.

Двое матерых грызлись, встав на задние лапы, сцепившись передними, глубоко вскапывая под собой сугроб. На секунду они разошлись. Вожак рычал, он был не прочь покончить и на том. Но Серый Лютый изловчился и немо схватил его чуть пониже уха — собачий прием, так берут волкодавы. Согнул, подмял под себя и мгно-

венно вгрызся в высокий могучий загорбок. Сжал клыки, как клещи, и сломал волку шею.

Старый вожак лежал боком на снегу, бессильно скаля пасть. Подоспела стая и с ходу мгновенно разнесла его до костей. Волк лежачего не щадит — ни чужого, ни своего.

День и ночь не слезали табунщики с коней и не могли устеречь табунов. Такого страха, такого разбоя еще не знавали близ Черного Холма. На глазах пастухов волки косили все живое.

Серый Лютый водил свою стаю от зимовки к зимовке с заката до рассвета. Волки быстро отъелись, отяжелели, но вожак не давал им подолгу спать. Он бил, кусал даже волчиц, а волчицы злобно подгоняли младших волков. Стая снималась с лежки, неслась по степи, точно лавина.

И был случай, когда серая шайка напала на человека. Одинокий путник ехал в саях по торной дороге. Редко волк отваживается подойти к такой дороге, пересечь ее, особенно ежели по ней едет человек. А Серый Лютый не долго колебался, прижал уши к затылку и погнался за саями.

Лошадь понесла. Стая настигла ее, завернула с дороги в сугроб. Сани увязли, лошадь провалилась по грудь, и волки серой грудой оседлали ее.

Путник, обезумев от страха, скатился с саней и кинулся бежать по глубокому снегу. Серый Лютый перепрыгнул через сани и короткими легкими скачками понесся за бегущим. Две матерые волчицы тотчас пустились вслед за вожакom.

Серый Лютый, словно играя и испытывая себя, сделал широкий круг и стал на пути человека. Волчицы остановились за спиной обреченного, беззащитного и все же неприкосновенного двуногого, выжидая. Тронет ли его серый атаман? Повалит ли на четвереньки человека?

Люди спасли его. С ближнего холма донесся гул и топот. По дороге галопом, пронзительно свистя, неслись вниз, в лощину, два всадника.

Серый Лютый сморщил верхнюю губу и, оглядываясь, все быстрее и быстрее пошел прочь по снежной целине. Стая снялась с растерзанной лошади и растаяла в сумеречной, взвихренной поземкой степи.

И еще раз Серый Лютый попробовал схватиться с человеком — в открытую.

Это случилось днем. Трескучий мороз сковал степь. Белесо-голубое небо затянуло искрящееся марево, сквозь которое угрюмо смотрело багровое, кровавое око солнца. Снега звенели.

Волки, горбясь, приседая и словно дымясь на морозе, подошли вплотную к аулу. И вдруг из-за окраинной зимовки вышел двугорбый верблюд, валко зашагал прямо на стаю. Между его горбами сидел человек, один человек, и голова его была обернута белым, а это — женский убор.

Серый Лютый насторожился.

Верблюд — не конь, и всадник на нем — не чабан, не табунщик. Собаки лаяли, не высываясь из аула. Стая застыла, предвкушая легкую добычу. Однако верблюд поднял губастую голову и побежал на стаю ровной размашистой рысцей. Волки заметались, наскакивая друг на друга, и брызнули от него в степь.

Странный верблюд! Куда он бежит? Почему не боится? И всадник странный — не кричит, не свищет, не размахивает руками.

Волки бежали без оглядки. Бежал и Серый Лютый. Верблюд остановился, шумно фыркая. Жгучий январский ветер шевелил на его боках грязно-бурые космы. Женщина сидела между его горбами не шевелясь, лишь платок на ее голове вздулся белым шаром.

Вся шерсть поднялась на Сером Лютом. Он стал как вкопанный, вытянул лобастую остроухую морду, приносясь.

Ничего особенного... Двухногий его не пугал, он сам пугал двухногих, едва успев вырасти, еще в ауле. А здесь, в открытой степи, он, серый, всех страшнее.

Стая рассеялась, волки маячили далеко на холмах в сияющем морозном тумане. Серый Лютый остался. И когда верблюд опять вскинул голову и пошел к нему, он неспешно затрусил к холмам, низко держа, словно бы волоча по снегу, хвост, заманивая всадника подальше от аула, поближе к стае.

Верблюд останавливался — тотчас садился на хвост и волк. Верблюд пускался рысью — рысил впереди него и волк. Расстояние между ними медленно сокращалось. Серый Лютый терпеливо, холодно примеривался.

Наконец аул скрылся за снежным косогором, а стая — вот она!

Серый Лютый выпрямился и поступил так же, как накануне с одиноким путником: скачками, играючи, понесся вокруг верблюда, отрезая ему путь в аул. Верблюд ватоптался на месте, скрипуче заревел, и Серый Лютый видел, как на рев кинулась с холма разом осмелевшая стая.

Зато он не заметил, как меж верблюжьих горбов внезапно, неведь откуда, возникла, блеснув на солнце, гладкая черная палка с круглым немигающим глазом на конце.

И вот из безоблачного зимнего неба ударил гром. Раскатистое эхо запрыгало по окрестным холмам. Незримая свинцовая оса впиалась волку в ляжку и прожгла ее насквозь. Впервые в жизни Серый Лютый подал голос. Яростно взвизгнув, он куснул себя в ляжку и полетел через голову кувырком, чего с ним тоже до тех пор не случалось.

Вскочив, Серый Лютый на трех ногах ошалело покатил прочь от ревавшего верблюда. Озябшие человечьи руки не успели перезарядить ружье — волк скрылся в лощине. Длинная нитка ярко-красных капель протянулась вдоль его трехлапого следа.

Кое-как Серый Лютый доскакал до большого оврага у Черного Холма и повалился на снег. Пробитая пулей ляжка горела, точно опаленная головешкой из костра. Волк сталлизывать рану снаружи и со стороны паха, ежеминутно вздрагивая и испуганно настораживая уши.

Стая ушла, теперь ее не вернешь в эти края. И хорошо, что она далеко и что молодые волки не понюхали его свежей крови, не видели его лежащим на красном снегу, — вот когда бы они с ним сквитались!

Не слышно было и погони. Станный верблюд не пошел по следу, но Серый Лютый боялся иного. Он ждал за собой собачьего лая и топота коней.

А люди замешкались, не сразу собрали свору. Собаки не шли из аула — они чуяли приближение леденящей затажной метели.

Мороз не ослабевал, а ветер усилился. Застонала степь. И повисли над степными просторами снежные хвосты от земли до неба.

Серый Лютый медленно поднялся. Оглядываясь, боком, на трех лапах, изредка судорожно подрыгивая четвертой, он поскакал к камышовым чащобам, на соленые озера.

Трое суток без передышки гудел стоголосый степной буран, и день не отличить было от ночи. Трое суток не высывался Серый Лютый из занесенных снегом камышей. Закопался в сугроб, уткнулся носом в хвост, и кровь не застыла в его жилах, грела лучше, чем очаг юрты.

Отощал серый, ослаб, но рана у него в паху, рвавшая, косая, затянулась, запеклась.

На четвертую ночь он выбрался из-под снега и, сильно прихрамывая, пошел в степь. На ходу размялся, хромота стала менее заметна, но боль не ослабевала.

Целую неделю он голодал. Искал падаль — не нашел. Лишь к концу недели повезло: наткнулся он на оставшую от табуна кобылу со стригуном, загрыз стригуна, лег рядом и жрал его всю ночь напролет, не отрываясь. Рыгал и жрал, рыгал и жрал, подбирая под свое раздувшееся брюхо затекавшую на морозе раненую лапу.

Прошла еще неделя. Ляжка у волка поджила и ныла реже. Он стал бегать резвее и осмелел. Его потянуло к Черному Холму.

К вечеру он подошел к аулу, в котором вырос, и стал на гребне холма с вздыбленной от ушей до хвоста шерстью. Верблюда в ауле не видно. И собак не слышно — они с отарами и табунами в степи. Серый Лютый пустился рыскать по знакомым местам и тропам, поставив против ветра влажный нос.

Издадека слабо и сладко пахнуло овцами. Серый Лютый сморщил губу. На горизонте, в желтоватом свете зари, маячила высокая фигура всадника. Маленький гурт овец теснился у ног коня. Чабан вел их к загону.

Волк бросился наперерез, прячась за буграми и косогорами. Выскочил, как всегда, стремительно, неожиданно, но чабан сразу же увидел его и вдруг закричал тонким, ребяческим голоском, отчаянным, но властным.

Серый Лютый резко остановился, приседая на хвост и вспахивая лапами снег. На коне сидел мальчик, подросток, с длинной, не по руке, пастушьей дубинкой.

Мальчик!.. Волк не боялся его.

Злобно ощерясь, Серый Лютый метнулся вбок, чтобы обойти маленького пастуха, и подобрался к жалобно блеющим и наседающим друг на друга овцам. Это блеяние, толкотня горячили волка. Перед ним была легкая и жирная добыча, мягкие кости, обильная кровь. Но мальчик изо всех сил забил коня пятками в бока, поднял над

головой тяжелую, непослушную дубинку и бесстрашно поскакал прямо на волка.

Серый Лютый опять невольно повернул в сторону от сбившегося в кучу гурта. Мальчик кричал не переставая. И что-то непонятное томило и пугало волка в мальчишечьем крике. Волк бежал, мальчик гнался за ним, не подпуская к овцам. Привстав на стремянах, потрясая дубинкой, он вопил во все горло, захлебываясь:

— ...ок...ерек! ...ок...ерек!

Волк щелкнул клыками и ускорил бег.

Мальчик был ловким наездником и отчаянно понукал послушного коня, бил его дубинкой, но видел, что отстает. Серый Лютый уходил, и мальчик, размахнувшись, швырнул ему вслед дубинку, точно копьё.

Она задела большую ногу волка округленным концом и покатила по обледеневшей земле, подскакивая и звеня. Серый Лютый свирепо схватил ее клыками и мгновенно переломил надвое. Затем повернулся и, прижав уши, сморщив губу, словно улыбаясь свирепой волчьей улыбкой, немо кинулся на мальчика. Прыгнул и рванул его за полу овчинного полушубка. Конь отпрянул в сторону с испуганным ржаньем, а мальчик вылетел из седла и ударился оземь, о наледь, облепленную пушистым снегом, спиной и затылком, так что шапка слетела с его головы и покатила по белому откосу.

Последнее, что видел мальчик, было знакомое ему волчье ухо, надорванное у виска в драке с собаками в дни, когда серый жил еще в ауле.

Мальчик был уже мертв, когда волк вихрем пронесся над ним и с ходу распорол ему изогнутым клыком щеку.

Ночью труп мальчика подобрали, унесли в аул и положили у очага в юрте.

Старая бабушка села у него в ногах.

— Жеребеночек мой,— приговаривала бабушка,— жеребеночек мой!..

И высохшие ее подслеповатые глаза не могли источить желанную слезу.

Тогда пришел черед охотника Хасена, знаменитого в тех краях, и его рыжевато-белой борзой.

Своего пса Хасен выменял в Семипалатинске на коня. На лбу у пса белела маленькая пролысинка с четырьмя

соразмерными лучиками, и оттого хозяин называл его Белозвездный — Аккаска.

Об Аккаске ходила громкая молва, все знали его, и иные считали, что он происходит от легендарной, воспеваемой в песнях собаки батыра Богамбая из рода канжыгалы.

Пес был кровный, гордый и вспыльчивый. При кормежке мясо брал с рычанием. На стоянках Хасен сажал его на цепь, пес подпускал к себе одного хозяина. Безродные аульные собаки сторонились Аккаска и облаивали его издали. Аккаска их не замечал, позевывая лениво, часами лежал на брюхе пластом, положив длинную морду на длинные лапы, и лишь на охоте загорался, легко обгонял любого коня и лаял гулко, жутко. Глаза у него светились, как у волка, но не зеленым, а красноватым огнем, точно горячие угли.

Несколько суток Хасен прожил с табунщиками, изучая повадки Серого Лютого, расспрашивая о нем. Мужчины ночевали в шалашах. И все ночи напролет у костров не утихали горячие споры об одиноком волке, убившем Курмаша. Но Хасен не услышал ничего нового, неожиданного для себя.

Говорили, что волк — бешеный. Говорили, что это вовсе и не волк, а гиена. Недаром он так немисливо прожорлив. Хасен не верил басням.

— Это волк, — говорил он. — А волка сеном не накормишь!

Табунщики бранились, грозились:

— Эх, попадись он нам в руки!..

Хасен посмеивался:

— Что сделаете? Шкуру сдерете?

И только горькие слова отца Курмаша больно заделали Хасена. На могиле сына он сказал охотнику:

— Ты малый бывалый... смелый, упорный... Правда, нелегко взять оборотня. Но если ты не прикончишь его, знай — ты не родич мне и не джигит, никому ты не нужен, и собаке твоей грош цена. Тогда не показывайся нам на глаза.

Хасен решил собрать табунщиков на облаву — иначе не справиться. Их не пришлось уговаривать...

На рассвете, перед облавой, Хасен не дал своему псу мяса; поставил перед его мордой миску с похлебкой из мелко крошеного сухого овечьего сыра. Аккаска бы-

стро поел и не спускал с хозяина глаз. Умный пес понимал: будет большая, важная охота, опасный гон.

— Ну, Аккаска, — сказал Хасен, трепля пса за ухо, — или ты его, или он тебя, иначе не разойдемся. Сынок Курмаш мертвый пойдет с нами третьим...

Аккаска внимательно смотрел хозяину в глаза, нетерпеливо помахивая рыжим хвостом.

Вышли в степь, и Хасен спустил пса со сворки, чтобы тот размял ноги, разогрел грудь. Аккаска громадными прыжками помчался по синеватым в утренних сумерках снегам.

Хасен разделил людей на несколько групп и разослал в разные стороны, а сам поднялся с Аккаской на каменистую вершину одинокого, открытого всем ветрам холма. Охотники разобрали аульных собак и ускакали. Хасен разостлал меж острых камней плотную кошму, уложил на нее Аккаску и лег рядом на снег, придерживая пса за ошейник.

Аккаска лежал под рукой хозяина спокойно, лишь уши непрерывно ворочались из стороны в сторону, как флюгера. Отовсюду глухо доносились крикливые голоса, ералашный собачий лай, растрепанный ветром.

Вдруг Аккаска поднялся на передних лапах, не подчиняясь руке Хасена, настороженно вглядываясь в сторону тихой лощины. Теперь пес походил на беркута, высматривающего со скалы добычу. Но долго еще в лощине было пусто и голо, а крики людей и лай собак, казалось, отдалялись. Вряд ли загонщики видели волка — серый шел в их многоверстном кольце невидимкой. Аккаска непривычно сторбился, опустил морду. Уж не отвлекла ли его лежка зайца? Борзая любит ходить за косым.

Нет. Не ошибся Аккаска. Волк внезапно, неслышно показался там, где его ждал пес, — в тихой, пустынной, заснеженной лощине. Вот он, хитрец! Тут сугробы сыпучие, зыбкие — целина. По свежему следу конь не пройдет, увязнет по брюхо.

Волк бежал рысью, ходко, но неторопливо, осмотрительно, и Хасен с минутным сомнением прикусил губу, косясь на пса. Серый был во всей силе и издали напоминал чалого стригуна с волчьей мордой. Ни дать ни взять оборотень!

Волк шел с надветренной стороны и не чуял охотника и борзую. Но Хасен не надеялся, что зверь подойдет на прицельный выстрел, и спустил пса, сказав: «Да-

вай... Держи!» — а сам побежал к коню, привязанному за скалой.

Серый Лютый сразу, с первого же взгляда оценил статью и силу рыже-белой борзой. От нее не убежать. Собака летела на него с холма с гулким, бухающим ревом, она была поджара и вдвое рослее черно-пегого кобеля. Позади нее, меж камней, точно меж верблюжьих горбов, мелькнул с черной гладкой палкой человек. Кругом облава. Скорей!

Пес и волк столкнулись на снежном откосе, и пес с разгону сшиб волка с ног, но и сам покатился, не устояв. Оба вскочили, сцепились клыками и разошлись с окровавленными пастьями, хрипло дыша. Нашла коса на камень...

Несколько раз Серый Лютый кидался на пса и встречал тяжкий, меткий удар клыками. Все же волк извернулся, сумел стать выше пса по косогору и ухватил его пониже уха, как в начале зимы вожака стаи, но Аккаска не согнулся, сильно тряхнул волка и вырвался, оставив в его зубах шматок своей рыжей шерсти и кожи. Серый Лютый понял, что эта схватка скоро не кончится. А с холма уже неся галопом всадник, азартно крича:

— Держи, держи, милый! А-аккаска-а!

Серый Лютый коротко взвизгнул и пошел напролом.

Пес и волк опять сшиблись клыками так, что искры засверкали бы, если бы было темно. И тут Аккаска, не оберегаясь, а помня только то, что кричал человек, сунул нос прямо в волчью пасть и намертво схватил зверя за нижнюю челюсть.

Теперь их было не расцепить: пес грыз волчью челюсть, а тот — его, и ни один не мог повалить другого.

Подскакал Хасен. Лошадь плясала под ним, встав на дыбы. И руки у Хасена плясали. Он бросил ружье, выпрыгнул из седла и тоже, не думая о себе, повалился всем телом на каменно-твердую спину волка. Сунул ему под лопатку широкий нож.

Аккаска высвободил из судорожно ощеренной волчьей пасти изодранную морду и отошел. Постоял-постоял и упал на грудь. Против него лежал на боку Серый Лютый.

Стали подъезжать охотники, и один из них ткнул кнутовищем в зубы волку, размыкая его черно-красную пасть, и все поразились тому, как она велика.

— Дьявол!.. — сказал один, отходя.

— Коксерек! — сказал Хасен, бережно осматривая раны Аккаски.

Волчью тушу привезли в аул, бросили у юрты Курмаша, и здесь старая бабушка опознала Серого Лютого, как и Курмаш, по надорванному уху.

— Коксерек! — вскрикнула старая бабушка, заламывая руки. — Трижды проклятый... Где же твоя совесть? Кровопиец!

И слабой ногой она пнула волка в оскаленную пасть.

ТРИ ДНЯ

1

С тех пор немало воды утекло...

Кольбай был не в духе. Битый час сидел он, склонившись над очагом, и дул изо всех сил, пытаясь разжечь огонь. Сырые кизяки тлели, и трехстворчатая прокопченная кибитка кузнеца медленно наполнялась дымом. После вчерашнего проливного дождя в доме и нитки сухой не осталось. Сколько уже дней пытается он привезти из оврага давно нарубленную таволгу, но разве выпросишь подводу у бая?.. Раздраженный Кольбай ложится у очага, снова и снова дует на кизяки. От горького дыма дерет в горле, из глаз неудержимо катятся слезы. Но огня, как назло, нет как нет.

— Эх, жизнь собачья! — Кольбай в сердцах отшвырнул ручные кузнечные мехи, взял из очага несколько кусков кизяка и, отвернувшись от удушливого сизого дыма, стал крошить их пальцами.

— И эта напасть, оказывается, все еще тут валяется! — Он с досадой отвел взгляд от двери, где лежал дырявый казан, присланный на заре из байской юрты. Кольбаю было приказано починить его и принести хозяину до обеда.

— За все лето и ломаного гроша заработать не дал! Каждый божий день находит работу то у себя, то у родственников. Ну почему я должен делать все задарма? — спросил Кольбай сам себя и надолго задумался. — Видно потому, что живу рядом с ним. От бая никуда не денешься...

— О аллах, ведь это же издевательство! Сегодня дырявый казан, вчера девятидесятилетней давности стремя со сломанным упором, а там арба с перегретой осью, — вор-

чал Кольбай, не в силах остановиться. — Дегтя, видите ли, пожалели, за все лето ни разу не смазали колеса. А трухлявый сундук с сорванными петлями, со сломанным замком? Правда, когда-то он открывался с певучим звоном, но когда это было? Сорок лет назад вместе с байбише пришел этот сундук в байский дом...

— Что за нескончаемая рухлядь? — сокрушенно вздохнул Кольбай. — Кончится ли она когда-нибудь? И хоть бы материала давали на обшивку или жести на заплату, так нет же — ни тебе инструмента, ни ржавого гвоздя. Находи все сам, не спи ночами, мучайся. И все это за то, что бай дает тягло при откочевках. «Без меня ты бы по миру пошел. Ни разу не оставил тебя без помощи. Все лето таскал за собой, кормил». Кормил... Одна-единственная чашка кумыса в день да ложка супа, требуха, когда для байского гостя овцу заколют...

Сырые кизяки не загораются, сколько он ни крошит их. Хотя тундук откинут, дым не выходит наружу, вьется неторопливыми синими космами, опускается ниже, все плотнее окутывая его. А Кольбай и не замечает, что становится трудно дышать... Вечная копоть и объедки... Вся его жизнь, все его труды и стремления вдруг представились ему похожими на это еле заметное тление очага. И показалось, что не едкий дым, а горькая жизнь выдавливает из глаз слезы и душит, не удручающие тяжелые мысли, а трудности жизни гнетут и клонят его молодое крепкое тело... Кольбай горько усмехнулся, бросил кизяки, поднял голову. Неся вскипевший чайник, покрытый толстым слоем сажи, вошла его жена Жамал. На плечах еще совсем юной женщины ее единственный наряд — до дыр изношенное платье. Через прорехи на плече и на боку проглядывает худое смуглое тело. Кольбай печально и долго смотрит на изможденное хмурое лицо Жамал.

— Те двое, твои родичи, опять ругаются у коновязи, — с досадой сказала она, присев у очага. Взяв щипцы, быстро засыпала золой дымящиеся кизяки. — Чтоб тебе пусто было, в этом угаре и чаю спокойно не попьешь! И чего они не могут поделить? — продолжала она, устанавливая чайник на головешки. — В угоду баю грызутся между собой... Хоть бы за что-нибудь свое, а то...

— Что еще там? — недовольно буркнул Кольбай.

— Талпак увидел, что лошади сгрудились у колодца, и кричит Сарыаузу: «Почему не напоишь? Тебя это не ка-

састся?» Тот огрызнулся: «А у тебя что, живот болит, не можешь? Видишь, я кобыл привязываю!» Разве они могут разговаривать как люди? Изругали друг друга на чем свет стоит, а теперь, наверное, уже дерутся...

— А бай что?

— Глядит на них и смеется...

Жамал расстелила небольшой полосатый мешочек, служивший дастарханом, бросила на него несколько кусочков курта и стала разливать чай.

— Значит, опять натравил? Подзадоривает небось: «Ты сильный, ты непреклонный, ты непобедимый?..»

— И не говори! — с готовностью подхватила Жамал. — С утра до вечера только и забавляется ими, а тем и невдомек. Ведь кто они? Талпак — табунщик, Сарыауз, сам знаешь, приставлен помогать дояркам, за кобылами смотреть, а бай величает одного батыром, другого не иначе как силачом. Каждый день ссора, родичи называются...

— Проклятье на ваши головы! — не выдержал Кольбай. — Надоели до смерти! Подождите, я отобью у вас охоту драться!.. На всю жизнь запомните!..

Кольбай все еще грозился, когда в кибитку вошел Талпак. Он был взбешен, дышал тяжело. Жамал встревожено оглянулась на мужа и застыла от удивления: Кольбай, улыбаясь, торопливо готовил Талпаку место.

— Э, Талпак! Дорогой батыр! Пришел? Проходи на торь!.. — От его недавнего хмурого настроения, казалось, не осталось и следа. В одно мгновение Кольбай превратился в радушного хозяина.

Талпак был удивлен еще больше. Это был парень в расцвете сил, великолепно сложенный, но туповатый. Двумя широкими шагами прошел он на почетное место. Сел, огляделся вокруг. Родич встречал его сегодня необычно. Расспрашивая о здоровье, суетливо ухаживал за ним: пододвинул дастархан ближе, подал чашку с дымящимся чаем. Это внимание придало Талпаку уверенности. Всегда молчаливый и независимый, Кольбай слыл среди родичей человеком себе на уме, далеко не простым. К тому же ремесло кузнеца — редкое в степи, а Кольбай был известен как искусный мастер. И если он так радушно встретил гостя и выказывает ему свое уважение, значит, есть за что! Талпак и вправду возмнил себя высоким гостем. Подбоченился, стал даже посматривать на Жамал свысока.

— Чтоб и детям твоим, и внукам... — раздалась в это время снаружи непристойная брань Сарыауза. Ругался он без особого азарта, хотя и во все горло, — видно, шел один. Голос приближался. Сарыауз как будто тоже направлялся к дому кузнеца.

Кольбай замолчал, наморщил лоб, посерьезнел и, наклонив голову, краем глаза стал следить за Талпаком. Услышав Сарыауза, тот сначала беспокойно заерзал на месте, потом гордо выпрямился, уселся плотнее и громко прокашлялся, как бы предупреждая соперника: я, мол, здесь.

Сарыауз уже подошел к кибитке, когда Кольбай неожиданно и громко воскликнул:

— Да!.. Говорят, они сегодня повздорили, не дай бог, схлестнутся опять.

Этого было достаточно, чтобы огромный Сарыауз, не долго думая, вломился в двери. Но слова Кольбая подхлестнули и Талпака.

— Эй, мать твою... — яростно встретил он соперника. — Как ты смеешь лезть в дом, где сижу я!

— Ах, туда твоих предков... — не остался в долгу Сарыауз. — Святой ты, что ли, что сюда и входить даже нельзя? — И он злобно уставился на Талпака.

Кольбай глянул на одного, на другого и сокрушенно покачал головой:

— Эх, говорил же я, — подерутся...

— Ты кому это угрожаешь? — Талпак стал подниматься на ноги.

До драки было уже недалеко, и Кольбай, не давая им опомниться, ткнул жену в бок.

— Эй, жена, собирай свои чашки! Не видишь, мешаются под ногами? — и, быстро отодвинув в сторону посуду и еду, приготовил родичам небольшое поле брани.

Соперники бросились друг на друга.

— Ишь какие силачи, разве таких разнимешь! Да еще сам, как на грех, обезножел, — шага сделать не могу. — Кольбай, виновато кряхтя, проковылял к выходу, с трудом взобрался на старенький деревянный сундук с короткими ножками и уселся на нем с видом постороннего зрителя.

Жамал, которая до самой драки сидела молча, ничего не понимая, подняла отчаянный визг.

А Талпак и Сарыауз изо всех сил тузили друг друга кулаками, — они то отскакивали в стороны, то

яростно сходились вновь, словно вырвавшиеся на волю бараны.

Кольбай, невозмутимо любуясь зрелищем, потянул жену за рукав.

— В нашем ауле разнять их никто не сможет. Сбегай в соседний аул, приведи длинноногого Мусу. Да поворачивайся быстрее! — прикрикнул он в ответ на недоуменный взгляд жены. — Думаешь, они сами разойдутся? Никогда! А от меня, сама видишь, никакого толку, и так ело спжу...

Отослав жену, Кольбай вынул из кармана табакерку, неторопливо отправил за обе щеки по щепотке табаку. Звучно и длинно сплюнул сквозь зубы и стал снова спокойно наблюдать за парнями, как будто они не дрались, а затеяли легкую безобидную игру. Время шло. Соперники молча колотили друг друга, тишина нарушалась только тяжелым дыханием и топотом ног дерущихся. Силы у них были равны, никто никого не мог одолеть, и, чуть погодя, они пачали уже просто толкаться, норовя ухватить один другого за воротник. В тесной кибитке все было перевернуто вверх дном. Кольбай оберегал только чашки — единственную ценность в доме. Больше он ничего не жалел, и лежащий у дверей байский казан тоже.

Между тем обессилевшие драчуны стали исподтишка оглядываться на Кольбая. Воротники у них были изорваны в клочья, глаза заплыли, посоловели, на исцарапанных скулах выступила кровь. Явно наступил момент, когда обычные драки подходят к концу. Стоило Кольбаю промолвить: «Хватит», — чтобы ребята остановились, но он, видно, решил иначе.

— Ба! А говорили, что ты батыр! — как ни в чем не бывало отвечал он на красноречивый взгляд изнемогающего Талпака.

Умоляюще оглядывался другой.

— И это все, на что способен непобедимый? — тотчас следовала «поддержка». — А рассказывали про тебя повесть что...

Конечно, после таких слов соперники снова поднимали возню, неуклюже и слабо тыкая кулаками в воздух. Но хватало их теперь ненадолго. Прошло еще с полчаса... Казалось, Кольбаю и самому надоела собственная затея. Он сидел опустив голову, словно размышляя о чем-то. А измученные Талпак и Сарыауз уже не сводили с него глаз. Кольбай же лишь изредка окидывал их хмурым

взглядом, и тогда крылья его поздрей начинали трепетать, он беззвучно смеялся.

Наконец вернулась запыхавшаяся Жамал.

— Мусы дома нету, будь он неладен!

Талпак и Сарыауз стояли посреди юрты, вяло упираясь друг в друга. Когда вошла Жамал, они все же не ударили лицом в грязь, еще разок взмахнули кулаками. Если бы Жамал знала, как они ждали сейчас Мусу...

— Ах, да, верно. Он ведь в город поехал, — спокойно откликнулся Кольбай. Мусу, за которым он посылал жену, сам же Кольбай вчера проводил в дорогу.

Тяжелый горький вздох вырвался у обоих драчунов.

Давно не обращавший на них внимания, Кольбай проворно спрыгнул с сундука и, подойдя к ним вплотную, резко бросил:

— Ну, теперь хватит! Кончайте!..

Талпак и Сарыауз не заставили его повторять.

— Мразь проклятая! — Лицо кузнеца пылало от гнева и долго сдерживаемого негодования. Даже Жамал видела Кольбая таким впервые. Глаза его так и впились в растерянные лица парней. — Вознеслись до небес, и есть от чего: байскими сторожевыми псами заделались. Вы когда-нибудь пад своею жизнью задумывались? Чье богатство, чей покой охраняете? Кому это нужно?.. Хозяева смеются над вами, издеваются, а вы и рады! Уходите отсюда!..

И Кольбай стал выгонять родичей из дома.

Измученные парни не выдержали, заплакали от стыда. Глядя на них, прослезилась и Жамал. Талпак и Сарыауз давно ушли, а она все еще не могла успокоиться, не могла понять мужа. Прибирая разгромленную во время драки кибитку, она спросила сквозь слезы:

— Что с тобой сегодня? С чего ты это все затеял?..

— Темные мы еще... — ответил Кольбай глухим голосом. — Блуждаем в потемках...

Он уже тащил к очагу кузнечные мехи, собираясь приступить за работу.

2

И после этого также утекло немало воды...

Тысяча девятьсот двадцать первый год. Кольбай, Талпак и Сарыауз втроем возвращались с областного съезда союза «Косшы». По всему было видно, что в их жизни произошли большие перемены. Под седлами у них уже не

слабосильные клячи, которые еле поги переставляют, а ладные крепкие рабочие кони. Да и одеты всадники не в прежнюю рвань.

За плечом Талпака старая почерневшая берданка. Она не стреляет, но Талпак не расстается с ней, ему кажется, что с ружьем он выглядит внушительнее. В эти дни оба — и Талпак и Сарыауз — совсем лишились покоя. Уж очень большой перед ними выбор, глаза разбегаются...

— Вот возьму и милиционером стану.

— Посыльным в волисполкоме лучше!

— А может, прямо в помощники судьи или следователя махнуть? — похвалялись они друг перед другом.

Кольбай, прочно обосновавшийся в союзе, смотрел на них с огорчением.

Давно им не приходилось собираться вместе, и Талпак с Сарыаузом решили, видимо, показать себя перед Кольбаем в этой поездке. Они многозначительно переглянулись между собой, словно о чем-то договариваясь.

— У Студеного ключа, — небрежно заметил Талпак, — паходится аул бая Жамана. Давайте остановимся у него, передохнем...

— Верно, пусть Кольбай на нашу теперешнюю жизнь посмотрит, — добавил Сарыауз. Нетерпеливо заерзав в седле, он словно подталкивал своего коня. — Айда, поехали! — И он решительно дернул поводья, подхлестнув своего гнедка.

— А вам все еще мало? — уронил Кольбай с безразличным видом. — Не пора ли кончать обивать байские пороги?

— Как это — обивать пороги? — вскинулся Талпак. — Как эти твои слова понимать?

— Обивать пороги — теперь баям черед. Оставим им это дело. А мы ничего не потеряем, если остановимся у Жамана, — возбужденно подхватил Сарыауз.

Возможность свободно ночевать и угощаться в байских юртах представлялась Талпаку и Сарыаузу признаком независимости, равноправия и даже неким возмездием за былые лишения. И пользовались они этими своими правами при каждом удобном случае.

Сегодня они решили показать свое новое положение и Кольбаю.

Кольбай слушал не перебивая, опустив голову, как делал всегда, когда не хотел спорить или считал, что возражать бесполезно. Со стороны можно было подумать, что

он внимательно рассматривает щетки на ногах своего коня, а ноздри у него так и дрожали от беззвучного смеха.

— Да нет, я просто... — ответил он на недоуменный взгляд Талпака. — Хотел сказать, что надо бы вообще отмежеваться от баев.

Слова его, конечно, пролетели мимо ушей Талпака.

— Что, хочешь запретить нам сводить с ними сче-ты? — закричал тот, распаляясь. — Забыл, как они измы-вались над нами?

Сарыауз тоже сдвинул брови, и, пригнувшись, испод-лобья, пристально глянул на Кольбая, будто спрашивая: «Уж не собираешься ли ты защищать баев?» Его массив-ные плечи приподнялись настороженно, словно у волка, заметившего охотника.

Кольбай не спешил с ответом.

— Значит, рассчитывать с баями будем таким спо-собом... Гм... Ну что ж, посмотрим, — промолвил он через некоторое время, глядя куда-то в сторону.

Солнце перевалило за полдень. Стояла жара.

На огне в старом казане варилось мясо. Три бывших батрака Жамана, вдоволь напившись кумыса, успели уже и основательно почаевничать. Кольбай, почти не прини-мавший участия в беседе, после чая и вовсе замолчал. Вскоре он прилег, отвернулся к стенке и, свернувшись калачиком, притих. Талпака и Сарыауза по старой при-вычке потянуло к коновязи и к колодцам.

Бай пошел с ними, сопровождая их, словно почет-ных гостей. Угодливость и страх чувствовались сейчас в его словах. Слишком подробно отвечал он на вопросы, по-добострастно двигал бровями, рассказывая о заботах и трудностях своего хозяйства. И о чем бы ни говорил, неизменно кончал одним и тем же:

— Родичи мы, предки у нас одни... Вы стали боль-шими людьми, слава аллаху... рад за вас...

Кольбай лежал, пока не услышал голос байбише:

— Мясо сварилось, пора снимать котел с огня. Зовите гостей, — распорядилась она, входя в юрту.

Кто-то побежал к колодцам.

Кольбай приподнял голову, огляделся. Женщины вно-сили казан.

— Байбише! Это угощение вы приготовили нам? — спросил Кольбай.

— Милый, да кому же еще? — удивилась старуха. — Конечно, вам.

— Тогда позвольте сегодня мне и гостей рассаживать. — Кольбай, улыбаясь, вскочил на ноги.

Удивленная байбише согласилась.

Кольбай так и забегал по юрте. Еще совсем недавно молчаливый и недовольный, он стал неузнаваемым.

Бешбармак был уже приготовлен в двух больших деревянных чашах, когда Сарыауз, Талпак и Жаман вернулись домой и просто опешили, увидев, как сияющий Кольбай на цыпочках носился по юрте, что-то переставлял с места на место, что-то перестилал, словно готовясь к радостной встрече долгожданных гостей.

— Проходите, проходите!.. Проходите на торь, дорогие гости! — пригласил он вошедших.

Но торь выглядел удручающе. Там вместо богатого ковра и шелковых одеял лежали пестрая от дыр кошомка, старый закоптелый тундук да облезлая воловья шкура. Ковер же и одеяла перекинулись к порогу и переливались цветами, с правой стороны от входа, куда обычно садятся бедные родичи, самые захудалые гости.

— Сегодня пусть будет день нашей мести, джигиты! — торжественно провозгласил Кольбай, обращаясь к замешкавшимся у порога Талпаку и Сарыаузу. — Проходите же!.. — и сам прошел вместе с ними.

— Раз сводить счеты, так уж как следует. Эй, хозяйева! Вы отсидели свое на торе, садитесь теперь у дверей... А мы, прогневившие у вашего порога, посидим на почетном месте!..

Все присмирели и послушно выполняли указания Кольбая, с недоумением ожидая, что будет дальше. Байбише, опустившись на одеяла, беззвучно зашамкала губами. Талпаку и Сарыаузу попросту не хватило времени для размышления: все происходило слишком быстро для них. Сбитые с толку, они сели рядом с Кольбаем.

— Несчастливая кошомка и облезлая шкура, вот и вы добрались до красного угла, — весело заметил Кольбай, устраиваясь поудобнее.

— Голова барана, вырезка, все лучшие куски пусть останутся у входа, — продолжал он. — Хватит! Я покажу им, как красоваться перед гостями!.. Подайте нам сюда блюдо с костями, требухой, легкими, селезенкой...

Получив одно из заранее приготовленных им самим глубоких блюд, Кольбай поставил его перед своими спутниками и стал ровно нарезать мясо, не забывая отпра-

лять себе в рот кусок за куском. Проголодавшиеся Талпак и Сарыауз тоже потянулись к еде.

— И ты рассчитывайся с баем, тонкая кишка. Никогда ты не оказывалась так высоко в этой юрте. — Уплетая за обе щеки жирную толстую кишку, Кольбай свертывал клубками горькую тонкую кишку и потчевал ею «почетных гостей».

Растерянные Талпак и Сарыауз ели молча, не зная, сердиться им на Кольбая или смеяться. Слушая его слова, они то краснели до корней волос, то бледнели. Но блюдо перед ними опорожнялось быстро.

— Сидеть в доме бая на почетном месте еще не значит мстить ему за прошлые обиды. Смешаем порог с торем, так, друзья?

Джигитам эти слова были знакомы. Кольбай говорил их вчера, выступая на съезде бедноты. И сейчас он произнес их со спокойной рассудительностью, словно бы подавая Талпаку и Сарыаузу добрый совет. Они снова пытливо посмотрели на Кольбая. Нет, на лице его не видно даже подобия усмешки. Жаман и байбише сидели тише воды, ниже травы...

Сели на коней. Аул Жамана остался позади. Помолчав немного, Кольбай обратился к товарищам, ехавшим по обе стороны от него.

— Какая может быть месть, пока у бая все еще целы и дом и богатство... — усмехнулся он. — Какая глупость! Это похоже на победу годами лежавшей у порога шкуры и трубухи, оказавшихся сегодня на торе. Вот так!

Он замолчал и некоторое время ехал, по привычке опустив голову, словно сам размышлял над своими словами. А может, кузнец вспоминал долгие, безрадостные дни своей былой жизни?

— Нет, друзья, уж если сводить счета с баями, так не путем сегодняшних забав, — продолжал он. — Вы поняли? Это должно быть не спором порога и почетного места. Пора выходить на настоящую, дальнюю байгу.

И только теперь рассмеялся Кольбай, окинув спутников довольным взглядом.

Сникшие, словно им налили холодной воды за шиворот, Талпак и Сарыауз обиженно пробормотали:

— Что же ты не дал нам поесть как следует?

— Сколько времени не видели доброго мяса...

— Мы все еще относимся к баям с лаской, слишком терпимо, — ответил Кольбай, не обращая внимания на их слова. — Только глаза продрали, — что поделаешь! Но свет уже разгорается...

Кони неспешной рысью шли к перевалу.

8

А это уже не давнее, наше время. Не вчерашний, а сегодняшний день...

Под вечер помещенные колхозной школы было битком набито. Члены трех соревнующихся бригад явились все до одного. Приняв обязательства еще весной, на общем собрании колхоза, осенью бригады пришли к концу соревнования, как говорится, стремя к стремени. Руководили ими знатные ударники Кольбай, Талпак и Сарыауз.

Собрание, на котором подводили итоги соревнования, превратилось в торжество. Радостная весть, что колхоз занял первое место не только в районе, но и во всей округе, разнеслась еще днем, когда приехали руководители района и многочисленные гости из соседних колхозов. И в низком маленьком зале сейчас царил веселое оживление, люди держались свободно и уверенно, — так бывает, когда одержана большая и трудная победа.

Первым от имени своей бригады говорил Талпак, одним духом отбарабанив свой рапорт.

— Наша бригада уже в сентябре месяце первой выполнила план государственных хлебозаготовок и собрала семенной фонд. У нас не ломался и не выходил из строя ни один агрегат. Транспорт работал бесперебойно. Вся бригада трудилась с большим подъемом: об этом в колхозе знают все. Лучшие из нас выработали по триста трудодней, худшие, если только можно так их назвать, по двести. На сегодня успели обмолотить последнюю из оставшихся после хлебопоставок скирду. Последние мешки зерна уложены в колхозный амбар перед открытием нашего собрания.

Зал одобрительно загудел. Чего же еще: коротко, громко и ясно!

Так же уверенно начал свое выступление и Сарыауз. Он-то уж дал полную волю словам, и пошел и пошел — без единой заминки и сбоя. Приостановился лишь однаж-

ды, чтобы упомянуть о том, что и его бригада управилась с последней скирдой к сегодняшнему собранию.

Но потом Сарыауз поведал о достижении, какого не было у Талпака: бригада применила во время уборки новаторский метод. К приводу двух молотилок впервые «подпрягли» воду, — и с обмолотом управились быстрее, и лошадей освободили.

И тут раздался негромкий голос Кольбая:

— Вот молодец! Хоть бы словом обмолвился, что этот водяной привод для его бригады я сделал.

Колхозники разразились хохотом. Сарыауз поспешно подтвердил слова Кольбая и вежливо поблагодарил его. Главным соперником он, конечно, считал Талпака, и поэтому, не жалея слов одобрения для других, старался превзойти именно его. Кольбай понял это, качнул головой, усмехнулся.

Торжествующий Сарыауз вынул из кармана газету с постановлением окружкома.

— В ноябрьские дни в Москве собираются делегаты лучших колхозов страны. Приедут и представители из-за рубежа... Поскольку мы заняли первое место в округе, то в Москве наверняка будут ударники и из нашего колхоза.

Оживление в зале, одобрительные улыбки руководителей в президиуме придали Сарыаузу еще больше уверенности.

— И если хотите, я скажу совершенно точно: в Москву в этом случае поедет ваш покорный слуга! — самодовольно ударил он себя в грудь и расхохотался вместе со всеми.

Оба бригадира, здоровые, напористые, умеющие к тому же показать себя перед публикой, готовы были, как в старину говорили, гору свернуть.

И тут с невозмутимым видом поднялся Кольбай.

— На нашем току остались еще три скирды, — начал он. — Малость припоздали с обмолотом. Можно сказать, что в этом отношении мы отстали...

— Ну и хватит, — прервал его Талпак. — Что еще дальше объяснять? — и возбужденно посмеиваясь, машинально, словно перед схваткой, засучил рукава.

— Ага, умник, проиграл наконец! — не удержался и Сарыауз. — Сам признаешься?

По залу словно ветерок прошел. Колхозники зашептались, задвигались, кое-где раздалась смешки. Председатель, покачивая головой, что-то разъяснял гостям. Каза-

лось, само собой возникло общее мнение — бригада Кольбая потерпела поражение. Да и скромность, с которой держался бригадир, его негромкий, едва слышный в зале голос как бы подтверждали, что он и сам смирился с поражением. Между тем Кольбай неторопливо рассказывал о работе бригады, о ее трудовых достижениях. Он, конечно, чувствовал настроение зала, но продолжал говорить по-прежнему ровно и тихо. Вся его бригада сидела в левой стороне зала и внимательно, с достоинством слушала. Ободряюще улыбнулась мужу Жамал. Уже готовясь завершить речь, Кольбай оглянулся на своих товарищей и неожиданно улыбнулся.

— Конечно, есть еще у нас недоделки, но вот в одном наша бригада впереди. Пожалуй, только у нас на деле ликвидирована неграмотность, — закончил Кольбай.

Талпак и Сарыауз ринулись в бой одновременно:

— Это мы-то, по-твоему, неграмотные?

— Да мы все газеты и журналы прочитали!

Оба, перебивая друг друга, принялись было выкладывать, что и как они читали, но Кольбай неторопливо прервал их:

— Я говорю не о личной подготовке.

Только сейчас он осторожно повел взглядом в сторону председателя и руководителей района. И эти слова произнес так же спокойно. Лишь от далеко запрятанного смеха вздрогнули крылья его ноздрей, точь-в-точь как в тот далекий день, когда он в доме бая Жамана потчевал Талпака и Сарыауза требухой.

— А-а-а, ты о бригаде говоришь! — протянул Талпак, понижая голос. — Так бы и объяснил сразу.

— О массе, значит... — заметил Сарыауз.

— Да, товарищи, именно о массе! — твердо сказал Кольбай, уже всецело овладевая вниманием зала. — В нашей бригаде грамотные все. Но научились-то мы читать и писать не просто для того, чтобы называться грамотеями. Я говорю о настоящем уровне развития, который позволит овладеть необходимыми знаниями. Все мы тянемся к культуре. А вот что у нас получается, — вопрос! Верно я говорю, товарищи?

— Правильно!

— Все верно, бригадир!.. — поддержали его в зале.

— Мы пришли на собрание прямо с тока. — Кольбай обвел взглядом притихший президиум. — У нас сегодня много гостей. Хотелось бы познакомить их со всей брига-

дой. — Он повернулся в зал. — Товарищи, пройдите сюда да не забудьте захватить книги. — Несколько женщин и около тридцати мужчин, вынимая книги из-за пазухи и из карманов, потянулись к президиуму.

— Покажите-ка ваши книги? Кто что читает? — спросил Кольбай.

— Я решения седьмой конференции, — начал было комсомолец Жакыл, но его перебили:

— Доклад о национальной культуре...

— Читаю поэму «Степь»...

— У меня «Красный конь»...

— А я читаю занятную книжку про Талтанбая, — сообщила, звонко смеясь, Жамал. Годы сильно изменили ее: на смуглое лицо легли морщинки, но была она радостно оживлена.

Неожиданно громкий голос Кольбая покрыл возбужденный говор собрания:

— Надо учить всех! Пусть райком партии уделяет этому побольше внимания. Свет знания... Он должен освещать нам путь к коммунизму!..

Его слова звучали так уверенно, что Жамал подумала: «А ведь боялась я за него напрасно. Просто не может быть, чтобы Кольбай хоть в чем-то уступил Талпаку и Сарыаузу».

Зал встретил призыв Кольбая бурными аплодисментами. Председатель подошел и крепко обнял его.

ИМЯ СВЕКРА

1

— Ты опять, опять за свое?! Пошла вон! Негодница, бесенок этакий! Вот запрю тебя одну в темный сарай...

Макпал хмурит брови, прикидываясь, что сердится. Но грозные слова не идут впрок. И тщетно она трясет кулаками:

— Перестанешь ты, чтоб тебе пусто было! Другие стоят, как люди, тихо-смирно, а тебя черти носят!

Срывающийся голос, гневный взгляд показывают, что Макпал не шутит. Она ждет ответа. Вопрос слишком серьезный.

Но ответа нет. И маловато надежды на то, что он последует. Потому что виновница гнева Макпал и ответчица — маленькая серая козочка. Не может она найти общего языка с хозяйкой. Только что, забравшись в овечью кормушку, истоптала заданный ягням свежий клевер. Нервно вздрагивая хвостиком, она перебирает задними ножками. Вид у нее такой, будто она стремится разобраться в создавшемся положении. Но не успевает Макпал пошевелинуться, как проказница сыплет козий горошек прямо на мордочки ягням.

— Ах ты, горе мое! — Макпал хватает ее поперек живота, тащит из кормушки. — Ругай тебя, не ругай — все одно!

И впрямь, козочка невинно жует клевер, напоминая ребенка, который безмятежно лепечет что-то свое, не обращая внимания на попреки матери.

Макпал ласково сжимает жующую мордочку. Сейчас осень. Козочка рослая, в теле. Да еще с козленком в животе, а так резвится.

— Проказница ты, шалунья! — И улыбается тому, что разговаривает с ней, как с человеком.

В ее маленьком стаде козочка напоминает капризную балованную девчонку среди тихонь сыновей...

Выпустив ее в отдельный загончик в углу сарая, Макпал идет к пестрой корове. Весной этой коровой премировали мужа Макпал, колхозного кузнеца Сарсена.

У пеструхи широкая, как постель, спина. Кровная голландка не жалуется на свою жизнь в казахском хозяйстве. Качнув развесистыми рогами, она тихонько мычит, будто здороваясь, из ее ноздрей валит пар — признак сытости.

Макпал оглаживает ее бока, кладет ей в кормушку охапку сена, думая вслух:

— Смешать бы его с мякиной, — лучше, поди, чем давать врозь. — И оглядывается смущенно: услышат ненароком — засмеют!

Но в душе она не сомневается, что скотина понимает ее речи и нуждается в них. Вон и братишка Жакеп, образованный комсомолец, а приехал из района повидаться, и прежде всего — в хлев: «Пеструха, как дела?» Русские хозяйки из колхоза «Новая жизнь» тоже разговаривают со своими коровами, как с невестками!

Макпал убирает навоз из-под коровы и переходит в овечий загон. Три крупных овцы да три ягненка. Овец Макпал получила на трудодни, а обьягнились они уже здесь.

Корова Сарсена, а овцы Макпал. Чья же козочка? Сарсен хитрит:

— Не будь коровы, где бы ты ее взяла?

Но Макпал себе на уме. Пеструха — корова молочная, об этом весь колхоз знает. А уход чей? Макпал. За лето она собрала два бурдюка масла. Один продала — одежду себе справила. Второй тратила бережно — скопила на козу. Озорница — самая младшая. Кого же еще баловать, коли не ее?

Макпал идет за водой и поит козочку, потом ягнят. Ей знакомо каждое движение любимицы: как она фыркает, когда пьет, как таращит глаза и нацеливается рожками, чтобы боднуть, глядя в воду на свое отражение. И у Макпал становится тепло на сердце.

— Пойду-ка я к Сарсену...

Сарсену стукнуло сорок. Теперь он нужный человек в колхозе, а недавно был мелким кустарем, ходил по аулам со своей маленькой наковальней, набитой на чурку, калил железо на углях из-под казана. Порядочного инструмента не мог собрать. Ножницы для стрижки

овец, простые ножи да игрушечные пожички, которые он дарил байским детям, чтобы задобрить хозяев, — вот и вся его «продукция». Сегодня Сарсен стоит у пылающего горна со своим молодым помощником. Они палаживают уже девятнадцатый плуг. Весной в колхозе было десять плугов. А кузнец собрал еще девять, пу прямо-таки из ничего. Сарсен ремонтировал и жнейки, и косилки. Нужно будет — он и молотилку пустит в ход. Теперь у него под рукой инструмент что надо. Даже бормашину на соседнем заводе купили...

Придя на кузню, Макпал увидела там нового председателя колхоза Асылбека. Это человек дельный, понимающий, всем интересуется.

— Что же, можно братья за сани?

— Зима не за горами. Пора... — отвечает Сарсен. — Саней целых и тех не оставил старый председатель, будь он неладен!

— Значит, опять станем мастерить чего из ничего... Глядишь, и заработаем себе авторитет! — смеется председатель...

— Эту рухлядь всю пустим в дело. Остовы, правда, тяжелы.

— Не беда. Устойчивей сани. У нас, слава богу, быки справные. На то и бык, чтобы возить.

Но Сарсен возражает:

— Бык тоже живой. Его жалеть надо... Полозья — ладно, а остальное облегчим.

Председатель кивает, соглашается, но, видно, не затем он сюда пришел. Подозрительно он поглядывает на Макпал.

— Ну, вот что, слушайте новость! — говорит он наконец. — В районе будет слет передовиков. Нам нужно парадить туда своего человека. Мы с сельсоветом и решили... Вот кого решили послать — Макпал. А ехать надо сегодня, сейчас.

Сердце у Макпал так и захолонуло.

— Кто же будет за скотиной...

Но Сарсен не дает ей договорить:

— Найдется кому присмотреть, не бросим. Об чем толковать! Езжай. Твой труд — твоя заслуга. Тебе и восседать на слете, первой — от всех нас.

— Здорово сказано! Верно... — восклицает Асылбек, обрадованный решимостью Сарсена. — Честь Макпал, честь и семье и всему колхозу.

— А что ж, и поеду, и ничего особенного! — храбрится Макпал, в душе робея. И добавляет упавшим голосом: — Коза ягнятам покою не дает. Не сделаешь ли загородку повыше?

— Сделаю... Давай иди собирайся. — И Сарсен уводит из кузницы и Макпал и председателя.

Асылбек неприметно вздыхает, довольный, что так просто все обошлось. Кузнец не только не противится, а сам снаряжает жену на слет. И даже будто бы напутствует ее, хотя обычно он немногословен:

— Есть у нас скот, ну есть. Доглядим и без тебя. Езжай хоть в область, хоть в Алма-Ату. Обо всем дознайся. А об нас разговору нет. Сыты. В доме вон простокваши полказана. Мы же не лодыри! И государству... и себе заработали. Так, что ли, жена?

— Так, — отвечает Макпал, а про себя соображает: что же это будет? Как же это будет?

2

В районном селе Ванновке веселое оживление. На площади перед райкомом толпится народ. Тут и женщины в высоких, как башни, белых жаулыках, и молодые парни в коротких пиджаках, и пожилые в овчинных шубах и пышных малахаях.

Площадь и прилегающие к ней улицы превратились в своего рода выставку. Колхозные хозяева показывают свое коневодство. Знатоки с пристрастием оценивают лошадей, на которых приехали делегаты. Вон два темно-серых скакуна, они запряжены в телегу, крашенную в ярко-зеленый цвет. Крутые начищенные крупы коней, похожие на опрокинутые чаши, лоснятся. Кони заботливо ухожены и словно обрели вторую молодость. Это выезд богатого колхоза «Возрождение». А вот два темно-рыжих красавца из колхоза «Горный». Застоявшиеся рысаки, вскидывая головами, нетерпеливо перебирают мускулистыми ногами. Ни в беге, ни в стати они никому не уступят.

Парные упряжки, одна другой краше, выстроились вдоль длинной улицы. Кое-где виднеются оседланные кони с подстриженными, как у трехлеток, хвостами.

Время за полдень. Ясная осень. День постепенно угасает над высокими гребнями Алатау. Время открывать

слет. Районные руководители, переговариваясь, входят в клуб.

А зал пуст. И совершенно не готов к встрече гостей.

— Я так и знал! Не зря пришел пораньше. Хоть бы один лозунг!

Секретарь райкома сокрушенно обводит глазами стены. Зал напоминает кибитку неряшливой бабы. Посередине красуется занавеска, какой в юрте обычно завешивают постель. Она считается белой, но белой была когда-то, давно, а сейчас желта от ветхости, копоти и грязи. По углам на ней до сих пор сохранились обрывки аппликаций, обшитых красной ниткой и изображающих бараньи рога.

Стены клуба вопиют о том, что их не касалась рука культурного человека... Рядом с портретами висят листы бумаги, на которых намалеваны вкривь и вкось круги и столбики, — их, очевидно, следует считать диаграммами. Прямо на штукатурке стены крупными корявыми цифрами нацарапаны какие-то бухгалтерские выкладки. Может быть, это уголок начинающего бухгалтера?

— Вы только гляньте: это у него экран. А денежки за кино небось дерет!

Занавеску быстро снимают и свертывают.

В зале несколько длинных скамей — вдалеке от сцены.

— Давайте-ка пододвинем их поближе, — говорит секретарь райкома и хватается за угол скамьи.

Не тут-то было — она прибита к полу. Пусть сцена, если хочет, сама двигается к скамьям... Но руководители — народ молодой и не гордый. Они сами наводят в зале чистоту и порядок. Перед рядами скамеек возникают стулья, тубуретки и стол президиума, покрытый кумачовой скатертью. Кто-то чинит поврежденную электропроводку. Оказывается, в клубе и знать не знали, что здесь будет слет. Заведующий земотделом знал, да заболел.

Толпа делегатов входит в зал. В самой гуще ее плывет большой белый жаулык Макпал, мелькает черный бешмет.

Вытянув шею, Макпал разглядывает собравшихся во все глаза. Интересно, много ли тут женщин? В уголке одна, у окна — две... А за красным столом — сплошь бритые лица мужчин. «Как бабы!» — с легкой неприязнью думает Макпал. Она и раньше встречала таких, но никогда не видела стольких сразу. Она знает, что такими бывают ученые начальники, но ей все-таки немного смешно. Она отворачивается и замечает у дверей еще одну жен-

щину в жаулыке. Женщина издалека улыбается Макпал... Да это же ее младшая сестренка Айша из соседнего аула! И едва успев поздороваться, они всплескивают руками.

— И ты ударница?

— И ты тоже?

Усаживаются рядом и, как положено, по порядку справляются друг у друга о здоровье и делах...

— Отца-то видела?— спрашивает Макпал, показывая вперед. Айша глядит в проход между скамьями и узнает отца на первой скамье с краю. Крепкий седобородый старик скупно, с достоинством, улыбается дочерям, — вот где довелось повстречаться!

— У меня две овцы, корова, тридцать кроликов, — вполголоса рассказывает Айша. — И как вышло: одна овца ранней весной окотилась, а перед уборкой, осенью, — опять. Недавно опять огулялась! Видно, понравилось! Хочет по три раза в год ягниться. Настоящая ударница!

Макпал в удивлении цокает языком. Сестры смеются.

— А старик-то наш, старик! Он колхозный конюх... У него ни один жеребенок не пал, ни одной лошади волк не задрал. Табун, говорят, упитанный. Молодым носы утер.

Незнакомый голос окликает Макпал из-за спины: «Послушайте!» Она оборачивается и видит безбородого джигита с гладким мальчишеским лицом.

— Вы из колхоза «Темп»?

— Да.

— Вас-то мне и нужно! — говорит молодой человек, раскрывая записную книжечку. — Как имя отца?

— О чем отце спрашиваете... о моем или мужнином? — осторожно осведомляется Макпал, еще не чуя беды.

— Вашего мужа, конечно! Как ваша фамилия?

— Отец мужа... — шепчет Макпал, запнувшись и растерянно улыбаясь.

Ее лицо густо заливается краской. Разве порядочная женщина в ауле посмеет назвать имя свекра? Кто же это решил над ней так зло подшутить! Она поднимает голову: Асылбек и председатель аулсовета, улыбаясь, смотрят на нее из первого ряда. Неужели они подослали этого молодца! Ах, так, хорошо! Посмотрим, кто кого смутит... И она громко произносит:

— Отца мужа зовут Келимбет!

Молодой человек, поблагодарив, тотчас отходит к столу, а сестры принимаются болтать, по виду как ни в чем

не бывало. В доме отца до замужества они дружили, как близнецы, и Айша привыкла обо всем спрашивать у старшей сестры, а та все объяснять младшей. Но разговор что-то не клеится. На душе у Макпал беспокойно, не радостно и неприятно после того, как она выговорила имя свекра... Зачем это сделал Асылбек? Такой хороший председатель...

— Наверное, все тут ударники, и те женщины тоже? — шепчет Айша.

— Тут будет своего рода айтыс, — догадывается Макпал. — Интересно, кто победит? Те, кто за столом, главные. Они будут судить... Поняла?

Задребезжал звонок, и гудевший зал затих.

Слет открылся... Безусый молодой человек, давеча подходивший к Макпал, встал и начал читать длинный список. И Макпал послышалось, что он назвал будто бы ее имя и еще какое-то странное прозвище на русский лад — «Келимбетова». Собрание одобрило этот список, из рядов стали подниматься люди и пересаживаться за красный стол. Потом сидевшие там замешкались, принялись искать кого-то между собой и, видимо, не нашли. Асылбек посмотрел в зал и даже вроде бы осердился:

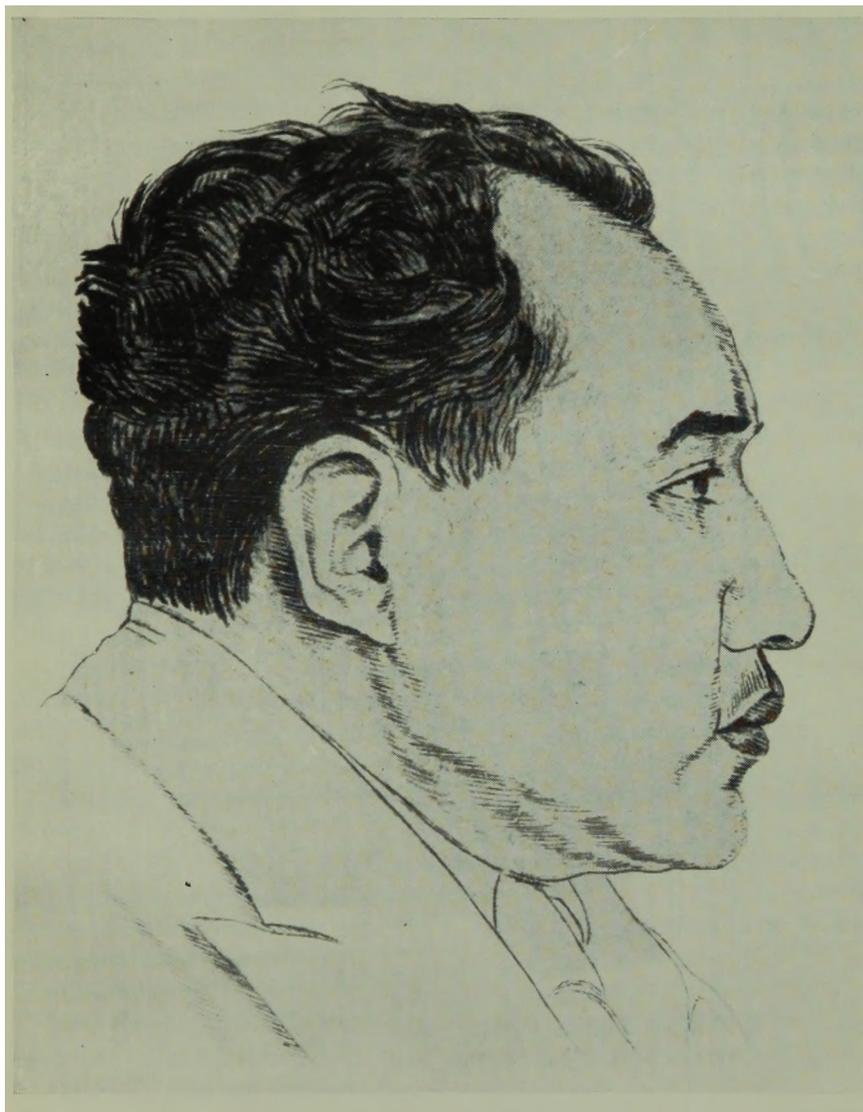
— Макпал, ты что же сидишь? Тебя избрали в президиум, иди!

Тогда она смекнула, что случилось, тихо встала и важно пронесла свой жаулык к красному столу. «Наверное, я впереди других женщин», — подумала она, впервые в жизни садясь на то место, где по чину сидеть бы людям ученым и аксакалам.

3

В маленьком домике с чисто выбеленными стенами, в общей комнате, торжественно именуемой гостиной, Жакип со своей матерью Несибельди и русской девушкой избачкой Настей разбирают книги. Старуха раскрыла сундучок сына, и все трое вытаскивают из него книги, бумаги, тетради.

Жакип раскладывает их на две кучки: в одной то, что еще нужно ему, в другой — матери. Из кипы бумаг он вытаскивает старую членскую книжку аэроклуба и бросает старухе. Переплет приводит ее в восхищение, — она подарит эту красивую книжку кому-нибудь из женщин



М. Ауэзов. *Рисунок художника Г. Брылова. 1942—1943 гг.*

и уже готова положить ее в карман. Но Жакип делает страшные глаза.

— Брось, люди подумают, что ты на старости лет комсомолкой заделалась!

Несибельди пугается:

— Да что ты говоришь?.. Возьми скорей обратно... — и дрожащей рукой протягивает книжку сыну. Жакип и Настя заливаются смехом. Тогда и старуха смеется до слез, сморщив маленькое румяное личико. Они с Настей часто потешаются вместе, как сверстницы. Если в доме веселье — значит, Настя дома, и Жакип спешит к ним, чтобы поболтать и побалагурить.

Они ждут гостей со слета. Там и отец и сестры — Макпал и Айша.

Хлопает дверь, дорогие гости на пороге. Тут и родичи и одноаульцы, друзья. Настя весело и радушно, как своя в доме, встречает их.

— Какая дочь у вас! — говорит она. — Все женщины — в зале, а она одна — в президиуме.

— На почетном месте... моя дочь? — ахает Несибельди, с восхищением и затаенной опаской глядя на Макпал.

— Как же, в самой середке, выше мужчин... — объясняет Жакип, и не сразу поймешь, шутит он или всерьез. — Теперь блюдо с бараньей головой ей подносить!

Вдруг он спрашивает Макпал, потеряв всякое приличие:

— Что, назвала имя свекра? Я думал, ты оробеешь, напутаешь, а ты молодец...

— Ну и назвала, что тут такого? — отзывается Макпал, невольно краснея.

Старуха сердито отмахивается от них.

— Перестаньте! Господи, и что плетут! Назвать имя свекра — такой позор, а вам бы только поскалиться...

Но Жакип не унимается:

— А ты... а ты не называла? Вот раскрою твою страшную тайну деду, будешь знать!

— Когда это я... называла?

— А мой паек получала, вот когда!

И Несибельди внезапно прыскает в кулак.

— Пристали, скажи свою фамилию — и все. Умри, а скажи.

Жакип и Настя хохочут, с ними и старуха.

— Я говорю, как заведено, его домашнее прозвище: Мольмыкан, что значит «Изобильный», а этот продавец, чудак, не понимает.

— Ага... видите, какой непонятливый этот русский. Каждому ясно: не смеет мамаша сказать, что свекор у нее Толымкан, потому и говорит Мольмыкан, а он: говори — или пайка не дам!

— А я все равно не уступила! — торжествует бабушка. — Абишева жена, дай ей бог здоровья, подоспела... она и назвала.

— Вот, Макпал, — строго выговаривает Жакип, — что значит порядочная невестка! Семью оставит без пайка, а имя свекра не выговорит. Так бы и тебе... порадовать руководство... Они — «скажи имя», а ты — молчок! Тут же и записали бы в протокол: «ах, какая благовоспитанная, чинная женщина!»

На этот раз старый Кожык обрывает сына и вставляет свое веское слово главы семьи:

— У нее чине другой чин. Об ней другое записали. А я и там говорил и здесь скажу: на одном приросте поголовья не уедешь. Теперь породу улучшать надо.

— Был бы скот! Будет скот, бог даст, и порода будет! — с набольшим вздохом говорит старуха.

Но Жакип смотрит на нее по-прежнему смешливо.

— Даст он тебе, дожидайся... Всю жизнь богу молилась, а много ли он тебе дал?

Жакип вытаскивает из сундучка потрепанную книжку. Ее страницы испещрены арабской вязью, надо думать — еще гусиным пером. Особо важные места выведены красными чернилами. Раскрыв книжицу, Жакип принимается читать гнусавым голосом, закатывая глаза и покачиваясь, как мулла:

— Когда пасешь овец, будь бдителен, когда загоняешь, пересчитай! Когда катаешь кошму, благодари господу бога твоего. Когда поишь скот водой, не жадничай, когда солишь, не пересаливай.

— Да это же божественная книга, — замечают гости постарше. — Священное писание.

Жакип доволен, что книжица опознана. И весело кричит:

— До чего же силен наш божественный агроном! Слушайте, чему учит: верблюдов разводить нужно! Без него не знали... Спросите: как? А вот как: с молитвою.

И с благодарностью богу в лице его священнослужителя, ясно? Хочешь верблюда — отдай мулле овцу. Вон, оказывается, почему у тебя, мамаша, столько верблюдов!

Жакип, ухмыляясь, смотрит на мать. Но Несибельди слушает чтение с благоговейным вниманием. И Макпал не выдерживает:

— Будет, мать! И зачем ты эту книгу держишь?

— Как зачем? — возмущается Жакип. — У человека, который не знает Священного писания, не читал его и даже в руках не держал, скот, заработанный честным трудом, будет поганый, как свинья. А настанет свету конец, сам он почернеет. Попробуй-ка не держи — враз и почернеешь, не дожив до всемирного потопа!

Все, кроме примолкшей Несибельди, смеются.

— Припрячь, припрячь, мать, в сундук на случай всемирного потопа, — советует старый Кожык.

— Это хитрый мулла писал.

Теперь и Несибельди позволяет себе улыбнуться. И все же она упорствует:

— Нет, не скажи, тут много хороших молитв: «Шорам ислам», например, или «Актаяк». Бывало, читаешь, душа дрожит.

— Еще бы! Особенно в тринадцать лет да после долгого поста! — вспоминает Жакип «счастливые» времена «Актаяка».

— Будь она проклята, эта молитва! — добавляет Макпал, тоже не забывшая радостей благочестия. — Как там сказано: «Кто не постится, того повесят; кто не молится, тому язык отрежут». Ну и мудрость...

— У русских — поп, у казахов — мулла, все один черт! — говорит Настя, по обыкновению заключая спор.

И Несибельди добродушно отмечает:

— Всегда она меня так воспитывает.

Настя — крепкая девица. Родня у нее в Киргизии, где-то около Каракола. Живет Настя в доме Несибельди. И старая Несибельди часто говорит с ее голоса: что Настя расскажет, старуха внушает другим женщинам. И дабы не было сомнений, нет-нет да и всплакнет:

— Мать с отцом у бедняжечки всю жизнь на богатеев спину гнули. Детишек в семье шестеро было — все батрачили. Настя наша казахов не сторонится. Придет, бывало, ночью домой, перемерзнет в поездке, идет ко мне под одеяло греться, как дитя родное. А умница какая, сколько советов полезных знает.

И Настю обыкновенно слушают охотно. Она умеет объяснить и книжку, и газету, и слово, и дело просто, кратко и понятно.

Готовя чай, Несибельди выходит в прихожую и видит своего шестилетнего внука Елюбая. Приоткрыв дверь на крыльцо и прячась за ней, Елюбай дразнит драчливого петуха, но, заметив бабушку, бросается к ней.

— Я тебе стишок скажу! — И тут же лепечет, торопясь и глотая слова:

Нас дедушка Ленин
На подвиг зовет:
Учиться, учиться,
Стремиться вперед.

Это тоже Настина школа.

— Так и поступай, дорогой, так... — говорит внуку Несибельди, думая о том, как эти слова похожи на задиристые и толковые речи Жакипа.

И еще она думает о том, что старое в ее душе — точно «мертвая шерсть» на теле коз в пору линьки. И так же, как «мертвая шерсть», старое линяет, хотя Несибельди сама уже не молода.

К чаю Несибельди подает масло, привезенное Макпал, парезает хлеб и спрашивает Настю, не стесняясь своего штереса:

— А концерт будет?

Настя кивает головой.

— Все пойдем, и вы, апа, обязательно.

— Как же, и я, всей семьей двинемся, — соглашается Несибельди и в который уж раз начинает давиться смехом, вспомнив, как ее водили на спектакль. — Ведь это она была, ей-богу, Байжуменова молодуха. Сам-то в зале сидит, на нее смотрит, а она парню на шею ка-ак бросится: «Люблю, твоя навеки!» Ой! Смех какой...

Отставив пиалу, старуха смеется, трясясь всем телом, не в силах больше рассказывать, и невозможно удержаться от смеха, глядя на нее.

Никто не заметил, как Настя куда-то скрылась. Несибельди убирает со стола. Макпал и Айша ей помогают.

Внезапно с треском отворяется дверь, все разом обращиваются.

На пороге стоит кругленькая белолицая женщина, одетая по всем канонам старины: в длинную сборчатую юбку, казахский бешмет и высокий, как башня, жаулык,

Одна Несибельди ее узнает и привечает:

— Добро пожаловать, уважаемая!

Молодая незнакомка кланяется в пояс, по-узбекски, положив руки на голову. Затем произносит громовым голосом, словно перекатывая камешки во рту:

— Бисмилла р-рахмет! Благодар-рение богу!

Несибельди невозмутима.

— Дай бог тебе сына, милая!

— Сама р-рожу! — басит разряженная Настя.

Все дружно хохочут.

А Айша, которая особенно привязана к веселой избачке, думает: хорошо бы Настя и впрямь родила внука Несибельди. Похоже, что так оно и будет. В отличие от Макпала, Айша вдостальхватила горюшка у старозаветной свекрови, и смелая, самостоятельная Настя Айше едва ли не дороже сестры. Айша и на слете рта не раскрыла, не то что Макпал, но и дома, и среди людей жадно впитывает все новое; радостное, щекочущее, как легкий ветерок, ощущение свободы наполняет все ее существо, и она смеется весело, легко, счастливо...

К обеду следующего дня слет заканчивается. Настает минута прощанья. Напутствия слышатся со всех сторон. Девять человек делегатов едут в область, пятеро — на республиканский слет в Алма-Ату, среди пятерых — Макпал. Раскрасневшаяся, она уже сидит в готовом тронуться грузовике. И по всему судя, опять придется ей в столице называть имя свекра...

— Как здесь выступала, так и там скажи! — говорит Айша, не выпуская руки сестры. — И дай бог тебе сына! — добавляет Айша застенчиво.

— Сама рожу! — со смехом отвечает Макпал.

Машина трогается.

ДВУЛИКИЙ ХАСЕН

«Какая высота... Доберусь ли я до вершины? И когда кончится эта кошмарная мучительная ночь?.. Черные, неприступные, голые скалы, мрак и безнадежное одиночество... Как я попал в этот беспросветный мир?..»

Кляча под ним дрожит, еле переставляя ноги. Страх, казалось, овладел и животным. А горы, гордые и суровые, отодвигаются все дальше, они манят его и пугают... Он подгоняет лошадь... Долго ли еще тащиться?.. Все круче и неприступнее каменные глыбы... Но что это? Земля под ним разверзается бездонной темной пропастью, и он в ужасе закрывает глаза. Глохнут звуки, мир померк, и дыхание смерти обволакивает его... Неужели это конец?..

— Смерть?.. Умираю!.. О-ох! — Он закричал, задергался, и вдруг как-то глухо, словно издали, донесся до него знакомый стук двери. Вслед за ним, отбрасывая прочь кошмарный сон, долетел крик Жамили. Злой, пронзительный голос жены шел к нему, как спасение. Снова хлопнула дверь. Он тяжело вздохнул и открыл глаза.

— У-у, проклятые! В могилу нас свести хотите! — Ее голос креп.

Исчезло одиночество, ушла непрощенная черная смерть, отодвигались, таяли вдалеке горы... Он был на земле, в своем доме, на своей постели.

— Это ты, Жамиля? Уф...

— Что с вами? — Встревоженная жена подошла к кровати. — Что вы так вздыхаете? Не заболели?..

Хасен не ответил. Он лежал, рассеянно водя лихорадочным взглядом, медленно приходил в себя. Все вокруг было привычно: и всегдашний утренний беспорядок в комнате, и плохое настроение Жамили — следствие ее бесконечных, изнурительных ссор с домашними, и хлопачье

двери. «Умри я незаметно и воскресни сейчас, она встретила бы меня точно так же», — устало подумал он, глядя в лицо жены. Вот она — его жизнь, стоит перед ним. Он может протянуть руку и дотронуться до нее, ласково погладить или ущипнуть, сказать доброе слово или прикрикнуть, — ничего не изменится. Он вдруг опять почувствовал глухое раздражение, не оставлявшее его последнее время.

— Скажите же наконец, что с вами? — Голос Жамили становится мягче, вкрадчивее, — он знал, что так и будет. — Наверное, это из-за вчерашней выпивки. Жара нет? Может, градусник принести? А много вчера выпили?..

— Я не болен.

— Милый, да что с вами?

— Да вот приснилось... — начал Хасен. Он потянулся, чтобы приласкать жену, но рука его коснулась костлявого бедра Жамили и бессильно упала на одеяло.

Лицо женщины дрогнуло и мгновенно посерело.

— Ах, боже мой! Из-за какого-то сна так расстраиваться... — Голос ее задрожал и снова взлетел криком: — А вы знаете, что ваша невестка столкнула с флиты большое блюдо, вдребезги разбила. Вы слышите? Блюдо разбила!

— Какое блюдо? — спросил Хасен, думая совсем о другом.

— Да то, что я на нижнем базаре купила. Сколько мечтала о таком блюде, и вот тебе... Чтоб их...

— Перестань, надоело! — негромко прервал ее Хасен. — Какой час?

— Семь, — сердито ответила Жамиля.

— Оказывается, еще рано. Но теперь уже не уснешь...

Жамиля как-то обмякла, присела на край постели.

Хасен искоса, не поднимая головы, посмотрел на жену. Она выглядела усталой, осунулась, ранние морщины на скуластом темном лице проступали еще резче. Голова была обмотана неизменной старой серой шалью, в которой она ходила дома. Они встретились взглядами, и Жамиля, словно покачнувшись, слегка наклонилась к нему и несмело, жалко улыбнулась одними губами. Удрученный, Хасен отвернулся к стене: нет на свете женщины безобразней ее. Жамиля рывком вскочила с постели и выбежала из комнаты. Стук двери прозвучал, словно выстрел.

Из передней послышался надрывный старческий кашель. Потом простучали резкие и частые, как удары

молотка, шаги и донеслись испуганные голоса: мужчина бормотал приглушенным хриплым басом, женщина отвечала ему шепотом. «Конечно, они», — подумал Хасен, прислушиваясь к голосам старшего брата и невестки, недавно переехавших к нему из аула. Он слушал, и мысли его уходили далеко, в прошлое... Хасен вспомнил давно минувший восемнадцатый год, белогвардейцев. В то время он был председателем уездного комитета, но потом заболел и приехал на родину, в степь, к этим вот старикам. Болел долго. А когда выздоровел, Жамиля, на которой он женился всего год назад, устроила большой той и байгу. Через два года снова той — на этот раз по случаю его освобождения из советской тюрьмы. Жамиля сдержала свое обещание — одарить всех, если муж вернется невредимым: распорядилась резать овец, созвала женщин и раздала им мясо... Даже при большом желании Хасен не смог бы вспомнить случая, чтобы Жамиля чего-нибудь для него пожалела. Каждое лето он приезжал домой, и жена не скупилась на угощение: кололи по тридцать, а то и по сорок ягнят. Никогда не забывала она сделать мужу дорогой подарок. В первый раз подарила гнедого с лысиной иноходца, потом буланого, затем великолепного белогривого скакуна... Да-а... Любила, значит, его... Стоило отдать за нее, девушку из богатого рода, калым в тридцать баранов и десять голов крупного рогатого скота. Стоило... Окупилось все.

Правда, его положением следователя, а потом и судьбы изрядно попользовались заправила ее рода. Особенно во время выборов в волисполком и правление кооператива. Родственные узы в степи крепки, а Жамиля умела влиять на Хасена. Сколько по наущению ее родни было состряпано дел! Чего стоили одни только доносы и указания, написанные им аульным властям! Как они с женой травили и преследовали бедняков, выступавших против ее богатых сородичей! Скольких засудили, скольких выгнали из партии! Да-а... Советы в степи были в ту пору мягче воска. Умели тогда прижимать бедняков... И все упиралось в Жамилю, все шло по ее слову и желанию...

— Вы встаете? Чай готов, хлеба только маловато, — недовольно буркнула Жамиля, появляясь в дверях.

Хасен молча поднялся, оделся и вышел в переднюю, где жили два его брата и невестка. Комнату напротив занимала русская семья. Хасен никак не мог привыкнуть к соседям и всегда злился, когда они появлялись в при-

хожей. Сейчас они, видимо, были дома: из их комнаты доносились негромкие голоса, иногда там смеялись.

Не задерживаясь и не оглядываясь, Хасен быстро вышел во двор.

Весна в этом году не баловала людей погожими днями, но сегодня выдалось ясное сверкающее утро. Вдали громоздились горы. Хасен взглянул на Большой Алмаатинский пик... На земле, где Хасен родился и вырос, не было гор с уходящими в небо вершинами, вечно окутанными облаками. В беспредельно широкой степи лишь изредка встречались пологие холмы, и была его земля простой, открытой и понятной человеку. Не в силах отвести взгляда, Хасен смотрел на горы. Они были красивы, но красота их не трогала его. Над горами низко плыли черные тучи. Опускаясь до зеленого пояса елей и сосен, они редели, разрывались и расходились огромными клубами сбитой шерсти. В прогалах между непрестанно движущимися, теперь уже серыми клочьями тумана, нескончаемой чередой мелькали сияющие снежные вершины, темные скалы, ярко-зеленые поляны и леса. В тесном окружении скалистых громад сурово вздымался пик, он казался одиноким из-за своей высоты. Грудь его обнимали тучи, на самой вершине сверкал снег, словно вышитая серебром узбекская тюбетейка. Правильной формы, с тремя ровными линиями граней, он напоминал пирамиду, созданную руками древних. Казалось, что это огромный памятник пирамидам, что когда-то люди сложили вместе тысячи пирамид в одну и оставили ее потомкам... Пик напоминал Хасену его мучительный сон, и утомленному взору его показалось, что пик сам сдвинулся и вошел в пенистое белое море облаков и тумана... Хасен почувствовал себя бесконечно маленьким перед этой молчаливой громадой, и неожиданно у него возник нелепый страх, что гора может раздавить его своей непомерной тяжестью. На миг ему даже представилось, что пик надвигается, нависает над ним...

Он знал, откуда у него все это: и тяжелые, не дающие покоя, мысли, и чувство одиночества, и глухое раздражение.

Кто он в новой жизни, которая, хочет он того или нет, а утвердилась и прочно входит во все дома? Победа социализма становится непреложным фактом. От него не отвернуться, не уйти, ибо он везде, во всем, что теперь окружает Хасена. Он так же высок и несокрушим, как

этот пик. И так же неприступен, потому что его, Хасена, нет среди его основателей и строителей. А мог бы он оказаться среди них? Кто подскажет ему — нужно ли это, чтобы он был среди них?.. А прошлое?..

В передней Хасена встретила Жамиля. В руках она держала осколки блюда. Лицо жены пылало яростью.

— Видишь? — Она протянула ему осколки.

«Успела еще раз сцепиться», — с досадой подумал Хасен.

— Что же ты молчишь? — крикнула жена. — Вот во что превратилось блюдо! Уронила с флиты...

Хасен презрительно скривил губы. «Флита», — передрознил он ее про себя. — Тоже мне ученая. Ковсркает родной язык, в котором нет ни буквы «х» ни «ф». А ведь в юности зубрила «Мухаммадию» и «Сыбатылгазин». Тогда, помнится, в одном своем нежном послании она даже подписалась по арабски: «Бенте Фазыл» — дочь Фазыла. Хороша ученость — что коровья иноходь...»

— Сбросила с флиты, — повторила Жамиля.

— Отстань ты со своей флитой! — Он отвернулся от жены и тогда увидел брата и невестку, тихо сидевших у стенки. Встретив его сердитый взгляд, они заморгали, как нашалившие дети, и виновато отвели глаза.

Хасен вспыхнул и стремительно проскочил мимо них в гостиную.

— Нету от вас покоя! — сквозь зубы бросил он им на ходу, пнул кожаные калоши невестки, попавшиеся ему под ноги, и, толкнув плечом дверь, скрылся в своей комнате.

Калоши отлетели в сторону и ударились о низкую железную кровать, на которой лежал младший брат Хасена, Салим. Тот приподнялся недовольный.

— Что за безобразие! — воскликнул он, его широкие черные брови сдвинулись, румяное молодое лицо потемнело. Чистыми, блестящими после крепкого сна глазами он укоризненно глянул на младшую невестку: — Жамиля, да что с вами, в конце концов? Постыдитесь!..

Вмешательство Салима, видимо, подбодрило старшего брата — худого болезненного старика с тощей белой бородкой.

— Все из-за тебя, — сердито отчитывал он жену. — Слепла ты, что ли? Или за тобой враг гнался? Столкнись на пол блюдо величиной с тундук! Как же тут не расстраиваться?

— Ладно, успокойтесь, — подал голос Салим. Он вскочил с кровати и стал быстро одеваться. — Разбилось блюдо, только и всего. Подумаешь...

— Да ты понимаешь, что это было за блюдо? — вскинулась Жамиля.

— По мне, хоть золотое...

— Всю зиму охотилась за ним на нижнем базаре.

— Ну и что? — улыбнулся Салим. — Пора уж и успокоиться.

Из соседней комнаты вышла высокая русская женщина лет тридцати, с открытым приветливым лицом. Ее большие голубые глаза излучали доброту. В стриженных волосах, несмотря на молодость, пробивалась седина.

— Как жаль, — огорчилась она, увидев в руках Жамили осколки, с которыми та все еще не могла расстаться. — Блюдо было и вправду красивое. Но ведь со всяким случается, Жамиля, — стала успокаивать она соседку. — Я и сама немало посуды разбила. На то она и посуда, чтобы биться. Ведь это вышло нечаянно.

— Не найти больше такого блюда!

— Да нет же, Жамиля. Я недавно видела точно такое же в магазине.

— Оставьте ее, Анна Ивановна. Дня не проходит, чтобы она с кем-нибудь не поссорилась, — заметил Салим.

Жамиля не выдержала, швырнула осколки на пол.

— Смотри-ка, он еще делает мне замечания! Вы видите?

— Салим, как тебе не стыдно! Она же старше тебя. — Анна Ивановна укоризненно покачала головой. Видя, что все понемногу успокаиваются, она поспешила переменить разговор. — Лучше скажи, ты мою книгу прочитал?

— Прочел. Интересная книга, Анна Ивановна.

— Да, детство Горький описал чудесно. Тебе, студенту, надо читать как можно больше.

— Вы дадите мне еще что-нибудь?

— Конечно, Салим. Ну, мне пора на работу.

Хасен, проходя мимо, услышал беседу брата с соседкой и замедлил шаг. «Вот болтуны! — с раздражением подумал он. — Есть же такие люди... Увлекаются, восторгаются чьими-то выдумками, бумажными красотами. И находят же время на всякую ерунду... А мне вот не до книг. Мне достаточно книги жизни. Она потруднее. Мне бы сегодня, например, мяса найти. Было бы куда полезнее читать...»

В контору, где работал Хасен, надо было идти вверх по прямой широкой улице, обсаженной молодыми березками. Он сегодня опаздывал, но шел почему-то медленно, лениво волоча ноги, словно старая заезженная лошадь. Его обгоняли спешащие на работу мужчины и женщины, толпа растекалась по учреждениям. Впереди, словно наблюдая за ним, возвышался черный пик. Хасен старался не смотреть на него.

Пройдя два квартала, он увидел впереди Касымкана, переходившего улицу.

— Эй, погоди! — окликнул его Хасен.

Касымкан оглянулся на голос. Это был высокий, узкоплечий мужчина средних лет, с длинным худым лицом.

— Ну-ка, прибавь шагу, — поторопил он приятеля. — Что ты еле плетешься?

— Ноги не ходят, — отозвался Хасен. Подошел, пожал Касымкану руку. — Без мяса сидим.

— Кто мог подумать, что наступит день, когда Жамия останется без мяса! — визгливо рассмеялся тот.

— Перестань смеяться, у меня совсем живот подвело. Лучше скажи: сможешь раздобыть где-нибудь мяса? Если достанешь, я на обратном пути захвачу литровку.

Касымкан рассмеялся снова:

— Ты скажешь... Сам уже неделю и в глаза не видел мяса. Что слышно о пайке? — Он посерьезнел.

— Да что говорить о пайке, — махнул рукой Хасен. — Разве на пайке проживешь! Эх, наестся бы доотвала баранины да свежей колбасы из конины...

— Что-нибудь сообразим, помнишь, как в тот раз?

— Думаешь, удастся? — Хасен с надеждой посмотрел на приятеля. — Проклятая весна: всегда весной туго с мясом, хоть в петлю лезь...

— Да, как говорят, — пора класть зубы на полку. Кстати, Хасен, не добудешь ли моей жене туфли, да еще отрез на летнее пальто хорошо бы.

— Сам ищущ, Касымкан. Не раз намекал, ну, тем, кого устроил тогда на работу, но пока все без толку.

Касымкан, хорошо знавший характер Хасена, окинул его недоверчивым взглядом.

— Я говорю серьезно, Хасен.

— И мне не до шуток.

— Долг, говорят, платежом красен, Хасен, — и, хлопав приятеля по спине, Касымкан продолжал полусерьезно: — Отплатил бы хоть за желтые ботинки, которые я достал тебе зимой. Ради тебя воевал с месткомом, добился резолюции у самого Неймана. А ты?

— Отплатю, не бойся. Долг висит на мне волосяным арканом, и тебе не придется говорить, что он сгниет у меня на шее, — запетлял лисьим ходом Хасен.

— И это все, что ты можешь мне сказать?

— Ты вот что, Касымкан, — торопливо продолжал Хасен. — Не дергай меня без толку. Давай лучше подумаем, как нам Сальменова обойти.

— А что?

— Говорят, в Казкрайсоюз трикотаж привезли.

— Ничего не выйдет. Он только о себе и заботится, — с деланным равнодушием ответил Касымкан, хотя было видно, что он явно заинтересовался новостью.

— Жена говорила, будто одежду он берет только парами. К мужской обязательно женскую, и непременно одного цвета.

— Ах, черт! А я слышал, что у него в шкафу три костюма висят новехонькие, еще с этикетками.

— Вот видишь. — Хасен окончательно расстроился. Их мечты о туфлях и мясе, когда у других такое богатство, показались ему жалкими, мелочными. — Ну, ладно, бог с ним. Что слышно о наших делах?

Касымкан слегка задумался и ответил, понизив голос:

— Надежда на улучшение есть, но кто знает?.. Трудно сейчас, сам знаешь...

Говорить открыто о своем самом заветном никто из них не посмел.

— Может быть, поправятся и наши дела, — вздохнул Хасен. — Ведь оправился же народ и после «Актабан шубурунды».

— Говорят, будто не пожалеют сил, — так я понял. Но борьба предстоит трудная, — вполголоса сообщил Касымкан и вдруг громко расхохотался: — А мы с тобой о мясе толкуем... Ха-ха-ха!..

При встречах с Касымканом Хасену казалось, что он узнает в нем себя, словно бы видит свое отражение в зеркале. И сейчас, глядя на нелепую фигуру Касымкана, он почувствовал, как горечь поднимается в душе, потому что тот смеялся не только над собой, а и над ним, Хасеном, над их положением и надеждами, которые вряд ли

когда-нибудь сбудутся... Раньше между ними лежала бездонная пропасть, они находились на двух полюсах жизни и были бесконечно далеки во всем. Но теперь, в трудное для обоих время, они не могли обходиться один без другого.

— Смеемся... — криво ухмыльнулся Хасен. — Что это с нами происходит? А надо бы нам как-то сблизиться, объединиться. — Хасен невзначай сказал о том, что уже давно случилось помимо их воли.

Они посмотрели друг на друга и нервно, громко расхохотались. Смех оборвался так же внезапно, как и возник. Касымкан крепко пожал руку Хасену и, сутулясь, широкими шагами пошел прочь. Хасен ползлся в свою контору.

Большинство служащих было уже на местах. Хасен неторопливо шел по бесконечно длинному коридору, затем через просторную общую комнату, приветствуя сослуживцев.

— А, Иван Семенович, здравствуйте! Здорово, Николай Петрович! Привет, Марк Аронович! — Он раскланивался то налево, то направо, аккуратно придерживая пальцами шляпу и широко улыбаясь. — Доброе утро, Зинаида Николаевна!..

Заметив, что управляющий конторой уже пришел, Хасен моментально изменился: неторопливое достоинство, с которым он добирался до своего места, как ветром сдуло. Он нахмурился, озабоченно открыл портфель, вынул оттуда кипу исписанных бумаг и, положив ее на стол, направился в кабинет к Жарасбаеву.

Начальник показался ему сегодня особенно подтянутым и деловитым. В пенсне, придававшем ему необычайную серьезность и подчеркивавшем худобу лица, он сидел прямо, плотно сжав губы, и внимательно слушал делопроизводителя. Хасен с неприязнью подумал, что управляющий смахивает сейчас на туго затянутого подпругой коня, все нервы которого собраны в клубок перед скачкой. Такой далеко пойдет...

«Хочет показать, что он хоть и без образования, но уже специалист-практик и приобрел «американскую» деловитость», — подумал Хасен, мелкими шажками подходя к столу. Еле заметная усмешка мелькнула на его губах.

Делопроизводитель бойко докладывал:

— Вот проект постановления Совнаркома о новом строительстве... Это срочная телеграмма из Восточно-Ка-

захстанской области... надо бы побыстрее ответить. Постановление вчерашнего заседания коллегии, — просмотрите и подпишите. Разошлем по областям...

Стоявший тут же унылый лысый бухгалтер, выждав паузу, скучным голосом завел свое:

— Товарищ Жарасбаев! Я должен срочно пойти на совещание в банк.

— По какому вопросу совещание? — Жарасбаев поднял голову от бумаг, внушительно сверкнув стеклами пенсне.

Хасен поймал его взгляд и поздоровался.

— Повторное обсуждение сметы строительства, — ответил бухгалтер. — Я должен представить обоснование.

— Так идите же скорее! Отстаивайте наше предложение, да смотрите, не сократили бы смету...

Хасен присел у края стола. Он уже привык к новому начальству. На правах заведующего отделом кадров старался как можно чаще общаться с ним, не упуская возможности посоветоваться, поговорить о работе, показать свое усердие. Управляющий трестом был общительным, вежливым человеком, и Хасен, нисколько не смущаясь, вмешался в его беседу, стал вставлять свои замечания.

— Да, да, так... так... Верно, это то самое дело, помню... — Несколько раз он даже одернул делопроизводителя, с тайной радостью ставя его в неловкое положение.

Жарасбаев, казалось, не обратил на это внимания, хотя всем было ясно, что Хасен всеми правдами и неправдами пытается создать о себе мнение как о незаменимом специалисте, который знает не только то, чем живет трест, но и чем дышат в областях и районах. А Жарасбаев до того, как пришел в животноводческий трест, занимал видные посты, но не имел специальных знаний, которых требовала новая работа. Не мудрено, что в первые дни Хасен казался ему незаменимым помощником. Они подолгу беседовали, и Хасен расписывал перед новым управляющим необыкновенную сложность работы треста, как бы невзначай называл имена «специалистов-ловкачей», которых следовало остерегаться. Они-де зацепились здесь и заботятся только о своих квартирах и окладах, а потом, когда упрочат свое положение и разживутся деньгами, переберутся в другие тепленькие места, поспокойней. Он, Хасен, хорошо знает их... В общем, выходило, что можно верить одному только Хасену. Однако в последнее время беседы

их почему-то становились все реже, и это серьезно беспокоило заведующего отделом кадров.

Жарасбаев коротко отдал распоряжения делопроизводителю и отпустил его.

— Ну, что скажете? — обратился он наконец к Хасену.

— Вот заявление трех казахов. Мы все говорим о коренизации аппарата, а в Караганде, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях в нашей системе нет специалистов-казахов. Думаю, что этих товарищей надо послать заведовать кадрами и действовать уже через них. Сами знаете, на местах сидят бюрократы, ничего не делают. Если мы сами решительно не примемся за интенсивную коренизацию...

— Вы хорошо знаете этих людей? — перебил его Жарасбаев.

— Очень хорошо. Поэтому и рекомендую.

— Они специалисты?

— Раньше работали в кооперации, на хозяйственных постах.

— Как со знаниями?

— Какими?

— Какое у них образование? Имеют опыт работы с массами?

— О, будьте спокойны. Пожилые люди, так что можно не опасаться.

Жарасбаев пристально посмотрел в глаза Хасену.

— Почему вы всегда рекомендуете пожилых людей?

— Молодые у нас не задерживаются, — поспешно ответил Хасен. — Сегодня примешь, а завтра они уйдут или на учебу, или на работу полегче.

Управляющий натянуто рассмеялся:

— А мне кажется, что вы просто не ищете энергичных молодых специалистов-казахов.

— Что вы, товарищ Жарасбаев!

— Ну как же! Ведь среди тех, кого вы принимаете на работу, таких почти нет.

— Говорите, нет? — Хасен смешался. — Впрочем, вы, может быть, и правы...

— А хотите, я перечислю имена инженеров, которые могли бы быть нам полезными?

— Но они не пойдут к нам.

— А теми, кто учится в специальных учебных заведениях, ваш отдел интересуется?

— Где же их искать, товарищ Жарасбаев? — вскинул брови Хасен. Мелкие бисеринки пота выступили у него на лбу.

— А вузы Москвы, Ленинграда, Казани. Сколько казахов заканчивает в этом году учебу, вы знаете? А через год, два?

— Я их имел в виду, но...

— Тогда скажите мне: сколько студентам мы выплачиваем стипендии? — прервал его Жарасбаев.

— Точно не знаю...

— Мне кажется, что вы не додумали до конца вопрос о подготовке и подборе специалистов. А значит, не может быть и речи о сколько-нибудь интенсивной коренизации.

Хасен съезжился от точных, убедительных доводов управляющего. Возразить ему было трудно, тем более что Жарасбаев не давал времени сосредоточиться.

— Так вот, товарищ заведующий отделом кадров, мы обеспечиваем стипендией десять студентов-казахов. Вчера я подписал приказ о выделении стипендии еще четвертым.

— Очень хорошо... Но им еще учиться да учиться, — нашелся Хасен, — а я говорю о сегодняшней коренизации...

— На эту тему мы с вами беседовали уже не раз. Вы ведь знаете указания крайкома партии и правительства?

— Да, да... В том-то и дело, что сроки поджимают.

— Давайте поговорим конкретно. Какой процент составили казахи-специалисты к общему числу работников в этом году?

Хасен растерянно почесал лоб.

— В процентном отношении... точно сказать не смогу.

— Ну, сколько казахов вы приняли на работу?

— Уже около десяти.

— И это на сто пятьдесят сотрудников! А кто они? Конечно, рассыльный, уборщица и переписчики, принятые по моему настоянию?

— Да. И они... Они тоже есть.

— Нет, товарищ! — В голосе Жарасбаева появились металлические нотки. — Это не дело. Вы больше всех трубите о бюрократизме, а сами не боретесь с ним. Работаете спустя рукава... Даю вам десять дней срока, чтобы довести процент казахов в нашем учреждении до тридцати.

— Но нам же нужны только квалифицированные специалисты!

— А мы с вами разве инженеры?

— Но как же быть, если у человека никаких знаний? — не сдавался Хасен. — Работа у нас не из легких, сами знаете.

— Вы принимаете в расчет только наше поколение, а есть еще молодежь — сильная, энергичная, сознательная. Пятилетки были бы пустыми словами, если бы у нас не было подобного культурного накопления. Если вы способны на что-нибудь — подберите, подготовьте работников из молодых, — ответил Жарасбаев и поднял трубку телефона: — Дайте подстанцию!

— А с этими товарищами как быть? — спросил Хасен, немного помолчав.

— Пошлите ко мне.

Хасен поднялся и медленно направился к выходу. У дверей не выдержал, обернулся, бросил обиженно:

— Конечно, во всем этом вы упрекаете только меня.

— Мы тут не виноватых ищем, — возразил Жарасбаев. — Речь идет об ответственном деле, и важен его результат. Подстанция! Дайте секретариат Совнаркома!

— Всему управлению было не под силу...

— Ну, хорошо! — Жарасбаев недовольно откинулся на стуле. — Но вы ведь ни разу не докладывали о своих трудностях? Ни коллегии, ни мне.

— Опасался, что меня неверно поймут: скажут, будто я ничего не делаю или не в силах сделать.

— Ничего подобного. Получилось бы, что только вы один и работаете. А вот теперь в итоге — десять человек...

Хасен не узнавал Жарасбаева. Он постоял некоторое время, собираясь еще что-то сказать, но не решился. Какой-то холодок пробежал у него по спине, когда он закрывал за собой двери. Сознание, что с ним обошлись, как с бестолковым, беспомощным человеком, было мучительно; он казался себе одиноким конем-бродягой, которого выгнал из табуна сильный, ухоженный жеребец...

«А впрочем, все это оттого, что у него партбилет и кресло, — мысленно утешил он себя, стараясь успокоиться, войти в колею. Вернувшись к своему столу, он вынул из портфеля еще одну кипу бумаг. — Был бы я на его месте, вы все бы у меня попрыгали... Показал бы я вам...»

Внезапно, словно почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, Хасен повернулся к окну. Большой Алмаатинский пик молча, неторопливо наблюдал за ним, и на груди его клубились черные грозовые тучи... Хасен вздохнул и огляделся вокруг. Счетовод, секретарь и машини-

стка, сидевшие в его кабинете, увлеченно работали, и им не было никакого дела до его переживаний. Хасен тихонько поднялся и вышел в коридор.

Плотный, спокойный на вид мужчина в очках с роговой оправой, стоявший в дальнем конце коридора, приветственно помахал Хасену рукой и не спеша, вразвалку зашагал навстречу. Во рту у него была папироска.

— Огонька не найдется, Хасен Нурбаич?

Хасен протянул коробку.

— Порекомендуйте, пожалуйста, Алексей Николаевич, — обратился он к «незаменимому» старому специалисту треста, — кого можно взять на работу? Жарасбаев срочно и решительно потребовал коренизовать наш аппарат.

— Учитесь ковать людей. Возьмите молот, небольшую наковальню и... куйте кадры. Ха-ха!

— Трудно приходится, — вздохнул Хасен.

— Не расстраивайтесь, дорогой, — благодушным баском успокоительно проворковал Алексей Николаевич. — Не будьте таким чувствительным. Я-то вас понимаю... Но что поделаешь? — Он прикурил, дымя папироской, окинул Хасена изучающим взглядом. — Давайте-ка лучше завтра, под выходной, соберемся за пулькой.

— Хорошо. Пригласим еще заместителя управляющего.

— Идет, — согласился Алексей Николаевич и засмеялся, похлопал собеседника по плечу. — Любите вы начальство, а, Хасен Нурбаич? Тертый калач...

— Я не очень-то принимаю казахских руководителей. Русские, вот те — ничего. Умеют в компании не напоминать о своем положении... В общем, соберемся, Алексей Николаевич. Надо и поговорить основательно.

— Ладно, — пыхнул тот папиросным дымом, уходя уверенными шагами.

Хасен вернулся к себе, сел было за стол и занялся бумагами, но через минуту, словно внезапно о чем-то вспомнив, быстро поднялся и заторопился в местком.

— Товарищ Сергеев!

Деловитый молодой человек в очках поднял голову от бумаг, посмотрел на Хасена.

— Вы вчера распределяли продовольственные карточки? Товарищ Жарасбаев поручал вам разрешить мой вопрос.

— Да, распределяли.

— Мне по какой категории?

— По второй дали.

— Вы шутите! У меня много индивидентов, по второй категории мне никак нельзя. Я же не раз вам говорил! А вы... Я не смогу здесь больше работать!

— Подождите. Зачем так резко ставить вопрос?

— Вам-то хорошо говорить!

— Но позвольте, я сам получаю паек по третьей категории.

— Меня это не касается! — Хасен почти выкрикнул свой довод. — Вы не создаете условий для национальных кадров! Добиваетесь нашего ухода!..

— Какую же вам дать категорию?

— А первая? Кто получает по ней?

— Те же десять человек. Даже крупным специалистам и членам президиума не хватает. Вы же знаете.

— Бросьте! И слушать не хочу!.. — отрезал Хасен, выбегая из комнаты.

И пошел гулять по всему управлению. Подымался по лестницам, заходил в отделы, туда, где за столами сидели казахи, справлялся у них, в какие списки включены они.

— Вот вам и коренизация! — сокрушался он. — Попробуй привлечь национальные кадры. Ни один казах не попал в список первой категории. Месткомом заправляет ярый шовинист. Об этом нельзя молчать.

— Мой милый Карим, подумай сам, — внушал он молодому казаху, который был членом месткома. — Мы ведь трудимся не ради денег, а ради чести... Дело совсем не в пяти — десяти фунтах муки, а в принципе. Ни один казах не получает продукты по первой категории. Как же мы привлечем на работу казахов? Сам знаешь, кого ни пригласи — прежде всего спросят об условиях.

— Первая же для спецов и членов президиума, — возразил парень.

— Все равно всем спецам не хватило, Карим. Хорошо, по возможности будем обеспечивать их. Пусть жрут, но пусть и дело делают: создадут индустрию, завершат стройки пятилетки. Мы и этой радостью будем сыты...

Парень добродушно рассмеялся:

— Не приравнивайте вы их к американским спецам. Они советские специалисты, и не надо нас делить на казахов и русских.

— Я говорю то, что думаю, милый. Политическое обоснование уж по твоей части. Проще говоря: аул — наш, они — гости, потеряем... Между собой нам, казахам, спорить нечего.

— В чем же тогда дело?

— А в том, милый, что завтра в наш трест может прийти специалист-казах. Какой он будет получать паек? Резве нельзя было, отдав девяносто пять процентов из общего пайка по первой категории русским, одно-два места оставить и для казахов?

Парень ответил на его доводы ничего не значащим смешком, и Хасен не стал распространяться дальше.

— Ладно, пусть будет так, как суждено... Я тоже поберегу нервы. Пропади все пропадом: и шовинисты в месткоме, и все остальное, — подытожил он, отворачиваясь.

Хасен вернулся к себе. На душе кошки скребли, он чувствовал, что не в силах оставить этот вопрос нерешенным, забыть. Тяжело опускаясь на стул, он снова увидел в окне высокий пик, молчаливого свидетеля своего бессилия. Тучи ушли, и белоснежная вершина ослепительно сияла под полуденным солнцем. На нее было больно смотреть...

Потребовалось изрядное время, пока Хасен успокоился и занялся бумагами. Постепенно он увлекся и не заметил, как к нему кто-то подошел, и, только услышав приветствие, поднял голову. Перед ним стоял проситель — высокий мужчина с рябым лицом и длинными рыжими усами. В темном кителе с глухим воротником, в треухе и сапогах с высокими голенищами возник перед взором Хасена Аманбай — словно бы посланец далекого земства. Хасен неожиданно почувствовал, как потеплели у него глаза. Он встал, крепко пожал Аманбаю руку.

— Твое заявление я передал самому Жарасбаеву, — сказал он, когда оба сели. — Поговорил. Рекомендовал тебя.

— А кто такой Жарасбаев?

— Разве не знаешь? Он большой человек в городе. Наш управляющий.

— Э-э, откуда мне знать?

— И то правда. Он хочет сам поговорить с тобой. Скажешь, что хозяйственник, имеешь большой опыт. Понял? Ратует за коренизацию, вот пусть и распорядится, чтобы тебя приняли... Думаю, что примут, — обнадежил его Хасен.

— Хорошо, кабы так вышло, — оживился Аманбай. — Опыт-то у меня есть, работал и в земстве и в кооперативе...

— Отлично.

— А последние два года был делопроизводителем в животноводческом совхозе.

— В каком совхозе? Близко отсюда?

— Недалеко. В совхозе «Жылга».

Хасен наклонился, почти лег на стол. Дотронулся до плеча собеседника.

— Вот и славно. Ты, наверное, сможешь найти мяса, Аманбай? Голодаем мы тут.

Аманбай рассмеялся:

— Вчера при людях не смог тебя спросить. Неужели так плохо?

— И не спрашивай, — нахмурился Хасен. — Вконец изголодались. На руках тебя будем посить, если мяса найдешь. Хоть бы немного наваристого супу поесть, посидеть, припомнить бывшее...

Аманбай огляделся вокруг и, убедившись, что в комнате нет казахов, заговорил смелее.

— Думаю, кое-что найдется. Лошадку одну привели в город. — Он немного помолчал и добавил: — Правда, есть небольшая загвоздка. Но об этом после. Найдется укромное местечко, где можно заколоть?

— Конечно, найдется! — Хасен радостно заволновался, заерзал на стуле. — Можно у Касымкана. Или даже у нас. Сегодня сможем?

— Попозже сообщу вам. Надо кое-что уладить.

— Хорошо бы сегодня.

— Если улажу, так хоть сегодня, — ответил Аманбай. Помолчал и заговорил, понизив голос: — Что предвидится, Хасеке? Будут перемены? Что слышно?

— Ах, какие могут быть перемены? Знаешь пословицу: «Удача живет в дальнем ауле», — бросил было Хасен безнадежно, но, вспомнив, что они долго не виделись, вильнул в сторону: — Я просто так сказал... Пытаются там... Кое-что наверняка переменится.

— Чему же верить?

— А тому, что я говорю. Голод, как народ говорит, — обостряет нюх. — Он рассмеялся вместе с Аманбаем. — Верно ведь... Не сообразили мы вовремя, упустили, дали им окрепнуть, а теперь...

— Что же теперь?

— Полоса временных трудностей. Но все образуется, мой друг, — успокоил его Хасен и добавил в заключение: — Теперь вот что: ты не порывай с совхозом, попроси Карас-

баева оставить тебя здесь. О Караганде не заикайся, ясно? Вечером встретимся, поговорим обо всем остальном.

Аманбай попрощался и вышел.

Не успел уйти Аманбай, как явилась Жамиля. Хасену сразу бросились в глаза ее заляпанные грязью ботинки и измятое блеклое пальто. Жамиля подошла, еле волооча ноги, и устало опустилась на стул.

— Что с тобой? — недовольно встретил он ее. — Можно подумать, что ты только что с пожара. Неужели нельзя быть поопрятнее?

Просторные светлые комнаты краевого треста разительно отличались от тесных прокопченных комнатушек их квартиры, а новые полированные столы и стулья, стоявшие здесь, были давней мечтой супругов. Да и сидевшие в комнате сотрудники были подтянуты, аккуратно и хорошо одеты, и рядом с Жамилей, преждевременно стареющей в хлопотах и беготне по базарам, казались людьми другого мира. «Надо же было ей притащиться сейчас», — подумал Хасен, искоса поглядывая на обветренное лицо и потрескавшиеся, до черноты загоревшие руки жены. А Жамиля сидела безучастная, ей не было дела до того, что думал и переживал Хасен.

Когда-то он ходил в руководителях, не знал нужды и не испытывал никаких жизненных неудобств. В те счастливые дни жена сидела дома, следила за собой, и он, помнится, смотрел на женщин, которым приходилось трудиться, служить, совсем другими глазами... Но прошло время, когда он держался в городе хозяином, а в аулах его и Жамплю встречали как знатных людей. Перемена пришла так неожиданно и вместе с тем так резко, будто они незаметно заплутались, сбились с пути. И вот теперь они безнадежно отстали от жизни. Холодно высился за окном Алмаатинский пик, и беспощадно светлела просторная высокая комната. Он сидел в этом кабинете — один из многих неприметных работников треста... Стало больно за себя, обидно за иссохшую, опустившуюся Жамилю. Он сам и его жена казались ему сейчас сиротами, пасынками новой жизни.

— У тебя усталый вид, — заметил Хасен. Голос его теперь был участлив и мягок. — Что с тобой? Что-нибудь понадобилось?

Жамиля, удрученная было неприветливой встречей мужа, немного оттаяла.

— В Казторге выдавали чулки и шелковый трикотаж. Я заняла очередь, хотя была без гроша в кармане, простояла весь день. Только подошла моя очередь, товар кончился. Чтобы сгнить этому Казторгу!

— Разве может быть иначе? — усмехнулся Хасен. — Там не так-то просто что-нибудь купить. Как будто ты не знала...

— Что поделаешь? У меня же ничего нет.

— Подожди, я напишу записку Сальменову. — Хасен взял листок бумаги, обмакнул перо. — Говорят, в Казкрайсоюз тоже поступил трикотаж...

Жамиля совсем успокоилась.

Хасен в нескольких словах изложил свою просьбу, многозначительно упомянув, где он работает, дал Жамиле денег и встал из-за стола, чтобы ее проводить. Жамиля спрятала записку и, поднимая сумку с картошкой, как бы невзначай спросила:

— Что ты думаешь о сегодняшнем поведении Салима?

— Да, о чем он там болтал? Чего еще ему не хватает? — нахмурился Хасен. Утром он второпях не успел разобраться в их споре, слышал лишь краем уха, как Салим за что-то выговаривал Жамиле.

— Братца твоего с невесткой защищает. Видно, насъживает его против меня. Видите ли, он недоволен нашим отношением к ним!

— Откуда он взял эту манеру? — Хасен начинал раздражаться. — Какое он имеет право совать свой нос в чужие дела?

— Почувствовал, наверное, себя человеком, — скривила губы Жамиля. — Так прямо и говорит: «Как вам не стыдно...»

В последнее время Хасен замечал за братом самостоятельность суждений, которой у того раньше и в помине не было. Салим быстро рос, но еще быстрее изменялся его характер, отношения с людьми. Он словно становился чужим, переставал считаться с мнением старших. Слова Хасена о том, что дети одного отца, люди, родившиеся у одного очага, соплеменники должны идти к одной цели, стараясь не терять в пути друг друга, уже не находили отклика у Салима. Хасен знал, что это влияние новой жизни, которую сам он никогда не примет. И было страшно, что чужой, ненавистный мир упрямо пытается войти в его семью, в его дом, и настанет час, когда он не сможет этому помешать.

— Скажи ему, пусть не ерепенится, — выдавил Хасен с усилием. — А то выгоню вон. Сидит на моей шее и мне же дерзит. Посмеет пикнуть еще — дай ему в зубы! Хватит!

— Вы тоже скажите ему, — попросила Жамиля. — Другие учатся и еще заботятся о семье: сколько всего таскают в дом. А от него никакой пользы. Попросишь принести что-нибудь, так он на дыбы.

— Стал комсомольцем-активистом...

— Я, говорит, не крохобор. Получается, что мы, делящие с ним последний кусок хлеба, крохоборы. Говорит, что, пока учится, он имеет право получать только стипендию.

— Ишь, как легко хочет прослыть бессребреником! Ну, подожди, посмотрим!..

Довольная словами мужа, Жамиля подумала, что надо бы приготовить ему его любимый бешбармак. Вспомнила о мясе.

— Вы достанете мяса, Хасен? Предприняли что-нибудь?

— Похоже на то, что сегодня нам улыбнется удача, — ответил Хасен. — Потом расскажу. Ты иди, Жамиля, иди, попробуй получить трикотаж.

Жамиля вышла.

Хасен снова сел за бумаги. Однако не успел он пробежать одну или две, как к нему подошел Семенов, секретарь партячейки. Хасен терпеть не мог его указаний и потому сделал вид, что очень занят.

— Товарищ Жарасбаев да и вся наша ячейка находят, что работа по коренизации идет у нас слабыми темпами, — заговорил Семенов, присаживаясь у стола. — Как идут дела? Что предпринимаете?

— Я только об этом и думаю, — тяжело вздохнул Хасен. — Постановление крайкома вполне ясное, а у нас в аппарате процент коренизации не доведен и до десяти. Такое ощущение, товарищ Семенов, что мы с вами даром хлеб едим, — продолжал Хасен. Казалось, он сильно угнетен создавшимся положением. — К вопросу коренизации я никак не могу относиться равнодушно. Мы, казахские работники, не из-за хлеба работаем. Не так ли?

— Да, конечно, вы правы, — согласился Семенов. — Расскажите, пожалуйста, подробнее о подборе кадров.

Хасен прокашлялся, невольно взглянул в окно на холодно насупившийся пик. Поспешно отвел глаза. Пик словно стоял у него над душой...

— Ты же знаешь, товарищ Семенов... Партии и правительству известно, как трудно сейчас найти квалифицированных казахских работников, особенно специалистов...

— Выдвигайте снизу, учите. За короткое время можно подготовить неплохих ребят. Надо посылать молодежь на учебу, хотя бы вот на бухгалтерские курсы. А русским товарищам предложить изучать казахский язык. Правда, это их прямая обязанность, но вам следует контролировать.

Хасен, растерявшийся было в начале беседы, уже овладел собой. Действительно, он раньше и знать ничего не хотел о выдвижении работников из молодежи, о всяких там курсах. А сегодня, словно сговорившись, все только об этом и твердят.

— Все это как раз нам и намечается, — подхватил он слова Семенова и улыбнулся. — Хорошо, что и партия не беспокоится. Сами знаете, до сегодняшнего дня никто мне не помогал. Я был один. Теперь с помощью партиячки дело пойдет.

— Вы, должно быть, уже давно начали эту работу?

— Я как раз хотел довести до вашего сведения, в каком состоянии наши планы. Отныне будем все согласовывать...

— Что предпринято практически?

— Пока мы намерены планомерно готовить казахских специалистов. — Хасен прокашлялся снова. — Давали стипендии десяти студентам. Теперь дадим еще четверым...

— Это известно, — перебил его Семенов. — Сделано по инициативе товарища Жарасбаева.

— Верно, верно, — закивал головой Хасен, — товарищ Жарасбаев в курсе всех дел. Ну, предложили казахских работников в аппараты областных организаций. Приняли кое-кого в управление треста. Правда, число их незначительно, но все же... В общем, политика партии ясна. Мы, товарищ Семенов, должны теперь действовать сообща и не жалеть сил для выполнения указаний партии.

— До сих пор были одни слова, — заключил Семенов, похлопывая ладонью по столу. — Составьте подробный исчерпывающий план мероприятий и точно выполняйте

его. Второе: через каждые десять дней ставьте нас в известность о проделанной работе. Вот так.

Хасен встал вслед за Семеновым.

— Все понятно, товарищ секретарь. Хорошо, что вы зашли. Побеседовали наконец по душам, — благодарил он, провожая Семенова до дверей.

* * *

После ссоры с Жамилей Салим пошел на занятия. Он торопился, сегодня у него было много дел. Впрочем, все дни его были заполнены лекциями, комсомольской и профсоюзной работой. Он ловил нужных людей в коридорах между лекциями, в столовой, в общежитии. Сейчас в институте предстояла политическая дискуссия, или, как называли ее сами студенты, политбой. Вспомнив об этом, Салим прибавил шагу.

Он был энергичным и отзывчивым парнем, и товарищи любили его. Здоровье у него было крепкое, и достаточно было ему соснуть часок-другой ночью, чтобы утром, небрежно откинув назад густые волосы, в пиджаке нараспашку снова ринуться в гущу дел. Приход его в институт был похож на вторжение войска: одним он с ходу давал поручения, с другими советовался, с третьими яростно спорил. Общественная жизнь до сих пор была для Салима самым главным, и он отдавался ей безраздельно. Но сегодня, после ссоры с невесткой, он с огорчением понял, что жизни дома, положению старшего брата и его жены он не уделял должного внимания. Домой он приходил поздно. Потом в передней при свете лампы, поставленной на табурет около кровати, читал. Иной же раз и вовсе оставался ночевать с ребятами в общежитии. Утренняя ссора заставила его призадуматься...

Прошло пятнадцать дней, как старший брат с женой переехали в город. Хасену не очень-то этого хотелось, но Салим, зная, что родичи часто болеют, вызвал их письмом.

Юноша помнил, что старший брат и невестка и раньше всегда смущались в присутствии Хасена, хотя каждый раз с нетерпением ждали его приезда. Стоило им прослышать, что едет Хасен, как они с радостью разносили эту весть по ближайшим аулам, рассказывая о необычайном уме и образованности брата. Не без их участия перевозили в аулах и жену Хасена Жамилю. И платья-то

у ней особого городского покроя и из самой дорогой материи, и сама-то она благовоспитанная, обходительная, почитает старших... Старший брат и его жена, ничем не отличавшиеся от простых степняков, своих соседей, в дни приезда знатной родни неожиданно становились заметными, всеми уважаемыми людьми.

Росший на руках старшего брата, Салим, конечно, тоже восхищался Хасеном. Ни у кого из его сверстников не было такого знаменитого брата, которого бы так почитали даже аульные богачи и аткаминеры. Все только и говорили о том, что всесплынный Хасен будет учить Салима, выведет его в люди, сделает ради него то, что другим и во сне не приснится. Салим ни на шаг не отходил от брата, ездил вместе с ним в гости, ласкаясь, забирался на колени Жамиле. Детское преклонение перед братом осталось у Салима на долгие годы; он свято верил ему, беспрекословно повиновался и был убежден, что так и должно быть всегда. Последние два года, учась в институте, Салим в основном жил в общежитии. Зимой был занят лекциями, экзаменами, летом — практикой в колхозах и совхозах. Приходил в дом брата по праздникам, на день, на два. Только в конце этой зимы, когда в общежитии кончились дрова и стало невозможно заниматься, он временно переселился к брату. Да и воспоминания далекого детства потянули его к Хасену и Жамиле. Он тосковал по степи, по своему аулу и не мог совладать с собой. С тех пор прошло два месяца...

Уже раза два он был свидетелем таких нелепых ссор. Салим недоумевал — в чем дело? Что происходит в доме? Откуда эти раздоры? Но его переживания не трогали ни Хасена ни Жамилю. Это было для него неожиданностью. Жамиля, та просто поняла его попытки уладить отношения между родными как желание завести домашние дрязги, а Хасен старательно не замечал его. И мучительные раздумья не оставляли Салима. С каждым днем они отягощались новыми догадками и открытиями, и он постепенно приходил к выводу, что это не просто семейные недоразумения, а столкновение людей разных убеждений и взглядов. Вернее, столкновение двух миров — нового и старого. Старый мир, за который держались Хасен и Жамиля, рушился, подобно блюду, разлетевшемуся сегодня утром на куски, и было обидно, что брат не видит этого. А может быть, он не в силах понять новую жизнь?.. Раньше Салим считал его образованным, а ведь оказа-

лось, что брат не имеет сколько-нибудь серьезных знаний ни в одной отрасли науки!.. Никогда не увидишь его с книгой. Что он знает, например, об учении Маркса и Ленина, о диалектическом материализме? Раньше, когда Хасен учился, все это было запрещено. Выходит, о теории марксизма-ленинизма он и понятия не имеет... Как же так?

— Знаменитость, — бормотал Салим, вспоминая, как аульские богачи с пеной у рта расхваливали Хасена. — По тем, кто тебя любил, понятно, для кого ты старался. Но все же ты раньше стремился к чему-то. А теперь? Забился, словно сурок в свою нору, заботпшься только о себе. На все смотришь с точки зрения своего брюха: вовремя ли подан завтрак, сытен ли обед, удалось ли достать всякие там блюда да чулки.. А если что-нибудь не выходит, во всем у тебя советская власть виновата, социализм... Э-эх...

Салим интуитивно чувствовал свою правоту. Его удручало поведение Хасена. Но разве он исключение? Таких еще много. И он сам, Салим... В нем самом еще есть пережитки старого, черты, сложившиеся под влиянием Хасена и ему подобных. Почему же он не додумался до этого раньше? Не мог? Или не хотел? Может быть, он не смел, мешала вера в непогрешимость когда-то знаменитого брата?.. Салим с досады сжимал кулаки, шагал быстрее. Брови хмуро сходились у переносья. «А может, все это еще пригодится? — подумал он вдруг и сразу же почувствовал облегчение. — Ведь всегда найдутся люди, которые будут хвалить «доброе старое время». Тогда можно бы и указать им на это самое «добро», на живых представителей той жизни — хасенов... А впрочем, — махнул он рукой, — что за чепуха!.. Что за мысли какие-то несуразные...»

Салим подходил к институту. Он снова вспомнил о предстоящей дискуссии со студентами физмата.

В третьей аудитории обе группы были в полном сборе. Тема дискуссии — «Новое в организационных принципах нашей партии» — была объявлена крупными буквами, тщательно выведенными черной краской на листе бумаги. Здесь же перечислялись вопросы: о путях повышения сознательности людей, об обновлении общества, борьбе с пережитками прошлого.

Первой должна была ответить на эти вопросы группа физматовцев. Выступил худощавый бледнолицый парень с длинными черными волосами, разделенными на прямой

пробор. Комсомолец, одних лет с Салимом, он говорил уверенно, взяв в основу своего выступления организацию политотделов в республике. Его слушали внимательно, делали пометки в блокнотах. Тут и в помине не было соперничества ораторов или вражды между отдельными группами, чувствовалось, что комсомольцы собрались, чтобы всем вместе обдумать и глубже понять политику партии. Выступил второй физматовец, за ним третий, и все они так или иначе дополняли друг друга.

Все говорили, в общем, правильно, хотя и несколько поверхностно. В иных выступлениях не было ясности, другим не хватало логики, конкретности. Салим не задавал вопросов, но видя, что один из ребят его факультета начал подтрунивать над физматовцами и повел себя вызывающе, сделал ему замечание:

— Ты, кажется, забыл, что не на кулачки биться пришел?

Но кто-то из его группы уже задал вопрос:

— Кто сильнее, по-вашему: политотдел или райком?

Все рассмеялись, выступавший первым снова взял слово для ответа, но сбился, и все у него неожиданно свелось к противопоставлению деятельности политотдела и райкома. Говорил он теперь уже не так уверенно и увлеченно, как в первый раз, а смеясь и отвлекаясь на реплики. Посыпались вопросы, все заговорили разом, перебивая друг друга, в разных местах аудитории заспорили. Кто-то попытался поправить выступавшего и окончательно запутал вопрос. Поднялся шум. Аудитория разделилась на два лагеря.

И тогда попросил слова Салим. Ему очень хотелось рассказать товарищам, о чем он думал дорогой, но само собой получилось так, что он заговорил о другом.

— Товарищи, вопрос поставлен неверно! — сказал он. Шум в зале утих. — Нельзя противопоставлять райком партии политотделам. Ошибаются и те товарищи, которые ищут — кто из них сильнее и кто слабее. Надо исходить из их единства...

Салим дал оценку выступлениям товарищей, объяснил причину создания партией политотделов, их жизненную необходимость. Доводы Салима были убедительны, и очень скоро он полностью овладел вниманием слушателей. Он говорил о задаче ликвидации различий между городом и деревней, о том, что если пережитки прошлого все еще проявляются в городе, то в аулах, надо полагать, и по-

давно. Один из самых трудных участков работы партии — это повышение сознательности и культуры в ауле. И тут в необходимости политотделов не может быть и тени сомнения, но при этом нельзя забывать о живом единстве деятельности райкомов партии и политотделов. Все в выступлении Салима было правильно и ясно. Ему даже одобрительно похлопали, но никто после него не просил слова. Комсомольцы, оживленно переговариваясь, потянулись к выходу. А Салим вдруг вспомнил свои переживания и сомнения, все то, что собирался сказать в своем выступлении. «Как-нибудь в другой раз, — подумал он. — Успеется...»

* * *

Было около двенадцати часов, когда Жамиля с запиской Хасена пришла в Крайсоюз. Ей сказали, что Сальменов на заседании, и она стала ждать. Прошел час, полтора... Ее охватила усталость. С утра она побежала на базар, исходила его вдоль и поперек, толкалась в очередях, а тут это томительное ожидание... И потом неизвестно еще, что выйдет?.. Дадут ей трикотаж или не дадут? Может, уйти? Но уйти, когда в нескольких шагах за дверью находился Сальменов, было еще труднее. Ведь чулки, трикотаж сейчас такая редкость! Она не работает, единственный доход семьи — это зарплата мужа, и в доме всегда чувствуется нехватка денег. Если что-либо и покупается, то после долгого обсуждения и только тогда, когда никак нельзя уже без этой покупки обойтись. Все рассчитывается до копейки. Как же было не огорчиться утром из-за разбитого блюда?.. Нужда гонит Жамилю по очередям, конторам, по знакомым. Заставляет искать встреч с нужными людьми, цепляться за них. Нет, не может она уйти, не повидавшись с Сальменовым.

Жизнь научила ее многому: доставать вещи и на другой же день сбывать их втридорога на базаре. Она, как и Хасен, научилась не стыдиться этого. Иной раз, когда представлялась возможность получить что-либо в двух местах, Жамиля пыталась пролезть без очереди. Иногда это ей удавалось, но иногда ее изобличали, ловили, и тогда она изворачивалась как могла, всеми способами, иной раз даже прикидывалась дурочкой. В очередях, в невообразимой давке и тесноте, она никогда не теряла самообладания. Знала хорошо, что иногда необходимы и натиск и нахальство.

И, обманывая в глаза, расталкивая людей, она упорно продвигалась к цели — к прилавку. Но вскоре ее стали узнавать, и два-три раза Жамиле попадало. Она вспомнила, как одна уйгурка обругала ее на чем свет стоит и на глазах всей очереди изо всей силы толкнула в грудь. Жамиля никогда этого не забудет. Но нужно было терпеть, ведь приходилось выдерживать и не такие удары судьбы. Она убедилась, что достаток сам по себе не приходит. Это так же верно, как и то, что человеку не дано быть сильнее своего времени. Приходится искать лазейки, где обмануть, а где, может быть, и украсть. Они с Хасеном понимали друг друга без слов. Да и о чем им, правда, говорить? Оба делают одно дело. Одно дело — одна рука...

Собрание затягивалось.

— Господи!.. — вздохнула Жамиля. — И обед не готов. Что же делать? Подождать еще или не стоит? Уйти — останешься без чулок и флятья... Чтоб ему пусто было! Что он там застрял?

Наконец вышел Сальменов. Поздоровался, вежливо справился о житье-бытье, добродушно пошутил. Но, выслушав просьбу Жамили, стал строг, словно бы отдалился.

— Еще нет расценки. Как только будет — сам сообщу вам.

— Но ведь я столько ждала... — огорчилась Жамиля. — Может, все-таки устроите?

Но Сальменов был непреклонен.

— Говорю же вам, что товар пока никому не будет продаваться, — ответил он и направился в кабинет.

— Так уж не оставьте меня с пустыми руками. — Жамиля сделала за ним несколько шагов.

— Хорошо... Хорошо! — отозвался тот, не оборачиваясь.

— В крайнем случае хоть половину того, что купите для своей Рахили... — отставая, крикнула Жамиля.

Сальменов не ответил. Она подождала, пока за ним не закрылась дверь, и тихо выругалась.

Стояла жара. Идти было трудно. Жамиля проклинала и улицы Алма-Аты, и Сальменова, и свой дом на окраине, до которого так далеко добираться. Подгибались колени, плечи отяжелели. Она торопливо шагала вверх по крутой улице, ноги то ныряли в мягкую взлетающую пыль, то спотыкались об острые края разбитого булыжника. Чуть не падая, она тяжело перебирала ногами, словно захуда-

лая лошадь, наткнувшись на пень. Ей казалось, что внутри у нее все обрывается.

— Ой, проклятье! Чтоб вы все подошли! — сквозь зубы ругалась Жамиля. Проклинала она и солнце, что так немилосердно пекло, словно пронзая ее своими лучами.

Еле живая дотащилась она до дома, но порог переступила, мрачно сдвинув брови, с тем же холодным, неприступным видом, с каким уходила утром на базар. Хасен в ожидании обеда лежал на постели, отвернувшись к стене. Деверь и невестка, суется, убирали комнату. Жамиля прошла мимо стариков молча, словно не заметив их присутствия. Старики же встрепенулись, одновременно быстро взглянули на нее и тут же робко опустили глаза. С тем же мрачным выражением на лице Жамиля разожгла примус и стала готовить обед.

Первым не выдержал деверь. Он подошел к Жамиле с черепками в руках.

— Я думаю, что блюдо можно склеить... Оно разломилось всего на три части...

Было видно, что старик решил во что бы то ни стало вернуть в дом спокойствие. Как ни тяжела была обида, нанесенная ему утром невесткой, он поступал по мудрому обычаю старых людей, не терпящих разлада в семье. А тут вдобавок невольной причиной ссоры были они сами — старики! Жамиля стояла к нему спиной, и старик не видел, как дрогнуло ее лицо и стало медленно заливаться краской.

— Если дашь немного денег, завтра я сам схожу на базар, — несмело продолжал старик. — Достаточно закрепить двумя-тремя медными заклепками...

— Теперь решили хитростью деньги заполучить? — возмущенно бросила Жамиля в лицо старику. — Такие-то, как вы, и наживаются на наших пятаках. Вот что теперь задумали!.. Когда вы жили, как порядочные, не пытались чего-нибудь урвать? — с треском хлопнув дверью, она выскочила во двор и чуть не столкнулась нос к носу с Салимом.

Салим от неожиданности опешил.

Он возвращался домой в самом радостном настроении. На улице стояла неповторимая алмаатинская весна, небо было ясное, высокое полуденное солнце словно ласкало молодое крепкое тело. Только сегодня по-настоящему стало тепло. Блестящие изумрудные листочки, еще не успевшие покрыться пылью, весело шелестели на

деревьях, высившихся высокой ровной стеной по обеим сторонам улиц. В арыках звенела, переливаясь, хрустально чистая вода снежных вершин; среди зелени листьев мелькали белые, красные и розовые лепестки рано зацветших урюка, яблонь, сирени; заливались соловьи. А с гор мягкими волнами накатывал воздух, настоянный на аромате деревьев, цветов и трав. Он опьянял, этот бесподобный воздух, наполняя грудь радостью. И вдруг Жамиля... Такая же, как и утром, словно и не прошло нескольких часов после ссоры... Словно не было у нее глаз, и она не видела весны... Он пропустил Жамилю и вошел в дом. В передней подошел к невестке и, кивнув в сторону двери, спросил:

— Что, она все еще не унимается?

— Милый, да разве она когда-нибудь уважала старших? Скажи ей хоть ты, пусть оставит нас в покое... Нарочно, что ли, она все это делает?!

— Это блюдо можно починить, — прервал ее старик, показывая ему осколки. Он подошел, сел рядом с Салимом на кошму.

— Я сказал ей, что нужно немного денег на починку. А она подумала, что я хочу обманом выманить у ней эти гроши. — Старик вздохнул, печально покачал головой. — Таких слов я и от чужих-то не слыхивал, а дождался от родной невестки. Я ведь ее маленькую на руках носил... Что теперь делать?..

— Родная невестка... Родная ведь... После Хасена и тебя она самое дорогое наше дитя. Мы ведь нянчили вас всех с малых лет... — губы старухи задрожали, она заплакала, вытирая глаза рукавом. — Пропади все пропадом, говорит... Мне-то еще ничего, а вот его — с его белой бородой — обозвать жуликом...

Салим с болью в сердце слушал стариков. После смерти родителей старший брат и его жена с малых лет поили и кормили Хасена и Салима. Салим любил и почитал их как отца и мать и не мог допустить, чтобы теперь больные и слабые старики жили одни в далеком ауле. Но Хасену, рано покинувшему родительский дом, их приезд, видно, оказался нектати. Что же надо сделать, чтобы они все жили в согласии? Ведь старший брат столько говорил об этом? Салиму вдруг показалось удивительным, что в этом доме еще могут сохраняться древние, добрые представления казахов о семейных отношениях.

— Вы еще не понимаете, что многое изменилось. Старые кочевья оставлены людьми. Они, — Салим бросил взгляд в сторону гостинной, — тоже откочевали... только в другую сторону. Они изменились, а вы хотите, чтобы все было, как раньше...

Старики не поняли его. Брат придвинулся к Салиму, наклонился, заговорил полусшепотом:

— Салим, объясни толком! Ты говоришь неясно. Что, у него не хватает денег? Трудно с едой? Может, стыдятся нас? Почему не скажут прямо? Неужели мы в тягость им как лишние рты?..

— Нет, не в этом дело. Они получают приличный паек, и запасы у них есть... Просто ваша близость им в тягость. Чем же иначе объяснить то, что вы живете в передней и едите отдельно?

— Верно, верно! — Старик задумчиво закивал седой головой. Вошла Жамиля, и старик замолчал, заметив, что невестка все еще не успокоилась.

— Могут ведь работать... Так нет — только и смотрят, как бы схитрить! Дармоеды! Навалились, как во время джута...

— Что, Жамиля, уже родные стали в тягость? — Салим язвительно рассмеялся.

— Да, в тягость! — вспыхнула Жамиля.

— Кормить приходится? Разорились вконец, так, что ли?

— Может быть, в этом доме ты за все платишь? — отпарировала Жамиля, подбоченясь. — Говори дальше!.. Послушаем.

— Конечно, ты уверена, что найдешь повод избавиться от лишних ртов?

Жамиля сорвалась на крик:

— Хватит болтать! Ты, что ли, мне советчик?!

— До чего ты дошла, Жамиля! — обронил Салим. — Какими ничтожествами вы стали.

— Не тебе судить старших! Недоросль! Дармоед! Сам ни на что не способен, на нашем иждивении...

— Неправда! — сказал Салим, горячась. — Я не иждевенец!

— Не иждевенец? Зачем же ты тогда живешь здесь?

— Вот оно что! Так знай — отныне я считаю для себя позором кусок хлеба съесть в твоём доме!

— Посмотри, какой гордый стал! — Жамиля смерила его презрительным взглядом.

Из гостиной на шум выскочил Хасен, набросился на Салима.

— Что ты городишь тут? Ты!.. Возомнил себя человеком?

— Я говорю правду.

Салим уже не горячился, говорил спокойно, твердо, уверенный в своей правоте. Это взбесило Хасена. Судорожно дергаясь и вращая глазами, он некоторое время не мог произнести ни слова. Наконец, сжав кулаки и заикаясь от бессильной ярости, закричал:

— Коли так... то уходи отсюда! — Злость, с которой он еще кое-как справлялся на службе, прорвалась наружу. — Вон! Видеть тебя не желаю!..

Салим остался невозмутимым.

— Я и сам собирался уходить.

— Сидит на моей шее!

— Ложь! — Салим не выдержал, вскочил на ноги. — Когда это говорит Жамиля, ладно... Но ты!.. Ну, да теперь все равно.

Салим принялся собирать свою постель. Хасен опомнился, на лице его выразилось смятение. Видимо, он не ожидал такого резкого оборота дела.

— Милые мои, перестаньте ссориться, — подал голос старший брат. — У нас один отец..

Но решение Салима было бесповоротно.

— Не надо меня уговаривать... — Свернув постель, он нахлобучил на голову кепку.

Независимость младшего брата подхлестнула Хасена.

— Я вижу, ты набрался ума-разума в своем ничемном институте! И это все, чему тебя научили?

— Тебе этого не понять, это выше твоего ума. Лучше не касайся этого вопроса, — усмехнулся Салим.

— Ишь, как тебя напичкали!

Хасен почувствовал, что ненависть к Салиму охватывает его все сильнее. Да, это была ненависть ко всему новому, которая родилась давно и таилась глубоко внутри. Исподволь разрастаясь, она охватывала все его существо и обернулась теперь против брата, окончательно разделив их. Теперь он уже не казался ему родным. Хасен скорее расстанется с братом, чем позволит новому войти в свой дом. Им овладело желание сейчас же найти такие уничтожающие слова, нанести Салиму такой удар, от которого тот не смог бы опомниться.

И он бросил, не задумываясь:

— В таком случае, — Хасен ткнул пальцем в сторону старшего брата, — забирай и их с собой! Пусть я для всех буду плохой брат!.. Это ты хотел доказать?

Старики заплакали.

— Милый Салим, маленький наш, — стали умолять они, — уступи хоть ты... О господи, что за напасть!..

— Не надо плакать. Зачем вы плачете? — рассердился Салим. — Бойтесь, что есть будет нечего?

— Есть нечего? — передразнил Хасен. — Начинаете задумываться?

— Не плачьте. Он хотел наказать нас, но просчитался, — успокоил стариков Салим. Он двинулся к выходу. — Я отнесу вещи и вернусь за вами. Вы всегда умели неплохо работать, — не пропадем.

Хасен круто повернулся и ушел к себе.

Салим сдержал свое слово. В тот же вечер он увел стариков в общежитие. Хасен лежал в гостиной и слышал, как они собирались. Он не вышел попрощаться. Жамиля сказала, что он спит. Через некоторое время она, радостная, вошла в комнату.

— Чего тебе? — недовольно хмури брови, буркнул Хасен.

— Ушли!

— Ушли... — тихо повторил за ней Хасен. — Разозлился я на Салима. Ему-то так и надо... А тех... жалко их...

— По мне, пусть хоть сдохнут! Посмотрим, как он справится. Ни квартиры, ни продуктов. Даже посуды нет! Гол как сокол. — Жамиля победно рассмеялась. — Посмотрим теперь на него!

— Оставь! — отмахнулся Хасен, отчужденно взглянув на нее. — Нашла кому мстить! О господи, как переменялось время. Куда мы идем? Разве мы не были одной семьей? — печально проговорил он. — Чья тут вина?

— Вечно вы переживаете. — Жамиля с беспокойством посмотрела на мужа. — Мы всегда заботились о людях, а кто сейчас вспомнит об этом? Да, вас называли «ак-журек» — «сердобольный», и что? Вон как поступил с нами даже Салим. А ведь мы его на руках носили, вывели в люди.

Слово «сердобольный» Жамиля услышала впервые от аульных аткаминеров и всегда употребляла его с особым удовольствием. Раньше, в ауле, это слово воспринималось супругами как безраздельно принадлежащее только им.

В последние годы Хасена никто уже не называл сердобольным, но любимое слово еще жило в их доме. Вернее, доживало свой век.

Хасен поднялся и стал натягивать тужурку.

— Сердобольный... да-а, сердобольный... — тоскливо пробормотал он. — Делай людям добро, а благодарности не жди! Воспользуются твоей добротой и тебя же потом обольют грязью. Так, что ли, получилось у нас, Жамиля?

— Ладно уж, — заметила Жамиля, довольная, что удалось успокоить мужа. — Немало мы прожили на свете. Что сделано, того не вернешь!

Хасен, одевшись, задумался.

— В общем-то, ты права, — сказал он. Голос его звучал уже увереннее, хотя был по-прежнему тих. — Ну что ж, раз так получилось, пусть никто из них больше сюда и глаз не кажет, — закончил он, направляясь к выходу.

Закрыв дверь плечом, шагнул во двор.

— Выгнал сам... Наделал дел и терзаюсь... — глухо пробормотал он.

Гора выросла перед ним внезапно. Так внезапно, что показалось, что лицо обдало огнем. Он в смятении приостановился.

— Это правда. Теперь сам мучаюсь... — пробормотал он снова, как будто некто обличающий стоял на его дороге.

Поднял голову, посмотрел на пик. От гранита, покрытого серой тенью, веяло ледяным холодом. Хасену вдруг почудились грозно опущенные брови, лицо в черных трещинах морщин... Откинувшись назад, пик смотрел на него пронзительным взглядом... Глаза в прищур... В двух шагах от него... Хасен испуганно передернул плечами.

— О господи, что за наваждение? — отмахнулся он рукой и быстро зашагал к калитке.

— Вы идете туда, куда собирались? — громкий, грубый голос Жамили донесся до него точь-в-точь как утром, когда он очнулся от кошмарного сна. — А мне что делать?

Хасен остановился, оглянулся по сторонам. И во дворе и на улице никого не было видно, но все же он счел нужным быть осторожным.

— Пойди-ка сюда! — позвал он жену, шагнув ей навстречу. — Как только стемнеет, захвати мешок и посуду и беги к Касымкану. И сиди там, никуда не уходи.

— Иначе и нельзя. Я же знаю Касымканову бабу. Заговорит, запутает и захапает себе львиную долю, —

подхватила Жампля. — А урвать не удастся — ей и пища не впрок.

Хасен не дослушал жену, толкнул калитку и вышел на улицу.

Аманбай уже сидел у Касымкана. Между ними стояла початая литровая бутылка водки, из которой они, видно, уже пропустили по рюмочке. Закуска была неважная... Увидев Хасена, оба вскочили и шумно его приветствовали.

Касымкан налил по новой и, посмеиваясь, протянул рюмку Хасену.

— Промочи горло!

Хасен подошел к столу, но рюмки не взял.

— Эх, этой водичке не такую бы закуску, — рассмеялся он вместе с приятелями и посмотрел на Аманбая. — Я ожидал увидеть что-нибудь горяченькое — жаркое, например. А это что? — Хасен ткнул пальцем в кусок хлеба. — Не буду пить, если так.

— Мы ждали тебя, — сказал Касымкан. — Надо кое-что обмозговать.

— А где наш конь?

— Недалеко... Совсем близко, — замялся Касымкан. — Сперва, знаешь, надо решить одно дельце.

— Ну? — Хасен нетерпеливо поглядывал то на одного, то на другого.

— Как хорошо, что мы наконец собрались вместе! — благодушно рассмеялся Аманбай. — Посидим, как бывало раньше, побеседуем, помянем старое жите-бытье. А там и решим.

— Послушайте, вы можете говорить прямо? Где лошадь?

— Да здесь она. Стоит... Какой ты непонятливый, — попытался успокоить приятеля Касымкан. — Сейчас все и решим.

Аманбай чокнулся с Хасеном, выпил.

— Днем я говорил тебе, что мешает одна загвоздка, — начал он, обращаясь к Хасену. — Так вот в чем дело. Коня я привел из совхоза, где раньше работал. Конь был как конь, справный. Но два месяца назад он вдруг захромал. Распухла нога. Ветеринар смотрел и так и эдак и не смог толком определить, в чем дело. Я ветеринара угостил, убедил, что конь неизлечим, что в народе эту болезнь называют «вечной хромотой». В общем, вырвал у него заключение. Потом уговорил отдать гнедка на лечение

коновалу. Отвел в один аул, и там за два месяца его так откормили...

— Жирный? — У Касена слюнки потекли при одном упоминании об откормленном коне.

— Жиру в нем на палец, — ответил Касымкан. — А может, и больше.

Радостно-оживленный Хасен уже сам разлил водку, чокнулся с приятелями, выпил.

— Ну, ну дальше! — возбужденно кивнул он Аманбаю.

— В общем, с этой стороны все в порядке. Единственное препятствие — один колхозник, знавший гнедка раньше. Он из ударников. Он, кстати, и довез меня до города. Увидев коня, он всю дорогу ругал ветеринара, который, по его словам, ничего не смыслит и здорового коня не может отличить от больного. Я повел было речь о том, что хорошо бы заколоть коня, жира в нем на два пальца и мясо, должно быть, вкусное, но куда там! Он взъерепенился: «Заколоть такого коня, когда в хозяйстве не хватает лошадей?!»

— А ты не мог его убедить! — упрекнул Касымкан. — Сказал бы, что нога не заживает, ветеринар, мол, прав. Есть же документы!

— Говорить-то я говорил. Да не все. Кое-что и на будущее оставил.

Хасен рассмеялся, довольный ловкостью Аманбая.

— Правильно сделал. Как можно довериться глупому казаху?

— О документах, заключении ветеринара, я и не заикнулся.

Находчивость Аманбая понравилась и Касымкану.

— Молодец! — не удержался он. — Ты, видать, с головой.

— Ну, о чем тогда разговор! — Хасен встал, подмигнул приятелям, провел указательным пальцем по горлу. — Валить надо коня... Махан кушайт! — добавил он, нарочно искажая слова.

Касымкан все еще не решался.

— А не сочтут за хищение? Законы, знаешь, теперь суровые.

— Бросьте! — оборвал его Хасен. Голос его мгновенно стал жестким. — Советская власть из-за одной лошадки не обеднеет. Мало она забрала у нас скота? Давайте режьте, черт бы побрал все! Нечего ходить вокруг да около!

Аманбай и Касымкан промолчали.

— Ну хорошо, где тот колхозник? — справился Хасен, видя нерешительность приятелей. — Надо его пригласить, накормить досыта и заткнуть ему глотку. Кроме него, никто не мешает?

— Касымкана беспокоит то, что тот днем приходил сюда и видел коня, — сообщил Аманбай.

— Вот именно, — подтвердил Касымкан. — Опасно все-таки.

Но Хасена уже трудно было остановить. Через полчаса его поддержал порядком опьяневший Аманбай. Наконец, исчерпав все доводы, вынужден был согласиться с приятелями и осторожный Касымкан. Участь гнедого была решена. Тем временем наступила ночь, и коня без опаски зарезали во дворе. Жены Хасена и Касымкана, не спуская глаз друг с друга, суетились около мужчин, разделяющих тушу.

Дома трое дружков, налегая на горячее жирное жаркое из свежей конины, принялись за вторую литровку. Развязались языки, обнажились затаенные мысли. Перебрали все истории и дела дорогих сердцу восемнадцатого и девятнадцатого годов, когда в степь еще не пришла советская власть. Хасен, хвастливо выпятив грудь, провозгласил:

— Мы, люди, вершившие исторические дела! Все трое останемся в истории!..

Но не успел он закончить свою речь, как у дверей послышался громкий топот. Раздались незнакомые голоса. Касымкан, схватив бутылку, от страха нырнул под стол. Вошло четверо в военной форме. В пятом Аманбай признал колхозника, вместе с которым приехал в город.

Говорить, доказывать свою невинность было бесполезно. Все же Хасен попытался сопротивляться.

— Мы кадры... Ответственные работники краевого учреждения... — Хмель моментально вылетел у него из головы. Слушать его не стали...

Приятелей вывели во двор.

На повороте улицы взгляд Хасена скользнул вдаль. Большой Алмаатинский пик холодно глядел на него, — далекий и неприступный... Ровный, как гранит, не знающий поражений величественный Алмаатинский пик...

КРУТИЗНА

1

Нет, Айша не испугалась тьмы, обступившей ее со всех сторон. Она ее ненавидела, проклинала, но не боялась. На дворе была сырая, холодная ночь, ее липкая влажность проникала в погреб. Из ямы несло затхлостью и гнилью. Этот запах тлена с особой силой вызвал в памяти страшные события дня. В отчаянии Айша билась о стены погреба.

— Как же это случилось? Бедная моя голова! — стояла она.

Стены давили. Ей мерещилось, что она лежит на дне глубокого подземелья, откуда выбраться уже невозможно. Мертвая тишина! Погреб затерян в глухой степи, кругом ни одной живой души. Все окутал черный мрак ночи. Долго ли будет тянуться эта ночь? Айша потеряла чувство времени... А что, если ее бросили сюда навеки и, полная сил, молодая, она погибнет здесь в страшном одиночестве?

Айше стало жаль себя, она ослабела и уже не сдерживала слез, потоком хлынувших из глаз.

— Проклятый!

Ненависть придала ей силы, и она снова начала лихорадочно шарить по полу. Сколько раз она уже ощупала каждый вершок, казалось — иголку и ту нашла бы, а вот наган исчез. Айша совсем растерялась, бросила искать, поднялась с пола. Дверь! Как бы найти дверь! Где-то наверху брезжит слабый свет... А может быть, ей это только кажется и его зажигает проснувшаяся в ней надежда? Окно? Но ведь оно должно быть совсем не там. А вот еще тонкая паутинная нить мутного света. Не от двери ли она тянется? Но дверь как будто левее... Нет, нет ее и слева! Все перевернулось в этом проклятом по-

гребе, в этом мраке! Мрак играет с ней в прятки. Какая жестокая и страшная игра!

Айша закрыла глаза и решила довериться рукам. Они наткнулись на мокрую осклизлую балку, подпиравшую потолок. Затем женщина споткнулась о кучу кирпича. Обойдя кирпич, она вдруг шагнула в пустоту и провалилась в яму. Шум от собственного падения так испугал Айшу, что она чуть не потеряла сознание, ей показалось, что это враг ворвался в погреб и, как дикий зверь, бросился на нее.

— Пришел, проклятый! — закричала она закрывая голову руками.

Но кругом по-прежнему тихо и темно... Айша взяла себя в руки: надо все обдумать, восстановить в памяти устройство погреба. Преодолевая обманчивую игру мрака, она пыталась представить себе обстановку. Ей помог свет, идущий из щели. Теперь ясно, это дверь. Ясно?..

Айша осторожно, на четвереньках, поползла к щели. Наконец коснулась стены и, защищая руками голову, попробовала выпрямиться. Ей удалось протиснуться между редко настланными досками пола. Шаря по стене рукой, она нащупала дверь, вскарабкалась наверх и взялась за дверную ручку.

«О, — подумала она, — эта жалкая сломанная ручка для меня теперь — словно рука спасения».

Отступив на шаг, Айша вспоминала: «Так, вот здесь я и сорвалась... Бедный отец! От него помощи не жди... Сам всегда попадает впросак и других подводит. Ну зачем он впутался? Зачем? Недаром говорят: сунется муха меж двух верблюдов — боками раздавят».

В пылу охватившего ее гнева Айша сделала неосторожный шаг и снова с грохотом провалилась в яму. Да тут по этим доскам и днем без огня трудно пройти, а уж ночью — совсем невозможно!

Падая, Айша невольно раскинула руки, но напрасно — ухватиться было не за что. Она упала на спину, больно ударившись правой лопаткой обо что-то твердое. Но, сообразив, что это такое, она вскрикнула от радости:

— Слава богу! Ну, теперь я снова человек!

Горячей рукой схватила она лежавший за ее спиной наган, осыпала поцелуями его холодную сталь, прижала к груди... Нашелся, друг!

Айша медленно и осторожно вскарабкалась наверх.

«Ну, муженек дорогой, иди! Где же ты? Теперь-то мы встретимся!.. Куда запропастился?»

Айша взялась за дверную ручку, чуть толкнула дверь плечом, и та с неожиданной легкостью распахнулась. Зато вторая дверь, в сенях, оказалась плотно запертой. Прижавшись к ней, Айша услышала приближающийся конский топот и чьи-то возбужденные голоса. Она стремглав бросилась обратно, захлопнула дверь погреба и застыла в ожидании.

...Еще утром она была так беспечна, так счастлива! Ей так хорошо работалось в колхозе! И вот конец привольной жизни, конец всему! Перед Айшой зияла пропасть. Но надо, надо во что бы то ни стало удержаться на этой круче.

«Клянусь, что не пойду с тобой, — страстно шептала она, — я не хочу жить в твоём мире!»

Айша сжала в руке наган. Она держала его впервые в жизни, но чутье подсказало ей, как с ним обращаться. Да, она будет стрелять, она убьёт ненавистного человека. Айша подняла руку. Забыв обо всем на свете, она думала только о том, как выстрелит.

«Ну, колхозная ударница, покажи, на что ты способна! Враг приближается. Обороняйся!»

Длинное платье ей мешало, и она подоткнула его левой рукой. Потом сорвала с головы платок, падавший ей на глаза.

Всадники приблизились. Она услышала, как они со-скакивали с коней. Вот они идут к двери.

Айша, стоя за второй дверью, всматривалась левым глазом в щель. Туда же было направлено одноглазое дуло нагана.

Она услышала скрип отодвинутого засова... Сейчас явятся... Пора!

У нее подкашивались ноги. Огромным усилием воли она заставила себя стоять ровно. От напряжения бешено колотилось сердце. Волнение, страх, нетерпение слились в одно мощное чувство, у нее звенело в ушах, ей чудился чей-то голос, он говорил: «Скорей, скорей!..»

Дверь заскрипела, кто-то заглядывает внутрь. Это — он! Да, его шапка! Явился все же!

Айша мгновенно спустила курок. В тьму сеней ворвался огонь. Но выстрела Айша не услышала. Ей казалось, что она даже не прицелилась...

На дворе шумели, кричали, но голоса сливались, и Айша ничего не могла толком разобрать. «Наверное, жив...»

Она выстрелила снова. Наугад, зажмурившись. Опять донеслись чьи-то голоса. Она попыталась крикнуть сама, но из пересохшего горла не раздалось ни звука. Еще и еще напрягала она горло, и наконец прорвался крик:

— Только мертвую возьмете! Живой не дамся! Не пойду за тобой!

Айша выстрелила снова. Кто-то вскрикнул... Человек в дверях исчез... Кажется, упал? Кровь гудела в висках... Грохот, звон, крики...

— А, ты хочешь схватить меня? Получай!

В ярости, не помня себя, она нажимала курок — ни звука, ни света. «Что такое? Почему нет огня?» — лихо-радочно подумала она, снова рванув курок. Он щелкнул впустую: патроны кончились.

— Горе мне! — простонала Айша.

Словно свора собак, преследующих добычу, за дверью вопили люди. Теперь Айша ясно различала их голоса. Кто-то громко кричал:

— У него кончились пули! Идите хватайте его!..

Айша отскочила назад, чуть не провалившись снова. Но она успела схватиться за столбы, подпиравшие потолок, и крепко прижалась к скользкой стене...

Скрежеща, распахнулась дверь.

— Проклятый! — громко крикнула Айша, вглядываясь в ее открытую пасть.

Она вся дрожала — зуб на зуб не попадал, всклокоченные волосы падали на лицо, глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Ее ослепил внезапно вспыхнувший свет. Она увидела людей, и вопль отчаяния вырвался из ее груди.

Первым ворвался Хасен. Бледный, с искаженным лицом. Зубы его были плотно сжаты. С пальцев левой руки капала кровь.

За ним Айша увидела заведующего фермой Самата, колхозницу Даметкен... Ей было стыдно смотреть им в глаза, и она низко опустила голову.

— Черная твоя душа! — хрипло крикнул Хасен. — Я верил тебе! А ты с врагом нашим путаешься. Вот кто твой муж!

Его голос клокотал от ярости, в правой руке блеснуло длинное лезвие ножа. Хасен бросился к Айше. А она

покорно и слепо двинулась ему навстречу. Ее расширенные от ужаса глаза были полны слез. Каким-то тусклым, словно угасшим голосом она успела прошептать только:

— Любимый мой, я ошиблась... — и тут же, как подстреленная, рухнула наземь.

Хасен в ярости замахнулся ножом, но его схватили за руки. Напрасно пытался он вырваться:

— Пустите!

Кто-то осадил его спокойно и властно:

— погоди! Здесь что-то не то.

Самат оттолкнул Хасена и склонился над Айшой.

2

Это произошло 23 июня, в полночь, на урочище овечьей фермы колхоза «Талдыузек». Колхоз находился далеко от областного центра, близко от границы.

Погреб, в котором томилась Айша, служил для хранения масла и сыра во время летнего выпаса овец. Он был единственным строением в широко раскинувшейся степи.

А заварил эту кашу Шальтык. Кто в колхозе не знал этого сутулого старика с седой бородой и серым морщинистым лицом! Охраняя погреб, он обычно ложился у его дверей. Так было и в прошлую ночь.

Холодны ночи Талдыузeka. Ни зимой, ни летом не снимал Шальтык теплой шапки с наушниками; и сегодня голова у него была в тепле, а вот поясница застыла. Но не только это разбудило старика. Он проснулся в непонятном страхе... Ему послышались какие-то странные звуки: не то бесовский вой, не то пение духов. Много раз впоследствии рассказывал он об этой ночи, о том, как вскочил испуганный, не понимая, откуда исходят звуки.

Край степи чуть посветлел. Шальтык прислушался: не иначе как воют волки.

Шальтык не был храбрецом, он и сам признавался в этом. Да и какая может быть храбрость у старого одинокого сторожа? Вот он и забрался на крышу погреба, захватив к тому же свой рваный халат и шубу, — не дай бог, утащат волки!

Устроившись на крыше, он поднял правый наушник своей теплой шапки (он больше доверял своему правому уху) и, напрягая слух, соображал, где же это волки. Но

вой то замирал, то слышался явственней, и определить, откуда он идет, было невозможно.

«Ну и что с того? — успокоил себя Шальтык. — Что я их, за хвост ловить буду? Сюда они все равно не придут — сейчас лето. Как бы им животы ни подвело, побоятся на человека нападать».

— Эй! Айт, айт! — грозно завопил он и даже ногой притопнул. Вой затих, и старик совсем расхрабрился, решил сойти с крыши, лечь спать на свое место. Но только начал спускаться, как волки завыли совсем близко. Он сокрушенно покачал головой и пожал от удивления плечами. Странное дело — воет целая стая, а кругом ни одного волка не видно.

«А не остаться ли мне спать на крыше?» — подумал он, и в то же мгновение крыша под ним затрещала. Вот и предупреждение: уходи.

«Еще провалится, проклятая! Ох, чтобы вы подошли все до единого! Воют и воют... Думаете, в погребе вам жирный курдюк приготовили? Вот вам, жрите!»

В знак величайшего презрения он похлопал себя по тощему заду и потряс своими кожаными штанами.

В молодые годы Шальтык уже как-то повстречался с волком. Он ехал верхом, а из густых зарослей чия выскочил старый вожак величиной с годовалого теленка. Шальтык пустил на него коня и погнал к желтеющим вдалеке холмам. А затем, отстегнув от седла стремя, одним ударом убил зверя на всем скаку.

Воспоминание о подвиге далеких лет придало Шальтыку храбрости, он кряхтя слез с крыши, лег у входа в погреб и заснул.

Солнце уже взошло, когда он проснулся. В степи было тихо, но из погреба доносились какие-то неясные звуки, возня... Не иначе волки, привлеченные запахом пищи, изловчились и залезли все ж таки в погреб — дверь-то открыта!

Охая, с трудом разогнул Шальтык замлевшую спину, подполз ближе к двери, захлопнул ее и навалился всем телом. «Ну, жалкое зверье, теперь посмотрим, кто кого съест, вы ли Шальтыка, он ли вас!»

Старик схватил обломок жерди, подпер им дверь, потом обошел погреб со всех сторон и заглянул в тусклое окошечко.

В погребе было темно, и ему пришлось долго всматриваться, пока он увидел двух волков, которые возлились

в яме, земля так и летела из-под них. Шальтык испугался не на шутку, проверил еще раз, крепко ли заперта дверь, и побежал в колхоз.

Когда он постучал в окно заместителя председателя Катпы, солнце уже жарко припекало. Но рябой Катпа еще пребывал во власти сна. Он приоткрыл один глаз, перед другим, закрытым, еще проносились видения. Полуголый подошел он наконец к двери и, почесывая ногу, сердито просипел:

— Эй, старикан, спятил ты, что ли? Чего стучишь?

— Ох, Катпа, друг дорогой!.. Такое, значит, дело — пришлось запереть в погребе двух волков... Вот, значит, пришел сказать... Двух, понимаешь, двух!

Катпа и слушать не стал.

— Только и всего? Окончательно спятил! — крикнул он и захлопнул перед Шальтыком дверь.

— Да ты послушай!.. Волки ведь! Два волка!.. Послать кого-то надо... Два их!..

— Ну и скажи Жунусу, пусть идет! — отрезал Катпа и пошел досыпать.

Шальтык, горестно качая головой и бормоча: «Два ведь волка... два», — отправился дальше. Он разбудил Бесибая и Садыка из бригады косцов. Они сначала заворчали, но, когда Шальтык сослался на приказ Катпы, пошли седлать коней. На свою рыжую кобылу Садык посадил сзади и Шальтыка.

Всадники припустили коней — им не терпелось скорее посмотреть на волков. Ехали так быстро, что Шальтык заохал — ему натерло зад...

Вот наконец и погреб. Вооружившись жердями, все подошли к узкому окну. Стекло в нем оказалось разбитым вдребезги. Они заглянули в окно — волков и след простыл.

— Ну и ну, Шальтык, чтоб тебя!.. Зря нам сон перебил. Где твои волки?

Шальтык простонал в ответ. Может, ему стало стыдно, а может, и впрямь болела спина. Он весь скорчился и, охая, стал растирать поясницу.

— Ох, ох, бедная моя поясница! Разогнуться не могу!.. Вот беда, — видно, волки через меня перепрыгнули... Ох, ох, спина!..

Косцы подмигнули друг другу. Все ясно: он спал у порога и волки, конечно, перепрыгнули через него. А что

же им было делать? Теперь, по народному поверью, ему вовек не разогнуться.

Шальтык охотно поддакивал. Усевшись поудобнее, он начал подробно расписывать свои ночные приключения.

— Видишь, удрали, проклятые... Да еще чего натворили! Ох, поясница! Вот этими самыми руками их запер... А они через меня сиганули! Правду говорят: коль бедняку в рот мясо попадет, так кровь из носа его зальет... Перепрыгнули, черти, покалечили меня на старости лет!..

И Шальтык в ярости застучал кулаками в дверь погребца.

Бесенбай и Садык захохотали. Увидев, что они вскочили на коней, Шальтык запричитал:

— Ох, ох, попросите председателя прислать кого-нибудь. Я с места встать не могу... Перепрыгнули, проклятые.

— Скажем, скажем... А уж ты, если поймаешь волка, держи за хвост, не выпускай!

Шальтык лежал на траве, и солнце пригревало его спину. Примерно в полдень он поднялся вскипятить воду для чая и почувствовал, что спина почти не болит. Но на волков продолжал гневаться. Уж и обед прошел, и день склонился к вечеру, а он все покачивал головой и ворчал:

— Ведь запер я их, они, черти, окно разбили... перепрыгнули... думали, больше не встану...

Без конца повторяя одно и то же, он сам себя убеждал, что так оно и было.

Наступил вечер, но так никто и не приехал. Старика одолевала тревога при мысли о предстоящей ночи. Вдруг послышался конский топот. На рыжей кобыле прискакала его дочь Айша. Тревогу как рукой сняло, и словоохотливый старик затараторил:

— Слыхала новость про волков? Уж и наделали они беды!..

— Только я вернулась со второго погребца, — перебила Айша отца, соскочив с лошади и привязывая ее в сторонке, — как мне говорят, что вы заболели, волки напугали, что ли... Вот и послали меня узнать, что с вами, да и в погреб заглянуть, все ли там в порядке.

Шальтык не на шутку обиделся: вот как, для колхоза, значит, все равно, что он, что погреб... Старик нахмурился и фыркнул:

— А что там пропадет в вашей пустой яме!

Айша улыбнулась.

Женщина среднего роста, плотно сбитая, сильная, она была по-своему красива. На смуглом лице сквозь налет загара проступал густой румянец. Черные глаза светились умом и добротой.

— Не сердись, отец,—ласково взглянув на него, сказала Айша. — Катпа очень торопил меня, прямо подгонял: скорей, скорей!.. Он даже дал мне наган. Будешь возвращаться ночью, говорит, пригодится.

Женщина показала отцу наган, и Шальтык испуганно отвел дуло в сторону.

— Заряжен? Убери подальше... Вот, оказывается, каков Катпа! Заботится обо мне милый человек. Да убери ты, пожалуйста, эту штуку!

Айша привезла отцу чай, сахар, хлеб.

Темнело. Айше пора было собираться в обратный путь, и она поспешила в погреб. В полумраке осмотрела пустые кадки и сваленные в угол котлы сыроварки. Только было направилась она к выходу, как послышался конский топот.

Шальтык, стоявший у дверей погреба, повернулся лицом к едущим, и через его плечо Айша увидела всадника на красивом гнедом иноходце. Конь был весь в мыле,— видно, прошел немалый путь. За ним подскакали еще несколько человек, кто на саврасом, кто на сером, кто на рыжем коне. И — удивительное дело — лица у всех до самых глаз закрыты платками, а под коленом у каждого зажато ружье.

Сердце Айши дрогнуло от страшного предчувствия. Она тихо прикрыла дверь и притаилась у порога. В погребе стало темно, как в могиле.

Всадники спешили, взяли ружья. Один из них остался в седле и принял поводья у остальных.

Шальтык стоял недвижимо, внутри у него все застыло. Кто эти страшные незнакомцы? Чего они хотят от беспомощного старика?

— Почтеннейшие господа, кто вы такие? — залепетал он.

Худощавый всадник, тот, кто подъехал первым, указал на Шальтыка, крикнув:

— Кулаайгыр!

Названный этим именем толстый приземистый человек в одно мгновение повалил старика, сел верхом ему на грудь, выхватил нож и провел им по голенищу сапога.

Затем, высоко взмахнув ножом, приставил его к горлу Шальтыка.

— Пока жив, говори! Из какого ты колхоза? Кто тут еще есть?

Как ни испугался Шальтык, он понимал, что его не убьют. Зачем он им?

— Я из колхоза «Талдыузек». А вам что надо?

Кулаайгыр, видя, что старик не растерялся, стиснул его плечи и потряс, а затем опять помахал перед ним ножом.

— Ты кто такой? Отвечай живо!

— Я — старый сторож, караулю эту пустую яму. Зовут меня Шальтык.

Худощавый дернул Кулаайгыра, и Шальтыку помогли сесть.

Успокоившись, Шальтык попробовал повести разговор на мирный лад.

— А фамилия моя Кабыгыц, — добавил он, хотя его об этом не спрашивали.

На его слова никто не обратил внимания. Кулаайгыр снова подошел к нему и грозно спросил:

— Это правда, что люди, откочевавшие от вас в прошлом году, возвращаются назад в колхоз?

— Истинная правда! Многие вернулись, обжились...

— А кого из них больше — алтыбаевцев или жаркэ? — властно вмешался худощавый.

— Да из обоих родов возвращаются... А ты, милый, видно, знаешь наших. — Шальтык стал пристально вглядываться в худощавого, но тот отвернулся и замолчал.

«Знакомый голос, — подумал Шальтык, — кого-то он мне напоминает», — но так и не мог вспомнить кого.

А Кулаайгыр продолжал допрос:

— Что же говорят эти новые колхозники? Сыты, довольны?

— У нас большой колхоз, богатый... Молока много... Всем коров, овец дали. Живут по-людски. Кто трудится, тому и хорошо. Куда же им теперь податься?

— А тебе, старик, хорошо сидеть одному в голой степи?.. Ты разве доволен такой жизнью?

— Правду сказать, не жалуюсь...

— И ни в чем не нуждаешься?

— Вот с одежкой плоховато. Не дают. Я, дорогой мой, немало потрудился... Этот погреб сам вырыл, сам теперь его сторожу... А одеться вот не во что. Совсем я

обносился, одни дыры, погляди, какой ветхий халат, еще со старых времен у меня... Кому ни скажешь, обещают — получишь там-то да тогда-то, а давать не дают... Уж и не знаю, что там наш Иван с Сергенбаем думают...

Словоохотливый старик сел на своего конька и готов был говорить до утра, но один из молчавших до того незнакомцев оборвал Шальтыка.

— Ты один здесь? — спросил он гнусаво, явно меняя голос. — Может, есть кто-то в погребе?

— Кому же тут быть? — ответил старик, не запнувшись. — Я сам сторож, кто же меня сторожить должен?

— Только не ври!

— Пусть тебе счастья не будет, если я лгу! Никого тут нет!

Старику так понравилось это хитрое присловье, что он со вкусом повторил еще раз:

— Пусть тебе счастья не будет!

Незнакомцы молчали, и, воспользовавшись наступившей паузой, Шальтык начал рассказывать о вчерашних почных приключениях.

— Вчера-то я был не один. Дурные гости меня посетили. Ночью два волка перепрыгнули через меня, вот я и с места сойти не могу, лежу, как подстреленный. Поясница болит, и не в силах даже в колхоз сходить, еды принести... Вот как бывает.

Шальтык как будто с трудом неловко повернулся и застонал, схватившись за поясницу.

Приехавшие нетерпеливо прервали его:

— Правда, что у вас в колхозе есть порядочные овцы, козы? Много ли? Каков приплод? Куда ходят на водопой?

Особенно подробно расспрашивали о верблюдах: двадцать их или двадцать пять? Где пасутся днем, где стоят ночью? Неужто колхоз держит для них отдельного пастуха? Сколько жеребых верблюдиц? И это не терпелось им узнать.

Шальтык отвечал с виду охотно. Прирост, мол, хороший, скота много, верблюжата здоровы... А вот вопросы о пастбищах и кочевьях обходил как мог: «Я ведь здесь все время, в безлюдной степи... откуда мне знать...» Он почувствовал — тут что-то неспроста.

Стемнело. Стоявший в стороне худощавый подошел вплотную к Шальтыку.

— Послушай, старик, мы тебя не тронем. Забудь, что мы тебе нагрубил, это так, сгоряча... Мы тоже здешние, хотим вернуться. Будь другом, сядь на ту вон рыжую кобылу и поезжай в колхоз, к вашему главному, как его зовут.

— Наш председатель уехал на съезд, а заместитель его — Катпа.

— Вот и поезжай к этому Катпе, скажи, что свои, мол, вернулись, хотят поговорить, рассказать, кто они да что, просят, чтобы их обратно в колхоз приняли. Надо, мол, встретиться... Но только лично ему все скажи и привези ответ. Сделаешь?

— Что ж, светик мой, сделаю.

Шальтык, охая, поднялся и проворчал, хватаясь за поясницу:

— Ох, перепрыгнули, окаянные!..

И пока незнакомцы вполголоса переговаривались между собой, старик засеменил к погребу, поколебался мгновение и шмыгнул туда. В погребе была кромешная тьма.

— Где ты? — зашептал он. — Слышала, что делается? Должно быть, враги!

Он, шаря по воздуху руками, двинулся было вперед, но нога скользнула по доске, и он провалился в яму. Падая, он толкнул Айшу и сбил ее с ног. При этом она выронила наган и пришла в ярость.

— Что ты наделал, несчастный! Горе ты мое!

В поисках нагана Айша порывисто шарила по земле, но наган точно провалился. Прижавшись ртом к самому уху старика, она прошептала:

— Враги? А что за люди?

— Откуда мне знать. Лица у них закрыты.

— А, чтоб тебе! Кто же это, кто? И почему им нужен Катпа? Катпа зачем?

Айша терялась в догадках, мысли путались.

— Пойду, а то хватятся, — помолчав, сказал Шальтык.

Не успел он подойти к двери, как перед его носом чиркнула спичка, и ослепительный в этом мраке, колеблющийся ее огонек осветил лицо старого знакомого — Сугура.

Это был тот самый худощавый, первым подъехавший к погребу. Он, видно, заметил, как старик вошел внутрь, и тихонько последовал за ним. Притаившись у двери, он подслушал шепот, доносившийся из ямы...

...И вот перед ним Айша. Вовремя, значит, приехал. Все складывается как нельзя лучше.

Чиркая спичку за спичкой, он вглядывался в ее лицо.

— В народе говорят — встреча с женьгеи сулит удачу, — усмехаясь, сказал он. — Вот не думал, что мне так повезет!

Айша уже овладела собой. Лицо ее было сурово и спокойно.

— А ты бежал для того, чтобы испытать меня?

— О нет! Но почему ты оказалась здесь, если не ждала меня? Может, по воле аллаха, и это он возвращает мне тебя?

— Я ушла к честным людям, Сугур! Ты не захотел, бежал... Между нами все кончено!

— Не-ет, милая. Не для того я с опасностью для жизни прискакал из самого Китая. Не на такого напала! Мне моя честь дорога, и, пока я жив, жена моя будет при мне!

В голосе его хлопотала злоба.

— Ты опозорила меня! Если не подчинишься, поговорю с тобой иначе.

— Конечно, Сугур! Трудно нам с отцом пришлось, мы голодали, по миру ходили, погибали... Наконец нашли свое место в колхозе... Нам дали работу, и никуда я оттуда не пойду! У меня там муж, такой же труженик, как и я...

Сугур гневно топнул ногой и резко прервал Айшу:

— Где это слыхано, чтобы жепщина из рода жаркэ уходила от живого мужа к паршивому алтыбаевцу? Явился хозяин — слуга исчезни. Я — твой муж! Опомнись! Пусть он только сунется — вмиг станет евнухом!

Голос Сугура звучал грозно. Шальтык все пытался подтолкнуть к нему Айшу, но она отмахивалась...

— Отстань...

Шальтык совсем перетрусил и быстро-быстро заговорил:

— А, пропади ты пропадом! Не видишь, что ли, кто перед тобой? Я тебя выдал за него, он твой муж, ты принадлежишь только ему!..

Но Айша, закрыв лицо руками, упрямо твердила:

— Умру, а к тебе не вернусь... ни за что! Нет, нет!

И, теряя последние силы, медленно опустилась на пол.

Сугур вывел Шальтыка из погребя, закрыл дверь и кликнул своих спутников. Они снова начали выспрашивать старика. Наконец Сугур посадил его на рыжую кобылу и, отведя в сторонку, доверительно сказал:

— Ты знаешь, аксакал, что я твой преданный сын. Я вернулся в надежде найти здесь родных, но, видно, все тут против меня. И самый заклятый мой враг — Катпа. Но ты же видишь — мне негде голову приклонить... Он — враг, а я иду к нему с поклоном... Сам пришел, по доброй воле... Ведь все мы одного рода — жаркэ. Может, они и не простят меня, но пусть знают — я осознал, что заблуждался, и возвращаюсь домой. Скажи ему все это, только ему! Если не пощадит, пусть своей рукой прикончит. Я буду ждать ответа здесь.

— Хорошо! — коротко отрезал Шальтык, ударил ногой лошадь и ускакал. Он приободрился и забыл о своей пояснице. Когда погреб исчез из виду, он чуть придержал коня, обдумывая, что теперь делать. Ехать к Катпе или к тому... другому? Катпа злой, огрызается, вот как утром, когда Шальтык сказал ему насчет волков... А тот понятливее, добрее. Да, лучше к тому... — Облегченно вздохнув, он направил коня в сторону и рысью поскакал на овцеводческую ферму к Самату.

А Сугур вернулся в погреб... Пробыл он там недолго, вышел один, запер дверь на засов и еще подпер ее тем же обломком жерди, которым Шальтык оборонялся от волков. После этого подошел к своим спутникам. В полном молчании все вскочили на коней... С треском ломая сухой чий, кучка всадников вскоре растворилась в ночной мгле...

В долине Талдыузек наступила тишина.

3

— Шагай, шагай, шевели ногами. Ишь, вроде байской жены стала — толстая, еле ползешь! — смеясь, кричал бригадир чабанов Берды. Он даже остановился, поджидая Даметкен, идущую с пустыми ведрами.

Его слова подхватил Сатай из третьей бригады и мастерица по стрижке овец Аяжан.

— Нашу Даметкен не жир, а сила к земле гнет, — смеясь, сказала она.

— А тебе, тощему, завидно, — добавил Сатай.

Вот и сама Даметкен подошла. Широкое спокойное лицо, уверенные движения.

— Хожу, может, и тяжело, медленно, а на поле кто кого — посмотрим, — рассмеялась она.

Солнце только взошло. Еще дремлет долина Талдызек. Ни малейшего ветерка. Густые заросли чия стоят неподвижно. В этой утренней тишине особенно звонкими кажутся голоса людей. Высоко в небе льется песня жаворонка.

Чабаны, доярки с ведрами, колхозники, вооруженные ножницами для стрижки овец, направляются в ближайшую кошару — от юрт до нее всего каких-нибудь двести шагов.

Такова уж участь Даметкен, что Сатай и Берды вечно подшучивают над ней, но не зло, не обидно, а добродушно. Вот и сейчас они хотят оставить за собой последнее слово.

— Э, нет, сегодня, пожалуй, не померяешься силой, уж больно ты сегодня кислая.

В словах Сатая явно крылся какой-то намек.

— Да, не выспалась... До ночи в школе просидела.

— Да уж конечно, во всем виновата школа, понимаем! — усмехнулся Берды.

Муж Даметкен умер год назад. Одной приходится детей воспитывать, и все знают, какая она хорошая мать; никто не заподозрит ее в легкомыслии. Но почему же не пошутить? Да и она сама охотно откликается на шутку.

— Нет, правда, — продолжает она, не гнутся пальцы, как деревянные, не выходят буквы, да и только. И дома еще долго пыхтела, целый лист бумаги измарала.

Женщины наперебой заговорили о том, как им трудно дается письмо. Тут уж и Берды стал серьезным.

— Нам Самат говорил: руки — для работы, голова — для ученья, раскрывай глаза пошире — поймешь, что за жизнь в колхозе.

Даметкен напомнила выступления Самата при открытии ликбеза: «Голова и руки должны работать согласно». И хотя она понимала глубокий смысл этих слов, ее расшемило пришедшее вдруг в голову сравнение.

— Точно в драке... Правда?

Она прыснула, а за нею и другие женщины. Только Аяжан сдержанно улыбнулась. Школа ликбеза ей очень понравилась. Нравилось и то, что постепенно все стали

там учиться. Аяжан была обычно молчалива, сдержанна, но уж если что говорила, то всегда к месту.

Вот и сейчас, подумав над словами Даметкен, она высказала свою заветную мысль:

— Если у человека в голове знания, а в руках умение, и дело спорится. Человек сам по себе — целый колхоз.

Берды поддержал ее:

— Верно. Добавь только: хороший колхоз все равно что здоровое тело.

— И правда, — серьезно сказал Сатай, — вот, например, наша ферма. Голова ее, к слову сказать, — Самат, а тело — шея, руки, ноги — мы. Разве голова гордится перед ногами, что она голова? Наоборот, она заботится о них.

— И опять-таки, — подхватила Даметкен, — занози хоть мизинчик, голова почувствует — больно, и давай его лечить.

— Да, каждому все его тело дорого, — продолжала Аяжан. — Ни голова, ни ноги не скажут: «Я важнее...» Так и наш колхоз — голова со всем телом заодно.

— Пусть живет и здравствует! Дай бог ему благополучия! — воскликнула молчавшая до сих пор немолодая приземистая Жамал.

Она была из тех, кто покинул родные места, не желая вступать в колхоз. А прошлой зимой вернулась, изможденная, голодная, с маленьким сыном на руках. Ее приняли в колхоз, и там она нашла свое счастье.

— Слышите, какие у нас женщины! — закивал головой Берды. — Вот что значит грамота!

— Это все Самат сделал, — подхватил Сатай, — он читал газеты, бывал на колхозных съездах.

— Дело не только в Самате, — сказал он, — ты смотри в корень! У нас теперь навели порядок. А чего только люди не терпели раньше! Откочевники наши голодали, холодали, ноги в кровь разбивали... Сколько людей ушло куда глаза глядят!

— Пропади оно пропадом!.. — загомонили в один голос женщины.

— Чуть совсем тогда не погибли...

— А здесь помогли нам, как родных приняли...

Берды поднял руки, словно речь собирался произносить, его голос звучал торжественно.

— А теперь у нас, бывших нищих, четыре тысячи овец. И каких! Наши овцы — лучшие во всей округе! Да

еще у каждого в хозяйстве по пяти штук. А у кого нет своей коровы? Только у лодырей. Да, когда голова на месте, и тело в порядке!

В это время из-за угла большого хлева вышел Хасен.

— Голова на месте, а вот и наш зоркий колхозный глаз, — рассмеялась Даметкен, показывая на него.

Женщины так и прыснули: здоровенный рослый парень и вдруг — глаз.

— Конечно — глаз! Нашу ферму охраняет! — сказала Аяжан.

Хасен недоуменно посмотрел на нее. О чем они говорят?

— Мы обсуждаем наши дела, хорошо ли ты нас охраняешь, — сказала Даметкен и пошла в хлев.

Хасен последовал за ней. Он, оказывается, ждал бригадиров, хотел вместе с ними осмотреть скот.

Из-за загородки доносилось разноголосое блеяние овец. Оно звучало монотонно, словно они настойчиво повторяли один и тот же вопрос или жалобу.

Козлята и ягнята отзывались овцам тонким звучным блеянием.

Так началось на лучшей животноводческой ферме колхоза Талдыузек то самое утро, когда Шальтык запер волков в своем степном погребе.

Хасен, Берды и Сатай занялись осмотром скота, Даметкен и другие доярки привязывали к ярму дойных коз и овец. Аяжан точила ножницы для стрижки.

В колхозном стаде было много породистых белых коз и овец — каракульских и линкольнских. Они славились плодовитостью и жирным, обильным молоком. Из этого молока варили уже не брынзу, как раньше, а лучшие сорта сыра — голландский и тильзитский.

Хозяйкой сыроварни была Айша; на ее же обязанности лежал присмотр за погребами.

Сегодня Айша находилась на центральной усадьбе, отправляла в город готовые сыры.

Главный доход колхозу давало молоко: овец доили два раза в день, рано утром, перед выпасом, и вечером, после возвращения с пастбища...

В это утро, как и всегда, Даметкен начала доить в дальнем углу двора. Благополучно подоив трех овец, она подошла к белой козе и вдруг замерла от испуга: вымя козы раздвоилось в ее руках, а сама коза, оседая задом, вся дрожала от боли.

Приглядевшись к ней, Даметкен пронзительно вскрикнула: вымя оказалось рассеченным, из него текло молоко, смешанное с кровью. На крик Даметкен подбежали другие доярки. «Милые, да что же это такое? Что за напасть?» — растерянно воскликнули они.

Даметкен молча стала проверять всех коз и овец в своем ряду. Остальные последовали ее примеру. То и дело доносились:

— Ой-ой! И у этой тоже!

— Кто же это сделал?!

— Чтобы они сдохли, негодяи...

— Вот беда...

— Несчастье какое...

— Чья-то вражеская рука искалечила тридцать дойных коз и овец.

Жамал рыдала:

— Что же это такое творится, господи!

— Да брось ты вопить, — оборвала ее Даметкен. — Эй, охрана, чего зевали?!

Хасен и Сатай осматривали и считали баранов. В стороне стояли два каракульских с повисшими задами. Стадо только начало выходить из хлева. Хасен и Сатай во все глаза глядели на большого серого барана; он с трудом передвигался, волоча зад. Увидев это, Сатай схватил его за загривок и вывел из стада к тем двум.

— Что за болезнь их одолела? — кричал он.

— Не болезнь это... — ответил Хасен, не отрывая взгляда от баранов. — Похоже, что их охолостили!

Он зашатался и присел наземь, чтобы не упасть. И в ту же минуту его с воплями окружили женщины.

— Хасен, тридцать овец попорчено... вымя рассечено!..

— Враги орудовали, не иначе...

— Чтoб они и в гробу не знали покоя, злодеи!..

Хасен, бледный, подавленный обрушившимся на колхоз несчастьем, лег в отчаянии на землю и плакал, не вытирая слез:

— Горе, горе!.. Лучше бы мне умереть!

Через минуту все узнали о несчастье. Со всех сторон сбежались доярки, бригадиры.

— Только бы поймать злодея, — кричал, потрясая кулаком, Берды. — Были бродягами — стали людьми, а врагу завидно. Знаем, чье это дело, — бая и его банды!..

Жалобно блеяли раненые животные: шерсть на них слиплась, они стояли сторблвшнсея, жалкие... Больно было смотреть на них. Аяжан отвернулась.

— Но откуда пришли негодяи? — спросила она.

— Да, где наш дозор?

— Где охрана?

— Кто сегодня ночью дежурил? — подступило несколько человек к Хасену.

Он рыдал, как ребенок, обхватив голову руками и раскачиваясь, словно от боли.

Появился заведующий фермой Самат: стройный, смуглый, красивый юноша в чистой белой рубашке, с паганом на боку. Легкой быстрой походкой, гибкой грацией он напоминал молодого коня. Даже щетинка черных, коротко остриженных волос, ежиком стоящих на голове, говорила о здоровье и силе. Да и весь внешний вид молодого человека, манера держаться убеждали в том, что его нелегко сломить. Не раз уже доказывал он это, всегда находя разумный выход из самого трудного положения.

Вот и сейчас при виде подтянутого, энергичного Самата все облегченно вздохнули. Уж он-то чем-нибудь поможет! Его обступили и наперебой стали рассказывать о происшедшем. Главное он и сам знал, но выслушал всех внимательно. Затем молча осмотрел рамы кошар и лишь потом подошел к всхлипывающему Хасену.

— Что с тобой? Маленький, что ли? Хасен, опомнись! — тронул его за плечо.

— Оставь его, он убит горем! — воскликнула Даметкен. Она всем сердцем сочувствовала Хасену.

Но видно было, что большинство настроено иначе. Колхозники стояли, угрюмо опустив головы.

Вдруг произошло нечто неожиданное и странное: Самат громко расхохотался и энергично встряхнул Хасена.

— Ну и трус! Какой же ты малодушный человек! Я знаю, отчего ты плачешь — думаешь, что вся ответственность на тебе. Так знай же: прежде всего отвечаю я, да и все мы отвечаем за все, что бы ни случилось! А потом, мы же хорошо тебя знаем, кто ты и откуда, у нас такими людьми не бросаются. Возьми же себя в руки, как не стыдно... Вот бы Айша застала тебя в таком жалком виде, что бы она сказала! А кстати, где она? — спросил Самат, обращаясь к женщинам.

— Айша в колхозе, а не то подняла бы его на смех.

— Так вот, товарищи, успокойтесь, идите работать. Мы распутаем это преступление... Не в первый раз нас запугивают, вредят нам... Ничего, справимся и с этим!

В эту минуту прибежал Катпа. Видимо, ему уже успели сказать о случившемся. Он был бледен, и на сером его лице еще явственней выступили большие круглые оспины.

Катпа угрюмо кивнул Самату.

— Все знаю, не одних рук тут дело, работает целая шайка!

— Как знать, — пожал плечами Самат. — Трудно сразу определить. Мне еще не ясно, надо подумать...

— «Как знать», — презрительно повторил Катпа, — дело ясное: действует байско-кулацкая организация, и здесь надо искать ее корни, водой залить их логово!.. А ну, расходитесь, ступайте работать! Какой толк обсуждать сейчас? — бросил он через плечо Самату. — Сатай, Берды, подождите! Поговорим с активом.

Катпа подождал, пока все нехотя разошлись, а затем, в упор глядя на Самата, спросил:

— Ну, так кто тут действовал, как ты считаешь?

Самат нахмурился.

— Сейчас ничего еще не могу сказать.

— Но ведь это стряслось на твоей ферме. Это твои кадры! Где же большевистская бдительность? Собираешься ждать, пока преступники удерут, граница — рядом... Говори, кого подозреваешь?..

— Пока еще не знаю, — упрямо твердил Самат.

— Ах, не знаешь, — иронически протянул Катпа. — Впрочем, ты человек тут новый... — заметил он многозначительно и затем, обращаясь к Берды и Сатаю, добавил: — Тот, кто не хочет смотреть в корень, создает препятствия для своевременного принятия мер.

Этой газетной фразой, сказанной нетерпеливо и резко, он явно хотел бросить тень на Самата.

— Ах, так, — сказал Самат, пристально взглядываясь в Катпу, — ты ведь находишься здесь дольше всех, кого же ты сам подозреваешь?

Катпа ответил не сразу. Подумав, твердо сказал:

— Начальника охраны Хасена. Он в шайке, его надо арестовать немедленно!

Этого Самат никак не ожидал.

— Вот как, — удивленно сказал он и обратился к бригадирам: — Что вы об этом думаете?

— У меня против него и язык не повернулся бы, — ответил Сатай. — Хасен — босоногий батрак, пришел из низов... Мы сами его выдвинули. Никто за ним не замечал ничего дурного.

— Враги всегда действуют скрытно! — перебил с возмущением Катпа. — Времена изменились, из низов-то они к нам и подбираются.

— Кто знает? — заколебался Сатай. — Каждому в душу не влезешь...

— Пусть расследуют, — вставил Берды. — Это дело следователя. Окажется ни при чем — оправдают.

— Я против! — резко сказал Самат, уверенный в полной невинности Хасена. — Никаких подозрений он не вызывает. С такими людьми, как Хасен, с маху не расправляются.

— Ты оппортунист, — закричал взбешенный Катпа. — Но я знаю свой долг, и я его выполняю! Сейчас же еду в район...

Тут уж и Самат вскипел:

— А я не допущу произвола, перегибов! Не дам арестовать Хасена!

— Подумаешь, перегибы!.. А кто, как не ты, собрал в колхоз всех баев под видом раскаявшихся беглецов?! — С языка Катпы так и полилась грязная ругань, в ярости он вопил: — Ты, ты прикрываешь классовых врагов!.. Перед правлением ответишь!

— Не ври! — вскочил Самат. — Может, скажешь, что советская власть тебе ближе, чем мне?!

— А, чтоб ты пропал! Кто здесь боролся с баями, уничтожал этих гадов? Ты, что ли? Погоди, дружок, раскрою твои делишки! Доберемся и до тебя.

— Очень хорошо! Действуй!

— Сейчас дело ясное, преступник найден! Не впервой уничтожать гадючьи норы. Ишь ты... Так и юлят, извиваются, жалят...

— Брось врать! — снова вспылал Самат.

Катпа подскочил к нему с наганом в руке. Берды и Сатай схватили обоих, но они так и рвались, готовые уничтожить друг друга.

Понемногу остыв, Катпа высвободился из железных рук Берды, вскочил на лошадь и ускакал в район.

В районный центр позвонил тут же и Самат. Бледный, взволнованный, он сообщил о происшедшем. Его

собеседник Паншин слушал внимательно, спокойно, с выдержкой военного. Выслушав, дал указания, добавив:

— Преступники несомненно в колхозе. Надо думать, что в ближайшие двое суток все выяснится. Они, наверное, появятся опять. Будь начеку. Усиль охрану! Завтра сообщи новости.

Паншин хорошо знал Самата, верил ему, был посвящен в дела фермы.

Самат в точности выполнил все указания Паншина, действовал деловито, но был взволнован, растерян. Нервно расспрашивал каждого:

— Заметили что-нибудь подозрительное?

Впервые в жизни его одолевали сомнения. «А не ошибаюсь ли я, ведь чужая душа — потемки? Может быть, я и вправду потерял бдительность? Вот ведь Берды и Сатай тоже растерялись. Возможно, что и мне теперь не доверяют... А как остальные?» Раздираемый этими мыслями, Самат все видел в мрачном свете. В таком состоянии он провел день. Вся ферма уже знала, что сказал Катпа о Хасене. И люди сторонились его, боялись разговаривать с ним. Не удалось Хасену поговорить и с Саматом: тот слишком занят был своими мыслями и делами.

После обеда работники фермы пили чай у Даметкен. Конечно, разговор шел о событиях дня.

— Черт его знает, чья правда: Катпы или Самата? У того и другого голова на месте, — сказал Сатай.

— Катпа раньше называл Айшу «моя жесир», — вдруг вспомнила Даметкен, — и, когда она вышла за Хасепа, он был недоволен... Может, затаил злобу в сердце.

Все знали, что Даметкен, относившаяся к Самату с особым уважением, на его стороне, да и Хасену она вполне доверяла.

— Айша частенько говаривала, — подхватила Аяжан, — что Катпа грозился: за измену, мол, ее под суд надо отдать... Впрочем, сейчас дело не в этом, — осторожно добавила она.

— Катпа здесь старожил, с самого основания колхоза... Да и вообще Катпа — это Катпа, — многозначительно стрезал Сатай.

— Ну, Катпа и на коне и под конем побывал, — задумчиво сказала Даметкен.

— Но действует он наверняка, — заметил Сатай. — Перед ним всегда какая-то цель. Он к чему пристанет — не отступит, пока своего не добьется. С ним лучше не

связываться. Сколько людей поломало па нем зубы, а он всех съел... И ведь люди-то были с характером. Наверное, и сейчас он не зря говорит: что-то знает...

Люди поговорили, поговорили, но так ни до чего не додумались и разошлись.

Наступила ночь. Колхозники укладывались спать. А Самат сидел один у себя и читал газету. Вдруг он услышал конский топот, кто-то подъехал к его юрте, спешился и толкнулся в дверь. Вошел Шальтык, расстроенный, испуганный, дрожащий...

— Что случилось?

— Ох, беда! — заикаясь и путаясь в словах, заговорил Шальтык. — Сугур прискакал... Из самого Китая... хочет, говорит, в колхоз... если примут... Но нет, ой, нет, он замышляет что-то плохое. Их четверо, меня повалили, угрожали, что зарежут...

Самат, не дослушав, снял телефонную трубку, чтобы позвонить в район. А Шальтык так и сыпал:

— Велел передать... самому Катпе, непременно ему, что были они врагами, а теперь добровольно вернулись... казнить и миловать в его воле. Не надеются, что их пожалеют, но ждут там, у погреба, ответа. Я не поехал к Катпе, а прямо к тебе. Ой, поясница! — Шальтык застонал. — Вчера волки перепрыгнули, еле двигаюсь... А вот приехал...

Самат тем временем нервно стучал по рычагу телефонного аппарата: в районе не откликались.

До его сознания доходили лишь обрывки слов старика, а тот, не имея представления о телефоне, продолжал болтать:

— Понимаешь, дорогой, всю ночь не давали спать. На рассвете глянул — забрались в погреб, скачут там, копошатся... Что мне с ними нянчиться! Запер я погреб крепко-накрепко...

Но тут ожил телефон, и Самат заговорил в трубку:

— Все, как вы говорили, негодяи поблизости. У второго погреба, Талдыузек... Да, сейчас... Знаю.

А Шальтык продолжал:

— Там Айша была... Они ее заперли. Ведь Сугур бывший муж... Круто с ней обошлись. Что-то будет. Страх какой!

— Сам все сделаю, — говорил Самат по телефону, — не беспокойтесь. Нас хоть и мало, справимся... Есть!

Положив трубку, Самат повернулся к Шальтыку, а тот не умолкал:

— Схвати ты их... Захотят объяснить — пусть раньше оружие положат! Они ведь враги. Уже бывало, знаем: угоняли коней и верблюдов... Понравилось!..

Шальтык не мог угомониться, но Самат его оборвал и кликнул Хасена, Берды, Сатая, Даметкен. На его голос подошли также Аяжан и Жамал.

— Товарищи, враг объявился! — сурово сказал Самат. Посыпались восклицания:

— Кто это, кто?

— Слава богу!

— Кто он, окаянный?

— Сугур. Прискакал из Китая.

Все зашумели, заговорили.

— Тихе, товарищи, надо действовать. Седлайте коней! Со мной поедут Хасен и еще двое. Остальные остаются охранять скот; с ними Берды и Сатай.

— Кто же двое-то? Если мы останемся, мужчин-то у нас больше нет, — растерялся Сатай.

— Я еду! — решительно сказала Даметкен. — Никому не уступлю! Собаку Сугура своей рукой сниму с коня. Она схватила винтовку. В тот же миг взяла в руки винтовку и Аяжан.

— Собачья смерть тому, кто больше о своей шкуре думает, чем о родном колхозе! — воскликнула она.

Откуда-то донесся крик:

— Где верблюды? Ни одного на месте!

«Все найдем, все вернем!» — поклялся самому себе Самат...

По зарослям чия промчались четыре всадника. В спешке они забыли о Шальтыке, оставили его на ферме. Не доезжая до погребя, они бесшумно спешили и привязали коней. Затем окружили погреб. Внезапно из-за двери грохнул выстрел.

— Эй, кто там? — крикнул Самат. — Сдавайся, все равно не уйдешь!

Ответом была новая беспорядочная стрельба. Хасена, ближе всех стоявшего у двери, ранило в левую руку.

— Стреляйте, не мешкайте, — дико вскрикнул он. — Здесь чужаки или их сподручные!..

И тут прозвучал женский голос:

— Мертвую возьмете...

Что такое, голос Айши? Вся кровь бросилась Хасену в голову. Измена? Сугур, значит, появился не случайно. Хасен вспомнил об овцах и козах с рассеченным выменем, об искалеченных баранах. И во всех этих злодействах виновата Айша! Непостижимо, чудовищно!

Самат, Даметкен и Аяжан, услышав женский голос, опустили оружие.

— Перестань стрелять, — воскликнул Самат. — Здесь свои!

Но стрельба не прекращалась, и Самат, к удивлению всех, стал считать выстрелы.

Но вот курок щелкнул раза два-три, а выстрела не последовало, настала тишина. «Кончились патроны», — подумал Самат. Он раскрыл двери и решительно шагнул в погреб; за ним двинулись остальные. Яркий глазок его электрического фонарика осветил помещение.

О том, что там произошло далее, мы уже знаем.

4

Давно сидел в канцелярии районного суда заместитель председателя колхоза Катпа Кожалаков и беседовал с судьей Садыровым. Оба были старейшими работниками в районе, и это сближало их. Даже в манере держаться, говорить у них было много общего. Катпа выложил перед Садыровым все свои подозрения. Он обвинял не только Хасена, но и Самата.

— Хасен подставное лицо, дутый активист, выдвинутый Саматом, — сказал он в заключение. — В нужный момент Самат действует его руками, а потом, если не получается, выгораживает его. Они душа в душу живут... Враги теперь всегда так действуют. Да и все там нечисто: Хасен женат на бывшей жене Сугура... Того самого, что бежал... И такую женщину они сделали ударницей! Хо! Ее-то я хорошо знаю, коварная, злая, суцая змея! Она всех вокруг пальца обведет, ждет не дождется Сугура!.. Появись он только — она весь колхоз спалит по одному мановению его пальца. Вот с кем водятся Хасен и Самат. Разве не подозрительно все это? Несчастье на нашей ферме — их рук дело. Кто без их помощи мог со стороны явиться и все это так ловко проделать? Никто! Я пришел к вам не только по долгу службы, но и как честный коммунист, болеющий за колхозное добро. Всех

подозрительных людей в нашем колхозе нужно немедленно арестовать и хорошенько допросить!..

Судья был покорен этими доводами. Задав еще несколько вопросов, он сам составил протокол, сдобрив его своими дополнениями, и вызвал молодого следователя Мурата, недавно приехавшего в район. Ознакомив его с делом, он хмуро заявил:

— Нельзя медлить ни минуты, возьми с собой трех милиционеров и отправляйся! Катпа поедет с тобой.

Солнце уже клонилось к западу, когда они выехали из районного центра. Мчались с такой быстротой, что, пока доскакали до фермы, лошади покрылись мылом. Узнав, что Самат и Хасен отправились к погребу, Катпа, и без того взбешенный, пришел в ярость. Не дав и минуты передохнуть загнанным лошадям, прибывшие отправились дальше. Катпа изо всех сил хлестал своего коня.

5

Что же произошло в погребу, когда Сугур обнаружил там Айшу? Воспользовавшись его уходом (вспомним, что он увел из погреба ее отца, отсылая его к Катпе), она снова лихорадочно стала искать наган. Но тут Сугур возвратился и заговорил тоном мужа, не терпящего возражений:

— Прежде всего, Айша, отдай оружие! Уверен, что оно у тебя есть.

О, как оно ей самой было нужно, но где его искать?!

— Какое оружие? Ничего у меня нет!

Сугур рванулся к ней и грубо схватил за руки, затем непристойно ощупал ее...

Айша леденела от гнева и возмущения, но была бессильна что-либо сделать.

— Послушай, — решительно сказал Сугур, — ты — моя жена. Я приехал за тобой, и ты вернешься ко мне! Хочешь, не хочешь, увезу!

— Нет, — отрезала Айша, — никогда! Наши пути разошлись навек!

— Это твое последнее слово? Может, все-таки подумаешь, образумишься?

— Нет и нет!

Сугур уже не слушал. Он бросился на нее, повалил на пол, вывернул ей руки и скрутил веревкой за спиной.

Айша не проронила ни звука.

— Не хочешь уходить от нового мужа? Понимаю, — с издевкой сказал Сугур. — Да я и не возьму обратно неверную жену. Я иначе расправлюсь с тобой. Разом отблагодарю за все услуги... Брошу на спину лошади, за седло, увезу в Китай, продам за несколько голов скота какому-нибудь старику в младшие жены. Вот мой приговор, и я буду не я, если его не исполню. Я поклялся. Дай только срок! Скоро вернусь!

Айша молчала; Сугур вышел, яростно хлопнув дверью.

Сколько прошло времени? Айша уже ничего не соображала. Стремясь высвободить руки, она вся извивалась, переворачивалась то на спину, то на бок. Лишь глубокой ночью ей удалось вытащить из пут правую руку, кровоточащую, изрезанную жесткой веревкой.

Злость придавала ей силы, она решила стоять насмерть и, ободренная этим решением, снова стала искать нагаи...

6

...Когда Хасен занес нож, чтобы поразить им Айшу, его схватил за руку Самат, предотвратив смертельный удар.

Айша лежала, застыв от ужаса. Так длилось несколько мгновений. Но вот она зашевелилась и отвела сбившиеся на лицо волосы. Все увидели, что руки у нее в кровавых порезах.

— Я думала, что Сугур пришел за мной, — простонала она, растерянно глядя на Хасена. — Он грозил, что вернется, заберет. Я сказала, что живой не дамся... Он связал меня... — Айша протянула свои кровоточащие руки и зарыдала.

Первой бросилась к ней Даметкен, обняла, подняла, с земли, приговаривая:

— Милая моя, бедняжечка, знала я, что ты ни в чем не виновата... и в мыслях не было, что ты с врагом заодно...

В это мгновение послышался конский топот, и все схватились за ружья.

— Вот они, проклятые! — вскрикнула Айша и бросилась к Хасену.

Самат взвел курок и приложил ухо к двери, напряженно прислушиваясь.

— Эй, Самат, Хасен, вы здесь? — прозвучал из-за дверей голос Катпы. — Отвечайте! Кто там?

Сунув фонарь в руки Айше, Самат распахнул дверь.

— Да, это мы!

Катпа, три милиционера и следователь Мурат вошли в погреб. Следователь коротко объяснил, почему они приехали.

— Вам, — сказал он, обращаясь к Самату и Хасену, — придется поехать сейчас в район, там расследуют ваше дело, и во время следствия вам придется быть под арестом.

Женщины так и ахнули. А Самат, тяжело дыша, резко бросил Катпе:

— Это твои проделки!

— Это правосудие! — нагло усмехаясь, ответил Катпа.

Самат и Хасен все еще держали винтовки в руках, и милиционеры с опаской подошли к ним, явно намереваясь их обезоружить.

— Успеется, — сказал Самат. — Мы не сбежим. А вот раньше придется схватить кое-кого пострашнее. Затем мы сюда и явились. Сейчас тут появится шайка разбойников.

— Брось болтать! — в один голос крикнули следователь и Катпа. — Вы оба арестованы!

— Сейчас мы никуда не двинемся, — решительно заявил Самат.

И в то же мгновение где-то совсем близко защелкали выстрелы. Катпа и следователь растерянно переглянулись.

— Что это? — дрожа, пробормотал Катпа.

— Должно быть, перестрелка с врагами. Там — Сугур.

И Самат испытующе посмотрел на Катпу.

Стрельба усиливалась, слышались чьи-то выкрики, топот...

Имя Сугура, видимо, встревожило Катпу, его руки дернулись, но он тут же пересилил себя, собрался с духом и спокойно сказал, обращаясь к следователю:

— Ну, пора идти! — и направился к двери.

— Нет, ты не уйдешь! — твердо сказал Самат, в один миг очутившийся у двери. Переложив винтовку в левую руку, он правой схватил наган. Глаза его грозно сверкали. Все недоуменно переглядывались, а Катпа так и застыл на месте. С ненавистью глядя друг другу в глаза, Катпа и Самат словно вели между собой какой-то молчаливый,

только им понятный спор. Но и сейчас Катпа снова овладел собой.

— Видите, что за пташки! Это вот — жена Сугура, мужа ждет не дождется! И меня же хотят предать. Эй, Самат, хочешь меня погубить? Еще увидим, кто кого!

А шум и топот все приближались. При последних словах Катпы дверь с треском растворилась, и в погребу появился запыхавшийся, встрепанный Шальтык. Ничего не понимая в происходящем, он зашептал:

— Что вы все тут делаете? Где этот негодяй? Еще не схватили его?! Бегите туда, там стреляют разбойники!

Увидев наган, направленный Саматом на Катпу, он совсем растерялся.

— Что здесь происходит? Обалдели вы, что ли? Сугур поблизости, а они спрятались!..

Но никто не обращал внимания на старика. Все прислушивались к тому, что происходит за дверью. Топот раздался у самого погреба, затем коней рывком остановили, послышался беспорядочный шум, очевидно, всадники спешили, и дверь распахнулась снова. Вошел Паншин с фонарем в руке, за ним, понуро опустив головы, следовали Сугур и Кулаайгыр, в открытых дверях теснились несколько вооруженных красноармейцев.

Паншин подошел к Самату и, вскинув руку к фуражке, отчеканил по-военному:

— Ну вот, все кончено!

— Поздравляю! Но до конца еще далеко... Каша только заваривается...

Паншин ничего не понял, а Самат кивнул в сторону Катпы.

— Вот Катпа привел следователя, милицию арестовать меня и Хасена.

— Что за дичь! — воскликнул Паншин.

— Я был бы одиннадцатый из талдыузекских работников, — продолжал Самат, — которых загубил Катпа. Он хочет свалить на меня черные дела этих преступников!..

И Самат кивнул в сторону Сугура и Кулаайгыра.

Тут вдруг осенило Шальтыка, до сих пор державшегося в стороне. Он оттолкнул Катпу, стоявшего у него на дороге, и подскочил к Сугуру.

— А, Сугур, видать, не даром ты меня к Катпе посылал... «Только к Катпе», — долбил ты... Теперь-то я все понял...

С победоносным видом старик смотрел то на Самата, то на Паншина.

— Боже, что делается! — зашумели кругом.

— Вот для чего ты послал меня сегодня в погреб, — заговорила Айша. — Видно, очень хотел услужить своему дружку Сугуру. А, чтоб ты пропал! Все теперь поняла.

Катпа еще выкручивался, пробовал отвести от себя подозрения.

— Не говори глупостей, Сугур — мой злейший враг!

И тут произошло нечто неожиданное: Сугур подошел к Катпе и с издевкой сказал:

— Хоть мы с тобой и враги, но давай, что ли, поздороваемся, Катпа!

— Тише! — Подняв руку, Паншин приказал прекратить разговоры. Сугура и Кулаайгыра увели под конвоем, ушли также милиционеры со следователем. Тогда только Паншин повернулся к Катпе.

— Катпа Кожелаков, — спокойно и твердо сказал он, — вы отправитесь немедленно с нами в район.

Поколебавшись мгновение, Катпа двинулся к выходу.

Колхозники, потрясенные событиями, молчали. Хасен сидел на бочке, поддерживая раненую руку, из которой все еще сочилась кровь. События развивались так стремительно, что все, да и он сам, забыли о его ране, а прошло уже около получаса. Смертельная бледность покрыла его лицо, и Айша с криком бросилась к нему.

— Прости, дорогой! Я виновата, ошиблась!.. Но ведь пришлось защищаться от этой гадины — Сугура!

Хасен ласково гладил ее по голове здоровой рукой, пока Даметкен и Аяжан перевязывали рану белым лоскутом, оторванным от рубахи Самата.

Прошло два дня. В закатный час из районного центра на рыжей, хорошо упитанной лошади выехал всадник. За седлом свешивалась туго набитая переметная сума. Всадник готовился к длительному пробегу к Тарбагатайским горам. Он ехал крупной рысью, все время погоняя коня и оглядываясь назад.

В то же время по другой улице, наперерез всаднику, тоже верхом, спешили двое военных. Всадник на рыжей лошади и военные чуть не столкнулись на перекрестке, и ему пришлось осадить коня. Остановились и военные.

— Гражданин, вы судья Садыров? — спросил один из них.

Поняв, что все проиграно, что восниные встретили его не случайно, он пробормотал:

— Да, я Садыров.

— Вас-то нам и нужно! Поворачивайте назад!

Арест Садырова помог окончательно разобраться в темном деле Сугура. Он, оказывается, появился в округе за два дня до решающих событий. Вместе с Катпой они выработали план действий. Они думали одним выстрелом убить нескольких зайцев: им нужно было искалечить скот, свалить вину на Хасена и Самата и похитить бывшую жену Сугура, покинувшую род жаркэ и ушедшую к «грязному алтыбаевцу». Вот для чего послал Катпа в погреб именно Айшу. А наган он ей вручил по просьбе самого Сугура, который рассчитывал таким путем заполучить оружие. Им и в голову не приходило, что неопытная женщина попробует сама воспользоваться наганом, — где уж ей!

Не в первый раз Катпа, Сугур и Садыров применяли эти коварные методы, пользуясь тем, что в колхоз перекочевало много новых людей, которые не знали, что происходило здесь ранее.

Долго удавалось скрывать злодеям следы своих гнусных дел... Но справедливость восторжествовала!

К ВЕРШИНАМ

1

Ночь. Обложив полнеба, над аулом черными лохмотьями нависли тучи. Взлетела пыль, забились, захлопали на юртах тундуки. Ветер крепчал. Вдалеке засверкали молнии. Прогрохотал гром. В неверном свете молнии на миг обозначились все семь юрт аула.

Края плотно сбившейся отары зашевелились. Овцы беспокойно вставали, отряхивались. Черно-пегий сторожевой пес и две желтые суки с яростным лаем закружили вокруг аула.

Посередине загона на рваной попоне сидела Райхан, укутавшись в ветхий стеганный халат.

— Айт! Айт! — громко подзадорила она собак.

В Большой юрте встревоженно поднялась в постели костлявая байбише. Посмотрела на тундук, прислушалась к скрипу тонких жердей, скрепляющих купол юрты. Кряхтя поднялась, оделась и вышла наружу.

— Лежит себе около токал, и горя ему мало, — проворчала она и, прокашлявшись, закричала истошным голосом: «Айт! Айт!» Собаки, услышав ее, залились с новой силой. А байбише, повернувшись к юрте соперницы, кричала все громче и громче. От злости сводило скулы, сжимались сухие кулаки...

А в этой юрте за проснувшимся от звонкого крика Райхан стариком с тревогой следила женщина, куда молоде и пригляднее байбише. Вот старик встал, набросил на плечи бархатный халат и пошел к выходу. Токал, как тень, последовала за мужем до самого порога.

— К молоденькой потянуло, — пробормотала она подавленно, глядя, как старик идет к кошаре.

Райхан сидела неподвижно, словно не замечая подошедшего. Старик тронул ее за рукав, и Райхан молча повела плечом, показывая, что она бодрствует. Тот что-то недовольно пробормотал, но вместо ответа она отвернулась, вздохнула и уперлась подбородком в колени. Когда он снова наклонился над ней, Райхан вся съежилась, собралась в комок: тело напряглось в молчаливом протесте. Старик попял, выпрямился.

— Опять нашло на тебя? — злобно закричал он. — Ничего, не сдохнешь! Молодая, здоровая! Не чужкое стережешь — свое! Смотри не засни!

Так и не дождавшись ответа, он нехотя заковылял прочь.

Райхан сидела, крепко зажмурив глаза. Черное небо, словно распоротое посередине, стало постепенно светлеть. И замечтавшейся Райхан вдруг показалось, что оттуда, из уходящей тучи, на нее пристально смотрит юноша. Волосы откинуты назад... Белый воротник рубашки... галстук. Она улыбкулась. Но, словно закатный месяц, юноша стал склоняться, опускаться все ниже и ниже и вскоре исчез за далеким голубым горизонтом. Улыбка угасла на лице Райхан.

— Что за наваждение?! Сгинь, нечистая сила! — Она пришла в себя. Закрыла лицо руками.

Но желание, тоска были сильнее страха. Опустились руки Райхан.

— Где же ты? Почему не идешь так долго? Может, тебя и в живых уже нет?

Перед мысленным взором измученной жепципы всплыл недавний вечер...

Юноша подошел к ней бесшумно, сел рядом.

— Я рад, что ты пришла, — проговорил он.

Бай Жексен отсылал его в город учиться, выехать должны были ночью, и он пришел уже одетый по-городскому — темный костюм, белая рубашка с галстуком...

В первый раз в жизни ее обнял парень...

А через неделю в ауле бая Жексена играли свадьбу. В полночь Райхан привели в нарядно убранную юрту жениха. Постель новобрачных, по обычаю, была приготовлена справа от входа.

Бай переступил порог и шумно высморкался. Потом долго кашлял. Кутаясь в шелковое покрывало невесты, Райхан затаилась у постели за пологом. Правая рука собирала и судорожно комкала мягкую ткань. Старик стал

снимать бархатный чапан, то и дело оглядываясь на невесту. Потом сел на постель и требовательно поднял ногу. Райхан нехотя подошла, заставила себя стянуть ичиги с его тонких ног. Старик раскашлялся снова и, не вставая с постели, потянулся и смачно сплюнул.

Сквозь дверные щели зло глядели в юрту обе жены Жексена — старшая и младшая. Рядом с ними толклись соседки и служанки, и тоже пытались заглянуть внутрь. Всем было любопытно: это уже третья женитьба бая, он дряхлый старик, а она — юная строптивая девчонка... Жексен громко крикнул, и обе женщины беспокойно засуетились. Стараясь получше разглядеть, что творится в юрте, они столкнулись лбами и, отскочив в стороны, холодно глянули друг на друга. Новая женитьба бая не примирила старых соперниц.

Старик улегся и приказал Райхан подать ему табакерку. Он несколько раз шумно втянул обеими ноздрями насыбай и, вернув табакерку новобрачной, развалился на постели. Райхан немного подержала табакерку в руке, потом внезапно бросила ее на пол, молча вышла из-за полога, села на пол и, обхватив руками колени, беззвучно заплакала. Старик зашевелился, повернулся на один бок, на другой. Но невеста не вставала с пола. Старик потянулся в постели, напряг дряблые мышцы рук и ног, словно собираясь с силой...

Опытная байбише знаком послала стоявшую рядом старуху в дом. Та, мягко, неслышно ступая и изгибаясь всем телом, словно резиновая, внесла большой медный таз и кумган. Помедлив у входа, она с жадным любопытством оглянулась вокруг и, войдя, тихо прикрыла дверь.

— Ты что там расселась? Иди сюда! — сердито приказал Жексен, но Райхан словно и не слышала его.

Тогда старик, кряхтя, поднялся с постели, подошел, потянул ее за платье, а она бросилась на кошму и заплакала громко, навзрыд. Жексен нетерпеливо схватил ее за руку, но невеста рванулась в сторону, и старик, потеряв равновесие, упал. Хватаясь за полог, путаясь в нем, забарахтался на постели и наконец, вскочив, злобно пнул девушку ногой. Райхан отпрянула, прижалась спиной к войлочной стене юрты. Встретив ее гневный взгляд, старик отступил. Сел на постель, вздохнув, опустил седую голову. Погладил поясницу. Только сейчас долетел до слуха девушки смех женщин, собравшихся вокруг юрты. Она вздрогнула, подбежала к очагу и ногой толкнула све-

тильник в золу. В юрте стало темно. Вскоре любопытно разошлись. Наступила тишина...

Утром, как только Жексен вышел из юрты, обе жены бросились в дом. Муж и не взглянул на них, ушел к колодцам. Женщины первым делом осмотрели таз. Он был чист... Подбежали к постели, перебрали все. Сухо... Старшая жена, торопясь от охватившего ее возбуждения, откинула крышку медного кумгана. Воды нисколько не убавилось... Женщины злорадно засмеялись.

Вошел Жексен и зло уставился на них. Жены не смогли удержаться, снова расхохотались. В гневе старик схватил висевшую у пояса уздечку и стал стегать их. Женщины пронзительно завизжали: рука старика была еще крепкой. В это время вошла Райхан, воспользовавшись этим, соперницы проскользнули к выходу и бросились наутек. Зато на улице они дали себе волю, прямо покатывались со смеху. Разъяренный старик сорвал с головы Райхан девичий платок, вытянул и ее уздечкой.

— Я выбью из тебя упрямство! — закричал он. — Выгоню из тебя черта! Сгниешь у моего порога!.. Понятно?

...Райхан потеряла лицо. Рукава сползли, обнажив пухлые руки. Она посмотрела на резко обозначившиеся кости, на твердые, синие жилы и сокрушенно покачала головой.

Над спящим под наглухо закрытыми тундуками аулом вставало утро. Овцы проснулись, разбрелись вокруг. Посередине кошары на темной унавоженной земле, прибитой тысячами копыт, на рваной попоне спала Райхан. Из голенищ ее сапог торчали края грязных портянок. Огромный черно-пегий пес обнюхивал ее голову.

А в старой прокопченной кибитке на краю аула спал полураздетый пастух Есим, беспокойно ворочаясь на жесткой постели. Он видел сон... Перед ним поставили полную миску дымящегося ароматного мяса. Есим потянулся к миске, но только дотронулся до нее, как она отодвинулась и стремительно исчезла. Есим вздрогнул, проснулся. У изголовья, сердито ругаясь, стоял бай Жексен и тыкал ему в лицо палкой.

— Вставай. Выгоняй овец, дармоед!..

— Ладно, ладно, — устало пробормотал пастух, нехотя поднимаясь.

Через несколько минут Есим оседлал коня и с кожаным мешком в руке вошел в Большую юрту. Пройдя в

хозяйственный угол и опасливо оглядываясь на байбише, он осторожно сдвинул деревянную крышку с черного казана, полного до краев свежесквашенным айраном, и взял с полки чашку. Но старуха уже проснулась, вскочила с постели, проворно подбежала к пастуху, отобрала чашку, налила неполную поварешку айрана, а остальное долила водой из ведра. Есим попробовал «завтрак» и, нахмурившись, вернул чашку. Красноречивым жестом показал на казан. Но байбише помешала в чашке поварешкой и протянула ее обратно. Пастух в сердцах вырвал чашку из ее рук, поставил на пол и быстро вышел. Байбише вспыхнула от гнева, но ничего не успела сказать.

Есим отогнал пса, бродившего около Райхан, и осторожно разбудил ее. Молча показал в сторону юрты, предлагая ей идти спать домой. Райхан недоуменно посмотрела на него и только тут, проснувшись окончательно, рассмеялась. Было видно, что она рада Есиму. Разошлись они не сразу...

Солнце не успело подняться на длину копыя, когда Жексен разбудил Райхан. Байбише тут же дала ей ведра, и она пошла за водой. Вскоре она уже раздувала огонь в очаге, потом поднимала и переносила одна тяжелый, прокопченный казан, взбалтывала айран, плела вместе со служанками волосяной аркан... Стоило ей присесть, как то сам бай, то одна из жен немедленно находили для нее новую работу. Райхан подоила корову, осмотрела овец и выковыряла червей у них из болячек, напоила хромого овцу, отставшую от отары. Тем временем наступила пора дневного водооя. После водооя она принялась ловить и привязывать овец для дойки, потому что налетели слепни, и овцы вели себя беспокойно. Особенно долго пришлось бегать за черной козой. На помощь пришел Есим...

Солнце перевалило за полдень. Зной томил. Все живое попряталось в тени, и только Райхан с мешком на спине бродила далеко в степи, собирала кизяк. В ауле была слышна ее печальная, протяжная песня, похожая на плач. Песню услышала и пожилая женщина, которая медленно брела к аулу. Она, видимо, узнала голос певицы, потому что пошла быстрее. Райхан тоже увидела ее. Женщины побежали навстречу друг другу, крепко обнялись, и

Райхан, заливаясь слезами, в изнеможении повалилась на горячую землю.

— Мама, мама!.. Как я мучаюсь... В рабыню превратили, проклятые...

Они плакали долго, две бедно одетые женщины.

Вместе с дочерью старуха пришла в аул своих новых родственников, но никто не обратил на нее внимания. Жексен сразу же послал Райхан доить кобыл.

У коновязи жеребец Акбести встретил Райхан ласковым ржанием и потянулся мордой к ведру. Райхан погладила бархатистую губу своего любимца, тихонько шлепая ладонью, отвела от ведра.

Мальчик Ашим, помогавший ей доить кобыл, начал с увлечением рассказывать о вчерашней байге, в которой ему довелось скакать на Акбести... Тысячи коней... Нарядные всадники разъезжают взад и вперед. Грохочет степь от топота копыт. Для скачки отобрали пятьдесят скакунов, на которых любо было смотреть: гривы и хвосты расчесаны, шерсть блестит, под кожей играют мышцы. Кони так и пляшут под седоками... Сначала, когда пустили коней, Ашим придерживал Акбести, держался в середине. Постепенно вперед вышли лучшие: гнедой жеребец, черный со звездочкой и Акбести. Долго они шли вместе, по очереди возглавляя бег. Первым отстал гнедой. Черный жеребец и Акбести неслись стремя в стремя, но сопернику Ашима уже приходилось все время стегать своего скакуна плеткой. Акбести же шел легко, как будто не остались позади десятки километров. Вдалеке показался аул, навстречу коням, не выдержав, ринулись всадники. Акбести, воодушевляемый криками тридцати — сорока верховых, скакавших по сторонам, резко выдвинулся вперед. Вскоре, помогая скакуну, сын Жексена, Аскар, стал тянуть его за повод. Хозяева других скакунов делали то же самое. Шум стоял невообразимый. Акбести, впервые участвовавший в байге, на полверсты опередил знаменитого черного жеребца...

Райхан поила своего любимца только что надоенным теплым молоком. Гладила ему уши, обнимала за тонкую шею...

Увлечшись разговором, Райхан и Ашим не заметили, что кобылы потянулись на пастбище. Мальчик вскрикнул, бросился за ними, Райхан побежала с другой стороны. Но полудикие лошади перешли на рысь, стали удаляться. Есим, находившийся неподалеку, подбежал к ко-

повязи, быстро взнуздal Акбести, прыгнул ему на спину. Не прошло и нескольких минут, как он догнал табун, сбил, повернул обратно. Из аула с негодующими криками прискакали Жексен с сыном. Аскар, не сходя с коня, стал охаживать Есима плеткой. Райхан бросилась было помочь пастуху, объяснить, в чем дело, но Жексен огрел ее палкой по поясице. От боли Райхан вскрикнула и присела на землю...

Из города прискакал родственник Жексена Асан, спешил к белой юрте. Не успел он перешагнуть через порог, как посыпались новости, от которых Жексен, байбише и все домочадцы схватились за головы, захохотали на все лады. Едва оправившись от испуга и злости, Жексен коротко приказал сыну:

— Скачи!.. Узнай точно.

Аскар кивнул Асану, оба вышли, вскочили на коней и вылетели на дорогу.

Есим и Райхан оживленно беседовали у колодца. Им было весело!

Из районного центра Аскар и Асан вернулись мрачные, кони под ними были все в мыле.

Весь вечер к юрте Жексена тянулись люди. Уходили они из аула, гоня перед собой нагульных кобыл, верблюдов с налитыми горбами, откормленных овец. Всю ночь шел скот Жексена на базар. Распродажа его заняла немного времени. Деньги пачками сыпались перед Аскаром, сидевшим во дворе малоприметного бревенчатого дома на окраине районного центра.

В ауле люди собирались кучками, разговаривали, спорили, расходились и снова сходились. Каждый раз в кругу бедняков оказывались родственники Жексена. Аскар писал какие-то справки и заявления и заставлял пастухов подписывать их. Кто подписывал, а кто отказывался. Бедняков зазывали в дом бая, угощали кумысом и уговаривали тоже ставить свои подписи. Те в угрюмом молчании выслушивали жалобные просьбы Жексена. Многие посетители, когда бай начинал особенно настойчиво их увещавать, молча поворачивались и уходили. Есим, радуясь, встречал их на улице.

Из города на конях прибыли уполномоченный и четыре милиционера. Бедняков созвали на собрание. Есим вначале прислушивался к речам приехавших недовер-

чиво, но потом встал и решительно поддержал уполномоченного. Бедняки тесно сгрудились вокруг него. А потом уполномоченный отвел Есима в сторону, они побеседовали с глазу на глаз и, довольные друг другом, обменялись крепким рукопожатием.

Байбише увидела это и легонько подтолкнула к ним Райхан. Та брезгливо отпихнула от себя старуху, но к Есиму подошла, спросила с улыбкой:

— О чем вы тут говорили?

— А тебе зачем это знать? — Есим пристально посмотрел на младшую жену Жексена.

Райхан спокойно выдержала его взгляд. Есим недоверчиво усмехнулся и молча отвернулся от нее.

Перед собранием Аскар подослал Асана к уполномоченному. Сейчас Асан совал тому справки, в которых было написано, что Жексен не бай... всегда заботился о бедняках... сам честный середняк. Подошел Есим и положил тяжелую ладонь поверх знакомых заявлений и справок. Уполномоченный одобрительно засмеялся:

— Правильно. Я так и понял, что они липовые.

Вопрос о выселении из аула Жексена и его семьи поставили на голосование. Есим и стоявшие вокруг него бедняки подняли руки.

В группе напротив, где находились Аскар, Асан и их сторонники, кое-кто тоже присоединился к беднякам, даже робко приподнялись одна-две руки, но потом они исчезли.

Рассортировали байский скот, составили гурты и немедленно погнали в город. Есим заметил, что среди лошадей нет Акбести, и вместе с уполномоченным пошел к баю. Жексен клялся и божился, будто уже дня три, как Акбести исчез из табуна, и никто не знает, куда он делся. Есим бросился к Райхан, но она отвечала уклончиво, а потом и вовсе замолчала.

В ауле кипел настоящий водоворот: милиция, уполномоченные, женщины, старики — все смешалось. С плачем и причитаниями собирались в дорогу выселяемый из аула бай Жексен и его семья, стараясь навьючить на себя побольше одежды. Не одевалась только Райхан. В доме ворохами валялись шубы, ковры, дорогие халаты с погонами, чекпени. Тут же лежали именные сабли, нарядные камчи, знаки отличия волостного правителя... Милиция, уполномоченные и бедняки терпеливо ждали. Не торопили. Наконец бай и его семейные вышли из юрты, сели

на старую подводу, подобрались, потеснились, освобождая место для самой младшей. Но Райхан так и не сдвинулась с места.

К ней подошел уполномоченный и о чем-то спросил. Она, не сводя с Жексена горящих сухих глаз, в ответ молча покачала головой. Старшие жены Жексена испуганно смотрели на нее. А старик печально вздохнул, опустил голову и подал знак трогаться.

Подвода ушла в одну сторону, бедняки, гоня скот, двинулись в другую. В вечерних сумерках на месте недавно бушевавшего собрания стояла одна Райхан. Вокруг было пусто, словно после джута. С той стороны, куда скрылась подвода, тянулись, змеились по земле дорожки пыли, словно подбираясь к опустевшему кочевью. Поднимался ветер.

Издали доносились песни, смех: в ауле бедняков веселились. Одинокая Райхан долго стояла на том месте, где еще утром красовались белые юрты. Притрусил черно-пегий пес, стал ласкаться к ней, прилег у ног. Райхан словно застыла...

Уже стемнело, когда к Райхан подошел один из бедняков, особенно рьяно участвовавший в конфискации. Он потоптался на месте, не зная, как заговорить, и наконец молча показал рукой в сторону своего аула. Райхан все с тем же неподвижным выражением лица покачала головой. Есим, наблюдавший за ними, поманил товарища. Райхан заметила Есима, встрепенулась, словно порываясь к нему, но что-то удержало ее, погасило порыв: то ли недавняя обида, то ли еще что.

Прошло с полчаса, пока Райхан, как бы очнувшись от своих мыслей, оглянулась вокруг и медленно побрела к глинобитному саманному домику на краю бедняцкого аула.

Около домика толпились бедняки, окружая уполномоченного и Есима. Раздавались оживленные голоса:

— Выберем тебя, Есим. Возглавишь свой аул.

— Нет!

— Что же ты намерен делать? — уполномоченный удивленно вскинул глаза.

— Пойду в Красную Армию. Мне ведь только двадцать лет, — пробасил тот.

Уполномоченный словно только сейчас увидел огромную, крепкую фигуру настуха. Посмотрел с уважением.

Неожиданно в круг вошла Райхан. Она не обратила внимания ни на участливое обращение уполномоченного, ни на удивленные взгляды собравшихся.

— Акбести... — произнесла она.

Все сразу притихли. Ни на кого не глядя, Райхан ровным голосом поведала, как исчез скакун...

Вчера вечером Аскар привел скакуна, с головы до ног укрытого старой попоной, и стал умолять ее помочь сохранить коня.

— Ты из бедняков, тебя власть не тронет!..

Во дворе, обняв голову жеребца, визгливо плакал старый Жексен:

— Гордость моя, сила моя. Все богатство мое...

Потом в юрте Жексена появился какой-то незнакомец с ухватками конокрада, прыгнул на коня и исчез в темноте.

Аскар, глядя вслед скакуну, поклялся:

— Своими руками задушу любого, кто попытается отнять моего Акбести!..

Едва дослушав рассказ Райхан, несколько бедняков во главе с Есимом бросились к коням.

Уполномоченный снова обернулся к молодой стройной женщине.

— А ты чего хочешь? Говори, не бойся.

— Хочу учиться, идти по пути Ленина, — сказала она. — Мне о Ленине рассказывал Есим. Я хочу учиться...

— Хорошо, — одобрил ее тот, но тут же показал на ее головной убор — шаршы, белый платок замужней женщины.

Райхан плотнее надвинула платок, нахмурилась.

— Муж сужен аллахом, — глухо проговорила она.

Темной ночью в глухом ущелье спешили Есим и его друзья. У пещеры нашли закованного в железные путы Акбести...

А через час конокрад докладывал Аскару о том, что их выдала Райхан. Тот в злобе выхватил нож, грязно выругался. А бедняки веселились вокруг ярко пылающих костров, пели песни, играли на домбрах.

— Нет, надо ждать удобного случая.

— Верно, — одобрил конокрад. — Нельзя рисковать... Придет еще наше время.

Райхан шла по городу. На голове у нее был все тот же белый платок, и прохожие оглядывались на шестнадцатилетнюю девушку, почти подростка, почему-то надевшую шарфы. Райхан сердито встречала их взгляды.

В небольшом кирпичном здании она нашла заведующего курсами — невысокого мужчину средних лет, показала записку уполномоченного.

— Я приехала учиться. Из аула.

— Правильное решение. Возьмем тебя на курсы.

Глаза Райхан радостно сверкнули.

— А сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— А это? — Заведующий показал на ее шарфы. — Ты не отказываешься от байской семьи? У нас ведь учатся только бедняки.

Райхан вспыхнула, сорвала платок и кинула его на стол. Все вокруг, а рядом стояли женщины, рассмеялись. Райхан посмотрела на их лица и засмеялась вместе со всеми, впервые за долгие дни.

Потом она обошла всю школу. В одной комнате увидела на стене небольшой портрет человека с высоким лбом и острыми внимательными глазами и спросила у проходившей мимо девушки:

— Кто это?

— Это Ленин.

Райхан медленно приблизилась к портрету. Поглядела несколько мгновений и вдруг схватила его обеими руками и сорвала со стены. Поднялся переполох, будущие соклассницы окружили ее, прибежали секретарь комсомольской ячейки, члены профкома...

— В чем дело?

— Почему сорвала?

— Что это значит? Пусть отвечает...

Она же, то отдаляя, то придвигая вплотную к глазам, рассматривала фотографию. Кто-то из девушек несмело дотронулся до ее руки.

— Отстань! — бросила Райхан, а потом обратилась ко всем: — Вы видите его каждый день, а я сегодня впервые увидела Ленина, — и решительным жестом спрятала портрет себе за пазуху. Заведующий понял ее и попросил всех разойтись.

Вставало зимнее утро.

По занесенной снегом горной дороге ехали два всадника. В одном, одетом в форму красноармейца, нетрудно узнать широкоплечего Есима. Другой — владелец обеих коней — был смотрителем ближайшей почтовой станции.

В конторе совхоза Есим снял кубанку, оправил шинель и подошел к мужчине, сидевшему за столом.

— Есим. — Они обменялись рукопожатием. — К вам с фронта.

— Заместитель директора, Федор.

В кабинет вошел еще один человек, и Федор почтительно встал:

— Товарищ директор...

— Продолжайте, продолжайте, — сказал вошедший.

— Так по какому делу? — обратился Федор к Есиму.

— Меня к вам направил райком. — Есим вынул из кармана пакет и протянул Федору.

— Пасти овец сможешь?

— Вроде бы умею, — рассмеялся Есим. — До армии пас овец Жексена. Слышали о таком бае?

Есим и Федор разговорились.

— У нас на третьей ферме дела плохи, — вмешался в разговор директор совхоза. — В день пять — десять овец дохнут... — Он подошел к столу, посмотрел сводку. — За месяц пало двести восемьдесят.

— Видимо, болезнь какая-то, товарищ Андреев. Да и людей опытных не хватает, — сказал Федор.

— Вот туда и пойдете бригадиром, — обратился Андреев к Есиму. — С вами, и тоже бригадиром, поедет еще один товарищ.

— А кто такой? — спросил Федор. — У меня он еще не был.

— Райком направляет женщину одну, Выезжайте сейчас же, товарищ. Я подъеду попозже...

Федор и Есим вышли из конторы.

На арбе, стоявшей у крыльца, спиной к ним сидела женщина. Выехали в степь. Федор заговорил с женщиной, и, когда она подала голос, Есим вздрогнул. Он обернулся, глянул на нее сбоку и рассмеялся. А потом взял за плечо и бесцеремонно повернул к себе. Женщина настороженно повела на него глазами.

— Райхан...

Оба радостно трясли друг другу руки. Федор смотрел на них недоуменно.

— Знакомы вы, что ли?

— Конечно, — смеялась Райхан.

— Еще как знакомы. Из одного аула.

— Как ты возмужал, Есим.

У кошары их встретили среднего роста старик и широкоплечий юноша. Было около полудня, и овцы выходили из ворот. Есим и Райхан просто опешили: овцы толстые, шерсть грязная, свалявшаяся, висит клочьями.

— Как вас зовут? — спросил Есим у старика.

— Болат.

— А меня зовут Иса, — заговорил юноша, не дожидаясь вопроса. — Мы с Болатом здесь чабанами. В совхозе совсем недавно...

Овцы, изгибаясь, старались достать губами свои спины и хвосты, терлись курдюками и боками о стены кошары, оставляя на ней клочья шерсти.

Есим и Райхан молча подошли поближе. Райхан поймала одну овцу, Есим — другую. Осмотрели. На местах залысин — короста, гнойники...

— Кто завфермой? — сердито спросил Есим у старика, стоявшего рядом.

— Так, парень один. Молодой он очень.

— Где он?

— Откуда я знаю?.. Уехал. — Он развел руками. — Сел на лошадь и уехал.

Они вошли в кошару и тотчас раскашлялись и заткнули носы от нестерпимой вони. Есим высоко поднял фонарь, осветил все вокруг. Кошара была полна овец, животные лезли друг на друга, стремясь к выходу, к свету. Райхан прошла в середину. Под двумя суягными овцами лежала дохлая рыжая овца. Федор и Есим увидели в дальнем углу маленького черного ягненка. Сделав несколько неверных шагов, он жалобно заблеял и упал. В животе у него было пусто, видно, мать ни разу его не кормила. Овцы иступленно терлись друг о друга, о стены, о столбы... Есим сердито ткнул пальцем вверх.

— Почему нет окон? Хотя бы отверстие сделали.

— Таков приказ, — стал оправдываться Болат. — Не выполнишь приказ — бьет...

— Заставляет держать овец в кошаре. Не докажешь начальству, — добавил Иса. — Дерется, коли ослушаешься.

— Кто начальство?

— Парень один. Салимом зовут.

— Как? — переспросила Райхан, резко обернувшись к юноше.

— Салим.

Есим велел Болату и Исе выводить отару наружу, но овцы сами, давя друг друга, устремились к выходу. Кочара быстро опустела, а люди стояли и считали дохлых овец. Одна, две, три, четыре... семь. Павшие от голода или затоптанные, когда ложились, чтобы ягниться. На навозе валялись четыре обезображенных мертвых ягненка в последе. Райхан присела около посиневшего трурика, тронула рукой засохший послед... Встала, пошла прочь, споткнулась о какой-то бугорок и чуть не упала в навозную жижу. Оглянулась, поковыряла сапогом: из-под навоза показалась голова ягненка...

— Боже мой, да что же это такое?

Подошли Федор и Есим. Лица их медленно темнели от гнева. Теперь, присматриваясь к бугоркам, они замечали то ногу, то бок ягненка. Остальная часть тушек скрывалась под навозом.

Иса принес железный прут, и Есим с силой воткнул его в землю. Прут вошел легко и глубоко, словно в болото.

Райхан в ужасе всплеснула руками, выхватила прут у Есима и стала с ожесточением пробивать отверстие в крыше. В дыре за клубился пар. Болат удовлетворенно закивал головой, ласково посмотрел на молодую женщину.

— Мы что велят, то и делаем, я — старик, он — мальчонка еще. — Болат показал на своего подпаса. — Директор новый, видно, не знает еще хозяйства...

— Где завфермой? — сердито прервал его Федор. — Почему его нет так долго?

— Уехал. Сел на коня и уехал. Нам не говорит, куда уезжает, — монотонно бубнил старик. — А старый директор редко к нам заезжал.

Есим вдруг пристально взгляделся в двух мужчин, ведших в поводу худую белую лошадь. Они шли стороной, за сараями.

— Кто это? — спросил он у Болата. — Эй, стойте! Подождите, слышите!..

Все подошли к путникам. Есим внимательно оглядел коня — куцехвостый, спина побита, ребра торчат, круп в

желтых разводах... Кляча клячей. Шапка у одного из мужчин была надвинута до самых глаз, и уши ее туго затянуты под подбородком. Другой, безбородый с холодным мрачным выражением лица, вынул из нагрудного кармана бумаги и протянул Есиму. На справках были десятки резолюций: председателя райисполкома, заведующего райзо, директора совхоза. Последней стояла резолюция заведующего фермой.

— Я бедняк, — заговорил безбородый, переминаясь с ноги на ногу. — Два года, как моего коня незаконно забрали в совхоз. Два года добивался... Спасибо, один человек в райцентре помог, написал справки...

— Что за человек? — спросила Райхан. — Почерк как будто знакомый.

Безбородый не ответил, оглянулся на своего товарища.

— Как зовут человека твоего? — Есим повторил вопрос.

— Аскар... — выдавил тот через силу.

Райхан и Есим переглянулись.

— А чем так уж ценен твой конь, что столько хлопотал за него? — допытывался Есим. — Худой он больно. Мог за него другого взять — посправнее...

— Обыкновенная лошадь... Единственная, своя, поэтому...

Есим внимательно осмотрел лоб, глаза, копыта коня и живо повернулся к Райхан:

— Это Акбести.

Спутник безбородого от неожиданности хлопнул себя ладонями по бокам.

— Точно. Это Акбести, — повторил Есим оцепеневшей Райхан.

Райхан бросилась к своему любимцу, обхватила руками его шею. На глазах Райхан выступили слезы, что-то ласково приговаривая, она обнимала коня снова и снова...

— Значит, конь твой? — Есим в упор посмотрел на безбородого.

Безбородый попятился назад. Второй, ворча, отступил еще быстрее. Есим подошел к незнакомцу, резким движением приподнял шапку, и Райхан узнала человека, который перед конфискацией прятал Акбести. Он тоже узнал Райхан и поспешно отвел глаза. Вторым оказался Асан.

— Завфермой! Завфермой идет!.. — закричал Иса.

К кошаре приближался молодой парень. Райхан вгляделась в него и замерла с широко раскрытыми глазами.

Салим, тот самый... Перед глазами встал далекий весенний вечер, первый поцелуй, объятия на пахучей траве... Райхан смотрела и не верила своим глазам. Да, тот самый, только в неряшливой грязной одежде и... как будто пьяный. Салим узнал ее и глупо улыбнулся. Она вспыхнула, но пришла в себя быстро. Оглянулась на Акбести, посмотрела на кошару, на овец, с остервенением трущих о стены. Снова взглянула на парня и заметила, как он жалко съезжился под гневными взглядами Федора и Есима.

Райхан сердито махнула рукой, словно отгоняя воспоминания, взяла Акбести за поводья.

— Салим, как нам быть? Ты же сказал, что конь теперь наш! — подал голос Асан.

Завфермой окинул их хмурым взглядом, и те отошли.

Подъехал Андреев. Федор, Есим и Райхан, горячо перебивая друг друга, рассказали директору о положении на ферме, показали овец. Андреев выслушал их с невозмутимым видом.

— На то вы, большевики, и направлены сюда, чтобы поставить хозяйство на ноги, — сказал он. — Не унывайте. Я ведь тоже новый человек здесь. А настоящие трудности у нас еще впереди. Вот ознакомьтесь — постановление крайкома.

Андреев вынул из нагрудного кармана документы.

— Наш совхоз превращается в племенной. Вернее, мы должны добиться этого, — продолжал Андреев. — Нам придется все овцеводческие хозяйства нашего края, да и не только края, а всей страны, обеспечивать высокопородными овцами. Тебе, Федор, придется заведовать новой фермой. Дело ответственное, сам понимаешь.

Федор призадумался.

— Хорошо, — твердо ответил он, помолчав. — Только в помощь мне дайте Есима и Райхан. — Он положил руки на плечи новых товарищей.

Прикинув план первых неотложных работ на ближайшие дни, стали расходиться. За Райхан увязался Салим,

— А мне как быть? Райхан, что ты молчишь? Не ужели ты забыла меня?..

Райхан остановилась.

— Ладно, оставайся, — согласилась она, помолчав. — Будешь работать учетчиком. Посмотрим, что получится,

И, прежде чем уйти, она пристально посмотрела на Салима,

В полночь к бревенчатому дому с высокой крышей скользнули две тени. Раздался осторожный стук. Аскар вскочил с постели, накинул пиджак и подошел к двери. Дождавшись вторичного, условленного, стука, откинул щеколду. Вошли Асан и конокрад и сразу же, перебивая друг друга, начали рассказывать о своем провале.

Аскар помрачнел, заходили желваки на скулах.

— Акбести привели? — спросил он, не дослушав.

— Нет. — Асан и конокрад виновато потупились.

Аскар выругался.

— Но мы все-таки не с пустыми руками пришли. — Конокрад заискивающе улыбнулся. — Пойдем, помотришь...

В темном сарае, беспокойно поводя ушами, стоял гнедой стригунок. Аскар осмотрел его и остался доволен. Он кивнул конокраду. Никто и ахнуть не успел, как у того в руках появился нож, и, быстро повалив стригунка, он полоснул его по горлу.

Через два часа перед приятелями дымилось ароматное мясо. Аскар разлил водку по стаканам; все трое выпили и налегли на еду. Некоторое время в тишине комнаты слышалось только громкое чавканье.

— В совхозе скота много, — проговорил наконец Асан с полным ртом. — Надолго хватит.

Все возбужденно засмеялись. Захмелевший Аскар, зло цедя слова сквозь стиснутые зубы, стал поносить совхозы, новые порядки, которые все равно не приживутся в степи. Асан и конокрад почтительно слушали своего вожака. Перед их глазами стояли Есим в лохмотьях, третья жена Жексена Райхан, всегда молчаливая, безответная, Акбести, летящий впереди всех скакунов... В бесильной злобе блеснули зубы Аскара.

В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, шумно ввалилась компания. Это были сослуживцы и единомышленники Аскара. Асан и конокрад незаметно выскользнули из дома. Комната наполнилась говором, громким смехом; гости вели себя развязно, видно, бывали здесь уже не раз. Аскар поймал жадные взгляды, бросаемые гостями на блюдо с кониной, и пригласил всех к дастархану. Принес еще водки. Вскоре в доме дым стоял коромыслом... Мясо, водка, пьяные выкрики... Кто-то пел, кто-то обнимал Аскара, кто-то лез целоваться мокрыми губами.

Райхан внимательно слушала и быстро записывала что-то в свою книжечку. Есим не удержался, подошел, попробовал приподнять огромного барана, пытаясь определить его вес. Чабаны отнеслись к новому скоту по-разному. Болат, например, хмурился и молчал, а Иса простодушно смеялся над чудными овцами, совсем не похожими на степных.

— А вот эти — породы ортембер, — продолжал зоотехник, — привезены из Германии. Тоже тонкорунной породы, а вес набирают еще быстрее. Скрещивая их с местными овцами, мы должны получить новую, стойкую, подходящую к степным условиям породу со всеми добрыми качествами родительских особей.

Болат и Иса теперь уже равнодушными взглядами проводили животных, отощавших за долгую дорогу. Подогнали еще одну отару.

— Перед вами, товарищи, новая порода — дегерезская, полученная от скрещивания прекоса с казахской эдильбаевской овдой, — сообщил зоотехник. — Но она выведена не в вашем районе и неизвестно, как поведет себя здесь... Родина ее — горный совхоз «Дегерезский».

Неожиданно Иса радостно воскликнул:

— Вот настоящие овцы! Болат-ата, смотрите — казахская эдильбаевская.

— Верно, сынок, — заговорил Болат, торопливо шагая за Исой навстречу овцам, — только от нее и будет толк...

Словно сговорившись, они проводили ладонями по широкому ровному спинам овец. Смеясь, показывали на их длинную чистую шерсть. Есим в ответ весело ткнул пальцем в сторону новых пород. Зоотехник и Андреев с улыбкой наблюдали за этой дуэлью.

Бригады погнали скот по своим кошарам.

— Хороши овцы, — сказала Райхан Болату. Они шли вдвоем, несколько впереди других чабанов. — Лишь бы все у нас пошло благополучно.

Болат с пренебрежением махнул рукой. Было видно, что старик не в духе.

Завидев отару, пасшуюся возле кошары, овцы заторопились.

— Не лежит у меня к ним душа, — признался старик и повернулся к чабанам. Он не стал даже смотреть, как ведут себя новички в отаре.

— Не пойму вас, ата. Если так относитесь к новому вы, то чего же нам ждать от остальных?

—хлопот не оберешься с ними. — Старик усмехнулся в бороду, плюнул себе под ноги.

— хлопоты как хлопоты. Обыкновенные овцы...

— Они не овцы, милая! Неужели не понимаешь?

Чабаны сочувственно загомонили.

— Что же они, по-вашему, такое? — Райхан насупилась.

— Если я еще хоть что-нибудь смыслю, то они получились от овец и свиней, — выложил старик.

— Ата, перестаньте! — Голос Райхан задрожал от обиды.

— Ладно, ладно... посмотрим...

— Вы же слышали, что сказал зоотехник! Ортембер — лучшая немецкая порода.

— Милая, что немцы понимают в овцах! — Теперь уже старик с огорчением посмотрел на Райхан.

Райхан не выдержала, рассмеялась, а за нею и чабаны.

— Болтуны немцы, если это считают овцами, — продолжал Болат. — Ну, хорошо, не кипятись только. Поговорим попозже, когда они начнут щениться... э-э... ягниться...

Громкий хохот чабанов заглушил ворчанье старика.

Через месяц на ферму приехал Андреев. Пока все шло благополучно. Овцы быстро набирали вес, кошары содержались в образцовой чистоте, по хорошей погоде овец ежедневно выгоняли на пастбище.

За отарой Есима ходили молодые чабаны во главе с Исой. У овец эдильбаевской породы уже началось спаривание, и отара никак не стояла на месте. Овцы то скучивались, то разбегались врозь. Преследуемые баранами, они перебежали с места на место, а возбужденные соперники сшибались лбами, короткими ударами отбрасывая друг друга прочь.

Иса с удивлением заметил, что овцы все больше жмутся к баранам породы прекос и ортембер. Бараны оказались выносливыми.

— Посмотрите-ка на них, — обратился Иса к своим товарищам. — Зоотехник-то, оказывается, правду говорил.

— А дед Болат не верил, что они настоящие бараны, — рассмеялся простоватый парень, ровесник Исы.

— Мы могли бы заняться и коневодством, — сказал Есим, подойдя к директору, наблюдавшему за отарой. — Дело прибыльное, сами знаете.

— Коневодством? А откуда оно у вас возьмется?

— От Акбести. Скакун из скакунов. Пойдемте, посмотрите.

Райхан по пути рассказала Андрееву историю белого скакуна.

Кони были на привязи в затишке между стогами. Откормленный, стройный Акбести жевал овес, тряся надетой на морду брезентовой торбой. Рядом перебирали ногами три белые кобылы.

— Откуда они у вас? — Андреев залюбовался лошадьми. — Выхолены, как цирковые... Какая статья!.. Нет, вы посмотрите!

— Достали, — с гордостью ответил Есим и обратился к чабанам, подошедшим вслед за ними. — Скоро все получите добрых лошадок. Каждому дам по коню. Отары будете верхом пасти.

Чабанам представились белые, как лебеди, кони. Каждый уже видел себя гарцующим на красавце скакуне...

— Ну, пойдемте ко мне ужинать, — позвала товарищей Райхан.

5

Ночью в доме Аскара снова было многолюдно. На этот раз после изрядной попойки гости долго не расходились. Но только когда Аскар распрощался с последним, в комнату вошли Асан и конокрад. Потирая озябшие руки и лица, они присели к столу рядом с хозяином дома.

— Нужна овца, — сказал Аскар. — Мясо кончается.

Те согласно кивнули.

— В совхозе породистые овцы. Наведайтесь... Приведите одну английскую, одну немецкую. Выберите пожирнее, поняли?

Асан и конокрад неохотно встали, медлили, надевая шапки, застегиваясь.

На другой день, когда Иса пас овец на оголенном от снега склоне, издалека, прячась за холмами, к отаре приблизились два всадника. Они спешили в укромном месте и по-волчьи подобрались почти вплотную к овцам. Спустя некоторое время, один из них повернул назад, обогнул холм и открыто, не таясь, подошел к Исе. Это

был Асан. Скучавший в одиночестве Иса был рад встрече, и скоро они уже оживленно болтали. Овцы тем временем разбредались, подходили все ближе к камню, за которым притаился конокрад. Вор точным движением метнул аркан. Петля опустилась на голову барана. Рывок! Конокрад быстро огляделся по сторонам и потянул барана к себе. Иса, ничего не подозревая, все еще болтал с Асаном. Взвалив задохнувшегося тяжелого барана на плечи, похититель засеменял к лошадям.

Вечером, когда отара вернулась в кошару, Есим, по обыкновению, пересчитал овец. Одной головы не хватало. Не веря себе, пересчитал во второй раз одних только баранов. Вызвал Ису, немедленно поднял на ноги всю бригаду. До наступления темноты обшарили все окрестности, но поиски не привели ни к чему. Расстроенный Иса всю ночь не сомкнул глаз...

Салим и Райхан, о чем-то увлеченно беседуя, удалялись в степь, когда позади неожиданно раздались отчаянные крики. Болат, размахивая руками, звал Райхан. Она побежала назад.

В кошаре издыхала корова. Болат, Райхан, Салим и чабаны сгрудились над ней.

— Вчера была здоровехонька. — Старик виновато посмотрел на Райхан, словно он один был в ответе за все в бригаде. — Что же теперь делать?

— Прирезать, — коротко посоветовал Салим. — Хоть мясо будет. Раздадим рабочим.

Болат прирезал корову. Он освежевал тушу и неожиданно в матке коровы нашел заостренный деревянный колышек. Райхан в ужасе отвернулась...

Прошло два дня, и пала лошадь, на которой ездил Болат. Из соседней кошары прискакали Есим и Иса, приехал Федор. Сняли шкуру, осмотрели внутренности коня. Оказалось, порвана прямая кишка.

— Ножом перерезана! — воскликнул Болат.

— Но как? — Федор переглянулся с Есимом. — Шкура-то ведь цела?

— Кто — не знаю, а пырнули ножом под репицу, — ответил старик, устало разгибаясь. — Никогда бы не поверил, если бы не увидел своими глазами...

Удрученные люди молчали. Только Салим негромко произнес:

— Эх, узнать бы кто!..

Есим и Федор сели на коней и, так и не проронив ни слова, ускакали.

Весь вечер Райхан, не находя себе места, бродила по кошаре. Салим, что-то записывая в блокнот, ходил за ней по пятам. Стоило Райхан заговорить со стариком, как тут же рядом оказывался и Салим, вмешивался в разговор. Старику это не нравилось, и он хотел было уже осадить парня, но потом, словно догадавшись о чем-то, окинул его подозрительным взглядом.

Наступили сумерки. Райхан ушла в свою комнату. Салим вынул из кармана часы, посмотрел на циферблат и, оглянувшись по сторонам, торопливо завернул за угол сарая... Немного помешкав, проскользнул за ним и Болат; вслед за Салимом он спустился в овраг, начинавшийся в десятке шагов от кошары. Из кустов навстречу Салиму вышел Аскар.

— Ты должен опутать Райхан, — шептал он быстро. — Это главное. Следи, чтобы каждые пять — десять дней что-нибудь да попадало под нож. Мясо чабанам раздавай сам. Понял? Надо переманить их на свою сторону. Дела совхозные пошли в гору. Шевелись давай... Возьмись за породистых овец и ягнят. За телок. Попробуй обрушить кошару...

Заметив, что кто-то приближается к ним, Аскар побежал к коню. Салим отскочил, притаился в промине.

— Стой! Эй, стой, говорю!.. — закричал Болат, увидев человека, быстро продиравшегося сквозь кусты.

Выругавшись, он бросился назад к кошаре. Салим побежал за ним.

Во дворе старик на мгновение задержался около оседланного гнедого Райхан и вбежал в дом. Салим в смятении рванул воротник рубашки, потом схватил острый камень и, прицелившись, со всего маха ударил в щиколотку гнедого. Конь от боли упал на колени, но, когда Болат с винтовкой в руках выбежал из дома, гнедой уже стоял на ногах. Старик вскочил на коня, хлестнул камчой. Гнедой сделал несколько неверных прыжков и снова упал, а всадник скатился на землю. Быстро поднявшись, он кинулся к коню, осмотрел его ноги. Из щиколотки гнедого хлестала кровь. Старик охнул, потрогал пальцами разорванные сухожилия коня и, обессилив от горя, повалился в дорожную пыль.

Очнувшись, Болат туго перевязал ногу коню, завел его во двор, расседлал. Райхан была у себя, читала книгу, а рядом с ней как ни в чем не бывало сидел Салим, щелкал на счетах. Старик вошел и тяжело прислонился к двери.

— Что с вами, ата? — Райхан встревоженно посмотрела на Болата.

И тогда, глядя в упор на Салима, он коротко сообщил, что кто-то перерезал сухожилия у гнедого.

— Как? — Райхан захлопнула книгу. — Не может быть! Я только что оседлала его.

— Спроси у него. — Болат показал рукой на Салима.

Салим вскочил на ноги, затравленно оглянулся на маленькое окошко.

— С кем встречался в овраге? Кто он? — жестко спросил старик.

Салим недоуменно покачал головой.

— Ни с кем я не встречался...

Райхан медленно подошла к нему.

— Лучше признавайся сам, слышишь! — сказала она тихо.

— Райхан, милая, что ты говоришь? Разве мы не любим друг друга? Вспомни, что ты мне сказала вчера... — Он потянулся ее обнять.

Слезы навернулись на глаза Райхан. Она сорвала со стены камчу и несколько раз изо всех сил огрела Салима. Тот сжался от боли, глаза злобно сверкнули.

— Что, язык проглотил? Говори, с кем встречался?

— С Аскарком...

На крик Райхан в дом сбежались чабаны. Оставив на них Салима, Райхан поскакала в город.

Увидев, что взволнованная Райхан быстро прошла в кабинет председателя райисполкома, Асан, сидевший в приемной, бросился в соседнюю комнату. Аскар поспешно оделся. Захватив кое-какие документы, оба побежали к дому Аскара. Не успели они вывести из конюшни своих лошадей, как прискакал конокрад. Он сбивчиво рассказал, что к нему в зимовку пришел какой-то закутанный в старую рвань, обросший, изможденный старик. Он еле узнал в нем почтенного Жексена. За пазухой у бая наган... Приказал срочно известить о себе сына...

— О отец, наконец-то ты вернулся! — воскликнул потрясенный Аскар. — Теперь мне и жалеть не о чем! Довелось перед смертью повидаться...

Коней с места бросили наметом.

Через десять минут в ворота дома Аскара вошли трое военных. В комнатах никого не было, разбросанные вещи валялись как попало. Вышли из дома, осмотрели двор. Перед пустой конюшней увидели свежие следы коней.

Жексен, Аскар, Асан и конокрад стояли на высоком холме.

— Все эти земли с незапамятных времен принадлежали моим предкам. — Жексен поднял руку, повел широко вокруг. — Это наши земли, Аскар.

Перед их взорами раскинулся новый совхозный поселок, виднелись кошары, отары овец, пасущиеся на склонах покатых холмов.

— Вон, видите, там вдалеке, — продолжал старик уныло, — мазар моего деда... Все мое достояние перешло в совхоз. Богатство, которое копили мои предки, у меня отняли. Моя жена, которую я купил, как рабыню, и мой батрак отняли его у меня.

Хмуρο сошлись у переносья брови Аскара. На сухих скулах заходили желваки.

— Я вернулся, чтоб отомстить за насилие... Я вернулся, чтобы умереть на родной земле. Поклянитесь перед всевышним, что не отступитесь от мести...

Жексен развернул перед собой ладони и поднял лицо к небу. Старик долго бормотал слова клятвы, прежде чем провел ладонями по лицу. Асан и конокрад в торжественной тишине проделали то же самое.

— Теперь пошли... Ступайте! — прикрикнул старик, недовольный медлительностью спутников.

Они спустились к подножью холма, разобрали поводья лошадей. Глухо простучали копыта.

Воскресный базар был в самом разгаре, когда они, спешившись, входили в город. Жексен и Асан отделились от остальных и подошли к базару с одной стороны, Аскар и конокрад — с другой. Быстро смешавшись с толпой и не спеша, пошли вдоль рядов, каждый сам по себе, как посторонние, лишь изредка переглядываясь. Вдруг Жексен остановился и стал внимательно наблюдать за дервишем,

который вертелся в кругу зевак, что-то бессвязно выкрикивая. Жексен толкнул в бок Асана:

— Он-то мне и нужен...

Вечером, когда дервиш брел по улице, у ворот одного из неприметных домиков его остановили Аскар и конокрад. Асан тотчас же вывел оседланных лошадей. Конокрад подтолкнул дервиша:

— Садись, живо!

Дервиш отпрянул, быстро и нечленораздельно залопотал, столкнулся с Асаном, завертелся. Но в окружении незнакомцев не осмелился сопротивляться, полез на коня. Сзади него сел конокрад. Кони вскачь вынесли всех за город. Дервиш снова заволновался, стал вырываться из объятий конокрада, жалобно закричал. Но конокрад хлестким ударом по шее заставил его замолчать.

Всадники остановились у зимовки конокрада, где их нетерпеливо ожидал Жексен. Аскар поставил дервиша перед стариком, спросил:

— Ты кто?

— Дервиш... Бог свидетель, я дервиш... Не вор...

Аскар ударил его ногой в живот.

— Брось дурачиться! Отныне ты святой, понял?

Дервиш разогнулся и изумленно уставился на него.

— Я дервиш...

В следующее мгновение он распластался на полу. Удар конокрада по коленной чашечке был точен.

— Ой, батыр!.. — закричал дервиш. — Я же Дулат. Меня зовут Дулат, я дервиш...

— Нет! Ты дух хазрета Султана. Ты святой, понял? — Взгляд Аскара не сулил ничего доброго.

Дервиш с мольбой посмотрел на Жексена. Старик кивнул ему головой, предлагая повиноваться.

— Я дух хазрета Султана, — повторил дервиш и неожиданно улыбнулся. Потом быстро подполз к кошме, сел рядом с Жексеном. Кажется, понял, что от него требуют незнакомцы.

Жексен и Аскар еще долго объясняли дервишу, как он должен отныне себя вести. Потом все они выехали в направлении маленького аула, затерявшегося высоко в горах. Набожные старики и старухи приняли «святого» и его спутников с великим почтением. Немного спустя Аскар, Асан и конокрад снова сели на лошадей. Обрато вернулся только конокрад. В поводу у него была нежеребая жирная кобыла из совхозного табуна. Дервиш, уже

знавший свои обязанности, благословил конокрада, и тот вместе с тремя помощниками прирезал кобылу. Мясо раздали жителям аула. В доме одного из почтенных аксакалов Жексен рассказывал гостям о новых порядках, которые скоро придут и в их аул... Здесь будет основан совхоз... Казахов заставят пасти свиней. Свиньи растопчут постели правоверных, опоганят посуду... Дервиш, слушая старика, всхлипнул. За ним заплакал Жексен, печально опустили седые головы старики. За ужином не было обычного веселья, оживленной беседы...

А утром следующего дня Аскар и Асан продавали на базаре корову, тоже выкраденную из совхоза...

6

В небольшом кабинете перед Андреевым сидели Федор, Есим и Райхан.

— Новое руководство краевого комитета партии напоминает нам о важности наступающего периода окота, товарищи. — Андреев говорил спокойным, ровным голосом. — От нас ждут высоких трудовых достижений. До последнего времени, сами знаете, дела в совхозе обстояли из рук вон плохо. Были и случаи вредительства, и большой падеж скота... Конечно, теперь мы многого добились, но, как видите, от нас ждут большего. — Он передохнул, обвел взглядом своих помощников. — И вот еще что: двух представителей нашего совхоза приглашают в Алма-Ату на совещание.

— Вы с Есимом и езжайте, — предложила Райхан.

— Верно, — поддержал ее Федор. — С окотом мы тут справимся сами.

Андреев выжидающе посмотрел на Есима.

— Ну, что ж, — ответил тот, подумав. — Раз надо — поедем. Я переговорю сегодня со своими чабанами.

Овцы паслись неподалеку от кошары. Болат, опираясь на палку, стоял на вершине пологого холма и тихонько напевал. К отаре приблизился незнакомый старик в рваной одежде, заговорил с Болатом.

— Эй, что это ты пасешь? Никак не разберу — то ли овцы, то ли свиньи...

— Посмотри как следует, если глаза во лбу имеются, — отозвался Болат, с усмешкой наблюдая за ним.

Старик с наигранным вниманием уставился на овец.
— Не разберу... А-а, вижу по хвостам — свиньи... — Он с усмешкой обернулся к чабану. — Пусть множится твой труд.

— Не твоими молитвами, — раздраженно ответил Болат. — Иди своей дорогой.

Старик, наоборот, подошел к чабану еще ближе. Это был Жексен.

— Ладно, ладно, сын мусульманина, — миролюбиво заметил он. — Я говорю от души: пусть не минует тебя удача.

— Не твоим благословением, — проворчал Болат.

— Я отрежу себе нос, если твои «овцы» не принесут щенят — красных, без единой волосинки.

— Ну, да!

В голосе Болата проскользнуло едва заметное сомнение, и Жексен удовлетворенно пожал плечами.

— Скоро сам убедишься. Хотя...

Он замолчал на полуслове, увидев всадника, отъезжающего от кошары. Белый статный конь шел размашистой, красивой рысью. Это был Акбести, Жексен так и застыл, пожирая его глазами.

— Кто это?

— Райхан, бригадир чабанов.

— Под седлом у ней как будто неплохой скакун?

— Акбести, — охотно сообщил Болат. — Когда-то принадлежал баю Жексену. Слышал, наверное, о таком?

— Слышал. — Жексен скосил глаза на чабана, который, откинув голову, улыбаясь, любовался бегом скакуна. — А говорили, что хозяин ему теперь Есим, — продолжал старик.

— Он в Алма-Ату с директором уехал. Там у них большое совещание животноводов. Обеими бригадами сейчас Райхан заправляет. Баба она умная...

— Вот как?

Жексен заковылял прочь и, пока не исчез за бугром, все оглядывался на Акбести.

7

Ночью в кошаре Райхан собрались все чабаны. При свете фонаря они сгрудились вокруг натужно стонущей овцы немецкой породы. Болат, нагнувшись, осмотрел первого ягненка. На земле валялся красный мокрый комок

мяса. Старик огорченно крикнул, схватился за воротник. Перед его глазами появился ухмыляющийся незнакомец: «Я отрежу себе нос, если твои «овцы» не принесут щенят...»

Болат в сердцах пинком отбросил ягненка к овце. Чабаны, переговариваясь между собой, потянулись к выходу.

В это время в кошару вбежали запыхавшиеся Райхан и зоотехник.

— Ну что? Окотилась?

Болат обиженно глянул на нее, сердито буркнул:

— Незачем было людей обманывать.

— А в чем дело? — Она недоуменно оглядела хмурые лица чабанов.

Никто не произнес ни слова. Все молча отводили взгляды.

— Ата, вы можете объяснить, что тут происходит?

— Могу. Оценилась твоя «овца». Иди ухаживай за ней сама! — ответил старик и зашагал прочь.

Райхан требовательно окликнула его, и старик нехотя остановился.

Зоотехник вынул из кармана книжку, развернул, показал ему фотографии.

— Ягненок этой породы появляется на свет голым... Вот он через десять дней. Похож он на щенка? А вот через месяц. Чем отличается он от ягнят казахских овец? Что молчите?..

Райхан, сердито выговаривая чабанам, взяла ягненка на руки, укутала полой халата и прошла в глубину кошары. Еще два ягненка, дрожа от холода, валялись в последе. Их поднял зоотехник, обернул в мешковину, объясняя чабанам, что новорожденные этой породы плохо переносят холод. Вошли в дом, положили ягнят на пол. Через некоторое время они отогрелись в тепле, задвигались, пытаясь подняться. Один из них встал и, шатаясь на непослушных ножках, заблеял звонким, прерывающимся голосом. Взгляд Болата потеплел. Он постоял, посмотрел, потом молча повернулся и вышел из дома. Вернулся он еще с одним ягненком на руках. Чабаны встретили его улыбками и один за другим потянулись к выходу. Вскоре в доме лежало уже два десятка ягнят.

Райхан отдала Болату последние распоряжения и поспускала в кошару Есима. В этой отаре окот еще не начался, но, как она уже убедилась, надо было подготовить к нему чабанов.

В полночь, когда они вдвоем с Исой бродили среди овец, собаки внезапно залились яростным лаем. Райхан и Иса вышли наружу. Около сарая, где стоял Акбести, мелькнули темные фигуры нескольких всадников. Иса, не сказав ни слова, мгновенно бросился им наперерез, а Райхан, обогнув дувал, побежала к сараю.

— Эй, кто вы такие? — закричал на бегу Иса.

Всадники придержали коней и, дождавшись Ису, быстро окружили его. Аскар схватился было с ним, но тут же отлетел под ноги лошадей. Еще двоих разбросал юноша в стороны. Но силы были неравны. Асан и конокрад одновременно схватили Ису с двух сторон, повалили и, жестоко избивая, стали вязать ему руки и ноги. Райхан тем временем вывела из сарая Акбести, вскочила на него и бросилась в степь.

— Ушла! — закричал Аскар. — Скорее по коням!..

Все восемь всадников пустились вдогон. Мелькали рвы, камни, овражки... Акбести неся, как ветер. Преследователи рвали поводья, неистово стегали коней, пытаясь хотя бы не отстать от Райхан. Видя, что еще немного, и она скроется за холмами, Аскар сорвал с плеча винтовку. Грохнул выстрел...

Алмаатинское совещание шло к концу. На трибуну поднялся седой русский профессор.

— Одним из передовых в Казахстане является Узакский племсовхоз,— говорил он мягким баритоном.— В этом совхозе выращивают овец породы прекокс, ортембер и дегерезская. Животноводы совхоза доказали, что эти породы можно успешно разводить в степных условиях нашего края. Сегодня здесь присутствуют представители племсовхоза.

Под громкие аплодисменты присутствующих Андреев заставил Есима подняться. Смущенно улыбаясь, Есим встал и тут же поспешно сел на свое место.

— Падеж овец в совхозе доведен до минимума. Сейчас период окота, и мы можем рассчитывать, что работники этого хозяйства достигнут отличных результатов.

Снова раздались аплодисменты. А Есим сидел, сгорбившись под взглядами многих людей, и лицо его медленно заливала краска. Андреев с улыбкой наблюдал за ним.

После совещания Андреева и Есима принял секретарь крайкома. Как только они вошли в кабинет, он поднялся

из-за стола и приветливо пожал им руки. А потом стал подробно расспрашивать о работе, о планах на будущее.

— Окот — испытание не только для чабанов. Ответственность на вас ложится большая. У чабанов надо развивать чувство бережного отношения к общественному скоту. У вас ведь принято обязательство получить от каждого ста овцематок по сто пять ягнят?

— Да.

— Хорошо. Вот что вы сделайте: если число ягнят от ста овцематок превысит сто пять, сверхплановых ягнят отдайте чабанам. Только самым лучшим, ударникам. Пусть обзаводятся личным скотом. Нельзя упускать из виду повышение материального благосостояния животных.

— Вот это настоящий руководитель! — сказал Есим, когда они уже выходили на улицу.

— Да. Оказывается, мы еще многого не додумали, — заметил Андреев. — Надо спешить, Есим.

Аскар выстрелил еще раз и снова промахнулся. Впереди показалась кошара, и Райхан попыталась придержать коня, но Акбести, привыкший к дальней байге, не послушался. На полном скаку он сделал два круга вокруг кошары. Преследователи приближались. Не долго думая, Райхан направила коня прямо на кошару. Акбести перемahнул через высокий дувал и закружил по широкому двору. Райхан скатилась с седла, быстро завела коня в сарай, заперла за ним дверь и побежала к себе за винтовкой.

Всадники были уже у кошары. Перебегая с места на место, почти не целясь, Райхан несколько раз выстрелила. Ответные выстрелы загнали по домам выбежавших было на помощь чабанов. В одном из всадников Райхан с ужасом узнала Аскара. Этот не знает пощады... Пересчитала патроны: их оставалось всего три. Бессильно прислонилась она к дувалу, лихорадочно обдумывая, что делать дальше. Вдруг сзади кто-то обхватил ее плечи. Она громко вскрикнула, оглянулась. Это был Есим, и, только теперь почувствовав страх, она бросилась к нему в объятия. Есим забрал у нее винтовку и патроны и приказал бежать в дом. Сарай, в котором находился Акбести, оставался без защиты, и Райхан рванулась было к скакуну, но Есим успел перехватить ее, втолкнул в дом и быстро забаррикадировал двери. Тотчас по ним забарабанили пули. Стекла в ок-

не разлетелись вдребезги. Пуля пробила уголок портрета Ленина на стене. Райхан выхватила из-под подушки свой наган и потушила лампу. Во дворе слышались окрики Аскара, чьи-то ругательства. Потом все стихло. Есим подбежал к окну и увидел, что из сарая выводят Акбести. Двумя меткими выстрелами Есим уложил двоих. От пули, пущенной Райхан, упал Асан... Остальные поспешно скрылись за углом.

Есим и Райхан бросились к сараю: он был пуст. Обесиленная Райхан села на землю и горько расплакалась. Подошли чабаны. Трех Есим отправил в город — сообщить в милицию о нападении банды.

А Райхан все еще сидела на земле.

— Есим, ты видел? Они были готовы жизнь отдать за своего Акбести.

— Нет, Райхан, это был не их конь, не Жексена, он краденый, — ответил Есим.

И он рассказал Райхан историю Акбести... Это случилось пять лет назад, когда Есим пас овец Жексена. В тот день он стоял на вершине кургана, наблюдая за овцами, рассыпавшимися по склонам. Стороной медленно проходил огромный пасущийся табун. По другую сторону кургана паслись лошади Жексена. Сам бай и Аскар находились невдалеке. С Аскаром, любившим охотиться, как всегда, были гончие. На них набрел, отбившись от табуна, небольшой косяк, возглавляемый белым жеребцом туркменской породы. Жеребята в этом косяке были не казахской породы. Аскару очень понравился длинноногий, весь в отца, белый жеребенок. Аскар увязался за косяком, умоляя Есима поймать ему жеребенка. Попросил его об этом и Жексен, а когда он отказался, пригрозил увольнением. Куда денешься от бая, — Есим поймал жеребенка. Асан привел из аула другого белого стригунка, втроем они увели его в овражек, и там в зарослях ударом по голове свалили на землю. Ножам перерезали ему горло. А чтобы хозяева не догадались о подмене, Жексен вырезал из крупы жеребенка большой кусок мяса и тут же скормил собакам. Гончие принялись рвать окровавленную тушу. Наверное, табунчики потом нашли остатки белого стригунка и решили, что его задрали волки. А из украденного жеребенка вырос Акбести... Табун, оказывается, принадлежал совхозу «Дегерезский»...

— Вот оно что! — воскликнула Райхан, когда Есим кончил рассказ. — Выходит, Акбести — наш, совхозный?!

— Наш. Весь скот Жексена — наш. Он и собрал-то его, грабя таких, как мы с тобой. — Есим затынулся, заткнул за пояс наган, вскинул за плечо винтовку. — Дважды теряли мы Акбести. Теперь уж я не успокоюсь, пока не верну его совсем.

Райхан поднялась на ноги, коснулась рукой его широкого плеча.

— Помнишь, когда мы были маленькими оборвышами, мы всегда мечтали подняться на нашу гору за аулом, — проговорила она, волнуясь. — Гора наша высока, но мы доберемся до вершины, как бы враги ни пытались нам помешать. — Райхан придвинулась к нему вплотную и смотрела в глаза так нежно, как в то далекое утро, когда он однажды разбудил ее в кошаре Жексена. — Я буду ждать тебя, — тихо добавила она.

И опять Есим улыбнулся ей робко и растерянно, но пожатие его руки было порывистым, крепким.

Есим спешил к у красного кирпичного здания. В просторном городском кабинете он долго беседовал с полным мужчиной в военной форме.

В тот же день в городе появился бродяга. Здоровенный парень в лохмотьях развязной походкой бродил по чайханам, заходил в мясные лавки, подолгу торчал у шумных пивнушек. Парень держался нагло и был неразборчив в знакомствах. Он быстро сошелся с хулиганами, ворами, спекулянтами и картежниками. Придирчивый глаз мог бы заметить, что он старается держаться поближе ко всем известному вору Майлыкаре.

Однажды он увязался за Майлыкарой и долго бродил за ним по базару. У одного из мелких ларьков он подслушал, как Майлыкара негромко бросил мяснику:

— Вечером жди новостей.

— Здесь? — справился мясник.

— Да.

В сумерках парень беззаботно прикорнул за ларьком. Стояла тишина. Парень похрапывал. Лишь иногда, приоткрыв сонные веки, он равнодушным взглядом окидывал улицу. В полночь к лавке подошли трое: мясник, Майлыкара и незнакомец с кобылой в поводу. Пошептавшись с вором, незнакомец передал поводья мяснику, и тот быстро увел лошадь.

Парень встал и незаметно последовал за Майлыкарой и его спутником. Свернув в темный переулок, они вошли в многолюдную чайхану. В темном углу, натянув кепку на глаза, сидел Аскар. Парень, проходя мимо, засмотрелся на него и невольно замедлил шаг. Тот поднял голову и, вскрикнув, вскочил на ноги.

— Есим?..

Парень отскочил назад к дверям, но Аскар успел схватить его за полу пиджака. Тогда Есим и сам обхватил Аскара, закричал:

— Держите его! Это бандит!

— Его держите! — завопил, в свою очередь, Аскар. — Он убежал из тюрьмы!.. Я выследил его.

Люди всполошились, окружили их. А они уже дрались, нанося друг другу тяжелые удары. Оба здоровые, крепкие, они устроили в чайхане настоящее побоище. Есиму удалось подсечь Аскара подножкой и резким ударом по голове свалить на пол. Но Аскар быстро вскочил на ноги.

— Где вор? Держите его, держите! — закричал он, едва опомнившись от удара.

Несколько мужчин, среди которых Есим узнал конокрада, окружили и поспешно вывели Аскара из чайханы. Есим оказался среди пьяных, возбужденных дракой людей. Он вырывался из их рук, кричал, грозился, но тщетно. В душной чайхане стоял невообразимый шум. Наконец подоспела милиция, и завсегдатаи чайханы сдали ей Есима, как «беглого каторжника».

Утром Есим снова сидел перед военным в том же кабинете. Лицо его было в синяках и ссадинах, одежда изорвана. Военный вызвал двух бойцов, познакомил с Есимом. Они внимательно выслушали его.

Через час три всадника выехали из города и углубились в горы. Невдалеке от небольшого аула, затерявшегося среди скал, они остановились у заброшенной зимовки и, оставив в ней лошадей, медленно направились к аулу. Шли, рассматривая камни, отбивая молотками кусочки породы, собирая образцы в рюкзаки. Навстречу им из аула вышел седобородый старик, справился, кто они и зачем приехали.

— Мои русские спутники — геологи, — объяснил ему парень-казак. — Я их сопровождаю, но нам нужны проводники из местных жителей.

— Что они ищут здесь?

— Камни, какие-то металлы. Здесь собираются строить завод.

Старик привел их к высокой скале, показал па красные камни. Геологи застучали молотками. Подошли еще два местных жителя, принесли куски какой-то темной породы. Геологи рассматривали образцы с интересом. Всем троим хорошо заплатили.

Аскар, Жексен, конокрад и дервиш пробирались к дороге, ведущей в Китай. Кони под ними были крепкие, выносливые. Акбести конокрад вел в поводу.

В развалинах древнего сторожевого поста на горе беглецы решили отдохнуть. Жексен, хорошо знавший местность, показал своим спутникам на тропу, огибавшую крутую скалу.

— Там начинается дорога. За скалой она шире.

Акбести не опускал морду к траве, все время поворачивая голову, глядел назад. Предусмотрительный Жексен попросил было заковать его в ксен — железные путы, но конокрад возразил:

— Скакун не терпит ксена. Перестанет пастись, ослабнет, а дорога предстоит трудная.

— Тогда не спускай с него глаз. Он, проклятый, кажется, привязался к своим кобылам. Уж очень беспокойно ведет себя.

— Никуда он не денется, — заметил конокрад. — От меня ни одному коню не удавалось ускользнуть.

Он стреножил Акбести волосяным чембуром, посторожил его немного и спокойно отправился спать. Его спутники уже постелили кошму у развалин стены. Конокрад захрапел сразу. Остальные долго ворочались. Последним смежил веки Жексен.

Акбести стал неуклюжими прыжками спускаться вниз. На крутом склоне он споткнулся о камень, еле удержался на ногах. От напряжения лопнул чембур, освободилась задняя нога, и конь, победно заржав, пошел быстрее.

От трубного голоса коня Жексен проснулся, выбежал из развалин и увидел Акбести, скакавшего уже далеко внизу. Пронзительный вопль Жексена поднял всех на ноги, и бандиты бросились к лошадям.

Почувяв погоню, Акбести запрыгал изо всех сил. Он перебрался через груды камней, перемахнул через ров, про-

дрался через густую полосу зарослей. Преследователи приближались. Еще один прыжок, еще... Лопнул чембур и на передних ногах, и Акбести полетел вперед, словно птица. Аскар в ярости рванул из-за плеча винтовку.

— Лучше пристрелю, чем оставлять врагу!

Пуля просвистела мимо. Аскар спрыгнул с коня, положил ствол винтовки на камень, прицелился. Нажал спуск. Акбести взбрыкнул ногами, заржал, но не сбавил бега. Снова прогремел выстрел, эхо гулко прокатилось по горам, но Акбести уже успел перемахнуть через гребень горы. Впереди показался аул. Здесь все знали Акбести и тут же снарядили погоню. Тогда конь повернул в горы и, как и следовало ожидать, легко оторвался от погони. Но неожиданно на него выскочили два волка, и скакун снова бросился в сторону аула. Теперь, уже не останавливаясь, он понесся мимо зимовки вниз.

Через несколько минут в аул влетели Аскар и конокрад.

У зимовки звонко заржала кобыла Есима. Есим прислушался, махнул рукой своим товарищам, и они торопливо потянулись к зимовке. Снова заржала кобыла, ей откликнулась другая лошадь, и Есим сразу узнал голос Акбести. Он посмотрел в ту сторону, куда нетерпеливо глядела кобыла. Из-за камней показались острые уши, потом челка Акбести. Настороженно поглядывая на людей, жеребец кругами приближался к кобыле. Есим, ласково приговаривая, пошел ему навстречу. Конь осторожно обнюхал его и ткнулся мордой в полу халата, ища хлеба. Есим обнял его за шею и набросил узду. Перед глазами возник далекий жаркий день... У коновязи Райхан поит Акбести теплым, только что надоенным молоком, а Ашим увлеченно рассказывает ей о скачках... Потом Аскар с камной набросился на Есима, а Жексен ударил палкой Райхан...

— Пока не объявится хозяин, жеребец побудет у нас, — сказал Есим двум парням из аула, невесть как оказавшимся рядом.

Аскар еле дождался их возвращения.

— Уверены, что они геологи? — спрашивал он то у одного, то у другого парня.

— Геологи, — подтверждали они. — Собирают разные камни. Спросите аксакалов. Они узнали, что здесь собираются строить завод.

— Верно, — сказал один из стариков. — За образцы камней они нам заплатили хорошие деньги.

Конокрад, молча слушавший их, шепнул Аскару:

— Надо уходить. Подвох тут...

— Подожди, — остановил его Аскар. — Без Акбести я нигде не поеду.

Аскар и конокрад подъехали к зимовке, где остановились геологи. Один из русских стоял у тропы, Аскар заговорил с ним, представился хозяином белого жеребца.

— Конь у нас, — добродушно отозвался геолог, — в сарае стоит. Если он твой, то, конечно, заберешь. Зайди к начальнику нашему, скажи.

Аскар спешил, передал поводья конокраду и вошел в дом. Тот тоже спешил. В следующий миг под дулом нагана конокрад поднял руки вверх.

Вышли Есим и второй русский, втокнули конокрада в дом, где Аскар лежал уже связанный. Оставив одного товарища для охраны, Есим с другим парнем поскакали в аул.

Первым их увидел дервиш. Он подскочил на месте и быстро юркнул в кибитку.

— Суюнши!.. — запрыгал он перед Жексеном и стариками. Сорвал с головы рваную тибетейку. — Аскар ведет Акбести. И еще одна новость...

В этот момент в юрту вошли Есим и «геолог».

8

Стоял солнечный день.

У кошары Есима Андреев знакомил представителя крайкома с чабанами. Среди оживленных веселых людей Райхан выглядела печальной, была непривычно молчалива.

Пригнал свою отару Иса. Ягнята у него были упитанные.

— На сто овцематок Иса получил сто пятнадцать ягнят, — сообщил Федор окружающим. — Один из лучших наших чабанов. Хотим послать на учебу...

Гость приветливо пожал руку молодому плечистому парню.

Подошел со своей отарой Болат,

— Единственный чабан, который не потерял ни одного ягненка, — представил его Федор гостю. — На сто овцemaток получил сто тринадцать ягнят.

Раздался топот копыт. К кошару скакал Есим с Акбести в поводу. Люди зашумели, побежали ему навстречу. Есим спрыгнул с коня, поздоровался, с любопытством посмотрел на долгожданных ягнят, заулыбался. Райхан стояла рядом.

— Есим...

Он обернулся, все так же улыбаясь.

— Райхан, милая... Вот и выходим мы на свой перевал, — сказал он, волнуясь. Они обнялись. Губы Райхан коснулись его обветренной щеки.

Стороной два всадника увозили Жексена, Аскара и конокрада. Заржал Акбести, увидев приближающихся белых кобыл с белоснежными жеребятами. Болат снял с него уздечку, и жеребец поскакал навстречу своему маленькому табуну.

Иса гнал отару на холм. Поднялся на гребень, оглянулся назад на кошару, потрепал тонкорунную овцу по загривку, заговорил с ней, будто с человеком.

— Вот там, — он показал пальцем вниз, — остались пески, низина... А теперь мы поднимаемся наверх. На свои высоты, как говорит Райхан. Понравилось ей это слово... А как тебе, а? Наши степи, наверное, попросторнее, чем твоя Англия?..

Над степью стоял слитный, неумолчный весенний шум.

ОХОТНИК С ОРЛОМ

Ранним осенним утром, когда дул холодный, сырой ветер, два охотника вышли из юрты и торопливо отвязали оседланных коней. Бекпол, пожилой человек с редкой проседью в бороде, проворно заткнул повод уздечки за пояс и совсем занес было ногу в стремя, как вдруг услышал позади тревожное фырканье коня. Бекпол мгновенно обернулся и увидел всадника, стремительно мчавшегося с ближайшего холма. За плечами у всадника покачивалось ружье. В сырой предрассветной мгле трудно было узнать едущего.

— Кто это может быть? — не глядя на своего спутника, недоуменно спросил Бекпол.

Товарищ Бекпола Жанибек, высокий мужчина с горным загаром на лице и руках, в свою очередь, изумился:

— Кого же это несет к нам в такую рань?

Бекпол молча нахмурил брови. По всему было видно, что неожиданное появление всадника в такую раннюю пору не только удивило, но и встревожило его.

— Да ведь это же Оспанкул, бригадир конезавода. Куда же он мчится чуть свет?! — воскликнул Бекпол, разглядев приблизившегося верхового.

Мирно дремавший до сей поры на руке Бекпола могучий охотничий орел, видимо, опьяненный после тесной и душной юрты свежим и терпким осенним воздухом, вдруг встрепенулся и распростер свои огромные синевато-стальные крылья. От шумного взмаха крыл на птице затрепетало золотое оперение, как трепещет и шуршит сухой камыш, потревоженный порывистым степным ветром. Гнедой конь Бекпола пасторожился, всхрапнул и, злобно закусив удила, покосился в сторону птицы своим огненным глазом. Кзылбалак (так звали охотничью

птицу) встряхивался с такой силой, что испуганные кони шарахались в сторону и даже людей брала тревожная оторопь. Бекпол, выдавший на своем веку немало сильных, проворных, зорких и хищных на охоте птиц, особенно дорожил этим орлом и потому иногда, может быть, не в меру бахвалясь, говорил: «Перья моего орла радуют глаз и шумят, как атласный халат красавицы».

Жанибек со своим орлом на руке сидел на корточках. Его Каракер все пытался сбить лапой со своей головы кожаную шапочку, которая была надета на птицу хозяином перед охотой. Это был молодой орел, еще не совсем усвоивший навыки охотничьей птицы. Беспокойный, шальной, он волновался, стараясь освободиться от неприличного, стесняющего его головного убора. Птице хотелось видеть окрестный мир своими острыми, пронизательными глазами.

— Не позволяй ему сбивать шапку, — приказал Бекпол молодому охотнику. — Этак дашь ему волю — отобьется птица от рук, и хорошего на охоте от нее тогда не жди.

Так переговариваясь между собой и не спуская глаз с беспокойных своих птиц, охотники не заметили, как всадник подъехал вплотную. И только когда до их слуха донеслись отчетливое позвякивание стремян и drobный топот конских копыт, они обернулись, и Жанибек воскликнул:

— Да это Лыска! Ее, наверно, тренируют для октябрьской байги.

— Это не конь, а пылающий костер! — восхищенный стремительным, плавным бегом лошади, сказал Бекпол.

Под всадником легко и изящно танцевала сдерживаемая поводьями тонконогая лошадь. С лунообразной светлой лысиной на темном лбу, с большими сияющими глазами, конь был как-то особенно, женственно красив, и недаром охотники так восторженно загляделись на него, что не сразу заметили хмурое лицо сидящего в седле Оспанкула.

— Ты куда это, милый? Все ли у тебя в табуне благополучно? — тревожно спросил наконец Бекпол, приглядевшись к Оспанкулу.

На посеревшем, измятом лице бригадира можно было заметить следы усталости и бессонницы. Отдышавшись, Оспанкул начал было свой рассказ, не слезая с коня, но

разгоряченная длительным путем и стремительным бегом лошадь не могла успокоиться: она нетерпеливо перебирала упругими, точеными ногами и мешала всаднику говорить.

— Ты слезь, — посоветовал ему Жапибек.

II всадник, спешившись, продолжал свой рассказ. Впрочем, он был краток.

В эту ночь на холмах и в ложбинах урочища Сарымсакты, что виднелось отсюда, пасся один из табунов конезавода. Это был табун бригады Оспанкула. Долгая осенняя ночь была непогожей, аспидно-черной и ветреной. Тяжелые, плотные тучи закрывали небо. Неожиданно в глухую полночь табун был встревожен пронзительным ржаньем. Потом раздались странный гул, крики и свист. Лошади, словно окруженные волчьей стаей, бросились врассыпную. Заметались из стороны в сторону растерянные пастухи. Но в этой ненастной, непроглядной ночной мгле им не удалось собрать мгновенно рассеявшийся в степных просторах табун. Только на рассвете, после долгих усилий, Оспанкул собрал разбежавшихся лошадей и, пересчитав их, обнаружил пропажу девяти отборных коней. По словам табунщиков, лошади были напуганы не зверем, а человеком, и притом человеком чужим. По всем признакам, пропавшие кони попали в руки конокрадов. Разослав табунщиков на поиски лошадей, Оспанкул сам наметом ринулся в пограничную комендатуру за помощью. По пути он решил предупредить колхозных охотников, которые проводили целые дни в этих безлюдных пограничных горах. Заканчивая свой рассказ, Оспанкул обратился к Бекполу:

— Беке, ты не раз выслеживал и ловил не только четвероногих хищников, но и более изворотливых, хитрых врагов. Это будет новое испытание твоей охотничьей сноровки. Ты понимаешь, пропали лучшие лошади! Пропали три коня, которых я готовил к октябрьской байге. Садись же, Беке, скорей на своего верного коня, бери свою зоркую птицу и обшарь сегодня же весь Керге-Тас, — указал Оспанкул на мягко синеющие слева вершины высоких гор.

— Видишь ли, — сказал после некоторого раздумья Бекпол, — если лошади угнаны, то воры, надо думать, находятся на той стороне... Положим, они не смогли еще добраться до границы. Днем они не пойдут. Стало быть, будут ждать следующей ночи.

— Ты прав. Так думаем и мы, — сказал Оспанкул. — При самой бешеной скачке они достигнут границы лишь на рассвете. А разве наши пропустят их? Разве пограничники дремлют?

— Ясно, не будут дремать, — заметил Бекпол. — Но конокрады, по-моему, на день спрячутся в горах Сарымсакты. Поэтому тебе, пожалуй, следовало бы пошарить их там, у себя.

Подумав, Бекпол собрал в левую руку поводья, а правую, на которой держал своего орла, положил на луку и легко взметнулся в седло. Тронув своего коня, он обернулся к Оспанкулу и, указывая на синеющие справа угрюмые скалы, бросил:

— Так ты скачи в комендатуру, а мы выедем на Ожар.

Это не совсем понравилось Оспанкулу. Решение Бекпола ехать на Ожар, а не на Керге-Тас он истолковал как отказ помочь в поисках. Мрачные, почти непроходимые ущелья и горные дебри Керге-Таса были доступны только одному Бекполу. Там он знал каждую чуть приметную звериную тропу, знал каждый камень, знал древний суровый облик этих гор. И потому Оспанкул решил настаивать на поездке охотника именно в эти горы.

— Беке, я пришел к тебе за помощью. Неужели тебе твои лисицы дороже девяти лучших коней? — не скрывая обиды и огорчения, с несвойственным для него раздражением сказал Оспанкул.

Не желая еще больше раздражать взволнованного товарища, Бекпол от ответа уклонился, но своего решения не изменил.

— На Керге-Тас отправились наши охотники с гончими собаками. И если воры там, они не уйдут, — сказал он кратко.

Оспанкул, зная охотников, о которых шла речь, с еще большим раздражением заметил:

— А ну их, этих зеленых юнцов! Они и гор-то не знают. Что они, со своими гончими на вершины поднимутся? Да и ночной тревоги они не слышали. Знаю я этих безусых охотников на лисиц!.. — И Оспанкул презрительно усмехнулся.

Жанибек вскочил на коня и нетерпеливо ерзал в седле, прислушиваясь к не совсем дружелюбному разговору. По совести сказать, ему очень хотелось побывать на Ожаре. Последняя их охота на Керге-Тасе была не из

удачных. Его Каракер, прежде ловивший ежедневно по лисице, за последние дни недопустимо мазал и не взял ни одной. А на Ожаре, как слышал Жанибек, водятся лисицы, и до сих пор ни один охотник не побывал там. Эти места давно прельщали охотничью душу Жанибека. В обольстительных и ярких снах видел он несметное изобилие пышных лисиц, покорно распластавшихся под стремительно падающим на распростертых крыльях Каракером.

Ах, эти неповторимые, волнующие охотничьи сновидения! Ах, эта древняя и всегда юная охотничья страсть! Как все это близко, дорого, знакомо Жанибеку! Он понимал, что для охоты прямой расчет ехать именно на Ожар. «Но как же быть с пропавшими лошадьми?» — задумался Жанибек, и рассудок начал медленно подавлять в нем буйно пылавшую страсть охотника. Вот почему он решительно заявил Бекполу:

— Отвечай прямо, Беке, или мы едем на охоту, или же отправляемся в погоню за конокрадами. Давай решим это скорее и не будем задерживать Оспанкула.

Помедлив с ответом, Бекпол наконец заявил Оспанкулу:

— Вот что, друг мой, поезжай-ка в комендатуру и скажи там Александру, что Бекпол не послушался тебя и уехал на Ожар. Ведь ты сам не нашел следов конокрадов? Следовательно, надо прежде всего разыскать эти следы. Поверь мне!! — заключил Бекпол и тут же, прищипнув своего коня, крикнул Жанибеку: — За мной! Мы с тобой будем сегодня ловить не только лисиц.

Оспанкул долго с недоумением, смешанным с обидой и беспокойством, смотрел вслед удалявшимся всадникам. Мелкой, ровной рысцой уходили они туда, к далеким, окруженным мягкой голубоватой дымкой горам.

Поведение Бекпола показалось Оспанкулу странным, тем более странным, что Оспанкул знал понаслышке о знаменитом колхознике-охотнике, встречи с которым всегда так старательно избегали нарушители границы. Бекпол слыл по всей степной округе верным помощником пограничного отряда. Это обстоятельство и привело Оспанкула к Бекполу. Но его поведение смутило и расстроило Оспанкула, и он, огорченный, направился дальше, к месту стоянки погранотряда. Изредка оглядываясь, он видел смутные очертания двух удалявшихся в сторону Сарымсакты всадников, над плечами которых мер-

но покачивались и плыли неясные силуэты неподвижных птиц...

Предгорье, по которому ехали охотники, было покрыто густым низким пепельно-серым ковылем. Наметанный острый глаз Бекпола сразу же отметил, что, несмотря на облачную непогожую ночь, здесь не выпало ни одной капли дождя. Может быть, от пыли, а может быть, от тяжелого предутреннего тумана в воздухе висела мгlistая, неприметно колыхающаяся завеса. Поля, склоны предгорий с пожелтевшей, точно проржавленной, растительностью и все окрестные утрюмые громады скал были подернуты сумрачной тенью. Но небо было безоблачно, свежо, умыто и по-осеннему холодно. Глядя на это небо, старый охотник уже отлично знал, что день будет погожим, ясным. Вот блеснули первые, ярко играющие на зубчатых вершинах Керге-Таса лучи восходящего солнца. Особый, бодрящий холодок предгорий потянул навстречу всадникам. Головокружительно глубокие темные ущелья Ожара были уже близко. В предутреннем разреженном горном воздухе отчетливо звенели кованые копыта коней, и звон этот наполнял ущелья мелодичным эхом. И даже птица, до того времени мирно дремавшая на руке Бекпола, не видя из-под кожного колпачка, куда увлек ее охотник, инстинктивно ощутила приближение гор. Орел приподнял свой тонкий, с сизоватым отливом клюв, похожий на отшлифованный кремь, и жадно вдыхал прохладу родимой степи, простор овейных ветрами, вскормивших его древних гор.

Жанибеку показалось странным, что Бекпол скачет, не меняя направления. Он знал, что надо было свернуть в сторону, и тогда они не раз успели бы снять со своих орлов колпачки и спустить птиц на добычу. Уже далеко позади остались прославленные пики с лисьими норами у подножий, а Бекпол упрямо продолжал свой путь, не отвечая на неоднократные вопросы Жанибека.

Так они ехали до тех пор, пока не поравнялись с холмами Сарымсакты. Только тут Бекпол, до того времени задумчивый и неподвижный, вдруг встрепенулся, точно охотничья птица, почуявшая добычу, и решительно повернул влево, к Кабаньему ущелью Ожара. Жанибек послушно последовал за старым охотником. Крюк, сделанный стариком, он приписал задумчивой рассеянности Бекпола.

Свернув с горы, Бекпол перешел на рысь, нетерпеливо погоняя своего коня. Жанибек, пагнав Бекпола, следовал за ним по пятам. Молодой охотник пытливо озирался вокруг. Он разглядывал груды камней и теснины ущелий. Он видел там удобные пики для орлов и наблюдателя-охотника и с минуты на минуту ждал, когда настанет время снять колпачки с орлов и пустить их с вершины этих пиков на добычу.

Когда всадники спустились в ущелье, Бекпол придержал коня и поехал шагом. «Ага! Он боится спугнуть лисицу!» — обрадованно подумал Жанибек. Но Бекпол, выехав на небольшую, поросшую мелким ковылем площадку, вдруг остановился, пытливо всмотрелся в этот ковыль и, обернувшись к спутнику, вполголоса молвил:

— Подойди-ка сюда, дорогой.

Жанибек нерешительно приблизился к Бекполу и недоуменно смотрел на указанный им чуть заметный след лошадиных копыт.

— Смотри! — почти шепотом произнес Бекпол. — Тот говорил, что пропали кони, а здесь следы жеребенка.

Пристально взглядевшись в следы, Жанибек рассмеялся и молвил:

— Уж не думаешь ли ты, Беке, что обнаружил пропажу? Напрасно! Просто здесь вчера паслись наши кони.

Холодно посмотрев на смеющегося молодого охотника, старик ничего не ответил ему и молча поехал по следам дальше. Однако следы скоро пропали в густой горной траве. Тогда Бекпол повернул на другую площадку, поросшую мелким редким ковылем. Отъехав на сотню шагов, он снова подозвал Жанибека и сказал ему:

— Вон смотри, ты видишь этот навоз? Он совсем свежий. Кони здесь были ночью. Ты понял меня? А наших лошадей мы угнали отсюда вчера в полдень... И потом, — продолжал он после минутной паузы, — там был один след, а здесь, посмотри, как разбросан навоз. Так падает навоз только на сильном скаку лошади, а не на вольном выпасе. Это тебе говорит старый Беке, и ты должен поверить!

Жанибек молчал. Он был удивлен наблюдательностью и проницательностью старого охотника.

Посмотрев на Жанибека своими старчески тусклыми глазами, Бекпол наставительно заметил:

— Пусть они выехали в Ожар. Нам осталось одно: найти их. Я знаю, Ожар велик. Они, конечно, расставили

караулы. Они наблюдают за нами. Но будем хитрее их! Пусть не подумают они, что мы преследуем именно бандитов.

И на глазах Жанибека старый Бекпол неожиданно преобразился, как будто снова обрел утраченную юность, былой, давно померкнувший в его когда-то ясных глазах молодой задор.

— Мы же с тобой охотники! — весело сказал Бекпол. — Так давай мирно продолжать охоту на лисиц. Не забывай: мы должны действовать не спеша, умно, осторожно. Только таким образом мы обнаружим их логово. Ты понял меня, мой друг?

Вместо утвердительного ответа Жанибек с готовностью произнес:

— Хорошо! Поднимись, Беке, на эту скалу, — указал он налево, — а я обещаю вот эту грудку камней внизу. Я чувствую, что здесь водятся лисицы!.. — И он, прищипнув коня, стал спускаться вниз.

Бекпол поднялся на вершину и, мгновенно сняв колпачок с глаз своего красноногого, точно обутого в сафьяновые ичиги Кзылбалака, спустил птицу. Орел встрепнулся и, охваченный нарастающей внутренней дрожью, стал пристально и неотрывно всматриваться все расширяющимися желтоватыми глазами туда, вниз, где у подножия горы проезжал Жанибек. Кзылбалак нетерпеливо поводил упругой шеей и тревожно шурпал своим золотым оперением. Птица чувствовала близость добычи, и ее нарастающее беспокойство мало-помалу начало передаваться охотнику. Он тоже заметно волновался и, спокойно перебирая сухими, упругими пальцами повод, настороженно озирался вокруг.

Жанибек же не спеша обшаривал каждый камень. Он ударил плетью по луке седла и коротким, отрывистым посвистом старался поднять лисиц. Однако не видевшие в этих местах охотников, не пуганные ими лисы не поднимались после ночной спячки из теплых, належающих логовищ. Только приблизившись вплотную, охотник мог вспугнуть этого чуткого, умного зверя.

Бекпол снял длинный ремень с ноги орла, привычным жестом заткнул его за пояс и, доверив предстоящую охоту Жанибеку и своей птице, сам не сводил зорких, потускневших от напряжения глаз с далеких, грозно очерченных вершин Ожара. Ни малейших признаков жизни не было видно среди этих немых скал. Глубокие морщи-

ны, избородившие открытый лоб Бекпола, стали еще изломанней и глубже.

«Остановились они на Ожаре или ушли дальше? Где приютились они: в этих далеких, недоступных теснинах или в густом лесу?» — думал Бекпол. Ему было ясно только одно: нарушители спрятались в укромном месте, они отлично знают эти ущелья и скалы и у них, видимо, есть надежный проводник, прекрасный знаток этих почти непроходимых мест.

И вдруг пронзительный крик Жанибека прервал размышления старого охотника, и не успел этот окрик коснуться сознания Бекпола, как огромный орел, судорожно дрогнув, мгновенно сорвался с руки охотника, словно камень, стремительно упал вниз и тут же могучим толчком взмыл к сияющим в солнечном свете вершинам Ожара. И трудно было понять: то ли голос Жанибека поднял чуткую птицу, то ли сама она, побуждаемая свойственным ей тонким, проникновенным чутьем хищной горной птицы, пошла на давно ожидаемую добычу.

Зачарованный необычайным взлетом Кзылбалака, Бекпол не отрываясь смотрел на него, молниеносно удаляющегося в голубую высь. Он любил эту сильную, вдохновенную птицу, которая не уступала по крепости и красоте оперения дикому орлу, обитателю гор. Что можно сказать про орла, сумевшего только за последние десять дней добыть для колхоза тридцать отличных лисиц, пышный мех которых дышал в руках, как живой?!

Тот, кто видел этот величественный полет орла, парящего в синем, до головокружения высокоом небе, тот, кто хоть раз ощущал безумный трепет, охвативший птицу, почуявшую добычу, — тот знает силу волнения, которое испытывает в эту минуту охотник.

Бекпол, не сводя глаз со своей птицы, быстро спустился с вершины. Стремительно мчался по ущелью Жанибек. Бекпол еще не видел лисицы, но он чувствовал, знал, что она где-то здесь, меж камней, норовит спрятаться в трещинах, уйти от орла. Но орел, ослепительно сверкнув на солнце стальным переливом распластанных крыльев, вдруг упал вниз и исчез за грудой камней.

И в эту минуту Жанибек вслед за орлом кубарем скатился вниз. Бекпол же осадил коня и, не скрывая волнения, стал наблюдать, как возьмет хищник зверя — сразит ли его прямым смертельным ударом или в нерешительности взвьется над ним снова. Это было решающим испы-

танием для орла, о котором так много думал требовательный охотник... Всегда сдержанный, хладнокровный и расчетливый Бекпол, несмотря на огромное волнение, не терял самообладания и не упускал из виду Кзылбалака.

Орел не взлетел...

Медленным, твердым шагом Бекпол перевалил через груды камней. А Жанибек уже сидел на корточках и кормил разгоряченного орла языком убитой лисицы.

Не слезая с коня, Бекпол спросил:

— Ну как? Каков удар?

— Переломил позвоночник! — ответил Жанибек и расправил на вытянутых руках мертвую, с перебитым позвоночником лисицу.

— Молодец! Орел в ударе. Я впервые вижу такой полет! — восторженно отозвался Бекпол.

Охотники долго молча любовались орлом и взятой им добычей. Но вот они встрепнулись, встревоженные глухим порывистым свистом, и, подняв головы, увидели, как проплыла над ними какая-то хищная птица. Это был самый обыкновенный степной коршун. Не отрывая от коршуна своего зоркого взгляда, Бекпол озадаченно спросил:

— Что-то завидел стервятник. Куда направил он свой путь?

— Наверное, на добычу Кзылбалака, — предположил Жанибек.

— Нет! — горячо возразил Бекпол. — Он, наверно, спешит к завтраку на вершину Ожара. — И тут же, не отрывая глаз от удалявшейся к вершине птицы, Бекпол молвил: — Постой, друг! А вон и другой. Он тоже держит путь туда... Ты знаешь, Жанибек, это неспроста. Забирай лисицу — и скорей на коня!

Послушный и проворный Жанибек никогда не перечил Бекполу. Он быстрым, привычным движением передал Кзылбалака Бекполу, снял с камня своего Каракера и вскочил в седло.

Бекпол продолжал следить за коршунами. Он знал, что, если оправдаются его подозрения, эти хищные птицы потянутся косяками со всех сторон. Наконец, задумчиво посмотрев на Каракера, он сказал:

— Послушай, Жанибек, поднимись на эту груды камней и оставайся там. Я же отправлюсь на ту скалу, — показал он рукояткой плети на красный утес, неясно

выступающий из глубины ущелья. — И когда я дам знак, ты выпусти Каракера. Кзылбалак не взлетит, не увидит добычи. Много труда положил я на то, чтобы сделать Каракера быстролетным и послушным. Как и всякий орел, взятый птенцом из гнезда, он падок на приманку, на мясо, и всегда дает знать о том, где находится. Я слышу это по его позывному клекоту. Вот почему сегодня он нам полезнее Кзылбалака.

Не дождавшись ответа Жанибека, Бекпол тронулся в сторону утеса и, едва поднявшись на первый выступ скалы, подал условный знак. Не успел Жанибек сорвать колпачок с Каракера, как орел мгновенно взмыл вверх. Как прекрасно натасканная птица, Каракер послушно и быстро взлетал с любого места и сам разыскивал незримую добычу.

Жанибек следил за его полетом и видел, как в том же направлении, куда тянул Каракер, шли один за другим три огромных черных коршуна.

Видно было, что орел летел, тщательно озирая окрестные ложбины, но, заслышав тревожный клекот диких коршунов, он набрал еще большую высоту и стремительно пошел вслед за ними. Это испугало Жанибека. Ему пришла в голову мысль, что орел, увлеченный их полетом, уйдет за ними. Вот почему Жанибек помчался к Бекполу. Но, поравнявшись с Бекполом, он, к своему изумлению, не заметил на лице старого охотника ни малейших признаков тревоги. Старик спокойно смотрел вдаль, мысленно проводя воздушную тропу, по которой шли только что исчезнувшие коршуны. И когда Жанибек попытался было высказать свои опасения Бекполу, старик, ни слова не сказав на это, властно протянул ему своего орла:

— Брось! Не говори, чего не следует. На, забери мою птицу.

«Он, наверно, расплачивается со мною за Каракера своим орлом!» — огорченно подумал Жанибек, еще не зная, брать ли этот дорогой подарок взамен утраченного Каракера.

Однако Бекпол сказал:

— Ты не думай, что я дарю тебе своего орла. Я не отдам тебе его. Я не отдам тебе его, потому что твой орел еще вернется. Послушай, — сказал он еще проникновенней и тише, слегка тронув за локоть своего молодого друга, — послушай, я знаю, я чувствую, что враги здесь!

Они на Ожаре, по ту сторону этих вершин. Это они подманили на завтрак коршунов: видимо, они уже закололи одного жеребенка... Только кто будет есть этого жеребенка — они или мы, вот вопрос!.. — усмехнувшись, заключил Бекпол.

Немного помолчав, он суровым и требовательным тоном сказал Жанибеку:

— Немедленно скачи с моим орлом в комендатуру погранотряда. Мчись к Александру! К вашему приезду я постараюсь выпустить Каракера, и если удастся, то выпущу его прямо со стоянки. Следите — это будет моим условным сигналом.

Жанибеку все стало ясно. И он без лишних слов, не дожидаясь объяснений, решительно повернул своего коня и помчался в противоположную сторону, к границе. Бекпол же не спеша стал подниматься к синеющим вдалеке вершинам, по ту сторону которых скрывались, по его расчету, хищники.

Когда охотники расстались, было раннее утро, солнце стояло над горизонтом на высоте пика. И Бекпол определил, что люди из комендатуры придут, когда солнце перекочет на западный склон вершины Ожара. До этого времени он должен обнаружить врагов и подать условный знак.

Но круты и почти неприступны склоны Ожара. Конь, напрягая последние силы, идет мелким, тяжелым шагом — даже легкая рысь ему не под силу. Древний, дремучий еловый лес, опоясывая гору, пересекает путь. Первобытной влажной прохладной дышат густо поросшие елями уступы скал. Тишина. Изредка вдали прострекочет сорока. Изредка донесется приглушенный крик кобчика, неутомимо парящего в вышине. И среди этой дремотной горной тишины осторожно пробирается одинокий путник — охотник в сером тулупе, в шапке из сурка. Он едет, внимательно вслушиваясь в тишину. Напряжено зрение. Напряжен слух. Кажется, напряжен каждый нерв, каждый мускул. Он едет среди безмолвных угрюмых скал, все дальше и дальше углубляясь в их теснины по тропе архаров. Всегда зовут, всегда манят к себе одинокого путника эти купающиеся в лучах осеннего солнца вершины гор. Они величественны и прозрачны. Кажется, они горят своим собственным, внутренним светом. Как легко дышится в эту пору! Как хочется скорей достичь

цели! И чем труднее путь, тем острее желание преодолеть его...

И Бекпол торопился.

Вот он спешил и поднялся на высокую скалу. Перед ним широко распахнулся другой склон Ожара. Он видел, что там, внизу, тянулась темная, словно ажурная, полоса леса, пересеченная кое-где глубокими впадинами, обрывами, провалами.

Но где же враги? В каком из этих ущелий скрывались они от зоркого глаза Бекпола? Под защитой каменных скал или в лесу?.. Бекпол задавал себе эти вопросы и пока не находил ответа. Лежа на выступе острой скалы, Бекпол озирался окрест, зачарованный красотой видневшихся вдаль колхозных полей, красотой близкой, родной его сердцу земли — земли, которую так ревниво, так бдительно вот уже много лет помогает он охранять пограничникам от вторжения закордонных нарушителей.

Спустя некоторое время Бекпол снова сел на коня и, руководимый внутренним чутьем, взял именно то направление, которое вело к стоянке укрывшихся в еловом лесу врагов. Их присутствие выдали кони, которые после долгой скачки остывали, связанные попарно. Бекпол заметил, что на саврасом и рыжем конях нездешние седла. Это были седла кызайцев и суан — из родов китайских казахов. Именно по этим седлам Бекпол сразу же определил, что воры пришли с той стороны. Внимательно оглядев лошадей, Бекпол понял, что кони были измучены длительным и тяжким путем.

«Однако где же люди? — мысленно спросил себя Бекпол. — Может быть, они спят?» — подумал он. В то же мгновение он услышал требовательный и грозный окрик:

— Стой!

Бекпол встревоженно оглянулся и скорее почувствовал, чем увидел в чаще человека с бескровным смуглым лицом. Человек, высунувшийся из густых зарослей, направил в упор на Бекпола дуло ружья и с презрительным спокойствием, не повышая голоса, приказал:

— Слезай с коня!

— Слезу, дорогой, — невозмутимо ответил Бекпол. — Но тебе следовало бы сначала спросить, враг я тебе или нет. Ведь я же один. Ты принял меня за погоню? Чудак! Я просто охотник. Я ищу свою потерянную птицу.

Эти слова, произнесенные Бекполом с неподдельным спокойствием и теплой дружеской усмешкой, видимо, по-

действовали на бандита. Он быстро спрыгнул с дерева, подбежал к Бекполу и вырвал у него из рук плеть. Потом, не говоря ни слова, он движением руки приказал Бекполу, чтобы тот следовал за ним.

Бекполу пришлось подчиниться. Только теперь он заметил, что за деревьями сидели еще три человека. Они словно из-под земли выросли. Эти люди тоже были вооружены ружьями. И неподалеку от седобородого бандита сидел на пне Каракер. Птица сосредоточенно и увлеченно клевала жилистый кусок свежего мяса.

Вдруг Бекпол, мельком взглянув на бородатого вора, неожиданно отступил и замер. Отшатнулся и изумленно раскрыл глаза, уставившись неподвижным и мутным взглядом на Бекпола, и бородатый человек.

— Как, Бекпол?! Как, это ты?! — изумленно и враждебно воскликнул бородатый.

Бекпол, мгновенно овладев собою, притворно радостно закричал:

— Сатбек! Дорогой мой Сатбек, ты жив? Я не верю своим глазам... Ты жив!

Двое других бандитов приблизились к охотнику и, недоуменно переглянувшись, выжидающе молчали.

Сатбек нерешительно подошел к Бекполу и приглушенно спросил:

— Ты свой? Или ты враг?

В эту минуту остальные бандиты начали обыскивать охотника. Было неприятно ощущать их торопливые и грубые прикосновения. Однако Бекпол не протестовал. Он продолжал стоять спокойно, не сводя с Сатбека притворно радостного взгляда. Он так искусно притворился, что было похоже, будто и на самом деле он рад этой встрече и переживает эту радость всем своим существом.

— Конечно, свой! Я по-прежнему предан тебе, Сатбек, — тоном, исключающим всякое подозрение в неискренности, сказал Бекпол.

— Это правда?

— Я никогда не лгу.

Обыскав Бекпола и не найдя ничего подозрительного, бандиты отступили.

Бекпол между тем, внимательно всматриваясь в знакомое лицо старика, изучил его и нашел, что за последние пять лет оно не изменилось, осталось по-прежнему неподвижным, хищным. Это был тот же самый наглый и хитрый пройдоха, некогда известный по всей округе. Этот родо-

витый бай и аткампир ловко избежал конфискации, выдав свою дочь замуж за одного из крупных областных работников, прикрываясь именем которого сумел вовремя избежать заслуженной кары. Только несколько лет спустя прошли по степи смутные слухи: одни говорили, будто бы он осел где-то в Сибири, другие — что он поступил на службу где-то под Ташкентом, третьи давно уже похоронили его. Было верно только одно: что человек этот появлялся то здесь, то там, искусно маскировался, петлял и путал свои следы, как петляет и путает по осеннему насту, чуя погоню, загнанный заяц. Ровесник Сатбека, Бекпол со своей семьей всю жизнь провел в работе на этого аткампера и, кроме оскорблений, ничего не видел от него. Бекпол ухаживал и за его орлами. Толстый конь да жалкая дырявая юрта — вот и все, что было тогда у Бекпола. И теперь, когда они встретились в этом горном глухом углу, Бекпол понял, в какой опасности он находится. Вот почему он собрал свои нервы в комок. Вот почему, подавляя в себе прилив ненависти к этому человеку, Бекпол так искусно и тонко повел игру, изображая неизменно покорного слугу аткампера.

Не спускал с Бекпола глаз и Сатбек. Он и верил и не верил ему.

— Ну, иди сюда, — уже более мирным тоном сказал старик, присаживаясь к костру, и начал расспрашивать: — Сколько вас, охотников? Кто твои товарищи? Где они сейчас?

— Товарищей у меня нет. Я один. Поэтому я и потерял орла. Если бы был товарищ, он помог бы мне поднять лисицу, и не пришлось бы мне отпускать орла далеко, — с наигранным спокойствием ответил Бекпол.

Видимо, не вполне доверяя этим объяснениям, по-прежнему внутренне настороженный, Сатбек, кивнув в сторону Каракера, насмешливо заметил:

— Разве это орел?! Это нищий, собирающий случайные подачки! Разве может быть такой орел у тебя, Бекпол? Разве может настоящий орел летать на падаль?!

Маленькие пронизательные глазки Сатбека забегали по лицу Бекпола. Но этот пристальный, испытующий взгляд не смутил старого охотника. Бекпол усмехнулся и с прежним, не покидающим его спокойствием ответил:

— Зорек ты, Сатбек! Ты прав. Дело в том, что птица принадлежит одному молодому, неопытному охотнику. Он испортил ее...

Сатбек молчал, искоса поглядывая на охотника, точно готовился к прыжку. Подошли остальные бандиты и тоже стали расспрашивать Бекпола, нороя выудить у него нужные им сведения. Их интересовало, нет ли за ними погони? Ищут ли пропавших лошадей? Кого он видел со вчерашнего вечера?

Но охотник был одинок. Никого он не видал, кроме своего орла. И ничего он не знал, этот скромный старик.

— Хорошо, — неожиданно и решительно вмешался в беседу Сатбек. — Хорошо, я согласен. Но если ты свой человек, ты пойдешь с нами? — спросил он в упор, приблизившись к Бекполу.

После секундного молчания Бекпол нашелся и твердо ответил:

— Не гляди так сурово на меня, Сатбек. Если я с первого слова скажу «да», ты вряд ли поверишь. Я сказал тебе, что перед тобой прежний, преданный тебе Бекпол. Ты говоришь со мной, как мой прежний Сатбек. Разве этого недостаточно?

Ничего не ответив, Сатбек взглянул на товарищей и подал им знак. Все четверо мгновенно поднялись и отошли в сторону. По приглушенному говору их Бекпол понял, что они о чем-то совещаются. Он знал, что и оттуда за ним зорко следят пронизательные глаза Сатбека, и потому внешне сохранял спокойствие. Минуту спустя люди перешли с полусшепота на громкие пререкания. Один из них, весь черный, точно обуглившийся, яростно спорил с Сатбеком. Было похоже, что Сатбек остался в одиночестве.

Вдруг трое бандитов неожиданно набросились на Бекпола. Не дав ему опомниться, они надели на него, и перед его глазами тускло блеснул нож с яркой желтой рукояткой. Двое других навалились на ноги Бекпола. Но в это время Сатбек ловко схватил одного из бандитов за руку:

— Стойте! Ради меня отпустите его. Это мой ровесник. Дайте мне поговорить с ним.

— О чем говорить с ним?! Не о чем говорить! — кричали люди, не отпуская Бекпола.

— Тогда спросите сами его и, если он вам солжет, убейте, — заявил Сатбек.

«Ага, вот на что он пошел!» — сообразил Бекпол.

— Пусть твой старик поклянется быть с нами. Иначе ему конец! На острие сабли нет дружбы... — злобно кося

взглядом, заявил черный бандит, еще крепче надавливая коленом на грудь старого охотника.

Но это ничуть не смутило и не испугало Бекпола. Гнев и ненависть нарастали в нем с каждой секундой. В старческой памяти, как в калейдоскопе, замелькали безотрадные картины былых дней. И ненависть к Сатбеку подавила в нем страх. Больше того, чувство протеста подавило в Бекполе даже инстинкт самосохранения. Вот почему, крепко стиснув свои пожелтевшие от времени, но еще крепкие старческие зубы, упрямо молчал Бекпол. И это злобное безмолвие старика взбесило бандитов.

— Да ты что, онемел, что ли? Ты видишь, я заступился за тебя, я просил... — начал было Сатбек.

Но Бекпол не дал ему договорить и крикнул:

— Так убери их прочь!

Он рванулся изо всех сил. Сатбек отстранил от него своих людей и, когда Бекпол поднялся, обратился к нему с такой речью:

— Хорошо, я поручусь за тебя. Присоединись к нам и помоги нам ночью перегнать этих коней за границу. Не беспокойся, когда мы придем туда, я позабочусь о твоей судьбе. Мы станем прежними Бекполом и Сатбеком. Ты согласен?

Бекпол украдкой посмотрел на солнце и с радостью заметил, что оно уже приблизилось к той стороне Ожара.

— Слушай, Сатбек! Слушайте меня и вы все! Хорошо. Я согласен, — непринужденно и почти весело сказал он насторожившимся людям. — Довольно разговоров. Давайте-ка лучше варить мясо. Подкрепимся пищей — и скорее в путь. Надо спешить. Пошли нам бог удачу!

Люди засуетились. Весело запылал костер. Горьковатым ароматом потянуло от костра, от пылающих словых веток и от душистого варящегося мяса. Сатбек и Бекпол сели у огня и уже совсем мирно беседовали, как беседуют старые друзья после долгой разлуки.

— Я уйду с вами, — сказал Бекпол, — а вот с птицей мне надо проститься. Орла надо выпустить на волю.

Увлеченные хлопотливой возней вокруг варящегося мяса, вору не обратили внимания на слова Бекпола. Он пытливо взглянул в глаза орла, ласково провел рукой по его груди и сказал:

— Останься же памятью о нас с Сатбеком на нашей родине. Я не сниму колец с твоих ног. Прощай! Улетай, мой вольный друг!

Он высоко, с привычной ловкостью, подбросил Каракера, и птица, сорвавшись с руки, мгновенно начала набирать высоту, чертя плавные круги над вершинами еловых зарослей. Не отрываясь, долго следил за орлом Бекпол, словно и в самом деле прощался с любимой птицей. Затем, подсев к костру, Бекпол бросил на угли давно уже приготовленный им пучок еще зеленых листьев и сухой травы и стал раздувать огонь. Над густыми елями отчетливо поднялся синий дымок.

Скоро мясо было готово. Проголодавшиеся люди жадно и быстро расправлялись с ним.

Вдруг оседланные кони наострили уши и подняли головы.

— Что это? — тревожно спросил Сатбек, инстинктивно хватаясь за свое ружье.

Мгновенно повскакали со своих мест и схватились за ружья и остальные.

Воры рассыпались, прячась за стволы деревьев, за выступы скал. Сатбек бросился к дереву, где были привязаны кони. Бекпол последовал за ним.

Прозвучал первый выстрел, за ним последовал второй, более глухой, по всем признакам — выстрел ответный. И в эту минуту Бекпол увидел, как, сраженный пулей, нелепо взмахнув руками, навзничь упал высокий смуглый бандит.

— Руки вверх! — раздалась повелительная, громкая команда по-русски и по-казахски.

— Сдавайтесь!

— Бросай оружие!

Сатбек судорожно дрожал, щелкая затвором, и, кося злобным взглядом в сторону убитого сподвижника и в сторону ликующего Бекпола, прошипел:

— Умрешь и ты с нами!.. Я утану тебя за собой!

Бекпол крикнул ему в ответ:

— Бросай оружие!

Сатбек направил было дуло ружья на Бекпола. Однако Бекпол быстрым ударом каблука в колено повалил Сатбека. Тот тяжело грохнулся на землю. В это мгновение Александр, давнишний друг Бекпола с пограничной заставы, подоспел на помощь старому охотнику. Обнаружив врагов, он не переставал думать о судьбе Бекпола, боясь, что в решительную минуту банда прикончит старика. Вот

почему он с такой медлительной осторожностью спешил к нему на помощь.

И Оспанкул, и Жанибек, и красноармейцы-пограничники радостно кинулись к найденным лошадям.

Бекпол подвел Александра к Сатбеку.

— Смотри, Александр, это Сатбек! Он родился в один год со мной и до прихода Советов, до моих седин, он сидел барсуком на моей шее. Ведь ты не раз слышал от меня об этом человеке...

— Да, слышал, друг. Знаю его, — сказал Александр, горячо пожимая руку старого охотника.

И в этот миг, шумя крылами, пошел вниз молодой орел Каракер. Это был день его охотничьей зрелости.

СТОЙКОЕ ПЛЕМЯ

I

Было уже за полночь. Асия не спала. Неотвязные тайные думы не давали ей покоя.

Декабрьская ночь выдалась морозная, ветер захватывал дыхание. Но Асию согревали огромный, до пят, овчинный тулуп свекра и тихая песня... Обходя овечий загон, Асия негромко напевала. Слова ее песни — жаркие и нежные. Это песня-любовь, песня-тоска.

В просторном загоне тысяча овец: большие мягкие живые клубки лежали вплотную бок о бок и только посапывали во сне. Они не шелохнутся до зари. И до зари Асия будет думать о своем.

«Узнает свекор, рассердится... Как не сердиться! Любимая невестка... единственная... сколько прожито вместе... А может, уйти из дома... Совсем уйти? Бросить стариков в горе?»

Громкий лай сторожевого пса Таймаса донесся из ночной мглы. Асия насторожилась: корноухий никогда не лает впустую. Тотчас за ним забрехали другие собаки. Волка они почуяли или лихого человека? Кругом темень, ничего не видать. По низкому декабрьскому небу ползут тяжелые черные тучи. Кажется, вся земля погружена в беспросветную, безлунную и беззвездную мглу. А свирепый ветер уносит лай собак все дальше от загона...

Потом донесся стук копыт, и на увале, за которым простирались пески, возникла неясная фигура всадника. Лай оборвался. Собаки признали своего и поплелись назад к одинокой юрте, стоявшей неподалеку от загона.

Теперь и Асия узнала ночного путника, и сердце ее мучительно забилося. Это был ее свекор Есирген. Позавчера старик уехал в пески — искать новое пастбище. Надо его встречать... Быстро подбежав, Асия в почтительном ожидании остановилась у юрты. Старик подъехал

медленно, его большой серый копы, весь в миле, тяжело водпл боками.

— Хорошо ли съездили, отец? — спросила Асия, приняв повод.

Усталый Есиргеп грузно слез с седла, ни слова ни ответив снохе.

— Притомились, видно, с дороги...

Старик с досадой махнул рукой, угрюмо буркнул:

— Еще бы не устать! С вами, бесстыжими, ноги протанешь! — И отвернулся.

Асия молча отошла, уводя коня. Есиргеп тяжело перешагнул порог юрты и принялся будить старую Балжан. Дочка Канипа, вскочив с постели, стала вздывать огонь.

Войти в дом за стариком Асия не посмела. Хотелось ей послушать тихонько у двери, о чем там будут говорить... Нет, нехорошо это. Опустив голову, Асия побрела к отаре.

Никогда до тех пор не слышала Асия от свекра грубого слова. И подумала: раз он сегодня такой, значит, до всего дознался. Может, Балжан открыла старику тайну снохи, ее вину? Асии было стыдно, но она ни в чем не раскаивалась. И когда она осталась у овечьего загона одна, песня снова зазвучала в ее душе и разбудила воспоминания.

Прошлый сентябрь стоял на удивление теплый и ясный. Овец еще не перегоняли в пески, и они паслись на привольных лугах у быстрой, многоводной Каргалинки. Здесь обосновались опытное хозяйство Института животноводства и отары соседних колхозов. Есиргеп частенько перекликался с колхозными чабанами, пасшими свой скот на другом берегу.

Не найти ранней осенью лучшего урочпща, чем на берегу Каргалинки. Травы в этих местах густые, сочные. Глазом не охватишь уходящие вдаль широкие поймы. Весною их заливают полая вода, зато летом и осенью покрывает сплошной зеленый ковер. Поэтому так многолюдно и шумно бывает у Каргалинки. Сюда чабаны пригоняют овец на отдых с дальних выпасов и ставят вдоль говорливой речки свои юрты и шалаши.

В теплый сентябрьский вечер чабан Тусыпжан собрал молодежь пастушьих аулов по случаю приезда сына-фронтвика. Пришли на вечеринку и Асия с Канипой, пришел и общий любимец веселый Молтай, который умел и песню сложить, и блеснуть острым словом на айтысе.

И случилось так, что Молтай неожиданно-негаданно открыл перед Асией, казалось бы, навеки заказанную ей дорогу к счастью.

До той поры она держалась замкнуто, в стороне от людей, наедине со своей неизбывной болью. Один год прожила она с любимым мужем Сайлыбеком. Хорошо было в тот год! Старый Есирген и добрая Балжан не могли нарадоваться на молодых, души не чаяли в невестке, хвалили ее веселый, покладистый нрав. И между молодыми были только мир и любовь.

Началась война... Сайлыбек отправился в далекий путь — на фронт, оставив в тревоге и в тоске престарелых родителей и молодую жену.

Никогда и в мыслях не было у Азии изменить мужу. Но Сайлыбека давно нет в живых... Он оплакан горючими слезами.

В первый же год войны пришло письмо от командира воинской части. В том письме говорилось, что Сайлыбек — герой, бился за Москву и пал смертью храбрых под Вязьмой. Неизвестный человек благодарил родителей за то, что они вырастили такого сына, говорил, что вся воинская часть Сайлыбека осиротела.

Асия и Канипа дружили с детства и в школе сидели за одной партой, теперь их породнило общее горе. Много слез пролили они над похоронной, но тайком. Им хотелось, чтобы в сердцах отца и матери оставалась искорка надежды на чудо. Друг семьи, старый ученый Иван Дмитриевич Бобров, приезжая к Есиргену по делам института, добивался того же.

— Могло ведь и так случиться, — говорил он, — что Сайлыбека подобрала санитары другой части. Может, попал он в госпиталь тяжело раненный, без сознания, без документов. Похоронная пошла своим путем, а человек жив! На войне всякое бывает...

Минул год, за ним другой, третий. В семье словно бы уговорились: Сайлыбек вернется. И казалось, что в это верит и Асия.

А прошлой осенью впервые вдовья жизнь Азии вдруг озарилась новым светом. Мудрено ли, что она потянулась к нему?

Молодые гости веселились на тое у Тусыпжана от всего сердца и наконец затеяли айтыс. Когда-то Асия отличалась на айтысах звонким голосом, веселой прибауткой, метким словцом. В годы вдовства она не ходила на

тон. И в тот вечер помнившие ее искусство тщетно просили ее выступить, она не хотела нарушать обета, данного самой себе после гибели мужа. Тогда Молтай схитрил: он стал вышучивать Канипу и ее товарок по бригаде. И хотя в его шутках не было ничего злого, ничего обидного, молча снести их было невтерпех.

Канипа покраснела, рассердилась, но складно ответить дерзкому парню не сумела — не было у нее песенного дара. Поневоле пришлось Азии вступить за подружку.

Молодежь бросила игры и танцы. Все столпились вокруг Азии и Молтая, смеясь и подзадоривая их: «Так его!», «Э-э-э!», «Вот так отбрила!»

И Асия не заметила, как увлеклась. Не унижая и не оскорбляя противника, по виду дружески-добродушно, она осмеяла его нещадно. Их бригады соревновались, и бригада Азии опередила Молтая с его ребятами. С этого Асия начала.

Подыгрывая себе на домбре, она весело и непридуманно спела сочиненное на ходу:

Пока мы в степи поголовье растили,
овец пасли,
добро берегли,
вы тоже...
в степи пустословье пасли,
убытки растили,
себя стерегли!
Кто поголовье,
а кто пустословье, —
скажи, мудрый Молтай?

Смех и одобрительные крики прервали Асию. Все были рады, что она наконец взяла в руки домбру.

Молтай, также довольный в душе, пытался, однако, оправдаться. Двадцать ягнят из его отары побил в степи внезапный небывалый град.

И человека убьет в одночасье, —
Кого будешь в этом винить?

Но лучше бы ему отмолчаться, чем жаловаться в песне. Асия была в ударе. И спела лукаво-сочувственно, что бедняга прав! Прославим героя, спасшего от града свою драгоценную особу... Разве его золотая голова и новый костюм не стоят двадцати голов ягнят? Разве не от великого ума он догадался бросить овец на произвол стихии и бежать под крышу? Позор тем глупцам, которые не

сумели отпраздновать его спасение! А мы с Канипой, по дурости своей, не бегали, не прятались, а своими телами укрывали ягнят. Но и то правда, что такую простую вещь сумеет сделать каждый дурак!

Песня Азии утонула в оглушительном хохоте. И Молтай сдался в ответной песне, заявив во всеуслышание, что он — тот самый Молтай, который споткнулся на ровном месте! Он не заикнулся о том, что ягнята погибли, когда его не было на пастбище. Но, приняв на себя чужую вину, он закончил песню неожиданно: Молтай не горюет, что побит. Давненько молчала наша Асия. Я ее задел, она зазвенела, как струна... Пусть теперь гневается, если хочет!

Это была почетная капитуляция. Гости были благодарны остроумному парню. И Азии он понравился. Всю ночь напролет они бродили вдвоем по степи, говорили по душам и на рассвете расстались друзьями.

Так и повелось с тех пор, что Молтай приходил к Азии, когда она сторожила, и они коротали ночь с глазу на глаз, в долгих разговорах. «Поженимся?» — спросил он однажды. Асия не удивилась, она обрадовалась, но сказала: «Нет». Ее удерживало суеверное чувство, что она потеряет Молтая, как потеряла Сайлыбека. А главное — родители... Они ждали Сайлыбека.

Однако жизнь шла своим чередом. Жизнь не оглядывалась на умерших. И Асия наконец решилась и во всем открылась Канипе. Та неожиданно оскорбилась за брата. Девушка не допускала, что другой человек может занять место ее брата в жизни невестки, стгоряча заговорила с ней о женской чести и горько расплакалась. Несколько дней подруги не разговаривали, потом Канипа одумалась, пришла мириться. Они встретились с Молтаем, и Канипа, смеясь и плача, пожелала ему и Азии счастья.

Капица сама вызвалась уладить дело с родителями. Но это значило — сказать им, что Сайлыбек погиб, тщетно его ждать. И Канипе и Азии было жаль стариков. Неизбежный разговор со дня на день откладывался. Тем временем судьба Молтая круто повернулась: его призвали в армию, он уехал на фронт, а Есиргеп так и остался в неведении.

Вскоре пришел заветный треугольник, привет Молтая дорогой жене, написанный стихами. Эти безыскусные строки звучали клятвой верности. И теперь Азии было тяжело молчать, стыдно таиться. Она не хотела, чтобы ее имя принялись трепать досужие сплетницы. И тот, кто

тихонько шевелился в ее материнском лоне, требовал признания. Уже две недели он настойчиво напоминал о себе острыми, нежными толчками.

— Молчи! Поняла я, — сказала Канипа, узнав об этом. И, словно вдруг обретя желанную волю, пошла к матери.

Ошеломленная тем, что услышала, и без того болезненная Балжан слегла и сутки не притрагивалась к еде. Есиргеп встревожился, она отвечала ему коротко: «Поясницу ломит».

Но ни слова упрека не обронила Балжан. Поднявшись с постели, она стала с Асией ласковой прежнего. Лучший кусок за столом отдавала ей. Не забывала напомнить дочери:

— Пригляди за ней, как бы не притомилась. Пойди узнай, может, озябла? Есть хочет?

И все же Асия слышала тяжкие вздохи, которых не могла сдержать свекровь. А позавчера, когда Есиргеп, оседлав своего серого, поехал со двора, Асия видела, как Балжан, провожая мужа, долго шла рядом с конем, далеко ушла в степь. Стало быть, сказала... Вот и хорошо. Так лучше. Так честней.

Сегодня Асия убедилась, что свекор все знает. И у него, видно, не нашлось ни доброты, ни мудрости свекрови. Словно заледеневшая от его непривычной суровости, Асия до утра так и не вошла в дом, всю ночь провела возле загона.

II

В юрте долго теплился огонек, и Асия понимала, что там идет семейный совет. Забрел рассвет, в юрте было тихо. Асия проскользнула в дверь, скинула у порога тулуп, юркнула под одеяло и тутчас забылась чутким, тревожным сном. Но вскоре проснулась и услышала негромкие, но раздраженные голоса свекра и золовки.

— Всем теперь плохо, а Асии хуже всех, — горячо шептала Канипа. — Ты-то ее пожалей, не мучай.

— А меня кто пожалел? — Старик поперхнулся от гнева. — Мне от такого срама хоть сквозь землю провались! Как я людям в глаза смотреть буду? Об этом ты подумала?

— Ну что же поделаешь!

— Уйду я от вас, вот что... Уйду с глаз долой, и все тут...

— Умный ты человек, отец, а невесть что говоришь! Я думала, доброе что скажешь!

— Больше мне вам сказать нечего. Легче умереть, чем стыд терпеть. Вот и оставайтесь с ней... а я — от греха подальше...

— Хорошо. А отару куда денешь? Ты обязательство давал? Тебе подоштных овец доверили, как старому чабану, порядочному человеку. Теперь как же, все на-смарку?

— Я обязательство давал — на вас с Асией надеялся. Один я что могу, коли вы от меня отступились? Я — старик. Старый пес подышать из дома уходит. Вот и я... туда же... Я вам не нужен, а вы мне! — И Есиргец пошел к двери.

Канипа метнулась за ним, обогнала и, раскинув руки, загородила дверь.

— Что же ты делаешь, господи! — плача, закричала Балжан. — Держи его, дочка, старого. Сына потеряла... теперь до мужа черед дошел?

Асия рывком сбросила с себя одеяло и, вскочив на ноги, впервые глянула прямо в лицо свекру. И, не утирая слез, не помня себя от обиды и горькой жалости, быстро, бессвязно заговорила:

— Отец, послушайте, отец, милый!.. Я... я во всем виновата, а вы правы! Куда вы старую голову приклоните? Нет, я, я уйду... сейчас же уйду... куда глаза глядят. — И с лихорадочной поспешностью стала одеваться.

Канипа заметалась между отцом и невесткой, как огонек на ветру. Она то бросалась на шею отцу, то хватала за руки подругу:

— Отец! Асия! Родные вы мои...

Есиргец не слушал ее, угрюмо отворачиваясь, и тогда она сказала неожиданно спокойно и веско:

— Отец! Ты — дому и скоту хозяин. Как скажешь, так и будет. Так вот: хочешь, чтобы Асия от нас ушла? Да или нет? — Голос ее сорвался.

Есиргец молчал. В тишине были слышны всхлипывания Балжан.

— Понятно. Вот ты какой! Но и я уйду вместе с ней, так и знай. Оставайся тут с матерью, с нами тебе тесно! — И круто повернулась к невестке. — Одну не пущу никуда. Твой муж на фронте, мой жених там же. И если

уж нам суждено горе мыкать, так вместе. Не пропадем, не плачь!

Есирген стоял потупившись, потом шумно вздохнул и, грузно шагая, вышел из юрты. И только стукнула за ним дверь, Балжан кинулась обнимать сноху и дочь.

— Что это вы затеяли? Одумайтесь! То старик шумит, то вы грозитесь! Да что же это? А я что, не человек? Я вам мать, у меня за обеих сердце болит. За что вы меня-то бросаете? Вы меж собой ругаетесь, а мне и так и этак — слезы!

Балжан обыкновенно была тихой и с виду покорной. Никогда голоса не поднимет, лишнего слова не скажет. Но была в ней добрая материнская сила, умела она распознать, чем мучается человек, и знала, как ему помочь. Балжан увидела в глазах Азии еще не угасший строптивый огонек, почувствовала в душе дочери раскаяние. И распорядилась по-своему:

— А ну-ка, ступай, дочка, к отаре. Овцы, поди, разбрелись, как бы волки не объявились! А мы тут с Асией потолкуем. Иди, иди, поторапливайся.

И обе послушались ее: Канипа ушла, Аспя осталась.

Целый день Канипа томилась и тревожилась: что дома? Медленно тянулось время. В полдень она повернула отару назад, к загону. Овцы сегодня шли медленно, то и дело останавливаясь, чтобы разрыть рыхлый снег, отыскать лежательную траву.

Все они были, как на подбор, белые, рослые, длинношерстные. Это племя, выведенное в институте, хорошо знали специалисты далеко за пределами Казахстана. Но пока было только две тысячи таких овец: одна — здесь, в песках, у Есиргена, а другая — в горах, под присмотром старого Керя. Овцы проходили испытание на стойкость, зимуя в суровых условиях, на подножном корму.

Бывало, Канипа, Асия и Есирген любили втроем обсудить своеобразные повадки новой породы, поделиться своими наблюдениями и маленькими открытиями. Есиргена слушали жадно, как дети слушают увлекательную сказку. За свою долгую жизнь он узнал об овцах много интересного. Все трое понимали, что им доверено государственное дело, и это наполняло их горделивым чувством.

«А вот теперь с кем посоветуешься?» — подумала Канипа, наблюдая за овцами с вершины пологого холма, когда они снова надолго задержались. Вдруг она заметила

Асию, которая шла, ведя в поводу маленького мохнатого ослика. Видно, она шла за хворостом для очага.

Канипа спешила, отпустила коня пастись и побежала навстречу подруге. Обе они искали друг друга.

Канипа пыталась подбодрить Асию, да и себя тоже:

— Ты только не плачь, не волнуйся зря. Я все устрою, вот увидишь!

Но обе понимали, что это не так-то просто.

Молтай обычно писал часто, а вот теперь писем от него уже давно не было. И они боялись даже думать о том, почему он молчит. Ни у Молтая, ни у Асии не было никого ближе семьи Есиргепа. Правда, имелся у Асии какой-то дядюшка, но непутевый, — и свою-то многодетную семью не умел толком прокормить. Вряд ли он обрадуется племяннице. Выходит, что, уйди она из дома свекра, и некуда ей податься. А помириться с Есиргепом — значило сказать ему правду о Сайлыбеке. Канипа была готова и на это, но Асия не хотела устраивать свою жизнь ценою горя стариков.

— Пусть время отнимет у них надежду, а я не могу, — решительно молвила Асия.

К тому же здесь, на далеком отгонном пастбище, в пещках, семья зимовала одна-одинешенька в безлюдной степи, и не было кругом живой души, которая пришла бы к старикам со словом сочувствия и утешения. И отлучиться отсюда, хотя бы ненадолго, никто из них не мог из-за овец, которых хочешь не хочешь тоже невозможно было выкинуть из головы.

Вот и сейчас, когда они мирно паслись вокруг, женщины, взволнованные своим разговором, не могли не заметить необычного поведения животных.

— Глянь-ка! — сказала Асия. — Я думала, они только летом, в зной, друг к другу жмутся, от солнца прячутся. А они и сейчас пасутся кучкой. Наши обыкновенные овцы давно бы в разные стороны разбежались.

— Это ты верно заметила, — сказала Канипа. — Их и пастись куда легче, чем наших степных баранов. Набредут на изень-траву — с места не тронутся, пока всю дочиста не объедят. Назавтра и травинки здесь не сыщешь, надо дальше двигаться. Боброву скажу, когда придет.

Зима стояла суровая. Пронзительный студеный ветер без устали дул из ущелий Алатау, торопя Есиргепа кочевать все дальше в пески полупустынь, к границам Сарытау. Фермы, скирды сена уже далеко позади. Правда,

есть еще неподалеку урочище Карой с аварийным запасом и удобным укрытием. Но какой смысл ставить овец в теплые загоны, на готовые корма, когда надо испытать их на стойкость? На всем готовом и коза проживет!

Овцы... белые овцы... Приживутся ли они в казахской степи?

— Мы их от маток приняли, — мягко заметила Канипа, угадывая, о чем Асия думает. — Вырастили их, выходили... Неужели им нынче от джута пропадать? — И искоса глянула на невестку. Знала, чем ее пронять.

— Отец правду сказал: стыд хуже смерти. Да я бы со стыда на край света убежала. А с овцами что делать? Пять лет я за ними, как за малыми ребятами, ходила. Бросишь их — все будет думаться, что скучают обо мне, назад зовут. Да и перед людьми совестно. На собрании вон говорили: большое дело тебе доверяем, передовой комсомолкой называли. Вот тебе и передовая! — И вдруг Асия оборвала. — Мне домой пора!

И пошла к своему смиренному ослику, еле видному под огромным ворохом сушняка.

III

Только было Есиргеп, утомленный двухдневным путешествием по пескам и бессонной ночью, прилег отдохнуть, а Балжан, стараясь не шуметь, занялась приготовлением чая, как чуткий слух старика уловил топот коней.

— Выйди погляди, кто там, — сказал Есиргеп, поднимаясь с постели.

В юрту входили, здороваясь, старый дружок и однолесток Есиргепа профессор Бобров и институтский зоотехник Асан.

— А где же еще двое? — удивился старик. — Слышал, вроде четверо к дому подъехало?

— Ты, брат, видно, одним ухом спишь, другим слушаешь. — Бобров и лето и зиму месяцами жил среди пастухов и свободно говорил по-казахски. — Сколько, говоришь, коней за дверью?

Обрадованный приездом гостей, Есиргеп с готовностью подхватил шутку:

— А ты думал, я только в овцах смыслю? Мы и коня понимаем. Если вы и вправду вдвоем приехали, значит, каждый заводного коня за собой привел, итого, выходит, четыре! Соврал, скажешь?

Асан даже крикнул в восторге — в точку старик попал! А Бобров подзадорил:

— Просто-напросто ты в щелку подглядел!

— Я не девка и не молодуха, чтобы подглядывать. Что же, я за весь свой век около скотины конского топота различать не научился?

— Твоя взяла! — сказал Бобров. — Мы тебе двух добрых коней привели — разъезжай на здоровье. Осенью ты говорил, что зима будет лютая, разъезды тяжелые — надо бы хорошего коня. Вот и получай, что просил!

Чай пили долго, со вкусом прихлебывая крепкий настой, забеленный молоком, истово утирая пот и ведя неторопливую беседу о том, какова зима в горах, какую погоду обещают старожилы и как перенесут драгоценные овцы предстоящую суровую пору. Об овцах Бобров не забывал даже во сне, и сейчас, не отставая от Есиргепа в чаепитии, он упорно сводил разговор на свое. А Асан настойчиво совал старику какую-то бумагу. Оказывается, новый договор на соревнование с Кереем: сохранить все поголовье и получить по сто пятнадцать ягнят от ста маток. Есиргеп скучливо отмахивался от зоотехника.

— Кереею зимовать — не бедовать! У него в горах все под рукою: сена сколько влезет, а ночевать — пожалуйте в теплый загон.

Асан было заикнулся, что у Кереея... Но Есиргеп не слушал.

— Нет, это, милый, не по-моему... Мы же проверяем племя на стойкость, так зачем же его держать на всем готовом, да еще в тепле! Уж опыт так опыт, без поблажек.

Но, споря об условиях соревнования, рассказывая гостям о том, что думал перезимовать у незамерзающей речушки в урочище Карашенгель, да снега не дают, дальше в пески гонят, Есиргеп все время помнил о своей беде. И наконец, придвинувшись к Боброву, доверительно сказал:

— Я тебе как брату родному обрадовался. Простой ты, домом моим не брезгуешь, славой своей да званиями не кичишься. За то тебя и уважаю и ничего от тебя скрывать не хочу.

И рассказал Боброву о том, какое в доме стряслось несчастье. Старик говорил долго и горестно — так у него наболело. Бобров слушал не перебивая, только утирал обильный пот с морщинистого лба.

Есирген умолк, а Бобров все еще не мог собраться с мыслями. Обычай казахские он знал, Есиргепа понимал, но что можно ему ответить? Как бы еще больше не осложнить его семейные дела!

— Что же тут скажешь, Есирген? Дело это не простое: и ты по-своему прав, и Асию тоже понять надо. Женщина она славная, но ведь неопытная, еще молодая. А молодость-то, люди говорят, не вина! — Бобров глянул на Есиргепа. Тот сидел насупившись. — Не торопись решать, ломать... Тут спешка ни к чему: обидеть человека просто, а рассориться и того проще. Думать надо вам с Балжан. Вы с женой люди разумные, жизнь знаете. Подумайте вместе. Жену в таком деле не отталкивай. И Асию не спеши оттолкнуть.

— Она сына моего опозорила, — глухо пробормотал Есирген. — Мою седую голову перед всем честным народом стыдом покрыла... Понятно, ей теперь в моем доме не сладко, и я на нее глядеть не могу. По-настоящему, разъехаться нам надо, да... — Старик загнулся и поморщился. — Но вот вопрос: а как я без нее перезимую? Чабана из глины не слепишь! В пески откочуем — там волков полно, бураны, стужа. Когда она ночью при отаре — летом ли, зимой, — я спокоен. Кто ее заменит? У меня уж сила не та, за двоих не выдюжу. Выходит: куда ни кинь — все клин. А все равно вместе нам не житье — так я решил.

Бобров отставил пустую пиалу, закурил. Так и сидели два старика, подавленные, расстроенные.

На пороге появилась Асия с охапкой хвороста. Коротко поздоровалась. В доме воцарилось неловкое молчание. Балжан поспешно выбралась из-за стола и вышла вместе со снохой разгружать ослика. А выйдя, словно бы ожила, заговорила:

— Ишь как озябла, дочка. И отдохнуть тебе сегодня не пришлось. Ступай, поешь горяченького, укутайся хорошенько да ложись, до ночи отоспишься.

Подошел Асан, держа пачку газет.

— Письмо вам с Канипой, держите. — И он протянул Асии измятый конверт вместе с газетами и журналом в пестрой обложке.

Асия вспыхнула и загоревшимся взглядом поблагодарила Асана. Привет от Молтая! Миленький, жив! Но тут же радость ее угасла: письмо было написано всего на три дня позже того, которое она получила в прошлом месяце. За-

держала полевая почта. И опять сердце сжала привычная тревога: сколько уже времени Молтай молчит? Что с ним? Что с ним?

Асан понурился и пошел звать Боброва засветло осмотреть отару.

IV

Еще не подъехав к отаре вплотную, Бобров наметанным взглядом отметил неладное: овцы, обычно такие спокойные, бестолково перебежали с места на место. Видно, им не хватало корма. Канипа подтвердила: пастбища Карашенгеля потравлены. Овцы начали худеть.

— Да вот сами увидите. — И она, стегнув свою кауру, поехала вперед.

Осматривая овец, Бобров и Асан записывали что-то в свои блокноты. Есиргеп поглядывал на них с тревогой.

— Ты вот много чего тут написал, — не выдержал он наконец. — Я в твоей писанине не силен, но и так могу сказать, что ослабли те самые овцы, каких мы еще весной к третьей категории определили. Верно?

Бобров повернулся к Канипе:

— А ты как полагаешь?

— Да, видно, так и есть.

— И это в начале зимы! — Есиргеп все больше волновался. — А что с ними будет в феврале, в марте? И зачем ты мне на мучение эту третью категорию подсунул? Коли они до весны дотянут, так во время окота передохнут, а иные и окотятся, так потом ягнята начнут пропадать. А кто в ответе? Я!

— Конечно, Керей победит в соревновании, — вмешалась Канипа. — Он своих слабеньких в стог зароев. А мы какими потерями рискуем!

— Рисуем, друзья, рискуем, конечно, в каждом опыте есть свой риск. Зато узнаем то, чего без риска не узнаешь. Верь моему слову, Есиргеп, выдержат наши овцы, хотя предки их никогда в песках не зимовали. И за ягнят не бойся: самое трудное они переживут еще в утробе матери, а на будущий год вернуться сюда крепышами, уже закаленными, выносливыми. Другое дело, что ты с ними хлебнешь лиха, но тебе-то не впервой! А об ответственности не беспокойся, — ответственность я беру на себя. Об этом и в Наркомате знают. Снимайся и кочуй себе дальше в пески, вот твоя забота.

Бобров ухитрился тихонько перекинуться словечком с Канипой. Девушка выложила ему все начистоту. Она Асию ни в чем не упрекнула, но и об отцовской обиде умолчать не могла.

— Как нам быть теперь, посоветуйте, — спросила она. — Вы о смерти Сайлыбека знаете. Но старики-то все ждут его, надеются. Не можем же мы им так прямо сказать: погиб, мол, и все. А об Азии толковать поздно, она с Молтаем свою жизнь связала. Кабы его в армию не взяли, давно были бы они вместе. Мы бы стариков уж как-нибудь уломали. А теперь Молтай на фронте и вернется ли — кто знает. Асия и осталась кругом виноватой. Вся надежда на вас: уговорите отца ее не обижать. А не то пообещайте ему через месяц подобрать человека, пусть пока потерпит. Асию не трогает. Может, все и образуется. Ведь и вправду нам сейчас без нее никак не обойтись.

Бобров с удивлением глянул на Канипу. Скромница, воды не замутит, простушка. А как разумно сообразила: и отцу не обидно, и подруге хорошо.

— Добрый из тебя человек растет, девочка, душевный! — Отеческая улыбка озарила его морщинистое лицо. — Поеду в Алма-Ату, в институт, так и скажу руководству: вот, мол, какие у нас комсомолки, умеют о людях думать! Этой думке цены нет. Попробую Есиргепа урезонить. А не выйдет — что делать, — заменим Асию кем-нибудь другим. Конечно, делу урон, и вам расставаться горько. Ну посмотрим.

Ночью, когда Асия ушла караулить овец, а Балжан с Канипой, намаявшись за день, уснули. Бобров опять было затеял неторопливую беседу со стариком о том, что ради мира в семье нужно быть помягче со снохой. Но Есиргеп сказал напрямик, с новой недоброй решимостью:

— Мало ли я в жизни перепес, вытерпел, Иван! Ты мою жизнь знаешь... А вот глядеть, как она... в моем доме... своего приبلудного пянчить будет, этого не вынесу, не стерплю... Это мне все едино, что Сайлыбека живого похоронить. Старость мою пощади, Бобров. Как обернешься, присылай другого человека. Вот мое последнее слово!

Бобров понял Есиргепа: только время излечит его боль, а весь этот долгий, тяжелый разговор ни к чему.

Наутро начали откочевку. Бобров и Асан вместе с хозяевами разобрали юрту, сложили нехитрый хозяйский скарб и поехали за отарой к безводным песчаным холмам Сарытау, которые высились впереди, подобно грядам

набегающих морских валов. Казалось, здесь негде было приютиться ни человеку, ни скоту. Но местами волны барханов, громоздясь одна на другую, образовывали как бы замкнутую в кольцо глубокую впадину. Глянешь с гребня — и кажется, что смотришь на дно громадного пересохшего колодца. Такие места среди песчаных увалов, укрытые от ветра, здесь называют шукурами. И Есиргеп, изъездив вдоль и поперек пески Сарытау, облюбовал себе укромный шукур среди обширных равнин, обильно поросших степными травами — езенем и еркеком.

В песках нет проторенных дорог, нет ни гор, ни лесов, ни рек, по которым можно было бы определить, где находишься. Тот, кто смолоду не привык к пескам, неминуемо заплутается среди бесконечных песчаных воли и холмов с коническими вершинами и кустистыми пучками жесткой травы. Даже бывалый Есиргеп на всякий случай водрузил вешку на макушке холма рядом со своим шукуром. Все, кто кочевал в песках, ставили такие знаки. Одиноко торчащая среди песчаного моря вежа оповещала о человеке: я тут!

Бобров пробыл с отарой неделю. Овцам перекочевка пошла на пользу. Снегу здесь было меньше, чем на Карашенгеле, а корма вволю. И овцы спокойно и кучно паслись, неторопливо поедая корм до последней травинки. Все они заметно тучнели, входили в тело, и словно бы вместе с ними веселел Есиргеп.

— Теперь все в порядке, — сказал он Боброву. — Ну, а если снегу подвалит, я дальше в пески уйду, только бы метелей не было. В буран тут беда!

На прощанье Бобров поел в гостеприимной юрте вкусного бешбармака, в охотку запил его крепким чаем, выспался под стеганым одеялом и собрался с Асаном уезжать.

— Видно, вам со стариком не ужиться! — сказал он Азии, уже садясь в седло. — Худо это, по-моему, и для тебя, и для него худо. Ну, как знаете! Работника на твое место пришлю через месяц. Вернешься в институт, пошлю тебя на ферму... И не благодари, работу твою знаю, ценю... А ты вот что: пока со стариком ладить старайся, смолчи, если заругается. Уж коли придется расставаться, так лучше мирно. Правда?

Асия горячо пообещала работать, как прежде; она уж постарается не сердить отца.

Ночь тянулась бесконечно, и Асию томило смутное беспокойство, сердце чуяло беду. Ребенок толкался чаще и сильнее прежнего, словно вздрагивая во сне... Еще никогда не ждала Асия рассвета с таким нетерпением.

Лохматые черные тучи стремительно гнались в небо одна за другой под ущербным, обломанным диском луны. Поземка с визгом мела по бархапам, швыряя в лицо Асии колючие горсти снега вперемишку с песком. Непрерывно лаяли собаки. Обычно спокойный Таймас то большими скачками носился вокруг шукура, то напряженно застывал возле Асии. Всем своим взъерошенным видом и частым подвыиванием он предупреждал: берегись! неладно кругом!

Асия ласково трепала его по жесткому загривку.

— Что ты, Таймас, что ты? Чего испугался?

Пес отвечал сердитым рычанием, глядя на темный бугор, который высился над шукуром. Ветер срывался с бугра и наполнял тесную впадину пронзительным ледяным дыханием. Напуганные овцы вскакивали и, жалобно блея, сбивались в кучу. Ветер набрасывался и на юрту, сотрясая ее до основания, и люди в ней просыпались, поднимали голову и прислушивались...

После полуночи в злобный посвист бурана вплелись новые грозные голоса. Из-за холма, к которому рвался Таймас, все явственней доносился тоскливый вой. Он то приближался, то отдалялся. Это волчья стая кружила поблизости, словно набираясь лютости. Асия не раз слышала и видела волков в зимние ночи, но и ее проняла дрожь. Стискивая в руках увесистую березовую дубинку, она с бьющимся сердцем прислушивалась к свирепым голосам пустыни. И временами казалось, что все пески вокруг ожили и вот-вот набросятся на отару.

— Сколько же их тут! Хоть бы утро скорей... — шептала Асия побелевшими губами.

Вой слышался со всех сторон, он усиливался, наглед. Звериные голоса стелились по земле вместе с поземкой и внезапно взмывали в небо, угасая в вышине. Асия понимала, что волки подошли вплотную к шукуру и уже прицеливаются... С яростным хриплым лаем кружил по шукуру Таймас, а следом за ним и другие собаки. Стало быть, так же кружились волки. И, словно ободряя верных псов, Асия сама завопила во всю силу легких. Ветер

сорвал вопль с ее губ, растерзал в клочья, но голос человека был услышан — волки как будто отошли.

Теперь и в юрте все вскочили на ноги. Балжан торопила мужа и дочь.

— Каково бедняжке в такую страсть!

— Ишь, жалостливая... разохалась... — буркнул Есиргеп, одеваясь.

— Тяжелеет она, — сказала Балжан с упреком.

Есиргеп вскипел:

— Приблудного ждешь? Безотцовщину?

Однако на этот раз Балжан не смолчала:

— Есть у него отец! На войну его взяли. Замуж она вышла... И ребенок мужний, не приблудный... Молтай отец.

— Молтай! — ошеломленно вскрикнул Есиргеп. Этот парень всегда нравился старику. Дельный и честный, ничего не скажешь. Но как же это — замуж от живого мужа? Отобрать жену у товарища, у солдата? Быть того не может!

Но Балжан твердила, упрямо кивая головой:

— Молтай, Молтай...

И впервые сердце Есиргепа сжалось от страшного подозрения, что он не знает о своем сыне чего-то очень важного, что другие, может быть, знают...

Новый порыв ветра обрушился на углый дом чабана. И сквозь свисты метели прорвался отчаянный крик Азии:

— Канипа! Канипа!

Уже месяц, как Есиргеп и Асия не перемолвились ни одним словом, и сейчас она звала не его, а подругу.

Есиргеп, Канипа и Балжан, толкаясь в дверях, побежали из юрты. Азии не видно было в белом вихре метели. Хриплый ее голос удалялся.

— Скорее, милые, скорее! — со слезами бормотала Балжан. — Одна она, голубушка...

Есиргеп и Канипа бросились в обход отары на голос Азии, на собачий лай, тоже крича во всю мочь.

В небе клубились свинцовые тучи, а по земле металась отара. Ветер задирает шерсть на боках и спинах овец, забивал ее снегом. И овцы и люди увязали в сугробах, наметенных бураном. Стон и гул стоял в степи. И вот, словно прорвав невидимую плотину, заглушая голоса людей, блеяние овец и лай собак, в шукыр хлынула лавина снега с песком, и вместе с ней ринулась на отару волчья стая. Неясные тени промчались мимо Канины.

У нее перехватило дыхание. Овцы шарахнулись прочь, но звери настигли их, рвали бока, вгрызались в горло.

— Волки! Волки! Вот они! — не помня себя взвизгнула Канипа.

Подошел Есиргеп и едва устоял в свалке. Колышущаяся плотная масса обезумевших овец оттесняла людей, валила с пог.

Неожиданно отара распалась на две части, и Есиргеп увидел Асию с поднятой дубинкой. Она бросилась в прогал бесстрашно, молча. Перед ней был волк, матерый. Серый разбойник вскинул на спину овцу, но не успел увести. Асия с ходу обрушила на его череп дубинку. Удар пришелся между ушей, зверь выпустил овцу и ткнулся мордой в снег.

Асия снова замахнулась и переломила волку хребет, приговаривая сквозь зубы:

— Лежи, лежи, окаянный!

Есиргеп лишь крикнул, подбежав. Удар у нее был не женский, без промаха.

Где-то жалобно скулила подраненная собака. К Асии подошла еле живая от страха Балжан.

— Дупенька! Светик! Какой мужчина тебе под стать?

— Добейте волка... не ожил бы... смотрите за овцами... Как бы волки в пески не угнали... сожрут... — И Асия, не ответив, побежала к обочине шукры, наперерез перепуганным овцам. Есиргеп, также не мешкая, пустился бегом вокруг отары с другой стороны.

Понемногу тревога спадала. Отара снова слилась в одно темное пятно. Овцы покорно стояли посреди шукры, прижавшись друг к другу, и только неумолчно блеяли, словно повторяя один бесконечный вопрос: «Что такое? Что такое?»

Но, обойдя отару и прикинув на глаз, Есиргеп убедился, что отара поредела. Видимо, часть овец вырвалась из шукры и ушла в степь, куда глаза глядят и куда погонят волки да ветер...

Асии не было в шукры. Она, конечно, пошла вдогонку за овцами. Надо бы ей помочь. Однако и отару не бросишь: разбежится — пиши пропало.

Старик крикнул Таймаса. Пес не отозвался. Значит, он с Асией. Это хорошо. Вдвоем они справятся.

Забрезжил рассвет. Метель угомонилась. Асия не возвращалась.

Есиргец вскочил на неоседланного коня, наказал Канипе не отходить от отары ни на шаг и погнал коня из шукрыра. За ближним увалом, в степи, старик увидел на вылизанном ветром песке множество следов овечьих копыт и, приглядевшись, вздохнул с облегчением: пятен крови не видно. Ну, если ночью обошлось, беда миновала. Днем у волка — полсимы.

Как и думал старик, Асию выручил верный ловкий Таймас. Он настиг и остановил в ночи овец, а Асия отыскала их по его лаю. Непонятно было только одно: куда делись волки? Ежеминутно Асия ждала, что они объявятся, налетят. В открытой степи трудней, чем в шукрыре, и отбиться от них, и удержать овец в куче. Но волки не показывались, и Асия, едва отдышавшись после долгого бега за овцами, вся взмокла от пота, почувствовала вдруг, что обессилела, не может идти, не может стоять, не может гнать назад овец. Было жарко, глаза слипались. Хотелось повалиться ничком на снег и уснуть, мгновенно, сладко, ни о чем не думая, обо всем забыв.

Она не помнила, как совладала с собой, не дала себе сесть и закрыть глаза. А может быть, она и села и закрыла глаза... ведь волки ушли... Таймас разбудил! Заставил подняться.

Потом под сердцем у Асии тревожно шелохнулся ребенок. И она ожила. Встряхнулась, почувствовала озноб. Погнала овец под защиту высокого бархана, чтобы здесь переждать до рассвета. В мутном свете зимнего утра Асия пересчитала их. Примерно около восьмидесяти... «Ах, глупые», — подумала она.

Бледная заря разгоралась, небо прояснилось. Подъехал Есиргец, соскочил с коня. Измученная Асия показалась старику словно бы новой, иной. И Асия не сразу узнала его. Он заговорил первый:

— Жива ли, здорова, золотая ты моя? — В голосе старика звучала прежняя ласка.

Краска бросилась в лицо Асии.

— Все слава богу, отец.

— Доченька моя, опора старости моей... — Есиргец не ловко обнял сноху, коснулся губами ее заолодевшего лба.

Асия заплакала. И кто бы сказал сейчас, глядя на эту робкую, застенчивую женщину, что ночью она, не дрогнув, вышла против матерого волка и свалила его ударом дубинки, как батыр!

Есиргеп стянул с себя задубевший на морозе кожух, свернул вчетверо и постелил на спину коня вместо седла.

— Садись, дочка! Езжай домой. Будет с тебя.

— Что вы, отец! Спасибо. Вы поезжайте, а я так... Я пешком пойду. Погоним вместе овец...

— Ну, хоть и вместе, ладно. А пешком не пойдешь, я не велю. Садись на коня!

Старая Балжан не поверила своим глазам, увидев их на обочине шукура: Есиргеп шел пешком, а Асия ехала верхом, восседая на кожухе свекра! Балжан не помнила, чтобы ее самое Есиргеп когда-либо удостоивал такой чести...

В шукуре тоже обошлось благополучней, чем могло бы быть. Волки загрызли только трех овец, а пять подрапли — не опасно.

— Выживут, — сказал Есиргеп и объяснил: — Тут ведь что... Как она, наша Асия, вожака прикончила, стая — давай бог ноги! Остальные-то щенки. При вожаке они бы порезали не один десяток.

После обеда небо прояснилось, ветер утих. Канипа, сторожившая свою отару, заметила в степи всадника. Подскакал он лихо, и Канипа усмехнулась его ребяческой повадке. Это был первый на ферме лодырь и соня шестнадцатилетний Алим.

Парнишка привез газеты.

— А письма? — нетерпеливо спросила Канипа и сама перерыла Алимов мешок, вытряхнула его содержимое прямо на снег. Писем не было. Молтай молчал. Зато когда она развернула газету «Социалистик Казахстан», ей бросился в глаза жирный заголовок «Передовики животноводства» и тут же была напечатана фотография: отец, мать, Асия и сама она, Канипа, были сняты возле отары. Щеки Канипы вспыхнули, сердце забилось чаще. Так вот зачем фотографировал их Асан в свой последний приезд. Подумать только: кочуют они вдали от человеческого жилья, в песках, а о них, оказывается, помнят, заботятся, почет оказывают! Скорей бы стемнело! Она войдет в юрту, развернет перед отцом газету: глянь-ка, кто это тут? Но внезапная догадка разом омрачила ее радость.

— А ты к нам зачем? На место Аспи, что ли?

— Ага! — Алим кивнул, ухмыляясь.

— Ну так вот. — Канипа нахмурилась. — Посмей только об этом отцу заикнуться! Приехал — и хорошо, во время окота у нас сложа руки не посидишь. А спро-

сит отец, скажешь: мол, тете Азии в подручные послали... Понял?

— А то нет? — Круглая физиономия парня расплылась, крепкие зубы сверкнули в улыбке.

VI

Недаром и ученые-метеорологи, и старые чабаны предсказывали зиму раннюю, холодную и снежную.

Трескучие морозы и многодневные бураны начались в ноябре, и до марта конца им не было. Бескрайняя степь тонула в глубоких снегах. Волей-неволей пришлось чабанам из-под Или, Каскелена и Джамбула гнать скот в пески. Тяжелы переходы по бездорожью. Овцы увязали в сугробах и были так изнурены, что заветные пески не принесли ожидаемого облегчения. Чабаны уже и не чаяли уберечь скот до весны. Угроза джута казалась неотвратимой.

В Алма-Ате все было поставлено на ноги. Прямо с коротких деловых летучек люди разъезжались на места. За ними шли колонны тяжелых автомашин. В воздух поднимались самолеты и сбрасывали свои грузы там, куда не могли пробиться грузовики.

Сводки о состоянии овечьих отар и конских табунов поступали в столицу по радио, телеграфу и телефону вне очереди, круглые сутки — сводки нерадостные.

Маленькое опытное хозяйство Есиргепа было на особом учете. В начале зимы один Есиргеп кочевал со своей отарой в песках и находил корма для овец. Морозы и снега гнали его все дальше и дальше. Следом за отарой, день и ночь, неотступно, шли волки, но Есиргеп твердо держался своего пути. Всю зиму старик и его семья не знали отдыха, выбились из сил, переходя из одного шукыра в другой через каждые три-четыре дня. А овцы не тощали! По его примеру тянулись в Сарытау другие чабаны. Там зимовать было беспокойней, но сытней...

Старый чабан ворчал порой:

— Ишь скота нагнали тьму-тьмущую. Скоро здесь из-за каждого стебелечка бой пойдет.

Однако в душе был доволен: сколько пастухов, сколько отар шли по его следу! Бок о бок с Есиргепом оказались и Тузбай, и Кыстаубек, и Кожаш, кореша старика, чабаны Института животноводства.

Два с лишним месяца не слезал Есиргеп с седла, выискивая местечки, где снегу поменьше, травки побольше. И как только находилось такое урочище, юрту тут же свертывали, грузили пожитки и гнали овец к новой стоянке. Вот когда благодарил Есиргеп Боброва за то, что привел ему выносливых, добрых коней. Настроение в семье было бодрое. Кто ни встречал отару, говорил: справные овцы у Есиргепа!

В последние дни марта зима, словно бы нехотя, отступила, размыкая ледяные объятия. Побежали талые воды. Близилась пора овцам ягниться. И Есиргеп повел свою отару в обратный путь, к урочищу Канбулак. Переход был нелегкий, десятидневный, но овцы сыты и крепки. Дошли в порядке.

Стоянку разбили на берегу бурливой речки Жалыбулак. Есиргеп вместе с Алпмом взялся подновлять поврежденные снегопадами землянки для будущих ягнят. В начале апреля, когда прозрачное весеннее небо налилось густой синевой, начался окот.

За первые три дня народилась целая сотня белых ягнят. Две из трех приготовленных землянок были «заселены» до отказа.

Асия и Канипа встревожились.

— Матки за зиму намерзли. Хватит ли у них молока?

Тут-то приехали Бобров с Асаном.

— Ну, как зимовали, папанинцы? — спросил Бобров с седла. — Выдержала ваша льдина! — И, спешившись, почтительно пожал руки старикам, а Асию обнял. Развязав дорожную суму, Бобров вручил всем подарки. Балжан, большой чаевнице, несколько пачек первосортного чая, молодым женщинам — обновы: платья, цветастые шали и сладости. А в суме Асана оказались весы для малышей.

Осмотрев и взвесив новорожденных и четырехдневных ягнят, а на это ушел целый день, Асан сказал:

— Не волнуйтесь. Землянок мало? Не беда. У наших белых молока, оказывается, куда больше, чем у простых казахских овец. Ягнята великолепно прибавляют в весе. — Трудная зимовка и потомству на пользу: в утробе матери закалялось... — сказал Бобров. — Так что первые три дня держите ягнят в тепле, а там смело выпускайте на волю. А на их место — новорожденных. Вреда не будет. Доведем наш опыт до конца.

По правде, если бы не приказ Боброва, Есиргеп не отважился бы, пожалел бы выгонять трехдневных малышей из теплой землянки. Но приказ есть приказ. И только открыли дверцу, ягнята с бляением, тесня друг друга, кинулись к маткам. Поначалу они робко жались к косматым бокам матерей, но вскоре обвыкли и перестали греться в их длинной шерсти.

Бобров пробыл у Есиргепа до конца окота. Много трудный рискованный опыт удался! Белые овцы оказались не только выносливыми, тучными, длинношерстными, но и более плодовитыми. Обыкновенная порода казахских овец давала примерно девяносто восемь ягнят на сто маток, а белые — сто тридцать. Стойкое и щедрое племя...

Весна шла по степным холмам, одевая их свежей зеленью. Веселое солнце горело все жарче, и под его благодатными лучами пробились из земли любимые овечьи травы — жусан и шагир.

Ягнята резвились на приволье, скакали на своих тонких стройных ножках, обласканные теплым душистым ветром.

Балжан, вооружившись деревянным черпаком, не отходила от булькающих казанов с овечьим молоком, варила курт. Наполненные до краев жирным айраном, стояли в юрте миски, чашки и кувшины.

Стремительно убегала вдаль, искрясь на солнце, веселая речка Жалыбулак, набухая талыми водами. В густой, пронзительно зеленой траве, словно осколки разбитого зеркала, сверкали лужицы и озерки. Радостно гомоня, курлыкая, щебеча, посвистывая, слетались на гостеприимные берега водоемов птичьи стаи. В камышах, хлопая крыльями, гоготали гуси, высоко в небесной лазури, подобно белоснежным сказочным пери, пролетали лебединые стаи, приветствуя цветущую землю протяжными, нежными криками.

Асия доживала последние дни. Вся семья жила в тайном радостном ожидании. В теплый апрельский день Есиргеп с утра уехал к отаре в степь, а Бобров, который тоже собрался было с ним, присмотревшись к Асии, внезапно решил остаться. Нужно, чтобы в доме был мужчина, — мало ли что!

И предчувствие его не обмануло. У Асии начались схватки. Бобров вышел из юрты, но не спускал глаз с двери: вдруг понадобится помощь. К счастью, все со-

шло хорошо: роды были легкие. Асия разрешилась мальчиком.

Позвали Боброва.

— Ну, вот и прекрасно... Вот видите, как славно... — проговорил Иван Дмитриевич сконфуженно. — Мальчик счастливый будет...

Но и он и женщины думали об одном: что скажет Есирген?

Оседлав коня, Бобров поехал на пастбище. И еще издалека, увидев Есиргена, стал ему кричать:

— Суюнши, старик, суюнши! У тебя, брат, внук!

Есирген молча пожал протяжную руку Боброва. Потом, растерянно улыбаясь, ни с того ни с сего похлопал друга по плечу.

Оба были смущены и долго молчали в раздумье, словно присматриваясь друг к другу.

— Кончается война, — сказал наконец Бобров. — Бой уже под Берлином. Скоро, скоро наши герои вернутся домой...

— Да будет так! Да сбудутся твои слова, — тихо молвил Есирген.

Когда к вечеру они возвратились из степи, юрта была убрана, как в большой праздник. Асан с Канипой расстелили узорные кошмы-текеметы и новые стеганные одеяла. В доме готовились честь по чести отпраздновать шильдехану — наречение имени новорожденному. Женщины с волнением и тщетно скрываемой боязнью ожидали Есиргена.

Немало горьких и трудных дум передумал в тот день старый чабан, а еще больше за зиму, ожидая этого дня. Решение давно созрело в его душе.

Подъехав к юрте и неторопливо спешившись, старик сказал встречавшей его жене:

— Ну, что же... Раз скоро наша победа и у нас с тобой внук... Дадим ему имя Женисбек — Сын Победы!

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание является первым Собранием сочинений Мухтара Ауэзова на русском языке. В нем представлено все наиболее существенное из обширного творческого наследия писателя. Наряду с художественными произведениями оно включает в себя его литературоведческие и публицистические статьи.

В основу Собрания сочинений положен жанрово-хронологический принцип. 1-й том содержит рассказы и повести 1921—1947 годов, 2-й и 3-й тома — роман-эпопею «Путь Абая», 4-й том — пьесы, роман «Племя младое», художественные очерки, 5-й том — литературоведческие и публицистические статьи.

При подготовке настоящего издания редколлегия и составители руководствовались Собранием сочинений М. Ауэзова в 12-ти томах на казахском языке (1967—1969), подготовленным Институтом литературы и искусства АН КазССР.

Тексты даются с учетом исправлений, сделанных переводчиками для настоящего Собрания сочинений.

Включенные в 1-й том рассказы и повести М. Ауэзова хронологически и тематически могут быть разделены на два цикла. В произведениях 1920-х годов писатель изображает жизнь казахского народа до Октябрьской революции; рассказы 1930—1940-х годов целиком посвящены современности, становлению и развитию в Казахстане социалистических отношений.

АВТОБИОГРАФИЯ

Написана на русском языке. Впервые опубликована в кн.: М. Ауэзов. Абай. М., Гослитиздат, 1950. В настоящем издании публикуется по кн.: М. Ауэзов в воспоминаниях современников. Алма-Ата, 1972.

Стр. 32. *Хазрет* — святой, почтительное наименование духовного лица.

СИРОТСКАЯ ДОЛЯ

Первое из опубликованных художественных произведений М. Ауэзова. Напечатано в журнале «Кызыл Казахстан», 1921, № 3, под псевдонимом «Аргын».

На русском языке впервые — в кн.: «Молодой Казахстан (Рассказы современных писателей Казахстана)». М., 1928, под названием «Беззащитные», затем в новом переводе А. Пантиселева в кн.: М. Ауэзов. Крутизна. М., «Советский писатель», 1965. Публикуется по этому изданию.

Оценивая значение этого рассказа в истории казахской советской литературы, виднейший казахский писатель Сабит Муканов писал: «Казахская национальная художественная проза берет свое начало от повести Мухтара Ауэзова «Беззащитные», посвященной критике патриархально-феодалных отношений в Казахстане» («Известия», 1957, 28 сентября).

Стр. 39. *Джуг* — массовый падеж скота от бескормицы. Наиболее частые причины джуга на территории Казахстана — обильный снегопад, образование зимой плотной ледяной корки поверх травяного покрова.

Стр. 40. *Кааба* — древняя мечеть в Мекке (Саудовская Аравия), объект особого почитания и паломничества мусульман.

Стр. 44. *Дастархан* — скатерть, в переносном смысле — угощение, хлеб-соль.

УЧЕНЫЙ ГРАЖДАНИН

Впервые опубликован в журнале «Шолпан», 1922, № 2—3.

На русском языке впервые — в кн.: М. Ауэзов. Крутизна. Публикуется по этому изданию.

Стр. 60. *Курт* — овечий сыр.

Стр. 61. *Суюнши* — подарок, вознаграждение за радостную весть.

НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

Впервые опубликован в журнале «Шолпан», 1922, № 2—3.

На русском языке впервые — в кн.: М. Ауэзов. Крутизна. Публикуется по этому изданию.

В СКЛЕПЕ СЫБАНОВ

Впервые опубликован в журнале «Шолпан», 1923, № 6—7—8. На русском языке впервые — в журнале «Простор», 1963, № 1, затем в кн.: М. Ауэзов. Крутизна, под названием «У могилы сыбана». Публикуется по этому изданию.

Стр. 70. *Барымта* — разбойничий набег с захватом скота, одна из форм межродовой борьбы.

ЖЕНИТЬБА

Впервые опубликован в журнале «Сана», 1923, № 1, под названием «Молодые сердца», подписан псевдонимом «Коныр».

На русском языке впервые — в кн.: М. Ауэзов, Крутизна. Публикуется по этому изданию.

Стр. 75. *Тундук* — войлок, закрывающий отверстие в куполе юрты.

Ходжа — так называли тех, кто совершил паломничество в Мекку.

Стр. 76. *Приехали из уважения к жениху — знатному баю... Он недавно избран в председатели волисполкома соседней волости.* — В рассказе нашли отражение трудности первых лет социалистического строительства в Казахстане, когда Советы были еще слабыми, особенно в отдаленных районах. В них зачастую были представлены бай, кулаки и их ставленники. Не случайно I областная конференция РКП(б) в Оренбурге в 1921 году особо отметила засоренность Советов социально чуждыми элементами и потребовала усилить борьбу с баями и кулаками в Советах. Уже в 1926 году на выборах в Советы бай потерпели серьезное поражение, они были изгнаны из многих аульных и волостных Советов. На их место были избраны подлинные представители трудового народа.

Стр. 78. *Не сказано же в твоём декрете, чтобы девушка отворачивалась от жениха.* — Имеется в виду декрет ЦИК и СНК Киргизской АССР (первоначальное название Казахской Автономной Советской Социалистической Республики, сохранявшееся до 1925 года) от 28 декабря 1920 года об отмене калыма, «унижающего честь и достоинство киргизской женщины и превращающего ее в рабыню. Киргизский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановляют: 1. Калым (выкуп за невесту), вносимый по обычаю киргизского народа женихом, его

родителями родственникам и свойственникам невесты скотом, деньгами и всяким другим имуществом и устанавливающий обязательство выхода невесты замуж за этого жениха, — отменить». В январе 1921 года декретом СНК КАССР было запрещено многоженство и аменгерство (нормы обычного права — адата, согласно которому после смерти мужа вдова должна была стать женой одного из его братьев или при отсутствии их — других родственников).

Стр. 81. *Шолпы* — золотые или серебряные украшения в косах у девушек и молодых женщин.

КТО ВИНОВАТ?

Впервые опубликован в журнале «Шолпан» в 1923 году.

На русском языке под названием «Жамиля» — в журнале «Литературный Казахстан», 1937, № 1 (в переводе М. Алтайского). Затем под названием «Кто виноват?» — в газете «Алматынская правда», 1962, 27 июня, 25, 26 и 29 июля (в переводе М. Хамраева и М. Алтайского). Публикуется по кн.: М. Ауэзов, Крутизна.

Стр. 83. *Аткаминер* — буквально: «верховой»; влиятельный представитель рода, аула.

СИРОТА

Впервые опубликован в журнале «Тан», 1925, № 1. Первоначальное название «Печальный сирота».

На русском языке впервые — в газете «Ленинская смена», 1964, 2 августа. Публикуется по кн.: М. Ауэзов, Крутизна.

БАРЫМТА

Впервые опубликован в журнале «Тан», 1925, № 1, под названием «Кровавая ночь», подписан псевдонимом «Жаяу сал». Во второй редакции под названием «Барымта» включен в сб.: М. Ауэзов, События на Караш-Караш. Алма-Ата, Казгослитиздат, 1936.

На русском языке впервые — в журнале «Простор», 1961, № 8 (в переводе А. Сулеева и В. Ванюшина), затем в кн.: М. Ауэзов. Крутизна (в переводе В. Дудинцева и Н. Гордеевой). Публикуется по этому изданию.

КРАСАВИЦА В ТРАУРЕ

Впервые опубликован в журнале «Тан», 1925, № 2, под псевдонимом «Жаяу сал».

На русском языке впервые — в кн.: М. Ауэзов. Крутизна. Публикуется по этому изданию.

ТЕНИ ПРОШЛОГО

Впервые опубликован в журнале «Тан», 1925, № 4.

На русском языке впервые — в кн.: М. Ауэзов, Крутизна под названием «В тени прошлого». Публикуется по этому изданию.

Стр. 139. *Байбише* — старшая жена, хозяйка аула.

РАСПРАВА

Впервые опубликован в газете «Казак тили», 1926, 10 октября, под названием «Старая болезнь», подписан псевдонимом «Айгак».

На русском языке впервые — в кн.: М. Ауэзов. Крутизна, под названием «Насилие». Публикуется по этому изданию.

В рассказе нашли отражение серьезные трудности восстановительного периода социалистического строительства в Казахстане, где в 20-х годах, несмотря на важные социально-экономические изменения, пришедшие с победой Октябрьской революции, еще сильны были патриархально-феодалные отношения. До 1928 года, то есть до проведения конфискации, бай-полуфеодалы, пользуясь общинной землей и имея большое количество скота, монопольно распоряжались лучшими пастбищами. В силу экономического господства и традиций патриархально-феодалной идеологии баям удавалось еще сохранять влиятельное положение в ряде кочевых и полукочевых аулов. Полная ликвидация элементов феодального уклада в Казахстане проводилась в конце 20-х годов по мере подготовленности к этому основной массы казахского крестьянства, роста его классового самосознания.

ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ

Наиболее значительное произведение в творчестве М. Ауэзова 20-х годов. Повесть впервые была опубликована в журнале «Жа-на мектеп», 1927, № 11—12, и 1928, № 1—2—3, под названием «Прощество на Караш-Караш». В новой, второй редакции — в газете «Социалистик Казахстан», 1959, 23—30 августа, 1—3 сентября.

На русском языке отрывки из повести впервые опубликованы в журнале «Литературный Казахстан», 1935, № 5, 6 (в переводе А. Гомова). Отрывок под названием «Выстрел на перевале Караш-Караш» — в «Литературной газете», 1961, 27 июня (в переводе А. Паитиева). Повесть полностью напечатана в журнале «Дружба народов», 1961, № 7, под названием «Выстрел на перевале» (в авторизованном переводе А. Паитиева).

Повесть «Выстрел на перевале» приобрела наибольшую известность из всех ранних произведений М. Ауэзова. Она переведена на языки народов СССР и ряд иностранных языков. В связи с изданием ее на французском языке Андре Стиль писал: «Это произведение рассказывает о прошлом взволнованно, со множеством оттенков, способных донести до нас через время и тысячи километров, через различия нравов и характеров историю одного из батюров, находящегося под игом хозяев, или «баев», угнетаемого, эксплуатируемого, презираемого ими, но свободолюбивого и смелого, сами поражения и ошибки которого говорят о свободе, величии человека. Вокруг этой простой истории — степи и горы с заснеженными вершинами, напоминающие «белую юрту», неустойчивые лошади и бурные потоки, и сила, отвага, чистота бедного народа, и стиль, который своей ясностью и нередко даже оборотами речи напоминает Гомера» («Юманите», 1961, 11 сентября).

События повести относятся к началу XX века и связаны с ростом политической активности казахских трудящихся под влиянием подъема революционного движения в России. Выражением протеста народа против усиления феодального и колониального гнета явились случаи стихийной расправы с ненавистными представителями царской администрации. Одно из наиболее характерных событий такого рода и легло в основу повести.

Историческим прототипом героя повести Бахтыгула был бедняк Рыскул Джилкайдаров, убивший волостного управителя Восточно-Талгарской волости Учкешпинова. Рыскул Джилкайдаров был предан Верненскому окружному суду, который в марте 1905 года приговорил его к десяти годам каторжных работ.

Стр. 188. *Болыс* — волостной (от искаженного «волость»).

Стр. 207 *Съезд биев (бийский суд)* — суд, вершившийся биями по нормам казахского обычного права, преимущественно устно. Бии — судьи — избирались главным образом из числа крупных представителей родовой знати, влиятельных родоначальников, пользовавшихся наследственными правами и принадлежащих к патриархально-феодальной верхушке казахского общества.

ЛИХАЯ ГОДИНА

Впервые опубликована отдельным изданием в 1928 году.

На русском языке впервые — в журнале «Новый мир», 1972, № 6. Чипгиз Айтматов писал в своем предисловии к этой публикации: «Мало я встречал в восточных литературах произведений, где бы с такой силой художественной убедительности, как это сделал молодой Ауэзов, была бы выражена ненависть к царизму, к его аппарату насилия, где так страстно обличались бы бесчеловечность и цинизм царской колониальной политики, где так глубоко, на фоне большой массы людей была бы раскрыта природа неприятия кочевым народом чуждой ему царской административной системы, где с такой болью и состраданием было бы сказано о трагедии простого люда, посмеявшегося, на беду свою, восстать и жестоко поплатившегося за бунт своей кровью своей и изгнанием с родных земель».

Особенностью повести является ее глубокая историчность, документальная точность излагаемых событий. Подлинная достоверность в воспроизведении истории восстания казахского населения Нарынкольского участка, Джаркентского уезда, Семиреченской области в 1916 году, носившего антифеодальный и антиколониальный характер, подтверждается историческими первоисточниками, сохранившимися в Центральном Государственном архиве КазССР.

Герои повести сохраняют имена реальных участников восстания (Узак Сауруков, Жаменке Мамбетов, Аубакир Султанкулов и др.).

Работая над повестью, М. Ауэзов совершил в 1926 году поездку в Семиречье, где тщательно изучал и собирал материалы, связанные с историей восстания, беседовал с непосредственными очевидцами и участниками событий. «Вы почувствуете, надеюсь, какая боль заложена в этой вещи, — говорил писатель в беседе с переводчиком повести А. Пангилевым. — Ныне страшно подумать, из какой социальной бездны поднялся казахский народ. Имя этой бездне — патриархальщина. Восстание 1916 года в Средней Азии переросло в революцию, но развивалось не везде равномерно. В Тургае оно выдвинуло Амангельды Иманова и Алибея

Джангильдина, которые позднее стали героями гражданской войны. Мои герои Узак Сауруков и Жаменке Мамбетов — тоже исторические лица, народные вожаки, но судьбы у них иные, ибо дело происходит не в «громком» Тургае, а в «тихой» Каркаре, в Семиречье, в родовом гнезде «смирного рода албан», в той самой бездне социальной отсталости, которая породила лишь стихийный порыв, ибо в основе была вопиющая политическая наивность, неопытность, детская доверчивость, предрассудки и иллюзии, патриархальная темнота и беспомощность... Если искать здесь историческую аналогию, уместно было бы вспомнить годы первой русской революции и ту доверчивость, те иллюзии, которые были рассеяны на Дворцовой площади в Петербурге Девятого января 1905 года. Как пятый год в центре России, так шестнадцатый год на ее окраинах был генеральной репетицией...» («Новый мир», 1972, № 6, стр. 104).

Стр. 233. *Байга* — многоверстные степные скачки.

Стр. 266. *Сель* — грязе-каменный поток, обрушивающийся с гор во время летнего таяния снегов.

СЕРЫЙ ЛЮТЫЙ

Впервые опубликован в журнале «Жана адабиет», 1929, № 2, 3.

На русском языке впервые — в журнале «Новый мир», 1960, № 4. Публикуется по кн.: М. Ауэзов. Избранное. Алма-Ата, «Жазушы», 1967.

Рассказ получил широкую известность в нашей стране и за рубежом, переведен на многие иностранные языки и языки народов СССР.

ТРИ ДНЯ

Впервые опубликован в газете «Социалистик Казахстан», 1934, 7 и 10 ноября. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 382. *Торь* — почетное место, красный угол.

Стр. 385. — «*Косшы*» — товарищество по совместной обработке земли.

Стр. 390. *...колхоз занял первое место не только в районе, но и во всем округе...* — Административное деление на округа имело место в Казахстане до середины 1930 года.

Стр. 393. «*Степь*» — поэма классика казахской советской литературы И. Джансугурова об исторических судьбах казахского на-

рода, о его прошлом и настоящем. *«Красный конь»* — поэма классика казахской советской литературы С. Сейфуллина о трудностях колхозного строительства. *«Распорядок Талганбая»* — пьеса классика казахской советской литературы Б. Майлина о зазнавшемся председателе колхоза.

ИМЯ СВЕКРА

Впервые опубликован в сб.: «Социалды тулик». Алма-Ата, Казгослитиздат, 1934. На русском языке впервые — в кн.: М. Ауэзов. Крутизна.

Стр. 397. *Жаулык* — головной убор замужней женщины.

Стр. 399. *Разве порядочная женщина в ауле посмеет называть имя свекра?* — По казахским обычаям, женщине не полагается полностью называть имя свекра или других старших родственников мужа. Невестка должна произносить их имена в несколько видоизмененной форме, меняя обычно одну-две буквы в начале.

Стр. 400. *Айгыс* — состязание акынов.

Стр. 401. *Теперь блюдо с бараньей головой ей подносить!* — По казахскому обычаю, блюдо с бараньей головой — знак уважения — подносится старшему в семье или почетному гостю.

ДВУЛИКИЙ ХАСЕН

Впервые опубликован в сб.: М Ауэзов. Тастулек. Алма-Ата. Казгослитиздат, 1935. На русском языке впервые — в журнале «Простор», 1970, № 1.

Стр. 410. *А ведь в юности зубрила «Мухаммадию» и «Сыбагылгазин».* — Книги религиозного содержания на среднеазиатском «тюрки», входившие в программу обучения в мусульманских духовных школах.

Стр. 413. *Ведь оправился же народ и после «Актабан шубурунды».* — Массовое переселение казахов Большого и Среднего жузов в западные степи под натиском джунгарского нашествия (XVII—первая треть XVIII веков). Буквально: «бегство с белыми пятками». Спасаясь от врагов, люди шли по накаленным солнцем пескам пустынных степей, обжигая голые ступни до волдырей.

Стр. 416. *Коренизация аппарата* — выдвижение на работу в управленческом аппарате лиц коренной национальности, в данном случае — казахов.

КРУТИЗНА

Впервые опубликован в кн.: М. Ауэзов. Тастулек.

На русском языке впервые — в кн.: «Казахстан, Литературно-художественный сборник». Алма-Ата, Казкрайиздат, 1935 (в переводе Л. Соболева). Затем в кн.: М. Ауэзов. Крутизна (в переводе Л. Бать). Публикуется по этому изданию.

Стр. 454. *Женгей* — невестка. Так же называют молодых женщин.

Стр. 463. *Жесир* — девушка или женщина, считавшаяся по законам адата собственностью семьи, рода, заплативших за нее калым.

Стр. 468. *Брошу на спину лошади за седло...* — Положить женщину на спину лошади за всадником считается у казахов оскорблением и позором.

К ВЕРШИНАМ

Впервые опубликован в кн.: М. Ауэзов. Тастулек под названием «Пески и высоты». Позднее по этому рассказу автором был написан киносценарий с тем же названием, по которому был снят один из первых казахских художественных фильмов «Райхан». На русском языке публикуется впервые.

ОХОТНИК С ОРЛОМ

Впервые опубликован в журнале «Адабиет майданы», 1937, № 8—9.

На русском языке впервые — в журнале «Литературный Казахстан», 1937, № 11—12. Публикуется по кн.: М. Ауэзов. Избранное. Алма-Ата, «Жазушы», 1967.

СТОЙКОЕ ПЛЕМЯ

Впервые опубликован в журнале «Адабиет және искусство», 1947, № 3.

На русском языке впервые — в кн.: «Восхождение, Литературно-художественный сборник». Алма-Ата, Казгосиздат, 1947 (в переводе Г. Шариповой). Затем в кн.: М. Ауэзов. Крутизна (в переводе З. Кедриной). Публикуется по этому изданию.

Л. Ауэзова

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Э. Кедрина. Творческий подвиг Мухтара Ауэзова . . .</i>	5
<i>М. Ауэзов. Автобиография</i>	31

РА С С К А З Ы И П О В Е С Т И

<i>Сиротская доля. Перевод А. Пантиелева</i>	39
<i>Ученый гражданин. Перевод В. Дудинцева и Н. Гордеевой</i>	54
<i>На вершине холма. Перевод М. Хамраева и Ф. Моргуна</i>	67
<i>В склепе сыбанов. Перевод М. Хамраева и Ф. Моргуна</i>	70
<i>Женитьба. Перевод В. Дудинцева и Н. Гордеевой . . .</i>	75
<i>Кто виноват? Перевод М. Хамраева и М. Алтайского . .</i>	82
<i>Сирота. Перевод М. Хамраева и Ф. Моргуна</i>	105
<i>Барымта. Перевод В. Дудинцева и Н. Гордеевой . . .</i>	112
<i>Красавица в трауре. Перевод А. Пантиелева</i>	121
<i>Тени прошлого. Перевод В. Дудинцева и Н. Гордеевой</i>	134
<i>Расправа. Перевод В. Дудинцева и Н. Гордеевой . . .</i>	145
<i>Выстрел на перевале. Авторизованный перевод А. Пантиелева</i>	156
<i>Лихая година. Перевод А. Пантиелева</i>	229
<i>Серый Лютый. Перевод А. Пантиелева</i>	359
<i>Три дня. Перевод С. Санбаева</i>	380
<i>Имя свекра. Перевод Э. Кедринной</i>	394
<i>Двуликий Хасен. Перевод С. Санбаева</i>	406
<i>Крутизна. Перевод Л. Багь</i>	442
<i>К вершинам. Перевод С. Санбаева</i>	473
<i>Охотник с орлом. Перевод И. Шухова</i>	510
<i>Стойкое племя. Перевод Э. Кедринной</i>	529
<i>Примечания</i>	555

А 93

Ауэзов, Мухтар.

Собрание сочинений. В 5-ти томах. Т. 1. Рассказы и повести 1921—1947 гг. Пер. с каз. Сост. и примеч. Л. Ауэзовой. Вст. статья Э. Кедринной. Худ. А. Лепятский. М., «Худож. лит.», 1973.

568 с.

В 1-й том Собрания сочинений Мухтара Ауэзова входят рассказы и повести 1921—1947 гг. Наряду с широко известными произведениями, такими, как «Выстрел на перевале», «Серый Лютый», «Стойкое племя» и др., читатель познакомится с рассказами, впервые издающимися на русском языке («Три дня», «К вершинам»), с повестью «Лихая година», известной только в журнальной публикации.

В рассказах и повестях 1920-х годов писатель изображает жизнь казахского народа до Октябрьской революции, произведения 30—40-х годов целиком посвящены современности, становлению и развитию в Казахстане новых, социалистических отношений. Рассказы и повести М. Ауэзова интересуют читателя картинами самобытной степной природы и народного быта, остротой и напряженностью социальных конфликтов.

А $\frac{0733-214}{028(01)-73}$ подп. изд.

С(Каз)2

*Мухтар Омарханович
Ауэзов*

Собрание сочинений
ТОМ I

Редактор

И. А л а т ы р ц е в а

Художественный редактор

В. Г о р я ч е в

Технический редактор

С. Ж у р б и ц к а я

Корректоры А. Н о в и к о в и ч

и В. Ш и р о к о в а

Сдано в набор 2/IV 1973 г. Под-
писано в печать 11/IX 1973 г. Бум.
типогр. № 1 84×108¹/₃₂. 17,75 печ. л.
29,82 усл. л. 31,352+1 вкл.+2 нак.=
=31,575 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 596. Цена 1 р. 75 к.

Издательство

«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Зна-
мени Ленинградская типография
№ 2 им. Евгении Соколовой Союз-
полиграфпрома при Государствен-
ном комитете Совета Министров
СССР по делам издательств, по-
лиграфии и книжной торговли
198052, Ленинград, Измайловский
проспект, 29